



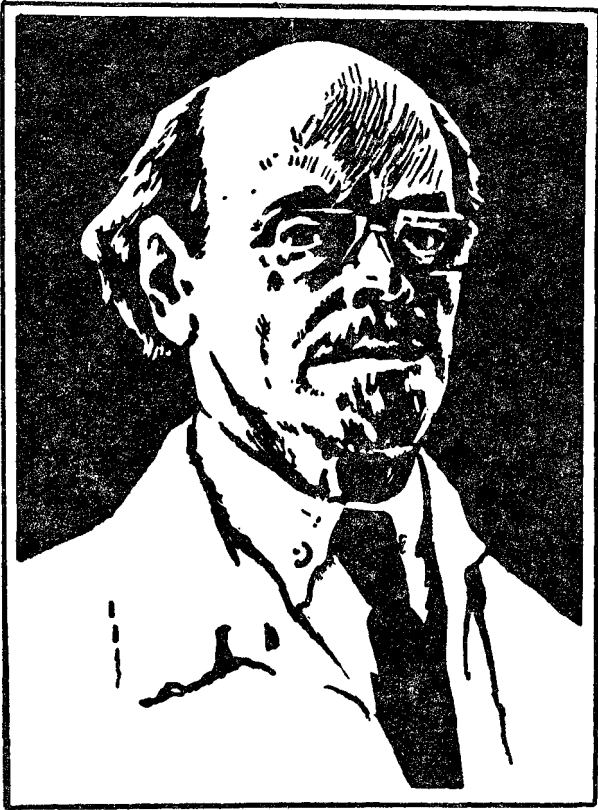
М. В. НЕСТЕРОВ

Давние дни



Scan Kreyder - 18.11.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



W. Stearns.



М. В. НЕСТЕРОВ

Давние дни

ВОСПОМИНАНИЯ
ОЧЕРКИ
ПИСЬМА

УФА
БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

Редакционная коллегия:
Бикчентаев А. Г., Гилязов М. Т., Рахимкулов М. Г.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Чванов М. А.

Предисловие и составление А. П. Филиппова

Нестеров М. В.

Н-56 Давние дни. (Воспоминания, очерки, письма). —
Уфа: Башкирское книжное издательство, 1986. — 560 с.
(Серия «Золотые родники»)

Настоящее издание впервые наиболее полно знакомит читателей с литературным наследием известного русского и советского живописца М. В. Нестерова.

Н 4702010100—81 89—86
М 121(03)—86

85.143(2)7

© Предисловие, составление, оформление.
Башкирское книжное издательство, 1986.

ВЕЛИКИЙ УФИМЕЦ

Поэзия — венец искусства, одухотворенная мысль народа, его отдохновенье и оружие; она — корона национальной культуры. А все творчество лучших художников мира, к каким достойно приравнен земляк наш Михаил Васильевич Нестеров, пронизано высокой поэзией. И мы, уфимцы, можем порой спорить о его проникновенном творчестве, можем воспринимать его всем сердцем или оставаться равнодушными, сторонними созерцателями, но знать о величии своего земляка и гордиться им должен каждый.

Казалось бы, о Нестерове писать совсем несложно: столько уже было сказано о нем, столько книг вышло, и сам он, к тому же, оставил после себя огромное литературное и эпистолярное наследие, — статьи, заметки, письма и даже биографическую повесть о детстве, которую в свое время высоко оценил Максим Горький. И во всем этом материале легко прослеживается не только сама жизнь Михаила Васильевича, но и история создания тех или иных полотен, его раздумия, мысли.

Да, казалось бы, остается только пользоваться этим огромным наследием души и разума. И все-таки у медали есть другая, обратная, сторона. Легкость-то только кажущаяся, ибо духовный мир художника как личности был чрезвычайно глубок и возвышен, а полотна его неизъяснимо широки по своему диапазону, хотя первоначально могут кому-то несведущему показаться однозначными, отдающими крепкой патриархальностью, с некоторой религиозной мистикой, если не касаться, конечно, его портретной живописи, которой в последние десятилетия своей жизни Михаил Васильевич уделял самое серьезное внимание.

Художник родился в Уфе 31 мая 1862 года, то есть 19 мая по старому стилю календаря. В своих прекрасно написанных литературных заметках он вспоминает детство, родную Уфу, родителей.

По семейным преданиям Нестеровы происходили от новгородских крестьян, в давние времена переселившихся на Урал. Дед художника — Иван Андреевич Нестеров — был вначале крепостным «дворовым чело-

веком», а когда позднее стал «вольнотпущенным», с успехом закончил семинарию и, наконец, проявив неимоверное усердие, вышел в купеческое сословие. Таковым его знали в Уфе.

В доме деда любили литературу, своими семейными силами ставили на домашней сцене спектакли. Только что появившаяся комедия Гоголя «Ревизор» дошла и до провинциальной, затерянной в горах Урала маленькой Уфы. Нестеровы осилили даже ее, блестящую комедию своего современника, чем наделали большой переполох в тихой и размеренной жизни обывателей Уфы. Отец Михаила Васильевича с успехом сыграл в спектакле юркого Добчинского.

Книги в те годы были необычайной редкостью. Но в доме Нестеровых они водились. Еще в раннем возрасте, в детские свои годы, будущий великий художник с восторгом и удивлением прочитал эпопею Льва Толстого «Война и мир». Можно предполагать, что объемистую эту книгу маленький Миша прочитал по горячему настоянию отца, увлеченного литературой. И вообще, отец художника был личностью незаурядной, «горяч и своеобразен» — по словам самого Михаила Васильевича. Он рано заметил способности своего сына, не противился ему в выборе профессии. А ведь тогда во многих купеческих семьях было так: коль отец лавочник или купец, то и сыну уготована та же дорога.

Много поздней, после трудных лет ученичества, когда Михаил Васильевич стал художником и сам почувствовал это душой, он посылал отцу своему все статьи и рецензии о проходивших выставках, в которых говорилось и о его работах. Художник писал, что отец его «сделал все, что положено ему было, и сделал хорошо...»

«Я благодарен ему, что он не противился моему поступлению в Училище живописи, дал мне возможность идти по пути, мне любезному, благодаря чему жизнь моя прошла так полно, без насилия над собой, своим призванием, что отец задолго до своего конца мог убедиться, что я не обманул его доверия».

Мягкий и добрый сердцем, отец художника, как видим, был строг разумом. Он хорошо и четко осознавал роль и предназначение сына, талант которого предначертал ему совершенно другие пути, нежели были они у предков Нестерова. Внимательно следил отец за титанической работой сына. И был не простым созерцателем, а участливым, горячим, порою — требовательным наставником.

Михаил Васильевич вспоминал позднее:

«Мой отец давно объявил мне полусерьезно, что все мои медали и звания не убедят его в том, что я «готовый художник», пока моей картины не будет в галерее» — имеется в виду галерея П. М. Третьякова, обессмертившая десятки имен российских художников.

Вот вам и купец, вот вам и уфимский заштатный провинциал!

Или еще один пример высокой требовательности отца, о котором поведал художник своему биографу:

«Бывало, предложат мне заказ на образа и предлагают хорошие деньги. Напишешь в Уфу: «Брать или не брать?» Из дому отвечают:

«Не бери. Всех денег не заработашь. Тебе картины писать надо». А я и сам так думаю, — ну и с легким сердцем откажешься, бывало, от самых выгодных заказов...»

Отец художника уже тогда сознавал, что мазать образа и создавать картины — не одно и то же!

И сын гордо оправдал его надежды.

Не обделен был художник и материнской лаской. Будущий живописец был обязан матери жизнью своей вдвойне, ибо из двенадцати детей Марии Михайловны в живых остались лишь двое — дочь Сашенька и сын Михаил, названный так в честь деда по матери — Ростовцева.

До двухлетнего возраста мальчик был до того слаб и болезнен, что не чаяли, выживет ли он. Мать от него не отходила сутками...

«Эта борьба матери за жизнь сына, кончившаяся победой ее любви, вызвала и в сыне столь же горячую привязанность к матери»*.

Материнский образ хранил в своем сердце Михаил Васильевич всю жизнь. В нем виделся художнику главные черты русской женщины: ее величавая красота, терпеливость, трудолюбие, степенное достоинство русского национального характера. Образ матери художник воплотил, порою мельком, намеком, во многих своих женских персонажах. Но с особой страстностью и любовью запечатлен этот образ на знаменитом полотне «Святая Русь».

«Я рисовал ее больную, перед смертью, — рассказывал позднее художник. — Она не охотница была до портретов, но тут согласилась: «Ну что ж, нарисуй». И похвалила мои наброски. Я написал с нее схимницу — высокую, худую, спокойную, несмотря на недуг, — на большой картине «Святая Русь», последняя фигура справа. Такой она была перед смертью...»

Каждодневно, каждочасно переживала мать вместе с сыном его необычное увлечение искусством, его успехи и трудности на этом едином избранном пути. Была для него надежной опорой и верным другом.

Когда Мария Михайловна умерла 2 сентября 1894 года, буквально через пять дней, то есть уже 7 сентября, Нестеров писал своему другу А. Турыгину: «Покойная была с ясным, разумным мировоззрением, но с очень сильной волей и крайне деятельна; то, что она переделала в своей области, очень значительно и может служить красноречивым примером неутомимости в труде. Я потерял в ней не только мать, но и сознательно относящегося человека к моим планам, затеям».

* * *

...Однажды ехал я в элекстричке на дачу. За окнами мелькали березовые рощицы, золотились на склонах пшеничные поля, в прозелени ветвей голубела под солнышком Дема.

* Дурыйлин С. «Нестеров в жизни и творчестве». (Серия «Жизнь замечательных людей»). — М., 1965.

Рядом со мною на скамейке сидели молодой папаша и его верткий сынишка лет пяти-шести. Вижу я, что папаша детскую книжку с веселыми картинками перелистывает и сынишке показывает.

Папа спрашивает малыша:

— Что здесь нарисовано?

— Не знаю, — чистосердечно признался мальчик, напряженными глазами рассматривая переполох красок на офсетной бумаге.

— Ну подумай, подумай... У нас в доме это есть, — поясняет отец малышу, — то открывается, то закрывается...

— А, дверь! Дверь! — радостно крикнул мальчонка.

— Вот выдумщик, — тихо сказал омраченный папаша, не зная, кого винить за тугую сообразительность дитяти: то ли художника, намалевавшего в детской книжице невесть чего, то ли самого сынишку.

Я посмотрел через его плечо и увидел, что на книжной страничке «модерновЫй» художник изобразил обыкновенный зонтик, скорее похожий на гриб мухомор.

Кому нужны такие картинки и кому нужно подобное искусство, — подумалось мне, — если так понакручено-понаверчено, что обыкновенный зонтик можно с дверью перепутать?

Искусство только тогда вправе торжествовать, когда ему удастся условность или даже абстракцию подчинить высокой цели. Например, символ, абстракция вполне уживаются в прикладном народном творчестве: полотенца, расписанные красными петухами, косоворотки в цветастом орнаменте, старинные русские лубочные картины. Большой художник и в реалистическом изображении действительности полон невысказанных мыслей, символов, условностей, таких, какие заставляют думать и беззвучно плакать душой от светлой радости нахлынувших чувств.

Не воспоминания ли родичей о чудодейственном исцелении двухлетнего Миши, рассказанные впечатлительному отроку, повлияли позднее на богатый воображением разум, на горячее сердце художника?

Думается, повлияли, ибо не случайно Нестеров говорит, что на грудку ему положили образок Тихона Задонского. Грамотные, ученые, с высшим образованием люди, мы теперь совершенно не ведаем, кто такой этот нимбом увенчанный Тихон? Не знаем, что в мире он был Тимофеем Савельевичем Кирилловым. Его мужественное русское сердце явило пример глубочайшей деятельной любви к человеку, к его страданиям, болям, раздумьям. Собрание духовных писаний Тихона Задонского, устремленных своими выводами и концепциями не столько к всемогущему богу, сколько к необъяснимо глубокой душе человеческой, было в России переиздано не раз: первое издание осуществлено в 1825—1826 гг. — в пятнадцати частях, пятое издание выходило в конце прошлого века, в 1889 году.

К образу этого святого несколько раз обращался в своих бессмертных произведениях Федор Михайлович Достоевский: черты старца узнаются в Зосиме в «Братьях Карамазовых», в Тихоне в «Бесах», в Марке Долгорукове в «Подростке».

Как и Достоевский, Нестеров часто в своих картинах обращался к образу святого старца. Об этом он говорит в своих воспоминаниях.

Вглядитесь внимательнее в согбенного старичка с неказистой клюкой в немощных руках. «Пустынник» — это первая картина, приобретенная у художника взыскательным ценителем искусства П. М. Третьяковым в свою сокровищницу — Третьяковскую галерею. Это одна из немногих работ художника, где раскрыта во всем великолепии природа родного края. Мы узнаем в ярких деталях пейзажа знакомые берега реки Демы с уральской рябиной, с темными силуэтами редких елей. А сам старец, тихо семенящий вдоль бережка, пригнут тяжестью прожитых лет к земле. Но если внимательней взглядеться в согбенную фигуру человека, то можно заметить: годы могут состарить тело, душа же его в вечном стремлении к высоким идеалам, она молода и окрыленна, непобедима временем. «Зачем я пришел в этот мир? — кажется, спрашивают молодые глаза старца, вопрошает душа Пустынника. — Не затем же, чтоб насытить себя едой, ублажить свою похоть, состариться и отойти в небытие?.. Нет, не за этим природа соединила в себе живое и в том числе — человека...»

Мне кажется, в затаенном молчании изображенной Нестеровым природы есть горькая жалость к человеку. Не он ли разумом своим способен погубить и ее, и себя? Потому-то так благочестива она на его полотнах, тиха, беззащитна в ранимости своей. Она умиротворяющая, без бурь и ветра. И такую неизменчивую переходит с одного холста на другой, из картины в картину. Меняются места, пейзажи, но неизменным остается смысл великой природы.

Одним из выдающихся созданий во всемирной живописи явилась картина «Видение отроку Варфоломею». История ее создания хорошо известна, картина, кстати, писалась и в Уфе, и я не буду останавливаться на подробностях. Выражу лишь свое личностное отношение к творчеству великого земляка. Остановлюсь лишь на некоторых, казалось бы, мелких деталях, о которых, думается мне, никем еще не говорилось и не писалось вплоть до больших трактатов знающих искусствоведов.

В картинах Нестерова нет случайностей, все подчинено смыслу, идее. И совсем не случаен тот элемент, который заметил я после многих-многих знакомств с «Видением отроку Варфоломею». Тихий пейзаж без четкой перспективы, мягкие полутона приближающейся осени, придающие всему своеобычную умиротворенность, спокойствие, и только единственное живое существо — подросток — стоит, окаменев от увиденного. Лицо отрока, как и сама природа, в великом спокойствии, но чувствуется за этим покоем мятущийся дух подростка, ненайденность им пути своего к святости, чистоте и добру остро сквозит в сознании отрока Варфоломея. И вот я обнаруживаю для себя новую линию в картине, как второй план в художественной литературе. Рядом с подростком тихая беззащитная елочка, ее зеленый трезубец вершинки не готов еще к будущим бурям, к открытой борьбе за существование, она скромно прячется в увядающей траве и как бы с боязнью озирается окрест, где

живет, дышит, движется большой, не осознанный ею сложный мир. За плечами отрока стоит молоденькая, голенастая, тоже не окрепшая березонька, всего несколько зеленых веточек обрамляют ее ствол.

Все это — олицетворение молодости, беззащитности, неистребимой тяги к будущему, интересному, неведомому.

Старец же, увиденный не наяву, а воображением разгоряченного сознания худенького мальчика, предстает перед ним с таинственной святыней в руках, и сам старец изображен художником затаенно-таинственно, лица не видно, белым снегом намечен под темно-синей накидкой окрашек его седой бороды. Она светится чистотой первого снега, гораздо ярче и сильнее, чем нимб святости над головою старца. Весьма символично рядом с видением высится кряжистый дуб, сумевший устоять под натиском бурь и гроз. У ног старца — переломленное временем и вихрем невзгод деревце, вернее — всего одна ветвь его.

И эта символика, отнюдь не интуитивно найденная художником, усиливает впечатление и восприятие глубины философии величайшего создания Михаила Васильевича Нестерова.

Религиозная мистика не самоцель, это только одна черточка из многообразия художественных элементов, какими хотел передать Нестеров дух русского человека, его небесно-возвышенную чистоту, вечно устремленную к добру и свету душу. Она прежде всего некий символ, а не умышленный штрих, подчеркивающий религиозность русского народа, который, как мы знаем, больше верил в силу своего духа и разума, нежели в бога.

Поэтому-то перед величием и святостью видения стоит подросток не приниженным, не испуганным: малейшего удивления не наблюдается на его лице. Старец и отрок стоят друг перед другом, кажется, на равных, ибо внутренний голос говорит отроку о его будущей дороге, и не той, что изображена художником, идущей к монастырю, а другой, будущей, которая при усердии и вере в величие предназначения человека приведет его к тем самым исконным началам: благородству и светлости духа.

Это — символика, это — найденная им тема, это, наконец, манера его письма. Взять писателя. Когда в историческом полотне он, мастер слова, чтоб усилить, сделать достовернее описываемые им события, обращается к старинному обороту речи и закономерно пользуется, где надо, вышедшим из употребления словом. Прием этот не только оживляет описываемые события, но и создаст стиль писателя.

Нестеров не историк. Взгляд его в прошлое народа — такой же прием, особый стиль, чтоб сильнее, острее подчеркнуть правду минувшего времени.

Внимательно созерцая полотна художника, вдумываясь в их глубинный смысл, невольно замечаешь, что национальная гордость русского человека никогда, ни в какие исторические времена не была явлением биологическим. Это понятие скорее духовное, нежели продукт извечной работы мозга. Национальная черта русского характера нести доброту

людям. Завоевать добротой своего сердца дружбу других народов — вот главное в характере великой нации. Это и есть интернационализм.

Понимаю теперь, почему «Видение отроку...» горячо волновало Льва Толстого, Максима Горького, академика Павлова, почему картина волнует до сих пор любого рассматривающего ее. В найденных красках сокрыта глубина сердца, возвышенные устремления русского человека во все времена его нелегкой жизненной судьбы.

..Я снова, в который уж раз, поглядел на несмелую зелень далей, на лазорево-фиолетовые проблески «Видения отроку...» и странное чувство присутствия в этом мире ощутил с необыкновенной силой. Меня переполняла радость бытия. Замечалось все сразу и зримо, и слышимо, и духовно. Начало бытия и вечность, казалось, соединял в себе этот радужный холст.

Совсем недавно, перелистывая небольшую книжицу, изданную «Молодой гвардией», малоизвестного автора Анатолия Доронина «Художник Константин Васильев», я невольно обратил внимание на фамилии тех живописцев, кто своим творчеством влиял на формирование художнического мировоззрения нашего современника. Среди любимых были у Васильева еще и любимейшие: Васнецов, Крамской, Нестеров, Корин.

Какую же сокровенность, что родственно-сближающее сумел разглядеть у Нестерова молодой художник, рано ушедший из жизни? Картины Васильева действительно потрясают новизной красок. Кажется, художник находится на самой грани псевдо-русской сусальности типа новогодних расписных открыток. Но нет, он не переходит эту грань, остается на высоте в передаче характеров, каких-то неразгаданных движений чисто русской души.

Неопытному взору даже бриллианты могут показаться обычным стеклом. Их внешняя схожесть бесспорна. Но стекло, как ни верти его в руках, всегда останется холодным, бесстрастным. А вот настоящий бриллиант стоит только повернуть его чуть-чуть, тут же заиграет ослепительным блеском неповторимых граней.

Таковы картины Константина Васильева, к сожалению, мало пока известные широкому кругу зрителей. Молодой советский художник с глубоким пониманием воспринял нестеровское видение мира, его своеобразную символику.

В связи с этим любопытно, какое влияние оказало и оказывает творчество Нестерова на его земляков, мастеров кисти, отличительных друг от друга художников Башкирии.

Борис Федорович Домашников, народный художник СССР, пленительный лирик, в последнее время — громкий певец Красной площади в Москве, говорит:

«Для меня Михаил Васильевич Нестеров был и остается великим учителем, добрым наставником.

Живопись его не ярка, но деликатна, скромна по рисунку, изящна и стройна по исполнению.

Стремление души человеческой к великому — к доброте и правде — уловил и воплотил в своих картинах Нестеров. Это ему настолько удалось, что за всей кажущейся патриархальностью, за дедовской Русью мы и до сего дня созерцаем в его картинах неистребимую возвышенную сущность русского народа с его вечным стремлением к добру и миру на земле.

Еще начинающим художником, на первом курсе Училища, я впервые увидел его полотна и влюбился в Нестерова, в его благородство. Когда-то я делал копию с нестеровского этюда «Два лада» и всем своим существом художника почувствовал притягательную силу не только самих картин, но и самого художника как личности, всего огромного творчества его.

После семнадцатого года Нестеров пришел опять-таки к портрету, к людям. Он как бы не менялся всю жизнь: та же духовная отдача, вдумчивость, любовь к человеку. В советской портретистике его портреты — это духовное явление.

И вот этой-то духовной самозабвенной отдаче учился я у Нестерова...»

А вот как отзывается о своем земляке певец Башкирии, замечательный мастер портрета, заслуженный художник РСФСР Ахмат Лутфуллин:

«По всей сути картин, по выбору тем и красок мое творчество далеко от Нестерова. Мы отличаемся в манере изображения «давних дней», хотя меня, как и его, волнует история родного народа, его характер, думы и чаяния. Поиск тончайших движений души народной — вот что прежде всего привлекает в Нестерове. Над ним не властны ни всевозможные моды, ни разнообразные течения, он весь в вечности.

И еще один немаловажный момент. Нсобъяснимая молодость воплощена Нестеровым. Я смотрю на его полотна и за полутонами найденных красок вижу крепкие крылья, сокровенную силу вечно молодой России.

Нестеров покоряет меня своими точными, какими-то просто одухотворенными портретами. Его синий фон, сливаясь с голубоватым колоритом, на многих портретах, например, на портрете Льва Толстого и Н. М. Нестеровой, дочери художника, дышат теплотой и вечной радостью жизни...»

Один из башкирских художников более молодого поколения Файзрахман Исмагилов выразил свое отношение к творчеству Нестерова так:

«Для меня нестеровские творения кажутся недосягаемой высотой. Картины его захватывают целиком и полностью воображение, они дышат величием, покоряют высотой мысли.

Работая над новыми картинами, отойду от мольберта, пригляжусь, подумаю: а как бы увидел он эту же, рисуемую моим воображением картину? Так, как я, или совершенно по-другому? Одобрил бы или нет? Становится страшно, что за спиной стоит великий земляк, пристально наблюдает... Как бы оценивает тебя, твою работу. И ощущение это придает сил...»

Не так давно в пригороде Браззавиля, в Конго, я побывал в знаменитой на всю Африку и известной в мире школе молодых художников со странным названием «Пото-Пото». Вдоль выставленных для продажи картин, ярких и необычных, водил меня популярный и за пределами Конго негритянский художник Зигама. Несколько его эскизов я купил тогда, и сейчас они висят в моем рабочем кабинете. Они бесхитростны, эти картины, написанные акварелью на ватманской бумаге. В них нет терпеливого и мучительного поиска всевозможных оттенков красок и полутонов. Они написаны и не в манере примитивистов, и не в суровой требовательности реализма: несколько четких красок, например, черной с голубой и красной, и все на этом. Но в самой простоте есть нечто своеобразное, неповторимое, какое-то дыхание жгучей Африки.

Я спросил тогда у художника, какое из направлений в живописи ему ближе по духу: импрессионизм, абстракция или же сюрреализм?

Совсем неожиданно для себя я вдруг услышал в ответ:

— Нет, — сказал Зигама, — главное — это реализм! Художник обязан передать правду о своем народе.

Неволью я удивился, ибо африканская живопись на первый взгляд далека от реальной действительности. Это, скорее, символика, нежели реально отображенный мир. На мой взгляд, сейчас так пишут примитивисты. Внимательнее взглядевшись в картины и рисунки, исполненные представителями школы «Пото-Пото», я понял смысл сказанного африканским художником: только внешняя видимость рисунка и линий носят характер символа, глубинный же смысл этих картин вполне реален, он отображает жизнь, думы и стремления народа.

Лучшие полотна Нестерова, выполненные по всем требованиям классических норм, внешне несут в себе некую мистическую символику. Тем не менее, они остаются проникновенно реальными.

Многие искусствоведы объясняют отход Нестерова к религиозным исканиям тем фактом, что якобы после поражения России в русско-японской войне и революции 1905—1907 гг. в стране наступил реакционный период подавления всего прогрессивного, живого, мыслящего. Это, мол, вынудило художника отойти от реальности, углубиться в мистику.

Действительно, как справедливо отмечает в предисловии к «Воспоминаниям» М. В. Нестерова издания 1985 года А. А. Русакова, в результате всех этих событий художник пережил глубокий духовный кризис, общественные потрясения подействовали на него с необычайной силой. Достаточно вспомнить в связи с этим признание самого художника, сделанное им в «Воспоминаниях», о том, с каким горьким чувством встретил он, будучи за границей, известие о падении Порт-Артура.

Однако нельзя согласиться с утверждением, что в этот период М. В. Нестеровым овладели «пессимистические взгляды на мир, вера в то, что единственное спасение России и русского народа — в религии, в поисках бога». Дело здесь гораздо сложнее.

В одной из своих статей — «Эскиз» — художник мельком говорит об этой стороне своего творчества, относя себя к «бессознательно носящему особые задания религиозных исканий».

Думается, именно поиск привел Нестерова к углубленной символике, за которой ясно видится живая душа человека. И вряд ли знающие творчество художника будут настаивать на каком-то уходе его от реализма, потому что многие картины на религиозные темы были или задуманы, или уже осуществлены им задолго до первой русской революции 1905 года. Та же картина «Святая Русь» к этому времени была завершена Нестеровым. В подтверждение ранее высказанного, что религиозная символика художника — это прежде всего поиск народом святости, светлости, добра и счастья, можно остановиться хотя бы на одной из его картин — «Душа народа» («На Руси»), работать над которой он начал вплотную в 1914 году. А идея создания ее зародилась давно, еще в 1907 году. Подспудно работа продолжалась долго. Для нее было сделано множество подготовительных этюдов, эскизов, набросков, выполненных прекрасно по своему художественному воплощению. Объемные по форме, они — эти заготовки — представляются сейчас чуть ли не как самостоятельные произведения. Живописные рисунки русских женщин, мужиков, детей удивляют жизненной правдой, точной детализацией вплоть до самых-самых, казалось бы, мелочей.

Картину эту Нестеров закончил в 1916 году. Она вызвала бурные и разнообразные споры во всех кругах тогдашнего московского общества.

Нестеров изобразил на полотне конкретное место берега Волги, к которому медленно движется большая разноликая людская толпа. Это — русский народ всех времен и сословий. Здесь изображены царственная особа и рядовой солдат, мужики и бабы, монахи и монашенки, юродивый и девушка, среди них рельефно выписаны знакомые всему миру лица: Лев Николаевич Толстой и Федор Михайлович Достоевский. А впереди всех легко, будто бы по воздуху, ступает мальчик в крестьянской одежде. Он далеко оторвался ото всей остальной толпы, словно торопится обогнать всех, прибежать первым туда, куда влечет вечно ищущую душу. В одной его руке берестяной туесок, другая — плотно прижата к груди.

Совсем не случайно художник долго не мог остановиться на выборе названия этого грандиозного полотна. Первоначально он назвал ее «Христиане», затем — «Верующие», а глубинный смысл картины заключался вот в чем: одним из названий было и такое — «Алчущие правды». Вот тема не только этой картины, но и многих, многих других его полотен. По словам самого Нестерова, основная ее мысль соответствует евангельскому тексту: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко тки насытятся». В одном месте в «Воспоминаниях», говоря о журнале «Новый путь», художник глубоко раскрывает себя. Одной фразой сказано чрезвычайно многое: «...тогда группа интересных писателей.., казалось, найдет новый путь к познанию России, россиян, их скрытых дум, заветных

чувств, мыслей. Откроет тайну, давно утерянную, как любить божеское и человеческое».

Высокое предназначение человека. Высокое до святости! Отобразить это стремление народа было всегда главенствующим в творчестве Нестерова. И он за все восемьдесят лет своей жизни даже не приблизился к ее концу, ибо тема была неисчерпаема, как любовь и смерть, как схватка добра и зла, то есть классические вечные темы.

Так что утверждать какой-то отход Нестерова в сторону мистики неверно. Он был и остается великим художником-реалистом. Его картины говорят людям: человек, будь одухотвореннее, богаче духом, строже к себе... Не забывай о своих корнях, думай о Родине, радей для нее.

Все его творчество — это благовест русскому человеку и русской природе.

Оглядывая большое наследие художника, родившегося в Уфе, невольно думаешь, а почему же в своем творчестве он не во всю полноту своего таланта показал Башкирию, Урал и даже саму Уфу. Не буду ли я в противоречии с самими собою, восхваляя достоинства его картин, широту мышления, глубину взглядов, ибо всегда мне приходилось отстаивать одну из главнейших сторон творческой личности, будь это художник или писатель, — творить неразрывно с той землей, с тем народом, где живешь?

Безусловно, М. В. Нестеров — чистейший русский национальный художник. И где бы ни оказалась его картина, увидевший ее, хотя бы намеком и вскользь знающий Россию, немедля определит для себя, что писалась она русским человеком. И не только потому, что пейзаж на полотне российский, нет, он увидит всю суть — душу россиянина. Художник всем своим творчеством утверждал великое духовное постоянство русского человека, начиная с далеких эпох и уходящее в неизмеримо далекое будущее.

Да и сама Уфа в те дореволюционные годы была чисто русским городом с небольшими деревянными и редкими каменными домами, с глухими заборами, над которыми свисали заросли хмеля, ветки бузины и сирени. Со всех сторон виднелись купола церквей, знаменитый собор на берегу Белой, где казнили сподвижника Пугачева — Чику Зарубина. Ныне там стоит гранитный памятник в честь 400-летия добровольного присоединения Башкирии к Русскому государству.

Нестеров не стал певцом того края, где родился, но уральский пейзаж в стороне от его творчества не остался. На некоторых полотнах с большой любовью художник изобразил природу родной его сердцу Башкирии.

И еще об одном моменте, связывающем художника с Башкирией, свидетельствующем о привязанности к ней, хочется сказать особо.

Хотя в своих «Воспоминаниях» М. В. Нестеров не останавливается на подробностях общественно-политических и социальных событий, происходивших в Уфе и в Башкирии в период творческой зрелости художника, будет безосновательно утверждать, что подробности эти не ему известны и не волновали его. Так, он с большим сочувствием относился

к благотворительным поездкам по башкирским деревням сестры своей А. В. Нестеровой, которая в эти годы — 1905—1910 — помогала голодающим крестьянам окраинных и прилегающих к Уфе волостей. И после смерти сестры дал недвусмысленную, характеризующую и его самого оценку этой деятельности:

«Узнают ее друзья башкиры и хохлы, что не стало той, что так самоотверженно отнимала их у голодной смерти. Помянут ее добрым словом — в этом и была ее земная слава».

Много сил и энергии отдал Нестеров росписи соборов и церквей. Кажется, ему нетрудно было «утонуть, сгинуть» в бездне этой бесконечной работы. И сам он порою боялся того, видя свою главную задачу не в росписи религиозно-культовых сооружений, а в картинах для народа. Поэтому в его «Воспоминаниях» мы так часто встречаем фразу: «Но я отказался...» Ему предлагают князья и княгини, вплоть до четы известных Юсуповых, меценаты и наследники престола расписать кто церквушку, кто личные апартаменты, но художник все чаще и чаще не соглашается, отвечает отказом, пока наконец вовсе не прекращает это доходное, но не волнующее его сердце дело.

Создав огромное количество значительных картин, эскизов, рисунков, портретов, он всегда оставался необычайно скромным, требовательным к себе. Он сознавал, что только ежедневный непрерывный труд оставляет его на волне творческого успеха. Как-то, зайдя за кулисы театра, где выступал Шаляпин, художник обратил внимание на рететирующего в поте лица знаменитого певца. Он поразился, вновь убедившись, что даже такой величайший талант, вроде бы данный тому самой природой, должен беспрерывно совершенствоваться.

О необычайной его скромности говорит и такой факт: в статье о Павлове, готовясь выполнить его знаменитый и великолепный портрет, художник замечает о себе: «Я не считал себя опытным портретистом, не решался братья не за свое дело...»

Даже в самые тяжкие дни, наполненные до предела болезненными переживаниями, художник не бросал кисти. В 1898 году в частном институте, в Киеве, вспыхнула эпидемия скарлатины. Тяжело заболела двенадцатилетняя дочь — Олюшка. Начались операции.

И в это тяжелейшее время, живя в Киеве, отец-художник продолжал работать. В те дни он самозабвенно трудился над картинами «Димитрий царевич убиенный» и «Преподобный Сергей».

Михаил Васильевич Нестеров, кроме главного своего дела, любил писать. Ему хотелось запечатлеть словом происходящие события, появлялась тяга к самовыражению. Он оставил после себя тысячи писем, большинство которых еще не издано, оставил книгу «Воспоминания», множество статей и заметок.

О литературном его даровании неоднократно говорил М. Горький. Воспоминания и статьи эти полны поэзии, одухотворены чистой

взглядов на жизнь. Они написаны просто, лирично, на едином дыхании. Особенно они приятны нам, землякам Нестерова, ибо часто перед глазами встают родные пейзажи, близкие названия городов, сел, местностей. От описания прежней Уфы с ее бревенчатыми домиками в резных наличниках веет стариной. Трогательно, тепло, проникновенно описывает он свои первые встречи с будущей женой — Машей. Со слезами на глазах пишет о ее преждевременной смерти.

А вот отрывок из «Воспоминаний», в котором художник рассказывает, как он искал типаж для своего «Пустынника». Это настоящая новелла, емкая, блистательная, со своей внутренней сюжетной разработкой.

Упруго и темпераментно написан очерк о художнике В. И. Сурикове. Живой картиной предстают перед читателем важнейшие моменты из жизни сибирского исполина кисти. Это и смерть жены Сурикова, его отчаяние, неустойчивые посещения кладбища, и, наконец, развернутое описание первой встречи Нестерова с картиной Сурикова «Покорение Сибири».

Прекрасные, точные слова находит Нестеров для краткой характеристики суриковской картины «Меншиков в Березове». Назвав Сурикова потомком Ермака, он делает лаконичный и смелый вывод: «В нем жили все его герои, каковы бы они ни были», — вот характеристика своего старшего собрата. Четко и ясно!

Как отдельный короткий рассказ, полный юмора и житейской остроты, воспринимается описание встречи за пельменями. Важное, значительное по смысловой нагрузке действие развивается по сюжетной канве как народная сказка, со всеми присущими ей атрибутами.

Очерк о Сурикове чрезвычайно интересен не столько широтой описываемых событий, сколько душевным трепетом самого автора, высоко ценившего творения старшего друга. И даже в том, как тонко обошел Нестеров последнее десятилетие жизни Сурикова, не рассказывая об их каких-то переломных моментах, чувствуется мастерство Нестерова-писателя.

Тепло и чисто написан очерк-воспоминание о друге, с которым будет связан почти всю жизнь, о Васнецове. За точными деталями, за беглыми фразами встает исполинская фигура автора знаменитых «Трех богатырей».

По-писательски углубленно, по-дружески тепло написаны очерки о В. Г. Перове, Н. А. Ярошенко, польском художнике Яне Станиславском и, конечно же, о друге молодости замечательном художнике Исааке Левитане. У Нестерова было развито чутье не только на человеческие характеры, но и на значимость того или иного художника. Он разгадал будущность многих судеб русских выдающихся художников, когда они были еще живыми, ходили рядом с ним, были буднично доступными. А ведь суждения о живых часто бывают ошибочными.

Статьи М. В. Нестерова, его письма, воспоминания, путевые заметки о заграничных путешествиях еще глубже раскрывают нам внутренний мир художника реалиста, искателя смысла жизни, ее Правды.

Стиль, язык Нестерова в его автобиографических писаниях, может быть, у дотошных, утонченных эстетов вызовут замечания, но ведь художник стремился к точности передачи фактов и своего отношения к ним, а не к внешней словесной изощренности. Многие страницы, особенно из «Воспоминаний», не были в свое время отредактированы их автором. Однако и к языку Нестеров имел чутье немалое, он искал слова, строил фразы, доходя порою до собственного словотворчества.

Таков М. В. Нестеров.

Кактус цветет редко. Годами стоит он на подоконнике, колючий, невзрачный, неказистый... Но вот однажды ранним утром подойдешь к окну, и взору твоему предстанет изумительно нежный цветок. Всего один невиданно доверчивой красоты цветок на колючей веточке кактуса. Это — большое терпение воздается таким прекрасным цветком.

И так всегда и во всем...

Трудолюбивый наш земляк долго, терпеливо впитывал в себя всю безграничную сложность видимого мира, пропускал через нежное сердце и возвращал людям в правдивых, ласкающих взор красках. Художник Михаил Васильевич Нестеров, прожив долгую наполненную творческим вдохновением незаурядную жизнь, воплотил в своих картинах и дух старины, и вечную молодость Родины, и становление искусства советской эпохи. Его творчество явилось настоящим связующим мостом от старого мира к новому. Свидетель дореволюционных событий, работавший рядом плечом к плечу, кисть к кисти с выдающимися и великими русскими мастерами, он успел еще захватить два с половиной десятилетия советского периода и стать душой молодого поколения новых художников. Его любили, прислушивались к словам русского патриарха мольберта и кисти. Он был интересен как личность, но более всего — своими замечательными картинами, чарующими нас до сегодняшних дней.

Имя нашего земляка с благодарностью будут произносить потомки, помня его трепетные краски на живописных полотнах, картинах, блестящих портретах Л. Толстого, В. Васнецова, И. Павлова, братьев Коринных, скульптора В. Мухиной.

Александр Филиппов



ВОСПОМИНАНИЯ

ОТ АВТОРА

Кто не знает, что воспоминания, мемуары — удел старости: она живет прошедшим, подернутым дымкой «времен минувших». И это придает им особый аромат цветов, забытых в давно прочитанной «книге жизни».

В предлагаемых очерках, в некоторых воспоминаниях о людях, об их деяниях, о том, о чем люди когда-то думали-гадали, прочитавший очерки, быть может, найдет немало субъективного, но иначе оно и быть не может, так как моей задачей и не было вести протокольную запись виденного, слышанного, и в очерках своих я говорю так, как понимаю и чувствую, несколько не претендуя на непогрешимость.

Природа моя была отзывчива на явления, жизни, на людские поступки, но лишь Искусство было и есть моим истинным призванием. Вне его я себя не мыслю, оно множество раз спасало меня от ошибок, от увлечений.

В искусстве, в темах моих произведений, в их настроениях, в ландшафтах и образах беспокойный человек находил тихую заводь, где отдыхал сам и, быть может, давал отдых тем, кто его искал.

Я избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, живущего внутренней жизнью. И в портретах моих, написанных в последние годы, влекли меня к себе те люди, путь которых был отражением мыслей, чувств, деяний их.

Москва, июль 1940 года

В тихий весенний вечер 19 мая 1862 года, в Уфе, в купеческой семье Нестеровых произошло событие: появился на свет божий новый член семьи. Этим новым членом нестеровской семьи и был я. Меня назвали Михаилом в честь деда Михаила Михайловича Ростовцева.

Родился я десятым. Было еще двое и после, но, кроме сестры и меня, все дети умерли в раннем детстве.

Род наш был старинный, купеческий: Нестеровы шли с севера, из Новгорода, Ростовцевы — с юга, из Ельца.

Отец мой — Василий Иванович — был человек живой, деятельный, по общему признанию, щепетильно честный. В домашнем быту всецело подчиненный воле матери, вне дома, однако, проявлявший, где надо, характер твердый, прямой. Вообще же отец был горячий, своеобразный и независимый. Бывали случаи с ним совершенно анекдотические. Помню, как однажды принял он приехавшего с визитом нового губернатора.

Отец был тогда большим стариком, лет семидесяти, и по положению своему весьма заметным в городе, и новые губернаторы и архиереи делали обычно ему визиты, и отец, смотря по тому, какая слава тому предшествовала, приказывал принимать или не принимать, когда те приезжали к нему.

И вот однажды такой губернатор, с плохой славой, приехал невзначай. Отец узнал о приезде в тот момент, когда его превосходительство уже входил в переднюю, одна из дверей которой вела в зал, другая в кабинет отца, и он, ничтоже сумняшеся, приоткрыв дверь, громогласноскомандовал нашей девушке Серафиме, встретившей уже гостя: «Скажи ему, что меня дома нет...»

Ясное дело, что дальнейшее знакомство при таком приеме продолжаться не могло.

Нередко бывали случаи, что отец особо надоедливым дамам-покупательницам наотрез отказывал продавать модный товар, говоря, что товар этот у него есть, но он «непродажный», и все упрашивания провинциальных дам, «приятных во всех отношениях», не изменяли решений отца.

Когда отец убедился, что я — его единственный наследник — к торговле не гоюсь, он постепенно стал сокращать дело, а затем и совсем прикончил его. А так как он был очень трудолюбив и без дела оставаться не мог, то скоро и нашел себе занятие по душе: его выбрали товарищем директора открывшегося тогда Общественного городского банка, одним из инициаторов коего он числился.

Я помню это время. Отец исполнял свои новые обязанности со всей аккуратностью, ему присущей. И он особенно ценил то, что его имя как бы служило гарантией тому, что новый банк оправдает надежды, на него возлагаемые, как на учреждение надежное, солидное. Таким оно и оставалось до конца.

И тут были курьезы. Не раз он поднимал ночную тревогу. Будили и приглашали в банк по этой тревоге и директора, и еще каких-то служащих только потому, что отцу померещилось, что, когда заирали кладовую банка, то не были положены печати, или еще что-нибудь в таком роде. В городе о таких тревогах старика знали, благодушно о них говорили и спали спокойно, зная, что, пока Василий Иванович к банку причастен, там все будет прочно.

Отец умер глубоким стариком — восьмидесяти шести лет. Я благодарен ему, что он доверился опытному глазу К. П. Воскресенского и не противился, отдавая меня в Училище живописи, пустить меня по пути ему мало симпатичному, мне же столь любезному, благодаря чему моя жизнь пошла так полно, без насилия над самим собой, и я мог отдать силы своему настоящему призванию. Еще задолго до смерти отец мог убедиться, что я не обманул его доверия. Из меня вышел художник. При нем был пройден весь главный мой путь до Абастумана включительно.

К моей матери я питал особую нежность в детстве, хотя она и наказывала меня чаще, чем отец, за шалости, а позднее, в юности и в ранней молодости, мать проявляла ко мне так круто свою волю, что казалось бы естественным, что мои чувства как-то должны были бы измениться. И, правда, эти чувства временно переменялись, но, однако, с тем, чтобы вспыхнуть вновь в возрасте уже зрелом. В последние годы жизни матери и теперь, стариком, я вижу, что лишь чрез-

мерная любовь ко мне заставляла ее всеми средствами, правыми и неправыми, так пламенно, страстно и настойчиво препятствовать моей ранней женитьбе и вообще искоренять во мне все то, что она считала для меня — своего единственного и, как она тогда называла меня, ненаглядного — несущим и бесполезным.

В раннем моем детстве я помню мать сидящей у себя в комнате за работой (она была великая мастерица всяких рукоделий), трогательно напевавшей что-то тихо про себя; или она была в хлопотах, в движении, обозревающая, отдающая приказания в своих владениях, в горницах, на дворе, в саду. Ее умный, хозяйский глаз всюду видел и давал неусыпно себя чувствовать.

Особенно прекрасны были годы ее старости, последние годы жизни ее. Тогда около нее росла внучка, моя дочь от покойной жены. Вся нежность, которая когда-то, по каким-то причинам была недодана мне, — обратилась на внуку. Какие прекрасные картины и доказательства горячей любви я находил в мои приезды в Уфу уже из Киева, где я принимал тогда участие в росписи Владимирского собора. Тогда мною были написаны уже и дали моим старикам большое удовлетворение и «Пустынный», и «Варфоломей». Какие слова, ласку не видал я тогда дома и лично, и в лице моей маленькой дочери Ольги... Каких явств не придумывала изобретательность матери в те незабвенные дни, каких прекрасных душевных разговоров не велось тогда между нами... Мне казалось, да и теперь кажется, что никто и никогда так не слушал меня, не понимал моих юношеских планов, художественных мечтаний, как она, необразованная, но чуткая, жившая всецело мною и во мне — моя мать. Сколько в ней в те дни было веры в меня, в мое будущее.

Мне удалось быть около нее в последние дни и часы ее жизни и слышать самые лучшие, самые прекрасные слова любви, ласки, обращенные ко мне. Умирая, она сознавала и была счастлива тем, что ее «ненаглядный» нашел свой путь и пойдет по нему дальше, дальше, пока, как и она, не познает «запад свой»!.. Царство ей небесное, вечный покой!

С сестрой у нас была в годах разница в четыре года. Она, как старшая, в детстве, а позднее в юности и в молодости, нередко проявляла свое старшинство не так, как бы я того хотел. В детстве игры, да позднее и многое другое, нас не столько объединяло, сколько разъединяло. Наши вкусы, стремления, а быть может, и какая-то неосознанная ревность к матери, были причиной немалых наших столкно-

вений, обид... Но настало время, все было забыто, и мы стали с сестрой истинными друзьями.

В характере сестры были материнские черты. Она была властная, твердая в проведении своих жизненных правил, безупречно честная. Ум ее был прямой, ясный. Она, как и наши родители, не любила показной стороны жизни. Чем она увлекалась, тому посвящала всю свою силу, досуг без остатка.

Я, повторяю, узнал сестру вполне и оценил ее во второй, серьезной половине ее жизни. После смерти матери она проявила себя достойной ее преемницей. Она много и охотно читала. Но в ранней молодости любила наряжаться, причем, выписывала модные журналы, шила и изобретала себе наряды сама, и тогда говорили, что одевалась она лучше всех в городе. Но это увлечение прошло с годами, и она, как человек обеспеченный, продолжала много читать. В эти годы она стала воспитательницей моей дочери, отдавая всецело свои силы, ум и сердце этому делу. Когда же дочь поступила в институт, сестра, следя за своей любимицей, много уделяла времени общественным делам, особенно в тяжелые годы голода. Она и тут предпочитала работу на местах комнатным разговорам. Она на несколько месяцев покидала свой дом, уезжала куда-нибудь в отдаленную татарскую деревню и там, подвергая себя всяческим лишениям, организовывала помощь, вела дело энергично, деловито, входя всецело в нужды голодающих. И когда все было устроено, она, удовлетворенная, возвращалась к себе, снова бралась за любимое занятие — чтение. В это время, да и после, к ней приезжали за разными советами, с благодарностью шли к ней все те, кто узнавал ее там, в отдаленных деревнях, где было так холодно и голодно. Эти наезды деревенских ее друзей — разных Ахметов и Гасанов — доставляли ей огромное удовлетворение, она вся жила их радостями, их горем.

Сестра долго мечтала о возможности поездки в Италию, и эта ее мечта осуществилась. Мы втроем — я, она и моя старшая дочь Ольга — собрались-таки за границу. Нужно было видеть сестру в Венеции, в гондоле, в музеях Флоренции, Рима, наконец, в Неаполе, на Капри. Это время было самое счастливое в ее жизни. Она видела Италию, дышала ее воздухом. С ней были любимые люди, а впереди ждала ее последняя радость — замужество ее воспитанницы.

А за ним настал и грозный час. Пришла смерть.

Дед мой Иван Андреевич Нестеров был из крестьян, и род наш был крестьянский, новгородский. При Екатерине II Нестеровы переселились из Новгорода на Урал и там на заводах закрепились. Про деда известно, что он вышел в вольные, был в семинарии, позднее записался в гильдию и, наконец, был Уфимским городским головой лет двадцать подряд. По рассказам, он был умен, деятелен, гостеприимен, отличный администратор, и будто бы однажды известный граф Перовский, оренбургский генерал-губернатор, посетив Уфу, нашел в ней образцовый порядок и, обратившись к деду, сказал так:

— Тебе, Нестеров, надо быть головой не здесь, а в Москве!

По сохранившемуся портрету дед был с виду похож на администраторов того времени. Изображен в мундире с шитым воротником, с двумя золотыми медалями. Он имел звание «степенного гражданина». Очень любил общество, у него, по словам отца и тетки, давались домашние спектакли, и в нашей семье долго сохранялась афиша такого спектакля, напечатанная на белом атласе. Шел «Ревизор». Среди действующих лиц были дядя мой Александр Иванович (городничий) и мой отец (Бобчинский).

Дед не был купцом по призванию, как и ни один из его сыновей. Умер он в 1848 году от холеры. У него было четыре сына. Из них старший — Александр Иванович — был одарен необычайными способностями. Он отлично играл на скрипке, будто бы сочинял — композиторствовал. Играл на сцене бесподобно, особенно роли трагические («Купец Иголкин» и другие). Любил читать и не любил торговли.

Судьба его была печальна. В те времена, как и поздней, на Урале, на заводах, бывали беспорядки. И вот после таких беспорядков в Уфимскую тюрьму была доставлена партия рабочих. Каким-то путем они установили связь с моим дядей Александром Ивановичем, и он взялся доставить их прошение на высочайшее имя. Подошла Нижегородская ярмарка, и дядя был отправлен туда дедом по торговым делам. Кончил их и, вместо поездки домой в Уфу, махнул в Петербург. Остановился на постоялом дворе, узнал, где и как можно передать государю свою бумагу, и, так как ему посоветовали это сделать через наследника Александра Николаевича — будущего императора II, то дядя и решил увидеть его.

Тогда времена были простые. Высочайшие особы держали себя не так, как позднее, гуляли по улицам, в садах, и дядя задумал подать свою челобитную наследнику

в Летнем саду, где тот имел обыкновение прогуливаться в известные часы. Ему очень посчастливилось. Действительно, наследника он увидел гуляющим на одной из дорожек сада, приблизился к нему и, опустившись на колени, подал челобитную с объяснением содержимого в ней. Был милостливо выслушан и отпущен обнадеженным. Счастливый, вернулся на постоялый двор, но в ту же ночь был взят, заключен в тюрьму и с фельдъегерями выслан в места отдаленные...

Очевидно, наследник в тот же день представил челобитную императору Николаю Павловичу, а тот взглянул на дело по-своему, — остальное произошло как по щучьему велению.

Дядю Александра Ивановича я помню хорошо. Он жил у нас в доме после ссылки уже стариком. Все пережитое наложило след на его здоровье, психически он не был в порядке.

Внешне он в те дни напоминал мне собой художника Н. Н. Ге. Те же манеры, та же голова с длинными волосами, даже пальто, вместо пиджака, точь-в-точь, как у Ге в последние годы его жизни. Его героем в то время был Гарибальди, личными врагами — Бисмарк и папа Пий IX. Жестоко им доставалось от старого «революционера».

Дядя и стариком любил играть на скрипке, для чего уходил летом в сад. Зимой любил баню и после полкá любил выбежать на мороз, окунуться в сугроб и затем — опять на полóк. И это тогда, когда ему было уже за семьдесят. Умер он глубоким стариком в Уфе же.

Дядя Константин Иванович — был врач-самоучка.

Из теток — Елизавета Ивановна Кабанова отличалась, как и дядя Александр Иванович, либеральными симпатиями. Тетка Анна Ивановна Ясеменова, напротив, была консервативна. В молодости она хорошо рисовала акварелью, и для меня было большой радостью иметь ее рисунок. Особенно я помню один — «Маргарита за прялкой». Там, мне казалось, как живой, был зеленый плющ у окна. Несомненно, ее рисунки в раннем детстве оставили какой-то след во мне.

Деда Михаила Михайловича Ростовцева я не помню. Знаю от матери, что Ростовцевы приехали в Стерлитамак из Ельца, где дед вел большую торговлю хлебом, кажется, у него были большие гурты овец. Он был с хорошими средствами. Был мягкого характера и, видимо, очень добрый. Вот и все, что я знаю о нем. О бабушках я ничего не помню, они умерли задолго до моего рождения.

У деда Михаила Михайловича было три сына и три дочери. Старший — Иван Михайлович — бывал у нас, когда приезжал из Стерлитамака. Он был неприветливый, говорят, любил больше меры деньги.

Второй—Андрей Михайлович—жил на мельнице, и я его не помню, а третий—самый младший, очень добродушный, безалаберный, с большими странностями, богатый, женатый на красавице из дворянок, к концу жизни все спустил, и если не нуждался, то должен был сильно себя сократить.

Ни один из детей Ростовцевых никакими дарованиями себя не проявлял.

Из дочерей деда Михаила Михайловича старшая — Евпраксия Михайловна — была неизреченно добрая и глубоко несчастная. Я знал ее старушкой и очень любил. Ее время от времени привозили к нам погостить. Она одна из первых видела и по-своему оценила мои живописные способности. Про «Пустынника» она, увидев его, сказала мне: «Старичок-то твой, Минечка, как живой!», и это ему, моему «Пустыннику», было как бы благом напутствием.

Вторая дочь Михаила Михайловича была моя мать — Мария Михайловна, а третья — Александра Михайловна — наиболее, так сказать, культурная из всех сестер. Александра Михайловна была очень хорошим, умным человеком. Она была замужем за неким Ивановым, человеком редких нравственных правил. Он из небольших почтовых чиновников дослужился до начальника почтового округа, до чина тайного советника и своей справедливостью благородством и доступностью снискал от подчиненных, особенно от низших служащих, совершенно исключительную любовь. Это был один из прекраснейших и самых почтенных людей, каких я знал. Он был красив, скромен и ясен особой ясностью справедливо и честно прожитой жизни.

Помнить себя я начал лет с трех-четырёх. До двух лет я был слабым, едва выжившим ребенком. Чего-чего со мной ни делали, чтобы сохранить мою жизнь! Какими медицинскими и народными средствами ни пробовали меня поднять на ноги, а я все оставался хилым, дышащим на ладан ребенком. Пробовали меня класть в печь, побывал я и в снегу на морозе, пока однажды не показалось моей матери, что я вовсе отдал богу душу. Меня обрядили, положили под образ. На грудь положили небольшой финифтяный образок Тихона Задонского. Мать молилась, а кто-то из близких поехал к Ивану Предтече *¹ заказать могилу возле

* Примечания даны в конце книги. — *Сост.*

дедушки Ивана Андреевича Нестерова. Но случилось так: одновременно у тетушки Е. И. Кабановой скончался младенец, и ему тоже понадобилась могилка. Вот и съехались родственники и заспорили, кому из внуков лежать ближе к дедушке Ивану Андреевичу... А той порой моя мать заметила, что я снова задышал, а затем и вовсе очнулся. Мать радостно поблагодарила бога, приписав мое воскресение заступничеству Тихона Задонского, который, как и Сергей Радонежский, пользовался у нас в семье особой любовью и почитанием. Оба угодника были нам близки, входили, так сказать, в обиход нашей духовной жизни.

С этого счастливого случая мое здоровье стало крепнуть, и я совершенно поправился.

Первым моим впечатлением, относящимся так годам к трем, помнится, было семейное торжество: отец с матерью уехали на свадьбу к моему крестному Василию Степановичу Губанову, уфимскому городскому голове. Крестный выдавал свою дочь Лизаньку за сына новоиспеченного богатея Чижова, прозванного работавшими у него бурлаками «Казна». И вот, помню я, как во сне: зимний вечер, мы с сестрой остались в горницах с няней. Сидим в столовой за круглым столом, я леплю какие-то фигурки не то из воска, не то из теста. Мы с сестрой ждем приезда родителей со свадьбы, ждем гостинцев, которыми, бывало, наделяли гостей в таких случаях. Гостинцев в тот вечер мы так и не дождались — заснули. Получили их на другой день утром. Чего-чего тут не было, каких конфет в таких нарядных бумажках, золотых и серебряных, с кружевами и картинками! Некоторые долго сохранялись у нас в семье. А что памятней всего у меня осталось — это крупный, крупный виноград, целые гроздья винограда. Его вид и вкус навсегда остались в моей памяти, и мне потом всю жизнь казалось, что такого вкусного и крупного винограда я не ел никогда. Какой это был сорт, — не знаю, но, должно быть, он был дорогой, редкостный по тем временам. Это был первый виноград, который я ел в своем детстве.

Помню я свои ранние игрушки. Особенно памятна безногая бурая лошадь. На ней я часами «скакал». Памятны мне и зимние вечера. В комнате у матери или в детской тишина, горит лампадка у образов. Старшие уехали ко всеобщей ко Спасу или в собор, а я, сидя на своем коне, несусь куда-то. На душе так славно, так покойно... Вернутся наши, поужинаем, уложат спать под теплым одеяльцем.

Помню, как сестра однажды хватилась своих нот. Их долго и тщетно искали, и спустя уже много времени совершенно случайно нашли... в утробе моего коня. Край их

торчал из того места, откуда у коня хвост растет. Был допрос «с пристрастием»... Фантазия моя была в детстве неистощима. Воплотить что-либо, оживить и поверить во все для меня было легче легкого. Шалун я был большой, и это качество стоило мне немало горьких минут.

Хорошо помню первый день пасхи. Была дивная весенняя погода. От наших ворот через весь двор к самому саду, под горку стремятся весенние потоки. По воде, подпрыгивая, вертясь, несутся щепочки — мои кораблики. В воздухе тепло, благодатно. Время послеобеденное. Дом дремлет в праздничной истоме. Все отдыхают, визиты окончены. Надо мной нет глаза. Я, разряженный в голубую шелковую рубашу с серебряными маленькими пуговками, в бархатные шаровары, в бронзовых с желтыми отворотами сапожках, такой приглаженный, праздничный, веду себя соответственно обстановке. Но вот является Николашка ², шалун еще больший, чем я, более меня изобретательный. Он предлагает мне пройти по доске через ручей от крыльца к каретникам. Это кажется невозможным, но пример облегчает дело, и я со всей осторожностью, едва дыша, пробираюсь по доске к намеченной цели. Все обходится как нельзя лучше. Теперь обратно к крыльцу, к заветному камню-островку. Иду, но неожиданно внимание мое чем-то отвлеклось, и я лечу во всем моем уборе в ручей. О ужас! Я в воде, я весь в грязи! Отчаянный крик мой слышит мать, прибегает, извлекает меня из маленькой Ниагары, тащит в комнаты, и там... слезы. Я сижу, раздетый, в постельке, в одном белье.

Еще помнится такое: ранняя весна, пасха. Посмотришь из залы в окно или выскочишь, бывало, за ворота, что там творится? А там празднично разряженный народ движется по улице к качелям. Еще задолго до пасхи, бывало, станут возить на нашу площадь бревна, сваливать их поближе к Аллейкам ³, — значит, пришла пора строить балаганы, качели и прочее. К первому дню пасхи все готово, действует с шумом, с гамом, с музыкой. Народ валит туда валом. Солнце светит особенно ярко. В воздухе несется радостный пасхальный звон. Все веселится, радуется, как умеет. Пьяных еще не видно, — они появятся к вечеру, когда все наслаждения дня — балаганы, качели — будут пережиты, когда горожане побывают друг у друга, попьют чайку, отведают пасхальных яств и напитков. Вот тогда-то и пойдет народ с песнями, с гармоникой. Тогда и пьяные побредут, заколбродят.

К воспоминаниям моего раннего детства относится чрезвычайное событие — приезд в Уфу из Оренбурга начальника Оренбургского края, генерал-губернатора Крыжанов-

ского, того самого, который позднее был смещен, судим по делу о расхищении башкирских земель.

Слух о приезде важного сановника быстро облетел город, и мы, дети, с кем-то из старших ждем предстоящего зрелища на балконе нашего дома.

Задолго до приезда около соседнего с нами Дворянского собрания начал собираться народ. Подъезжали разные мундирные господа, скакали казаки, и, наконец, в облаках пыли показалась вереница экипажей. Впереди — полицмейстер Мистров, стоя, держась за пояс кучера, летел сломя голову, а за ним следовал огромный дорожный дормез, кажется, шестериком. В тот же момент появились в подъезде высшие чины города — белый как лунь, тучный предводитель дворянства Стобеус и другие. Военный караул отдал честь. Из дормеза вылез важный генерал. Тишина, напряжение необычайное, и генерал-губернатор в сопровождении губернатора и свиты проследовал в подъезд. Самое интересное кончилось, однако народ еще оставался, чтобы продлить удовольствие.

Как во сне чудится мне тот же дом Дворянского собрания, около него стоит пестрая будка (николаевская, черная с белым и красным), у будки на часах стоит солдат с алебардой, в каске, с тесаком на белом ремне. От этого моего воспоминания остается у меня до сих пор какой-то привкус николаевской эпохи. Однако, когда я уже взрослым пытался проверить это впечатление, мне никто из старших моих не мог подтвердить возможность такого зрелища. Как, каким образом оно у меня сложилось так реально в моей памяти — не могу себе объяснить. Повторяю, что целая эпоха мысленно в чувстве моем встает передо мной в связи с этим воспоминанием.

К раннему же детству надо отнести болезнь моей матери. Мать была больна, помнится, долго, чуть ли не воспалением легких. В доме была тишина, уныние, мы с сестрой шушукались; иногда нас пускали в спальню к матери. Она лежала вся в белом, в комнате была полутьма, горела лампада у образъв. Нас оставляли ненадолго, и мы со смутным тревожным чувством уходили... Бывал доктор Загорский, важный барин; встречая нас с сестрой, он по-докторски шутил с нами. Так шло долго... Однако как-то вдруг все в доме повеселело, нас позвали к матери, объявили нам, чтобы мы вели себя тихо и что «маме лучше». Велика была моя радость! Я был так счастлив, увидав мать улыбающейся нам... Болезнь проходила быстро, и помню, для меня не было большего удовольствия, когда мать перекладывали, перестилали ее постель; мне позво-

ляли взбить своими маленькими руками ее перину. Мне тогда казалось, что именно оттого, что я, а никто другой собьет эту перину, мать скорее поправится, что в этом кроется тайна ее выздоровления... И немало проливалось слез, когда мне почему-нибудь не удавалось проделать свое магическое действие.

Вот еще нечто весенне-пасхальное... Сейчас же после обеда начинались визиты. Приказывали запрягать Бурку в наборный хомут, снимали с тарантаса кожаный чехол (я особенно любил этот «весенний» запах кожи). Отец не любил ездить летом ни в каком экипаже, кроме очень удобного тарантаса, и, празднично одетый, уезжал с визитами. Одновременно начинали прибывать визитеры к нам. Приезжали священники от Спаса, соборные, александровские; приезжал всеми любимый «батюшка сергиевский» (от «Сергия») ⁴. Пели краткий молебен, славили Христа. Сидели недолго и ехали дальше. Принимала гостей мать, здесь же были и мы с сестрой.

Праздничный стол еще накануне больших праздников — рождества и пасхи — раздвигался чуть ли не на ползалы, накрывался огромной белой, подкрахмаленной скатертью, а на нем выстраивалось целое полчище разнообразных бутылок, графинов, графинчиков. Впереди них, помещался слева огромный разукрашенный окорок, дичь, паштет, потом разные грибы, сыры, рыба, икра и прочее. Мать, высокая, быстрая в движениях, находчивая и острая, была нарядная, в шелковом платье из старинной материи, с кружевной наколкой на голове. Гости, больше купечество, приезжали, садились, обменивались праздничными новостями, закусывали и тоже ехали дальше, а на их место появлялись новые.

Так длилось часов до четырех-пяти. К этим часам некоторые гости успевали так «навизитироваться», что только присутствие строгой хозяйки удерживало их от излишней развязности. Некоторые, напротив, к этому часу были очень сумрачны. Одним из последних, бывало, приезжал так называемый «Палатин-племянник». Он был единственным наследником одинокого богатого купца Палатина. Этот Палатин-племянник, не взирая на свои «за сорок», был как-то несамостоятелен; всем и ему самому казалось, что за ним стоит его строгий дядюшка. Палатин-племянник любил поговорить, любил и выпить, но делал это как-то несмело...

И вот однажды, когда все визитеры перебивались, побывал и Палатин-племянник... Вернулся домой отец, весь дом, усталый за день, задремал, и только мы с Николашкой, мальчиком из магазина, бодрствовали, оставаясь в зале,

тихо играли, катали яйца, и не помню, кому из нас пришла соблазнительная мысль выпить и закусить. Налили, недолго думая, по рюмочке «Беникарло», выпили и закусили икрой. Нам понравилось — повторили и особенно налегли на вкусную зернистую икру, которой было много в хрустальной посуде. И тогда только мы опомнились, когда икры осталось лишь на дне. Опомнились и испугались... Как быть? Порешили, если заметят, свалить все на... Палатина-племянника — он-де икру съел.

Час отдыха кончился. Вышел в залу отец, подошел к столу и захотелось ему чем-нибудь закусить. Вспомнил, что хорошую икру он купил, зернистую, такую свежую. Подошла мать, он спрашивает про икру, а ее и след простыл... Дальше да больше — добрались до нас, голубчиков. Спрашивают, а мы, недолго думая, и свалили все на Палатина-племянника. Свалить-то свалили, а поверить-то нам не поверили. Ну и досталось же нам тогда обоим! Долго мы не могли забыть, «как Палатин-племянник икру съел...»

А вот и лето... В нашем саду заливаются-поют птички. Урожай ягод, малины, смородины — и мы с моим соблазнителем сидим под кустом еще сырой смородины и поедаем ее. Мать вчера заметила, как много было ягод, а сегодня, глядит — их убавилось наполовину. Опять неприятности, угроза запретить сад на замок.

А там варка варенья, снятые с него вкусные пенки... Надо вести себя получше, чтоб получить ложечку этих пенек.

Поспевают яблоки — каждое дерево знакомое, как не попробовать — не поспели ли? Да если и не поспели, что за беда! — они такие кисленькие, вкусные... Что-то неладно с желудком — опять неприятности, опять сидеть дома, когда в саду так хорошо, такая славная, прохладная тень под большой березой, посаженной отцом, когда он был еще мальчиком...

А как хороши были поездки с матерью за Белую!.. На тарантасе — мать, мы с сестрой, брали и еще кого-нибудь с собой. Брали на всякий случай небольшие корзинки, бурачки. Ехали плашкоутным мостом через Белую на ее луговую сторону. На реке в теплый вечер масса купающихся, стоит особый гул. Вот выехали мы на Стерлитамакский тракт. Дивный воздух, по бокам дороги стоят гигантские осокори. Нам разрешено встать с тарантаса, побегать. Мы собираем осколки осокоря, они легко режутся, из них выходят такие славные кораблики... Едем дальше. Цель поездки — не только подышать чистым воздухом, но и набрать черемухи, которой уродилось множество. Мы

наломали ее целые кусты, так немилосердно покалечили злосчастное дерево. Хорошо, что для него это проходит бесследно: на тот год оно еще пышной зацветет, а ягод будет опять видимо-невидимо. Усталые, возвращаемся уже в сумерках домой, ужинаем и, довольные, идем спать. А там, если будем хорошо вести себя, нам обещают новую прогулку — на Чертово Городище, на Шихан. Отсюда и село Богородское видно! Там в двух шагах и мужской монастырь, где спасаются десятка два стариков-монахов, рыболовов. Какие дали оттуда видны! Там начало предгорий Урала, и такая сладкая тоска овладевает, когда глядишь в эти манящие дали!

Хорош божий мир! Хороша моя родина! И как мне было не полюбить ее так, и жалко, что не удалось ей отдать больше внимания, сил, изобразить все красоты ее, тем самым помочь полюбить и другим мою родину.

А тут, глядишь, и осень подоспела. Погода изменилась. На двор и в сад пускают редко. Еще в начале есть кое-какие радости, развлечения... Есть надежда, что скоро приедет отец с Нижегородской ярмарки, куда ежегодно он ездит за покупками товара на весь год, проезжая оттуда в Москву и Петербург.

Вот отец приехал, но опять не привез мне «живого жеребеночка», который обещался мне каждый год, и всегда перед самой Уфой жеребеночек где-нибудь у Благовещенского завода спрыгивал с борта парохода и тонул, к моему горю. Приезжал отец, все слушают рассказы о Нижнем, о Москве, но все это было больше для взрослых. Я же жил надеждой скорой получки товара — игрушек. И вот, бывало, за обедом отец сообщал матери, что буксирный пароход, какой-нибудь «Отважный» или «Латник», пришел и что товар получен; получены и игрушки. И через несколько дней в отворенные ворота въезжали подводы, а на них ящики с товаром. Все складывали на галерее. У большого амбара, где обычно товар откупоривали, сверяли полученное по книгам-счетам, и тогда уже по частям отправляли в магазин. Обычно при разборке была вся семья. Каждого что-нибудь интересовало новенькое, а нас с сестрой, конечно, игрушки. Однако игрушки строго запрещалось брать или трогать руками; позволялось только смотреть на них, и вообще наше появление было маложелательным, нас только терпели, как неизбежное зло. Ящики вскрывали кучер Алексей с приказчиками. Алексей был красивый татарин, живший у нас много лет. Его знал весь город. Все знали «нестеровского Алексея», «нестеровскую Бурку». «нестеровскую Пестрянку», позднее «нестеровскую Серафиму»⁵.

Помню, от ящиков с игрушками как-то особенно раздражающе приятно пахло свежим деревом, соломой, лаком. Какие чудеса открывались, бывало, перед нами! Игрушки, от самых дешевых до самых дорогих заграничных, «с заводом», вынимались и скользили перед очарованным взором нашим. Вот кустарные кормилки, монахи, лошадики. Потом папье-маше — уточки, гусары, опять лошадики... Удивлению, восторгам не было конца. Каждый год Москва, в лице гг. Дойниковых, Шварцкопфов и других изобретательных умов, наполняла игрушечный рынок своими диковинками, небывалыми новинками. Из виденного мы ничего не получали в собственность, и лишь позднее, уже в магазине, позволялось нам поиграть чем-нибудь. Заводилась обезьянка, и она каталась по полу, кивала головкой, была в барабан и вновь отправлялась в шкаф, пока не покупали ее какому-нибудь счастливому имениннику.

Вот и еще осеннее удовольствие: это рубка капусты. Капусту рубили позднее: у каретников, на длинном коридоре появлялись большие корыта, и несколько женщин под начальством кухарки Фоминичны начинали традиционную рубку капусты, заготовку ее на зиму. Стук тяпок раздавался целый день по двору, и тут, как и летом при варке варенья, было необыкновенно приятно получить сладкий кочанок. В этом кочанке была какая-то особая осенняя прелесть. Однако это не было так просто, так как строго запрещалось баловать нас. После рубки капусты мы терпеливо ожидали в горницах, и все реже и реже на дворе, первого снега, первых морозов... В конце октября, а чаще в ноябре, выпадал снег, и скоро устанавливался санный путь. Еще задолго кучер Алексей начинал возиться в каретнике, передвигая экипажи: коляски, тарантасы, плетенка задвигались в дальние углы, а на первом плане появлялись так называемые «желтые» сани, «маленькие санки», «большие дышловые» с крытым верхом и медвежьей полостью. Делалась для нас, детей, гора, появлялись салазки. И я, в длинной шубке с барашковым воротником, в цветном поясе, в валенках и серой каракулевой шапке и варежках, катался с горы или делал снежных баб. Морозы не пугали, хотя в те времена они были в Уфе люты.

В праздники мать приказывала запрячь лошадей и, забрав нас, выезжала прокатиться по Казанской. Помню ее в атласном салопе с собольим воротником с хвостом и в «индейской» дорогой шали. Зимние катанья и гулянья особенно многолюдны бывали на масленой неделе и в крещенье. В крещенье был обычный крестный ход на водосвящение из старого Троицкого собора («от Троицы») на

Белую, а после обеда, часа в три-четыре, вся Уфа выезжала на Казанскую, самую большую улицу города, идущую от центра до реки Белой. Улица эта — широкая, удобная для катанья в два-три ряда. Каких саней, упряжек, рысаков и иноходцев не увидишь, бывало, в эти дни на Казанской! На последних днях масленицы, после блинов и тяжкого сна после них, выезжало купечество, выезжали те, что сиднем сидят у себя круглый год. Медленно выступают широкогрудые, крупные, с длинными хвостами и гривами вороные кони пристяжкой. Сани большие, ковровые, казанские, а в санях сидят супруги Кобяковы — старoverы из пригородной Нижегородки; они там первые богачи. Там у них мыловаренный завод, дом огромный, в два этажа, а при нем «моленна». Редко — раз или два в году — покидают супруги Кобяковы свое насиженное гнездо: в крещенье, да на последний день масленой. Вот они сейчас степенно, как священнодействуют, катаются по Казанской, кругом площади. На широких санях им тесновато; для пущего удобства супруги сидят друг к другу спинами — уж очень они дородны, а тут и одежда зимняя. Сам — в лисьей шубе, в бобрах камчатских; сама — в богатейшем салопе с чернобурым большим воротником. Супруги как сели у себя дома орлом двуглавым, так и просидят, бывало, молча часа три-четыре, покуда не повезут их с одеревенелыми ногами домой, в Нижегородку. Там кони у подъезда встанут, как вкопанные, и супруги не торопясь вылезут из саней, разомнут свои ноженьки, поплывут в горницы, а там уж и самовар на столе. Вот тут они поговорят, посудят, никого не забудут.

Вот Вера Трифоновна Попова с детками выехала в четырехместных санях, обитых малиновым бархатом, на своих гнедых, старых конях «в дышло». Она не менее дородна, чем Кобячиха. Она — «головиха», супруг ее, Павел Васильевич, второе трехлетие сидит головой в Уфе: и кто не знает, что настоящая-то голова — у головихи, Веры Трифоновны. Павел Васильевич тихий, смиренный, а она — боевая... Вот и теперь, на катанье, отвечает она на поклоны не спеша. Сама редко кому первой поклонится. Катается Вера Трифоновна недолго, чтобы только знали люди, что она из города не выезжала ни в Екатеринбург, ни в Кунгур, где у ней богачи-родственники.

А вот сломя голову летит посреди улицы, обгоняя всех, осыпая снежной пылью, на своих бешеных иноходцах, «наш Лентовский» — Александр Кондратьевич Блохин⁶. Он всю масленицу путался с актерами. Все эти Горевы и Моревы закадычные ему друзья; пьют, едят, а Александр Кон-

дятьевич платит. Самодур, а душа добрая, отходчивая. Богатырь-купец жжет себя с обоих концов. За Александром Кондратьевичем мчится, сам правит, великан-красавец — удалой купец Набатов. К нему прижалась молоденькая супруга: едва-едва сидят они вдвоем на беговых санках. И страшно-то ей, и радостно с милым лететь стрелой...

Вся эта ватага несется вниз по Казанской до Троицы, чтобы обратно ехать шагом. Так принято, да и коням надо дать передохнуть. А там снова — кто кого, пока сумерки не падут на землю.

Погода в феврале бывала хорошая, ровная, иногда шел снежок, а морозов мы не боялись...

В феврале бывала в Уфе ярмарка. После Всероссийской Нижегородской шли местные: Ирбитская, Мензелинская, наша Уфимская. К известному времени приводились в порядок так называемые «ярмарочные ряды» — деревянные лавки, заколоченные в продолжение десяти месяцев в году. Они оживали на полтора-два месяца. Почти все купцы, в том числе и мой отец, на эти два месяца перебирались на ярмарку. Так повелось уже издавна. Мы, дети, этого времени ждали с особым нетерпением, и оно всякий год казалось нам чем-нибудь новым.

В одно из первых воскресений по открытию ярмарки мы с матерью отправлялись к отцу «на новоселье»... До центра, до Главного ряда, где торговал отец, добираться было делом нелегким. По пути так много было разнообразных впечатлений, столько раз приходилось останавливаться очарованным то тем, то другим. Проходили мимо ряда балаганов, где на балконе, несмотря на мороз, лицедействовали и дед, и девица в трико, и сам «Зрилкин», без которого не обходились ни одна окрестная ярмарка, ни одно деревенское празднество. Зрилкин был душой народных увеселений. Тут, конечно, был и знаменитый Петрушка.

Вот и книжные ряды, здесь тоже захватывающе интересно. Развешаны лубочные картинки: «Еруслан Лазаревич», «Как мыши кота хоронили», генералы на конях, по бокам которых так славно прошлись кармином, а по лицу Паскевича-Эриванского — медянка. Мать совершенно выбилась из сил с нами. Здесь навалены на прилавке книжки одна другой занимательней. Тут и «Фома дровосек», «Барон Мюнхгаузен», да и чего, чего здесь только нет!...

Но вот, наконец, и Главный ряд. Вот разукрашенная коврами лавка Пенны, первого конкурента отца, тоже галантерейщика, а напротив и наша, тоже разукрашенная, но беднее. На коврах самые разнообразные сюжеты от одалисок и турок с кальяном, в чалмах, до бедуина на

белом коне. В дверях стоит отец, какой-то обновленный, «ярмарочный» — в длинной шубе, подпоясанный пестрым кушаком; углы бобрового воротника «по-ярмарочному» загнуты внутрь; он в валенках. Он доволен нашим приходом, приглашает нас войти в лавку, и мы чувствуем себя гостями. Мимо лавки толпы гуляющих. Медленно они двигаются. Нарядные купчихи, их дочери, такие румяные, счастливые; с ними галантные кавалеры. А в воздухе сотни разнообразных звуков. Тут мальчики свистят в свистульки, в трубы, слышны нежные звуки баульчиков и прочее, и прочее. Какая разнообразная и дикая музыка!.. Нагулявшихся, насмотревшихся досыта, усталых, уводит нас мать домой, и долго еще перебираем мы в памяти впечатления минувшего, такого счастливого дня, пока глазки не станут слипаться и нас не уложат под теплое одеяльце, и мы не заснем так крепко-крепко до утра!

Такова была для нас, детей, ярмарка!

В соседстве с нами жила семья Максимович. Сама — католичка, дети, по отцу, православные. У вдовы Максимович была мастерская дамских мод под фирмой «Пчельник». И действительно, там все трудились как пчелы. Сами работали, дети учились, и учились прекрасно. Жили дружно. Младший из Максимовичей был мой сверстник. Часто мы, два Мишеньки, играли вместе и хорошо играли. Особенно дружно шли наши игры, когда Мишенька Максимович вынимал любимые свои игрушки, им сделанные из картона иконостасы: будничные — красный, праздничный — белый с золотом. Вынималось многочисленное духовенство с архиереем во главе, и начиналась обедня или всенощная. Мы оба, а иногда и наш мальчик из магазина, изображали хор. Мишенька Максимович делал молитвенные возгласы, и так играли мы в праздник все утро, если не шли к обедне в церковь. И вот однажды, помню: большое смятение. Прислали сказать, что Миша Максимович утонул. Утонул, купаясь в Деме, где так много омутов, водоворотов. Весть поразила нас всех, а в особенности меня. Наши поехали на место несчастья. К вечеру нашли утопленника, а на другой день его хоронили. Я был на отпевании, очень плакал... Мишенька и был первый покойник, мною виденный. После него мне достались все его игрушки — оба иконостаса, и все духовенство, и облачение, и я долго вспоминал Мишеньку, играя в любимую нашу игру.

Помню, зимой отец, вернувшись домой, сообщил нам, что вечером мы поедем в театр. Это была для меня, восьмидевятилетнего мальчугана, новость совершенно неожидан-

ная. Вот пришел вечер, и нас повезли. Театр настоящий, всамделишный. Мы сидели в ложе. Перед глазами — нарисованный занавес. Он поднялся, и я, прикованный к сцене, обомлел от неожиданности... Передо мной был настоящий, настоящий еловый лес, валил хлопьями снег, снег был повсюду, как живой. В лесу бедная девушка; все ее несчастные переживания тотчас же отозвались в маленьком впечатлительном сердечке. Шла «Параша-сибирячка»⁷. Что я пережил с этой несчастной Парашей! Как все было трогательно; и горе Параше, и лес, и глубокий снег — все казалось мне более действительным, чем сама действительность, и быть может, именно здесь впервые зародились во мне некоторые мои художественные пристрастия, откровения. Долго, очень долго бредил я «Парашей-сибирячкой». Не прошла и она в моей жизни бесследно...

Однажды уфимские заборы украсили большими афишами, извещавшими о том, что в город приезжает цирк «всемирно известной итальянской труппы акробатов братьев Валери». На площади спешно строили большой круглый балаган из свежего теса. Вскоре начались представления. Народ валом повалил. Стали говорить, что такого цирка Уфа еще не видала. Особенно нравились сами братья Валери: они были отличные наездники, ловкие акробаты. Были ли они такими на самом деле, трудно сказать: мои земляки не были в этом компетентны. Так или иначе, цирк с каждым днем все больше и больше завоевывал себе у нас славу. Скоро уфимцы заметили, что братья Валери стали носить из цирка в номера Попова, где они жили, мешки, если не с золотом, то с медными пятаками. Это моим землякам импонировало. Итальянцев полюбили, ими восхищались — они были рослые, красивые ребята.

Слава о них дошла и до нас, детей. Долгие мольбы наши увенчались успехом: нас пустили в цирк, взяли туда и приятеля моего — Николашку. Очарованные, сидели мы с ним. Братья Валери привели нас в полный восторг; их упражнения вскружили нам головы. Первые дни только и разговоров было, что о цирке. Нам как-то удалось еще побывать там, и это нас погубило...

Мы были уверены, что искусство, призвание братьев Валери есть и наше призвание, и решили попытать свои силы — устроить свой цирк в запасном сарае, где зимой хранились телеги, а летом дровни и всякий ненужный хлам. Сарай был на отлете, вне поля зрения матери.

Главными действующими лицами были мы оба: мы с Николашкой и были братья Валери, остальная труппа была случайная: в нее входил и лохматый, толстый, неук-

люжий щенок Шарик. Цирк начал функционировать. Первые дни прошли благополучно, с большим подъемом. Мы, с некоторой опасностью для наших рук, ног, ребер, перелетали с трапеции на трапецию, поднимали тяжести и прочее. Когда же наступал номер Шарика, то он, гонимый неведомой силой, забивался в самый отдаленный угол сарая и доброй волей не хотел его покидать. Мы приписывали это его малосознательности, извлекали его из его убежища, и номер проходил более или менее удачно. Одним из ответственных номеров Шарика было поднятие его на возможную высоту при помощи особых приспособлений, вроде лопаты. Шарик в паническом страхе визжал, выл, пока не терял равновесия, не летел вниз с жалобным воем и не падал на пол. Шарик этот номер не любил, а мы были тверды и настойчивы, пока однажды, во время самого разгара представления, когда Шарик поднят был на головокружительную высоту и нисово там визжал, обе двери сарая растворились и в них предстала перед нами мать, разгневанная, грозная, карающая... Нас обоих выпорол, а Шарик в тот же день был отдан соседям, где не было ни цирка, ни доморощенных братьев Валери.

Помню я 1870—1871 годы, франко-прусскую войну. Помню эту зиму: она была тревожная и в Уфе. Было много пожаров. По ночам не спали, караулили посменно. На небе сходились и расходились огненные столбы. Было страшно — говорили, что все это к беде.

Получались газеты, все тревожней и тревожней. Пришло известие о несчастной для французов битве при Седане. Поздней появились картинки во «Всемирной иллюстрации», изображающие эту битву. Потом, помню, узнали, что Наполеон взят в плен, а затем и война кончилась. Имена Бисмарка, Мольтке, как и маршала Мак-Магона, Шанзи и несчастного Базена, мы все знали. Все симпатии наши были на стороне французов.

Время шло. Отец и мать стали поговаривать о том, что пора отдать меня в гимназию. Мысль эта явилась тогда, когда родители убедились, что купца из меня не выйдет, что никаких способностей к торговому делу у меня нет. И действительно, я на каждом шагу показывал, как мало я этим делом интересуюсь. Я ничего в нем не понимал. Был в самом малом непонятлив, ненаходчив, рассеян. Надо мной все смеялись, и мне было все равно, есть покупатели или их нет, на сколько продано и как шло дело в магазине. А я ведь был наследником всего дела, дела большого, хорошо поставленного. Отец, быть может, тоже не был истинным купцом, но благодаря привычке, аккуратности дело

шло. У отца не было совершенно долгов, он покупал и продавал только на наличные. Это было при его характере лучшее, хотя, быть может, и невыгодное. Отец не любил в деле риск.

Я же, повторяю, с ранних лет чувствовал себя чужим, ненужным в магазине и умел продавать только лишь соски для младенцев и фольгу для икон. Когда этот товар спрашивали — приказчики уступали мне место, и я, зная цену этому товару и где он лежит, отпускал его покупателям, но все же без всякого удовольствия. А тут, кстати, появились слухи о всеобщей воинской повинности и о том, что образованные будут иметь какие-то привилегии.

Итак, моя коммерческая бесталанность и необходимость уйти от солдатчины решили мою судьбу. Я должен был поступить в Уфимскую гимназию. Был приглашен репетитор — гимназист 8-го класса Алексей Иванович Ефимов, первый ученик, все свободное время от своих занятий приготавливавший, репетировавший детей уфимских граждан. Он кормил своими уроками родителей и любимую сестренку.

Алексея Ивановича все, знавшие его, очень любили. Он был гимназист солидный. Был некрасив, ряб, неуклюж, но очень приятен, добр, терпелив и умен. Трудно было ему со мной. Особенно бестолков был я в арифметике. Алексей Иванович с необыкновенным усердием преодолевал мою тупость, объясняя мне правила и искусно лоя в это время назойливых мух. Я, как показало будущее, не стал математиком. Сам же Алексей Иванович блестяще, с золотой медалью кончил гимназию, затем Академию Генерального штаба и умер в Сибири в больших чинах.

Осенью 1872 года я все же поступил в подготовительный класс гимназии. В гимназии пробыл я недолго, учился плохо, шалил много. Из сверстников моих по гимназии со временем стал известен Бурцев, издатель «Былого»⁸.

Из учителей гимназии остался в памяти моей Василий Петрович Травкин, учитель рисования и чистописания. Он имел артистическую наружность: большие, зачесанные назад волосы, бритый, с порывистыми движениями. Часто, несколько возбужденный винными парами, он выделялся чем-то для меня тогда непонятным. Думается теперь, что это был неудачник, но способный, увлекающийся, что называется «богема». Форменный вицмундир к нему не шел.

Мы оба как-то почувствовали влечение друг к другу. Василий Петрович не только охотно поправлял мои рисунки в классе, но помню, пригласил к себе на дом. Жил он на краю города, в небольшом старом домике, очень бедно, совсем по-холостяцки. И вот он выбрал какой-то бывший

у него акварельный «оригинал» замка, и мы начали вместе большой на бристольской бумаге рисунок мокрой тушью. Рисунок общими усилиями был кончен и поднесен мною отцу в день его ангела.

Вообще Василий Петрович очень меня отмечал за все два года моего гимназического учения. По слухам, позднее В. П. Травкин спился и умер еще молодым, сравнительно, человеком.

Родители скоро увидали, что большого толка из моего учения в гимназии не будет, и решили, не затягивая дела, отвезти меня в Москву, отдать в чужие руки, чтобы не баловался. Думали, куда меня пристроить в Москве, и после разных расспросов остановились на Императорском техническом училище, в котором тогда было младшее отделение.

Стали меня готовить к мысли о скорой разлуке с Уфой, с родительским домом... Чтобы разлука не была так горька, надумали меня везти сами. Отец должен был ехать на Нижегородскую ярмарку, с ним ехала и мать, чтобы самой все видеть, чтобы отдалить момент расставания со своим «ненаглядным». Мне было двенадцать лет. Время отъезда приближалось. Чтобы скрасить разлуку с домом, с Уфой, со всем, что было мило и любезно, меня утешали тем, что в Техническом училище какой-то необыкновенный мундир, если не с эполетами, то с золотыми петлицами, и еще что-то. Но, конечно, горе мое было неутешно.

И вот настал день отъезда. Помолились богу, поплакали и отправились на пристань, на пароход. По Белой, Каме, Волге ехали до Нижнего. Мать все время была особенно нежна со мной. С каждым днем приближался час разлуки.

В Нижнем, на ярмарке. Главный дом, пестрая толпа, великолепные магазины, вывески, украшенные орлами, медалями. Все эти «Асафы Барановы», «Сосипатры Сидоровы с сыновьями», «Викулы, Саввы и другие Морозовы» — все это поражало детское воображение, заставляло временно забыть предстоящую в Москве разлуку.

Время летело. Отец кончил дела на ярмарке, надо было ехать в Москву. С 15 августа экзамены.

Вот и Москва. Остановились мы на Никольской, в Шереметьевском подворье, излюбленном провинциальным купечеством. Тут что ни шаг, то диво. Ходили всей семьей по Кремлю, по Кузнецкому мосту.

В то лето ждали в Москву государя Александра II. Мать решила во что бы то ни стало посмотреть царя.

Говорили, что будет он на смотре, на Ходынке. Мать поехала туда — царя видела издалека, рассказы были восторженные. Побывала она у Иверской, там выкрали сумку с деньгами... зато приложилась...

Вот настал и день экзаменов. Повезли меня в Лефортово, далеко, на край Москвы. Училище огромное, великолепное, бывший дворец Лефорта.

Выдержал я из закона божьего, рисования и чистописания, из остальных — провалился. Отцу посоветовали отдать меня на год в Реальное училище К. П. Воскресенского, с гарантией, что через год поступлю в Техническое. Чтобы не возить меня обратно в Уфу, не срамить себя и меня, решили поступить, как советуют. хорошие люди. Так-де делают многие, и выходит хорошо.

Так отцу говорил небольшой, рыженький, очень ласковый человек в синем вицмундире, что привез с десяток мальчуганов на экзамен. Это был воспитатель училища Воскресенского, опытный человек. Он привез на экзамен своих питомцев и не упускал случая вербовать новых, мне подобных неудачников из провинции.

Родители, очарованные ласковым человеком, на другой день повезли меня на Мясницкую в дом братьев Бутенов, где помещалось училище К. П. Воскресенского. Сам Константин Павлович, такой представительный, умный и в то же время доступный, встречает нас, очаровывает родителей еще больше, чем рыженький человечек. Неудачи забыты, я принят в первый класс училища.

Наступает час прощания. Меня благословляют образком Тихона Задонского. Я заливаюсь горячими слезами, мать тоже. Почти без чувств салят меня на извозчика, везут на Мясницкую. Там новые слезы. Прихожу в себя — кругом все чужое, незнакомые люди, — взрослые и школьники. Со мной обращаются бережно, как с больным, да я и есть больной, разбитый весь, разбита маленькая душа моя. А тем временем родители спешат на поезд, в Нижний, а оттуда в свою теперь особо мне милую, родную Уфу.

Много, много слез было пролито, пока я освоился с училищем, с товарищами. Много раз «испытывали» меня и, наконец, признали достойным товарищем, способным дать сдачи, не фискалом, и жизнь улеглась в какие-то свои рамки.

Время шло. Я учился неважно, и всё эта арифметика! Однако, кроме закона божия, рисования и чистописания, из которых я имел пятерки (а из чистописания почему-то мне ставил тогда знаменитый на всю Москву каллиграф Михайлов 5 с двумя крестами и восклицательный знак),

были предметы, которыми я охотно занимался, — русский язык, география, история, в них я преуспевал.

Время шло быстро. Незаметно подошло рождество. Многие живущие собрались на праздники домой — куда-то в Тулу, в Вязьму, в Рыльск... Тут и мне захотелось в свою Уфу, но она была далеко, особенно далеко зимой, когда реки замерзали и пароходы не ходили...

Нас осталась небольшая кучка. Стало грустно. Развлекались мы, как умели. Пили в складчину чай с пирожными в неурочное время, шалили больше обыкновенного, на что в эти дни смотрели сквозь пальцы. На несколько дней, правда, и меня взял к себе на Полянку в Успенский переулок друг отца — Яковлев, богатый купец-галантерейщик, у которого отец покупал много лет. Он еще осенью обещал отцу взять меня на рождество и на пасху и выполнил сейчас свое слово... За мной приехали накануне праздника, и я пробыл на Полянке первые три дня на рождестве, а потом и на пасхе. У Яковлевых было чопорно, скучно. На третий день рождества вся семья и я были в Большом театре в ложе на балете «Стелла». Танцевала знаменитость тех дней — Собещанская. Меня поразили неистовые вызовы-клики: «Собещанскую, Собещанскую!»

На пасхе помню заутреню в соседней церкви Успенья, что в Казачьем, куда со двора дома Яковлевых проделана была калитка, и вся семья, как особо почтенная, имела свое место, обитое для тепла по стенам красным сукном. На первый день мы с сыном Яковлевых, однолеткой Федей, лазали на колокольню и там нам давали звонить. Это было ново и приятно. После трех дней меня снова доставили в пансион.

Прошла и масленица, вот и великий пост. Говели у Николы Мясницкого. Подошла и пасха. Опять потянулись наши рязанцы, орловцы домой, а мы опять запечалились, но на этот раз не так, как зимой: еще месяц или два, и мы поедem, — тот в Уфу, тот в Пермь или в Вятку, иные в Крым или на Кавказ, — и на нашей улице будет праздник.

Начались экзамены. С грехом пополам я перешел в следующий класс, но о том, чтобы держать в Техническое, и речи не было.

Помню, как пришел в наш класс воспитатель герр Дренгер и позвал меня к Константину Павловичу в приемную. Туда звали нас редко, звали для серьезного выговора или тогда, когда приезжали к кому-нибудь родственники... Я со смутным чувством шел в приемную. Что-то будет, думалось... Вижу, с Константином Павловичем сидит мой отец. Я, забыв все правила, бросаюсь к отцу. Радость так велика, что

я не нахожу слов. Оказывается, отец уже успел все узнать: узнал, что я переведен во второй класс и что меня Константин Павлович отпускает на каникулы, и через несколько дней мы поедем в Уфу. Как все хорошо! Скоро увидеть мать, сестру, Бурку, всех, всех...

Вот и Нижний, вокзал, в нем уголок Дивеевского монастыря. Старая монашка продает всякого размера и вида картины, образки старца Серафима.

Я дожидаюсь отца, который пошел за билетами на паром, любуясь множеством «Серафимов». На душе хорошо, весело.

Выходим с вокзала, нанимаем извозчика, садимся на дрожки с ярко-красной тиковой обивкой и летим по булыжникам к Оке, к пристани. Все так радостно, приятно! Вот и мост. Гулко по мосту стучат подковы нашей бодрой лошадки, свежий речной запах охватывает нас, щекочет нервы.

Вот и пристани, пароходная «конторка». Вот «Волжская», с золотой звездой на вывеске. Там «Самолет», «Кавказ и Меркурий», общество «Надежда» Колчиных⁹ и другие. Мы подкатываем к самолетскому. Матрос с бляхой на картузе хватает наши вещи, и мы по сходням спускаемся к «конторке», спешим на паром. Ах, как все славно! Как я счастлив! Через час-два паром «Поспешный» отвалит, и мы «побежим» «на низ», к Казани. Третий свисток, отваливаем.

Среди сотен паромов, баржей, белян бежим мы мимо красавца Нижнего. Вот и Кремль, старый его собор, губернаторский дом. Шумят колеса, раздаются сигнальные свистки. Миновали Печорский монастырь, и Нижний остался позади.

Пошли обедать. Чудесная уха из стерлядей, стерлядь заливная, что-то сладкое. Попили чайку и вышли на палубу. Ветерок такой приятный. Нас то перегоняют, то отстают от парохода волжские чайки: они обычные паромные спутники. Бежим быстро. Вот и Работки — первая пристань вниз по Волге. Глинистые берега ее тут похожи на каравай хлеба. Пристали ненадолго. Опять пошли. С палубы не хочется уходить. На носу музыка, едут бродячие музыканты... Татары стали на вечернюю молитву, молятся сосредоточенно, не как мы, походя...

Показались Исады, а за ними четырехглавый собор Макария Желтоводского. Здесь некогда была Макарьевская ярмарка. Пристали у Исад, прошли и мимо Макария. Дело к вечеру. На судах, на караванах зажглись огни. По Волге зажглись маяки. Стало прохладно, в морщинах

холмов еще лежит снег. Подуло с берега холодком. Пора в каюту да и спать.

Рано утром Казань. Пересядем на Бельский пароход — и Камой до Пьяного бора, потом по Белой до самой Уфы. Утро. Все так радостно, так не похоже на то осеннее путешествие, которое несло с собой столько слез, горя, разлуки. Сейчас весна, скоро встреча с матерью. Моя лошадь, обещано седло. Ах, как будет весело!..

Проснулся в Казани. Наверху, слышно, грузят товар. Поют грузчики свою «пойдет, пойдет». Ухали, опять запевали — так без конца на несколько часов, пока не выгрузили и не нагрузили пароход вновь.

Мы пересели на бельский пароход «Михаил» и часа через три отвалили от Казани. Прошли мимо Услона, на горе которого много лет позднее в милой, дружественной компании Степанова, Хруслова, С. Иванова лежал я, такой веселый, жизнерадостный. Мы непрерывно болтали, острили. Мы были молоды, перед нами были заманчивые возможности...

Вот и Кама, такая бурная, мятежная, трагичная, не то что матушка Волга, спокойная, величаво-дебелая... Суровые леса тянутся непрерывно. На палубе было студено. Прошли Святой Ключ, имение Стахеевых. Тут где-то жил, да и родился И. И. Шишкин, славный русский живописец сосновых лесов, таких ароматных, девственных. Тут и набирался Иван Иванович своей силы богатырской, той первобытной простоты и любви к родимой стороне, к родной природе.

Вот Пьяный бор, скоро войдем в Белую. Ее воды так разнятся с водами всегда чем-то возмущенной Камы. Пошли родными берегами. Они так грациозны, разнообразны. Белая, как капризная девушка, постоянно меняет направление, то она повернет направо, то влево, и всем, всем она недовольна, все-то не по ней. А уж на что краше кругом. Берега живописные, мягкие, дно неглубокое, воды прозрачные, бледно-зеленые. Недаром названа она «Белой».

Пошли татарские названия пристаней, разные Дюртюли и прочие. Завтра будем в Уфе. Вот и Бирск, потом Благовещенский завод. Тут имел обыкновение жеребеночек, что ежегодно, якобы, возил мне отец с Нижегородской ярмарки в подарок, выпрыгивать за борт парохода и тонуть... Вот эти злосчастные берега. Далеко видны конторки на Сафроновской пристани.

На которой же вывешен флаг? Вот на той, дальней. Там стоят и смотрят во все глаза на наш пароход мама и сестра Саша. Они часа два ждут нас. «Михаил» вышел

из-за косы и прямо бежит к Бельской конторке. Мы с отцом стоим на трапе. Мы так же, как и там на берегу, проглядели все глаза. Вот они! Вот они! Вон мама, а вон и Саша! Машем платками, шапками. Мама радостно плачет. Приехал ее «ненаглядный». Незабываемые минуты! Пароход дал тихий ход. Стоп, бросай чалки!

Мы внизу, у выхода... Еще минута, через сходни я стремглав бросаюсь к матери. Забываю все на свете. Поцелуи, расспросы. Идем к берегу, а там Алексей с Буркой. Увидал нас, подает... Все рады, все счастливы. Все уселись в тарантас, вещи взяли в телегу, поехали. Все ново — и лагерь, и казармы, и острог... Еще год назад все было огромно, а сейчас, после Москвы, такое все маленькое... И улицы, и домики — все, все маленькое. Зато так много садов и много знакомых, они кланяются нам и рады нашей радости.

А вот и наш дом. Ворота отворены, в них стоят, ждут не поехавшие встречать. Опять приветствия, поцелуи. Я «вырос», на мне если и не тот мундир, которым мне вскружили голову и дали повод так основательно провалиться в Техническом, но все же нечто московское. Курточка, штанишки навыпуск и еще что-то, чем я приобщен к столице.

Побежали дни за днями скоро, радостно. У меня была лошадка Гнедышка, с казацким седлом, и я неустанно скакал по городу и за городом, забывая о том, что день отъезда все ближе и ближе. Меня сладко кормили. Частенько делали пельмени, до которых все по ту сторону Волги, «за Волгой», большие охотники.

Вот и лето пролетело... Стали поговаривать о Нижегородской ярмарке, о Москве... Решено было, что на этот раз с отцом поедет и мать. Таким образом разлука с ней все же отодвигалась недели на две, на три...

Опять пароход, Белая, Кама, Волга, Нижний с шумной ярмаркой, с Китайскими рядами, со всей ярмарочной пышностью, суетой, гамом... Снова Москва — и... вновь разлука до весны. Слез много, но меньше, чем год назад. Встреча с приятелями, новые впечатления, и вот опять идут дни за днями, однообразно-разнообразные.

Я начинаю выделяться по рисованию. Александр Петрович Драбов, наш учитель рисования, тихий, как бы запуганный человек, явно интересуется мной. Меня начинают знать как рисовальщика учителя и ученики других классов. На мои рисунки собираются смотреть. Мне задают трудные задачи, и я, как Епифанов, рисую с гипса голову Аполлона, Епифанов — первый ученик 7-го класса, мате-

матик и лучший рисовальщик в училище, и он со мной особо внимателен, он мне особо «покровительствует» — показывает мне своего Аполлона, я ему своего.

Однако мои успехи ограничиваются рисованием, к остальным предметам — полное равнодушие. Это заботит Константина Павловича. Весной я не выдерживаю экзаменов, а о Техническом уже и думать нечего.

Опять приехал отец. Радость отравлена тем, что я остался в прежнем классе на второй год. Отец и Константин Павлович долго совещаются, и я опять еду на каникулы. Вновь радостная встреча и некоторое разочарование в моих успехах. Мне часто напоминают о том, что не все же шалости, надо бы и за дело взяться...

Увлечение рисованием все больше и больше, и вот я опять, уже в третий раз еду в Москву. Этот год был чреват неожиданностями, успехами и был решающим в моей жизни.

Рисование с каждым днем захватывало меня все больше и больше. Я явно стал пренебрегать другими предметами, и все это как-то сходило с рук. Я начал становиться местной известностью своим художеством и отчаянными шалостями... За последние меня прозвали «Пугачевым». Я и был атаманом, коноводом во всех шалостях и озорствах. Шалости эти были иного порядка, чем в Уфе. Как никогда раньше, хотелось выделиться, и я бывал во главе самых рискованных авантур. Мне везло. Мои затеи, «подвиги» меня более и более прославляли, и это подвигало меня на новые.

Особенно досталось от меня некоторым учителям, воспитателям. «Французом» у нас, у младших, был некий месть Бару, в просторечии именуемый «Дядюшкой». Это было совершенно незлобивое существо, некогда занесенное злой судьбой из прекрасной Франции в «эту варварскую Россию».

Дядюшка, как воспитатель, жил с нами, с нами должен был и спать. И чего-чего ни придумывал я с моими единомышленниками, чтобы извести бедного старика! Он был очень забавен своей внешностью, с лицом, похожим на гоголевское «Кувшинное рыло», с гладко зачесанными длинными волосами, всегда в форменном сюртуке, всегда напряженный, растерянный, ожидающий от нас наступлений, неприятностей... И эти неприятности на него сыпались несчетно. Вот один из нас, намочив водой классную губку, ловко подкидывает ее вверх, с тем расчетом, чтобы, падая, она угодила к Дядюшке в стакан с кофе, и она безошибочно попадает туда. Бедный француз спешит в приемную к Константину Павловичу и, не застав его там, оставляет вещественные доказательства у него на столе, к немалому его изумлению.

Однако такие шалости обходились нам недешево: главарей вызывали в приемную и после разноса переходили с нами «на вы» и, пощелкивая удальцам ключом по лбу, приговаривали: «Вы-с! Вы-с!», грозили написать родителям, а потом оставляли нас без завтрака и на неделю ставили на все свободное время к колонне в приемной. Недолго отдыхал Дядюшка. Мы скоро снова принимались за бедного старика...

Так же малопочтенны были наши «шутки» с большим चाहоточным герром Попэ, воспитателем-немцем. Он, постоянно раздраженный болезнью и какими-то семейными неприятностями, также был нашей мишенью... Ах, как мы изводили его и как он некоторых из нас, и в том числе меня, ненавидел! Бывало, этот получеловек-полускелет в вицмундире кричит на нас неистово, яростно и, закашлявшись надолго, снова с еще большей ненавистью кричит нам: «Ти хуже Тиль, хуже Голощаров, ти самый, самый скверний!» — и снова кашляет. А мы, не будучи злыми, продолжаем его изводить... Ах, какие мы несносные были мальчишки! И я, к стыду моему, самый из них худший!...

Однако, кроме обычных и чрезвычайных шалостей, мы должны были заниматься и делом — учить уроки, учиться, проделявать все то, что полагалось тогда в учебном заведении, пользуясь лучшей славой в Москве.

Тот год, о котором я сейчас говорю, был интересный год. Как по учебной части были лучшие учителя, так и по разным внеучебным проявлениям школьной жизни. Зимой был у нас бал. Наше прекрасное помещение — дортуары, столовая — превратилось в сад. Кроме учащихся были родители, родственники. Играл тогда популярный оркестр Рябова, дирижера Большого театра. Не помню, в эту же зиму или в другую ставили спектакль. Играли «Женитьбу». Некоторые из учеников были очень забавны. Особый успех имел некий Кандинский из далекой Кяхты. Он прекрасно, живо играл Агафью Тихоновну. Весной нас по праздникам почти всем училищем водили в Сокольники, в старые Сокольники, с огромными вековыми соснами, с великолепными просеками, с целым полчищем чайных столиков, где услужливые хозяйки радушно зазывали каждая к себе. И мы со всем своим продовольствием, с чаем, сахаром, калачами, лакомствами, рассаживались по столам поклассно под начальством старшего ученика.

Рисование мое шло хорошо. А. П. Драбов подумывал, как бы меня познакомить с красками. Было решено, что он будет приходить ко мне во внеурочное время, по празд-

никам. Стали рисовать акварелью цветы с очень хороших оригиналов, сделанных с натуры бывшими учениками Строгановского училища. Это дело ладилось. Из таких акварелей у меня сохранилась одна небольшая.

В один из уроков рисования у нас появился в классе Константин Павлович и с ним какой-то очень приятный, с седеющими пышными волосами господин. Дравов с ним как-то особо почтительно поздоровался, а поговорив, все трое направились ко мне. Гость ласково со мной поздоровался и стал внимательно смотреть мой рисунок, хвалил его, поощрял меня больше работать, не подозревая, быть может, что я и так рисованию отдаю время в ущерб остальным занятиям (кроме разве шалостей). Простившись со мной, посмотрев еще два-три рисунка, Константин Павлович и гость ушли.

После занятий я узнал, что это был известный, талантливый и популярный в те времена художник Константин Александрович Трутовский. Он был инспектором Училища живописи, ваяния и зодчества. Его сын был первым учеником нашего класса.

Посещение Трутовского имело для моей судьбы большое значение. Он утвердил Константина Павловича в мысли, что на меня надо обратить особое внимание и готовить меня на иной путь. Вскоре мне были куплены масляные краски, и я стал под руководством Дравова копировать образ архангела Михаила, работы известного в свое время Скотти. Эта копия подарена была позднее в Сергиевскую церковь в Уфе, где и находится до сих пор.

Подходили рождественские праздники. По обычаю прежних лет, стали готовиться к роспуску. День роспуска был особым праздничным днем. Все классы, от младших до старших, каждый по-своему ознакомили этот день. Было в обычае украшать классы флагами, транспарантами, эмблемами, плакатами. И вот тут для моей изобретательности был большой простор. Еще в минувшем году украшения нашего класса были отмечены всеми, в этом же году надо было затмить всех. Весь класс был заинтересован в этом. Весь класс помогал мне, чем мог, и сохранял тайну до самого последнего момента, когда класс был разукрашен мной, и остальные классы могли любоваться моим созданием. Похвалам не было конца. Я был героем этого дня и ходил победителем.

Но, как ни был хорошо украшен наш класс к рождеству, все же то, что было придумано и сделано мною к светлому празднику, оставило за собой все предшествующее. Огромный плакат из синей бумаги с очень красивыми, мудре-

ными буквами, украшенными цветами, орнаментами, был протянут во всю стену класса. На нем вешалось, что сегодня «Роспуск». Об этом говорило и все остальное убранство класса. Любоваться приходили не только ученики, но и все учителя. Меня восхваляли, качали, носили на столах перед всем классом, словом, я был триумфатором. Это был успех, который порядочно вскружил мне голову, и я еще меньше стал думать об уроках, о надвигающихся экзаменах.

На пасхе Константин Павлович решил послать меня с воспитателем на Передвижную выставку, которая помещалась на Мясницкой же в Училище живописи и ваяния. Пошли мы с Н. И. Мочарским, любителем искусства. Это был незабываемый день.

Я впервые был на выставке, да еще на какой, — лучшей в те времена!... Совершенно я растерялся, был восхищен до истомы, до какого-то забвения всего живущего, знаменитой «Украинской ночью» Куинджи. И что это было за волшебное зрелище, и как мало от этой дивной картины осталось сейчас! Краски изменились чудовищно. К Куинджи у меня осталась навсегда благодарная память. Он раскрыл мою душу к природе, к пейзажу. Много, много лет спустя судьбе было угодно мое имя связать с его именем. По его кончине я был избран на его освободившееся место как действительный член Академии художеств.

Из других картин понравились мне поэтический «Кобзарь» Трутовского, «Опахивание» Мясосдова, «Слепцы» Ярошенко. Все эти художники позднее играли заметную роль в моей художественной жизни. Вернулся в пансион я иным, чем был до выставки.

Экзамены встретил я равнодушно, но все же с грехом пополам перешел в следующий класс, что меня и не радовало уже. Вот и весна, вот и летние каникулы. Не сегодня-завтра приедет отец, и я опять поеду домой в свою Уфу. Многие уже разъехались, классы пусты, становилось скудно.

Однажды меня позвали к Константину Павловичу, я не знал зачем. Могло быть, что и для проборки за какую-нибудь выходку. Иду. Гадаю. В приемной, вижу, сидит с Константином Павловичем мой отец. Обрадовались, расцеловались, и тут же было мне объявлено, что с осени я в училище не буду, не поступлю и в Техническое, что меня хотят отдать в Училище живописи и ваяния и что я должен сказать, желаю ли я быть художником и даю ли слово прилежно там учиться и не шалить так, как шалил до сих пор. Не надо было долго ждать ответа. Я пылко согласился на все: и стать художником, и бросить шалости.

Я не знал тогда, каких трудов, какой затраты сил, времени потребуется с моей стороны, чтобы преодолеть все преграды и стать спустя много времени в ряды избранных. Я не знал, чего стоило отцу согласиться с Константином Павловичем отдать меня в училище на Мясницкой, чего стоило отцу проститься с мыслью видеть меня инженером-техником или чем-то вообще солидным. Каково было именитому уфимскому купцу Василию Ивановичу Нестерову перенести этот «удар судьбы». Сын его — «живописец»*. Он знал цену этим живописцам, часто пьянчужкам, полуголодным неряхам.

Тут недалеко уже и до Павла Тимофеевича — сына Тимофея Терентьевича Белякова, старика, почтенного человека, у которого младший сын не удался, да как не удался. Сначала Павел Тимофеевич отпросился в монастырь. Не хотелось старику отпускать своего человека от большого бакалейного дела, да делать нечего, пришлось. Ушел Павел, да не остался в монастыре. Пробыл там год, другой и пропал. Искали везде — нет монаха. Поговаривали, не случилось ли что.

Прошло года два-три. Поехали наши уфимцы на Нижегородскую... Вернулись с ярмарки, рассказывают, что видели Павла Тимофеевича в Кунавине в театре — актером стал. Сам говорил, похвалялся... Затужил старик, забываться стал, да вскоре и помер.

Дело повел старший брат. Стали забывать позор в семье. Так нет же, прошел слух, что едет в Уфу новая труппа, и слышно, что в труппе той между актерами и наш «монах». Стали ждать актеров с нетерпением. Вот расклеили по заборам анонс. Состав труппы разнообразный, репертуар тоже. От высокой трагедии до «Прекрасной Елены» — все было обещано уфимцам новым антрепренером Хотевым-Самойловым. Но им хотелось больше всего посмотреть своего «монаха». Вот и его фамилия — Беляков, правда, в самом конце, за ним уже шли декоратор, парикмахер и прочис... Ну да ничего, посмотрим...

Настал желанный день. Шла трагедия Шекспира, и в конце афиши пропечатано, что роль слуги исполняет г. Беляков. Все пошли из Гостиного двора смотреть земляка. Ждали нетерпеливо. Что за беда, и сам Мартынов играл лакеев. Как играть, игра игре рознь.

* Этот отрывок без изменений открывал книгу «Давние дни» изд. 1959 года. *Сост.*

Открылся занавес. Трагедия началась, стала захватывать зрителей. Все ужасы человеческих страстей проходили перед глазами уфимцев. И вот настал желанный момент, — из левой кулисы уныло вылез наш «монах»... с фонарем в руках, поставил его на пол и, не зная, куда себя деть, стал мяться на месте...

Тяжело было ранено патриотическое чувство уфимцев. Так тяжело, что они молча стерпели обиду и молча разошлись по домам и только на другой день дали волю злощью¹⁰.

Не раз самолюбивому В. И. Нестерову приходил на ум беляковский позор — неудачливый «монах»-актер. Что-то выйдет из своего «художника»? Не вышел бы богомаз-пьяница... Ну, такова, верно, воля божья, — посмотрим. К тому же очень хотелось верить словам Константина Павловича. Он зря не скажет, не посоветует. А ведь он говорит, что каяться не придется, толк будет — способности большие... Посмотрим, посмотрим... С этим и в Уфу приехали. Порассказал отец все матери. Посудили, поохали, да так и решили, как советовал Константин Павлович.

Лето прошло быстро. Я рисовал и в комнате, и в саду: самому нравилось, другие хвалили...

Снова собрались в Москву. Константин Павлович обещал за лето обо мне подумать. И надумал... Порешили меня устроить у одного учителя — Добрынина, преподававшего у Воскресенского и в Училище живописи математику. У Добрынина на Гороховом поле было два своих домика, в них жила его семья и нахлебники — ученики Училища живописи. Туда и меня отвезли. Помещались мы в двух-трех комнатах и на антресолях, человек до десяти молодцов.

В Училище был назначен приемный экзамен по рисованию. Живо помню этот день. Провели нас в один из больших классов (головной) и посадили рисовать голову апостола Павла. Горячо все взялись за дело... Испытание длилось несколько часов.

Впереди меня сидел деревенский паренек в коричневой, отороченной широкой тесьмой поддевке, с волосами на затылке, подбритыми в скобку, в сапогах со сборками... Он отлично делал свое дело. Я был восхищен его рисунком, да и другим он понравился. Это был крестьянин Рязанской губернии — Пыриков. Позднее, когда Пыриков был принят в головной класс, оказалось, что это его прозвище, а фамилия его Архипов, зовут его Абрам, по батюшке Ефимович — будущий известный художник.

Нравился мне широким, свободным «жюльеновским» штрихом¹¹ и другой рисунок — Лавдовского, — Фени Лав-

довского, хорошего товарища, будущего декоратора Малого театра.

Испытание для меня кончилось счастливо. Я тоже, как Архипов, как Лавдовский, как многие другие, был принят в головной класс. Скоро начались и занятия с профессором Десятовым, учеником Зарянку.

Но возвращусь к нашему общежитию на Гороховом поле, в Гороховском переулке. Более неудачного выбора, чем сделанный Константином Павловичем для меня, трудно было представить. Несогласная семья, молодой, красивый Добрынин — ловелас, всегда раздраженный старой женой, — с нами был груб донельзя.

Кормили нас плохо, выколачивали при всех обстоятельствах те маленькие выгоды, на которых и было построено «предприятие»; проще сказать, нам жилось скверно. Надзор за нами был плохой, выражался он неистовым криком и ругательствами. Нас часто причисляли или к царству пернатых, или к породам менее почтенным, хотя и терпеливым. Мы платили за все скрытой ненавистью ко всему семейству.

Мы были вольница. Большинство — великовозрастные архитекторы (ученики архитектурного отделения), живописец был я один, и самый младший. Архитекторы уже умели пить, кутили...

Когда Добрынины уезжали в гости или в театр, мы, осведомленные об этом заранее через прислугу, устраивали на нашем чердаке пир. Бросали жребий, кому идти за покупками питий и яств. Помню, однажды и я вынул жребий. Меня снабдили деньгами и списком того, что надо достать, и через окно на крышу и через ворота, тайно от прислуги, я выбрался в наш переулок и помчался на Разгуляй, в знакомый магазин. Исполнил я поручение исправно, получил свою порцию колбасы, сардин и еще чего-то (была обязательная складчина). Я еще пить не умел и только жадно ел.

В конце концов наши похождения были открыты, был неистовый разнос, обещали написать родителям, но не написали — расчета не было, чтобы знали наши папаша и мамаша, как нам живется в Москве на Гороховом поле...

Первую половину года я усердно работал, ходил как на утренние занятия, так и на вечерние. Но постепенно и незаметно мои архитекторы все больше и больше втягивали меня в свою удалую жизнь. Легко подметив мои слабые стороны и особую впечатлительность, им нетрудно было приобщить меня к своим похождениям и разгулу. Я так стремился выделиться, мне так хотелось быть в первых

рядах, и я без труда уже на третий месяц в первый же «третний» экзамен был переведен с первым номером в следующий — фигурный — класс за голову Ариадны. Мои сожители с успехом использовали все это. Чтобы облегчить мне первые шаги в попойках, мне внушали, что какой же ты, мол, «талант», если не пьешь... И тут же назывались знаменитые имена Брюллова, Глинки, Мусоргского и других, которые были великие мастера выпить, и я понемногу, начав со стакана пива, такого горького, неприятного, дошел и до водочки, тоже горькой, тоже неприятной, на зато я, как и они, взрослые и такие «таланты», стал чаще и чаще разделять их компанию и познал немало такого, без чего смело и без ущерба для себя прожил бы век. На всю жизнь эти «таланты» остались памятны мне.

Школа мне нравилась все больше и больше, и, несмотря на отдаленность ее от дома и оргии, я все же первый год провел с пользой, и хотя весной и не был переведен, как думал, в натурный, но замечен, как способный, был.

Уехал домой счастливый и там, незаметно для себя, выболтал все, что мы проделывали у себя на Гороховом поле. Родители слушали и соображали, как бы положить этому конец. И вот осенью, когда я с отцом опять вернулся в Москву, после совещания с Константином Павловичем Воскресенским, меня от Добрынина взяли и поместили в училищном дворе у профессора головного класса П. А. Десятова, но от такой перемены дело не выиграло.

Десятов был очень стар и, в противоположность Добрынину, был женат на молодой... кормилице. Жили они тоже нехорошо. От первого брака были взрослые дети. Старик был строптив, грозен, и ему было не до нас — нахлебников. Мы жили сами по себе.

И тоже большинство были архитекторы. Живописцев было двое. Также бывали кутежи, ночные похождения и прочее. А на случай если старик вздумает произвести ночной осмотр, было раз навсегда постановлено вместо отсутствующего класть на его кровать чучело. И старик, явившись ночью к нам в одном белье, со свечкой, спросонку видя на кроватях нечто, принимал это нечто из кучи одежды и одеял за своих благонравных питомцев — удалялся опять к своей кормилице. Утром же обычно все были в сборе.

Весело и безалаберно жилось нам у Десятова. Много сил и здоровья и хороших юношеских чувств погребено было за два года пребывания в этом милом «пансионе».

Учились мы не очень ретиво. Именно там я привык лениться. Там у меня появились первые сомнения в себе, и если

бы не ряд последующих событий, то, может быть, не много бы вышло из меня толку и, как знать, не повторил ли бы я неудачливую карьеру злополучного актера-земляка.

Как-никак, а школьная жизнь шла. Там работали. Я был второй год в фигурном, и в натурный меня не переводили. Правда, я в этом году принял участие в ученической выставке, второй счетом. Первая была в минувшем году. Ее инициатором и душой был профессор В. Г. Перов. Еще в прошлом году там отличился ряд учеников: два Коровина, Левитан, Янов, Светославский и еще кое-кто. На второй — они же и несколько новых.

Я написал маленькую картину «В снежки» и этюд девочки, строящей домик из карт. Их заметили. Я немного ожил, но ненадолго. Шалил я больше, чем работал. Частенько в наказание меня выгоняли из классов на неделю, но милейший К. А. Трутовский, установивший такое благодетельное исправление, сам часто забывал о наложенном им наказании и, встретив в классе наказанного, который продолжал ходить туда, приветливо отвечал на его поклоны при нечаянной встрече и благодушно расспрашивал о его занятиях и прочем.

В фигурном классе было посменно два преподавателя. Павел Семенович Сорокин, брат знаменитого рисовальщика Евграфа Семеновича, когда-то подавал не меньшие надежды, чем этот последний, но доля его вышла иная: какая-то скрытая драма помешала Павлу, и он, написав интересную программу «Киевские мученики», дальше не пошел. Из него вышел хороший по тому времени иконописец — и только. В жизни он был аскетом: сугубо постился, характера был замкнутого, для молодежи неприятного, и его не любили, звали «монахом», и его месяц был скучный.

Бывало, ждем не дождемся мы, когда месяц Павла Семеновича кончится и появится добрый, остроумный, немного грубоватый, но такой прямой, искренний Илларион Михайлович Прянишников. Все тогда оживало, хотя Илларион Михайлович не давал нам спуска и сильно не любил возиться с бездарными переростками, коих у нас было довольно. Он был человек пристрастный, хотя и честный. Облюбовав какого-нибудь паренька поталантливее, он перешагивал через десяток унылых тихоходов, чтобы добраться до своего избранника. Спрашивал палитру и, просидев часа три подряд, переписывал этюд заново, да как, и из натурального заходили посмотреть, полюбоваться, что наделал Прянишников. А на экзамене, бывало, Илларион Михайлович, ничтоже сумняшеся, ставил за такой этюд

первый номер. Ко мне Прянишников благоволил и несколько прекрасных этюдов, им переписанных, долго у меня хранились.

Хуже было дело на вечеровых. И лень тут мешала, да и потрудней было работать вечером. Однажды, в первый еще год моего пребывания в фигурном, мне показалось, что рисунок мой клеится. Накануне экзамена, когда Прянишников в последний раз обходил нас всех, я спросил его о своем рисунке, и он весело ответил мне: «Ничего, ходит». Я успокоился, в надежде, что завтра буду уже в натурном.

Каково же было разочарование: меня не только не перевели, но закатали мне 56 номер... Вот тебе и «ходит»! После этого я сильно пал духом и просидел в фигурном еще около года. Перевели меня неожиданно, когда я мало на это надеялся.

Так или иначе, но я в натурном, у Перова, у Евграфа Сорокина... Посмотрим... Первое дежурство было Перова. Мы, новички, его, конечно, уже знали, много о нем слышали. Благоговели перед ним почти поголовно. Он был настоящая знаменитость. Его знала вся Россия. Его «Охотники на привале», «Птицелов» были в тысячах снимков распространены повсюду.

И вот этот самый Перов перед нами... И такой простой, и такой неожиданный, яркий, нервный... Вот он ставит натурщика. Как это все интересно... Голое тело здорового Ивана принимает всевозможные положения, пока, наконец, после долгих усилий, Перов приказал «замелить» — отметить мелом положение и место следков, и предложил нам начинать. Мы уже сами выбрали себе места, и работа началась, по три часа ежедневно в продолжение месяца. Впрочем, как и в предыдущих классах, работали по два часа.

Мы, перешедшие из фигурного, конечно, приемы рисования с натуры знали, но рисовали головы. Теперь надо переходить к более трудному, знать основы анатомии. Мы должны были в фигурном рисовать анатомическую фигуру с гипса. Теперь наши знания надо было проверить на живом теле. Опыты эти на первых порах не всем удавались.

Перов не был сильным рисовальщиком и при всем желании помогал нам мало. Не давались ему и краски: он сам искал их и не находил. Сила его как художника была не в форме, как таковой, и не в красках. В его время все это вообще было на втором плане. Его сила была в огромной наблюдательности, в зоркости внутреннего и внешнего глаза. Его острый ум сатирика, сдобренный сильным, горя-

чим и искренним чувством, видел в жизни и переносил на холст незабываемые сцены, образы, типы. Он брал человеческую душу, поступки, деяния, жизнь человеческую в момент наивысшего напряжения. Ему было подвластно проявление драматическое, «высокая комедия» в характерных образах Островского.

И мы инстинктом поняли, что можно ждать, чего желать и что получить от Перова, и за малым исключением мирились с этим, питаясь обильно лучшими дарами своего учителя... И он дары эти буквально расточал нам, отдавал нам свою великую душу, свой огромный житейский опыт наблюдателя жизни, ее горечей, страстей и уродливостей.

Все, кто знал Перова, не могли быть к нему безразличными. Его надо было любить или не любить. И я его полюбил страстной, хотя и мучительной любовью...

[...] *

Перов вообще умел влиять на учеников. Все средства, им обычно употребляемые, были жизненны, действовали неотразимо, запечатлевались надолго. При нем ни натурщик, ни мы почти никогда не чувствовали усталости. Не тем, так другим он умел держать нас в повышенном настроении.

Был случай, когда перед «третним» все спешили кончить группу. Жара от десятков ламп была чрезвычайная. Натурщик и ученики обливались потом, силы стали изменять. Перов видел это и знал, что рисунок во что бы то ни стало должен быть кончен. И вот он обращается к Артемьеву (будущему артисту Художественного театра Артему) и говорит ему: «Господин Артемьев, расскажите нам что-нибудь». И Артемьев, с присущим ему талантом, рассказывает ряд самых смехотворных анекдотов. Все оживают. Натурщики тоже передохнули. Перов это видит, благодарит Артемьева, приказывает Егору и Ивану встать, и класс, освеженный, принимается за дело. Нет того положения, из которого бы не сумел выйти Василий Григорьевич.

Его месяц кончается. Ждем Сорокина. Он и внешностью своей и всем своим содержанием сильно разнится с Перовым. Если Перов похож на кобчика, с хищным горбатым носом, сильный брюнет нерусского облика (он был сын барона Криденера), очень нервный, подвижный, желчный, сангвинический, то Сорокин — чисто русский, высокий, полный, ленивый, благодухный. Он не спешит никуда, не любит много говорить, флегматик.

* Далее следует эпизод, который повторяется на с. 346 в зарисовке «В. Г. Перов».

Сорокин знал рисунок, как никто в те времена, но возиться, работать он не любил. С нами занимался нехотя. Механически брал папку и уголь и, едва глядя на модель, смахнув нарисованное учеником, твердой рукой ставил все на место, отодвигал папку с рисунком и проделывал то же у соседа. Он не выговаривал букву «р» и говорил, беря уголь в руки — «дайте тляпку», и этой тряпкой уничтожал наши многодневные старания одним взмахом. Не любил он и писать. Писал, скорее намечал форму, чем цвет, предпочитая «блямлот» и «умблю» (браунрот и умбру) другим краскам.

Мы его любили, но не той горячей ревнивой любовью, что Перова. Он был лениво справедлив, лениво честен, лениво добр, лениво талантлив. Все — спустя рукава, лишь бы с рук сбыть.

У Перова учениками был весь класс, у Сорокина — Янов да Валерьян Васильев...

Как и сказал я выше, за год до моего поступления Перову пришла мысль устроить в Училище ученическую выставку. В год моего поступления была первая. На второй я участвовал. Участвовал и на последующих до 1887 года, когда, уже кончившим курс художником, выставил свою «Христову невесту».

Памятна мне третья ученическая выставка. Я стал приращаться к эскизам, к картинам. Жил уже не у Десятова, а в меблированных комнатах, на полной своей воле... Пользовался этой волей я безрассудно, и все же у меня оставалось время и для классов, и для картин.

Я затеял написать купца, отъезжающего из гостиницы. Сюжет не столько перовский, сколько В. Маковского. Взял я его с натуры. Немало я видел таких отъездов. Картина была готова, в свое время доставлена в Училище, на выставку. Завтра открытие, а сегодня будет смотреть ее Перов. Место у меня хорошее в натурном классе.

Все готово. Явился и Василий Григорьевич. Мы его окружили и двинулись осматривать по порядку. Многие он хвалил, кое-кому досталось. Дошел черед и до меня. Смотрит Перов внимательно, озирается кругом и спрашивает: «Чья?» Называют мое имя, выдвигают меня вперед сле живого. Взглянул, как огнем опалил, и, отходя, бросил: «Каков-с!»

Что было со мной! Я ведь понял, почувал, что меня похвалил «сам Перов», что я дал больше, чем он от меня ждал. Мне больше ничего не надо было, и я незаметно ушел с выставки, чтобы одному пережить то новое, сладостное, что почудилось мне в похвале Василия Григорьевича.

В тот же вечер полетело подробное письмо в Уфу. Славный это был день. Картина кем-то куплена, и о ней был хороший отзыв. Чего же больше для семнадцати-восемнадцатилетнего малого!

Однако классные занятия шли так себе. Лучше были эскизы, я ими и больше интересовался. Так прошел еще год — третий — в Училище живописи.

Жизнь Училища я любил. В ней мне все нравилось. Атмосфера вольная, отношения со всеми дружеские, шалости, а шалил я еще как школьник, не зная, куда девать избыток сил.

В научные классы заглядывал я нечасто. И тут мне сильно везло. Ничего почти не делая, я как-то умудрялся на экзаменах отвечать хорошо. Был случай, когда из истории искусств, зная очень немного, два-три билета, я вынул один из них и прекрасно ответил, получил пятерку, а за мной вышел отличный ученик — архитектор, вынул тот, быть может, единственный, который он знал слабо, и не ответил на него, и ему Быковский поставил неудовлетворительный бал, пристыдил, поставив ему примером меня с моей пирамидой Дашура¹², которую я так ловко начертил на доске. Частенько так бывало со мной, нечего греха таить...

В 12 часов, когда этюдные классы кончались, кончались занятия и у архитекторов. Был часовой перерыв, после которого начинались — часов до трех-четырёх — научные классы. И вот этот-то перерыв я заполнял своей особой. Мои шалости, мои нескончаемые выдумки обращали на меня общее внимание. Я был всюду. Носился, как ураган, из классов в курилку, из курилки (я не был курящим, но мне всюду надо было поспеть) к Моисеичу, от Моисеича к Петру Егоровичу, и так, пока перерыв не кончится и нас, бывало, позовут наверх, в научные классы.

Но скажу здесь несколько слов о Моисеиче и о Петре Егоровиче, очень заметных лицах училищного штата.

Моисеич был старик лет пятидесяти пяти, седой, красивый, румяный, очень добрый, благодущный. Он и его жена Моисеевна откармливали нас, школяров. У них в корзинах, которые приносились к 12 часам в комнату по соседству с курилкой, чего-чего не было. Тут были бидоны с молоком, тут были горы калачей, булок пеклеванных, разных колбас, сосисок, котлет, пирожных и прочего. Тут можно было позавтракать до отвала копеек на 20. Пеклеванник с колбасой стоит пять копеек. Отличного молока с хлебом можно было иметь большой стакан за пятак же. Прекрасная котлетка с хлебом — 15 копеек. И все лучшего качества, без обмана, Моисеич и его жена

были на редкость честными людьми и нас — школяров — жалевшими.

У меня почти всегда водились деньжонки, и я обладал дивным аппетитом и поедал у Моисеича всякой всячины копеек на 20 и больше. Обычный же скромный завтрак можно было иметь «до пяточка», как, бывало, выкрикивали школьники, продираясь через толпу к стойке Моисеича. Тут вот и молоденький еще Левитан, бывало, съедал свой скудный обед «до пяточка».

Моисеич давал и в долг, и часто, к сожалению, очень часто, без отдачи, и все же ни он, ни Моисеевна отношений к нам не меняли, нам верили и нас как-то трогательно любили. Славные, простые русские люди были эти Баталовы (такая их была фамилия)...

Неподражаем бывал Моисеич утром в день открытия выставки, Передвижной или Ученической. Он приходил празднично одетый, с медалью, брал каталог и, сложив его трубочкой, внимательно, часов до двенадцати рассматривал в эту трубку все картины, особо останавливаясь на знакомых ему именах художников, бывших учеников. Ими он гордился, их успехи были ему близки.

Умер Моисеич глубоким стариком... Я уже был художником, проездом из Киева, где я расписывал тогда Владимирский собор, узнал, что Моисеич тяжело болен. Я отправился в Екатерининскую больницу, навестить его. Мы оба любили друг друга как-то особенно, и последнее свидание наше было такое душевное. Скоро Моисеича не стало.

Иным был Петр Егорович. Он был главный хранитель платья учеников — заведывал гардеробной. Это был старик, прихрамывающий на одну ногу. Он когда-то служил натурщиком в школе. На нем учились Евграф и Павел Сорокины, Перов, братья Маковские, Прянишников, Шишкин и другие (все они были учениками нашего училища). Затем, повредив себе ногу и состарившись, Петр Егорович остался при школе. Он был умен, авторитетен, строг с нами, однако справедлив, и его любили. Он был великий мастер выпить. Тут же в раздевалке был особый уголок, где хранилась у него водочка и закуска, и Петр Егорович частенько удалялся в свой уголок. С ним не только мы, школьники, но и наши учителя, сам Перов, были «на особой ноге».

Петр Егорович любил меня, любил мою кипучую натуру, шалости мои. Он и Моисеич смотрели на меня особыми глазами, как на «чудушку». Я, быть может, чем-то напоминал им молодость, и что бы я ни проделывал, бывало, не выдают. Когда я уже был в Академии, в Училище поступил такой же сорвиголова, как я, и когда тот что-нибудь

выкидывал особенное, Петр Егорович говорил ему: «Где тебе! Вот был у нас Нестеров, не чета тебе, у него бы поучился...»

Из натурщиков я застал «кривого» Ивана. Этот кривой Иван да Петр Егорович были для Училища тем же, чем знаменитый академический Тарас для Академии. С ними связаны разные легенды школы и Академии. Кривой Иван, как почти все натурщики, был пьяница. Пили натурщики как от праздности, так и от своего ненормального труда. Умер кривой Иван глубоким стариком.

Остальные натурщики жили в Училище сравнительно не подолгу, были чаще из банщиков и почти все спивались. В головном и фигурном для головы модели брали или из богаделен, или по знакомству, — они были проходящими, тогда как все эти Иваны «кривые» и просто Иваны и жили в Училище, жили по годам.

Время шло, а я все еще не мог считать, что скоро кончится мое учение. Медали за этюд и за рисунок не приближались, а отдалялись, хотя я и видел, что меня считают за способного. Время от времени я бывал у Воскресенского и не скажу, чтобы эти визиты были мне легки: приходилось сочинять небывицы о своих успехах и о многом умалчивать.

Жизнь Училища шла обычным порядком. Экзамены были ежемесячно. К рождеству и к пасхе были третные. Они, конечно, к чему-то обязывали, но никак не изнуряли нас. Где тратились силы, здоровье и время — это в «филиалах» школы, в трактирах и прочих учреждениях, не имеющих ничего общего ни с наукой, ни искусством, ни с воспитанием. Все эти Морозовы, Пузенковы, Баскакины¹³ — вот они-то и были повинны во многом.

Как мы доходили до них? Путей было много: среда малокультурная, отсутствие семьи, молодечество, свойственное возрасту, так называемый темперамент, да мало ли что толкало нас к «Морозовым», и там многие из нас гибли... И что особенно больно — гибли способные, талантливые, сильные...

В этих трактирах сосредоточивалась жизнь, но какая... Попойка, игра на бильярде чередовались с еще худшим. Некоторые великовозрастные «таланты», как П. Ф. Яковлев, Неслер, Ачусв, устроили себе там род «биржи». Туда приходили наниматели, их рядили на разного рода работы, в типографию, писать портреты, ретушировать фотографии, да мало ли в те времена кому мы были нужны. И можно сказать, что некоторые из этих молодцев трактир

знали лучше, чем школу. Школа давала им «положение», трактир умел это положение использовать.

Нередко тамошние заседания кончались скандалами, побоищами. Крутая лестница Морозовского трактира бывала ареной драм. Однажды там дошло до того, что архитектора Р. сбросили сверху. Внизу он очутился уже мертвым... Сильно жили тогда... Следующие поколения такой жизни уже, к счастью, не знали.

В описываемое мной время пили и наши учителя. Пил и Перов, и обычным делом было, придя к нему, услышать: «Водочки не хотите ли?» А как пил Саврасов, даровитейший из пейзажистов того времени, умница, благородный Саврасов...

Четвертый год я был в Училище, а медалей нет как нет. Приятели стали поговаривать об Академии. Кое-кто уже уехал. Уехал Рябушкин, кто-то из архитекторов. Слухи о них были хороши. Академия их приняла ласково.

Раньше, чем решиться покинуть школу, советовались мы с Перовым. Пошел и я к нему. Перов нас не поощрял, говорил, что ехать нам рано, что Академия нам не даст того, что мы ожидаем. Мы советы выслушали, но про себя решили в следующую осень уехать, тем более, что здоровье Перова стало заметно изменять ему.

Летом я объявил о моем решении родителям. Они не знали, что мне посоветовать, и мне думалось, что какое-то сомнение их тревожило, они побаивались, что искусство мое в опасности.

Все каникулы я, можно сказать, проболтался. Свел дружбу с актерами, игравшими у нас в летнем театре. Сошелся с одной актерской парочкой, с трагиком Глуковым и с его милой женой. Трагик был бесталанный, но человек хороший, а жена совсем пленила меня и славным личиком своим, и преклонением перед несуществующим талантом своего Саши, который с полгода назад увез ее из Курска чуть ли не из седьмого класса гимназии.

Глумов играл одинаково и Гамлета, и Малюту Скуратова, причем, играя последнего, так неистово вымазывал себе кирпичной краской лицо и пускал по нему такие рябины, что его Малюта вовсе терял облик человеческий.

Публика Глумова не любила, и Ольга Петровна приписывала это невежеству уфимцев. По ее словам, у них в Курске театр при появлении Саши трещал от аплодисментоз... Жила эта пара бедно, нанмали они комнатку в маленьком деревянном домике около театра. Спали и обедали на ящике с Сашиними костюмами Отелло, Кина, царя Бориса.

Я дома почти не бывал. Бывал за кулисами или на террасе у театра с актерами за бутылкой пива, а то у Глумовых, в качестве верного друга и ценителя-художника. Всем троим нам жилось тогда хорошо: мы верили в наше счастливое будущее...

Так прошло лето. Надо было собираться в Петербург, в Академию. Глумовы, не признанные Уфой, ехали в Пермь, в надежде, что просвещенные пермяки воздадут им по заслугам и звезда, сиявшая над Сашей в Курске, еще ярче засветится в Перми...

Простившись с Уфой, с родителями, я поехал в Питер. В ту осень нас поступило в Академию человек пять. Ехал я с князем Гугунавой, или Ванечкой Гугуновым — славным малым, но мало способным.

Остановились против Николаевского вокзала в Знаменской гостинице и, приведя себя в порядок, пошли по Невскому. Шли долго, пораженные всем тем, чего не было ни в Уфе, ни в Москве. Перешли Дворцовый мост и очутились на славном Васильевском острове. Пошли по набережной, стали искать Академию... Спрашивали добрых людей перед каждым большим зданием, не Академия ли это художеств. Но ее все не было. Была Академия, да не та, что нам нужна, — Академия наук, где спустя лет восемь, появился мой «Варфоломей».

Прошли университет, кадетский корпус. Подошли к египетским сфинксам, стали около, глядим — огромное здание, над входом написано: «Свободным художествам», но, помня пережитые неудачи, мы не верим себе и уже робко спрашиваем прохожих: «Скажите, где тут Академия художеств?» Нас осматривают, как каких-нибудь барнаульцев, и говорят, что мы стоим перед Академией. Мы сконфуженно благодарим и, перейдя улицу, вступаем в сей великолепный храм искусства.

В вестибюле видим парадно, в придворную красную ливрею с орлами одетого швейцара, который на наши расспросы снисходительно посылает нас в канцелярию. Мы идем туда, подаем свои бумаги. Нам назначают время, когда прийти узнать о своей судьбе, но мы о ней мало беспокоимся, так как по уставу и традициям, мы, ученики натурального класса Московского училища живописи, в виде исключения, принимаемся в натуральный же класс без экзамена.

В тот день много чудес перевидали мы с Ванечкой. Не помню, ели ли мы, или питались только восторгами от петербургских красот. Дня через два-три узнали, что мы приняты, так, как и ожидали. Наняли себе на Острове комнату, а скоро начались и занятия.

Академия после Училища нам не понравилась. Огромные коридоры обдавали холодом. Во всем было что-то официальное, казенное, не было и следа той патриархальной простоты, что в Московском Училище. Вицмундиры профессоров, их малопопулярные имена — Вениг, Шамшин, фон-Бок — после Перова, Прянишникова, Сорокина, Саврасова, нам ничего не говорили. Правда, тут был автор «Привала арестантов» — Якоби, но вид его показался несолидным.

О Чистякове же мы в Москве ничего не слыхали, а он-то и был тогда центром, желанной приманкой для многих. К нему тогда и шли все наиболее талантливые, все, кто хотел серьезно учиться живописи и рисунку.

В первый месяц дежурил Василий Петрович Верещагин — тихий незаметный человек, показавшийся нам после Перова таким скучным. Он мало с нами говорил, отношение к делу было совершенно формальное. Этюд я написал плохой, плох был и рисунок. Эскиза не подавал вовсе. Ничем на себя внимания не обратил. Для начала худо...

Второй месяц был месяц Якоби. Натуру поставил он, что называется, эффектно, но сам! На что он похож! Подвитой, раскрашенный, с эспаньолкой, в бархатном пиджаке, в гофрированной рубашке, белом большом галстуке. Он разочаровал нас. Советы тоже поверхностные, несерьезные.

И у меня опять плохой этюд, плохой рисунок. Даже Ванечка Гугунава получил номер лучше меня.

Третий месяц. Третний. Дежурит утром Чистяков, вечером Шамшин. К Чистякову все льнут. Где он остановится, сядет, там толпа. Пробовал и я подходить, прислушивался, но то, что он говорил, так было непохоже на речи Перова. В словах Чистякова и помину не было о картинах, о том, что в картинах волнует нас, а говорилось о колорите, о форме, об анатомии. Говорилось какими-то прибаутками, полусловами. Все это мне не нравилось, и я недовольный уходил.

Душе моей Чистяков тогда не мог дать после Перова ничего. А то, что он давал другим, мне еще не было нужно, я не знал еще, как это будет необходимо на каждом шагу серьезной школы и что я постиг гораздо позже, когда усваивать это было куда трудней.

Петр Михайлович Шамшин (будущий ректор) был высокий, важный, медлительный старик сенаторского вида, бритый, наглухо застегнутый, корректный. Он подходил, или, вернее, подсаживался к рисунку на вечеровом, брал от ученика папку и долго смотрел на рисунок и на натур-

щика. Затем медленно, немного в нос, говорил, почти всем одно и то же: «Да-с, извольте видеть, у нас с вами лодыжка не на месте». Поправлял лодыжку и продолжал: «Да-с, в наше время, извольте видеть, покойный Карл Павлович Брюллов горил...» и т. д. Посидев около рисунка минут десять, переходил к следующему с более или менее однородными речами. Шамшин был добросовестный, но не талантливый человек, запоздавший на много лет со своими художественными взглядами, методами.

Ректором живописи был в первый и во второй год моего пребывания в Академии знаменитый гравер, современник Пушкина, глубокий старец Федор Иванович Иордан. Федор Иванович по преклонности лет появлялся у нас очень редко и, говорят, мало уже вникал в дела Академии. И все же в месяц раз мы его видели в стенах Академии. Бывало, во время перерыва на вечеровом, когда из натуральных классов повалят толпой в эскизный, а из него в огромные высокие коридоры, в конце такого коридора навстречу нам медленно двигалась процессия. Это шествовал ректор Иордан, а за ним инспектор классов П. А. Черкасов, кто-нибудь из профессоров и толпа академистов.

Федор Иванович — небольшой, совершенно белый старичок с розовым личиком, с круглыми, от старости как бы остановившимися глазами, с открытым ртом, напряженно слушал в приставленную к правому уху трубу, что ему кричал, докладывая, инспектор. По пути следования ректора мы все шпалерами останавливались у стен коридора, кланялись ему, а он благосклонно нам отвечал. Федор Иванович шествовал в классы...

Вот что, будто бы, произошло года за два до смерти Федора Ивановича, что ходило среди нас, как забавный слух, но что выдавали тогда за истинное происшествие. Ф. И. Иордану было около восьмидесяти лет, и он однажды тяжело заболел. Президент Академии художеств в ближайший день доложил об этом Александру III. Царь выслушал, выразил сожаление и спросил, нельзя ли сделать для больного Федора Ивановича что-нибудь ему приятное. На следующем докладе президент доложил государю, что, по-видимому, больному было бы приятно получить чин действительного тайного советника. Это был первый случай, обычно ректоры Академии кончали свою жизнь лишь «тайными». Царь улыбнулся и приказал изготовить соответствующий рескрипт. И Федор Иванович, получив «действительного тайного», проболев еще немного, взял да и выздоровел и прожил в пожалованном высоком чине еще с год или больше...

Так или иначе, в Академии я не нашел желанного, и казалось, что Перов был прав. Однако я продолжал ходить в классы, писать плохие этюды и рисовать такие же рисунки.

Прошел учебный год. На последнем третнем кое-кто из наших отличился, и, что самое обидное, мой приятель Гугунава получил малую медаль за этюд, и выходило так, что бесталавный Гугунава оказался достойнее меня, считавшегося способным...

С беспокойным чувством я ехал в Уфу. Лето там провел беспорядочно, много нервничал, скакал, как сумасшедший, на своем Гнедышке. Извочки на бирже, мимо которых я проносился ураганом, кричали мне следом: «Смотри, Нестеров, ломаешь себе шею!» Конечно, к этому было достаточно случаев, летал я через голову моей лошадки не раз, но шея оставалась несломленной...

Так прошло лето. Я снова в Питере, снова в Академии. Я зол, все мне не по душе. Все и всех критикую, дело же ни с места.

Приятель-москвичи перегоняют меня по всей линии. Рябушкин получил медаль за эскиз. Получил медаль за свое «Благовещенье» Врубель. Я же, хотя за эту же тему и получил первую категорию, но не медаль. Да и не стоил мой эскиз медали; он был сделан весь по Доре, что тогда вообще практиковалось, но не поощрялось.

Врубель был яркий чистяковец, и мне казались странными приемы его. Он, помню, сидел «в плафоне» натурщика (у его ног) и рисовал не всю фигуру, а отдельные части: руку с плечем в ракурсе или следок, но рисовал подробно, с большим знанием анатомии, воспроизводя не только внешний, видимый рисунок, но тот внутренний, невидимый, но существующий.

Этот метод — чистяковский * — был нам, перовцам, совершенно непонятен, казался ненужным, отвлекающим внимание от целого, общего впечатления, и так как остальные профессора держались такого же мнения, то мы и рисовали по старинке, или вернее, механически.

В ту же зиму я стал особенно задумываться о своей судьбе. Мне было уже двадцать лет, а в прошлом — одни неудачи и беспорядочная жизнь. Было от чего задуматься. В это тревожное время, кроме Паши Попова, меня всячески поддерживал и Ванечка Гугунава. Они не давали

* Нестеров ошибочно принимает одно из упражнений по рисунку, задававшееся Чистяковым, за основной принцип его метода. На самом деле Чистяков как раз учил идти от общего к частному.

мне унывать, падать духом, утешали меня тем, что все это пройдет, что такое состояние временное и прочее, и прочее.

В Академии было правило: прежде чем писать программу на золотую медаль, необходимо было сделать копию в Эрмитаже с одного из великих мастеров. Я стал чаще и чаще ходить в Эрмитаж, пропуская этюдные классы.

В те времена там копировало много художников. Само собой, копии были разные, и хорошие, и так себе. Я подумал, отчего бы и мне не попробовать что-нибудь скопировать, **не** боги горшки обжигают... После долгого размышления я остановился на голландцах, на Метсю. Заказал подрамок, достал разрешение и начал. Начал прилично и скоро этим увлекся.

Копия выходила неплохая, да и жизнь Эрмитажа мне нравилась больше и больше, а Академия все меньше и меньше... Эрмитаж, его дух и стиль и прочее возвышали мое сознание. Присутствие великих художников мало-помалу очищало от той скверны, которая так беспощадно засасывала нас в Москве. Кутежи стали мне надоедать — я искал иную компанию.

Я утром спешил в Эрмитаж. Там все было мило: важный, снисходительный, красивый швейцар в великолепной ливрее, и старые, вежливые капельдинеры, и академик Тутукин — один из хранителей Эрмитажа.

Петр Васильевич Тутукин был как бы необходимая часть Эрмитажа. Он был один из старейших служащих его, остаток былых времен, времен николаевских. В те времена ему, наверное, было лет семьдесят. Элегантный, как маркиз, совершенно белый, шаркающий маленькими ножками, маленький старичок в вицмундире, со всеми был отменно любезен, добр, благожелателен.

Когда-то давно, на заре своей художественной жизни, он рисовал перспективу Помпейской галереи Эрмитажа. Однажды утром он сидел за мольбертом, погруженный в свое кропотливое художество, и услышал сзади себя шаги. Шаги величественно-мерно приближались к нему. Какое-то непонятное волнение заставило молодого Тутукина подобраться, и он, не изменяя позы, затаив дыхание, продолжал свое дело. Шаги смолкли. Некто остановился сзади художника, волнение которого возрастало с каждой секундой. Дыхание как бы остановилось. Он чувствует, как некто наклоняется над ним, слышно его дыхание... Ухо ощутило прикосновение острого конца уса... Сердце бьется, бьется. В этот момент некто произносит: «Молодец!» Шаги снова раздались. Петр Васильевич поднимает отяжелевшие веки от своей перспективы и видит величест-

венную фигуру удаляющегося императора Николая Павловича... Случай скоро стал известен. Молодого художника заметили, стали его приглашать давать уроки в высокопоставленные дома. И он, такой приятный, скромный, обязательный, стал делать свою петербургскую карьеру художника, закончившуюся долголетним пребыванием старшим хранителем императорского Эрмитажа. Умер П. В. Тутукин глубоким стариком, и кто в те времена не знал и не любил этого милого, совершенно седого старичка, галантно шаркающего ножками по великолепным паркетам эрмитажных зал...

Ничего петербургского в те поры, кроме Эрмитажа, я не любил, и душа моя часто возвращалась в Москву, но теперь Москву иную: не на Гороховое поле, не к Десятову, не в мебелирашки, а в Москву старого быта, к городу такому русскому, что я ярко почувствовал в холодном полуиностранном Санкт-Петербурге, где я болел тифом, где так не повезло мне в холодных, величавых классах и коридорах Академии, в Петербурге, с которым мирил меня только великолепный Эрмитаж и великие творения, его населяющие.

Мои неудачи так были чувствительны, что я стал подумывать о бегстве в Москву, в Училище, к Перову. Настала весна, надо было ехать в Уфу. По дороге, конечно, остановлюсь в Москве, и тогда, повидавшись с Перовым, это дело решу.

В Москве в первый же день узнал о тяжелой болезни Перова и о возможности скорой развязки. У Василия Григорьевича была скоротечная чахотка, и он доживал в подмосковных Кузьминках свои последние дни. Я с кем-то из приятелей-учеников посетил его там, а через несколько дней узнал, что Перов скончался. Его торжественно похоронили в Даниловом монастыре.

Горе мое было велико. Я любил Перова какой-то особенной юношеской любовью. Разбитый, неудовлетворенный, приехал я в Уфу, не приняв никакого решения насчет перехода из Академии в Училище.

Дома меня приняли холодней обычного. Мои нервы были в плохом состоянии. Мне нужно было сильное средство, чтобы забыться, забыть утрату Перова и все свои неудачи. Я искал это средство как больной зверь, повсюду вынюхивая полезные зелья. В то лето я много гулял один за городом, по Белой. Мне было тяжело оставаться дома. С близкими были нелады.

Помню такой случай: однажды я пошел гулять со своим приятелем гимназистом 8-го класса Андреем Волковичем, позднее военным врачом, погибшим на «Петропавловске»

вместе с В. В. Верещагиным и адмиралом Макаровым. Пошли мы вниз по Белой, захватив на целый день провизии. День был жаркий. Мы зашли далеко, туда, где не было никаких признаков человеческого жилья. На душе было хорошо, мы были в прекрасном настроении, безотчетная молодая веселость не покидала нас.

Река была все время слева, такая тихая, прозрачная, маняще-теплая. И мы надумали покупаться. Разделись, вошли в воду, захватив с собой свои палки, срезанные по пути. Мы оба не умели плавать, палки захватили, чтобы измерять глубину реки и, незаметно уходя от берега, почувствовали оба сразу, что быстрота течения так усилилась, что мы едва держимся на ногах... Еще шаг, другой, и напор воды под ноги нас снесет, и мы беспомощно понесемся вниз по Белой... Смертельная опасность одновременно почувствовалась обоими, и мы инстинктивно со всей силой уперлись нашими палками в дно реки. Смертельно бледные, мы стали отступать к берегу медленно, шаг за шагом, пока не вышли из воды. И тогда оба сразу поблагодарили бога за наше спасение от неминуемой гибели.

Лето прошло, и снова прощание, проводы, поездка обычным путем в Питер, так как я летом уже решил, что без Перова мне Московское училище не даст ничего. По слухам, вместо Перова будет назначен В. Маковский — это мало меня привлекало.

В Петербурге опять немилая Академия... Эскизы заведомо тенденциозные. Помню, за один такой на батальную тему — «Проводы войск на войну в провинциальном городке» — я получил официальный выговор, который вполне заслужил, поместив в числе действующих лиц самого ректора (тогда уже Шамшина), кого-то из профессоров, до нашего бравого вахтера включительно. В этюдный класс продолжал не ходить, рисунок на вечеровом делал нехотя... И по-прежнему с удовольствием пребывал постоянно в Эрмитаже, получив разрешение копировать «Неверие Фомы» Вандика¹⁴. На этой копии я отдыхал. Она удавалась, то и дело ко мне подходили, хвалили меня. Ежедневно заглядывал и милый академик Тутукин, он явно благоволил ко мне.

В тот год я проболел брюшным тифом, а потом, выздоравливая, поел неумеренно и захворал возвратным.

Я тогда жил на Среднем проспекте, на пятом этаже с моим приятелем архитектором Павлом Поповым, очень способным, добрым и милым молодым человеком из хорошей московской семьи, который очень хорошо на меня влиял.

Он через три года неожиданно умер после операции геморроя, в палате для заразных, куда его положили в Басманной больнице. С благодарным чувством я вспоминаю Пашу Попова.

Однажды по Эрмитажу долго ходил старый генерал-адъютант. По тому, как все служащие при нем подтягивались, как почтительно поздоровался с ним сам академик Тутукин, надо было полагать, что старик — важная птица. Медленно гуляя по залам, он подошел и ко мне. Долго смотрел копию, похвалил. Спросил, где я учусь, и у кого, и откуда родом. Узнав, что я из Уфы, оживился, задал несколько вопросов и, пожелав мне успеха, прошел дальше. На другой день Тутукин сообщил мне, что вчерашний важный генерал был бывший министр внутренних дел генерал-адъютант Тимашев, мой земляк уфимец.

В ту зиму мы, копирующие в Эрмитаже по понедельникам, стали замечать в определенный час господина, проходящего по анфиладе зал от испанской до голландской. Господин был во фраке, — походка его была «министерская» — важная, твердая, уверенная. С ним тоже все было особо почтительно. Господин проходил около меня близко, мельком оглядывал копию и копировщика и следовал дальше к окну последнего зала, где копировала что-то, как нам говорили, дочь американского посла. Там около нее господин во фраке оставался с полчаса и той же министерской походкой проходил обратно, и так до следующего понедельника.

Как-то я спросил Тутукина, что за важная персона проходит по понедельникам к «посланнице». Он мне сказал, что это Иван Николаевич Крамской, что он в этот день в Эрмитаже дает урок великой княгине Екатерине Михайловне. Так вот кто был господин с министерской походкой..

В один из последующих понедельников совершенно неожиданно Крамской по пути к «посланнице» свернул ко мне, поздоровался, спросил, где я занимаюсь, откуда, и, узнав, что я из Москвы и бывший ученик Перова, с особым вниманием стал меня расспрашивать об Училище, об Академии. Ему, видимо, понравился мой отзыв о покойном Перове. Он очень одобрил мою копию, сделал кое-какие замечания и, в заключение, пригласил бывать у него.

Вскоре я воспользовался приглашением и стал бывать у него с большой пользой для дела, до самой его смерти. В ту зиму знакомство с Крамским было самым знаменательным. Он мне посоветовал вернуться в Москву и там кончить школу, а что делать дальше — будет видно. Так я и сделал.

Однажды на вечеровом бродил я по коридору с сыном Крамского архитектором Николаем. Он поздоровался со встречным академиком, познакомил и меня с ним, назвав его Турыгиным. Мы пошли втроем.

Турыгин был плотный, коренастый, с длинными волосами, с едва пробивающейся рыжеватой бородкой юноша лет двадцати. Он деловито, солидно вступил в нашу беседу. С того дня я стал часто встречаться с этим неглупым малым. Оказалось, он бывает у Крамского, и мы однажды с ним встретились, после чего через какое-то время Турыгин, по совету Крамского, предложил мне с ним заниматься живописью приватно. Это был мой первый и последний ученик. Позанимались мы недолго — недели две, едва ли больше. Оба поняли, что из такой учебы мало будет толку. Скоро подружились, перешли на «ты» и остались большими приятелями на всю жизнь. Переписка с Турыгиным продолжалась на протяжении более сорока лет.

Чтобы не возвращаться к нему, скажу о моем приятеле тут же все, что нужно сказать об этом умном, честном, странном или своеобразном человеке. Александр Андреевич Турыгин происходил из богатого петербургского купечества. Род их не очень давний, а родство именитое: Глазуновы, Елисеевы, Кудрявцевы, Сазиковы — все были в родстве с Турыгиными. Композитор Глазунов — его двоюродный брат.

Турыгин-дед, уроженец Онеги, промышлял лесом. Отец Александра Андреевича продолжал его дело. Мать Александра Андреевича вскоре по рождении его умерла, и отец женился вторично.

Отец Александра Андреевича не наследовал ни энергии, ни воли увеличивать родительские капиталы. Он ликвидировал дело и зажил богатым рантье. Сын (мой Александр Андреевич) рос да рос, пристрастился к искусству, стал бывать у Крамского, тот его направил ко мне, и со мной в дружбе, в «особенной» дружбе, он прожил жизнь.

Много хорошего мы видели с ним, на его глазах проходила моя жизнь с успехами, удачами и неудачами. Не было у нас друг от друга ничего тайного. Как на духу, один перед другим, мы прошли свою жизнь. И я рад, что судьба в друзья мне послала Турыгина — честного, благородного, умного спутника, по своему медлительному флегматичному характеру совершенно противоположного моей вечной подвижности, неутомности, сангвиничности. Турыгин десятки раз, бывало, говорил мне: «Куда ты, Нестеров, торопишься, посмотри на меня!» Я же не смотрел на него, а только поглядывал...

Весной я взял свои бумаги и уехал в Уфу с тем, чтобы в Петербург, в Академию не возвращаться.

В Уфе все более и более недоумевали моим бесплодным блужданием из Москвы в Питер и обратно. Одно для них было ясно, что дела мои идут плохо и дело вовсе не в Академии или Училище живописи, а во мне самом. А я сам уперся в тупик и из него не мог выбраться, а между тем, малому был уже двадцать один год. Таково было положение летом 1883 года.

Я пробовал найти себе занятие. Этюды не писались, все было не по душе... Завел я дружбу с фотографом. Он охотно снимал меня в разных, более или менее «разбойничьих» видах и позах. Дух протеста неудачника — уфимского Карла Моора¹⁵, в то время отразился на всех снимках моего приятеля-фотографа. Однако и это меня не удовлетворяло.

И вот как-то была назначена в городском Ушаковском парке лотерея-аллегри. Разыгрывались, кроме вещей обычных, пожертвованных за ненадобностью купцами, разными дамами-благотворительницами, бурая корова, велосипед и еще что-то заманчивое. Скуки ради и я пошел в парк, и на лужайке, где продавались билеты, где была большая толпа жаждущих выиграть корову, вдруг остановил свой взор на двух незнакомых, не уфимских (уфимских-то я знал поголовно) барышнях.

Одна из барышень была небольшая полная блондинка, другая — высокая, стройная, темная шатенка. Обе они были одинаково одеты в тогда еще в Уфе невиданные малороссийские костюмы, суровые, с вышивками, и в одинаковых широких, типа «директория», шляпах, черных, с красивыми шотландскими лентами, на них наколотыми. Они обе весело болтали, но держались особняком, не смешиваясь с провинциальной толпой. Сразу было видно, что барышни были петербургские или московские.

Мое внимание было всецело поглощено ими. И, как на беду, не у кого было спросить о них, разузнать что-нибудь. И я, позабыв о лотерее, обо всем, стал зорко высматривать незнакомок — так они мне нравились, особенно высокая. Когда мне удавалось стать поближе, смотря на нее, мне казалось, что я давно-давно, еще, быть может, до рождения, ее знал, видел. Такое близкое, милое что-то было в ней.

Лицо цветущее, румяное, немного загорелое, глаза небольшие, карие, не то насмешливые, не то шаловливые, нос небольшой, губы полные, но около них складка какая-то скорбная, даже тогда, когда лицо оживлено улыбкой очень особенной — наивной, доверчивой и простодушной. . Голос

приятный, очень женственный, особого какого-то тембра, колорита.

Словом, эта «высокая» не была похожа ни на кого из мне известных, тех, что мне нравились, и, быть может, только одно воспоминание детства совпало с тем, что я видел сейчас. Какое милое, неотразимое лицо, говорил я себе, не имея сил отойти от незнакомок.

Проходил, следя за ними, час-другой, пока они неожиданно куда-то не скрылись, и я остался один, с каким-то тревожным чувством. Побродив в толпе с полчаса, пошел домой, думая о «высокой».

Так прошло несколько дней, быть может, с неделю или больше. Помню, я ехал где-то по Успенской улице на своей Гнедышке и вдруг совсем близко увидел идущую мою незнакомку в том же малороссийском костюме, в той же шляпе, но только под зонтом. Солнце пекло, и она — моя незнакомка — от него пряталась.

Что мне было делать, как быть?.. Я решил высмотреть, куда она пойдет, и, остановив коня, стал издали наблюдать. Она зашла в какую-то мастерскую, не помню какую, я стал вдаль гарцевать в надежде, что не век же незнакомка там будет, и действительно, минут через пятнадцать-двадцать она появилась вновь, и мы двинулись в путь, куда? — посмотрим...

Барышня шла, я подвигался вдаль почти шагом. Долго путешествовали мы, и я заметил, что незнакомка догадалась, что всадник едет не сам по себе, а с какой-то целью, и стала за ним наблюдать в дырочку, что была у нее в зонтике, так, как смотрят актеры со сцены на публику.

Мне стало казаться, что барышня меня хочет перехитрить, а я был двадцатилетний упрямец и решил во что бы то ни стало узнать, кто она, моя очаровательная незнакомка. Миновали мы мост через Сутолоку (про нее весной местные жители говорят — «Сутолока играет»). Вот мы и в Старой Уфе, пригороде, поднялись на монастырскую гору.

Барышня прибавила шагу, видимо, всадник ей надоел или ей захотелось поделиться о нем своими впечатлениями с блондинкой. Так или иначе, скоро она очутилась около деревянного домика с мезонином, с большим садом и нырнула в калитку.

Я остался перед неизвестностью. Проехал около ворот, на дощечке прочел имя владельца... и только. Что делать? — проехал еще немного. Там поле, а дальше Сергиевское кладбище, дорога в Новиковку, на Чертово Гордбище...

Стал я думать думу, как узнать, кто владелец домика с мезонином в Старой Уфе, и через какое-то время узнал случайно, что это — учитель землемерного училища Н. И. Мартыновский, года полтора тому назад приехавший из Москвы и вскоре овдовевший. Сейчас он купил домик в Старой Уфе, живет уединенно, много занимается садоводством.

На первый раз узнано довольно. Теперь надо идти дальше, и я стал настойчиво и терпеливо ждать случая, если не познакомиться с моей незнакомкой, то хотя бы ее увидеть еще где-нибудь. Оказались общие знакомые, через них я узнал, что мою «высокую» зовут Мария Ивановна. Имя простое, но такое милое... Узнал, что [ее] брат, потеряв жену, оставшись с новорожденной дочкой, затосковал; ушел в себя, как-то «замолчал» и что барышни почти нигде не бывают, но что они очень милые. Старшая — Мария Ивановна, кроме того, необычайно добрая, все и всем раздает, узнал про нее почти легенды. Все слышанное мне больше и больше нравилось. Тут где-то близко было и до идеала. А о нем я, видимо, начал после Москвы и Питера задумываться.

Общие знакомые однажды пригласили меня в Блохин сад, намекнув, что там будет и Мария Ивановна. Я не заставил себя просить, был раньше всех на месте. Появились мои знакомые, студент медицинской Академии К-н, его сестра и две мои знакомые незнакомки. Познакомились...

Я быстро управился со студентом и всецело завладел вниманием Марии Ивановны. Откуда что бралось! Вечер пролетел, как мгновение. Прощаясь, студент был со мной холодно-сдержан. Разве уж это такая беда! Вскоре мы где-то вновь собрались, и целый ряд планов на будущие свидания был скоро установлен. Тут были и пикники, и поездки на лодке по Белой, и еще многое.

Изобретательность моя была неисчерпаемая, да и бедный студент не отставал. Его шансы были реальней: он был на последнем курсе, так сказать, без пяти минут доктор, а я незадачливый ученик Училища живописи, с какой-то сомнительной будущностью художника и только... Не трудно было, казалось, сделать выбор, и однако...

Нашлись и еще знакомые. Оказалось, батюшка сергиевский (Федор Михайлович Троицкий) хорошо уже знаком со своими новыми прихожанами, а у нас он был давно-давно желанным гостем и почему-то любил меня, быть может, потому, что, будучи с душой артистической, видел во мне какие-то созвучия своим художественным порывам и мечтам.

Однажды после обедни у отца Федора собралось много народа, был там и я, были и мои новые знакомые. Пришлось за чаем сидеть рядом с Марией Ивановной.

Как всегда, отец Федор был душой собрания. Он сидел против нас и, как опытный и мудрый старец, прозрел без особого труда в наши сокровенные тайны, коих и мы еще, быть может, не сознавали в полной мере. Почему-то к нам его речь обращалась чаще, он как бы соединял нас, благословлял. И мы оба это чувствовали, радовались. Тут же было решение, что в один из ближайших хороших лунных вечеров все мы, тут бывшие, отправимся пикником на Шихан. Конечно, как всегда, и тут заводчиком всего дела был сергиевский батюшка.

Попробую я, однако, дать краткое описание нашего дорогого батюшки. Его доброта, веселость, его внешний приятный облик, столь гармонический с его душевным, духовным обликом, влекли к себе всех. Отец Федор был высок ростом, хотя годы и сделали его несколько сутулым (ему тогда было лет пятьдесят шесть — пятьдесят семь). Чаще всего он в памяти моей рисуется в белом подряснике и в вышитом цветами поясе. Голова его была красивая, благородного облика, волосы густые розовато-бледного оттенка, такова же и окладистая приятная борода. Но что в нем было пленительно-прекрасным — это улыбка, такая доверчивая, полная необыкновенной доброты. Она была покоряющая, и пленение ею было радостное. Было сознание, что человек, одаренный такой улыбкой, верный ваш друг. Это почувствовали и старые, и малые, и простые люди, и люди «умственные».

Отец Федор был натура богатая и в те времена среди духовенства редкая. Он всем интересовался, но больше всего любил, после своей маленькой деревянной Сергиевской церкви, искусство во всех его проявлениях. И он со всей простотой своей ясной неомраченной души умел служить ему. Он был и живописец, и поэт, он прекрасно, задушевно пел мягким музыкальным тенором. Он играл на скрипке, и скрипка его пела, звуки ее обволакивали душу каким-то глубоким, сладостным очарованием.

Все образа иконостаса Сергиевской кладбищенской церкви были написаны самим отцом Федором. Они были очень примитивны, но почему-то ваш глаз это не оскорбляло.

Отец Федор был первый заводчик домашних спектаклей, причем он не только был со своей скрипкой в оркестре, но подчас давал дельные советы, как режиссер. У него было чутье какое-то. Все, до чего он прикасался оживало.

Он и на пикниках был моложе всех. Кто первый костры начнет жечь? Отец Федор. Кто хор наладит? Он же, все он, все отец Федор, все наш сергиевский батюшка.

Вот на стене, на деревянной стене Сергиевского кладбища, написано стихотворение — грустное, трогательное, о тщете жизни, о мытарствах души человеческой. Чье это стихотворение, кто так разволновал вас? Да все тот же отец Федор, так часто провожающий по этим тенистым березовым дорожкам своих прихожан туда, куда и сам через несколько лет он ушел.

В своей жизни я знал лишь одного ему подобного — о. Сергия Шукина, жившего в Ялте. Та же одаренность, богатство природы, та же способность одухотворять, оживать всё и вся своей верой, своим словом и действием. Не было только в отце Шукине того внешнего благообразия, коим был одарен отец Федор.

Итак, возвращаюсь к прерванному, к тому, как наша компания под предводительством отца Федора собралась на Шихан. Вечер был прекрасный. Мы, все участники, запаслись съедобным и отправились веселой толпой. Шихан-гора на берегу Белой близ мужского монастыря место само по себе ничем не примечательное, особенно вечером, когда темно. Но за Шиханом была особая слава, туда ходило издавна много народа погулять.

Вот и мы потянулись туда же. Скоро разбились по парочкам, по группам. Кузнечики стрекотали, где-то за Белой горели костры у рыбаков, где-то внизу плыли на лодке, пели. А у нас на Шихане было тихо, пока отец Федор не стал скликать народ к чаю. Собрались вокруг зажженного большого костра. Кто-то затянул хоровую, все подхватили, и долго в ночной тишине плыли мелодические звуки старой, всем известной песни про Волгу, про широкое раздолье...

Этот вечер сильно сблизил нас с Марией Ивановной. Едва ли он не был решающим в нашей судьбе. Чаше и чаще стала потребность видеть друг друга...

В то же лето та же милая компания собралась на Белую ехать на лодках. Спустились к реке (на ней в ту пору было много плотов). И вот кому-то пришло в голову, пока рядились с лодочниками, пробраться на эти плоты. Один за другим мы очутились на воде. Стали перебираться с одного плота на другой, и как-то незаметно я отстал от своей дамы, а она уже была далеко, на другом плоту с моим соперником, с Пьером Бобо, как мы его прозвали в честь, должно быть, Боборыкина. Вот я и поспешил туда же по плотам. Осталось перескочить с одного на другой, и так как я особой легкостью в движениях не

отличался, то, прыгнув, не рассчитал расстояния и угодил прямо в воду. Я не умел плавать, и меня стало течением втягивать под плот. Дело было плохо. Все на плотках увидели мою оплошность, кинулись спасать меня. Первой же и ближайшей ко мне очутилась бледная, взволнованная Мария Ивановна. Она быстро нагнулась, протянула мне руки, и я кое-как схватился за них и был вне опасности.

Меня живо вытащили на плот всего мокрого, и едва ли я похож был на героя романа. Так или иначе, спасительницей моей была признана Мария Ивановна. И она, довольная, счастливая, принимала поздравления. Сейчас же меня повели на берег и где-то в кустах раздели и стали сушить на солнышке мои одежды, а я сидел тут же в естественном своем виде и размышлял о случившемся и благодарил бога и мою спасительницу.

Когда пообсох, мы все же поехали по Белой, и, помню, Мария Ивановна сидела у руля, а я против на веслах. Как она была прекрасна и счастлива в тот вечер... В своем спасении ею я видел тогда какое-то предопределение.

Еще не раз мы с Марией Ивановной в то лето имели случай встретиться. Между нами все давно выяснилось, мы договорились. Время приближалось к отъезду в Москву. Решили пока что ждать... Накануне того, как я должен был выехать, мы в последний раз встретились вдвоем. Гуляли где-то за Татарским кладбищем. В моей памяти вся эта прогулка оставила воспоминание чего-то фантастического. То, что было перед нашими глазами, я не раз позднее видел во сне. Красота самой природы тех мест, где мы бродили рука об руку, то, что тогда говорилось, чувствовалось, оставило во мне впечатление совсем не реального, а какого-то сновидения. Тут перепуталось все в моей памяти, так было необычно и прекрасно пережитое тогда...

На другой день я, холодно простившись с родителями, один, никем не провожаемый, уехал на пароход. Грустен был мой отъезд, и его скрасила лишь пришедшая пешком в ненастный день на пристань (за несколько верст от Старой Уфы) Мария Ивановна. Не была радостна и она в тот день. Впереди была тяжелая неизвестность. Разлука на год тоже не была легка. Моросил дождик. Дали второй свисток. Мы простились. Я остался на пароходе один. Скоро пароход отвалил от пристани, и мы еще долго обменивались с Марией Ивановной прощальными приветствиями, пока она не скрылась из моих глаз вовсе.

Я ехал в Москву, в свое родное Училище, где уже не было Перова и на его месте был Владимир Маковский. Скоро я вошел в свою среду. Стал усердно посещать классы утренние и вечерние. Но чем особенно в это время был увлечен — это эскизами.

Эскизы задавались, как и раньше, на несколько тем, и я незаметно для себя вошел во вкус, стал делать на все заданные темы и скоро стал замечать, что мною ничто с таким удовольствием не работается, как эскизы. Я стал чаще и чаще получать за них первые номера, награды. Стал замечать, что на экзаменах ученики ждали моих эскизов, как прежде ждали Яновских, Сергея Коровина, Рябушкина, словом, тех, кто особенно отличался по эскизам. И это мне еще больше придавало рвения. Около моих эскизов собиралась толпа. Я был снова «герсй дня».

Однако и в классе я был не тот, что раньше. Я уже не манкировал этюдами и рисунками, и они, хотя и были не самыми лучшими, но и не были так слабы, как раньше. Я все же преуспевал. Стал иным. Благоразумие взяло верх, и хотя изредка и прорывался, но это было уже не то, что раньше. Я жил на полной своей воле в меблированных комнатах «Восточных номеров», где меня знали все за порядочного головореза, но это было далеко не то, что прежде.

Так шли дни за днями. Новый профессор ко мне относился хорошо, но близости к нему у меня не было, и думается, что Владимир Егорович видел, что я еще продолжаю жить воспоминаниями о Перове, и оставлял меня сознательно пережить это состояние, более глубокое, чем можно было думать.

Владимир Егорович был умный, конечно, очень одаренный, но с сильным холодком, и в нем не было перовской горячий, хотя часто и раздраженной, желчной потребности прийти на помощь ученикам. У Прянишникова была грубая искренность и неподдельная к нам симпатия. У Маковского были любимцы, они были у него на квартире, нам же, остальным ученикам натурального класса, жизнь его мастерской и, того больше, его домашняя жизнь была совершенно чужда, и он был с нами на официальной ноге. Его манера держаться, эти его «голубчик мой», «здрасьте, батенька» и т. п. нас с ним не сближали. И все же я должен сказать, что ко мне лично он относился мягко и ничем не вызывал к себе моего недоверия. Просто я был для него «ученик Перова». В этом было и хорошее, и «так себе».

На одной из ученических выставок, кажется, первого года, как появился у нас Маковский, я поставил две не-

большие картинки — «Знаток» и «Дилетант». Обе они смахивали на жанры нашего профессора. Сделалось это совершенно невольно. Обе картинки были написаны довольно ловко для ученика, и одну из них — «Знаток» — в первый же день выставки купил старик Абрикосов и, как мне тогда сказали, купил по настоянию Владимира Егоровича. Подозреваю, что случилось это потому, что картинка моя слишком была родственна творчеству Владимира Егоровича. Этими двумя ранними произведениями и кончилось мое невольное подражание этому талантливому, но далекому от меня художнику.

И все же, повторяю, Владимир Егорович в те дни не был мне враждебен — это случилось гораздо позднее, когда я вышел на самостоятельную дорогу, когда явился «Варфоломей» и многие последующие картины.

Так или иначе, и этот год кончился. И я опять приехал в Уфу и все еще без желанных медалей, без звания хотя бы свободного художника.

С приездом домой нахлынули с новой силой все те чувства, которые я испытал впервые в предыдущее лето. Начались опять незабываемые дни радостей и новых огорчений, и чем этих огорчений было больше, тем и радости были сильнее. Родители мои и слышать ни о чем не хотели, и мне стоило огромных усилий, чтобы выдержать то противодействие моему намерению жениться на любимой мною девушке, которое все сильнее и ярче разгоралось в семье. Каждое свидание наше стоило нам обоим много горечи, много мук.

Лето прошло, как в угаре, прошло быстро, и вот новая разлука, неизвестно, надолго ли... Надежды мало, но взаимные клятвы придают силы, веру, а следовательно, и надежду. И я опять в Москве, в училищном водовороте, в непрерывной переписке с Уфой.

Дела с первых же шагов в школе пошли хорошо. Писать и рисовать стал внимательней, снова стал видеть краски, а эскизы — ну, эскизы стали моим любимым делом. Я все лучшие силы отдавал им. Первые номера, награды сыпались. В эскизах я чувствовал, что я художник, что во мне живет нечто, что меня выносит на поверхность школьной художественной жизни стихийно. И я слышал, что эскизы настолько обратили на меня внимание школьного начальства, что оно решило меня не задерживать, полагая, что чего не дополучу я в школе, даст сама жизнь. Со мной все учителя были очень в то время внимательны, ласковы, и я ходил именинником. Озорство постепенно испарялось,

я весь ушел в занятия. Подошел незаметно конец года, последний третной. Я поставил чуть ли не четыре эскиза и один большой «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство». Я делал его с огромной любовью. Тогда на меня сильно повлияли суриковские «Стрельцы», их темный, благородный тон. Я везде его видел и эскиз свой написал в вечерне-темной гамме. Вышло нарядно, а для ученического эскиза и совсем хорошо.

Принес я свои эскизы на экзамен. Перед ними толпа, и я снова, после многих лет, испытал то большое удовлетворение, торжество, что испытал в последнюю весну перед роспуском у К. П. Воскресенского.

Начальство осталось мной чрезвычайно довольным. За все эскизы я получил первые номера, а за «Призвание», кроме того, 25 рублей награды — случай небывалый (обычно давали 5 рублей). И эскиз Училище взяло в «оригиналы» — это тоже бывало крайне редко.

Не успел я переварить этот успех, за ним пришел еще больший: Совет профессоров действительно решил меня выпустить, дав одновременно мне обе медали — и за рисунок, и за этюд.

Таким образом, я стал «свободным художником»¹⁶, но это все вместе с моими уфимскими делами подорвало мои силы, и я свалился, да еще как! Было что-то с почками, я проболел всю весну и часть лета, в Уфу не поехал, а моя невеста, узнав о моей болезни, в распутицу, на лошадях до Оренбурга (тогда железной дороги до Уфы не было), приехала в Москву, и тут у нее на глазах я стал поправляться и переехал в Петровский парк. Там я окончательно выздоровел.

18 августа 1885 года мы обвенчались с Марией Ивановной, и для меня началась новая жизнь, жизнь радостей художественных и семейных...

Раньше, чем перейти к пересказу того, что меня ждало в новой жизни, скажу два слова о том дне, когда мы с Марией Ивановной поженились. Свадьба была донельзя скромная, денег было мало. В церковь и обратно шли пешком. Во время венчания набралось поглазеть в церковь разного народа. Невеста моя, несмотря на скромность своего наряда, была прекрасна. В ней было столько счастья, так она была красива, что у меня и сейчас нет слов для сравнения. Очаровательней, чем была она в этот день, я не знаю до сих пор лица... Цветущая, сияющая внутренним сиянием, стройная, высокая — загляденье! А рядом я — маленький, неуклюжий, с бритой после болезни головой, в каком-то «семишарском» длинном сюртуке — куда был

неказист. И вот во время венчания слышу справа от себя соболезнования какой-то праздной глазеющей старухи: «А, ба-а-тюшки, какая она-то красавица, а он-то — ай, ай, какой страховитый!»

После венца мы собрались все у сестры жены. Стали обедать. И в самый оживленный момент нашего веселого пирования бывшего на свадьбе доктора-акушера вызвали из-за стола. Вернулся — опоздал, больная уже умерла...

Все это тогда на нас произвело самое тяжелое впечатление, конечно, ненадолго, но хорошая, веселая минута была отравлена. В душу закралось что-то тревожное...

Возвращусь, однако, к новой жизни. Мы поселились около вокзалов на Каланчевской улице, взяли небольшой номерок. Ничего определенного в смысле заработка не было, пришлось тотчас же отказаться от родительской помощи. Молодой задор требовал этого.

Надо было начинать эскиз, а затем и картину на большую серебряную медаль на звание классного художника. Эскиз я сделал скоро, тема — «До государя челобитчики», попросту — выход царя. В том же черно-густом тоне, что и «Призвание», те же огни, облачения, — словом, повторение пройденного. Однако эскиз утвердили и дали денег (100 рублей) для начала картины. Большой холст, натурщики, костюмы, а главное, жизнь, скоро опустошили мой карман. Началась погоня за заказами.

Жена тоже что-то начала делать. Мы жили так скромно, как больше нельзя. Наступала осень, за ней зима, а у нас и теплого платья еще не припасено... Ну да ничего, зато мы молодые, нам по двадцать три года, любим друг друга.

И, действительно, появились кое-какие заказы, иллюстрации. Мы немного ожили. Работа с картиной шла своим порядком. Прошло сколько-то времени, меня пригласил работать к себе «комнатный декоратор» Томашко. Он тогда был в славе. Богатые купцы строили себе дома, и их украшал Томашко. Ему нужен был помощник для плафона. Я и подвернулся тут.

И вот я у него пишу плафон в аршин шесть-семь для морозовского особняка на Воздвиженке. Что-то комбинирую, компликую с Микеланджело, Тьеполо и еще кого-то. Плафон готов в неделю. «Маэстро» доволен и сразу отвалил мне 100 рублей. Каким победителем я летел тогда от Воротниковского переулка к себе на Каланчевскую! Как радостно меня встретила моя красавица жена! Сколько в тот день было веселья! Вот где сказалась наша юность, наши двадцать три года!

Теперь время летело. Днем я работал или дома, или у Томашки, причем он, уезжая по делам, запирает меня в мастерской на замок, в тех видах, чтобы если без него явится кто-нибудь из его заказчиков, не открылась тайна, что плафоны пишутся не им, а кем-то другим и за гроши...

Так было со мной, а после меня на таких же условиях работал Головин, с той разницей, что я у Томашко проработал лишь один год, а бедный Головин несколько лет и с трудом от своей кабалы избавился.

Томашко был внешне любезен, но был чистой воды эксплуататор, и при этом жестокий. У него по летам было много дела, а следовательно, и большая артель так называемых уборщиков — комнатных живописцев. По субботам бывал расчет с рабочими, они получали заработную плату, и Томашко, бывало, еще с четверга был не в духе и неистово вымещал субботний расчет на бедном мальчике, взятом в ученье, которое было для вихрастого Ленки не столько ученье, сколько мученье. Он постоянно ходил избитый и боялся своего учителя-мучителя как огня.

Итак, денежные дела шли у нас сносно. Мы были сыты и одеты. Эскиз был сделан. Я приступил к самой картине. Надо было достать натуру, костюмы. Первопланного мальчика я написал с жены. Попал туда, в толпу челобитчиков, и Моисенч.

Было трудней с костюмами, но и это удалось. В Училище дали мне письмо в костюмерную Большого театра, и мне предоставили выбрать, что надо. Костюмы были плохие, хотя и назывались роскошными. У меня не было навыка и сноровки обращаться с этой бутафорией, и кто-то из приятелей посоветовал пойти к Сурикову и поговорить с ним, узнать, как он в таких случаях поступает. Сказано — сделано.

В один из вечеров я отправился на Долгоруковскую, Сурикова застал. Он принял меня ласково, обо мне он кое-что слышал. Познакомил меня со своей женой. Она тогда уже была болезненного вида, такая хрупкая, бледная, с голубоватыми жилками на лице. Звали ее Елизавета Августовна, в ней была французская кровь. С нее Суриков, говорили тогда, написал в «Меншикове» невесту Петра II, ту, что сидит в ногах Меншикова. Славное было лицо у Елизаветы Августовны, доброе, самоотверженное. Всей душой она была предана своему мужу-художнику.

Итак, состоялось мое знакомство с Суриковым, потом оно крепло. Василий Иванович стал иногда заходить к нам в номерок, и, кажется, ему было приятно бывать у нас. Жена была всем мила, всем она нравилась своей простотой,

задушевностью и молодостью. В это время часто бывал еще Сергей Васильевич Иванов, тогда молодой, горячий, нарочито грубоватый, полный планов и бунтарских идей. Ему тоже очень нравилась моя Мария Ивановна. Да и вообще к нам охотно заходили молодые приятели.

Славно жилось тогда нам. Однажды я узнал, что весной, в мае, я буду отцом. Стали строить планы, один другого увлекательней, наивней. И как тут была оживлена, изобретательна будущая счастливая мать!

Как-то поздно ночью к нам в номер тревожно постучали, и на мой вопрос: «Что такое?» — мы услышали «Горим, вставайте!» Поспешно мы встали — горел пятый этаж над нами, мы были в четвертом.

Без суеты успел я вынести весь наш скромный скарб. Жену удалось спокойно вывести и устроить в безопасном месте, после чего потолок нашего номера провалился и наш номер тоже сгорел. Сгорело два этажа большого дома. Мы временно перебрались в другие меблированные комнаты наискось и там оставались до того времени, когда нас водворили в свободный номер нашего дома. Это печальное обстоятельство не оставило по себе тяжелых следов. Жена была здорова, и все снова вошло в свою колею.

Кроме большой картины, я писал тогда к ученической выставке картину малых размеров — «В мастерской художника». Позировала мне в качестве модели моя Мария Ивановна, а художником был приятель — скульптор Волнухин. Картина вышла несколько иной, чем мои предыдущие жанры. Но так как я свою модель обнажил, хотя и очень скромно, а по тем временам это было не принято, то мне было сделано соответствующее внушение. Картина успеха не имела, и я подарил ее сестре моей жены¹⁷.

А между тем время шло да шло. Вот наступил и 1896 год, навсегда мне памятный...

Большую картину вчерне я написал. Надо было ее кончать — в маленьком номере тесно, отойти некуда. Как-то встретил Иллариона Михайловича Прянишникова, спрашивает, как дела? — говорю ему, как дела. А он и предлагает мне перенести картину в Училище, в свободную мастерскую. Конечно, я ухватился за это предложение, и вскоре картина моя была в огромной мастерской наверху, где архитектурные классы. Стал кончать, ко мне стали заглядывать не только ученики, молодые художники, но и наши мэтры. Чаше других — Прянишников. Как-то раз входит он не один. С ним артиллерийский полковник, очень приятного вида. Это был Николай Александрович

Ярошенко. Прянишников представил меня ему, сказав: «Это наш будущий передвижник».

Я был очень доволен этим посещением, положившим начало самых дивных отношений между мной и Ярошенками на многие годы, на всю нашу жизнь.

Вот и весна подошла. Скоро надо ставить картину на суд. Я ею не был доволен. Чувствовал, что не справился, хотя, по тем временам, затея и была смелая, но не того я ждал. Вышло как-то внешне, неубедительно, хотя, быть может, и красиво.

Время от времени заходила жена. Ну, ей-то картина нравилась, хотя она иногда и говорила шутя: «Ты не мой, Мишечка, ты картинкин».

И то была правда — я весь был в картине, в заботах о ней, о ее судьбе и только, когда не был в мастерской, вспоминал о другом, о предстоящем скоро более важном событии, чем получение большой серебряной медали, чем звание классного художника. Таковы-то в большинстве мы, художники... в этом надо, к сожалению, сознаться.

Наступил и день суда, 12 мая. Картину снесли вниз, поставили в натурном классе с другими вещами, представленными на большую серебряную медаль. Что-то бог даст...

Все обошлось хорошо. Медаль и звание я получил, я классный художник, впереди неясно, но надежд много... Как знать, может быть, и в самом деле когда-нибудь и передвижником стану... Всякое бывает...

Отпраздновали мы мой успех, были пельмени, вспоминали Уфу. Весело прошел день, беззаботно. На другой день вздумали побывать в Сокольниках. Всю дорогу туда и обратно моя Маша была особенно оживлена. Шалости не прекращались. Она была так интересна в своей большой соломенной шляпе с шотландскими лентами, так к ней шло ее простенькое, как всегда, платье. Она взяла мою палку, шла под руку со мной и болтала так заразительно, что все встречные смотрели на нее с явным сочувствием, а некоторые говорили: «Как мила!» Так памятен этот ясный, солнечный день мне до сих пор.

Это было 13 мая, а 27-го утром жене стало худо, и мы с ней отправились к заранее ею выбранной по особой рекомендации акушерке, где она и должна была остаться. День прошел в страданиях, к вечеру же бог дал дочь Ольгу. Этот день был самым счастливым днем в моей жизни... Я бродил, помню, по набережной Москвы-реки, не веря своему полному, абсолютному счастью, упиваясь им, строя в своем восторженном состоянии план: один

другого счастливее, радостнее. Так было до следующего утра...

А утром, утром я узнал, что появились за ночь тревожные признаки. Был вызван доктор, вышел от больной серьезный. По лицам окружающих было заметно, что что-то неладно. Жена, к которой меня, наконец, пустили, сильно за ночь и день изменилась, осунулась, мало говорила. Позвали лучшего тогда в Москве профессора Чижана. Он вышел мрачный, я стал догадываться...

Всю ночь молился. Рано на рассвете был у Иверской. Быть может, впервые понял все, молился так, как потом уже не молился никогда. Было тогда воскресенье, Троицын день, ясный, солнечный. В церкви шла служба, а рядом, в деревянном домике прощалась с жизнью, со мной, со своей Олечкой, с маленькой Олечкой, как она звалась заранее, моя Маша. Я был тут и видел, как минута за минутой приближалась смерть. Вот жизнь осталась только в глазах, в той светлой точке, которая постепенно заходила за нижнее веко, как солнце за горизонт... Еще минута, и все кончилось. Я остался с моей Олечкой, а Маши уже не было, не было и недавнего счастья, такого огромного, невероятного счастья. Красавица Маша осталась красавицей, но жизнь ушла. Наступило другое, страшное, непонятное. Как пережил я эти дни, недели, месяцы?

Похоронили мою Машу в Даниловом монастыре, на той дорожке, где лежал другой дорогой мне человек — учитель мой В. Г. Перов. Еще на Пасхе мы с Машей были здесь у Перова, сидели, говорили, а теперь вот и она тут лежит... Так все скоро, так все неожиданно, страшно...

А Олюшка... Что она? Где она? Еще Маша лежала в церкви, в Москву приехал дядюшка Кабанов и, узнав в номерах, что случилось, сейчас же был около меня. Он предложил увезти тотчас же девочку к себе в имение, в Тверскую губернию. Там было много народа, женщин, там девочке будет хорошо, будет кому с ней нянчиться.

Дядюшка Кабанов был добрый человек, и вот он достал плетеную корзиночку, уложил в нее мою дочку и увез ее. На Никольском вокзале, пока ждали поезда, он обронил деньги и тут же загадал: если найдет, то все будет благополучно. И нашел их. Пришлось, однако, чтобы долго не ждать, поехать в товарном поезде. И вот дорогой внезапно загорелся тот самый вагон, где ехал дядюшка со своей корзиночкой. Однако и на этот раз все обошлось благополучно, и девочка приехала в Лукосино, где ее окрестили и где она оставалась до осени, когда ее взяла к себе в Петербург сестра покойной жены Е. И. Георгиевская.

Я остался в Москве, потом уехал в Уфу, но остановился не у отца, а у брата покойной жены. Тогда иначе, казалось мне, поступить я не мог.

Осенью снова был в Москве. Часто то один, то с С. В. Ивановым бывал в Даниловом монастыре. Хорошо там было. Тогда и долго потом была какая-то живая связь с тем холмиком, под которым теперь лежала моя Маша. Она постоянно была со мной, и казалось, что души наши неразлучны.

Под впечатлением этого сладостно-горького чувства я много рисовал тогда, и образ покойной не оставлял меня: везде ее черты, те особенности ее лица, выражения просились на память, выходили в рисунках, в набросках. Я написал по памяти ее большой портрет, такой, какой она была под венцом, в венке из флердоранжа, в белом платье, фате. И она как бы была тогда со мной.

Тогда же явилась мысль написать «Христову невесту» с лицом моей Маши... С каким сладостным чувством писал я эту картину. Мне чудилось, что я музыкант и играю на скрипке что-то трогательное до слез, что-то русское, быть может, Даргомыжского.

В этой несложной картине тогда я изживал свое горе. Мною, моим чувством тогда руководило, вело меня воспоминание о моей потере, о Маше, о первой и самой истинной любви моей. И еще долго, на стенах Владимирского собора я не расставался с милым, потерянным в жизни и обретенным в искусстве образом. Любовь к Маше и потеря ее сделали меня художником, вложили в мое художество недостающее содержание, и чувство, и живую душу, словом, все, что позднее ценили и ценят люди в моем искусстве.

«Христову невесту» я начал писать на глютене, составе, из которого, тогда говорили, писал Семирадский в храме Христа Спасителя. Состав этот дает приятную матовость. Но когда картина была почти готова, кто-то сказал мне, что матовость-то глутень дает, да краска потом лупится. Подумал я, подумал да и начал картину на другом холсте без глутеня и с измененным пейзажем. Первая картина была на ученической выставке, и потом я подарил ее своим родителям. Вторая, спустя несколько лет, появилась на Периодической выставке в Москве и была приобретена великим князем Сергеем Александровичем¹⁸. В ту зиму я стал бывать на вечерах у В. Д. Поленова. Он жил тогда где-то у Зоологического сада, в старом барском особняке, расположенном посреди большого двора. Тут же был и сад. Я впервые увидел обстановку и жизнь еще мне незнакомую, стародворянскую.

Собиралось нас довольно много. Тут бывали Левитан и К. Коровин, кажется, Головин и еще кто-то. Рисовали кого-нибудь из присутствующих или натурщика. Помню, позировал Левитан в белом арабском балахоне, который очень шел к его красивому восточному лицу. Рисовал и сам Василий Дмитриевич, рисовала Елена Дмитриевна Поленова.

Потом бывал чай. Мы шли в гостиную, где около большой лампы под огромным белым абажуром в глубоком кресле сидела старушка — матушка Василия Дмитриевича, которая по-барски, но весьма благосклонно с нами здоровалась и вела беседу.

Вся эта обстановка мне очень нравилась, чем-то веяло тургеневским, очень мягким, благообразным и стройным. Помню, несколько раз и Поленов навещал меня в эту зиму.

В ту же зиму я написал по заказу из Кяхты исторический жанр: «Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышней Марией Ильиничной Милославской». Вещь эта ничего оригинального или художественного в себе не имела. С нес и было сделано мной повторение для отца моего приятеля Турыгина¹⁹.

Но о чем я чаще и чаще стал задумываться — это о том, чтобы написать то, что я недавно пережил, — смерть моей Маши, ее последние минуты. Я начал делать эскизы. Они меня более и более увлекали в эту близкую, хотя и тяжелую тему.

На рождество я ездил в Петербург, чтобы повидать мою дочку. Она была уже крепкая, славная девочка и еще больше, чем когда родилась, лицом напоминала покойную жену. Обстановка, где девочка находилась, мне не была по душе. Это была семья, где бывало много денег, но не было ни семейного лада, ни более или менее высоких стремлений. Тройки, Острова, благотворительные базары наполняли жизнь красивой, но праздной женщины, которая в это время должна была заменять мать моей девочке.

Так прошла зима 1886—1887 года.

Я забыл сказать, что вскоре после смерти жены я получил очень хорошее, сочувственное письмо от сестры, но оно было лишь от нес. Мои родители ничем своего сочувствия моему горю не выказали, и все оставалось в продолжение года по-прежнему.

Однако летом внезапно мною овладела мысль, что все мои беды, все мое горе и несчастье произошли от моей вины, что они были мне посланы во искупление моего греха, моего своеволия, за то, что я не исполнил волю своих стариков, женился без их согласия, без их благосло-

вения. Эта мысль томила меня. От нее я не мог отделаться, пока внезапно не решил поехать в Уфу просить моих, тоже измученных, хотя и безмолвствующих стариков простить меня. Мне нужно было верное сердце, сердце матери.

И я недолго собирался... Вот Нижний, вот знакомые пристани: Самолетская, Меркурьевская, Курбатовская. Вот и наши — Бельские. У сходней знакомая и любезная надпись: «Сегодня в Уфу». Я на пароходе. Скоро наш «Витязь» отошел от конторки и «побег на низ».

Дорогой я думал об одном, как я приеду, как этот неожиданный приезд мой будет принят. И сердце говорило, что все будет хорошо. Мать все поймет, на то она и мать, чтобы все понять, все простить, все своей любовью исцелить.

Вот замелькали родные с детства берега извилистой Белой. Опять Дюргюли, Бирск, а там и пристань. Меня никто не встречает. Выхожу на берег, много знакомых, но наших лошадей нет. Никто не знает, что я здесь. Беру извозчика. Странно ехать в Уфе и не на своих лошадях. Не так я приезжал в свою Уфу в старые годы. На сердце неладно...

Вот и дом, ворота открыты. Извозчик въезжает, и вижу мать... Она тоже увидела. Оба разом бросились друг к другу. Так и замерли во взаимных объятиях. Все было забыто, все прощено... Опять нашли один другого. Слезы, но слезы радости, облегчения...

А там в дверях сестра, отец. Общее семейное счастье... А что было потом, сколько было сказано такого, что таилось в самой глубине сердца. И пошли счастливые дни. Расспросы, самые любовные расспросы обо всем дорогом: об Олюшке, об искусстве... Какие дивные были те дни для меня!

Умиротворенный, уехал я из родительского дома, но не в Москву, а в Петербург. Там я хотел приняться за новую картину. Поселился на Пушкинской в «Пале-рояле», где в то время жило много всякой артистической братии: поэты, художники, писатели...

Кого-кого не вмещал в себя этот огромный дом. Там было неважно. Комната с перегородкой, или аркой, для кровати, плохой стол и вообще какая-то оторванность от семьи, без уюта и душевного тепла. Там люди бродили, как тени. Ложились под утро, вставали к вечеру. Странная жизнь, странное существование этих странных, как бы бездомных жителей этого огромного дома на Пушкинской.

Тогда в Петербурге можно было достать мастерскую, но не помесечно, а снять ее на год. И, как ни странно, очень и очень нелегко было подыскать помещение помесечно;

к таким помещениям можно было отнести набитый меблированный дом «Пале-рояль».

Там-то я и поселился. Заказал подрамник аршина на два в квадрате и стал чертить свою картину. Эскиз был разработан и в композиции, и в красках, и я был им удовлетворен, но, как на беду, холст для картины попался неприятный, очень гладкий и на нем не выходило того, что мне надо было.

Я бился с картиной до рождества и, наконец, беспомощный, решил отложить окончание ее на неопределенное время, а пока что надумал поставить свою медальную вещь «До государя челобитчики» на конкурс в Общество поощрения художеств (на Морской). Там был ряд премий на все роды живописи, в том числе и на исторические темы.

Картина прибыла из Москвы, конкурс состоялся, я и какой-то поляк из Варшавы получили по половине премии (полную разделили на две части). Картина в общем успеха не имела, и мне посоветовали ее поставить на Академическую выставку в залах Академии художеств. Я так и сделал.

Помню, в один из вечеров зашел я к Крамскому. Он, больной (тогда уже вернулся из Ментоны), успел побывать на Академической и видел мою картину. Мы после обеда остались с ним вдвоем, и он сам начал первый говорить о моей вещи. Признав кое-какие достоинства в ней, он мне сказал и о ее недостатках. Главный из них — это несоответствие ее размера с незначительностью самой темы.

— Будто так бедна наша история, что из нее нельзя было выбрать тему другую, где была бы драма, что ли, или сам исторический факт был бы более крупный, захватывающий.

Эти слова были сказаны не равнодушным тоном, они говорились горячо и шли от большого желания пробудить во мне сознание значения темы в картине. Я слушал внимательно и благодарно.

Я долго сидел в тот вечер у Ивана Николаевича. При мне дочь его Софья Ивановна уезжала на бал. Вошла нарядно одетая, в каком-то светлом платье и в боа на шею. Рассматривая костюм и прощаясь с уезжающими, Иван Николаевич, как бы связывая только что ушедшую Софью Ивановну с какой-то своей тяжелой думой, спросил меня внезапно, читал ли я «Смерть Ивана Ильича», тогда только что появившуюся в свет. Я ушел от Крамского со смутной тревогой, и она не была напрасна. Вскоре он умер во время писания портрета доктора Раухфуса, и, таким образом, это свидание было последним.

С «Пале-роялем» надо было расстаться, так как после конкурса я задумал из Петербурга уехать опять в Москву. Незадававшаяся картина и неприятное чувство, которое я испытывал, постоянно бывая в семье, где была моя девочка, гнали меня из Питера. Раньше чем проститься с Петербургом, я побывал в Эрмитаже, зашел к знакомым, которых к этому времени у меня в Питере было немало. Тут жили дядюшка и тетушка Кабановы. Они были очень добрые, либеральствующие люди. К тому времени одна из моих двоюродных сестер Анюта Кабанова вышла замуж за моего приятеля князя Гугунаву. Был я и у Турыгина: у его родителей. Виделся с приятелями, молодыми художниками. Они, как и я, мечтали об участии на Передвижной.

К весне лишь перебрался я в Москву. На очереди были две новые затеи, и я усердно работал над ними. И когда обе темы достаточно вырисовались, я стал думать, как для них собрать материал. Кончилось тем, что было решено переехать к Троице.

Я снял в конце Вифанки (улицы, идущей к Черниговской и в Вифанию) маленький домик у старухи по фамилии или прозвищу Бизяиха и, недолго думая, стал писать этюды для «Приворотного зелья». Работа шла ходко. Все, что надо, было под рукой. Вечера были длинные, весенние, и я скоро имел почти все этюды к этой картине.

Куда было дело сложнее со второй картиной, с «Пустынником». Я давно уже наметил себе у Троицы идеальную модель для головы «Пустынника». Это был старичок-монах, постоянно бывавший у ранней, стоявший слева у клироса большого Троицкого собора. Любуясь своим старичком, я как-то не решался к нему подойти, попросить его мне попозировать. Дни шли да шли. Однажды, уже в середине лета, прихожу я в собор, а моего старичка нет, пропал мой старик. Пришел еще завтра — опять его нет. Так ходил с неделю, а старика и след простыл.

Я спрашиваю кого-то о нем, мне говорят: «Это вы об отце Гордее, так он помер. Поболел, да и помер». Я так и остолбенел: был старичок и нет его. Что делать, стал вспоминать его образ, чертить в альбом: что-то выходит, да не то. Там, в натуре, куда было интереснее. Эти маленькие, ровные зубы, как жемчуг, эта детская улыбка и светящиеся бесконечной добротой глазки... Где я их возьму? И сам кругом виноват: смалодушничал.

Прошло еще сколько-то. По старой привычке зашел в собор на свое место, с которого, бывало, наблюдал старичка. О, радость! Он опять стоит на своем месте, улыбается, подперев пальцами седую бородку. Значит, он не

умер, мне солгали. Ну, теперь я не стану откладывать надолго. Сегодня же, вот сейчас, после обедни подойду и все скажу. Увлеку моего старичка, напишу с него, а тогда пусть хоть и помирает!

Обедня отошла. Мой отец Гордей пошел своими маленькими старческими шажками домой, я за ним. Заговорил. Он смотрит на меня и ровно ничего не понимает. Так и ушел от меня куда-то в монастырскую богадельню... Нет, думаю, нет же, я добьюсь своего, напишу с тебя!

Так прошло еще несколько дней. Старичок все упирался, отговариваясь «грехом», на что я приводил примеры, его смущающие. Указывал на портреты митрополитов. Платона митрополита и других...

И, наконец, с тем ли, чтобы от меня отвязаться, отец Гордей неожиданно сказал: «Ну ладно, нанимай извозчика, поедем, больше часу не мучь только...» Тотчас же я подхватил свою жертву, усадил на извозчика и марш на Вифанку. Приехал и — писать... Писал с жаром, взял все, что смог: этюд был у меня. Распростились с отцом Гордеем. Теперь оставалось написать пейзаж, осенний пейзаж с рябинкой. Пока что написал молодую елочку...

Помню, однажды я был дома, ко мне неожиданно явилась целая компания с Еленой Дмитриевной Поленовой во главе. Здесь была Елизавета Григорьевна Мамонтова, ее дочери Верушка и Шуринька и сын Вока. Пили чай, говорили о моих затеях. Уходя, пригласили меня в Абрамцево, куда я вскоре и поехал. Бывал я там и в лучшие дни свои и его, и в дни печали и несчастий, всегда сго любя, уважая его обитателей. В это время я жил всецело своим искусством, своими картинами, их любил, ими грезил.

До осени оставалось недолго. Думалось, напишу этюды пейзажа к своему «Пустыннику», и в Уфу. Там, у себя дома, буду его писать.

А пока новые знакомства, наезды в Абрамцево, там иная жизнь... Жизнь, с одной стороны, трудовая, постоянные наезды Е. Д. Поленовой, заботы о школе, об Абрамцевской мастерской, которая тогда только что начинала свое существование, занятия самой Елизаветы Григорьевны — все это мне нравилось, я всматривался во все это и говорил себе: «Вот как надо устроить свою жизнь. Вот где ищи правды, ищи такой красоты»... Любовался церковкой, избушкой на курьих ножках, любовался портретом Верушки Мамонтовой. С другой стороны — приезды великолепного Саввы Ивановича, его затеи, бросание денег, пикники, кавалькады, праздность, его окружение художниками, разными артистами — все это так разнилось от первого.

И любил я это первое, к нему тянулся и боялся, дичился второго. К нему не мог привыкнуть никогда... Два быта, две жизни открылись моим глазам.

Наконец, пришла осень. Я переехал в Москву. Стал ездить в Петровско-Разумовское. Писал там пейзажи. Наконец, в первый снег написал последний этюд к «Пустыннику». Пора было начинать «За приворотным зельем». Я поселился в меблированных комнатах. И быстро, месяца в два, написал картину и послал ее в Петербург, в Общество поощрения на конкурс.

Вещь эта была неплохая, однако, по разным причинам, премию за нее мне не дали. Поздней, через год, она была мною пожертвована Радищевскому музею в Саратов.

Надо было приступать к «Пустыннику». Я уехал в Уфу с этюдами, холстом и прочим и там скоро начал писать картину. Написал — не понравился пейзаж: не такой был холст. Послал в Москву за новым. Повторил картину быстро (она в моем представлении жила как живая). Мой старичок открыл мне какие-то тайны своего жития. Он со мной вел беседы, открывал мне таинственный мир пустынножительства, где он, счастливый и довольный, восхищал меня своею простотой, своею угодностью богу. Тогда он был мне так близок, так любезен. Словом, «Пустынник» был написан, надо было его везти в Москву.

В эти месяцы писания картины я пользовался особой любовью и заботами матери и всех домашних. Душа моя продолжала отдыхать. Что-то ждало меня в Москве... Что скажут друзья-приятели... Посмотрим.

Вот я и в Москве. Нанял комнату в гостинице около Политехнического музея и развернул картину. Рама, заказанная раньше, была уже готова. Начались посещения приятелей-художников. Был Левитан, Архипов. Заходил Суриков, перебивали многие. Все хвалили мою новую вещь. Особенно горячо отозвался Левитан. Он сулил ей успех.

В той же гостинице жил молодой Пастернак, писал свою картину «Чтение письма в казарме». В ней было много хорошего, да и сам Пастернак был неплохим человеком, и мы часто приходили один к другому.

Суриков тоже одобрил «Пустынника», но, как живописец, любитель красок, живописной фактуры, он не был удовлетворен этой стороной картины. Там, действительно, живопись не была на высоте, и не ею я тогда был увлечен. Но Суриков умел мне внушить уверенность, что если я захочу, решусь, то и живопись будет. Особенно он недоволен был лицом старика, написанным жалко, не колоритно, однако выражение илл, как тогда говорили, «экспрессия» в лице была.

И вот, по уходе Василия Ивановича, я, недолго думая, взялся за палитру и ну переписывать лицо, которое и было основой всей моей картины. Мне казалось (и правильно) — есть лицо, есть и картина. Нет его, нет нужного мне выражения, этой умильной старческой усмешки, этих, как жемчуг, мелких зубов, — и нет картины. Мне, как Серову, нужна была прежде всего *душа* человека. И вот с этой-то душой я сейчас безжалостно простился, полагая, что она-то у меня всегда выйдет. Не тут-то было.

С того дня я десятки раз стирал написанное, и у меня не только не выходила «живопись», но, что особенно было тяжело, я не мог уже напасть на то выражение лица, которое в картине было и которое было так необходимо. Я по несколько раз в день в продолжение недели, а может быть, двух, писал и стирал и снова писал и опять стирал голову. Холст мог протереться от моего усердия. Но однажды, измученный, в продолжение дня стирая лицо моего «Пустынника», я к вечеру опять нашел то, что искал и не находил. Радость моя была велика.

После этого я встретил как-то Прянишникова, который слышал о картине и о беде с ней и сказал мне дружески, что никогда не надо подвергать риску главное, самое ценное, то, что считаешь основой картины, ради второстепенного. В данном случае я считал живопись картины моей второстепенной и ради нее едва не погубил то, чем так долго жил.

И этот случай был мне уроком на всю последующую мою деятельность. Слова Прянишникова, его добрый совет я никогда не забывал.

Во время моего несчастного искания «живописи» мои приятели не раз мне говорили, что ко мне собирается заехать посмотреть картину П. М. Третьяков, и я боялся, что он заедет посмотреть картину, когда вместо головы «Пустынника» он увидит стертое дочиста место. Однако этого не случилось. Павел Михайлович приехал неожиданно, но тогда, когда картина была снова в порядке, и я ожил...

[...] ²⁰

«Пустынный» мой был принят и прессой хорошо. Статья Дедлова особенно была мне приятна, в ней была заметна чуткость и какая-то талантливая смелость суждений. Я был доволен своим первым выступлением на Передвижной, среди самых крупных в те времена художников.

Приехав в Москву, я побывал у старых и новых своих знакомых. Был у Третьякова, который со мной был очень ласков и передал мне пятьсот рублей.

Весной с одним из первых пароходов я, счастливый, уехал в Уфу, где и был принят на сей раз как настоящий художник. Отец подарил мне, как он сказал, на поездку в Италию пятьсот рублей, но они были оставлены в виде фонда в банке, а я, как и хотел раньше, решил поехать за границу на свои, на те, что получил за «Пустынника». И понемногу стал собираться.

Еще в Москве я готовился к этому моему шагу. Расспрашивал тех, кто бывал за границей. Про Италию я много узнал от Мамонтовых, которые не раз жилали в Риме по зимам. Все мне улыбалось.

Молодость и успех окрыляли меня. Не зная языков, я купил себе толковый словарь, где были приведены довольно удачно составленные необходимые фразы. Кое-что перечитал я по истории искусства, а главное, зная, что мне нужно от заграницы взять, надеялся, что там не растеряюсь. Будущее показало, что в этом я не был самонадеян.

Между тем наступил и день отъезда, сначала в Москву, а оттуда через Вену в Венецию. Помню, отслужили молебен. Благословили меня мои старики и бодро отпустили в чужие края. Что они пережили, эти уфимские купцы, отпуская меня без языка, одного, трудно сказать, но отпустили они меня храбро. Только просили чаще писать, и я им писал часто и обо всем. Да и с кем мне было так откровенно, так доверчиво делиться теми чудесами, которые открылись передо мной, едва я перевалил границу моей родины.

Книжечка моя — мой спутник — стала с того времени неразлучным моим другом. Не имея вообще способностей к иностранным языкам, я все же охотней дерзал говорить по-немецки. Как говорить — это уж другое дело. Спросил же я позднее на возвратном пути в Берлине в буфете спросонок вместо чая (те) — чернила (тинте).

Граница. Вот сейчас я останусь один с моей книжечкой. Выручай меня, голубушка!

Первый раз переживаю чувство расставания со всем своим, таким понятным. Смотрю и мысленно прощаюсь с людьми, с предметами. Вот мой носильщик, такой здоровый, такой русак, а там большой, с золотой медалью, жандарм... Они еще со мной, меня поймут, помогут, если надо, а через час все эти люди и предметы, вокзал, вывески на родном языке останутся позади, а я буду один-одинешенек.

А все же интересно, и я рад, что наступает давно желанное время. Через час я буду в Австрии...

(Вена — Италия — Париж — Дрезден)²¹

Путь до Вены совершил я в постоянном напряженном внимании. Все казалось мне дивно интересным, и я переживал виденное с жадностью молодости. Города, сначала Галиции, а потом самой Австрии мне казались в первую поездку иными, чем потом. Я помнил, что силы надо беречь для Италии и умышленно многое пропускал из поля зрения. В Вену приехал к вечеру. Мост через Дунай со статуями, храмы, дворцы, весь характер города меня захватили своей новизной. Чтобы поделиться своими первыми впечатлениями у меня не было ничего, кроме почтовой бумаги, и я в тот же вечер написал обо всем виденном в Уфу.

На другой день я отправился по музеям. Бродил по ним до изнеможения. Очень был восхищен «инфантами»*. Из современных остановился перед доживающим тогда последние дни своей славы Макартом, разочаровавшись в этом «венском Тициане». Чем-то привлек меня Матейко, которого я знал и любил по репродукциям. Но Вена была «попутным» городом, и я в ней не задержался. Все мои помыслы летели вперед, туда, через Земмеринг — к Венеции, Флоренции, Риму.

И через два дня я был снова в вагоне и теперь, осмотревшись, стал спокойнее. Однако моим глазам скоро представились такие картины, которые еще не доводилось видеть до тех пор нигде. Пошли столь грандиозные ландшафты, такие сложные, характерные. Вот он — Земмеринг. Я стоял у окна, восхищенный, затаив в себе свои восторги. Вот она «заграница», вот те «тирольцы»-охотники в зеленых шляпах с пером, что я привык видеть на картинках Дефреггера, Кнауца, вообще немецких художников. Как все не похоже на нашу Россию, такую убогую, серую, но дорогую до боли сердца. Наконец, проехав ряд туннелей, мы достигли границы. Здесь опять пограничная процедура. Она миновала для меня без всяких приключений. Пересели на другой, теперь итальянский поезд с маленькими, бедными вагонами, особенно по сравнению с нашими — русскими...

Новый говор, оживленный и красивый, поразил слух мой. Железнодорожные служащие, экспансивные, небольшого роста сменили крупных, медлительных австрийцев-северян. Вот еще немного, и я в заветной, давно любимой Италии.

* Имеются в виду портреты инфантов, выполненные знаменитыми художниками прошлого.

«Аванти!»* — и поезд наш двинулся. Маленькие вагоны закачались, задвигались, побежали как-то по-новому, не по-нашему... Паровоз засвистел, влетел в туннель, и через несколько минут мы были в ином мире, в волшебном мире. Солнце сразу пахнуло на нас как-то по-южному. Постройки, костюмы, все иное, то самое, что еще помнилось в детстве на картинках у тетушки Анны Ивановны.

Вот она — подлинная Италия! Какая радость! Какая победа «уфимского купеческого сына» над сословными традициями, над укоренившимся «бытом»! Я в Италии, один, с мечтой, что и не снилось моим дедам и прадедам. Тут все сразу мне показалось близким, дорогим и любезным сердцу. Я мчался, как опьяненный, не отрываясь от окна. Чем-то питался. Пил и ел *caffee latte*, рапе** и мчался туда, где жили и творили Тинторетто, Веронезе, Тициан Вечеллио...

Боже мой! Мог ли я думать, переживая мое страшное горе в мае 1886 года, что через два года смогу быть так радостен, счастлив... Временами мне казалось, что я не один, что со мной где-то тут близко и покойная Маша, что душа ее не разлучилась со мной, и потому счастье мое сейчас так велико и полно...

Вечером мы увидели лагуны. Вот и Венеция. Станция. Я на минуту смущен. Ведь отсюда начинается то, что так заманчиво, пленительно, но для меня, с моей книжкой, без языка, так трудно. Однако смелым бог владеет. И тут, как и раньше, меня выручают мои двадцать шесть лет.

Носильщик, такой симпатичный (тогда мне казались все и всё симпатичными) подхватывает мой скудный студенческий багаж и пускается куда-то вслед за всеми. Через минуту я вижу великолепную Венецию, мост Риальто, ее дворцы, гондолы, слышу особый крик гондольеров.

Мы на канале Гранде. Я говорю, куда мне надо ехать. Называю старый отель Кавалетто. Меня мой симпатичный итальяшка усаживает в гондолу этой гостиницы. Туда едут еще двое. Мы трогаемся. Я сижу, как в итальянской опере. Ночь, венецианская ночь, полная особых музыкальных созвучий. Воздух, насыщенный теплом, влажными испарениями канала. Мы проходим под мостом — въезжаем в сеть маленьких каналов. Чувство оперы усиливается. Наш гондольер перекликается с встречными на углах, на перекрестках. Тихий плеск воды, мы скользим по темной поверхности каналов...

* Вперед! (итал.)

** Кофе с молоком, хлеб (итал.).

В темноте иногда видим яркое освещение траттории. Там засиделось несколько синьоров, быть может, артистов. Звуки мандолины и чей-то тенор ди грация врываюся страстным, влюбленным порывом в тишину волшебной венецианской ночи, и долго еще мы, удаляясь, слышим любовный восторг певца и вторящие ему звуки мандолины. Это нас приветствует дивная «владычица морей». Она хочет подчинить себе без остатка молодого дикаря-художника. Он твой, Венеция! Он тебя любит почти так же, как свою бедную, холодную Родину...

Тихо подплыла наша гондола к отелю Кавалетто. Внесли наши вещи и отвели нам соответствующие комнаты. Моя не была велика. Много, много таких, как я, искателей счастья, восторженных и невесторженных, перебивало в этой старинной комнатке «40-х годов». И я, усталый от дороги, от пережитых впечатлений, наскоро умылся и погрузил в пуховик свое молодое тело и сладко, сладко опочил...

Проснулся рано, умылся, оделся и отправился в путь, думая, что где-нибудь по дороге выпью кофе. Вышел из подъезда. Венеция жила уже своей утренней жизнью. Венецианки бежали с корзинками на рынок и с рынка несли великолепные овощи, и я двинулся вперед за этими добрыми людьми...

И не успел я пройти несколько шагов, как очутился перед красивейшей картиной, созданной гением человеческим. Отель Кавалетто был бок о бок с площадью св. Марка, и я был сейчас перед собором св. Марка, перед Дворцом дожей. Я остановился, пораженный этим единственным во всем мире архитектурным творением. Все было забыто: забыл я о своем утреннем кофе, забыл обо всем на свете... Долго я бродил по диковинной площади, по оригинальности своей схожей с нашей Красной площадью, где так же поражает глаз и воображение чудо — Василий Блаженный. Однако здесь если и есть признаки некоего варварства, то лишь в том и тогда, когда знаешь, как создавался знаменитый венецианский собор и прославленный Дворец дожей. Благородный материал, из которого создались эти два величайших памятника средневековой папской Италии, обязывает к известной утонченности форм. Самое нагромождение этих форм, архитектурных образов вытекает естественно из эпохи или, верней, нескольких эпох, по силе творческого духа равных между собой, а потому и получается такая великолепная общность, ансамбль, с которым не только мирится глаз самого избалованного зрителя, но на протяжении веков восхищается человечество.

Я же не только был восхищен, но и как-то растерялся перед тем, что представилось мне, моему глазу, готовому ко всему чудесному. Ведь недаром же я попал в Италию, страну художественных чудес. Я был один, все впечатления виденного я должен был пережить, переварить спешно, и как ни был я подготовлен увражами, фотографиями и прочим материалом разных «историй искусства», но материалы эти так же передавали оригиналы, как всякий фотографический снимок мог передать живое, одушевленное лицо со всеми его душевными нюансами, сложной красотой, комплексом настроений, свойственных творению божию.

Налюбовавшись всем, что дала мне площадь св. Марка, я задумал пройти в самый собор, и так как на Венецию у меня было рассчитано всего три дня, а видеть там необходимо было очень многое, то, я, напившись кофе тут же на площади, вошел в собор. Его внутренность соответствовала внешнему виду, но последний был неожиданный, смелей, фантастичней... Византийская базилика со всеми ее особенностями была налицо. Мозаики, качественно неоднородные, несколько раздражали глаз. Превосходная ризница собора напоминала о наших богатствах этого рода.

Я вышел из собора уже утомленный, и надо было хоть немного отдохнуть, чтобы с той же свежестью воспринимать красоты Дворца дождей. Я пошел побродить по каналу, поглазеть на движение, на нем происходящее. Все так было захватывающе ново, что те полчаса или час, что я оставался среди этих новых красот — исторических и природных, — немного помогли мне отдохнуть, и я, гонимый какой-то жаждой любопытства, прошел во дворец. Меня мало интересовали исторические залы дворца. Я весь отдался восхищению самого художества, вне событий, совершавшихся некогда на фоне этих великолепных творений Тинторетто, Тициана, Веронеза. Они одни были в то время властителями моих дум, моего художественного восприятия. И я не знаю, было ли лучше, если бы со мной в те часы был опытный профессионал-спутник. Я всегда очень большое значение, и предпочтительное, отдавал *непосредственному* впечатлению от художества.

Осмотрев Дворец дождей, я окончил свой день на площади св. Марка, слушая музыку, любуясь толпой гуляющих, среди коих было много красивых венецианок, знакомых мне по картинам Веронеза и Тициана. Усталый, я побрел в отель Кавалетто, приятно заснул, с тем чтобы на другой день идти в Академию.

Утром, напившись кофе и закусив хлебом с маслом, я двинулся отыскивать Академию. Спрашивал по пути

дорогу туда: как почти всегда, больше по чутью ее нашел. Пробыв в Академии до обеда, полюбовавшись на Тициана, Карпаччо, записав все, наиболее мне понравившееся, для памяти, а некоторые картины зарисовав (на фотографии со всего, что мне нравилось, денег у меня бы не хватило), я отправился обедать. На обратном пути долго любовался статуей Коллеони, которую потом, в другие приезды в Венецию, всегда осматривал с особым восхищением. Остаток дня провел, гуляя по Венеции, заходя в церкви. Был на рынке, на почте. По моему плану на Венецию у меня было положено три дня, и вот завтра я должен был осмотреть еще несколько церквей, еще раз побывать в соборе св. Марка и ехать во Флоренцию, памятуя, что цель моей поездки Рим и Париж.

Неохотно на другой день покидал я Венецию: я стал только что с ней осваиваться, и вот опять езда по железной дороге. Утешал себя тем, что впереди еще так много прекрасного, что нельзя засиживаться подолгу на пути.

Выехав из Венеции, засхал в Падую, осмотрел там собор и капеллу с фресками Джотто и двинулся во Флоренцию. Тут все было инос, чем в Венеции, и мне еще больше пришлось по вкусу. Остановившись недалеко от «Дуомо», в маленьком отеле «Каза Нардини», где все мне показалось так уютно, я, приведя себя в порядок, двинулся в поход.

На Флоренцию у меня была дана неделя времени, немного, да и кипучая моя натура требовала сейчас же деятельности. Через час я уже был в соборе, осматривал с жадностью баптистерий, двери Гиберти, словом, все то, что у меня было помечено, назначено еще в Москве, для обзора. Зашел закусить где-то по дороге в Синьорию. Так часов до пяти-шести, а вечером поехал отыскивать художника Клавдия Петровича Степанова, жившего здесь с семьей. По дороге туда восхищался Флоренцией, которая была вся в цветах, в чайных розах. У моего извозчика розы были на шляпе, у его лошади в гриве, в хвосте. Попадались экипажи, тоже украшенные розами... Их не знали куда деть. Решетки, подъезды вилл были увиты розами. Ароматный воздух сопутствовал нам по дороге...

Красива, своеобразна была Венеция, но и лицо Флоренции было прекрасно, и я с тех пор полюбил ее на всю жизнь.

Семья Степанова встретила меня приветливо. Там я познакомился с милейшим Николаем Александровичем Бруни, внуком знаменитого ректора Академии, автора «Медного змия» — Федора Антоновича Бруни. С Николаем Александровичем мы сошлись, да и трудно было с ним не сой-

тись — так обаятелен, красив в те поры был этот методичный, мягкий, больше того, нежный «Николо Бруни». Мы с ним сговорились встретиться в Риме; встретились там и остались в добрых отношениях на всю жизнь. После многих дней подневольного молчания, я с великой радостью болтал по-русски теперь во Флоренции. На другой день вместе с Бруни был в Академии, в монастыре св. Марка.

Душа моя полна была новыми впечатлениями, я не мог их вместить, претворить в себе... Получался какой-то хаос... Скульптура Микеланджело и фрески в кельях монастыря св. Марка — все это теснило одно другое, приводя меня в неопишуемый юный восторг. Язычник Боттичелли легко уживался с наихристианнейшем фра Беато Анжелико. Все мне хотелось запечатлеть в памяти, в чувстве, всех их полюбить так крепко, чтобы любовь эта к ним уже не покидала меня навек. Мне кажется, что искусство, особенно искусство великих художников, требует не одного холодного созерцания, «обследования» его, но такое искусство, созданное талантом и любовью, требует нежной влюбленности в него, проникновения в его душу, а не только в форму, его составляющую.

Что меня еще пленило в знаменитом монастыре — это миниатюры книг. Некоторые из них не только поражали меня своими техническими достижениями, но того больше, теплотой чувства, опять любовью к тому, над чем художник долго и так искусно трудился...

Дни шли за днями. Музеи чередовались церквями. Вечерами же я бывал или у Степановых, или бродил по берегам Арно, на Сан Миньято, бродил, как очарованный странник. Я жил тогда такую полной жизнью художника, я насыщался искусством, впитывал его в себя, как губка влагу, впитывал, казалось, на всю остальную жизнь.

Какое великое наслаждение бывало бродить по углам, капеллам церкви Санта Мариа Новелла!

Усталый до изнеможения, до какого-то «опьянения» еще не привыкшего к опьянению юноши, я шел в свою «Каза Нардини», и едва успевал раздеваться, — засыпал сладким, счастливым сном. Вот тогда, в первую мою поездку по Италии, я постиг всю силу чар великих художников. И что удивительного в том, что они живут по четыреста-шестьсот лет; ведь в них, как в матери-природе, источник жизни, в них — истина, а истина бессмертна...

Мои альбомы, записные книжки были полны зарисовок, кратких, часто наивных мыслей, и я редко соблазнялся возможностью себя побаловать покупкой фотографии с особо любимых вещей. Я должен был помнить, что пятисот руб-

лей, которые были зашиты в мешочке, что у меня на груди, должно было хватить мне на три месяца, на всю Италию и Париж с его Всемирной выставкой. Это надо было помнить твердо, и я это помнил.

Дни быстро летели во Флоренции. Все, что было можно бѣго осмотреть, было осмотрено. В Уффици, в монастыре св. Марка, в Академии и в некоторых церквях я побывал по несколько раз. Я был полон Флоренцией. И на восьмой день попрощался с друзьями и с самой Флоренцией, выехал в Рим, заехав предварительно в Пизу. Помню, по дороге высунулся из окна, и мне попал в глаз летевший из паровоза уголь. Я неосторожно растер глаз, и первое, что надо было сделать, — зайти в аптеку и успокоить глаз. Потом уже я отправился по низеньким, перекрытым арками улицам к Кампо-Санто, собору и проч. Синеголубое небо давало дивный фон оранжевому мрамору падающей башни баптистерия собора. Превосходный этюд этого пизанского мотива я потом видел у своего друга, польского художника Яна Станиславского, влюбленного, как и я, в Италию.

Кто не знает, кто не пережил того особого чувства, когда подъезжаешь, да еще впервые, к Вечному городу!.. Я с таким напряженным вниманием ждал того момента, как увижу купол св. Петра...

Вот, вот он! Его громада как бы покоится на огромном плато. Он стоит, как сказочная голова богатыря, среди поля, чистого поля. И лишь тогда, когда поезд пронесется еще много верст, вы видите, что на этом поле, около этой головы-купола, ютятся тысячи зданий: дворцов, храмов; сотни тысяч живых существ живут, движутся вокруг него, такого спокойного, величественного в своей гениальной простоте. Поезд подлетел к перрону. Осведомленные из Флоренции, меня здесь встречали скульптор Беклемишев и еще кто-то из земляков. Радостно здороваюсь и слышу, что мне готов уже и угол на знаменитой улице артистов, на виа Систина. Она приняла меня радушно, как до того приняла тысячи мне подобных восторженных поклонников Италии, Рима.

Я занял маленькую комнатку в доме «ченто вентитрѣ» *, принадлежавшую нашему историку искусства профессору Цветаеву, создателю Московского скульптурного музея Александра III **. Сам Цветаев уехал в Афины, в Египет,

* Сто двадцать три (*итал.*).

** Ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. И. В. Цветаев — отец известной русской поэтессы Марины Цветаевой.

и комнатка его была пустая. В ней я и устроился благодаря Беклемишеву, жившему в том же доме. Комнатка маленькая, чистенькая, с пышной постелью, со ставнями от полуденного жара. Хозяйка милая, приветливая, и с первого же дня я чувствую себя как дома. Позади дома наш дворик. На нем растут несколько апельсиновых деревьев, покрытых плодами. К ужину собрались в trattoria у сеньора Чезаре.

Кроме нас, русских, здесь были немцы, испанцы, англичане, шведы. Наш стол был посередине и самый большой, да и нас было больше, чем остальных. Был тут и римский старожил Рейман, тогда трудившийся над рисунками в катакомбах, их увековечивший. Здесь бывали Риццони, Бронников, в то время жившие где-то на морском побережье. Был и так называемый «Шурка Киселев», пенсионер Академии, редкий добряк, не знавший, за что взяться ему в Риме. Тут было несколько барышень, посланных училищем барона Штиглица, и еще каких-то молодых людей. Беклемишев всем меня представил, и я сразу вошел в эту русскую семью на виа Систина.

Обеды и ужины у Чезаре были шумны и многоречивы... Все приходило туда после осмотра или достопримечательностей, или иной дневной работы художников — усталые, но молодость недолго поддается этому состоянию. Стакан вина делает человека опять бодрым и сильным. Помню, как контраст нашей шумной ватаге, старика скульптора итальянца, сидевшего в уголке за своей «квишто» вина и салатом: как несхоже было все в нем с нами, северными варварами... И его молчание и его донельзя скромная трапеза. Мы же, русские и англичане, поедали несметное количество яств, питий и бесконечно много спорили, говорили, кричали и сидели за столом дольше всех.

С первого же дня я начал свой осмотр Рима. Был в своей компании после ужина на соседнем Пинчио, в парке, идущем от самой лестницы Тринита деи Монти до самой Пьяцца дель Пополо. На другой день пошел к св. Петру. Не нужно говорить, как поразил меня его размер, как внимательно я его осматривал, но я не вынес оттуда особых впечатлений, как от искусства. Он мне показался холодным (как его мозаики) и напыщенным. Он не соответствовал моему представлению о христианском храме; он был слишком католическим, торжествующим, гордым для моего православного понимания храмосоздательства. Это было небо, притянутое к земле, а не земля, вознесенная к небесам.

Быстро помчались мои дни в Риме. Через неделю я стал чувствовать безотчетную радость, какое-то удов-

летворение, как будто к моей молодости прибавилось еще что-то — быть может, здоровье или удача. Я спрашивал себя: «Что с тобой? Чему ты рад?» И когда тот же вопрос задал своим приятелям, то кто-то из них мне сказал: «Вы забыли, что вы в Риме. Его воздух в себе имеет эту тайну и, пожив однажды в Риме, вас всю жизнь будет тянуть сюда». Однако я не скажу, что в то время я был так увлечен им: нет, в те дни вспоминалась Флоренция, и лишь позднее я «почувствовал» Рим, его силу как Вечного города. Я неустанно знакомился с его искусством. Из живописи меня раз и навсегда поразили ватиканские фрески Рафаэля (особенно «Пожар в Борго») и потолок Сикстинской капеллы Микеланджело. И до сих пор эти вещи остаются для меня первенствующими в Риме.

Мозаиками в первый свой приезд я особо не заинтересовался; античным миром тоже. Время Возрождения и его живописные памятники искусства захватили меня всецело и без остатка. Через неделю приехал Бруни, и мы с ним иногда вместе бывали в Ватикане, в катакомбах. Он присоединился к русской группе у Чезаре, куда мы, бывало, поспешали с ним, — он с прекрасным гидом, по подробным картам города, а я «по чутью», и, как ни странно, мы приходили, как бы ни было велико расстояние до нашей траттории, в одинаковое время. В нашей компании был один старый римлянин, отец скульптора Беклемишева — декоратор Реджио. Он был великий поклонник Рима, в ущерб своей родине, и я часто с этим стариком воевал. Но особенно мы враждовали однажды — в день праздника св. Иоанна Латеранского.

С утра мы ездили компанией за город, осматривали остатки дворца императора Адриана, и я не мог в должную меру проникнуться восторгом от мраморных глыб, из которых когда-то была создана знаменитая вилла: эти камни были недостаточно убедительны для меня и вовсе меня не волновали, тогда как старик Беклемишев, человек западной культуры, имевший основание не любить свою родину, был ими восхищен и глумился над тем прекрасным, что осталось у нас дома и что меня там — в Риме, в Тиволи, в Альбано — продолжало восхищать. Мы в тот раз наши споры, неистовые споры и препирательства, продолжали и на обратном пути, когда, уже вечером, ехали на извозчике (на одном извозчике. чуть ли не вчетвером) с народного праздника с Латеранской площади по празднично освещенным улицам Рима.

Любил я, кроме Ватикана, в то время бывать в церкви Сан Пьетро ин Винколи за Колизеем. Там, в этой старой

церкви, был превосходный орган, а что особенно меня туда привлекало — это «Моисей» Микеланджело.

Повторяю, христианское искусство мне было понятней, родней. Чтобы его воспринять, мне не надо было делать никаких усилий. Искусство же дохристианское оставалось где-то по ту сторону моего сознания, чувства в особенности. Ну, и бог с ним!

В то же время в Риме жило русское семейство Гвозданович: красавица-жена одного петербургского чиновника, москвичка, рожденная Прохорова, и с ней двое детей, два маленьких сына. Эта Екатерина Ивановна Гвозданович была дивно хороша собой: светлая блондинка с вьющимися подстриженными волосами, прекрасно всегда одетая, такая стройная, во всех отношениях блестящая, живая и одаренная. Она часто бывала вместе с нашим скульптором Беклемишевым, тоже на редкость красивым, с большими черными волосами, несколько искусственно вдохновенным, сентиментальным...

На эту пару нельзя было не заглядеться. Она обращала на себя внимание, как дивное сочетание совершенной красоты человеческой природы. Появляясь вместе тогда в Риме, они вызывали к себе симпатию, всем хотелось, чтобы мадам Гвозданович превратилась в мадам Беклемишеву, что в скором времени и случилось. Екатерина Ивановна со своим мужем разошлась и вышла вторично за нашего скульптора, бывшего потом, при новом уставе Академии, ее ректором.

Я как-то упоминал, что свои «богатства» я за границей носил при себе, на груди, в особом парусиновом мешочке. В Италии, в Риме, я этот заветный мешочек на ночь снимал и клал себе под подушку, а утром снова надевал и шел так или в Ватикан, или еще куда-нибудь. Однажды, возвращаясь после обеда к себе, я на лестнице встретил мою милую хозяйку, которая поздоровалась со мной и, ответив на мое «бона сера, синьора» тем же, стала что-то очень энергично толковать мне. Я ровно ничего не понимал, и, видя, что от меня не много добьешься толку, хозяйка взяла меня за руку и повела по лестнице выше, в мою комнату, из кармана вынула ключ, отперла дверь и энергичным жестом показала на мою кровать, и на кровати, на высоких подушках, лежал посередине со сложенной бантиком тесьмой... мой заветный мешочек.

Хозяйка торжествовала, что-то продолжала объяснять, я же стоял как соляной столб: наконец, поняв все, пришел в себя и стал горячо благодарить добрую женщину, которая, убирая утром мою комнату, перетряхивая подушки, нашла

мною забытый мешочек. Таковы вообще были отношения хозяев к жильцам-артистам в те времена в благословенной Италии. Исключением был, говорят, Неаполь, на соседнем же Капри честность народа была идеальная. Конечно, не раз я с приятелями побывал и в знаменитом кафе Греко, где мне показывали сидящего в углу старика с газетой: это был эмигрант времен Иванова — Станкевич, оставшийся навсегда в Риме. Видел я и тот фонтан на Пьяцца ди Спанья, в котором некогда, после бурной ночи, освежали свои грешные тела наши пенсионеры-художники. В те дни, когда я был в Риме, я не мог видеть многих русских, живущих там обычно. Не было братьев Сведомских, не было Котарбинского — они были в Киеве, расписывали Владимирский собор, где я познакомился со всеми этими милыми людьми через год с небольшим.

Из ученых наших в Риме я застал М. Ростовцева и Вячеслава Иванова — с ними познакомился, бывал у них. У Иванова, незадолго перед тем приехавшего из Парижа (персд Парижем он жил в Германии), была маленькая дочка, свободно, мило говорившая по-итальянски. Перед тем в Париже она так же легко усвоила себе речь французскую, а еще раньше — немецкую, причем всякий раз, при переходе к другому языку, она совершенно забывала тот язык, на котором болтала перед тем.

Мой месяц кончался; надо было подвести итог тому, что я вынес от своего краткого там пребывания, и я все же чувствовал, что стал богаче: я своими глазами видел, своим умом постиг, своим чувством пережил великий Рим, все его великие моменты. И это для меня было чрезвычайно важно. Я знал, что такое личное впечатление, знал и то, как ценно первое личное впечатление. Я теперь его имел и надеялся, что мне удастся сделать соответствующие выводы. Также я почему-то думал, что в Италию и впредь мне путь не заказан, что в эту дивную страну, в Рим я еще не раз вернусь, переживу все вновь, дополню.

А теперь довольно — надо ехать дальше, в Неаполь, посмотреть Помпею и пожить недели две-три на Капри, о котором я много слышал и мечтал о нем давно. Да нужно было хотя бы немного привести свои впечатления в порядок. За время своего путешествия было столько пережито, видно, а впереди были еще Париж, Берлин, Мюнхен, Дрезден. Надо было рассчитать свои силы, с тем чтобы по возвращении домой можно было приступить к новой картине, которая все более и более выяснялась в моем воображении. Впереди было «Видение отроку Варфоломею».

Итак, через несколько дней в поход — на юг, к морю.. Самые лучшие чувства наполняли мою душу. Письма в Уфу были счастливые, довольные, они радовали моих стариков.

В назначенный день мы собрались у Цезаре, покушали и выпили. Потом мои друзья проводили меня на вокзал, и с самыми лучшими пожеланиями я уехал, с тем чтобы вернуться в Рим через два года с другими задачами...

* * *

Вот я и в Неаполе. Передо мной Везувий. Брожу по Санта Лючия, еще по старой папской Санта Лючия; покупаю у Беляева «рикорди ди Наполи» [Неаполитанские сувениры] для моих милых уфимцев. Хожу в Неаполитанский музей. Поднимаюсь по так называемой «ослиной» лестнице на Сан Мартино. Перед моими глазами расстилается голубой Неаполитанский залив с туманным Капри, Искья... Всюду слышна музыка, дивный говор красивого, беспечного народа. Так прошло два-три дня. Надо двигаться дальше — в Помпею. Вот я и там, в отеле «Диомеда». Прогуливаюсь по улицам несчастного города, погибшего ко славе Карла Брюллова.купаюсь в Неаполитанском заливе, наконец, нанимаю извозчика и через Каstellамаре еду в Сорренто. Кругом «сон на яву». В Сорренто восхищаюсь дивной природой, пробираюсь к морю в надежде выкупаться, но, испуганный массой народа — мужчин и дам в купальных костюмах, испуганный этим зрелищем, откладываю свое намерение до Капри.

Я на Капри в отеле «Грот Блѐ». У меня милая небольшая комнатка с окном на море, на Везувий и с двумя дверьми — одной в коридор, другой к двум старым англичанкам. Здесь я намерен прожить недели две-три, отдохнуть, поработать. Я уже в Риме написал один небольшой этюд на Пишчино. Там же, на виа Грегориана, купил лимонных дощечек, таких приятных для живописи. Пока что занялся обозрением острова, его красотами. Побывал на море, отважился где-то в стороне от добрых людей, за камнями, выкупаться. Погода дивная. На душе — рай. Отлично кормят, за столом свежие фрукты, вино... В отеле публика интернациональная. Тут и англичанки, и шведы, и немцы, есть один датчанин-художник, который таскает с собой огромный подрамник с начатым на нем импрессионистическим пейзажем. Все они мне нравятся, и скоро завязывается знакомство. Станный русский, не расстающийся со своей голубой книжкой, начинает интриговать раньше

других двух старых англичанок, потом датчанина-художника, и разговор при помощи голубой книжки как-то налаживается. Я отважно ищу слов, фраз в своей книжке, моих ответов терпеливо ждут. Все, и я в том числе, в восторге, когда ответ найден и я угадал то, о чем меня спрашивают...

Я в прекрасном настроении; я вижу, ко мне относятся мои сожители с явной симпатией — это придает мне «куражу», я делаюсь отважней и отважней: я почти угадываю речи моих застольных знакомцев. Так проходит неделя. Я делаюсь своим. Со всеми в самых лучших отношениях.

Начал писать, и мое писанье нравится, симпатии ко мне увеличиваются. В числе моих друзей — старый англичанин, говорят, очень богатый. Он расспрашивает меня о России, и я говорю о ней с восторгом, с любовью, что для англичанина ново: он слышал, что русские обычно ругают свою родину, критикуют в ней все и вся. То, что я этого не делаю, вызывает ко мне симпатии старика.

Однажды, когда я сидел с книгой, ко мне подошел старый англичанин и спросил, что я читаю. Я ответил, что Данилевского «Россия и Европа». Англичанин об этой книге знал, и то, что я симпатизирую автору, увеличило его расположение ко мне.

Я начал этюд моря ранним утром, когда рыбаки после ночи вытаскивают свои сети, когда в воздухе так крепко пахнет морем, и вдали, еще едва заметный, курится Везувий. Я вставал рано-рано и, чтобы не будить моих соседок англичанок (старый сон — чуткий сон), пробирался как-то на плоскую крышу дома, а оттуда со всеми своими принадлежностями спускался по лестнице на наш дворик.

Чудесные были эти утра! Все кругом дышало здоровьем, красотой — так мне казалось, потому что я был молод, жизнь была ключом, впереди сонмы надежд, порывы к счастью, к успехам.

Как-то я узнал, что в старом отеле «Пагано» все комнаты для жильцов, столовая, приемная украшены живописью художников, живших в разное время в этом отеле, что многие из них во времена своего пребывания в «Пагано» были молоды, а теперь прославленные старики. Имена их принадлежат всей Европе, всем народам, ее населяющим... И я, недолго думая, написал на двух дверях своей комнаты — на одной «Царевну — Зимнюю сказку», на другой девушку-боярышню на берегу большого северного озера, с нашей псковской церковкой вдали. Об этом сейчас же узнали хозяин отеля и жильцы, и я еще более стал с того времени своим.

Время летело стрелой. Я совершенно отдохнул и стал подумывать об отъезде, о Париже. Скоро об этом узнали все мои каприйские друзья, старые и молодые. Вот настал и день разлуки. Последний завтрак, последняя беседа, по-своему оживленная. Все спешили мне выказать свое расположение, и я с искренним сожалением покидал Капри, отель «Грот Блэ» и всех этих старых и молодых людей.

Решено было всем отелем идти меня провожать. Перед тем, тотчас после завтрака, было предварительное прощание. Все говорили напутственные речи, а я, понимая, что меня не бранят, благодарил, жал руки, улыбался направо и налево. Я получил в тот день не только на словах выражение симпатий, но каждый считал нужным вручить мне какой-нибудь сувенир: кто свой рисунок, кто гравюру (старый англичанин), кто какую-нибудь безделушку, а мои старые девы-соседки поднесли мне стихотворение своего изготовления. Пароход свистком приглашал занять на нем места, и вот из нашего отеля двинулась процессия: впереди с моими скромными вещами служитель отеля, за ним я, окруженный провожающими, которые наперерыв болтали, сыпались пожелания и проч...

На берегу расстался, и я, взволнованный, сел в лодку и покинул гостеприимный Капри. Долго с берега мне махали платками, зонтами, и я не скупился ответами на эти приветствия. В тот же день я выехал на север и через Милан, Швейцарию двинулся в Париж, унося незабываемые впечатления о днях, проведенных в благословенной Италии.

* * *

Два месяца прошли, как два дня. Осталось моему привольному житью, этому «сну наяву», еще лишь один месяц. Надо его провести с пользой, с умом, интересно. Постараюсь!

Пролетели мы через живописную, но нелюбимую Швейцарию с ее озерами, Монбланами и Сен-Бернарами, а вот и Франция. Она такая, как я ее себе представлял, как ее пишет наш брат-художник.

Поезд подлетел к перрону, и я почувствовал, что моя книжечка здесь меня не спасет. Трудный для меня французский выговор помешает этому сильно. Однако надо выходить, брать извозчика на рю Кюжас. Как-то все это надо оформить. И что же? Все обошлось благополучно, и я еду по улицам Парижа, преразвязно оглядывая бегущих по панелям, бульварам французьв...

Вот я уже переехал мост. По пути узнал многое знакомое по снимкам. Вот Нотр-Дам, вот Пантеон...

Я еду бульваром Сен-Мишель и знаю, что где-то тут и моя рю Кюжас. Куда-то мой возница сворачивает и подъезжает к дому средней красоты: это и есть те парижские «меблирашки», куда меня направили римские друзья мои.

Выбежал портье в зеленом дырявом фартуке и, убедившись в моей немоте, подхватил мой скарб, побежал куда-то вверх, болтая что-то очень оживленно и весело. Мне не было так весело, как этому человеку в зеленом фартуке, однако я притворился, что все прекрасно, что все именно так, как мне нужно, поспешил за моими вещами, пока не предстал перед пожилой дамой. Та, осведомившись, что «мосье» не из тех, что тратят слова попусту, оставила меня в покое, и через минуту я очутился в комнатке очень маленькой, очень старенькой, но все же над кроватью был малиновый полог, и все, что нужно, было налицо.

Помолчав, сколько нужно, мы расстались с зеленым фартуком, и я погрузился в размышления о своей дальнейшей судьбе.

Затем умылся, переоделся и пустился, не тратя зря времени, в путь. Я заметил, что так уже «обтерпелся», что меня трудно было после Италии чем-либо поразить особенно.

Вот и сейчас, выйдя из дому, я побрел, что называется, «куда глаза глядят»... Первое, что попало мне, — театр Одеон. Обошел его и не удивился. Затем очутился в Люксембургском саду. Хорошо, приятно, но и такое я уже видел. Тут же решил, что в ближайшие дни надо побывать в Люксембургской галерее.

Гулял много, долго. Подходил к Пантеону. Но что такое парижский Пантеон, когда я еще недавно в Риме видел подлинный, античный Пантеон и грандиозный Сан Пьетро!..

Закусив где-то на бульваре, чем бог послал, я рано в тот день лег под свой малиновый полог, обдумывая, с чего начать следующий день. Утром проснулся и решил двинуться прямо на Всемирную выставку. Это была выставка 1889 года.

Сообщение с выставкой тогда было идеальное, и я без труда попал туда. Первое впечатление — это колоссальная Нижегородская ярмарка. Те же ярмарочные «эффекты», та же ярмарочная толпа, тот же особый ярмарочный гул, запахи и проч. Однако это первое впечатление сходства Всемирной парижской выставки с Всероссийской нижегородской ярмаркой скоро меняется, и у меня оно изменилось, как только я очутился в художественном отделе выставки. О, это уже не была Нижегородская ярмарка! Интересы ярмарки, ее главная задача были здесь почти

в корне уничтожены задачами самого искусства. Торговать искусством, как и наукой, конечно, в каких-то пределах и условиях можно, но прямые цели тут иные, более высокие, духовные. И в этом, попав в художественный отдел, вы быстро убедитесь.

В тот год художественный отдел был очень полон. Французы постарались не только над количеством его, но и качественно он был высок. И я рад был, что сюда попал после Венеции, Флоренции, Рима. Я *скоро* понял, почувствовал, что мне *нужно* смотреть и чего смотреть *не следует*.

Высокое технически, новое искусство того момента не было особенно глубоким искусством, и лишь часть, самая незначительная, французов и англичан в этом были исключением, а я и мое поколение были воспитаны на взглядах и понятиях искусства Рёскина и ему подобных теоретиков. Нам далеко было не достаточно, чтобы картина была хорошо написана, построена и проч., нам необходимо было, чтобы она нас волновала своим чувством. Наш ум и сердце, а не только глаз, должны были участвовать в переживаниях художника. Я должен был захватить наиболее высокие свойства духовно одаренного человека. И вот на эти-то требования тогдашняя выставка, при всех своих внешних достоинствах, отвечала слабо.

В первый день я, конечно, мог спешно обежать лишь территорию художественного отдела, в коем были представлены все народы мира. Я едва успел что-то перекусить, выпить кофе и до самого вечера оставался среди картин. На второй и третий день у меня сложился план, что мне надо и без чего я обойдусь, и сообразно с этим в последующие дни я и направлял свое внимание и время. У меня на весь Париж, на всю выставку было около трех недель, и это надо было помнить.

Не прошло и недели, как я на выставке ориентировался совершенно свободно. С утра, если я попадал на выставку, я брал себе какой-либо один народ и в отделе этом проводил до полдня. Затем шел закусить, выпивал наскоро стакан кофе и шел во французский отдел к Бастьен Лепажу, если там было свободное место, садился перед его «Жанной д'Арк» и отдыхал, наслаждаясь не столько тем, как картина написана, а тем, сколь высоко парил дух художника. В этой вещи достижения Бастьен Лепаж совершенно феноменальны. Я старался постичь, как мог Бастьен Лепаж подняться на такую высоту, совершенно недостижимую для внешнего глаза француза. Бастьен Лепаж тут был славянин, русский, с нашими сокровенными исканиями глубин человеческой драмы. В «Жанне д'Арк» не было и следа тех приемов, коими

оперировал, например, Поль Деларош, — его театрального драматизма. Весь эффект, вся сила «Жанны д'Арк» была в ее крайней простоте, естественности и в том единственном и нигде не повторяемом *выражении глаз* пастушки из Домреми; эти глаза были особой тайной художника: они смотрели и видели не внешние предметы, а тот заветный идеал, ту цель, свое призвание, которое эта дивная девушка должна была осуществить.

Задача «созерцания», внутреннего видения у Бастьен Лепажа передана со сверхъестественной силой, совершенно не сравнимой ни с одной попыткой в этом роде (Крамской в своем «Созерцателе» и другие). Вот перед этой-то картиной я проводил дивные минуты своего отдыха, эти минуты и сейчас считаю наилучшими в те дни.

Я говорил, что хороши были англичане. Их серьезные портреты, а также группа так называемых прерафаэлистов мне очень нравились. Тогда же я увидел прославленного «Христа перед Пилатом» Мункачи, вещь эффектную, но не глубокою. Новы были для меня испанцы. Их большие исторические полотна были красиво исполненными театральными постановками без внутреннего драматизма. Как им далеко было до нашего Сурикова! Если я не был на выставке, то проводил время, осматривая музеи — Лувр, Люксембургский, Пантеон...

Лувр многим мне напомнил только что покинутую Италию. Из новых остановили внимание Курбе своими «Похоронами», Реньо — «Маршалом Примом» и тогда еще такие свежие барбизонцы *. Много очень ценного было и в залах музея Люксембургского. Но лишь Пантеон с его Пювис де Шаванном вызвал во мне поток новых и сильных переживаний. «Св. Женестьева» Пювиса перенесла как-то меня во Флоренцию, к фрескам Гирландайо в любимой мною капелле Санта Мария Новелла.

Пювис глубоко понял дух флорентийцев Возрождения, приложил свое к некоторым их принципам, их достижениям, приложил то, что жило в нем и пело, — соединил все современной техникой и поднес отечеству этот превосходный подарок, его обессмертивший. Не все, что дал Пювис в Пантеоне, равноценно. И все же именно он, а никто другой, достиг наилучших результатов в стенописи Пантеона и Сорбонны. К сожалению, я не был на его родине — в Амьене, где сохраняются его ранние произведения. Пювис и Бастьен

* Группа французских пейзажистов работающих в деревне Барбизон близ Парижа.

Лежаж из современных живописцев Запада дали мне столько, сколько не дали все вместе взятые художники других стран, и я почувствовал, что, если я буду жить в Париже месяцы и даже год-два, я не обрету для себя ничего более ценного, чем эти разнообразные авторы. Все в них было ценно для меня: их талант, ум и их знания, прекрасная школа, ими пройденная, — это счастливейшее сочетание возвышало их в моих глазах над всеми другими. Все мои симпатии были с ними, и я, насмотревшись на них после Италии, полагал, что мое европейское обучение, просвещение Западом может быть на этот раз завершенным. Я могу спокойно ехать домой и там, у себя, как-то претворить виденное, и тогда, быть может, что-нибудь получится не очень плохое для русского искусства. Мало ли чего в те молодые годы не передумалось, куда не заносили каждого из нас наши мечты, наше честолюбие!

Несмотря на все это, я старался пополнить свои впечатления всем, чем мог. Я был в Версале, был всюду, где мог взять хоть что-нибудь. Лувр и Люксембургскую галерею я посетил по нескольку раз. Одним словом, был добросовестен и прилежен. Сам Париж, как город, лишь своим средневековым пленял меня; то же, что давал этот Новый Вавилон сейчас, меня мало прельщало. Я не был ни в каких Мулен Руж, и это «лицо Парижа» (или вернее его маска) мне осталось и в следующие приезды неизвестным, и вовсе не потому, чтобы я хотел быть или казаться целомудренным, — нимало. Просто потому, что «это» всюду одинаково грязноватое, пошловатое, и не за тем я ехал за границу. Я не обманывал себя, что многое я не узнал из того ценного, что мог бы узнать, живя на Западе, в Италии или Париже дольше, годы, но в данных условиях — один, без языка, несмотря на мою энергию, подвижность и молодую любознательность, — большего я взять бы не мог. В то же время я чувствовал, что во мне зарождается живая потребность, необходимость сказать что-то свое, что во мне что-то шевелится уже, как плод в утробе матери. И я тогда, имея возможность побывать в Лондоне, от этой поездки отказался, ограничив себя Мюнхеном, Дрезденом и Берлином. Особенно же мне необходимым казалось завершить свое путешествие рафаэлевской Сикстинской мадонной. Для нее одной, казалось мне тогда, у меня осталось достаточно силы к восприятию. Она, Сикстинская мадонна, должна была последней напутствовать меня на долгий и трудный путь служения родному искусству. И я стал понемногу готовиться к отъезду из Парижа, благодарил мысленно бога, что он дал мне возможность с такими малыми сред-

ствами обогатить свой ум, свое сердце стольким прекрасным, созданным гением, талантом народов Запада.

Пришел день, и я покинул Париж. По пути заехал в Мюнхен. Там осмотрел Пинакотеку, галерею Шака с прекрасным, сказочным Швиндом, с ранним Бёклином. Видел Сецессион. Из Мюнхена проехал в Берлин, а оттуда съездил в Дрезден и тотчас же по приезде отправился в галерею. Пройдя ряд зал, остановившись у Гольбейна, я поспешил в зал рафаэлевский, к его Сикстинской мадонне.

Вот здесь я найду завершение виденного. Здесь величайший и одареннейший из художников живет в самом совершенном его произведении.

Зал хорошего размера... Слева идут амфитеатром места для зрителей. Свет — окна — слева же. Я выбрал себе место на одной из задних скамей. Народу было немного — человек двадцать-тридцать, иностранцы. Сел и я: еще минута, и передо мной открылась мадонна Сикста. Первое мгновение мое внимание было несколько отвлечено ее окружением, этим малиновым бархатным фоном, банально задрапированным, этой золотой мишурой, но лишь мгновение. Мой глаз сейчас же с этим освоился, позабыл о людях, об их неумелом усердии, об их медвежьих услугах. Была мертвая тишина, давшая возможность быстро сосредоточиться.

Художникам, видевшим Мадонну впервые, лучше воздержаться от обычной манеры нашей судить картину, как специалисту-живописцу. Лучше отдаться на первый раз непосредственному чувству. Я так и сделал. Я долго оставался в немом созерцании, прислушиваясь к своему (художественному) чувству, как к биению своего сердца. Картина медленно овладевала мной и проникала мое чувство, сознание. Первое, что я сознал, — это ни с чем не сравнимое целомудренное материнство Мадонны. В ней не было и следа тех особенностей итальянских мадонн, сентиментально изощренных, грациозно-жеманных. Проста и серьезна Сикстинская мадонна. Сосредоточенная мягкость, спокойная женственность, высокая чистота души в такой гармонии с прекрасным юным телом.

Лицо Сикстинской мадонны — не лик нашей Владимирской божьей матери: Мадонна Рафаэля чисто католический идеал мадонны, а не образ владычицы небесной. С этим нам, православным, русским необходимо с первого же взгляда примириться. Рафаэль писал величайшее свое произведение для католического мира, будучи сам сыном церкви католической. В его Мадонне все сказано для верующего сердца католика. Мы, православные, иначе верую-

шие, можем в этом бессмертном создании Рафаэля отдать ему дань восхищения за то, что он с такой силой, ясностью, в таких чистых, одухотворенных линиях и красках передал нам, да и всему человечеству, на многие сотни лет свою религиозную мечту, мечту миллионов людей. Рафаэль в этой своей Мадонне, как наш Иванов в «Явлении Христа народу», выразил всего себя; он как бы для того и пришел в этот мир, чтобы поведать ему свое гениальное откровение.

Писана Мадонна в спокойных тонах, сильными, гармоническими красками, излюбленными мастером в период его расцвета. Для меня вся прелесть картины в мадонне. Христос-младенец написан умно. Он — ребенок необыкновенный, как необыкновенна его мать. Хорош Сикст. Слабее св. Варвара. Слабее по тем общим местам, которые в ней одной еще остались от прежнего, перуджиновского, Рафаэля.

Я несколько раз возвращался в рафаэлевский зал в этот день. Был и на другой день. Впечатления первого дня лишь закреплялись во мне больше и больше и настолько определились, что, когда я был в Дрездене вторично через несколько лет, я боялся, что многое пережитое, передуманное, прочитанное и услышанное за прошедшие годы изменит мой взгляд, но мое отношение к Сикстинской мадонне не изменилось и по сей день. Я позднее лишь осознал крепче, ярче то, что увидел 27-летним, начинающим художником.

Итак, мое первое заграничное путешествие кончилось. Пора домой... И я выехал из Берлина... Скоро и граница. Вот она, вот Родина... Проехали какую-то канавку или речонку, и я дома, у себя, в России...

* * *

Посмотрим, что дала мне Европа, что я сумел от нее взять, что понял, что полюбил в ней, посмотрим...

Я прямо поехал в Москву. Повидал кое-кого из приятелей и уехал в Хотьков монастырь. Нанял избу в деревне Комякине, близ монастыря, и принялся за этюды к «Варфоломею».

Окрестности Комякина очень живописны: кругом леса, ель, береза, всюду в прекрасном сочетании. Бродил целыми днями. В трех верстах было и Абрамцево, куда я теперь чаще и чаще заглядывал.

Ряд пейзажей и пейзажных деталей были сделаны около Комякина. Нашел подходящий дуб для первого плана, написал самый первый план, и однажды с террасы абрамцевского дома совершенно неожиданно моим глазам представилась такая русская, русская осенняя красота. Слева

холмы, под ними вьется речка (аксаковская Воря). Там где-то розоватые осенние дали, поднимается дымок, ближе — капустные малахитовые огороды, справа — золотистая роща. Кое-что изменить, что-то добавить, и фон для моего «Варфоломея» такой, что лучше не выдумать.

И я принялся за этюд. Он удался, а главное, я, смотря на этот пейзаж, им любясь и работая свой этюд, проникся каким-то особым чувством «подлинности», историчности его: именно такой, а не иной, стало мне казаться, должен быть ландшафт. Я уверовал так крепко в то, что увидел, что иного и не хотел уже искать.

Оставалось найти голову для отрока, такую же убедительную, как пейзаж. Я всюду приглядывался к детям и пока что писал фигуру мальчика, писал фигуру старца. Писал детали рук с дароносицей и добавочные детали к моему пейзажу — березки, осинки и еще кое-что.

Время шло, было начало сентября. Я начал тревожиться, — ведь надо было еще написать эскиз. В те дни у меня были лишь альбомные наброски композиции картины, и она готовой жила в моей голове, но этого для меня было мало. А вот головы, такой головы, какая мне мерещилась для будущего преподобного Сергия, у меня еще не было под рукой. Повторялось то, что с «Пустынником», когда скрылся из моих глаз отец Гордей. Я не решался начать картину, не имея под рукой исчерпывающего материала.

И вот однажды, идя по деревне, я заметил девочку лет десяти, стриженую, с большими широко открытыми удивленными голубыми глазами, болезненную. Рот у нее был какой-то скорбный, горячечно дышащий.

Я замес, как перед видением. Я действительно нашел то, что грезилось мне: это и был «документ», «подлинник» моих грез. Ни минуты не думая, я остановил девочку, спросил, где она живет, и узнал, что она комякинская, что она дочь Марьи, что изба их вторая с краю, что ее, девочку, зовут так-то, что она долго болела грудью, что вот недавно встала и идет туда-то. На первый раз довольно. Я знал, что надо было делать.

Художники в Комякине были не в диковинку, их не боялись, не дичились, от них иногда подрабатывали комякинские ребята на орехи и прочее. Я отправился прямо к тетке Марье, изложил ей все, договорился и о «гонораре», и на завтра, если не будет дождя, назначил первый сеанс.

На мое счастье, завтра день был такой, как мне надобно: серенький, ясный, теплый, и я, взяв краски, римскую лимонную дощечку, зашел за моей больнушкой и, устроившись попокойнее, начал работать.

Дело пошло ладно. Мне был необходим не столько красочный этюд, как тонкий, точный рисунок с хрупкой, нервной девочки. Работал я напряженно, стараясь увидеть больше того, что, быть может, давала мне моя модель. Ее бледное, осунувшееся с голубыми жилками личико было моментами прекрасно. Я совершенно отождествлял это личико с моим будущим отроком Варфоломеем. У моей девочки не только было хорошо ее личико, но и ручки, такие худенькие, с нервно сжатыми пальчиками. Таким образом, я нашел не одно лицо Варфоломея, но и руки его.

В два-три сеанса был сделан тот этюд, что находился в Остроуховском собрании. Весь материал был налицо. Надо приниматься за последний эскиз красками. Я сделал его быстро и тут же нанял себе пустую дачу в соседней деревне Митине. В половине сентября переехал туда, развернул холст и, несмотря на темные осенние дни, начал рисовать самую картину. Жилось мне в те дни хорошо. Я полон был своей картиной. В ней, в ее атмосфере, в атмосфере видения, чуда, которое должно было совершиться, жил я тогда.

Начались дожди, из дому выходить было неприятно, перед глазами были темные, мокрые кирпичные сараи. Даже в Абрамцево нельзя было попасть, так велика была грязь. И лишь на душе моей тогда было светло и радостно. Питался я скудно. Моя старуха кухарка умела готовить только два блюда — кислые щи да кашу.

Так я прожил до середины октября. Нарисовал углем картину и за это время успел убедиться, что при такой обстановке, один-одинешенек, с плохим питанием, я долго не выдержу, — и решил спастись к моим уфимцам. Они рады были повидать меня после заграницы и предложили мне все самые заманчивые условия для писания картины: наш зал с большими окнами, абсолютную тишину, спокойствие. О питании не нужно было и говорить — оно там было всегда поставлено прекрасно.

Я, недолго думая, свернул свою картину на скалку, расплатился за квартиру, распрощался со своей стряпухой и уехал в Уфу, тогда уже по железной дороге.

Радостная встреча, расспросы о том, что не писалось в письмах из Италии, Парижа. Скоро картина была натянута. Снег в Уфе выпал рано, в начале ноября, свет был прекрасный, и я начал своего «Варфоломея» красками. Полетели дни за днями.

Вставали мы рано, и я после чая, тотчас как рассветет, принимался за картину. Я не был опять доволен холстом, слишком мелким и гладким, и вот, однажды, когда была уже

написана верхняя часть пейзажа, я, стоя на подставке, покачнулся и упал, упал прямо на картину!

На шум прибежала сестра, а потом и мать. Я поднялся, и все мы увидели, что картина прорвана — большая дыра зияла на небе. Мать и сестра, видя меня таким смущенным, а еще больше — пробитую картину, не знали, как помочь делу, как подступиться ко мне.

Однако первые минуты миновали. Ахать было бесполезно, надо было действовать. Я тотчас же написал в Москву в магазин Дациаро, прося мне спешно выслать лучшего заграничного холста известной ширины, столько-то. Написал и стал нетерпеливо ждать посылки. Время тянулось необыкновенно медленно. Я хандрил, со мной, не зная, что делать, не рады были, что и пригласили меня. Однако недели через полторы пришла повестка, и в тот же день я получил прекрасный холст, гораздо лучший, чем прорванный. Я ожил, ожили и все мои вокруг меня.

Скоро я перерисовал картину наново и взялся за краски. Как бы в воздаяние за пережитые волнения, на новом холсте писалось приятней. Он очень мне нравился, и дело быстро двигалось вперед.

В те дни я жил исключительно картиной, в ней были все мои помыслы, я как бы перевоплотился в ее героев. В те часы, когда я не писал ее, я не существовал и, кончая писать к сумеркам, не знал, что с собой делать до сна, до завтрашнего утра.

Ходить в гости не хотелось, и лишь изредка я ездил кататься, заезжал в Старую Уфу, в маленький домик с мезонином, где шесть-семь лет назад я так счастливо проводил летние дни и вечера. Но там все было другое, теперь мне почти чужое, и я ехал домой... Кучер старался показать, как резво бегут у него кони, пускал их полной рысью, и я, весь закиданный снегом, прозябший на морозе, возвращался домой к вечернему чаю. И снова все мои за столом, в тепло натопленной горнице, говорим о картине, о завтрашнем рабочем дне, а то я уносился в воспоминания об Италии, и меня слушали не наслушивались...

Проходила длинная ночь, утром снова за дело. А дело двигалось да двигалось. Я пишу «Варфоломея», его голову — самое ответственное место в картине. Удастся голова — удалась картина. Нет — не существует и картины.

Слава богу, голова удалась, картина есть. «Видение отрока Варфоломея» кончено...

Кроме своих, которым после успеха «Пустынника» все, что ни напишу, нравится, нравится и посторонним, хотя, быть может, они и восхваляют меня из любви или на всякий

случай. Один А. М. П. — купец с университетским образованием и большим самомнением, хотя и неглупый, забавно и цинично вышутил бедного «Варфоломея».

Пора собираться в Москву. Там просмотреть картину в раме, и что бог даст. Провожаемый самыми добрыми напутствиями, я уехал, забрав картину. Что-то будет...

В те дни приснилось мне два сна. Первый такой: высокая, до самых небес, лестница. Я поднимаюсь по ней все выше и выше — к облакам... и просыпаюсь. Утром рассказываю сон матери. По ее мнению, сон хорош: я буду иметь успех с «Варфоломесм», он вознесет меня и т. д...

Второй сон таков: «Варфоломей» в Третьяковской галерее. Висит в Ивановском зале на стене против двери от Верещагина. Повешен прекрасно, почетно. Через год после этого сна, когда картина уже была в галерее, я из Киева приехал в Москву, пошел в галерею. Иду через ряд зал к Иванову и вижу «Варфоломея» висящим как раз на той самой стене Ивановской залы, как я видел его во сне, когда кончал картину в Уфе.

Странные два сна, указывающие на то, в каком напряженном состоянии были мои нервы в то время...

В Москве поместился в тех же номерах, что и год назад. Принесли раму, вставили в нее картину. Выглядит «Варфоломесей» в раме неплохо. Жду приятелей...

Узнали, что привез картину, потянулись один за другим смотреть. Пришел Левитан. Смотрел долго, отходил, подходил, вставал, садился, опять вставал. Объявил, что картина хороша, очень нравится ему и что она будет иметь успех. Тон похвал был искренний, живой, ободряющий. Левитан сказал, что у него уже был Павел Михайлович, хвалил вещи и спрашивал, приехал ли я. Начало неплохое...

Каждый день бывал кто-нибудь из художников, и молва о картине среди нашей братии росла и росла, пока однажды утром не пожаловал сам Павел Михайлович. Я был к этому подготовлен и ждал его со дня на день.

[...]*

Бегу на телеграф, посылаю радостную весть в Уфу, и сам, счастливый и довольный, еду к Левитану. У него тоже все хорошо. Павел Михайлович был, взял и у него что-то. Собираемся и едем большой компанией в Петербург.

Мы, тогдашняя молодежь, еще экспоненты, подлежим суду, и строгому, членов Товарищества. Многие из нас будут через несколько дней, быть может, забракованы, и кто здесь, в этой зале, останется — одному богу известно.

* Эпизод покупки картины П. М. Третьяковым подробно описан в очерке о нем (с. 436).

День этот настал. Вечером суд. Мы, экспоненты, томимся ожиданием где-нибудь в квартире молодого петербургского приятеля, на этот раз у Далькевича, на его мансарде. Я нервничаю, хотя общее мнение таково, что я обязательно буду принят. Однако есть признаки и плохие: отдельные влиятельные члены — господа Мясоедов, Лемох, Маковский, Волков и еще кто-то — моей картиной недовольны, находят ее нереальной, вздорной, еще хуже того — «мистической».

Наконец часу в первом ночи влетают двое: Аполлинарий Васнецов и Дубовский, молодые члены Товарищества, и провозглашают имена тех, кто принят. Все присутствующие попали в число их, и я тоже. Радость общая. Не помню, было ли на радостях выпито, или так посидели и разошлись...²²

День открытия выставки обычно был праздник для передвижников. С давних пор передвижники в этот день принимали, так сказать, у себя «весь Петербург», весь культурный Петербург. Кого-кого тут не бывало в такие дни. И это не был позднейшего времени «вернисаж», куда по особым приглашениям билетам практичные художники заманивали нужных им людей, покупателей. К передвижникам шли все за свой трудовой и нетрудовой четвертак. Тут были и профессора высших учебных заведений, и писатели, была и петербургская знать, были и разночинцы-интеллигенты. Все чувствовали себя тут как дома.

Передвижники были тогда одновременно и идейными вождями, и членами этой огромной культурной русской семьи 80—90-х годов прошлого века. Здесь в этот день выглядело все по-праздничному.

Многие из посетителей были знакомыми, друзьями художников-хозяев. Любезности, похвалы слышались то тут, то там. Сами хозяева-художники были в этот раз как бы именинниками. Так проходил этот ежегодный художнический праздник. Многие из картин в этот день бывали проданными, и к золотым билетикам у картин, накануне приобретенных высочайшими особами, к билетикам третьяковских покупок прибавлялось немало новых.

Вечером, в день открытия выставки, бывал традиционный обед у старого «Донона»²³. Часам к восьми передвижники, члены Товарищества, а также молодые экспоненты, бывало, тянулись через ворота в глубь двора, где в конце, у небольшого одноэтажного флигеля, был вход в знаменитый старый ресторан. Там в этот вечер было по-особому оживленно, весело. Старые члены Товарищества ласково, любезно встречали молодых своих собратьев, а

также особо приглашенных именитых и почетных гостей, всех этих Стасовых, Менделеевых, Григоровичей (Третьяков не имел обыкновения бывать на этих обедах). Дам не полагалось.

Лемох, с изысканностью «почти придворного» человека, встречал всех прибывших, как распорядитель, и с любезно-стереотипной улыбкой, открывая свой серебряный портсигар, предлагал папиросу, говоря свое: «Вы курите?» — и мгновенно закрывал его перед носом вопрошаемого...

Обед чинный, немного, быть может, чопорный вначале, после тостов (пили сначала за основателей, за почетных гостей, пили и за нас — молодых экспонентов) понемногу оживлялся. Когда же кончались так называемые «программные» речи старейших товарищей, языки развязывались, являлась отсутствующая вначале теплота, задушевность. Более экспансивные переходили на дружеский тон, а там кто-нибудь садился за рояль и иногда хорошо играл. Каждый становился сам собой. Хорошие делались еще лучше, те же, что похуже, вовсе распоясывались.

Последняя часть вечера, так часам к двенадцати, проходила в обмене разного рода более или менее искренними «излияниями». Михаил Петрович Клодт танцевал, сняв свой сюртучок, традиционный на этих обедах «финский» танец. Беггров рассказывал в углу скабрзные анекдоты. Н. Д. Кузнецов изображал «муху в стакане» и еще что-то. А его приятель Бодаревский делался к концу вечера глупей обыкновенного и более, чем когда-либо, оправдывал хорошо устоявшееся сравнение: «Глуп, как Бодаревский».

Так проходил и заканчивался ежегодный товарищеский обед передвижников.

На другой день выставка вступала в свой обычный, деловой круг. Если на ней бывала какая-нибудь сенсационная картина, так называемый «гвоздь», тогда народ на выставку валил валом, узнав об этом из утренних газет или от бывших накануне на открытии. Если такого «гвоздя» не было, то все же публика шла охотно к любимым своим передвижникам, как охотно читала она тогда любимых своих авторов. Передвижники тоже были «любимые авторы». Они тогда щедрой рукой давали пищу уму и сердцу, а не одному глазу и тщеславию людскому.

В тот год я прожил в Петербурге до марта и через Москву проехал в Киев, так как перед тем получил приглашение Прахова побывать там, познакомиться как с Виктором Михайловичем Васнецовым, так и с его работами во Владимирском соборе, и там, на месте, поговорить о возможном моем участии в нем.

В Киеве я не бывал, слышал же о нем много восторженных отзывов. Подъезжая к Днепру, устремился к окну, и увидел действительно прекрасную картину: высокий берег Днепра был покрыт садами; среди этих южных садов, пирамидальных тополей, то там, то здесь сверкали золотые главы монастырей, их называли мне мои спутники. Вот Выдубицкий, вот Лавра, ее собор, знаменитая лаврская колокольня, вот там — пещеры, а дальше еще какие-то церкви.

Проехали мост, начались окраины, разные Соломенки, Демеевки и прочие. А вот там ряд синих куполов: это новый Владимирский собор. Я жадно впиваюсь в него: ведь он-то и был целью моей поездки. В нем сейчас совершалось великое дело, там Виктор Васнецов творил своим огромным талантом чудеса.

Еще так недавно безнадежно гибнувшее церковное искусство стало неожиданно возрождаться с такой силой и мощью на стенах Владимирского собора... Недавно в Москве, у Елизаветы Григорьевны Мамонтовой, я видел альбом фотографий с васнецовских творений и пришел от них в восторг. Лики угодников пещерских, пророков, святителей и сейчас стоят передо мной, видимые из-за сетки лесов...

Наша беседа с первой же минуты стала непринужденной, искренней. Конечно, заговорили о соборе, о работах в нем, о моих картинах, о «Пустыннике», о «Варфоломее». Васнецов, вопреки Прахову, находил их свободными от западного влияния.

Затем повел меня по лесам осматривать им содеянное. Тут же, в двух шагах, был северный алтарь, где позднее мне пришлось написать, вместо Врубеля, запрестольный образ «Воскресения Христова», ставший, к сожалению, слишком популярным по множеству копий с него в церквях и на кладбищенских памятниках.

Из алтаря, в окно, выходящее в главный алтарь, я впервые увидел «Пророков, святителей православных», — увидел, быть может, лучшее, что сделано было Васнецовым после «Каменного века»²⁴. Пафос, пламенное воодушевление этих ветхозаветных глашатаев божественных глаголов выражены были так ярко, неожиданно, что у меня от восхищения дух захватило. Васнецовские пророки что-то вещали миру пламенными устами, потрясали души великими откровениями. Они были великолепны...

Под пророками изображены святители православные. Вот Антоний, Феодосий — Печерские, а вот и наш преподобный Сергей, вот Стефан. Мы давно их знаем, а вот тут

и тот художник, который вызвал их вновь к земному бытию такими, какими они явились нашей родине пятьсот лет тому назад. Левей величественное изображение богоматери, сопровождаемой хорами ангелов. Она мне менее понравилась, чем пророки, святители. Мне показались размеры «Богоматери» нарочито преувеличенными и слишком утомительно однообразна позолота фона ее. Абрамцевский эскиз на живописном фоне утренней северной зари и трогательней и поэтичней. Внизу, под «Богоматерью», была видна «Евхаристия»²⁵ с прекрасным Христом и с такими живописными, действенными апостолами. Все это дышало, придавало собору воодушевленный, победный характер.

Сам Виктор Михайлович, показывая мне свои творения, умел кратко, умно подтвердить словом то, во что верил как в непреложное. Мы пришли на южную сторону хор, к другому приделу, в алтаре которого я потом написал, вместо опоздавшего представить эскиз Серова, свое «Рождество Христово». Здесь были видны остальные «Пророки и святители вселенские», столь же живописные и вдохновенные.

Так мы обошли и осмотрели все, что было можно осмотреть с хор, через густую сеть лесов. Спустились вниз, зашли в будущую крестильню, где позднее я написал «Богоявление», где сейчас была временная мастерская Котарбинского, с которым меня познакомил Виктор Михайлович.

Котарбинский, приятель Сведомского — был поляк, католик, талантливый, еще полный сил художник, благодушного, покладистого нрава. Сведомские в то время были в Риме, где у них была мастерская, где они отдыхали от нелюбимой и чуждой им работы во Владимирском соборе. В Киев их ждали осенью.

Приближалось время завтрака, наступали часы отдыха. В собор заехал Терещенко, нас познакомили, а Виктор Михайлович скоро уехал смотреть какой-то новый портрет, написанный Кузнецовым. Он предложил мне отправиться к нему домой и там подождать его возвращения с тем, чтобы потом вместе позавтракать. Я так и сделал, — пошел к Золотым воротам, где тогда жили Васнецовы. Меня встретила супруга Виктора Михайловича — Александра Владимировна и петербургский мой знакомый — Аполлинарий Михайлович Васнецов. Выбежали дети — девочка лет десяти-двенадцати и три мальчика, похожие на васнецовских соборных серафимов, с такими же восторженными, широко открытыми глазами.

Александра Владимировна была женщина-врач первого выпуска, еще цветущая, хотя и седая, лет тридцати пяти.

Приняли меня радушно. Скоро вернулся и Виктор Михайлович.

Жили Васнецовы, видимо, хорошо, но скромно. В мастерской стояли «Богатыри», их я видел впервые.

Разговор быстро стал общим. Позвали завтракать. Завтрак был простой, сытный. Тут собралась вся семья, такая патриархальная, дружная. Подали бутылочку красного вина. Время за столом пролетело быстро. Виктор Михайлович пошел отдыхать, а мы с Аполлинарием Михайловичем отправились к художнику Светославскому, на другой конец города, на Подол, где у него, на Кирилловской, была своя усадьба и мастерская.

Светославский был мой школьный товарищ, постарше меня лет на пять-семь. Он был талантливый пейзажист, безалаберный, хвастливый, но добродушный хохол, лицом, но не умом, напоминающий В. В. Верещагина. Праховы прозвали его «Фараоном», и с этой кличкой он и жил.

От Светославского мы вернулись к Золотым воротам к вечеру, к обеду, после которого стали собираться к Праховым.

В тот памятный день не раз мысли мои переносились к прошлому, к тому времени, когда в Москве, на Передвижной появились васнецовские «Три царевны подземного царства», когда я, на правах бывшего ученика Училища живописи, где в те времена обычно помещалась Передвижная, бродил с приятелями по залам, критикуя все, что не было похоже на Перова.

Особенно доставалось Репину и В. Васнецову. Я не любил его «Слово о полку Игореве», еще больше не любил этих «Трех царевен». Бедных «Царевен» с одинаковым увлечением поносили и «западники», и «славянофилы». Ругал их и неистовый Стасов, и пламенный патриот И. С. Аксаков в своей «Руси». Гуляя по выставке, я не оставлял в покос своего «врага» с его царевнами.

Приятели со мной спорили, а кто-то из них обратил мое внимание на высокого, с небольшой русой головой человека, удаляющегося большими шагами по анфиладе зал. «Смотри, скорей, вон пошел твой «враг». Это и был В. М. Васнецов, спешивший к своим «Трем царевнам». Тут впервые видел я Виктора Михайловича, не думая, что через немного лет жизнь поставит нас так близко.

Далеко не сразу прозрел я в своем непонимании васнецовского искусства. Завеса с глаз моих, однако, спала, и я увидел красоту, которую он принес с собой в мир, понял, насколько он может быть дорог нам, почувствовал весь лиризм, всю музыкальность его русской души. И тогда

стал таким же его хвалителем, каким был раньше хулителем, что не помешало, конечно, мне оставаться всю жизнь почитателем моего учителя В. Г. Перова, столь несходного с Васнецовым, но такого же *художника*, как он.

Позднее, когда выставлен был «Серый волк», под впечатлением этой полной еще мужественного таланта картины, я написал Виктору Михайловичу восторженное письмо. Письмо это у него хранилось, он любил вспомнить о нем.

Однако вернусь в Киев к Владимирскому собору. Надолго остался у меня памятным первый день посещения мной собора, сыгравшего в моей жизни крупную роль, повернувшего жизнь по-своему, на новый лад, надолго изменивший мое художественное лицо как автора «Пустынника» и «Отрока Варфоломея», о чем я мог догадаться лишь гораздо позднее, тогда, когда мог уже спокойно обдумать те последствия, какими могла окончиться встреча моя с одним из замечательнейших художников моего времени.

Но к В. М. Васнецову я еще не раз вернусь в моих воспоминаниях. Теперь же пора отправляться к Праховым, где сегодня нас ждут, где будет много народа, где будет пир по случаю получения Котарбинским нового заказа.

По пути к Праховым Виктор Михайлович предварил меня о том, что могу я встретить неожиданного в этой семье. О необычной эксцентричности Праховых мне немало говорили еще в Москве. Я уже знал, что там и люди почтенные всегда рискуют получить «дурака» и «болвана» и что это уже «так принято», что эти эпитеты преподносятся там в такой, особой форме, что люди не обижаются, а только пожимают плечами.

Посмотрим...

В 1890 году Адриан Викторович Прахов официально числился профессором Киевского университета по кафедре истории искусства и главным руководителем работ по окончанию Владимирского собора. Прахов был давно доктором истории искусства, считался необыкновенно даровитым ученым, и не любивший его Кондаков говорил, что докторская диссертация Прахова была так талантлива, что он, Кондаков, ложась спать, клал ее себе под подушку.

Так или не так, а до появления Прахова в Киеве судьба собора была иная...

Собор был заложен в начале царствования Александра III по повелению еще Николая I, по проекту архитектора Беретти. Постройка его оказалась неудачной, и работы в нем были приостановлены на много лет и только в царствование Александра III возобновились и окончились бы так,

как кончались сотни ему подобных, и расписал бы его какой-нибудь немец-подрядчик Шульц, если бы не появился Прахов, заинтересовавшийся судьбой собора Александра III и сумевший привлечь к росписи его молодого тогда, полного сил Васнецова.

Сейчас Владимирский собор был у всех на виду, о нем говорили, много писали, и царь с нетерпением ожидал его окончания, обещаясь быть в Киеве на освящении. Все это было делом Прахова, его неугмонного, предприимчивого характера, а теперь и его большого честолюбия.

И вот сейчас мы с Васнецовым идем к этому энергичному человеку, сыгравшему в моей жизни немалую роль.

Праховы тогда жили в большом старом двухэтажном доме, против Старо-Киевской части. Мы поднялись на второй этаж и там, у двери с медной дощечкой «Профессор Адриан Викторович Прахов» — позвонили.

Дверь отворилась, и перед нами предстала девочка лет двенадцати, румяная, добродушная, необычайной толщины и мальчик лет четырнадцати — гимназист. Это были младшие дети Праховых — Оля и Кока. Они бурно нас приветствовали и понеслись вперед, возвещая на пути, что пришел «Васнецов» и еще с ним кто-то...

Мы последовали за шумными вестниками в столовую, где за чаем сидело большое общество. Адриан Викторович встретил нас радушно, расцеловал. Представил меня своей супруге Эмилии Львовне, даме некрасивой, но интересной и живой, торжественно восседавшей в конце длинного стола.

Эмилия Львовна, не откладывая в дальний ящик, предупредила меня, что сегодня, ради первого дня знакомства, чтобы дать мне немного оглядеться, меня оставят в покое, а потом я должен буду подчиняться общей участи.

Напротив Праховой за самоваром сидела, разливая чай, девушка лет шестнадцати-семнадцати, тоже некрасивая, худенькая, на редкость привлекательная. Это была старшая дочь Праховых Леля. Она как-то просто, как давно-давно знакомая, усадила меня около себя, предложила чаю, и я сразу и навсегда в этом шалом доме стал чувствовать себя легко и приятно. Леля, благодаря своему милому такту или особому уменью и навыку обращаться в большом обществе с людьми разными, всех покоряла своей доброй воле и была общей любимицей.

Беседа общая, оживленная. Адриан Викторович — мастер слова, без труда был душою общества, переходя от серьезного к шутке, от общих тем к науке, к искусству. Речь его временами сверкала самоцветными камнями.

Наружность Адриана Викторовича была такова: среднего роста, плотный, с крупной головой, с крупными чертами лица, крупным носом, сочными губами, с глазами, умно, зорко смотрящими поверх очков, с пушистыми, как ореол, волосами и такой же бородой (имевшими свойство за неделю сесть, по воскресным же дням преобразаться, делаться цвета спелого каштана). Выражение лица Адриана Викторовича было приветливое, особенно подкупающей была та приветливая, «праздничная» улыбка, с которой он встречал своих гостей. Однако эта улыбка временами делалась официальной, холодной.

Первые слова Адриана Викторовича бывали полны самого подкупающего радушия: «Здрась-сти, друг!» — было его обычное обращение, однако ни к чему не обязывающее. Новичок, так приветствуемый, мог сильно разочароваться, в особенности, если он не попадал вовремя под заботливое попечение все видевшей, все понимавшей Лели — этого тихого ангела семьи.

В тот памятный вечер я решился наблюдать и, пользуясь обещанием хозяйки, делал это спокойно. Мне было необходимо освоиться с непривычной обстановкой, с новыми, такими странными людьми.

После чая гости разбрелись по обширной квартире. Большинство мужчин, в числе их и я с Васнецовым, пошли за хозяином в так называемую мастерскую, очень большую, окон в шесть, комнату с несколькими огромными чертежными столами, роялем, с картинами и рисунками по стенам, с хрустальной люстрой на потолке. Здесь висела в тяжелой золотой раме большая «Мадонна» якобы Франческо Франча. Был ли то подлинный Франча или хорошая копия с него, какой ее признавали все, кроме хозяина, это было неважно.

Здесь, в этой мастерской, в дни периодической рабочей горячки Адриан Викторович уединенно простаивал дни и ночи, рисуя, чертя проекты, планы соборов, памятников и прочего. Тут же можно было увидеть начатый бюст какой-нибудь местной премированной красавицы, покорившей нежное сердце нашего эллина.

Теперь в мастерской шла беседа еще непринужденнее, чем до того в столовой: помнится, в тот вечер варилась жженка.

Подходили запоздалые гости с концертов, из театров. Общество было разнообразное — от светских киевских дам до ученых и художников включительно.

Не помню, как долго мы с Виктором Михайловичем оставались у Праховых. Уходя при шумных возгласах эксцентрической семьи, обещали завтра у них отобедать и на

завтра же были отложены деловые переговоры о моем участии в работах во Владимирском соборе.

На следующий день я был снова в соборе, снова велась дружеская беседа с Васнецовым. Тогда же я знакомился с городом, с Лаврой, и в назначенный час мы с Виктором Михайловичем были у Праховых.

Обед был немногочисленный. После него пошли в гостиную, она больше походила на музей. Чего-чего тут не было: монеты и медали лежали в золоченых витринах, золоченые с вышитыми императорскими инициалами кресла стояли тут же, висели и небрежно лежали на мебели старинные ткани, бронза, слоновая кость, египетские древности и византийские эмали. По стенам — старые персидские ковры, картины. Тут же стоял второй рояль и какая-то мудреная мебель, на которой нельзя было сидеть.

Но всего интересней был здесь большой портрет Лели Праховой, незадолго перед тем написанный Васнецовым. На нем эта милая девушка стояла такая хрупкая, одухотворенная, в белом платье, едва касаясь одной рукой клавиш рояля. Это был и остается несомненно лучший портрет работы Васнецова ²⁶.

В тот вечер удалось-таки переговорить с Праховым о деле и было решено, что на другой день я еду в Москву, в Абрамцево, оттуда ненадолго в Уфу, а затем в Кисловодск, до сентября, куда меня звали Ярошенки. За это время должен буду обдумать эскизы «Рождества» и «Воскресения», а также подумать об эскизах из жизни князя Владимира (до принятия христианства), предназначенных для стен лестницы, ведущей на хоры. И осенью, вернувшись в Киев, я пишу для ознакомления со стеной живописью с эскизов Васнецова двух святых на пилонах, а по утверждению самостоятельных эскизов приступлю к росписи запредельных алтарных образов на хорах.

На этом плане я и попрощался с Праховым до осени.

На другой день зашел в собор, полюбовался им, простился с Васнецовым и, окрыленный надеждой внести и свою долю, если не вдохновения, то искреннего желания попытаться здесь свои молодые силы, в тот же день выехал счастливый и довольный в Москву.

Не помню, долго ли я оставался там, был ли в Абрамцево. Я спешил в Уфу, поехал туда через Нижний, по Волге, Каме и Белой. Погода была холодная, ветреная, и где-то на Каме или Белой я сильно простудился, приехал в Уфу совсем больной и тотчас же слег в постель.

Позвали доктора, простуда оказалась жестокой, и я день ото дня чувствовал себя хуже и хуже. С правой стороны

грудной клетки образовался нарыв, боль была невообразимая. Так прошло с неделю. Со мной с ног сбились. Особенно волновалась мать, горячее других принимавшая все к сердцу.

Болезнь моя для меня тем более была несносна, что почти одновременно со мной в Уфу приехала со своей воспитательницей и моя дочка, и я не мог быть с ней так часто, как хотелось. Ко мне привезли ее из Старой Уфы, где она жила у другой своей бабушки. Свидания эти поневоле были кратки: они меня утомляли.

Собрали консилиум. Было решено нарыв вскрыть, и местная знаменитость, доктор П-в, гинеколог по специальности, по призванию церковный регент, страстно любивший церковное пение и ради него забывавший все на свете, назначил операцию...

[...] *

Меня уложили в постель. Прошел день, прошло их еще несколько, а легче мне не было.

Несколько смущенный хирург успокаивал нас до тех пор, пока однажды не объявил, что климат уфимский не способствует скорому моему выздоровлению и что необходимо ехать на Кавказ, в Кисловодск, и вот там горный воздух и прочее живо меня исцелят.

Делать было нечего, я послал телеграмму Ярошенкам и, получив радушное приглашение приехать, полуживой двинулся на Кавказ.

Через несколько дней перед глазами замелькала степь, малороссийские хатки, земля войска Донского, потом Тихорецкая, Кавказская, Кубань, Терек. Вот и Минеральные Воды. Здесь я должен был встретиться с Марией Павловной Ярошенко и уже на лошадях вместе ехать в Кисловодск.

Встретились дружески, здесь же оказался знакомый Марии Павловны — известный петербургский хирург профессор Евгений Васильевич Павлов. Мы познакомились. Павлов знал мое имя по «Отроку Варфоломею». Мария Павловна рассказала ему о моих уфимских злоключениях, и Евгений Васильевич предложил осмотреть меня в Кисловодске, предполагая там бывать наездами из Пятигорска, где в то лето он жил с семьей.

Мы хорошо закусили на Минеральных и в двух экипажах двинулись в путь. Железная дорога тогда была еще в проекте. Кроме наших колясок, ехала целая вереница

* Этот эпизод подробно описан в зарисовке «Н. А. Ярошенко» (с. 370).

экипажей с больными и здоровыми на «группы»²⁷. Помню старика-полковника, едва живого, забинтованного, с пробитой дышлом головой.

Проехали Бештау, откуда шла дорога на Железноводск. Поздней не раз пришлось мне там жить, пить Смирновскую. Вот и Пятигорье, как на ладони, слева Машук, справа Бештау, а там далеко, на горизонте, как стая облаков в солнечных лучах, сияла снежная цепь с великолепным Эльбрусом, царившим над этими, мной еще невиданными ландшафтами.

Вот и Пятигорск с Машуком и воспоминания о Лермонтове. Проехали скучные Эссентуки. Пошли холмы, они все росли. То слева, то справа вьется Подкумок. Станица Кисловодская. По обе стороны тянется Бургустан, а вон там правее Кольцо-гора. Наконец, приехали.

Большая старая усадьба Ярошенко расположена частью наверху, у соборной площади, частью внизу, у парка, где калитка выходит прямо к Ольховке, журчащей по скатам больших, каменных плит.

Еще недавно усадьба была куплена Ярошенками за бесценок, в рассрочку у героя Ташкента, знаменитого сербского добровольца генерала Черняева. Теперь здесь вместо черняевского старого дома, помнившего Лермонтова, стоят три домика, таких беленьких, уютных, с множеством балконов.

Тот домик, где живет сам Ярошенко, где его мастерская, был особенно мил. Большой балкон его расписан в помпейском стиле самим Николаем Александровичем, с участием Поликсены Сергеевны Соловьевой. С него был чудесный вид на Зеленые горы, на парк с царской площадкой.

Я поместился временно у Ярошенко и стал подыскивать поблизости себе комнату. Скоро нашел небольшую, удобную, на солнечную сторону.

Чуть ли не в тот же день встретился у Ярошенко с Владимиром Григорьевичем Чертковым, жившим в то лето с большой женой и ребенком в большом доме Ярошенко.

Анна Константиновна Черткова тогда уже не могла ходить и все время лежала в подвижном кресле так, как и была потом изображена на картине Ярошенко «В теплых краях», что в Русском музее.

Скоро приехал к нам Павлов. Осмотрел меня и сказал, что мой уфимский акушер операцию сделать запоздал, гной успел кинуться на ребра, образовалось воспаление надкостницы, так называемый эксудат. Необходимо было сделать новую операцию, но прежде, чем делать ее, надо было хорошо подкормиться, и было решено, что на лето я остаюсь в Кисло-

водске, дышу дивным его воздухом, хорошо питаюсь, пройду виноградное лечение, а к началу сентября еду в Петербург и там, в Александровской общине Красного Креста, где Павлов был директором, он сделает мне вторую операцию, быть может, вынет два ребра, после чего я уеду на долгую поправку или в Крым, или в Италию.

Таким образом, все киевские планы, участие мое в росписи Владимирского собора уходят в далекую перспективу. Не скажу, чтобы такая перспектива меня привела в хорошее настроение. Но делать было нечего. Пришлось начать усиленно питать свое грешное тело. А там, что бог даст.

Побежали дни за днями. Приехал Николай Александрович Ярошенко. На балконе все больше и больше бывало народа. В то лето у Ярошенок жила, кроме упомянутой Поликсены Сергеевны Соловьевой, начинавшей писать хорошие стихи, артистка Московской оперы Юлия Яковлевна Махина, крошечное, забавное создание.

У Махиной был маленький голосок, она с ним отлично управлялась в таких ролях, как Торопка в «Аскольдовой могиле». Крошечное капризное существо это вставало поздно, выходило к завтраку, как на сцену, и тут попадала обычно на острый язычок Николая Александровича.

Нередко на балконе появлялся и Чертков, такой громоздкий, породистый барин, красавец, вчерашний кавалергард, с которым еще недавно на придворных балах так любила танцевать императрица Мария Федоровна. Сейчас он ходил в черной рабочей рубашке, поверх которой надевал интеллигентский пиджак.

Чертков тотчас же вносил свой особый тон, и, как бы ни было перед тем шумно и весело, с его появлением на балконе все замирало. Замирало под его тихими, методическими «всепрощающими» речами.

Со мной Владимир Григорьевич был ласков, внимателен. Он был гораздо осторожней со мной, чем страстный южанин Н. Н. Ге. Чертков не терял еще надежды обратить автора «Отрока Варфоломея» в свою веру. Дело ладилось плохо, и только упрямство заставляло его еще возиться со мной.

Я же, чем больше к нему приглядывался, тем дальше уходил от него. Этот методичный толстовец тогда неумеренно много поедал конфет, винограда, сластей вообще. Большая коробка с конфетами неизменно стояла у них на балконе. И то сказать, конфеты ведь не были «убоиной»!

С Николаем Александровичем Ярошенко сблизился я не спеша, исподволь, но верно. Нередко вечером, взяв графин, мы отправлялись с ним через парк к Нарзану, и о чем ни

говорили мы, пробираясь по дорожкам. Я еще совсем молодой, но уже неисправимый «консерватор», а он закоренелый либерал-республиканец. Как памятно мне эти прогулки, эти споры, всегда горячие, живые, прямодушные.

Кисловодск еще не был тогда модным курортом, каким стал позднее. Все сезонное мракобесие завелось позже, тогда, когда провели от Минеральных Вод по группам железную дорогу, когда построили курзал, театр, появилась опера с модными артистами до Шаляпина и Собинова включительно.

В тот же 1890 год летом были нравы еще патриархальные. Жизнь была простая, дешевая. Многоэтажных отелей не было, всюду были еще голубые и белые хатки, встречались соломенные кровли. Такие усадьбы, как у Ярошенок, были на счету. Жилось приятно. Устраивались большие пикники, поездки в замок Коварства и Любви, на Седло-гору и на дальний Бермамут. Тогда в парке, около так называемой Казенной гостиницы, могли еще указать вам старушкунягину, с которой, по преданию, Лермонтов написал свою княжну Мери.

Я заметно стал поправляться, полнел, розовел. Однако Павлов, видя меня, повторял, что в Питер ехать необходимо, дренаж в незажившую рану еще входил свободно, и что операции, видимо, мне не избежать.

Наступил и август, еще недели две — и надо собираться на север. В первых числах сентября нужно быть там. Я на будущее смотрел без боязни. Чудилось ли, что все обойдется благополучно, или то было лишь легкомыслие молодости?

Вот настал и день отъезда, новые и старые друзья собрались проводить меня. Подали экипаж, простились. Я горячо поблагодарил ставших теперь мне близкими Ярошенок — и покатил. До Минеральных, до посадки в вагон еще жил недавним, кисловодским. Поезд тронулся, я стал думать о другом, что ждет меня там, в Питере. Проехал, почти не останавливаясь, Москву и 2 сентября был в северной столице.

На другой день явился в Александровскую общину Красного Креста. Павлов осмотрел меня и в первый раз за эти месяцы сказал, что гною меньше, да и я сам это видел, как видел, что дренаж стал туго входить в рану.

Все же мне было велено лечь, хотя бы недели на две в Общину, за мной понаблюдают и, если надо, сделают операцию, если нет — отпустят с миром в Киев. Впервые у меня появилась надежда на лучший исход, о чем я с радостью в тот же день написал своим в Уфу.

На другой день я перебрался в Общину, поместили меня в палату с каким-то милым моряком.

Александровская община была тогда образцовым учреждением такого типа. Во главе ее стоял талантливый профессор, лейб-хирург Евгений Васильевич Павлов. Попечительницей Общины была старая, горбатая, но необыкновенно умная и деятельная баронесса Гамбургер, сестра нашего посланника в Швейцарии. Эти два человека, дополняя друг друга, были истинными создателями славы и популярности Общины.

Идеальный порядок, отличный состав врачей, необыкновенно дисциплинированные сестры. Операционный зал (в нем изображен Павлов в известной картине Репина, что в Третьяковской галерее) по последним требованиям науки и техники. Вступая в Общину, вы получали с первых минут полное к ней доверие. Все палаты, коридоры, мебель были белыми, и только цветы нарушали зеленью этот сияющий белизной тон. Прекрасная церковь с отличным священником и певчими.

Строгости в Общине, благодаря неусыпной бдительности баронессы, были чрезвычайные. Она, по причине ли бессонницы, или особому рвению, по нескольку раз в ночь обходила палаты, следя за тем, чтобы сестры были на местах и не спали. И те, что такого сурового искуса не выдерживали, немилосердно наказывались. Особенно доставалось новеньким, молодым. Между прочим, их за провинности ставили в церкви, за воскресными службами, впереди всех в затрапезном платье.

Между сестрами было немало красивых, и я особенно помню одну высокую блондинку — прямо красавицу в английском вкусе. Она была северянка, родом из Кеми, и мой сосед-моряк поведал мне, что Кемь издревле славится красавицами этого типа. Объясняется же это тем, что в старые времена — в XVI—XVII веках в Кемь часто заходили английские торговые и иные суда, и нередко ученые мореплаватели подолгу засиживались, гащивали там, сводили дружбу с добрыми кемянками... Вот с каких пор повелось на Кеми такие красавицы в английском вкусе, настоящие леди...

Дни шли за днями. Утром, в обычный час являлся Евгений Васильевич Павлов и в каком-то самозабвении обегал коридоры, и так как был близорук, то изредка казалось, что он налетит на большое зеркало в конце коридора или на кого-нибудь из встречных. Такая рассеянность мгновенно исчезала, как только Евгений Васильевич попадал в операционный зал.

Тихая наша жизнь в Общине нарушалась или очередными операциями, или появлением новых больных. Об операциях мы узнавали обыкновенно накануне, с вечера, а об экстренных — в тот же день.

Однажды к вечеру у нас появилась особа очень высокого роста, пожилая, похожая на Пиковую даму. Она, вопреки правилам, ни за что не желала надеть больничного халата. Пришлось употребить весь авторитет Павлова и баронессы, чтобы строптивая старая дама (классная дама какого-то института) согласилась надеть халат. Однако настояла на том, чтобы шевелюра ее, едва ли природная, и какая-то фантастическая накладка на голове с оранжевыми лентами или цветками, были неприкосновенными. В этом пришлось ей уступить.

Настал день операции (у старой дамы, помню, была киста). Операция по тем временам тяжелая, и все же престарелая кокетка отправилась в операционный зал в своей фантастически нелепой накладке на голове. Операция прошла благополучно.

Евгения Васильевича Павлова все очень любили, и действительно, он был прекрасный, добрый человек. Анекдотов о нем существовало множество. Вот один из них. Евгений Васильевич грешил — пописывал масляными красками. К живописи питал он неодолимую страсть. Увлекаясь ею, забывал часто свои прямые обязанности, как и мой уфимский приятель-гинеколог. В дни лекций в Медицинской Академии Евгений Васильевич, зная свою слабость, с вечера наказывал своему верному Ивану, чтобы тот задолго до отъезда в Академию предупреждал его, пишущего какой-нибудь ландшафт, что пора бросать кисти и ехать.

Иван хорошо знал своего господина, задолго начинал напоминать ему о том, что пора ехать. Время летело, часы тоже показывали, что все сроки миновали. У подъезда давно ждал экипаж, а ретивый художник все писал и писал. Оставалось времени столько, чтобы только можно было доскакать до Академии. Евгений Васильевич отрывается от мольберта, на ходу накидывает ему Иван генеральскую шинель и, сбегая с лестницы, он, озабоченный, кричит: «Иван, ты без меня допиши небо!» — и исчезает...

Повторяю, необыкновенно приятный человек был Евгений Васильевич Павлов.

Вот настало время и для решения моей судьбы. Приехал Евгений Васильевич, позвали меня в операционную, осмотрели и объявили, что рана моя совершенно зарубцевалась, что опасности больше нет и что я хоть сейчас могу

покинуть Общину и ехать в Киев. Я не заставил себя ждать. В тот же день был на свободе и через два-три дня покинул Петербург.

Вот я снова в Киеве, снова в соборе, вижу с Васнецовым, с Праховыми. Понемногу вхожу в общую работу. Мне, как и условлено было в марте, было предложено написать с васнецовских эскизов «Бориса и Глеба» на пилонах среднего корабля собора для того, чтобы я мог освоиться со стенописью.

Я начал работать, дело мне нравилось, я скоро им овладел.

Между тем, Прахов предложил мне сделать эскиз «Рождества Христова» для запрестольной стены на хорах южного придела, предупредив, что, если эскиз понравится, то за мной же останется и «Воскресение Христова» в северном приделе.

Я стал готовиться к эскизам, тем временем втягиваясь в киевскую жизнь. Отношения с Васнецовым были прекрасные. Виктор Михайлович в те дни был истинным моим другом и советчиком. Ему нравились мои эскизы из жизни преподобного Сергия. Он говорил, что когда-то мечтал сам заняться житием преподобного и теперь видит, что я этой темы не испортил. К новому году ждали в Киев Передвижную, и Васнецов очень хотел посмотреть моего «Варфоломея».

По настоянию и Прахова и Васнецова я должен был сделать визиты к председателю соборного комитета и наиболее влиятельным его членам. Обязанность эта казалась мне малоприятной, я долго откладывал свои визиты, однако все же в одно из воскресений у всех этих господ побывал и стал совсем киевлянином на целых семнадцать лет, о чем, конечно, тогда не помышлял.

«Бориса и Глеба» я закончил и вместе с эскизами «Рождества Христова» представил на утверждение комитета. Все было утверждено, и я начал картон «Рождества». Стена для него была загрунтована давно, хорошо высохла, и можно было спокойно начинать писать на ней.

Условия самостоятельной работы были очень скромны. За шестиаршинную картину я должен был получить 1500 рублей. Так или почти так получали и мои старшие коллеги — Сведомский и Котарбинский.

Да, в те времена вопрос платы для меня не был существенным. Я горел желанием скорее попытать свои силы на новом для меня деле. Я еще не знал, сколь оно трудно и как дорого обойдется это дело мне потом...

Пока что расскажу здесь, как творились так называемые соборные легенды. В те дни, да и много спустя, говорили не только в Киеве, но доходила молва и до Питера, о том, как чудесно явилась киевскому вице-губернатору Александру Павловичу Баумгартену и профессору А. В. Прахову богоматерь в абсиде Владимирского собора. Об этом необычайном случае говорилось устно, писалось в письмах, писались об этом брошюры и умело распространялись, где следовало, попали в высокие места.

Дело было еще в самом начале соборных работ, так сказать, в первые дни творения, когда там еще не было ни одного из художников и витал лишь дух Адриана Викторовича Прахова, вернувшегося перед тем из Петербурга и Москвы, где он сумел заинтересовать «сферы». В Абрамцеве увидел он впервые и пришел в восторг от васнецовской «Богоматери», что была там в маленькой новой церковке. Стал бредить во сне и наяву, как бы заполнить Васнецова в киевский собор.

Вот тогда-то, летом, собралась позавтракать некая теплая компания с А. В. Праховым у тогдашнего киевского вице-губернатора, как его тогда звали, «вечного вице-губернатора» А. П. Баумгартена. Александр Павлович не был Сперанским, но был добродушный человек, большой *bon vivant*, его любили. Компания позавтракала, выпила, поболтала о том, о сем и разошлась. Остались вдвоем сам хозяин и прекрасный его собеседник — Прахов, которого как бы осенила внезапная мысль поехать в собор сейчас же, не откладывая в дальний ящик, вместе с Александром Павловичем, который тогда был назначен председателем комитета по окончанию Владимирского собора.

Сказано — сделано, поехали, вошли в собор. Дело было праздничное, работ там не было, собор был пуст и нем. Перед ними предстала алтарная абсида во всей своей первобытной неприкосновенности.

Прахов, в каком-то вдохновенном экстазе, обращается к Баумгартену и говорит:

— Вы ничего не видите, Александр Павлович?

Тот отвечает: «Нет, не вижу ничего».

Тогда Прахов, осененный свыше, обращает внимание Александра Павловича на таинственную линию, проходящую по абсиде сверху вниз, извиваясь по вогнутой стене. Он видит сейчас не только эту линию, но линия в его глазах преобразается в формы, воодушевление нашего ясно-видца растет. Он видит уже контуры несущейся по небу богоматери.

Адриан Викторович допытывается, видит ли то же Александр Павлович. Увы! Тот ровно ничего не видит. Однако недаром он светский человек, после веселого завтрака трудно что-нибудь увидеть, особенно «духовным оком», но что увидеть что-то надо.

Между тем наш Адриан Викторович в тех случаях, когда он страстно чего-нибудь желает, желает до боли, до спазмов в желудке, не останавливается ни перед чем. Он еще с большим воодушевлением продолжает внушать своему спутнику им видимое, и тот, не желая долее быть заподозренным в каком-то постыдном невежестве, спешит уверить Прахова, что вот теперь он видит ясно, отчетливо.

Адриан Викторович в восторге. Он предлагает тут же составить протокол. Сам делает рисунок абсиды с чудесным предуказанием. Рисунок прилагается к протоколу. Оба очевидца скрепляют протокол своими подписями. Жмут друг другу руки и, довольные каждый по-своему, расстаются. Вот с чего пошла в свое время популярная соборная легенда о том, как «явилась» будущая васнецовская богоматерь.

К новому 1891 году был готов не только картон «Рождества», но начата и самая картина на стене. Я был в большом подъеме. Работал с увлечением, не покладая рук.

В январе, по заведенному давно порядку, в Киев приехала Передвижная, на этот раз с моим «Варфоломеем». Устраивалась она в университете. В первый момент, как увидел я здесь свою картину — она привела меня в отчаяние.

Не такой я ее себе представлял.

Картину поставили на место, поставили хорошо, и у меня от души отлегло. Стали приходить художники, слышались похвалы. Увидел ее и Васнецов, нашел лучшей вещью выставки. Ну, тут меня как живой водой спрыснули, и я снова стал верить в своего «Варфоломея».

Помню из тогдашних отзывов один о нашумевшей в Питере картине молодого, в первый раз выставявшего, Богданова-Бельского «Будущий инок». Спокойный деревенский мальчик, Богданов происходил из города Бельска Смоленской губернии, где тогда в селе Татеве прошумела школа Рачинского, в которой он впервые применял свой метод первоначального обучения.

Богданов-Бельский кончил школу, проявил большие способности к рисованию, поступил в Московское училище и в 1890 году выставил очень интересную картину «Будущий инок». Васнецов нашел, что в картине Богданова-Бельского, «не было творчества», что сам инок — счастливая случайность, странник же взят не то у Владимира Макс

ского, не то у Максимова. Все же Виктору Михайловичу казалось, что мне еще не раз придется столкнуться в жизни с Богдановым-Бельским. Это предположение, однако, не сбылось.

В ближайшие годы он пытался сделать нечто равное «Иноку», но скоро, убедившись в тщете своих попыток, перешел на сюжеты школьного жанра, они были сентиментальны, слащавы. Вместе с тем Богданов-Бельский начал пробовать писать портреты. Они формально были неплохи (мужские), но лавры Константина Маковского не давали ему покоя. Его портреты великосветских модниц были плохи, безвкусны... Богданов-Бельский скоро стал ясен для всех.

Тем временем вернулись из Рима братья Сведомские. Мои отношения к ним сразу определились — они стали, что называется, добрыми.

Сведомские были славные, простые люди. Старший из них — Александр, прозванный Праховым «Бароном», был худощав, высок ростом, с небольшой эспаньолкой. Он походил не то на средневекового барона, не то на римлянина времен упадка. Был он славный малый лет сорока восьми-сорока девяти, очень покладистый. Искусством занимался от нечего делать, работал мало. Изобретал с Кокой Праховым давно изобретенное, например спички. Был по-своему философ. Невозмутимость его была анекдотическая. В сущности он был взрослый ребенок, которого одинаково легко было подвигнуть на хорошее и дурное.

Младший — Павел — автор многих соборных евангельских композиций в духе немецких исторических живописцев того времени, был, напротив, маленький, толстенький, с брюшком, человечек в пенсне, весь такого «заграничного» вида, похожий на какаду, почему, быть может, и прозван Праховым «Попа» (его еще звали «Глухаш» по его некоторой глухоте).

И «Барон», и «Попа» были типичной заморской богемой. Они хотя и происходили из духовного звания и были тогда пермскими помещиками, но были беспечны, вечно пребывали без денег, жили без веры, без идеалов, готовы были идти туда, где им заплатят, приютят. Они ненавидели век Возрождения с его великими художниками, называя всех их презрительной кличкой «эти ваши Пьетроди Манаджио».

Сведомские десятки лет прожили в Риме, днем работая в своей огромной мастерской на виа Бабуина саженные картины из греческой мифологии, из французской революции, или, вспоминая о чем-то давно забытом, писали русского юродивого, скачущего на палочке верхом зимним

морозным вечером по занесенным снегом полям, — равно безучастно скользя и по мифам о героях, и по сугробам далекой, холодной родины... Они, усталые после дневной работы, любили пображничать до полуночи в кабачках Рима или Киева.

Они, как братья Гонкуры, были едины и неразлучны, и, хотя писали на разные темы, все же картины их нелегко было распознать.

О Сведомских почти никогда не говорили в единственном числе, а всегда, хотя бы речь и была об одном из них, говорили «Сведомские». И когда «Барон» под старость, спустя долго после собора, хорошо пожив, совершенно неожиданно для себя и для всех его знавших, женился на совершенно ему незнакомой молодой, путешествующей по Италии россиянке, на родину из Рима полетели открытки о том, что «Сведомские женились».

И правда, когда эти российские Гонкуры появились с молодой дамой, то трудно было бы сказать, который из братьев был ее супругом.

В первые месяцы соборных работ мое увлечение, больше того, преклонение перед талантом Васнецова дошло до зенита. Этому, быть может, способствовало и то общее увлечение дарованием Виктора Михайловича, которое тогда началось на долгие годы и столь же не было приятно художнику, сколь и повредило ему потом. Он перестал строго относиться к своему ремеслу, к технике дела. Усталый, не отдохнувший после огромной десятилетней киевской работы, не оздоровивший себя на природе, он был завален новыми работами, кои, по существу, были продолжением киевских. Они совсем расшатали могучий художественный талант, организм его.

И лишь спустя много лет, лет за шестнадцать до смерти Виктор Михайлович, освободившись от некоторых опасных навыков соборных, как бы вновь нашел себя в цикле сказок, где можно было встретить и бывшее сильное чувство красоты, и большую музыкальность, и живую народную поэзию. Однако техника его сказочных картин, по их большим размерам, была явно слаба, несостоятельна, и потому глубоко скрытое чувство автора не смогло пробиться с полной убедительностью наружу. Картины, за редким исключением, оставались большими эскизами. Самые же эскизы к ним были живописней, а главное, они были более обещающими, чем слабо нарисованные огромные картины.

Не нужно говорить, что все это нимало не умалило огромный талант Васнецова, им обнаруженный в первых

сказочных вещах, в его удивительном «Каменном веке» и в алтаре Владимирского собора, как и вообще в первые годы киевских работ его .

Так вот, в те месяцы своего пребывания в Киеве, когда Васнецова так легко сравнивали с величайшими художниками Возрождения — Рафаэлем, Микеланджело и другими, а он в шутку говаривал, что где уж ему, хоть бы Корреджо-то быть... вот тогда-то и я, по младости лет, готов был разделять с его неумеренными поклонниками те же чувства и понятия и считал себя лишь отдаленным его эхом, и чуть было не потерял и на самом деле свой особый облик, стал видеть его глазами, и хорошо еще, что только глазами, а не потерял своего чувства, своего духовного видения.

Скоро я догадался о такой опасности и, хотя медленно (в церковных работах), успел освободиться вовсе от влияния Васнецова. Но лишь в работах Марфо-Мариинской обители я впервые почувствовал, что опасность миновала. В картинах же своих, даже времен соборных, я сумел сохранить полностью свое лицо.

Вот в те дни увлечения, в самые опасные дни его, Виктор Михайлович стал заговаривать со мной о соборе в городе Глухове, на родине Терещенок. Терещенки в то время были на высшей точке своего материального могущества. Наглядевшись на созданное Васнецовым во Владимирском соборе, они задумали и в своем Глухове создать нечто подобное. Обратились к Виктору Михайловичу, но он отклонил их предложение. Тогда явилась мысль к этому делу привлечь молодого автора «Отрока Варфоломея».

Васнецов не раз пытался со мной заговаривать об этом, но я, не колеблясь, раз навсегда решил уйти от соблазнов и остаться хотя бы небольшим, но искренним художником, а не стать большим... ремесленником.

В те же времена я побывал в Кирилловском монастыре, где пришел в полный восторг от врубелевского иконостаса, написанного им в Венеции под непосредственным впечатлением от великих венецианцев и тамошних мозаик.

Однажды, помню, проездом через Киев, в собор попал художник Неврев. Осмотрев работы Васнецова, Неврев расплакался, стал целовать Виктора Михайловича и ушел совершенно растроганный виденным.

В те дни появилась и наделала немало шума программа Рябушкина «Голгофа». Ее приобрел Третьяков, что было первым случаем. До того ни одна академическая программа в галерею не попадала, оставаясь в музее Академии художеств.

Я не знаю, почему тогда не возникало разговоров ни у Васнецова, ни у Прахова о привлечении талантливого Рябушкина к соборным работам, что позднее сделал бездарный Парланд, раздавая направо-налево заказы в храмы Воскресения.

В конце января я показал Васнецову свое «Рождество». Он очень хвалил меня, особенно фигуру Богоматери и общий тон картины, настроение рождественской ночи.

Прахов в те дни был в Петербурге, хлопотал о новых ассигнованиях на собор. Необходимо было добиться средств на каменную лестницу на хоры, вместо деревянной, иначе, как тогда говорил Васнецов, «князь-то Владимир в лаптях будет ходить». Фотографии с васнецовских вещей и с моего картона «Рождество», посланные в Питер, должны были помочь Прахову в его хлопотах.

В каждый праздник Виктор Михайлович заходил за мной, и мы шли к обедне в Софийский собор, в древний восьмисотлетний собор, еще не утративший своего первоначального вида. Прекрасные мозаики времен Ярослава Мудрого напоминали мне Венецию, св. Марка, Рим, Санта Мария Маджоре, Латеран и базилики, виденные мною в Италии, где создание мозаик когда-то было великой потребностью, где они вызвали к жизни, к творчеству столько неведомых, но славных художников, зодчих.

В Софийском соборе в те годы были часты парадные архиерейские службы. Митрополитом киевским был умный, просвещенный Платон. Он жил тогда не в Лавре, как его преемники, а тут же против Софийского собора, в старинном, времен гетманов, так называемом митрополичьем доме и часто служил в старой Софии.

В те времена был в полной славе своей хор Калишевского, а в этом прекрасном хоре дивный мальчик, по словам Васнецова, похожий на моего Варфоломея, только с темными волосами, Гриша Черничук, с изумительным по красоте тембра голосом (дискантом), таким задушевым, глубоко трогательным и трагичным.

Потом я слышал много прекрасных голосов женских, мужских и детских, были среди них и феномены, как Мазини, Зембрих, и лишь два итальянских голоса остались в моей памяти, как равные Грише по красоте тембра и по особому, глубокому чувству. Первый — это был голос (разговорный) Элеоноры Дузэ, второй — сопрано кастрата, слышанный мной в соборе Петра в Риме в день Петра и Павла, когда там пела знаменитая Сикстинская капелла в полном составе.

Гриша продержался в хоре Калишевского года три-четыре. Потом голос спал. Гриша вырос и, говорят, спился. В те дни не только весь Киев знал и любил Гришу, но им заслушивался, проездом через Киев в давидовскую Каменку, Чайковский. И мы тогда часто видали Петра Ильича недалеко от себя в Софийском соборе упивавшимся дивным голосом Гриши.

А что бывало во время великопостных духовных концертов, даваемых в те годы талантливым, хотя и звероподобным Калишевским в Купеческом собрании, переполненном тогда свыше меры! Бывало, мы с Васнецовым задолго запасались билетами на такой концерт, заранее предвкушая удовольствие от него. Такие концерты Калишевского были нашими праздниками...

Еще помню. Умер всеми любимый мудрый старец митрополит киевский Платон. В сороковой день в Софийском соборе была заупокойная обедня, после нее торжественная панихида. Служил сонм архиереев. Пел в полном составе хор Калишевского. Народа было множество. Полный собор. Началась панихида.

Дивные звуки печальных песнопений полились под сводами древней Софии. Стихия скорби носилась в воздухе, и вот, в этой-то стихии печали отделился один голос, голос как бы обреченной, божественной красоты, неземного чувства. Он одиноко несся среди великого молчания земли. Невыразимое отчаяние слышалось в этом гармоническом стнании. Душа покидала брненное тело, земную юдоль свою. Она дальше и дальше уносилась от земной своей обители. Душа витала где-то в иных мирах... Звуки становились все тише, тише, тише... Они были едва слышны, они почти замолкли. Последние, едва уловимые и уже победные, радостные — исчезли у врат Рая... Безмолвие, тишина. Глубокое молчание пронеслось по древней Софии... Дивная музыкальная поэма. Бледный, задумчивый мальчик вдохнул в нее такую скорбную жизнь...

Потом, много спустя, говорили, что Гриша под талантливым руководством Калишевского проделал свое чудо так: участвуя вместе с хором вначале, он, отделившись в известный момент от него, тихо, едва ступая, брел теперь один по извилинам древних хор собора и все пел, пел тише, тише, пока не исчез вовсе в алтаре левого придела старой Софии.

Весной того же 1891 года впервые явилась у меня и у моих стариков мысль взять мою дочь из Питера в Уфу. Началась по этому поводу переписка, но так как прямого повода к сему не было, то дело пришлось отложить до более подходящего времени. Его недолго пришлось ждать...

Между тем подошла пора сдавать комитету и «Рождество», и «Воскресение» вместе. Работы мои понравились, были приняты с небольшими замечаниями.

Прахов еще раньше заговаривал со мной о двух иконостасах на хорах (там, где были написаны мной запрестольные образа «Рождества» и «Воскресения»). Теперь этот вопрос назрел и его пора было разрешить, и Прахов вновь заговорил о нем.

Предложение я принял на условиях, что к январю 1893 года я обещаю представить комитету все образа обоих верхних иконостасов в количестве восьми больших (по полтора аршина каждый) и двух Царских врат за плату в 3800 рублей.

Заклучив контракт, я уехал на пасху в Москву, в Абрамцево, где провел светлый праздник. В Москве встретился со своей дочкой. Она с воспитательницей ехала на весну и лето в Крым.

Тогда в Москве я несколько раз был у Третьякова. Он был со мной неизменно любезен, интересовался моими киевскими работами. Желая видеть эскизы, однако рекомендовал мне не очень увлекаться церковными своими успехами, скорей возвращаться к картинам, о чем я и сам стал изредка подумывать. Мне уже исполнилось в мае двадцать девять лет, а кроме «Пустынника» и «Варфоломея» еще ничего не было сделано. Задумаешься...

На весну и лето поселился в ближайшей к Абрамцеву Ахтырке, — бывшем имении Трубецких, теперь Матвеевых. Днем работал эскизы к иконостасам, а в пять-шесть часов уходил в лес или огромный парк и там начал писать этюды к «Юности преподобного Сергия».

В это время виделся, приезжая изредка в Москву, с Суриковым, который собирался ехать на дачу... в Красноярск. Так он иногда острил. Это было время, когда Василий Иванович собирался писать «Ермака».

В Абрамцеве в это время готовились к встрече Васнецовых, теперь переехавших из Киева на жительство в Москву и лето пожелавших провести в любезном Абрамцеве, в так называемом «Яшкином доме». Готовилась торжественная встреча, ряд празднеств в честь прославленного художника.

Я же имел намерение до августа поработать в Ахтырке, написать там этюды к «Сергию с медведем» и эскизы к киевским иконостасам, побывать в Ростове Великом, Переславле-Залесском, Угличе, Ярославле... Вернувшись оттуда, пожить немного в Москве, пописать в Зоологи-

ческом саду зверей и уехать в Уфу, где и начать писать «Сергия», который уже почти сложился у меня в голове. Сложился сильно измененный по сравнению с первоначальным замыслом.

После «Варфоломея» у меня зародилась мысль написать цикл картин из жития преподобного Сергия. «Сергий с медведем» был следующим по плану. Я тогда же сделал небольшой эскиз на эту тему, на нем Сергей был помещен с левой стороны у рамы. Фоном была ранняя, так сказать, апрельская весна, еще без зелени, когда почки набухают, природа бывает в каком-то напряженном ожидании.

Однажды заехал ко мне П. М. Третьяков, и на вопрос, что сейчас делаю, я ему ответил, что эскиз к «Юности преподобного Сергия». Павла Михайловича заинтересовал мой эскиз, и он с обычной тихой настойчивостью добился, что эскиз «Сергия с медведем» я ему показал.

Эскиз ему понравился, а я после того совершенно к нему охладел, и понадобилось не менее года, чтобы снова вернуться к нему, но вернуться совершенно уже по-иному: фигура Сергия была в центре картины, медведь лежал у его ног, а природа была майская, весна была в полном уборе.

Позднее в таком виде картина Павлу Михайловичу не понравилась. По первоначальному же эскизу я спустя тридцать лет написал небольшую картинку.

В тот год в Ахтырке жил глубоким стариком знаменитый ученый-профессор Федор Иванович Буслаев. И однажды Е. Г. Мамонтова передала мне, что Буслаев выразил желание со мной познакомиться. Но Федор Иванович скоро заболел, и знакомство наше не состоялось. Таким образом я лишился, быть может, многих ценных сведений, советов этого большого и такого русского ученого.

В конце июля я получил известие, очень меня встревожившее. В Петербурге заболел «манией богатства» и был помещен в психиатрическую лечебницу муж воспитательницы моей девочки присяжный поверенный Георгиевский. Жена его, получив о сем телеграмму на Кавказе, тоже заболела, и моя Ольга осталась на руках малоопытной няньки. К счастью, болезнь г-жи Георгиевской скоро прошла, и она могла не медля выехать в Москву и Петербург.

В Москве мы встретились, и, так как обстоятельства изменились, то вопрос о передаче в мои руки дочери устраивался как бы сам собою. Теперь Ольга была со мной, и я тотчас же увез ее в Ахтырку, телеграфировав в Уфу о случившемся.

Сестра немедленно выехала в Москву, и через какую-нибудь неделю вопрос был улажен: Ольга с сестрой уехала

в Уфу, где моя девочка нашла почти все, чего ей не доставало: любящих ее родных, большую к ней заботливость. По ее словам, самые счастливые года ее прошли в Уфе, за что я всегда был благодарен как старикам моим, так и сестре, положившей на дело воспитания моей девочки лучшие свои силы и всю большую любовь, которую ей не пришлось отдать своим детям. Она замуж не вышла.

В Уфе, в доме моих родителей, Ольга прожила с пяти до одиннадцати лет, когда поступила в Киевский институт, да и потом, до самого своего замужества, она всегда с особым удовольствием ехала в Уфу. Там же отдыхала после многочисленных операций, поездок по заграницам, по всевозможным немецким и итальянским курортам.

Бывала она в Уфе и после замужества. На ее руках и скончалась в Уфе в 1913 году моя сестра, счастливая тем, что своими глазами видела ненаглядную Олюшку, вышедшую замуж за хорошего человека, молодого ученого — Виктора Николаевича Шретера.

Итак, проводив своих в Уфу, я остался в Ахтырке снова один и еще с большим усердием принялся за дело. Днем рисовал соборные эскизы, к вечеру шел в лес и писал этюды к «Сергию».

Помню такой случай. Нашел я себе подходящего натурщика, деревенского парня лет восемнадцати-девятнадцати для фигуры Преподобного. Пошли с ним в лес, на фоне которого я и должен был его написать. Одед его там в соответствующий костюм, поставил, начал работать и, чтобы не кусали нас комары, лица свое и натурщика намазал регальным маслом. Не прошло, кажется, и полчаса, как вижу, мой крепкий, здоровый парень побледнел, как полотно, и стал, как подкошенный, падать на траву. Оказывается, что запаха регального масла некоторые вовсе не переносят.

В конце июля в Абрамцево собрался почти весь цвет тогдашних художников. Приехал повидаться с Васнецовым после нескольких лет Репин (по пути в Ясную Поляну). Был там Серов; Врубель почти жил в Абрамцево. Приехал и Костя Коровин, Аполлиналирий Васнецов. Ставились домашние спектакли, давались шумные обеды, устраивались пикники. Словом, ряд празднеств во славу именитых гостей — Васнецова и Репина.

Бывал там и я, хотя все эти пиры, обеды, пикники и недолюбливал. Бывал я больше тогда, когда Савва Иванович и его шумная ватага уезжала в Москву, Абрамцево тогда как бы отдыхало. Жило трудовой, тихой жизнью. В те дни влияние умной, сдержанной Елизаветы Григорьевны брало верх, Абрамцево из шумного, веселящегося станови-

лось серьезным, как бы спешащим наверстать прогульные дни, и работало не покладая рук.

В начале августа я перебрался в Москву (поездка на север была отложена на другое время). В Москве поселился у Никитских ворот, ближе к Зоологическому саду, куда стал ходить зарисовывать зверей. Написал медведей, лисиц, зайцев, пробовал зарисовать птиц. Пресерьезно готовился к своей новой картине.

В конце августа или в начале сентября все было готово. Материала набрал чуть ли не больше, чем думал. Одного не хватало: не попал я на лицо юного Сергия, надеясь увидеть его во время самой работы над картиной.

Заказал я большую раму и двинулся в путь, в свою Уфу, где теперь меня ждали с особым нетерпением. Приехал. Радостям, разговорам, новым впечатлениям не было конца. Мне в полное распоряжение был отдан пустовавший тогда флигель, и я устроил там прекрасную мастерскую. Эта мастерская могла бы удовлетворить и более избалованного художника, чем был тогда я. Три больших окна, где солнца почти не бывало, большой, аршин в десять, зал, спокойные, гладкие стены. Словом — все, что мне было нужно и еще полное одиночество. Еще только раз в своей жизни я имел лучшую, чем тогдашняя уфимская моя мастерская, — в Москве на Донской, во время росписи храма Марфо-Мариинской обители...

Работая много на церковных лесах, я привык ко всякого рода неудобствам и мало обращал внимания на них, тем более, что знал и помнил, что нередко плохо приспособленные выставочные помещения особенно губили те картины, которые были написаны в специально выстроенных мастерских с верхним светом, с большим окном на север и прочими удобствами.

Так было с Левитаном, имевшим в последние годы жизни идеальную мастерскую, выстроенную для себя богачом Морозовым. Дивно освещенные в мастерской картины Левитана совершенно терялись на выставке, в условиях случайного света, тогда как мои, написанные в условиях гораздо худших, чаще всего на выставках выигрывали.

В Уфе в тот раз для меня было счастливое исключение, однако не помогшее мне написать моего «Сергия с медведем» так, как я о том мечтал.

Итак, я начал свою картину, размером еще большую, чем «Варфоломей», аршина в четыре высотой, почти квадратную. Материала у меня было достаточно, особенно для пейзажа. Слабее были этюды для фигуры. Но чего я особенно боялся — это лица Сергия. Лицо это мне мерещилось еще смутно,

и я не имел для него такого надежного этюда, как для «Варфоломея». Одно для меня было ясно, что Сергей был русский.

Позднее, в «Трудах» я написал его с рыжеватой бородкой, и чутье тогда меня не обмануло. В 1920 году, когда мощи преподобного Сергия были вскрыты, я своими глазами убедился в том, что не ошибся. Оставшиеся на черепе волосы были русые с легкой проседью, с проседью же была и рыжеватая борода Сергия.

Уверенность и горячность меня не покидали. Я еще надеялся найти образ юноши Сергия, хотя он и ускользал от меня. Ведь для меня не существовало картины, если я не мог разрешить основную задачу ее. А тут этой основной задачей и было лицо Сергия.

Такое отношение, не скажу мое, но целого поколения, к задачам живописи как нельзя лучше показывает, как мы все были далеки от так называемого *декоративного* искусства, оставаясь, почти без исключения, *станковыми* живописцами. Таково уж было наше время. Правда, судьба меня поставила надолго перед необходимостью росписи церковных стен — я стал «храмовым живописцем», по существу не быв им, оставаясь всюду и везде станковым...

Только обед да вечерняя тьма заставляли меня покидать мою мастерскую. Холст на этот раз был отличный, все, казалось, ладилось. В доме у моих стариков был рай земной. Близость моей Ольги довершала общее благополучие, полноту счастья.

Особенно шло дело гладко и приятно, пока я писал пейзаж. Его видел я так ясно. Это должен был быть «святой пейзаж». Все то, что есть чудного, умиротворяющего в нашей северной природе, должно было быть в моем пейзаже, преобразить его в святой, полный тихой, нездешней радости, и мне чудилось, что на такой пейзаж — с такими цветами, лесом, с тихой речкой — я уже напал.

Труднее становилось тогда, когда я подошел к фигуре, и еще трудней — к голове, к лицу святого, такого значительного, яркого в нашей истории. Лицо его лишь мерещилось мне, как в смутном сне. Однако это неясное необходимо было сделать ясным, убедительным. Вот тут-то и начались часы сомнений, тревоги. Приближалось рождество. Картину надо было кончать, в январе быть в Москве, вовремя поспеть в Петербург на Передвижную.

«Юность преподобного Сергия» окончена. Мои в восторге, я же смутно чем-то недоволен. Больше всего недоволен лицом и, быть может, размером картины, слишком большим, несоответствующим необходимости. Однако я молчу, чтобы

не смущать до времени своих и не растравлять свое сомнение.

Зима в тот год в Уфе была чудесная. Морозы были большие, но не сорокаградусные, как бывали в те времена частенько в наших краях.

После работы я ездил один или вдвоем с Ольгой в Старую Уфу к родным покойной жены. Славные были эти поездки. К вечеру велишь, бывало, заложить пару с пристяжной в легкие санки, оденешься потеплей, закутаешь ноги полостью и прямо из ворот полетишь вниз по Казанской. Снежная пыль обдаёт лицо, шуба вся в снегу, а кучер-татарин рад угодить молодому хозяину — московскому гостю, покрикивает на вятков.

Вот и церковь Троицы, от нее такой дивный вид за Белую, на далекие предгорья Урала. Морозный вечер потухает. Над рекой и дальше, по луговой стороне на десяток верст, до самого горизонта стоит морозная мгла, окрашенная в тона угасающей зари. Тихо, грустно, веет чем-то далеким, уходящим...

Приехали, отворяют ворота, ласковая встреча. Самовар, разговоры, воспоминания о недалеком минувшем, о том, о сем. Пора собираться домой.

Теперь Белая слева, заря потухла. Мороз к ночи крепчает. Тихо поднимаемся в гору, потом кони снова понеслись. Ветер теперь в лицо. Нос, щеки порядочно пощипывает. Вот и дом. Там ждут с ужином, а потом и спать пора.

Чем ближе к рождеству, тем чаще разговоры об елке. Я затеваю живые картины. Хочу поставить домашними средствами нечто вроде мистерии, показать свое киевское «Рождество». Мысль моя принята. Принимаемся за дело. Я пишу декорации. Готова задняя кулиса. Рождественская ночь тихая, ясная. Горят звезды. Ангелы радуются, словословят, указуя путь пастырям к Вифлеемской пещере. В глубине пещеры старец, около доверчиво жмутся овцы. Это фон мистерии. Сестра тем временем шьет хитон богоматери, готовит остальное необходимое. Олюшка и про игры забыла. Все, даже старики и те живут теперь этой новой для них жизнью.

Вот и канун рождества. Все уехали ко всенощной в собор. В доме тишина. Везде у образов ярко горят лампадки, отбрасывая высокие тени от киотов по углам. Так торжественно, по-праздничному. Вернулись от всенощной, такие умиленные, радостные, у всех на душе хорошо.

Эх! Если бы теперь могла быть среди нас наша мама Порадовалась бы она на свою маленькую Олечку, на то, как ее здесь все любят...

В ожидании завтрашнего дня все разошлись поскорее и улеглись спать. Одна сестра будет сидеть, быть может, до рассвета, дошивать куклам платья, готовить подарки, украшать «кукольную» елку, да мало ли у нее еще дела.

Рано, чуть ли не с пяти часов не спится Олюшке. Она проснулась и в великом восторге видит маленькую елочку всю в огнях, всю увешанную кукольными подарками. Можно ли улежать теперь в постельке! Она вскакивает и еще в рубашонке устремляется в угол, а там, у изразцовой большой печки — чего-чего там нет! Тут и московские куклы, наряженные в шубы, шляпы с муфтами... Тут всяческая мебель, пианино и прочее.

Однако надо умываться, молиться богу — того и гляди начнут стучаться в дверь славильщики.

А вот и они, ввалились в горницу вместе с морозным паром и бойкими задорными голосами уже поют «Ангели с пастырьми славят, волсви же со звездю путешествуют...»

Не успели одни хлопнуть дверью, пересчитать медяки, как в комнате другие веселыми, складными голосами заливаются, славя родившегося младенца Христа...

Много перебивало в то утро славильщиков. Довольные, они убегают дальше, к соседям. Понабрали много медяков на подсолнухи, леденцы в это морозное утро.

Все собрались к чайному столу. Чего-чего сегодня на нем нет, каких удивительных вкусных штучек не напекла вчера счастливая без меры бабушка. Сама себя превзошла она на этот раз ради великого праздника, ради любимой внучки.

День прошел быстро. Приезжали визитеры, был традиционный стол во весь зал, с закусками и питьями. Отец вернулся скоро. Ему было уже за семьдесят лет, и он делал визиты лишь немногим избранным.

Едва успели отдохнуть, как надо было готовиться к елке. Купили ее заранее, отличную, под самый потолок. Настал час украшать ее. В этом приняли участие не только мы — более молодые, но около внучки теперь объединились и дедушка с бабушкой. Работа кипела. Мое участие выразилось, помнится, главным образом, в том, что я перебил немало хрупких елочных украшений, чем приводил в отчаяние Олюшку и сестру. Так или иначе, к положенному часу все было готово.

Начали собираться гости, дети с их мамашами и тетюшками. Приходили целыми семьями. Прежде других появились соседи — семья аптекаря Штехера. Появились Зосинька, Зиночка, Ниночка и прочие. Их начали раскупоривать, освобождать от платков, шуб, валенок... Пришли Бельшевы. То и дело звонил звонок — гости всё прибывали.

Когда вся эта милая, волнующаяся, шумная компания была налицо, зажгли елку, открыли двери в зал, и вся ватага, увидав великолепное зрелище, под звуки веселой музыки двинулась вперед. Насмотревшись, натамцевавшись, получив подарки, все поуспокоились, затихли...

А тем временем мы спешно готовили в соседней передней для всех неожиданное зрелище — нашу мистерию. В запертой на ключ передней оставались лишь мы с сестрой да действующие лица. Установив заднюю кулису с пещерой и яслями, на дне которых в соломе был поставлен фонарь, дававший иллюзию сияния от младенца Иисуса, усадив богоматерь — Олюшкину молоденькую няню, осмотрев все опытным глазом, дали звонок, другой, третий...

Двери в зал распахнулись, и очарованным зрителям представилось волшебное видение. И правда, что-то трогательное и поэтическое вышло из моей затеи. Все было очень довольны. Пришлось картину возобновлять несколько раз, затворяя и открывая двери из передней в зал, где восторженные зрители уже не скрывали своих чувств.

Вот как прошел первый день рождества 1892 года в Уфе, в купеческой семье Нестеровых. Маленькая внучка вдохнула новую жизнь в старый быт этой семьи.

Прошли праздники. Надо было собираться в Москву.

Картина кончена, уложена, и я, провожаемый самыми лучшими пожеланиями близких, простившись с моей Ольгой, выехал из Уфы.

В Москве устроился в большом номере Мамонтовской гостиницы. Развернул «Сергия», посмотрел его в раме, и снова сомнение стало закрадываться.

Первым картину увидел Виктор Михайлович Васнецов. Картина ему, видимо, понравилась, однако были и замечания. Что-то, помню, о глазах Сергия и об общем тоне пейзажа, недостаточно согласованном...

После Виктора Михайловича был Аполлинарий. Тот с большой откровенностью высказывался в том смысле, что, хотя пейзаж на новой картине менее удачен, чем на «Варфоломее», фигуру святого он ставит выше, чем в первой картине. Как Виктор, так и Аполлинарий находили, что пейзаж не доведен. Видя, что я упал духом, Аполлинарий сконфузился, начал путаться. В конце концов было решено, что я попытаюсь исправить недочеты, а если это мне не удастся, то картину я скатываю и на выставку не отправляю, сам еду в Киев, а будущим летом ее перепишу на новый холст.

На несколько дней я заперся в мастерской и работал с огромным увлечением. Казалось, что замечания Васнецовых были учтены. Глаза святого переписаны. Пейзаж приведен в общий тон. Мотив стал тоньше. Картина, что называется, «запела»... Я стал успокаиваться.

Был Архипов, щедрый на похвалы, которым мало кто придавал значение. Я ждал Левитана, более искреннего и прямодушного. Пришел и он. Картина привела его в восторг. Он переоценил ее стоимость, наговорил мне кучу приятных вещей, тем более опасных, что говорил от души, любя меня. Он советовал послать «Сергия» в Париж, в Салон. К вечеру развонил о картине по всей художественной Москве.

На другой день были Остроухов, Морозов и еще не помню кто. Меня не было дома, я решил отдохнуть, погулять.

В следующие дни тоже был народ, картину хвалили, и я воспрянул духом. Был Кигн (писатель Дедлов), талантливый, умный, молчаливый человек, гораздо позднее худо кончивший: его убили где-то во время случайного спора. Кигну картина сильно понравилась. Он, помню, нашел в ней «тихую нежность».

Я ждал Павла Михайловича. Он все не ехал.

Вторично был Остроухов, но ему картина не понравилась. Замечания его были дельны, и потому опять начались мои сомнения.

Наконец приехал и Третьяков. Долго сидел, говорил мало и уехал ни с чем. И у меня тогда почему-то составилось убеждение, что Павел Михайлович был предварен уже Остроуховым и приехал к картине предубежденный.

С тех пор в лице Остроухова я стал иметь тайного и явного недоброжелателя. Это его отношение ко мне осталось на всю мою художественную жизнь. Много тяжелых минут я пережил благодаря «Семенычу», как его тогда звали среди художников. И то сказать, в продолжение сорока лет я со своей стороны ничего не сделал, чтобы заслужить расположение этого богатого самодура, любившего, чтобы перед ним, перед его «боткинскими» миллионами художники и нехудожники преклонялись²⁸. Этого он не дождался от меня, хотя и обошлось мне это дорого.

То, что Павел Михайлович не заинтересовался картиной, заставило меня сильно призадуматься. Я повез ее в Петербург без уверенности в успехе, и, действительно, осмотрев новый состав выставки, а также помещение для нее, я недолго колебался и, не взяв ящика с картиной с вокзала, отправил его обратно в Москву. Сам я остался до открытия выставки, после чего проехал в Киев, где пора было начинать писать образа для иконостасов.

Там, в соборе, работы кипели. Был поставлен главный иконостас по рисункам Прахова. Иконостас был мраморный с мозаическим фризом. Васнецов кончал потолок на тему: «Единородный Сыне и Слове Божий».

Наступила весна. Мы с Васнецовым любили ходить на Владимирскую горку, и там, сидя на скамеечке у памятника, мечтали о многом... Уносились мысленно в Москву, где у него оставалась семья. Перед нами расстилалось Заднепровье, заливные луга, там, за далекими холмами нам чудилась родимая Москва. Как тогда мы любили ее!

Как-то придя в собор, я нашел письмо из Петербурга от полковника Дмитрия Яковлевича Дашкова. Он от лица офицеров Кавалергардского полка предлагал мне написать два образа для мозаики, кои кавалергарды приносят в дар церкви Воскресения на крови. Я должен был сделать предварительно эскизы на темы «Святой благоверный князь Александр Невский» и «Воскресение Христово».

Заказ я принял, взялся за эскизы. Так прошло лето. Образа иконостаса писались, перемежаясь эскизами для кавалергардов.

Прошла и осень, и я вновь в Уфе. Пишу на новом холсте «Сергия с медведем», несколько меньшего размера. Пишу осторожней, спокойней, вдумчивей. Теперь у меня в руках хороший этюд для головы Сергия. Мне легче дается общий тон картины. Работа идет без толчков и разочарований. Обстановка работы все такая же. Хорошая мастерская в нашем доме, я окружен заботливостью, около меня моя Олюшка — все прекрасно.

Вот и рождество. Опять затеяли елку, живые картины. Теперь я ставлю свое «Благовещение». Опять гости, опять хлопоты, возня с декорациями. Успех еще больший, чем прошлогодний. Наступает новый 1893 год. На Святках ряженные. Стоят крещенские морозы.

Время летит. Картина готова. Пора собираться в Москву. Выставка в этом году в начале февраля.

Вот снова меня собрали в путь. Проводы дома, на вокзале. Поехал, замелькали среди сугробов Юматовы, Белебей-Аксаковы, Абдуллины, Самара и прочие... Зима студеная, снега — горы. Где-то долго стояли, за ночь занесло путь, нас откапывают. Много согнали народа, татар и русских. Перебрались через Волгу у Батраков. Вот и конец родному краю... Все, что по ту сторону Волги — наше родное Заволжье. То, что по сю сторону — наше, да не такое, московское... А вот и сама Москва. Чем-то она порадует в этом году?

Останавливаюсь у Ильинских ворот, в старых Еремеевских номерах. Большой номер выходит на площадь. Рама готова, картина вставлена, страда началась...

Что ни день, то посетители. По вечерам я то там, то тут. Отношение ко мне москвичей прекрасное. Третьяков, слышно, нездоров, ни у кого еще не был. Интересные вещи: у Сурикова — «Исцеление слепого», у Сергея Коровина — «Сходка», Левитан написал «Владимирку», Серов — отличный портрет г-жи Мориц.

Моя картина в раме переменялась к лучшему, выиграла. Показалась мне стройной, тонкой, голова Сергия имеет выражение, но стали ясны и недочеты, однако легко поправимые.

В. Васнецов картину не видал: он уехал в Киев. Был Поленов, нашел ее интересней прошлогодней. Пришли Суриков, С. Коровин. Оба наговорили много приятного, нашли, что картина очень «русская», хорошо рисованная. Обоим нравится лицо, выражение.

Суриков советует назвать картину не «Юность преподобного Сергия», а словами молитвы «Слава в вышних богу и на земли мир...» Картина с таким названием, якобы, дает простор мысли, чувству, освобождая ее от придирок, от возможных исторических неточностей. Мысль эта мне нравится. В Питере посмотрим...

День ото дня у меня бывает все больше народа: перебивали все. Был Серов, Левитан, А. Васнецов, Светославский. Не был только Остроухов. Нигде не показывается и П. М. Третьяков.

Был на вечере в память Федотова в Обществе любителей художеств. Там Лев Михайлович Жемчужников читал свои воспоминания о Федотове, читал и сам плакал. Жемчужников — и слезы! Как это плохо вяжется. Особенно мы, бывшие ученики Училища живописи, не привыкли к слезам Льва Михайловича. Помним, как, бывало, хаживали к нему на квартиру за наградными «пятерками», что присуждали нам за эскизы. Лев Михайлович дальше передней никого из нас не пускал, и отношение к нам было не лучше, чем к крепостным мальчишкам, а тут вдруг слезы...

Была как-то Елизавета Григорьевна Мамонтова. Она — судья строгий — нашла, что «Юность преподобного Сергия» лучшая картина из всех, мною написанных. По ее словам, в этом сходятся все, ее видевшие. Слава богу. Люди спокойные, как Елизавета Григорьевна, находят степень ее превосходства над «Варфоломеем» в два раза, и чем люди экспансивнее, одарены бóльшей фантазией, тем степень эта возрастает.

Касаткин же и тогда уже был «Касаткиным», заявил, что хотя вещь ему и нравится, но он, как член Товарищества, принимая во внимание необычайность ее, еще не знает, как поступить при баллотировке. Положив мне «белого», он тем самым как бы признает за мной право писать в таком направлении, а «нравственно» ли это направление, он еще не решил и т. д., и т. д...

В Москве прошел слух, что Ге тоже что-то везет на выставку, что она предполагается быть боевой. В конце января надо было ехать в Питер. И я выехал туда, полный надежд и опасений.

В время Петербург был переполнен, и я, после долгих скитаний с ящиком, пристроился, наконец, где-то у Чернышева моста. Перседелся и пустился на выставку в Академию наук.

Нанимая извозчика, чтобы ехать с картиной туда, случайно заметил, что номер на санках был 313. Плохо дело! И, хотя санки тотчас переменял, но в сознание закралась тревога, что-то будет? Какова-то судьба картины?

Оставив ящик в Академии наук, бегом осмотрев то, что было уже прислано, я поехал навестить приятелей в Академии художеств. Беклемишев только что кончил тогда свою «Варвару». День пролетел быстро. Вечер провел у Ярошенок.

Прошло дня два во всяческой предвыставочной суете. Наконец, поставили и моего «Сергия». Картина на месте, в раме, выиграла. Перед ней толпа. Смотрят, судят. Многие смущены, некоторые восторженно хвалят, вопрошают. Ендогуров с сожалением заявляет, — почему он не Третьяков, что после моей картины «все остальные не имеют цены». Тут же вслух говорят, что если картина будет принята, то мне «достанется», что она неизмеримо выше «Варфоломея».

Я вижу, что мне ко всему надо быть готовым. «Генералы» наши еще ее не видали. Кроме моей, будет еще большая картина у Рябушкина, ее ждут. Я побаиваюсь талантливого приятеля. Нет еще картины Ге, — он тоже может быть неожиданным и опасным.

На другой день атмосфера около картины сильно изменилась. «Генералы» были, видели, осудили. «Робкие души» из молодежи поддакивали. Шишкин, хорошо ко мне настроенный, долго смотрел на «Сергия», развел руками, заявил: «Ничего не понимаю...»

Сопоставляли картину мою и Сергея Коровина. На моем «Сергии» — мир, на Коровинской «Сходке» — мир...²⁹ Кто победит?

Чем ближе дело подходило к жюри, к товарищескому суду, тем становилось ясней, что без боя моя картина не пройдет. Признавая ее интересной, одни, как Мясоедов, говорили, что она им не нравится, другие — что не понимают ее.

Приехал Ге, без картины. Говорят, что он нашел мою картину спорной, что якобы я «забил всем гвоздь». Посмотрим, что принесет завтрашний судный день?

Вечером у Ярошенок завязался спор. На меня напали сам Ярошенко, также Мясоедов, Собко, Максимов. Я мужественно защищался и защищал своих молодых собратьев.

Наконец состоялся суд передвижнического синедрона: из ста сорока девяти картин принято сорок. «Сергий» прошел лишь одним голосом. Рябушкин не принят вовсе.

Накануне и в день жюри были жаркие схватки молодежи из-за моей картины с Ге, Мясоедовым и другими старцами. На заседании же жюри Ге яростно нападал на присутствующего частным образом там графа И. И. Толстого, доказывая весь вред, который может быть, если моя картина будет принята. Однако Толстой, поддержанный горячим заступничеством за меня Куинджи, одержал верх, и картина была принята.

Очень немногими голосами прошли Серов, С. Коровин и другие молодые москвичи.

Узнав о такой обстановке приема на выставку моего «Сергия», я публично высказал Товариществу свою обиду. Меня старались уверить, что «Сергия» судили особым судом, что кому-де много дано, с того и взыщется много. Что никто не сомневался в моем большом даровании, что в этом году только и было толков и работы баллотирующим, что обо мне и со мной. Некоторые уверяли, что перед заседанием не спали две ночи, обсуждая положение и не желая быть несправедливыми ко мне. Говорили, что когда-то и с Куинджи было то же самое и прочее, и прочее, и прочее...

Потом я узнал, что на жюри, кроме Куинджи, защищавшего «Сергия» с пеной у рта, также и Суриков сцепился с Ге, и тот старался уверить Сурикова, что против личности моей он ничего не имеет, что тут вопрос принципиальный, позабыв совсем, что целуя меня за «Варфоломея» со щеки на щеку, он не считал его вредным и принципиально не допустимым на выставку.

Репин находил «Сергия» картиной *творческой*, но не одобрял его за «символичность», причисляя его к тогда новому, так называемому «декадентскому», упадочному течению. Он горячо протестовал против того, за что ратовал Суриков, чтобы назвать картину словами молитвы Исаака

Сирина «Слава в вышних богу и на земли мир...», говоря, что все, что есть в молитве, уже есть в самой картине...

Третьяков еще не приехал, и я, усталый от перенесенных волнений, пал духом. К счастью, такой упадок духа не был у меня продолжительным.

Наконец, появился и Павел Михайлович Третьяков с неотступно за ним теперь следовавшим Остроуховым.

Картина поставлена на выставке очень хорошо, почти отдельно, над входной лестницей. Отход был большой, аршин на восемь-девять. Публика на нее смотрела с верхней площадки лестницы. Около нее поместился портрет работы Ге и пейзаж Аполлинария Васнецова.

В ближайшую субботу был Александр III. Он внимательно смотрел картину, того ли это Нестерова, которого было «Видение отрока Варфоломея», и где та картина. Царская фамилия купила мало и очень слабые вещи. Сам государь не взял ничего, был сдержанней, менее любезен, чем обычно. Приписывали это тому, что передвижники упорно не хотели идти в Академию.

Третьяков, оставаясь со мной отменно любезным, картину не взял. Утешаюсь, что огромное большинство молодежи на моей стороне.

После открытия, в следующее после посещения царем выставки воскресенье, был обычный обед у Донона.

Прощаясь со своим «Сергием», я простился и с Петербургом. На этот раз я ехал в Киев через Москву. Ехал в компании молодежи. В нашей компании, в третьем классе, пожелал ехать и Поленов, взявший билет первого класса. Ехали шумно, весело, было много споров, разговоров. Картины газеты замалчивали...

В Москве я пробыл недолго. Провел время оживленно. Поленов подарил мне прекрасный палестинский этюд. П. М. Третьяков позже не раз выражал желание купить этот этюд у меня. Тогда же Левитан подарил мне свой этюд Волги. Светославский и Аполлинарий тоже дали мне по хорошему этюду. Моя коллекция росла быстро³⁰.

Надо было поспешать в Киев. Там давно меня ждали образа верхних иконостасов. Их надо было кончать. В Киеве ждал меня Васнецов. Расспросам о Петербурге и выставке не было конца.

В Киеве уже было известно, какой шум вызвала моя картина и что она понравилась царю.

Прахов снова уехал в Питер. Там очень, якобы, торопили с окончанием собора, пугая, что дальше 94-го года никаких отсрочек не дадут.

Мы ходили слушать в Софийский собор Гришу. Он пел «покаянный стих», и как он его пел!

Вечером зашел к нам Павел Осипович Ковалевский. Баталист Ковалевский, переживший свою славу, жил сейчас в Киеве.

Ковалевский кончил Академию с Семирадским. Вместе с ним был послан в Рим. Там, в Риме, эти два столь противоположных художника прожили вместе четыре года пенсионерства.

Из русских художников, быть может, никто лучше Ковалевского не знал Семирадского, талантливого поляка, нашумевшего на всю Европу своей картиной «Светочи христианства». Никто не знал, как работал автор «Светочей» в Риме, с каким усердием он собирал всюду и везде материал к своей картине. На вечерних прогулках по Пинчо с Ковалевским Семирадский неожиданно останавливался, раскрывал небольшую походную шкатулку, бросал на какой-нибудь осколок старого мрамора цветной лоскуток шелка или ставил металлическую безделушку и заносил в свой этюдник, наблюдая, как вечерний свет падает на предметы. Он был тонким наблюдателем красочных эффектов и великим тружеником. Этот образованный, гордый, замкнутый человек, с огромным характером и умный, не полагался только на свой талант, работал в Риме, не покладая рук...

Ковалевский блестяще кончил Академию, написав программу по батальному классу профессора Виллевальде. Из Рима он прислал на звание академика или профессора картину «Помпейские раскопки». В этой «батальной» картине не было ничего батального, как не было ничего воинственного и в самом милейшем Павле Осиповиче.

Дело было сделано, и Павел Осипович, пожив в Италии, проехал в Париж, где своими этюдами и рисунками лошадей привел в восторг самого Мейсонье. И тот говорил, что после него, Мейсонье, никто не знает так лошади, как наш Ковалевский. Действительно, знание лошади и любовь к ней у Ковалевского были исключительные.

Вернувшись в Россию и неудачно женившись, Павел Осипович начал работать. Однако скоро началась русско-турецкая война, и он должен был, в качестве официального баталиста, ехать в Болгарию, прикомандированный к штабу великого князя Владимира Александровича, тогдашнего президента Академии художеств. Он почти все время оставался при штабе, или, как острили его друзья, в обозе, где-то там, куда ни одна пуля ни разу не залетела. Он, совершенно мирный человек в душе, ненавидел и войну, и походы, и все, что с этим сопряжено: ненавидел все то,

что так страстно любил — и уже истинный — баталист Василий Васильевич Верещагин, позднее положивший жизнь свою на «Петропавловске».

Павел же Осипович, не рискуя ничем, наблюдал из своего обоза, как наши донцы таскали кур по болгарским деревням, охотясь за ними, как за страшными баши-бузками. Павел Осипович наблюдал и писал такие «баталии» охотно, соединяя приятное с полезным. Однако такое отношение к подвигам российской победоносной армии не могло нравиться его августейшему начальнику, и Павлу Осиповичу дали это понять. Он попытался одним глазом взглянуть, что там в авангарде делается. Зрелище это ему не понравилось, и он снова перенес свои наблюдения в любезный ему арьергард, тонко наблюдая его жизнь. Нерасположение к нему росло, и, вместо того, чтобы сделать блестящую карьеру художника-баталиста, он навсегда попал в разряд бракованных; милости высокого начальства его миновали навсегда.

Ряд картин, якобы батальных, написанных им после войны, не был ничем примечателен. И Павел Осипович, как умный и чуткий человек, это понял и перешел к «жанру», вводя в него столь любимых им лошадей: его «На ярмарку» и «Объезд епархии» — првосходные вещи, украшающие Третьяковскую галерею.

И все же, надо сказать, что автор «Помпейских раскопок» не оправдал надежд, кои на него возлагали Академия и общество. Я его застал в Киеве усталым, разочарованным в своем таланте и жизни, сложившейся для него крайне неудачно. Он был уже немолод, лет пятидесяти, с проседью, носил кавалерийские усы, как полагалось в старые времена баталисту, как носил их его учитель Виллевальде, а до него Зауервейд.

Добрый был человек Павел Осипович! Хороший он был человек; умница, наблюдательный, но такой незадачливый...

Работал он тогда мало, больше мечтая о том, что он хотел бы написать. Самой заветной его мечтой было написать цикл картин или хотя бы нарисовать ряд иллюстраций к «Войне и миру», которую он безмерно любил. Обладая огромной памятью, некоторые места из романа он знал наизусть. Любил разговор сдобривать целыми цитатами Пьера Безухова и других персонажей романа. Отлично знал Кутузова. Все это для него были живые, еще действующие люди, которые то и дело появлялись, отвечали на вопросы, участвовали в общем разговоре и т. д.

Милый был человек Павел Осипович, но подчас надоедливый... Бывало, умаешься, устанешь за день на лесах.

Вечер придет, думаешь, пораньше, часов в десять, лечь спать. Не тут-то было: часу в десятом стук-стук в дверь. «Войдите», — и Павел Осипович, весь мокрый, в сырых, грязных сапогах (он не любил калош). Так, бывало, сердце и упадет. Знаешь, что засидится до часу, до двух, разговаривая на любимые темы, вспоминая Рим. Глаза слипаются, клюешь носом, уж и не отвечаешь на вопросы, а он все говорит, все поглаживает свои кавалерийские усы. Вот пробило и двенадцать часов, а Павел Осипович и не думает уходить.

В таких случаях, когда Павел Осипович приходил к Васнецову и так засиживался, тот, на правах старого друга, бывало, скажет, досидев до одиннадцати, много до двенадцати часов: «Ну, старик, иди-ка с богом! Вот я тебе поднесу «посошок» на дорогу, да и иди. Завтра вставать надо рано». После чего Павел Осипович неохотно вставал, выпивал «посошок» винца и, поговорив в прихожей еще минут десять-пятнадцать, уходил... к кому-нибудь из нас, более молодых.

И бывало так: уже ляжешь и сапоги выставишь за дверь, и первый сон тебя охватит, как вдруг слышишь: стучат. Долго не откликаешься, в надежде, что гость постучит, постучит да и уйдет. Да нет, не таков был наш добрейший Павел Осипович. Он добьется, что отворишь ему,пустишь осенью, промокшего, наскоро оденешься — и прощай, сон! Частенько и так бывало, что за долгую ночь он обойдет многих, многие в эту ночь помянут его лихом.

Кто-кто не знал горемыку в Киеве... Знали его и любили по-своему и девицы на Крещатике, такие же, подчас, горемыки, как и он. Они сердцем чуяли в нем собрата по несчастью. И не раз поздней осенью видели его где-нибудь на углу Крещатика и Фундуклеевской, горячо разговаривающего с окружившими его девицами... Его истинно доброе сердце откликалось всюду и везде и, как Эолова арфа, отражало в себе тысячи звуков земли...

А кто, бывало, лучше Павла Осиповича замечал ошибки, недочеты в рисунке, в композиции, кто так мягко, не задевая авторского самолюбия, укажет, с величайшей осторожностью выведет из тупика, — кто, как не он, не наш милый Павел Осипович!

О! Далеко не всегда приход его был нежелателен... Целыми вечерами, бывало, ждешь его, не начинаешь писать образ, без того, чтобы не посмотрел его в угле Павел Осипович. Деликатно он направит уставшую руку на верный путь, с величайшей осторожностью минуя то, что трогать

было нельзя или опасно. Он был искуснейший хирург, костоправ. После него всегда можно было с уверенностью начинать писать.

Я лично только ему обязан тем, что в образах моих не было тех элементарных ошибок, которые были так возможны при спешных массовых работах. Я знаю, как часто и Васнецов прибегал к Ковалевскому за советами. Особенно много он помог Виктору Михайловичу в «Богатырях». Там, где кони имели такое ответственное место, Павел Осипович был никем не заменим.

Конец своей карьеры и своей жизни П. О. Ковалевский отдал любимой Академии. По предложению В. М. Васнецова он был приглашен профессором того батального класса, в котором когда-то так блестяще, с такими надеждами окончил императорскую Академию художеств. Ковалевский был любимым профессором батального класса и умер, оставив по себе прекрасную память как учитель и как добрый, прекрасный человек.

С каждым днем я более и более чувствовал, что, втягиваясь в соборную работу и обстановку, дальше и дальше отхожу от недавно пережитых петербургских впечатлений. Все волнения, радостные и тревожные остаются где-то позади...

И теперь лишь изредка те или иные вести возвращали меня к передвижной, к моему «Сергию»... То пришлют какую-нибудь газетную, журнальную статью, то какое-нибудь постановление Товарищества, и это выводило меня ненадолго из делового равновесия.

Так, помню, раз в большой статье «Московских ведомостей», написанной главным цензором Михаилом Петровичем Соловьевым, человеком образованным и настроенным ко мне по «Варфоломею» благожелательно, говорилось, что во второй «сергиевой» картине Нестерова, написанной на тему «Прекрасная мать пустыня», есть археологические неточности в костюме, часовне и в образе самого преподобного Сергия, что составляет-де крупный недостаток картины. Соловьев не принял во внимание, что задача картины и не была историко-археологической.

Итак, время шло. Я нередко бывал в концертах с интересной программой Баха, Бетховена. В ту пору концертами дирижировал талантливый Виноградский — директор киевской консерватории, совмещавший одно свое директорство с другим — банковским, где он будто бы был столь же даровитым дирижером, как и в симфонических концертах.

Иконостасы мои писались, они вчерне были уже готовы. Однажды я показал Васнецову «Бориса и Глеба» и совершенно неожиданно получил похвалы, выходящие из обычных васнецовских похвал того времени. Васнецов нашел, что оба образа производят исключительное впечатление, что разве только «Пустынник» стоит выше их, что это мои лучшие вещи в соборе, и просил меня запомнить, что, якобы, эти два образа будут шедеврами соборными, что в них много трагического, при общей элегичности, что здесь больше, чем когда-либо, приходится пожалеть о недостатках у меня строгой формы, что мне необходимо учиться отдельно рисовать, а что того, что есть у меня, ни ученьем, ни деньгами не купишь и т. д., и т. д.

И я такую редкую похвалу Виктора Михайловича, помнится, «положил в особый ящик» от обычных его похвал.

Как-то весной все мы, работающие в соборе, от художников до мраморщиков, получили от генерал-губернатора графа Игнатьева официальное уведомление, что все работы должны быть кончены к святой неделе 1894 года, что никаких отсрочек больше не будет.

Многие сильно приуныли, особенно набравшие много дела Котарбинский и мраморщик-итальянец Сальвиати. Да, с нами перестали шутить. Это чувствуется во всем. Такова воля царя!..

К тому времени надо отнести начало всяческих неудач Прахова по собору. Интриги в комиссии, с одной стороны, и напористость его — с другой, создали ему много врагов как в Киеве, так и в Петербурге. Высокий мраморный киворий, или надпрестольную сень, исполненную по рисунку Прахова, дорого стоившую и уже поставленную в алтаре, под предлогом, что она заслоняет собой Евхаристию и нижнюю часть васнецовской «Богоматери», в Петербурге решили из алтаря убрать и перенести в крестильню, где это огромное и красивое сооружение совершенно пропало.

Такой успех киевских врагов сильно ударил по самолюбию нашего Адриана Викторовича. Он вернулся из Питера лишь к пасхе. Со мной по-прежнему был мил. Между прочим передал, что Мясоедов и компания распускают слух, что будто бы царь, увидев моего «Сергия», спросил: «Кто это? Франциск Ассизский?» Ему ответили: «Нет! Преподобный Сергий!» Но меня теперь этим было не так-то легко смутить.

Тогда же нам — соборянам — стало известно, что Прахов сумел внушить мысль генералу Гурко, варшавскому генерал-губернатору, а тот подал мысль государю, — создать в Варшаве грандиозный православный собор. Эта мысль

была принята, и на постройку собора правительством ассигнован миллион рублей, и была открыта подписка по империи.

По мысли Прахова, собор должен был быть построен в древнемосковском стиле (это в Варшаве-то!) и расписан русскими художниками. И Адриану Викторовичу, в числе пяти лучших архитекторов, было предложено составить проект собора. Гурко желал видеть собор сооруженным при своей жизни. Прахов нам проговорился, что в качестве русских художников для будущего варшавского собора он имеет в виду Васнецова и меня.

Планы его сбылись частично, собор действительно был построен в старомосковском стиле, но не по праховскому проекту (неплохому), а по проекту Бенуа. Собор расписывали русские художники, среди них Васнецов был на первом месте.

Было и мне предложено принять в нем участие, но я, занятый росписью дворцовой церкви, построенной цесаревичем Георгием Александровичем в Абастумане, имел полное основание уклониться от варшавского заказа, о чем никогда не сожалел. А когда после войны поляки решили срыть собор до основания, стало очевидно, что инстинкт меня тогда не обманул.

В апреле была снята верхняя часть лесов, и мы увидели собор в его еще неполном великолепии.

Из Москвы вернулись Васнецовы. Соборяне встретили их на вокзале. Васнецовы привезли новые вести о моем «Сергии». В Москве он имел тот же успех, как и в Питере. О нем много говорили, горячо хвалили, не менее яростно бранили. Были охотники приобрести «Сергия», но за бесценно. Морозов — один из таких желающих.

Не раз Васнецов, Прахов, Баумгартен (председатель нашей комиссии — киевский вице-губернатор) намекали мне на то, чтобы я взялся исполнить внизу иконостасы жертвенника и диаконника. Я не решался связывать себя новыми обязательствами и все же, в конце концов, согласился. Тогда обратились ко мне официально.

По условию, за восемь больших образов (размер образов главного иконостаса) мне предлагалось 4000 рублей, причем рекомендовалась новая заграничная поездка в Турцию, Грецию и Италию для ознакомления с древними византийскими мозаиками и живописью катакомб. Это было интересно, тем более, что в первую свою поездку за границу мозаики я почти просмотрел, прошел мимо. Не до того мне было тогда.

Понемногу я начал готовиться к поездке. Прахов составил план поездки — на Константинополь, Афины, через Патрос в Бриндизи, далее в Палермо, Монреаль, Неаполь, Рим, Равенну, Пизу, Перуджию, Флоренцию, Венецию, Вену и домой, в Киев... Мне тридцать один год, я полон планов, энергия моя не знает границ... Теперь до отъезда моего за границу было необходимо закончить верхние иконостасы и сдать их комиссии.

Называя в начале своего повествования о Владимирском соборе семью Прахова эксцентрической, я не показал до сих пор почти никаких признаков этой семейной особенности. Между тем, такая слава за Праховыми была всеобщая и не облыжная. Попробую показать те признаки или лучше факты, которые оправдали бы такую славу.

Всякий или почти всякий, вступивший за черту праховской оседлости, должен был крепко помнить, что его здесь, за этой чертой, не спасет от неожиданных проявлений этой эксцентричности «ни чин, ни звание, ни сан»... Всякий, от простого смертного до особ высокопоставленных, не мог быть уверенным, что однажды, в тот момент, когда такая особа или не особа менее всего ожидает, например, во время вечернего чая, при более или менее многочисленном обществе, не скажет ему мадам «дурака», или важный гость из Петербурга, профессор со всероссийским именем не заслужит «болвана», или кто-нибудь из местных обывателей, тоже за чаем, не почувствует, что ему за воротник рубашки не налили молодые Праховы холодной воды.

И нужно было видеть физиономии этих «вновь посвящаемых», их полную растерянность, хотя в редких случаях гость не бывал предупреждаем о таких «возможностях», готовился к ним, и часто, убаюканный за вечер, получал то, что ему сулили, когда, казалось, опасность уже миновала. Простившись, провожаемый радушной семьей, шел в переднюю, мысленно упрекая тех, кто его запугивал, считая, что он, благодаря каким-то своим качествам или заслугам, был счастливым исключением, — в этот-то момент и оказывалось, что пропала его шляпа. Ее искали все, и гость, и вся эта милая, такая радушная семья. Гость терял терпение, догадываясь, что поспешил со своей самоуверенностью. В этот момент находилась его злополучная шляпа. Она висела, прикрепленная бечевкой к потолку передней.

«Сюрприз» готовился в то время, когда гость ораторствовал за чайным столом, когда ему казалось, что он — центр внимания. Готовился сюрприз резвыми детьми Праховых — Кокой и толстой Олей, иногда при участии «Барона» — Сведомского.

Такие проделки варьировались без конца, в худшую или в лучшую сторону. Иногда вместо пропавшей шляпы оказывалось, что калоши важного гостя прирастали к полу, а он, увлеченный прощальной беседой, не замечал, что... они прибиты к полу гвоздиками. Много мог самоуверенный человек получить в этом доме неожиданностей...

За редкими исключениями проделки сходили детям с рук благополучно. «Готовьтесь ко всему — здесь все возможно» — эти слова должны были бы сопутствовать входящему в квартиру Праховых.

Чем это объяснить — трудно сказать: дети были во всех случаях, кроме описанных, очень воспитанны (старшая Леля в шалостях никогда участия не принимала, но иногда о затее знала и... молчала).

Такая распушенность могла быть объяснима тем, что Э. Л. Прахова была очень истерична, избалована, с молодости была окружена средой артистов, часто склонных ко всевозможным эксцентричным выходкам, инсценировкам. Как знать? Истеричность, нервность Эмилии Львовны проявлялась иногда в формах чрезвычайных и неожиданных.

Бывало не раз, что «сам», как мы, соборные, звали Адриана Викторовича, увлекшись больше меры какой-нибудь очередной красавицей, впадал в немилость Эмилии Львовны. После бурного разговора «на тему дня» Эмилия Львовна шумно покидала дом. Наступала общая тревога. Ее искали по Киеву, к вечеру где-нибудь находили. Тогда она запиралась в комнате, где стоял рояль. Наступали томительные часы и даже дни ее уединения. Иногда после долгого молчания начинали раздаваться величественные звуки Баха, Шопена, Бетховена. Звуки становились все более и более насыщенными чувствами, владевшими оскорбленной душой Эмилии Львовны. Такая музыка раздавалась иногда часами.

Талант этой незаурядной женщины сиял. Игра ее была неотразимо прекрасна. Мы — соборные, попадавшие в такие дни к Праховым случайно, часами сидели, слушали, как рядом, за дверью, скорбела, каялась, неслась ввысь в творениях Баха, Бетховена душа Эмилии Львовны. Эта истеричная женщина казалась нам тогда иной, прекрасной, мы забывали то, что часто так мало нам нравилось в ней. Сочетание истинного горя, глубоко взволнованного чувства с гениальной музыкой творили тогда чудеса, и мы были свидетелями их.

Когда горе было выстрадано, изжито, Эмилия Львовна выходила из своего затвора, и жизнь вступала в свои обычные нормы. Все шло так, как будто ничего не случилось.

В начале июня я окончил и сдал образа обоих верхних иконостасов. Время моего отъезда приближалось...

В эти же дни, помнится, Владимирский собор посетил вел. князь Петр Николаевич. Нас, художников, заранее об этом предупредили. Собор принял парадный вид, мои образа вставили в иконостасы, также были временно поставлены и Царские врата с моими образами двух «Благовещений» и «Евангелистов».

Приехал вел. князь — молодой человек высокого роста, немецкого типа. Васнецов с ним был знаком раньше. Нас — меня, Сведомского и Котарбинского — Прахов представил в соборе.

Вел. князь по специальности был военный инженер и приватно занимался архитектурой. По его проекту был построен так называемый «Княгинин монастырь» в Киеве, где жила и скончалась мать великого князя. Архитектура его не была талантлива. Держал он себя у нас в соборе просто, искренне восхищаясь работами Васнецова. Понравились ему и мои образа иконостасов, особенно Борис, Ольга и Михаил. И того больше — запрестольное «Рождество». Слова — «прелестно, удивительно» — говорили, что мои работы произвели на него сильное впечатление. Прахов, подхватив слова гостя, заметил, что «моего друга Михаила Васильевича сравнивают теперь с Пювис де Шаванном. Конечно, как вы видите, такое сравнение ошибочно»...

Наслушавшись любезностей, мы распростились с гостем, с тем чтобы встретиться с ним в квартире Прахова. Понимал ли что в живописи вел. князь или нет — не знаю. Одно было ясно тогда для меня, что соборные фонды мои должны были подняться, хотя от похвал этих ни талант мой не вырастет, ни писать, ни рисовать лучше я не стану...

После этого Прахов ко мне стал еще более внимательным. Все ездили в собор осматривать иконостасы. В. М. Васнецов в тот день высказал, что успех мой, особенное внимание вел. князя есть несомненный «житейский успех». За мной он считает их три: первый, самый серьезный и глубокий, хотя и тихий — это «Пустынник», затем — «демонстративный» успех «Варфоломея» и третий, теперешний, с иконостасами — «житейский».

Пусть будет так, подумал я тогда, но теперь надо работать еще с большим напряжением, памятуя, что успехи так же скоро уходят, как и приходят

В ближайшие после этого соборного события дни Прахов со мной имел один из очень редких и серьезных разговоров

и сообщил мне, что сейчас Киевская Печерская лавра ведет с ним переговоры о росписи Великой лаврской церкви. Что в случае удачных переговоров, соглашусь ли я принять участие в росписи, так как он, Прахов, возлагает на Васнецова и на меня все свои надежды.

Я просил дать мне время подумать и, посоветовавшись с Виктором Михайловичем, дал приблизительно однозначный ответ, что работа в Великой церкви нам по душе, но что ответ окончательный мы сможем дать только тогда, когда все закончим и сдадим во Владимирском соборе, что те цены, что мы брали здесь, совершенно невыносимы в будущем и что в том случае, если переговоры в Лавре когда-либо придут к благополучному концу, то я хотел бы получить темы, соответствующие характеру моего дарования, причем указал на жития преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Ответом моим Прахов удовлетворился, причем высказал мысль, что я «расту у всех на глазах», что предстоящая поездка за границу даст мне то, что «язык мой приобретет твердость и прекратится разноречие в суждениях обо мне», которое тогда существовало. Прахов настойчиво и горячо советовал мне не бросать натуры, чаще прибегать к ней, потому что ничто так не оздоравливает усталого творческого организма художника, как живая натура, общение с ней, любовь и доверие к животворящим силам природы.

Эти драгоценные советы я никогда не забывал и навсегда сохранил за них признательность Прахову.

Работы в соборе в это время шли усиленным темпом. Вставляли мы часов в семь, около восьми оба были уже на лесах. В двенадцать шли завтракать, отдых до трех и снова работа до шести.

Между тем приближался день моего отъезда. Паспорт был уже в кармане. Все работы сданы. Все корректуры сделаны. Деньги с Комитета получены...

Итак, на днях снова в путь. Посмотрим, что мне на этот раз даст заграница...

ПУТЕШЕСТВИЕ 1893 ГОДА

(Константинополь — Греция — Италия)

Я — в Одессе, на палубе парохода «Царица». 26 июля 1893 года выезжаю в Константинополь. Одесса, осмотренная мельком, мне понравилась. Я люблю море, люблю приморские города.

Виделся кое с кем из художников. Был у Размарицына, автора небольшой, живой картины «Панихида». Размарицын — умный, образованный человек, долго живший в Германии, но не потерявший русский облик. Когда покинул Одессу, море было тихое. На душе тоже тихо, хорошо. Полтора суток прошло незаметно! На рассвете увидели столицу умного и мрачного султана Абдул-Хамида. Великолепен Босфор при восходе солнца. За несколько верст до него потянулись красивые очертания берегов. По ним разбросаны виллы разных посольств. Первые впечатления от св. Софии иные, чем от св. Петра, менее величественные, монументальные.

На пути познакомился с одним из москвичей, с ним и устроился в нашем Пантелеймоновском подворье. «Царица» ушла в Пирей. В Константинополе достали проводника и втроем отправились смотреть св. Софию — Айя-Софию. Побывали по пути в музее, где некогда была церковь св. Ирины. В Константинополе все христианские церкви, кроме одной — Покрова пресвятой богородицы, — обращены в музеи.

Св. София, не кажущаяся грандиозной с моря, вблизи огромна. Куча позднейших мусульманских пристроек искажила первоначальные формы. Однако стоило войти внутрь храма, как все изменилось. Боже, как прекрасно, величественно, незабываемо было то, что мы увидели!

Почти от самого входа, где мы надели особую обувь, виден почти весь свод купола, столь схожего со сводом небесным. Необъятность его — необъятность неба, чего, конечно, нельзя сказать про купол римского Петра, такой тяжелый, давящий... Простор купола, его как бы безграничность — поразительна. Гений зодчего св. Софии вас увлекает, чарует формами и дивными мозаиками, коими покрыты как купол, так и все стены храма. И какие это мозаики! Какое смелое и благородное сочетание цветов! Целые стены хор забраны благородным черным тоном, усеяны серебряным и золотым орнаментом. Здесь все приведено в такую дивную гармонию, торжественную, простую, великолепную... Без труда представляешь себе то, что было в первые годы при Константине, здесь, в этой св. Софии...

Теперь, в наши дни, ни зеленое знамя Магомета, ни щиты с письменами из Корана, ни выбитые, покалеченные мозаичные лики серафимов не могут истребить того, что вложил в свое создание автор великой цареградской святыни.

Уходя из храма, я чувствовал, что на предстоящем пути своем не встречу ничего, равного только что виденному. Для Константинополя по моему маршруту у меня

было отведено немного дней. Надо было за эти немногие дни осмотреть все, что доступно, что необходимо.

Покинув св. Софию, мы прошли в так называемую Малую Софию (Кучук Айя-София), иначе в древнюю церковь Сергия и Вакха. Тут остатки старых мраморов. Затем прошли в огромный храм (теперь мечеть) Двенадцати апостолов, где видели великолепные изразцы. Переправились через Золотой Рог (мы жили в Галате).

На пароходе случайно познакомились с молодым болгарским архимандритом, учившимся в России и свободно говорившим по-русски. Он охотно взялся показать нам наиболее ценное. Отпустив проводника, мы последовали за архимандритом, очень приветливым и обязательным человеком, знавшим отлично Константинополь. Осмотрели с ним единственную совершенно уцелевшую церковь Успения божьей матери, где сохранился неприкосновенным купол и крест на нем. Прошли в мечеть Фехтие Джамии, где уцелели в притворе мозаические изображения Христа и двенадцати апостолов. Попутно осмотрели остатки дворца Велазария и, наконец, мечеть Кахрие Джамии — храм Федора Студита: здесь в притворах сохранились мозаики из жизни богоматери. Прошли в «патриаршую» церковь, где патриаршее место установлено по линии иконостаса, образуя его продолжение.

Константинополь тех дней был очень грязен — этим напомнил мне старый Неаполь с его Санта Лючия. Сами турки мне очень понравились и обликом своим, и чем-то патриархальным. Они нимало не походили на тех «башибузуков», оставшихся в моей памяти от времен русско-турецкой войны. Словом, как византийский Цареград, так и современный Константинополь оставили во мне самое лучшее впечатление.

Болгарский архимандрит оказался образованным человеком, знакомым с Италией: он указал мне, где я мог бы увидеть древнейшие изображения св. Кирилла и Мефодия, входящих в число образов, кои предстояло написать мне в Киевском соборе. Он сказал, что изображения этих святых есть на одной из только что открытых фресок в катакомбах св. Климента. Пробыв несколько дней в Константинополе, я выехал в Афины. Рано утром мы были в Пирее, а оттуда рукой подать до Афин. Еще дорогой я сговорился с одним греком, знающим по-русски, что он мне послужит день-другой гидом. Остановился я в большой гостинице «Виктория» на площади Конституции и, переодевшись, не медля ни минуты, отправился с моим греком в консульство узнать адрес проф. Павловского.

По дороге осмотрели бегло Акрополь. Три тысячи лет пронеслись над ним. Тяжкая «рука времени» сделала свое дело, и все же то, что осталось, — прекрасно, величаво просто. Из Акрополя заглянули в тысячелетнюю церковь Капни-Корея с сохранившимися мозаиками. Павловского не застали; проехали за город в древнюю Дафнию, там осмотрели реставрацию мозаик. Вернулись к Павловским, с которыми я уже не расставался за все дни пребывания в Афинах.

Эта семья была центром, где сходились тогда русские ученые и люди, любящие Россию, думающие о ней. Много было здесь высказано тоски, страхов, восторгов и надежд на будущее нашей родины. С Павловским я осмотрел подробно Акрополь и все, что осталось от античной и христианской Греции в Афинах.

Поразил меня Акропольский музей. Впервые я проникся до полного прозрения, до восхищения *архаиками*. От них, от архаик, на меня больше, чем от великого эллинского искусства, повеяло подлинным смыслом, религиозным восторгом античного мира. В них продолжало жить то, что заставляло трепетать, волноваться все существо древнего эллина, да и меня, современного варвара. В них была подлинная, непреодолимая магия духа великой эпохи, великого народа.

Мне и тогда, помнится, снова показалась такой сладостной и, быть может, незаслуженной моя доля: я мог видеть, наслаждаться тем, что скрыто по тем или иным причинам от миллионов людей. Там я еще лишний раз был счастлив.

Однако время летело, и надо было решить, как ехать дальше. Ехать ли в Спарту, что заняло бы дней шесть-семь, или, пробыв еще дня два-три в Афинах, ехать на Патрас, в Бриндизи... Время у меня было распределено скупое, пришлось остановиться на последнем.

Меня проводила русская колония, и вечером в Патрасе я был встречен, выходя с вокзала, русской речью. Некто, довольно кудрявый, с греческим носом предлагал мне по-русски свои услуги, а так как я за свое короткое пребывание в Греции, кроме «архимандритос», по-гречески ни одного слова не усвоил, то естественно, что предложение было принято.

Уроженец Гомеля скоро разменял мне греческие деньги на итальянские. Он проводил меня на плохонький пароходик, отходивший через два-три часа в Бриндизи.

Немузыкальная новая Греция сейчас здесь, у нашего пароходика, была полна музыкальных звуков. Как бы весь пароходик составлял какой-то плавучий оркестр: мандолина

повара в белом колпаке и в менее белой куртке восхищенно пела, ей вторили другие мандолины, гитары. Словом, я сразу почувствовал себя в Италии, и это было так радостно.

Скоро мы двинулись в путь. Он был сплошным наслаждением. На душе — рай. Пароходик наш танцевал под музыку. Здесь я упомяну об одном досадном и комическом приключении, коих вообще со мной было немного, принимая во внимание полное мое незнание языков. Из Бриндизи я должен был ехать по железной дороге в Неаполь, а там снова пересесть на пароход и плыть в Сицилию — Палермо. В последний момент на вокзале, сбитый с толку железнодорожным расписанием, я забрал себе в голову, что мне выгоднее и скорее ехать на Реджио — Мессину. Как ни уговаривал меня кассир не делать этого, я все же настоял на своем, не поняв моего доброжелателя. И только в пути понял, что я попал на поезд не прямого сообщения — понял тогда, когда меня, беднягу, со всей деликатностью высадили на станции Метапонта, где я узнал, что мой поезд на Реджио пойдет с Метапонта ровно через двенадцать часов!

Каков был удар! Просидеть на глухой, затерявшейся где-то в Калабрии маленькой станции двенадцать часов. Во мне тогда дружественная нам нация скоро приняла живое участие. Я сдал багаж на хранение и пошел бродить. Пейзаж был унылый: степь, где-то на горизонте дерево, а у дерева какая-то ветхозаветная хибарка. Жара страшная. Итальянцы все попрятались от нее, и только я как неприкаянный брожу по этой жаре. Однако и она стала спадать.

Завечерело. Стали приходить какие-то поезда. Железнодорожные служащие с их женами и курчавыми ребяташками выползали на свет божий, поднялись зеленые жалюзи. Послышались звуки мандолины. Я опять ожил, а там наступило время ехать дальше. Меня дружественно проводили мои метапонтцы, и я рано утром был в Реджио. Странствуя по белу свету, видишь не одни розы и олеандры — попадаютя и такие цветы, как Метапонта.

Дорога до Реджио великолепна. Станционные домики утопают в цветах высоких олеандр, часто встречаются пальмы, цветущие кактусы, алоэ, а герань растет по сторонам рельс. Из Реджио два часа езды до Мессины, и я в Сицилии.

Еду по железной дороге. По пути — горы, средневековые замки, сохранились следы античного мира — театр Таормино. Проехали Этну, Катанью. Дорога среди сжатых

полей, холмов, частые туннели. Так до самого Чефалу. Снова стало видно море. Вечером я был в столице Сицилии — Палермо.

Однако вернусь ненадолго в Реджио. Чтобы попасть из Реджио в Мессину, надо сесть на маленький пароходик вроде петербургских, так называемых «финляндских», и через два часа мы на родине мандаринов и апельсинов — в Мессине.

Я сел на такой пароходик, полный шумных, экспансивных итальянцев обоего пола. Едут больше крестьяне. Женщины грызут огромные цитроны и говорят шумно, будто бранятся. Против меня сидит группа, с которой остальные пассажиры не сводят глаз. Эта группа — главный предмет горячих разговоров остальных.

Калабрия, как известно, была страна так называемых «калабрийских разбойников». Вот таких-то двух сейчас и везли куда-то вместе с нами. Один — старый, сморщенный, как гриб, только глаза еще блестят, как у молодого. Другой, напротив, полный сил, подавал иногда вызывающие реплики. Оба были закованы в ручные и ножные кандалы. Сопровождали их два красавца карабинера, хорошо вооруженные, в традиционных треуголках. Картина была в староитальянском духе, в духе папской Италии 30—40-х годов XIX столетия...

Итак, я в Палермо. Остановился в «Отель де Франс». Умылся, переделся и пошел побродить по улице. Она была одна из главных и, конечно, называлась одним из трех популярных имен*. Это была виа Витторио Эммануэлле.

Тут что-то творилось невероятное на мой непривычный глаз. Улица была увешана с одной стороны на другую фонариками, флагами, религиозными эмблемами. Здесь толпились тысячи народа. Все окна, балконы были усеяны им. Все это скопище экспансивных итальянцев придавало ему вулканический характер. К довершению играл военный оркестр, как почти всегда в Италии, хороший.

Было одиннадцать часов вечера, когда вдали показалась огромная религиозная процессия. Впереди люди в средневековых костюмах несли какие-то значки. Дальше шли музыканты, за ними духовные училища. За ними девочки лет семи-восьми, все в белом, под белыми покрывалами со сложенными на груди ручками. Опять значки, быть может, цехов. Церковнослужители несли кресты и, наконец, среди множества пылающих факелов несли нарядный малиновый,

* Имеются в виду имена Гарибальди, Кавура и Виктора Эммануила II.

шитый золотом балдахин, а под ним шествовал епископ с иконой в руках. Потом опять музыка.

Эта великолепная процессия, среди тысячи народа, на фоне южной ночи, остановилась. Музыка умолкла, и лишь своеобразный звон множества колоколов окружающих церквей нарушал тишину. Процессия двинулась дальше...

Такими пышными зрелищами — зрелищами торжествующего католичества — духовенство угощает своих верующих. И надо признаться, что веками ими выработано столько красивого, нарядного, действующего на воображение, на чувство, что нелегко будет тем, кто пожелает ослабить действие, силу, значение того, что дали католичеству пышные времена Возрождения, папства в его расцвете, при великих художниках, не за страх, а за совесть работавших в те славные века.

На другой день с утра я, по своему обыкновению, принялся за дело — за осмотр церквей, музеев. Побывал у нашего консула Троянского, к которому имел письмо от Прахова. Старик принял меня очень любезно, обещал мне достать пропуск в капеллу Палатина для работ там, пригласил в ближайшее воскресенье к себе завтракать. Словом, дело у меня стало налаживаться. Троянский предложил мне с ним вместе съездить в палатцо Палатина, там мы в несколько минут получили желаемое, и я мог теперь в любое время, даже во время богослужения, работать, делать зарисовки великолепных палатинских мозаик.

За завтраком у консула я познакомился с его молодой, красивой декоративной красотой женой, кажется, венгеркой, и с неким русским, согласившимся быть моим гидом в тех случаях, когда одному, без языка, придется особенно трудно. Скоро мы с этим молодым человеком отправились в Монреале. Живописная дорога; по сторонам тянутся горы, то густо-лиловые, то бледно-лазоревые на горизонте, и цветы, цветы... Городок Монреале высится на скале, на склоне горы. В XII веке тут был лишь монастырь, основанный одним из нормандских королей-завоевателей... Поздней около монастыря вырос городок, к которому подступ еще недавно был небезопасен от разбойников.

Собор снаружи не представляет чего-либо особенно выдающегося из ряда таковых в Южной Италии. Внутри же иное: огромная колоннада, перекрытая арками, покрытыми мозаиками, изображающими творение мира и человека, картинами ветхого и нового завета, житием ап. Петра и Павла. В абсиде помещен знаменитый мозаичный образ Христа, якобы послуживший первоисточником для ивановского Христа. Многие сохранилось, еще больше реставри-

ровано и, конечно, потерпело от этого немало. Собор в Монреале обширнее капеллы Палатина гораздо, но последняя сохранилась больше, и мозаики ее великолепны. Они, как драгоценный жемчуг, мягко сверкают по стенам, аркам, потолкам капеллы.

В один из последующих дней мы с моим русским ездили в Чефалу, где также на соборных стенах сохранились мозаики и лучше других уцелел Христос в абсиде. Этот великолепный образ не похож ни на тот, что в Монреале, ни на тоже прекрасный, что в капелле. Он прежде всего не с темно-каштановыми волосами, а со светлыми — Христос русый — и с таким мягким выражением, которое его совершенно разнит с торжественно-суровым Христом капеллы, на который так долго и не бесплодно смотрел раньше меня здесь бывший В. М. Васнецов.

В Палермо прекрасный собор, но мое время я провожу почти ежедневно в капелле. Там у меня свой уголок, из которого мне видно все — и мозаики, с коих я делаю зарисовки акварелью, и служба. Меня же не видно вовсе. И я невольно бывал свидетелем довольно забавных сцен. Так, например, во время богослужения я почти каждый раз видел, как в известный момент в низенькой боковой двери ризницы появлялась фигура священника со святыми дарами, а за ним другой священнослужитель, и, прежде чем у главного престола капеллы мальчик даст условный знак — прозвонит, — эти два, а то и несколько достойных католических священников на моих глазах хорошо, весело поболтают... Так и чудится, бывало, какие новости они передают друг другу, как злословят и всячески грешат со святыми дарами в руках. И стоит лишь прозвонить колокольчику — эти люди мгновенно, у меня на глазах, меняли личину, и самое веселое выражение, смех исчезали. Они вытягивали лица и с самым постным, елейным видом выплывали из своей засады и танцующей походкой направлялись к престолу, ничуть не подозревая о коварстве «схизматика».

Время подходило незаметно к отъезду. Я сделал много набросков, купил фотографий. Вечером я сидел усталый, где-нибудь в кафе на Пьяцца Марина. Смотрел на катающихся в великолепных экипажах палермских красавиц. Палермо тогда славилось «выездами», говоря по-московски, после римских они были лучшими.

Тихий вечер, бесшумное море, прекрасная музыка, модная тогда «Сельская честь» Масканьи *, нега южной приро-

* Опера П. Масканьи.

ды — все это, с моей молодостью, с мечтами о будущем каком-то счастье, убаюкивало меня. И я славно жил в те давно минувшие дни...

Итак, прощай, Сицилия, прощай, Палермо, — прощай навсегда! В один из ближайших вечеров я выехал на пароходе в Неаполь. Была тихая, прекрасная погода. Наш пароход принял много пассажиров, и я запомнил особенно одного: это был молодой красавец-офицер, нечто вроде толстовского Вронского. Он, полный сил, красоты, благополучия, прошел через трап, и я залюбовался им, как породой, прекрасной южной человеческой породой. Он был доволен собой и, кажется, всем и всеми. Мундир его был элегантен, ноги в узких рейтузах как-то упруго вздрагивали на ходу. Румянец на загорелом лице был ярок. Все это мгновенно запечатлелось в моей памяти.

Мы едва отвалили, прошло не более часа, как началась качка, да еще какая. Понемногу с палубы все спустились в каюты, и там предавались невеселому занятию — платили дань морю.

Я и какие-то два молодых англичанина остались наверху. Они и я, пользуясь тем, что дам на палубе не осталось, улеглись на скамьях парохода во весь рост, — я на одной стороне, британцы на другой, весело разговаривая друг с другом. Была боковая качка, и мы все, чтобы не упасть, держались за перила руками. Пароход накренился то на мою сторону, то на сторону веселых англичан. И все шло как нельзя лучше до тех пор, пока неожиданно ритм качки изменился, и мои англичане в пылу веселой болтовни не отняли рук от перил и не полетели оба на пол. Это было дело одной минуты. Я обернулся в тот самый момент, когда оба гордые брита самым постыдным образом валялись на полу. Неожиданность падения не помешала им обернуться в мою сторону: надо было знать, видел ли я их, — я видел. Они были смущены, и хотя улеглись, но веселость исчезла.

Ночь всю нас качало. Рано утром мы подошли к Неаполю, было тихо. Неаполитанский залив был бледно-серо-голубой. Везувий едва дымился. Вдали Иския едва-едва синела. Пароход наш подошел к молу. По сходням стали выходить усталые, бледные после качки пассажиры. Я не торопился, стоял на палубе и наблюдал эту чужую мне толпу. Вот бредет и мой вчерашний «Вронский»... От него за ночь ничего не осталось: он зелен, ляжки его вздрагивают, он имеет совсем не геройский вид. Куда девалась прекрасная человеческая порода?

В тот же день я выехал в Рим.

Я снова в Риме. Прошло три года, как я не видал его. Мало что изменилось в нем. В тот же день я поселился в пансионе синьоры Марии Розада, рекомендованном мне проф. Павловским.

Пансион Марии Розада был битком набит ученой братией, артистами, художниками. Сама Мария Розада была француженка, вышедшая замуж за итальянца, давно умершего. Гостеприимство, приветливость там были самые трогательные: каждый попадал туда, как в родную семью. Красавицы дочери Марии Розада этому сильно способствовали. Они же убирали комнаты своих жильцов. И никому в голову не приходило дозволить себе какие-либо вольности с этими полуфранцуженками, полуитальянками. Они потом хорошо повыходили замуж за американцев, за англичан. От Павловского я имел письмо к профессору Казанского университета Айналову, ученику Кондакова, изучавшему здесь, как и я, мозаики. Скоро мы сошлись с Айналовым. Живя рядом в пансионе Марии Розада, виделись ежедневно. Айналов много мне способствовал своими знаниями и советами. Спасибо ему!

Наш пансион находился в большом четырехэтажном доме по виа Аврора. Моя комната выходила окнами на так называемые «Сады Авроры». Все это было в двух шагах от памятной мне по первой поездке в Рим виа Систина. Я чувствовал себя прекрасно, как дома, уже сильно тогда полюбил Рим, его чувствовал, хотя знал далеко недостаточно, наслаждался вновь римским воздухом, таким бодрым, молодым.

Все мои силы были с первых дней направлены на две главные церкви: на Санта Мария Маджоре и на Латерана. Я там бывал почти ежедневно со своим альбомом, усердно зарисовывая то, что казалось мне нужным, интересным. Трогательная легенда о возникновении знаменитой базилики Санта Мария Маджоре сохранилась в моей памяти.

Давно, в IV веке, в Риме жил знатный гражданин по имени Андрей с женой. Детей у них не было, и они молили бога, чтобы он даровал им сына или дочь. Однажды ночью Андрею явилась божья мать и сказала, чтобы он построил церковь там, где среди лета выпадет снег, добавив, чтобы он не печалился, — дети у него будут.

Утром слуга доложил Андрею, что недалеко от их дома, на холме, выпал большой снег (дело было летом). Андрей тотчас же известил о случившемся с ним папу Бонифация, и они вместе отправились на то место, где выпал снег. Папа велел расчистить поляну и заложил там церковь во

имя «Богоматери на снегу». Церкви этой, таким образом, 1600 лет. Мозаики ее — одни из лучших, какие существуют в Риме.

Благодаря Айналову я осмотрел те церкви, кои не было в списке, данном мне Праховым. Побывал я в Санта Мария ин Трастевере, в катакомбах св. Климента, на кладбище св. Лоренцо, где похоронен Фортунни и где ему поставлен грациозный памятник. Был за городом в катакомбах св. Агнессы, в Санта Пуденциана, у Козьмы и Дамиана, в Санта Прочида, всюду всматриваясь в мозаические творения первых веков христианского Рима. Сколько тут высокой красоты, сколько еще чистой, незамутненной, благочестивой простоты!

Айналов, с тех пор как узнал, что его новый знакомый и есть автор «Варфоломея», стал ко мне питать особое чувство и еще охотнее раскрывал передо мной свои познания.

Как-то утром ко мне постучались. Вместе с Айналовым пришел Вячеслав Иванов, а с ним огромного роста курчавый, в скобку остриженный, с русой бородой, цветущий, в длинном сюртуке русак. В галстук — жемчужная булавка. Каково же было мое изумление, когда вошедшего представили мне: «Настоятель русской церкви в Берлине, протоиерей Мальцев». Я о нем слышал и рад был знакомству. Отец Мальцев, узнав от наших русских, что я в Риме, пожелал познакомиться со мной и посоветоваться, где бы в Риме можно было заказать иконы для новой православной кладбищенской церкви в Берлине. Я ничего не мог ему предложить иного, как послать заказ на православные иконы в Москву. После этого я был у Мальцева, и он, помнится, последовал моему простому совету — не заказывать православных икон в католическом Риме. Про умного отца Мальцева можно было сказать, что «на всякого мудреца довольно простоты».

Хорошо мне тогда жилось в Риме. Придешь после обеда у старого, теперь еще более постаревшего Чезаре домой, отдохнешь, попьешь с Айналовым чайку (оба мы оказались любителями его), сядешь у окна. Дивный воздух Садов Авроры проникает в пансион Марии Розада. Сидим, бывало, мечтаем, говорим о России, о такой любимой России.

Стемнеет. Против наших окон большой пустырь, там народный театрик, открытая сцена: на ней ежедневно выступают перед замысловатой публикой нашего околотка артисты, вероятно, бывшие, с голосами пропетыми, пропетыми.

У всех итальянцев есть манера петь. Они — самые плохонькие — маленькие Мазини, Таманьо. И нужно было ви-

деть и слышать, как публика строго их расценивала: жаловала или карала за удачную или неудачную арию тогда еще здравствующего маэстро Верди. До глубокой ночи в наших ушах раздавалось то «браво», аплодисменты, то бурное порицание какому-нибудь незадачливому Баттистини. Пора покидать Рим. Впереди Равенна, Флоренция, Пиза, Венеция, Падуя. В день отъезда, идя мимо фонтана Треви, бросил в него традиционные сольди.

Через несколько дней я уже ходил по улицам, площадям, музеям и церквам Флоренции. Остановился в небольшом пансионе «Каза Нардини». Там потом я останавливался часто. Славно жить в этой «Каза Казунья», как кто-то прозвал этот уголок Флоренции, бывший в двух шагах от «Дuomo», от Баптистерия с его Гибerti.

Флоренция, тихая, задумчивая, была и осталась той же. Мне здесь пришлось лишь возобновить виденное: побывать в Академии, в галерее Питти, Уффици, в церквах Санта Мария Новелла, в Санта Кроче, в монастыре св. Марка, проехать в свободный день в Пизу и спешить в Равенну. Так я и сделал.

Равенна теперь мертвый город. Недаром там на каждом шагу расклеены в траурных ободках извещения о смерти такого-то или такой-то из равеннских граждан. Город стоит на сыром месте, постоянная малярия уносит много жертв. Город Равенна скучный, движения никакого. В нем, как и во всяком итальянском городке, есть своя пьятца Витторио Эммануэле, есть корсо, виа Джузеппе Гарибальди и виа Кавур; поставлено всем им по памятнику, и тем не менее Равенна город скучный, душный, грязный город. Но все сказанное относится к Равенне наших дней. Иное — Равенна старая: ее можно видеть в остатках доживших до нас памятников архитектуры, в ее романских базиликах и в чудных мозаиках, украшающих стены этих базилик. Правда, все это запущено, но «первого сорта»... Тут, быть может, как нигде в Италии, византийское искусство, искусство мозаическое, представлено великолепно. Здесь художники-мозаичисты не были только копиистами, но сами и творили стиль, композицию, находили дивные цвета для своих творений.

Лучшая из виденных мною здесь церквей — это св. Виталия, напоминающая собой св. Софию Константинопольскую. Там, в св. Виталии, на алтарных стенах сохранились дивные изображения: с одной стороны — императора Юстиниана со свитой, с другой — императрицы Феодоры со свитой. Все необыкновенно жизненно, нет ничего условного, как на мозаиках последующих веков. За св. Виталием

следует упомянуть св. Аполлинария Нового с удивительными фризами по обеим сторонам базилики: с одной стороны — поэтическое создание так называемых «Праведных жен», с другой — «Мужей праведных». Все я это успел зарисовать акварелью. Самой древней базиликой считается «Аполлинарий ин Классе» (за городом), сооруженная в честь первого равеннского епископа Аполлинария, ученика апостола Петра. Прекрасна мозаическая абсида с изображением св. Аполлинария среди райской природы и тварей. Базилика эта стоит ближе к отступившему от Равенны морю, и на полу ее постоянно стоит вода. Прекрасны два баптистерия и мозаики архиепископского дворца.

Побывал я и на могиле Данте, расписался в книге, нашел там имя приятеля своего, раньше меня бывшего, Аполлинария Васнецова. Молчание мое (за незнанием языка) меня утомило: я с самого Рима не говорил ни слова по-русски и теперь надеялся всласть наговориться в Венеции, где должны были встретиться земляки. В Равенне быть было необходимо. Она мне принесла большую пользу, но и покидал я ее с большой радостью, с тем чтобы никогда туда не возвращаться. По дороге заехал в Падую и в тот же день был в Венеции. В Падуе бегло осмотрел базилику Аполлинария (Иль Санто), дворец и капеллу Санта Мадонна дель Арена с великолепным Джотто по стенам ее. Падуя вся в садах; там легко дышится; там знаменитый университет.

Венецией, собором св. Марка с его старыми мозаиками, мною уже виденными, окончилось мое второе путешествие за границу, вызванное работами, кои мне предстояло исполнить в киевском Владимирском соборе. Я благодарно вспоминаю и эту свою поездку...

* * *

Радостно я проехал русскую границу. Вот русская речка, вот церковь. Все свое, родное, милое. Слезы выступили на глазах. Ах, как всегда я любил нашу убогую, бестолковую и великую страну — родину нашу!..

Раньше, чем вернуться в Киев, я решил проехать в Уфу, повидать своих, свою Олюшку. Радостная встреча, рассказы об Италии, о том, чего не написал в письмах. Олюшке привез из Рима две куклы — Чезаре и Беттину — маленьких, забавных итальянцев в национальных крестьянских костюмах. Они долго прожили у нее.

Но надо было ехать в Киев, приниматься за нижние иконостасы собора. Встретили меня отлично. Принялся за

эскизы Константина и Елены, Кирилла и Мефодия для иконостаса, жертвенника и <эскизы> Варвары, Николая, Афанасия и Филарета Милостивого для диаконника.

Когда эскизы были готовы, я показал их Прахову. Из них особенный успех имела св. Варвара. Я ее изобразил на коленях, около нее меч, на главу ее в сиянии снисходит венец мученический. Скоро про эскизы узнали все те, кто в ту пору интересовался судьбой собора. О них заговорили, их восхваляли. Но надо было их провести через Комитет...

Казалось, Прахов все сделал, чтобы не было возражений членов Комитета, но на самом деле на заседании поднялись разногласия, и было постановлено, чтобы я переделал Варвару, сделал ее фигуру стоячей, убрал мученический венец и прочее.

Пришлось подчиниться, но я все же членам Комитета, его председателю высказал, как тяжело мне расставаться со своей мыслью. Несколько дней ходил совершенно расстроенный. Праховы это видели и всячески старались меня утешить.

В. М. Васнецов в это время переехал со своей семьей на жительство в Москву, и мы оживленно с ним переписывались. Отношения наши оставались самыми дружественными, и нередко мне его очень недоставало. Из газет мы узнали тогда, что П. М. Третьяков приобрел все соборные картины Виктора Михайловича за двадцать восемь тысяч рублей для своей Галереи.

В то время я познакомился, а потом и сблизился с художником Яном Станиславским — очень даровитым польским пейзажистом, выставлявшим тогда в Париже и имевшим большое влияние на польский пейзаж. Станиславский был огромного роста толстяк, очень умный, благодушный, образованный... Его мнению я придавал тогда (и потом) большое значение, и он в какой-то мере заменял мне Васнецова. Со Станиславским были мы почти ровесники.

Увидев мой эскиз св. Варвары, Станиславский горячо убеждал меня написать с него картину, послать ее в парижский Салон.

Часто тогда заходил ко мне симпатичнейший Павел Осипович Ковалевский. Его советы были неоценимы, хотя и приходилось мириться с его слабостями: многоглаголением и любовью засиживаться в гостях после полуночи.

Всех огорчила тогда смерть П. И. Чайковского. Мы часто его встречали в Софийском соборе, куда он любил

заходить, приезжая в Киев для постановки своих опер, и где он наслаждался феноменальным голосом Гриши в хоре Калишевского.

Вскоре после смерти Чайковского умер знаменитый польский художник Ян Матейко. Картины его — явление чрезвычайное. Это эпопея величия Польши, прославление самых славных ее деяний. Ян Матейко — ее бард, ее боян. Он грезил ее подвигами, плакал над ее несчастиями. Он был как бы последним великим гражданином, равным самым знаменитым королям польской отчизны.

Про него рассказывали много ярких анекдотов, величали его, любили. Передавали, что когда была выставлена в Вене его картина «Раздел Польши», один из Понятовских, потомок незадачливого короля, обратился к Матейке с упреком за выбор сюжета, тот, будто бы, ему ответил горячо: «Покупали вас живых, купят и теперь». Через несколько дней картина была приобретена императором Францем Иосифом в музей Марии Терезии.

Матейко похоронен в Кракове на Вавеле, где схоронен Мицкевич, где спят вечным сном короли польские — Стефан Баторий, Ян Собесский и другие. На панихиду по Матейке собрались в костеле все киевские художники. Счастлив и силен тот народ, который мог иметь такого художника, каким был художник-патриот Ян Матейко.

Помнится, мне прислали из Москвы журнал «Артист». В этом «Артисте» была напечатана злобная статья художника Н. В. Досекина о моем «Сергии». Этот Досекин был неглупым резонером, страдающим критикоманией. Ему не удалось ничего сделать значительного, и, кроме своей бесильной злобы, он людям ничего другого не оставил...

Тогда же у нашего Адриана Викторовича явилась внезапная мысль составить «группу русских художников» для отдела парижского Салона. По проекту Прахова, в нее должны были войти Репин, Шишкин, В. Васнецов, Суриков и я. Из этой затеи, как и из многих праховских затей, ничего не вышло. Позднее эту мысль осуществил Дягилев, но в его группу ни один из названных художников не вошел.

Так дело шло до декабря, когда я собрался снова в Уфу на рождество. Опять были елка, живые картины с участием моей девочки, чудная уфимская зима, славные морозы, горы снега, катанье, гости, пельмени, удивительные пироги, ватрушки и прочее. Словом, я как сыр в масле катался. Но наступило время отъезда. Начались сборы. Вот я опять в вагоне, лечу в Москву. В сибирском экспрессе множество иностранцев: англичан, японцев, французов — все они

в поезде чувствуют себя гораздо больше дома, чем мы — хозяева. Что поделаешь?

Я — в Москве. Там Передвижная выставка, встреча с римским приятелем профессором Айналовым, от которого узнал, что Академия утвердила мои эскизы, заказанные кавалергардами для мозаик храма Воскресения. Узнал от В. М. Васнецова, что Парланд (строитель храма Воскресения) намерен предложить мне исполнение двух самых больших композиций для наружных мозаик храма.

В Москве остаюсь недолго, спешу в Киев к образам диаконника и жертвенника. Прахов радуется моему успеху в Петербурге, он считает меня, как и В. М. Васнецова, своим созданием. Пусть так...

Снова киевская композиция. Павел Осипович Ковалевский со своими воспоминаниями о старой Академии, о Вилле-вальде и прочем. Передвижная в Киеве. Заведующий Хрустов говорит, что «Сергий» в провинции имел большой успех. Слава богу...

Запахло весной. Киев никогда так не хорош, как весной. Много работаю. Время от времени бываю с Праховым в симфонических концертах. Слушал «Манфреда»³¹. Вообще стал разбираться в хорошей музыке. Тут уж всецело влияние праховской семьи, Лелино влияние.

Котарбинский выставил девятиаршинную «Мессалину»... Успеха картина не имела.

Образа иконостасов **пишутся**, нравятся. Ждут гравера Матэ. Он намерен сделать офорты с лучших образов собора. Я люблю этого не очень умного «гугенота», такого талантливого, доброго, готового помочь всякому...

Работы в соборе кипят. Готова лестница на хоры, пол из разноцветного мрамора. Еще не облицованы мраморные панели.

Погода день ото дня становится лучше. Стало жарко. Заказал себе, в предвидении освящения собора, фрачную пару, первую в моей жизни. Воображаю, как буду в ней выглядеть...

Помню два посещения меня Николаем Артемычем Терещенко, как хохлы его звали «старым Николой». Никола Артемыч был человек исключительного ума и характера. Вышедший из народа, он развил сахарное дело в Киевской губернии до огромных размеров. Состояние его считали в десятках миллионов. Работал он с раннего утра, в 5—6 часов к нему являлись с докладом.

С виду Никола Артемыч был типичный хохол, небольшого роста, с живыми, глубоко посаженными глазами. Когда по Киеву, бывало, едет его старомодная карета,

запряженная крупными вороными конями, обыватели говорили: «Вон старый Никола поихав». Никола Артемыч был одним из почетных лиц Киева. Он имел «тайного», «Анну» и прочее³². К нему попасть было не очень просто. Острый ум его смущал и бывалых людей...

Никола Артемыч давал миллионы на нужды города, но давал с одним условием: чтобы на училище или благотворительном учреждении, на его деньги созданном, имелась мемориальная доска с обозначением имени жертвователя или создателя.

Немало Терещенко пожертвовал и на Владимирский собор, и тоже не без верного расчета. Я должен был сделать ему рисунки для серебряного престола во Владимирском соборе, на который он пожертвовал десять тысяч рублей.

Я был приглашен осмотреть прекрасную его галерею и с того дня стал бывать у умного старика. Суждения его об искусстве были полны такта, ума. Доминирующим в нем был большой ум, где он хотел — большой такт.

Брат его Федор был человек заурядный. Из детей Николы наиболее способный и приятный был Иван Николаевич, больной, оставивший на создание Киевской Академии художеств четыре миллиона рублей. Его сын — Михаил Иванович — незадачливый министр финансов при Временном правительстве.

В. М. Васнецов, как я говорил, в это время уже жил в Москве, наезжая время от времени в Киев. Вот он снова появился в соборе, хотел, чтобы при нем были вставлены образа в иконостас. Они всем нравятся. Обаяние его было так велико, что о критике, самой робкой, и речи быть не могло.

Виктор Михайлович видел и мои образа. Особенно хвалил «Св. Варвару», сравнивая ее с «Борисом и Глебом», кои он считал до того времени лучшими. Он заметил, что «Варвара» имеет в себе много «христианского». Большой похвалы я от Виктора Михайловича не ждал. Еще помню, заметил, что Равенна мне сильно помогла (он там не был и очень жалел об этом).

С приездом Васнецова возобновилось наше совместное житье (рядом жили, вместе завтракали, обедали) и наши беседы, такие для меня поучительные, интересные. Теперь мы снова вместе радовались, надеялись, хандрили, мечтали...

Наш председатель Комитета А. П. Баумгартен был назначен губернатором в Житомир, а нам с Вольни дали некоего Федорова, бывшего кавалергарда, сослуживца гр. Игнатьева, тогдашнего киевского генерал-губернатора.

Дела от этого не изменились. По-прежнему всем ведал Прахов. Оппозицию ему составлял, всячески препятствуя делу, как и раньше, местный городской архитектор Николаев, человек бесталанный, завистливый, ничтожный.

На пасху, чтобы немного отдохнуть, освежиться от работы, я проехал впервые в Крым. Побывал в Алушке, пожил в Симеизе. Мне не очень посчастливилось. Была плохая, дождливая погода.

Тем временем стал вырисовываться новый заказ. Архитектор Парланд — строитель храма Воскресения в Петербурге, обратился ко мне с официальным предложением взять на себя исполнение ряда образов для мозаики храма. Раньше меня был приглашен В. М. Васнецов, и я кое-что от него уже знал об обстановке работы. Знал, что Парланд не даровит, что там все идет по-казенному, да и платят не бог весть что, выгадывая на всем для мозаик, коими предполагается покрыть все стены храма.

Предложенный мне ранее образ «Богоявления» для крестильни по приезде из Крыма окончательно был закреплен за мной, затем утвержден и эскиз его, причем самое живое — хоры поющих ангелов — Комитет предложил убрать. «Богоявление» было последним образом, мною написанным для Владимирского собора. Образа жертвенника и диаконика были комиссией приняты без возражений.

Работы в Киеве подходили к концу. Впереди открывалось два пути: стать присяжным иконописцем, на что меня утверждал Васнецов, или, оставив храмовую роспись, заняться станковой живописью, вновь принять участие в выставках, к которым я никогда не имел особой склонности. Пришлось подумать, прежде чем остановиться на чем-нибудь. Я решил, что стану брать церковные заказы, не увлекаясь ими, вместе с тем буду писать картины на любимые темы.

Мои старики радовались моим успехам. Как же не радоваться — не успел я кончить один большой заказ — зовут на еще более ответственный. Я же стал серьезно подумывать о возможных опасностях, кои так сильно подорвали даже такое дарование, как Васнецовское.

Киевская жизнь кипела. Около Праховской семьи, всегда живой, гостеприимной и веселой, было шумно, многолюдно. В то время пришлось серебряная свадьба супругов Праховых. Мы отпраздновали ее на славу, с подношениями, с тостами, с речами. Был весь Киев. Мы — художники — поднесли нашему «старосте» лавровый венок. Персональные подношения были особые...

В те дни приезжал в Киев Остроухов с женой, и мы еще и еще кутнули. От собора гость был в восторге, да и вообще тогда уже нельзя было не быть в восторге от нашего собора. Того требовал хороший тон.

В начале июня было получено известие о внезапной кончине Н. Н. Ге. Он незадолго перед тем был в Киеве, его там видели. Была отслужена торжественная панихида. Умер Ге по дороге в свое имение от разрыва сердца. За последние годы его жизни слишком много создавал он сам и создавалось около него неприятностей, неудач, волнений.

Я надумал «Богоявление» писать в Уфе, ехать туда на Москву — Нижний до Самары по железной дороге. Этому способствовало желание пробыть 11 июля в Уфе, среди своих, с Олюшкой. «Богоявление», по условию, я должен был сдать в декабре.

По дороге в Уфу я остановился в Москве. Хотелось повидать приятелей, побывать в галерее, в театрах. Тогда я охотно ходил в театры. Я знал, что ходить на Дузе, Росси, Муне-Сюлли, а позднее на Шаляпина — художнику необходимо. Ходил на лучшие места. Верил, что великий, гениальный артист всегда обогатит меня духовно, и я как художник получу что-то, хотя бы это что-то и пришлось до поры до времени где-то далеко и надолго припрятать в себе. Так было и тогда.

Приехав в Москву, я узнал от друзей-художников, что в маленьком театрике «Эрмитаж» шла опера, а в ней пел стареющий, но все же прекрасный артист Девойод.

Карьера Девойода была причудлива. Француз по происхождению, он солдатом дрался за родину в 70-е годы, позднее имел огромный успех на европейских сценах, был другом отца Альфонса XIII³³, подолгу гостил у него запросто. Великолепный артист попал к нам в Россию, куда тогда охотно ехали с сороковых годов прошлого столетия все самые великие артисты, так как у нас водились люди, умевшие ценить таланты, и умели щедро их оплачивать. Девойод покорила сердца россиян вообще, а некоей московской девицы с большим приданым — в частности, и женился на москвичке, как нередко выходили за москвичей знаменитые певцы, балерины...

Девойод, пропевши сезон, уехал с молодой женой в Европу. Снова пленял там своим дивным голосом, драматическим талантом. Ему дорого платили, но он был человек непомерной доброты, и деньги у него не залеживались. Широкая, «королевская» жизнь и необыкновенная щедрость привели к тому, что, когда подошла старость, у супругов Девойодов денег не оказалось. И пришлось знаменитому

баритону подумать, как их добыть. Таким образом он попал к нам в Москву почти стариком в маленький театр «Эрмитаж», где тогда играла плохонькая итальянская смешанная оперная труппа.

Приятеля — Аполлинарий Васнецов, Архипов, еще кто-то — потащили меня на Девойода. И вот чему мы были свидетелями в тот памятный для нас вечер.

Шел «Фауст». Девойод пел по-французски Валентина. Цены увеличены. Девойода встречают сдержанными аплодисментами. Он нездоров, хрипит. Голос не слушается. Публика насторожилась. Артист смущен, показывает на горло, что-то неладно.

Публику это нимало не трогает, она заплатила двойные цены. Партия кончилась — жидкие аплодисменты, тут же целый ад свистков, шиканья... Старый артист смущен, он растерялся. Счастье ему изменило, а толпа, жадная до скандала, уже ревет, неистовствует. Сидящие сзади нас юнцы кричат: «Если он болен, то тут не лазарет». Словом, самое радостное, дикое озлобление.

Антракт. Заявляют, что г. Девойод внезапно заболел, но петь будет и просит публику о снисхождении... Аполлинарий хочет уходить, он огорчен за певца. Мы его останавливаем, убеждаем остаться для того, чтобы не покинуть артиста в тяжелые минуты, чтобы своим сочувствием оградить его от расхоронившейся, негодующей толпы. Аполлинарий остается.

Занавес поднимается. Итальянцы-артисты не могут скрыть радости провала знаменитого француза. Вот появляется Валентин.

Благородство во всем — в прекрасном, одухотворенном, бледном лице с крепко сжатыми тонкими губами, с трагической складкой между бровей. Удивительная мимика, жест. Все в нем высокохудожественно. Это картина старого мастера. Дивный костюм — он носит его царственно. Всё, всё обличает великого артиста. В сцене дуэли столько решимости, благородной отваги. Девойод бесподобен. Он невольно захватывает общее внимание. Весь театр следит с замиранием сердца за каждым движением артиста.

Валентин ранен. Видит Маргариту. Смерть приближается — ему душно, он разрывает колет, рубашка вся залита кровью. Каждый жест, мускулы лица — великая красота, высокое, гениальное искусство. Голос умирающего звучит, как погребальный колокол. Театр замер.

Где те гадкие свистуны? Они спрятались, им стыдно. Лица у зрителей бледны, у некоторых подступают к горлу рыдания, дамам делается дурно. Последняя попытка борьбы

со смертью. Валентин поднимается, шатаюсь, как во сне, проклинает Маргариту, падает мертвым... Боже, как это прекрасно!

Публика и злорадствующие итальянцы теперь растерялись, забыли играть... Все кончено. Гробовое молчание. Потом целый ад, стон, рев обезумевшей от восторга толпы. Подобное я испытывал только в лучшие минуты шаляпинского вдохновения, в его ранние годы. Недаром Шаляпин считал Девойода своим учителем...

Мы — счастливые, тут же решили сделать по рисунку и поднести их артисту, как выражение великой ему признательности, что и исполнили на одном из последующих его выступлений.

В то же лето Девойод скончался, скончался внезапно на сцене злополучного театра во время исполнения роли Риголетто. Великое сердце артиста не выдержало бед и напастей.

Похороны Девойода были многолюдны, торжественны. Старый друг покойного — Савва Иванович Мамонтов сказал надгробное слово на могиле великого артиста³⁴.

Я еду в Уфу. Дивная летняя погода. Старые, знакомые лица, места. Новое то, что я теперь признанный художник. В городе известно, что я, не окончив еще одного собора, приглашен в Петербург для росписи церкви Воскресения. Обо мне говорят. Те, что когда-то смотрели на меня с безнадёжностью, сейчас более чем любезны. Мои старики на седьмом небе...

Для писания «Богоявления» мне предложили в землерном училище один из больших классов, и я там очень удобно устроился с картиной, надеясь ее кончить до начала классных занятий.

Все так хорошо, казалось мне тогда, и вот в это-то время подкралась беда, появились симптомы совершенно неожиданной серьезной болезни моей матушки. Она стала худеть, появились какие-то странные боли. Она, такая деятельная, живая, больше сидела и, чего с ней прежде не бывало, лежала. Даже наш сад и необыкновенный урожай малины не радовал ее. Теперь она редко брала свою любимую корзиночку и уже не спешила в сад за малиной. Не варилось как-то и варенье... Что-то было не по себе. Так дело шло до Казанской.

День 7-го июля у нас в Уфе проходил так: чудотворную икону Казанской божьей матери торжественно, при большом стечении народа уносили за двадцать верст, в село Богородское, а на другой день Казанская, с крестным же ходом,

во главе с архиепископом и властями, возвращалась через весь город в собор. Этот день покоя веков был большим праздником. Многие еще накануне уходили пешком с иконой в село Богородское, проводили там ночь и с иконой же возвращались на другой день обратно в город. Так было и в этот год.

К вечеру стало известно, что икону принесли уже к городу и вот-вот крестный ход покажется в самом городе, на улицах. Тысячи народа двигались усталые, но довольные, что сподобились исполнить свое желание. Матушка накануне и в день праздника все лежала, была задумчива и только тогда, когда слышала, что крестный ход уже идет по нашей улице и вот-вот пройдет мимо наших окон, встала и тихо побрела в зал к окнам, из которых было видно шествие. Она приказала составить цветы с окон и благоговейно стала ожидать приближения иконы...

На другой день она уже не вставала. Пригласили приятеля-врача. Он осмотрел больную, покачал головой, что-то прописал и уехал. С этого дня болезнь стала быстро прогрессировать. Врач утешал матушку, мы же видели, что дело плохо, что у больной пухнут ноги, тогда говорили — водянка. Она все меньше и меньше ела, совершенно не вставала, и боли день ото дня усиливались.

Был конец июля, стояли дивные дни. В открытые окна из сада доносилось ветром цветение липы. Больная, видимо, угасала: были все признаки рака. Как-то мне пришла мысль зарисовать матушку, и я ей сказал об этом. Она не любила «сниматься», но тут как будто поняла что-то и сказала: «Ну что же, нарисуй», и тихо сидела, обложенная подушками. Я сделал два-три наброска, похожих, показал больной — она промолвила: «Вот и хорошо».

Доктор уже не скрывал, что надо ждать скорого конца, да и больная так исхудала, так измучилась, что просила бога, чтобы он взял ее. Однажды она пожелала исповедоваться, причастилась. Потом ее пособоровали. Все честь честью. Она, видимо, стала готовиться к смерти. Звала нас, говорила, утешала, когда мы плакали. Нежно, ласково говорила с любимой внучкой.

Однажды, дня за два до смерти, когда ей было особенно худо, она, увидев плачущую сестру, сказала ей сурово: «Не плачь, а слушай, что я скажу. Когда приедете с кладбища, то ты не суетись. Заранее все приготовь. Народу будет много, чтобы был во всем порядок. Возьми ключи от кладовой и заранее достань все, что нужно, чтобы было в чем руки помыть (старый обычай по возвращении с похорон). Достань полотенец побольше, да те, что получше,

чтобы не осудили люди тебя, молодую хозяйку. Ну, а теперь не плачь, иди, делай свое дело».

В одну из ближних ночей матушка тихо скончалась. Весь город (конечно, свой круг) перебивал на панихидах, на похоронах. Волю покойной мы исполнили в точности. Все было по старине, по заведенному дедами обычаю. Был и поминальный стол, заказан сорокоуст по монастырям. В острог и в богадельни отправили пирогов на помин души. Все справили как надо. По истечении года поставили на могиле белого мрамора крест, и я в него написал образок Марии Магдалины — мой последний привет матушке, которая много из-за меня страдала, но и любила меня много. Любила любовью пылкой, горячей, ревливой. Умерла матушка семидесяти лет.

После ее смерти я еще с месяц пробыл в Уфе. Окончил образ «Богоявления» для Владимирского собора и уехал во второй половине сентября в Москву...

Я устроился в Кокоревском подворье, снял большой номер и стал работать. Был, помню, у меня В. И. Суриков, просидел вечер и пригласил посмотреть его «Ермака», о чем я подробно говорю в своем этюде о Сурикове. В это же время я часто бывал у В. М. Васнецова. Там, в его семье, отдыхал душой.

По письмам того времени, нелегко жилось тогда моим близким в Уфе. Смерть матушки всех выбила из обычной колеи.

Работы шли своим порядком. В это время я писал образа для Петербургского храма Воскресения, что заказаны были мне кавалергардами, а затем уехал в Петербург, чтобы договориться с Парландом по поводу нового заказа.

Личное мое впечатление от знакомства с ним было очень невыгодное. Внешне корректный, полуангличанин, полу- не знаю кто, Парланд был прежде всего с ног до головы противоположность нашему Прахову. Насколько тот был во всех своих делах и поступках даровит, полон жизни, настолько Парланд был сух, манерен, робок и бесталанен. И все, что его окружало, было ему под стать.

Наши переговоры кончились на том, что я, прежде всего, выполню картоны для наружных мозаик (аршин по двенадцати), а о дальнейшем разговор будет вестись потом.

Совсем иное впечатление на меня произвел полковник Д. Я. Дашков. Умный, спокойный, он сразу же дал понять, что никаких официальных, казенных приемов в сношении с ним не должно быть. Он с первых же слов принял, так сказать, в этом заказе мою сторону. Так и было во все время моих с ним деловых встреч.

1894 год подходил к концу. Я провел рождество в Уфе. Наступил новый 1895 год. Что он принес с собой — постараюсь здесь припомнить, рассказать.

Вернувшись из Уфы, я устроился в Кокоревке, где тогда жилось немало художников и где жил мой приятель Аполлинарий Михайлович Васнецов.

В эту зиму я выставил свои эскизы к Владимирскому собору на Периодической выставке, тогда очень оживленной и недурной по своему составу. Особенно хороши были в тот год вещи Константина Коровина и Серова.

Часто видался с В. М. Васнецовым, бывая у него, как дома. Нас связывали Владимирский собор и годы, проведенные вместе, так сказать, душа в душу в Киеве.

Васнецов тогда имел огромный успех. Заказы и разные «милости» на него сыпались со всех сторон.

Часто в это время, бывая у Виктора Михайловича с Аполлинарием, мы с Виктором Михайловичем всячески донимали бедного малого его «либерализмом», впрочем, весьма умеренным.

В феврале я снова был в Петербурге, где мне удалось в переговорах с председателем храмовой комиссии генерал-адъютантом Скалоном добиться повышения расценки работ мсих и Васнецовских. Удалось, быть может, потому, что тогда многим казалось (что и высказал Скалон), что «как ни вертись, а без Васнецова и Нестерова не обойтись». Я согласился на малую расценку лишь на образа для наружных мозаик. Что же касается образов иконостасов, то они должны были быть оплачены по-иному. Тогда же я перешел в специально построенную мастерскую при храме Воскресения, где и принялся за огромные картины для наружных мозаик («Воскресение» и «Спас с предстоящими»), быть может, самые слабые из всех, когда-либо сделанных мною образов.

Кавалергардский заказ я закончил. Образа понравились, были приняты с благодарностью.

П. П. Чистяков предложил написать образа для мозаики графу Орлову-Давыдову. Отказался под предлогом усталости. На самом же деле я рвался к живому делу, к своим темам и картинам.

В марте я оставил Петербург, поехал в Киев. Здесь все сдал; «Богоявление» приняли и даже похвалили.

Я сделался свободным человеком. Расстался с Киевом. Провожать меня на вокзал приехали вся семья Праховых, все «соборяне» и киевские друзья. Прелестный старичок художник Харитон Платонович Платонов расплакался, как ребенок, прощаясь со мной. Всем этим я был очень тронут

Такое отношение ко мне моих друзей примиряло меня с неприятностями и интригами соборного комитета.

В апреле я опять в Москве. Любовался Эрнесто Росси в «Шейлоке», «Лире», «Гамлете». Великое мастерство, мастерство гениального художника. Впечатление неизгладимое, хотя Росси было уже с лишком шестьдесят лет³⁵.

Виктор Михайлович перебрался в свой новый дом, было справлено новоселье.

П. М. Третьяков приобрел в тот год у Аполлинария Михайловича его прекрасную «Каму», и мы на радостях презрительно тогда кутнули. Был и Виктор Михайлович, много было высказано патриотических чувств, причем, по обыкновению, сильно досталось нашему «вольнодумцу» Аполлинарию.

Весну, весь май прожил в Сергиевском Посаде. В конце мая выехал в Уфу, причем по дороге решил побывать с моим старым приятелем В. М. Михеевым (еще по училищу Воскресенского) в Переславле-Залесском, в Ростове Великом, в Угличе, Ярославле и из Ярославля пароходом проехать на Нижний — Самару к себе на родину. Опишу более подробно свое путешествие.

Мой спутник, Василий Михайлович Михеев, был добродушный, неимоверной толщины маленький человек с длинными волосами, с чисто русским лицом. Он был литератор из сибирских золотопромышленников. Появление Василия Михайловича вызывало везде и всегда единодушное удивление, улыбку, до того он был забавен своей толщиной. По улице он, бывало, катился, как большой мяч. Писатель он был из второстепенных, но любил свое ремесло очень, считал себя поэтом народолюбом, либералом.

Так вот с этим-то моим приятелем мы решили осмотреть северные наши города, ограничив себя, однако, сначала немногим. У меня лично была и прямая цель поездки: повидать Углич, подышать, так сказать, его историческим воздухом и, если можно, написать этюды для задуманной мною еще в Киеве картины «Димитрий царевич убиенный».

По порядку следования мы прежде всего попали в Переславль-Залесский. Переславль показался нам уголком XVII века. Грязные бревенчатые мостовые, отсутствие самого минимального комфорта, так называемые Ряды, около коих, как на Форуме, вечно толчется разный люд. Тут и юродивый, и шутиха, и весь персонал быта времен первых Романовых.

Мы подробно осмотрели все старые храмы, монастыри, и в одном из них моему спутнику удалось добыть старую переславскую легенду об «Отроке-мученике», которую он

потом переделал в детский исторический рассказ, мною иллюстрированный (там были и два прекрасных рисунка Сурикова). Рассказ этот был богато издан Марксом и в свое время имел успех.

До чего нравы Переславля были еще первобытны, можно заключить из того, что единственного фотографа, который там жил, бывшего ученика Училища живописи, некоего Курчевского, обыватели считали за колдуна, его боялись и неохотно давали ему увековечить себя. Жил этот бедняга, перебиваясь, что называется, с хлеба на квас.

Помню еще в Переславле великолепное, огромное историческое озеро. Оно было бурное в те дни, что мы были там.

Иным нам показался Ростов, такой чистый, приятный. Мы сейчас же отправились в кремль, в былую Палату, где помещался музей, собранный трудами двух замечательных ростовских граждан — Шлякова и Титова. Один из них был шорником, другой торговал «красным товаром»³⁶. Это были ростовские Монтекки и Капулетти, и, однако, именно их трудами был восстановлен из разгалин дивный кремль ростовский, с его храмами, с архитектурой митрополита Ионы Сысоевича, такой своеобразной, средневековой.

Шляков нам показал, с необыкновенным знанием дела, музей, директором которого он и был. Проводил и показал нам храмы, где была открыта и неплохо реставрирована живопись времен Грозного царя.

Вечер мы очень приятно провели у Шлякова, более похожего на московского профессора сороковых годов, чем на шорника.

На другой день нам доставили возможность слышать знаменитый колокольный звон. Особые звонари исполняли на искусно подобранных колоколах ростовской соборной звонницы ряд пьес, коим были присвоены исторические имена: звон Ионы Сысоича, звон св. Дмитрия, митрополита ростовского, и последний звон — в честь архиепископа ярославского Ионафана, много и с толком потрудившегося над восстановлением поволжской церковной старины.

Осмотрев все, что было можно, мы рано утром выехали на тройке с колокольцами в Углич, отстоявший от Ростова верстах в девяносто. По дороге заехали в знаменитый Борисоглебский монастырь, где так любил бывать царь Иван Васильевич, где все как бы еще хранило на себе следы этого Грозного владыки допетровской Руси. Там мы нашли богатую ризницу, весьма запущенную.

Вечером того же дня мы были в Угличе. Ехали старым трактом через лес, и ямщик показал нам кнутовищем

место, где когда-то на него напали разбойники и он ушел от смерти чудом или, вернее, обманом. Покорно слез он с козел (ехал один «обратным») и незаметно достал ключ от колес, да и давай им лупить направо-налево своих губителей. Тех было двое — растерялись и в лес убежали...

На другой день с утра мы с Михеевым (толстяк был неутомим) принялись ретиво за осмотр Углича. Побывали в музее, переделанном из дворца царевича. Там я видел много икон с изображением убиенного. Они все, как одна, совпадали с тем, что мне мерещилось о нем.

Побывали мы и в церкви св. Димитрия царевича на крови, где обрели удивительную пелену, будто бы шитую матерью царевича в его память шелками и золотом. Это превосходное художественное произведение лежало в ящике от гроба, в коем везли тело царевича когда-то в Москву. Пелена была запущена, зацелована до неузнаваемости.

Мы с Михеевым тут же решили спасти эту дивную вышивку. Написали в тот день письмо Шлякову в Ростов и архиепископу Ионафану в Ярославль, прося их обратить внимание на эту вещь. Нам это удалось. Пелена позднее была, сколько возможно, приведена в порядок и положена в особый ящик под стеклом.

Я сделал этюд с тех мест, которые по плану могли находиться во время убийства фоном этой загадочной драмы.

Из Углича, мимо Рыбинска, Романова-Борисоглебска, проехали мы в Ярославль, где, уже усталые, осмотрели всё наиболее ценное, — дивную роспись «Иоанна Воина», «Ильи Пророка»³⁷, — и через Кострому и Самару я пробрался, довольный тем, что видел, что удалось собрать для будущей картины, в свою Уфу.

Время в Уфе провел обычно. Рад был видеть свою дочку, но то, что не было больше матушки, не было в доме ее глаза, ее объединяющей воли — было тяжело. Отсутствие ее о себе напоминало постоянно...

В Уфе я написал своих «Монахов» («Под благовест») и «Чудо» и привез их в Москву. Там они всем очень понравились. Много похвал им расточалось в те дни. Были Васнецов, Суриков. Помнится, как-то зашел Левитан, которому очень понравились «Монахи», и сказал мне, что я «сумел заставить его примириться с монахами». Наезжал П. М. Третьяков, которому тоже «Монахи» понравились, но... он их не взял.

Название «Под благовест» после долгих поисков дал бывший у меня в мастерской писатель-романист Всеволод Сергеевич Соловьев. Был он тогда, помню, с женой своего брата Михаила, матерью теперешнего католического свя-

щенника — поэта Сергея Михайловича Соловьева. Картина им очень нравилась.

Тогда же я писал оригиналы для мозаик в иконостас храма Воскресения.

Осенью, кажется, в ноябре, в Историческом музее была открыта, как всегда, с великим шумом, выставка картин В. В. Верещагина из эпохи 1812-го года. Я был на ней. Картины были слабее предыдущих, сделавших имя Верещагина всемирным. Он был, конечно, еще «орел», но орел, подстреленный безжалостной старостью.

Самой выразительной, яркой мне тогда показалась большая картина — отступление, бегство Наполеона. Трескучий мороз. Великий человек потерпел первое и самое сильное поражение. Его жалко, не менее жалко на этой выставке и самого Верещагина, звезда которого, очевидно, тогда начала меркнуть.

В те дни разнеслись по художественной Москве слухи о болезни Павла Михайловича Третьякова, к счастью, оказавшиеся преувеличенными. У него было расширение желудка. Доктор запретил ему ездить иначе, как в экипаже на резинах, но упрямый старик наотрез отказался ездить в таком экипаже и жестоко поплатился.

Новый, 1896, год для меня начался хорошо. Часть моих эскизов к Владимирскому собору на петербургской акварельной выставке были приобретены императрицей Марией Федоровной.

Работы для храма Воскресения шли своим порядком. Я окончил образа иконостасов, и мне было предложено сделать над окном больших размеров композицию «Спаса Нерукотворного с предстоящими».

В конце января я в обществе Мягосдова и других передвижников отправился в Петербург на очередную Передвижную выставку, где на этот раз выставял «Под благовест». В Петербурге был впервые на балу, данном в пользу учеников Академии художеств. Впервые надевал фрак и прочее, что полагается при сем. Чувствовал себя хорошо, но потом больше никогда на подобных балах не появлялся. Там видел старика Айвазовского, окруженного поклонниками, дамами, словом, во всей славе своей.

В тот год я был избран в члены Товарищества, прошел огромным числом голосов, и лишь один Ефим Волков был против. За меня очень ратовал Шишкин, как за художника с ярко выраженным национальным чувством. Я впервые, по праву члена Товарищества, присутствовал при посещении выставки «высочайшими особами»...

Перед прибытием царской семьи на выставке был президент Академии вел. кн. Владимир Александрович с вел. кн. Марией Павловной. Вел. князь, как всегда, с художниками держал себя очень просто, охотно вступал в разговоры. Его грубоватая манера говорить, высказывать свое мнение была всем нам известна.

На другой день было воскресенье. Наша выставка открывалась для публики. Мы — молодые — Серов, Коровин, Левитан и я, успеха не имели. Передвижная публика привыкла к «своим», к Крамскому, Репину, Шишкину и к менее их даровитым Киселеву, Волкову, Лемоху. Перед нами останавливались недоуменно, покачивая вопросительно головами. И много понадобилось времени, чтобы старые симпатии ослабели или, если не так, то не мешали бы зарождению новых. Однажды пришел и наш час. Мы стали понятными и любимыми, но мы уже не имели того молодого энтузиазма, и похвалы оставляли нас сдержанными, недоверчивыми, неудовлетворенными.

На открытии выставки была, по обыкновению, масса народа. В те времена вся русская интеллигенция была с передвижниками, и если этот день был наш праздник, то он был и интеллигентский праздник. В нас жила одна душа.

В этот день, помню, ко мне подошел и познакомился тогда еще молодой Александр Бенуа, сказал мне много любезного по поводу моих «Монахов», тогда же стал «искушать» меня объединиться с ними, с молодежью, а так как к тому времени уже немало накопилось горечи в моих отношениях к передвижникам, то, естественно, «искушения» Александра Николаевича пали на добрую почву. С тех пор я стал бывать у мирискусников, у Бенуа, у Дягилева. Они многим нравились мне, а что-то в них мне было чуждо, непонятно. Но пока что нравились они мне больше, чем не нравились.

Нас четверо — Левитан, К. Коровин, Серов и я — скоро вошли в общество «Мир искусства», стали с будущего года участниками первых его выставок.

Перед самым отъездом я получил приглашение участвовать на мюнхенской выставке «Сецессион», имевшей в те времена наибольший после парижского Салона успех в Европе. Мне это было ново и приятно, тем более, что такое же приглашение тогда получил и В. М. Васнецов.

«Под благовест» в первые дни передвижной выставки среди публики, повторяю, успеха не имел. Нравилась она художникам, особенно Архипу Ивановичу Куинджи.

В день открытия выставки: очень единодушно и искренне прошел ежегодный обед у Донона, который дали передвижники. Обед, говорят, стоил четыреста рублей (на сорок человек).

В тот год я недолго оставался в Петербурге. Дела призывали меня в Киев. Там я должен был исполнить каприз киевских дам — переписать лицо св. Варвары, отдаленным оригиналом для которой послужила мне Леля Прахова.

Приехав в Киев (во второй половине февраля), я в тот же день был у Праховых, где всегда имел радушный прием. Очаровательная Леля была по-прежнему очаровательна, Оля по-прежнему толста и резва.

Собор имел почти законченный вид. Золотились его главы (на пожертвование старого Николы Терещенко). Собор внутри представлял очень нарядное и неожиданное зрелище. Тогда он еще не был использован в тысячах копий с Васнецова и с меня, его не превратили еще в источник эксплуатации российские иконописцы и церковные старосты, так полюбившие его после необычайного и шумного успеха.

Я пробовал привести Комитету все резоны, почему необходимо было лицо Варвары оставить непереписанным. Все было напрасно. Комитет, загнинотизированный графиней Игнатьевой и киевскими дамами, оставался неумолим.

С огромным трудом удалось Васнецову уговорить меня сделать эту уступку (мне было дано понять, что если я не перепишу голову сам, перепишет другой художник).

Варвару я переписал. Лицо стало более общее, в нем утратилась индивидуальность милого оригинала. Выражение я старался удержать прежнее, что, будто бы, мне удалось. Комитет был в восторге. Меня благодарили.

Это была самая крупная неприятность, какую я имел за время росписи Владимирского собора.

Я попросил выдать мне официальное постановление Комитета о переписании «Варвары», чтобы оправдать себя на случай возможных упреков общества, так как «Варвара» по фотографиям была уже известна в Петербурге.

В начале марта я вновь был в Петербурге, возился с картонами для Парланда...

Обычные вечера у Ярошенко. Либеральные разговоры. Отношения ко мне оставались прекрасные. Объясняю это тем, что Ярошенко чувствовал мою искренность в своем, как он был правдив в своем, и что оба мы любили Россию.

Наступала весна, хотелось скорее уехать в деревню, в лес, на этюды. Казалось, стоит только бросить Питер — и преждее вернется, буду чувствовать себя моложе...

Опять Москва, опять Васнецовы, москвичи, обеды... Виктор Михайлович пришел в хорошее настроение, раздобрился, подарил мне эскиз «Слово о полку Игореве» (ночной) и превосходный ахтырский этюд для «Озера с лебедями». Оба они были мной впоследствии принесены в дар Уфимскому музею.

Помню, мы устроили вечеринку. Был с нами юный поэт Бальмонт. Рано-рано утром очутились мы у Василия Блаженного в довольно блаженном настроении. Бальмонт объяснялся с кем-то в любви, потерял свою шляпу. Он читал тогда свою новую поэму «Мертвые корабли».

Собрались у Левитана Поленов, оба Васнецова, я, актер Ленский с женой и добродушный толстяк-писатель Михеев. Он читал свое новое произведение. Скука была смертная. Конца не было бесталанному писанию бедного Василия Михайловича. Радость была безмерная, ничем не прикрытая, когда пытка кончилась и всех пригласили к ужину, и мы скоро позабыли о творчестве незадачливого писателя-приятеля. Пирования тогда чередовались: то обедали у Остроухова, то ужинали у Архипова. Славно в те дни жилось нашему брату-художнику, весело, приятно. Судьба баловала нас на все лады.

Обратились ко мне с заказом из Баку. Я отказался по тем же причинам, что и от предложения графа Орлова-Давыдова.

Опять Петербург, опять несносный Парланд... В один из наших разговоров он предложил мне взять на себя роспись всего храма Воскресения. По его словам, это было бы хорошо для дела и для меня. Получилось бы единство. Я понял значение этого предложения. Значило: отдай всего себя, без остатка. Мы тебя выжмем, как лимон, заплативши гроши, и о тебе забудем. Мое простодушие не простиралось безгранично. Я хотел остаться художником.

Через несколько дней разговор возобновился, и я категорически отказался от почетного, но губительного для меня предложения.

На Невском встретил киевского вице-губернатора Федорова. Он поведал мне, что в царской семье ожидают появления маленького наследника, по этому случаю освящение киевского Владимирского собора произойдет менее торжественно, — государь на освящении едва ли будет

присутствовать. До августа оставалось еще много времени, загадывать о чем бы то ни было было рано.

Заболел Н. А. Ярошенко. Подозревали горловую чахотку. Проводили его в Египет, в Палестину. Николая Александровича все любили, он был чудной, благородный человек, хотя и «в шорах».

У «Европейской гостиницы» видел китайского Бисмарка — Ли Хунчжана³⁸. Старик большого роста, лицо значительное, костюм национальный — очень простой и богатый в то же время. Он куда-то ехал в придворном экипаже.

В мастерскую мою на Екатерининском канале заезжала Мария Павловна Ярошенко с С. — богатой невестой. Мария Павловна не прочь была ее мне посватать. С. — добродушная, некрасивая толстуха, страшно нарядно одетая. Были как бы неофициальные смотрины. Увы! — Мой идеал был иной...

Приближалась Всероссийская Нижегородская выставка. Туда посланы были переписанный «Сергий с медведем» и «Под благовест».

Приближались коронационные торжества. Я думал уехать к Черниговской, вернуться на день-два, посмотреть на торжества из окон своей Кокоревки. Однако вышло не так.

Помнится, 9 мая был торжественный въезд царя в Москву. Я не подумал о билете, о пропуске, этим создал себе кучу хлопот, потратил много энергии, добывая себе место. Не обошлось без курьезов.

На Красной площади были устроены трибуны. На них спокойно сидели, ожидая въезда царя, те, кто раньше достал себе место. Там были Васнецов, Маковский, Серов, Матэ, словом, люди предусмотрительные.

Я поступил иначе. Пробрался к самым трибунам. Там предприимчивые люди на принесенных из дому скамейках продавали места по рублю. Таких скамеек было множество, все они были абонированы. На одной из таких скамеек поместился и я, а со мной дама и кавалер, говорившие все время по-французски. Оставалось ждать час, два, пять — это было неважно.

Вот появляется знаменитый обер-полицмейстер Власовский, видит, с каким комфортом мы устроились (а были нас чуть не тысячи), делает жест, не проходит пяти минут, как мы все слетаем с наших импровизированных трибун. Мои соседи, говорившие только по-французски, стали превосходно ругаться по-русски. Скамейки шумно развалились, а владельцы их благоразумно мигом куда-то исчезли. Пришлось искать другое место — я его скоро нашел.

В 12 часов девять пушечных залпов известили о начале приготовлений. Навстречу царю выехал из Кремля великий князь Владимир Александрович со свитой. В половине третьего колокольный звон всех московских церквей, пушечная пальба известили о том, что торжественный въезд начался, и лишь около пяти часов показался головной взвод полевых жандармов, за ними конвой его величества и прочее.

Привезли в золотых каретах сенаторов. Старички так устали, что, подъезжая к Кремлю, уже спали сном младенцев. Про Делянова Васнецов острил, что его к тому времени уже нечем наградить. Он имеет все знаки отличия до Андрея Первозванного включительно и к коронации при особом рескрипте будет пожалована соска.

За сенаторами ехали «разного звания люди». Прошли скороходы, арапы, взвод кавалергардов. Прогарцевали правители народов Азии — эмир Бухарский, хан Хивинский — все в шитых золотом халатах, на чудных скакунах.

Опять кавалергарды, и только тогда стало слышно далекое раскатистое «ура». Оно быстро приближалось, крепло, росло, наконец, загремело где-то близко около нас с поразительной силой.

Войска взяли на караул, музыка заиграла, показался на белом арабском коне молодой царь. Он ехал медленно, приветливо кланялся народу, был взволнован, с бледным, осунувшимся лицом...

Царь проследовал через Спасские ворота в Кремль. Народ стал расходиться...

В девять часов вечера зажглась иллюминация. Началась волшебная сказка, сон наяву. Народ ходил, как очарованный, среди блистающего самоцветными камнями, миллионами огней города, Кремля, любясь диковинным зрелищем. По деревьям Александровского сада висели огненные цветы, плоды. Все сияло, переливалось, сверкало золотом, алмазами, рубинами на темном фоне весенних сумерек, потом тихой майской ночи...

А позднее мы заметили пламя на Спасской башне, выше часов. Пожар был потушен. Народ шептался... Все придумались...

А там Ходынка ³⁹, тысячи жертв, впечатление зловещее. Было ясно, что где-то и что-то неладно, неладно в самых недрах Царства Российского. Ходынка была началом грядущих событий.

24-го мая царь и царица были у Троицы. Я видел их близко. Когда царский экипаж подъехал к Святым воротам, митрополит и духовенство опоздали к встрече, за что тут

же преосвященный получил от вел. князя Владимира Александровича громкое: — «Что вы, владыка, спите там!»

В Нижнем, как и на всех выставках в мире, ко дню открытия не было ничего готово. Императорская чета въезжала в Нижний при страшном урагане, наделавшем много бед на выставке.

Старания Витте и Саввы Ивановича Мамонтова успехом не увенчались. Художественный отдел был слабый. Мои картины — «Сергий с медведем» и «Под благовест» — и эскизы висели плохо. Лучшими экспонатами были Сапожниковы со своими парчами и шелком и Морозовы со своей мануфактурой.

У Саввы Ивановича Мамонтова на выставке произошло первое открытое разногласие с Витте⁴⁰. Поводом к нему были декоративные панно Врубеля «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович». Обе вещи больших достоинств и размеров были забракованы академической экспертной комиссией (ректором Беклемишевым и другими). Виктор Васнецов, бывший на вершине своей славы, спрошенный Витте на балу генерал-губернатора о том, как он — Васнецов — смотрит и ценит панно Врубеля, ответил уклончиво, чем якобы утвердил в глазах Витте мнение академической комиссии.

Судьба Врубеля была решена: панно в Художественный отдел на заготовленные места приняты не были. С. И. Мамонтов, оскорбленный этим, построил за свой счет особый павильон, где и были выставлены эти прекрасные вещи.

Из Нижнего я уехал в Уфу, а оттуда в Киев на торжества освящения Владимирского собора.

19 августа 1896 года была первая всеобщая в нашем соборе. Торжественная служба длилась четыре часа. Дивный хор Калишевского, сотни огней, впервые зажженные перед образами, над которыми когда-то мечтал, в которых осталась частица себя... Все это волновало до слез. Вспомнилось в эти минуты все лучшее в жизни — люди, события, свое счастье. Все, все поднималось на поверхность сознания, будило сердце, призывало его восторженно вторить событию. Это была лучшая награда, о которой я мечтал...

Особенно памятен первый удар колокола в нашем соборе ко всеобщей. Что это был за дивный момент! Собор перестал быть нашей «мастерской», мы — художники — перестали в нем быть хозяевами. Он стал храмом, через который потом прошли сотни тысяч народа со своими радостями, скорбями, с праздным любопытством, с интересом

к искусству, к нам — художникам. А мы, в продолжение ряда лет так в нем обжившиеся, отошли на задний план...

Вот этот дивный благовест в большой колокол тогда и вещал нам об этом и обо многом другом. Сердце трепетно забилось. Совершилось давно жданное.

Митрополичья служба была торжественна. От всенощной мы с В. М. Васнецовым ушли усталые, но счастливые. Что-то готовит нам завтрашний день?..

Настал и он — 20 августа 1896 года. Поднялись мы чуть свет (до сна ли было?). Начали готовиться, снаряжаться. Одели фраки, как именинники, отправились.

Собор выглядел нарядным. Золотые главы его блестели на солнце. Кругом разбит сквер, в нем масса цветов. Толпится всюду народ, и мы идем себе, как ни в чем не бывало.

У нас пропускные билеты. Показали — впустили. Там уже был народ, все самая избранная публика. Скромно заняли мы места позади справа. Стоим. Народ все прибывает.

Приехал генерал-губернатор. Начала собираться царская фамилия. С минуты на минуту ждали прибытия государя и императрицы. Каких мундиров, лент, дамских туалетов не было тут. А у нас где-то там копошится, что все-все эти важные господа и великолепные дамы все же пришли и на нас посмотреть, что мы тут натворили, посмотреть, что там про этих киевских художников кричат. А мы вот тут стоим в сторонке и ни гу-гу...

Еще мгновение, и в открытые настежь двери послышались «ура» и колокольный звон. К собору подъехал царь...

Чин освящения начался суровым красавцем — митрополитом Киевским и Галицким Иоанником со множеством епископов и чуть ли не со всем киевским духовенством.

Меня с Васнецовым и Котарбинским замяли куда-то к стене, и мы простояли бы (герои-то дня!) в блаженной тишине всю службу, если бы кто-то (помнится, какая-то дама) случайно не увидела, что некий исполнительный и рачительный не в меру пристав теснил нас еще дальше. Мы почему-то мозолили ему глаза. И вот в этот самый момент сердобольная душа увидела это, возмутилась, прошла вперед, сказала генерал-губернатору, графу Игнатьеву и... Константину Петровичу Победоносцеву, сказала им, что те, «кто создал собор, кто должен быть впереди всех» — Васнецова и Нестерова — какой-то пристав... и т. д. Немедленно после этого последовало приглашение нам пройти вперед, и мы — все художники — получили место сейчас же за царем и великими князьями.

Освящение подходило к концу. Предстоял крестный ход вокруг собора во главе с митрополитом, со всем духо-

вснством, царем и всей царской фамилией, а также избранными, особо почетными лицами. Вот тут-то мы — герои дня — снова были позабыты и не попали в число тех, что пошли в крестном ходу. Это было горько, особенно Васнецову, положившему на собор весь свой огромный талант и десять лет жизни...

До вторичного посещения государем собора в Киеве шли торжество за торжеством. В Купеческом собрании был парадный концерт, затем великолепная иллюминация сада, всего Киева и Заднепровья. Перед концертом во дворце был парадный обед. Из соборян туда были приглашены только двое: Прахов и В. М. Васнецов. На концерт же все участники создания Владимирского собора были приглашены и на нем присутствовали. Концертом дирижировал Виноградский — музыкант и дирижер очень даровитый. Он был одновременно директором Киевской консерватории (лучшей тогда из провинциальных) и директором... одного из банков. Виноградский был очень нервный, подвижной и страшно увлекался за своим дирижерским пюпитром. Его телодвижения и гримасы были презабавны и служили для киевлян источником всяческих острот. На парадном концерте Виноградский не изменил своей дирижерской манере. Изгибался, неся куда-то вперед, замирал на «пианиссимо» и опять бросался куда-то в сторону гобоев, контрабасов и прочего. И вот в один из этих его «пароксизмов»... у него во всю спину лопнул фрак. К счастью, он в своем артистическом увлечении этого не почувствовал, но заметили все.

По отъезде царя мы, участники создания собора, дали большой обед со многими приглашенными в Купеческом саду нашему шефу, отцу-командиру Адриану Викторовичу Прахову, талантливейшему человеку, блестящему ученому и все же дилетанту по своей природе. Много было за обедом тостов, речей, воспоминаний, пожеланий...

В день отъезда из Киева мы — художники — служили в новом соборе благодарственный молебен. Настоятель после молебна сказал слово, обращенное ко всем молящимся (собор первое время постоянно был полон молящимися и любопытными) и к нам — художникам. Он просил молящихся полюбить собор, как любили его мы — художники. Нам же ученый протонерей пожелал в будущем написать еще лучшие образа и не на медных уже досках, а на золотых... Ученый оратор полагал, что от «золотых» досок выиграет искусство или мы — художники — тем самым превознесем выше облака ходячего... За «золотыми досками» он позабыл и «душу художника», ее священное го-

рение, увы! не зависимое ни в какой мере от того, на чем он — художник — будет писать, создавать, творить высокое, непостижимое, вечное...

В тот же вечер мы с Васнецовым выехали в Москву. На вокзале нас провожали друзья-соборяне, а также старые и новые наши почитатели.

В Москве снова Кокоревка и окончание картин — «На горах», «Труды преподобного Сергия» и «Чудо (Св. Варвара)». Предлагали написать иконостас для собора в Баку. Отказался.

Снова постоянно народ, приятели-художники и просто знакомые, их теперь, после освящения Владимирского собора, прибавилось... Помню, был несколько раз Суриков. Ему из трех картин больше нравится «На горах» — наш уфимский пейзаж. Как-то зашел ко мне Серов — редкий у меня гость и строгий судья. Ему понравилось «На горах», а от «Чуда» он пришел в ужас.

Заехал как-то Остроухов. Ему понравилась «На горах» и, что уже совсем неожиданно, очень понравилось «Чудо». Таких отзывов об этой картине мне еще не пришлось слышать. Остроухов, склонный к преувеличению и озобоченный тем, чтобы его мнение не было похоже на мнение других, сказал, что «Чудо» — моя лучшая вещь, прибавив, что ставить ее на выставку необходимо (я хотел «выдержать» ее в мастерской), что «Чудо» будут ругать, но что вещь эта тонкая, интересней панно Врубеля. Ну, хорошо, думаю, посмотрим.

Был и Васнецов в мастерской, хвалил вещь как-то преувеличенно. Его в то время стал сильно доносить Прахов. Причиной тому был киворий, перенесенный из алтаря в крестильню. Как-то Васнецов дал мне прочесть полученное из Франции письмо Третьякова. В нем Павел Михайлович отзывался о Владимирском соборе как об одном из самых вдохновенных по живописи новых храмов Европы...

Был Левитан. «Чудо» и ему понравилось.

Была Елена Дмитриевна Поленова. Вещи мои пришлись ей по душе. Она проявляла ко мне особенные симпатии, да и все единодушно тогда находили, что мое искусство крепнет, идет в гору, что я делаю успехи в форме. Последнее меня особенно радовало, так как за пять лет собор мог меня приучить к большой распушенности в рисунке.

Зато нервы мои после всех пережитых событий поистпортились, и мне посоветовали лечиться гипнотизмом у славившегося тогда молодого ученика Шарко проф. Токарского. Первые опыты Токарского были удачны, но я скоро вышел

из-под его влияния, а затем и вовсе бросил это надоевшее мне занятие.

Тогда я написал отцу: «На днях появилась жестокая статья о Васнецове в «Журнале философии и психологии». Васнецов, как Вагнер, станет еще выше, еще значительнее. Слава о нем сейчас разносится повсюду».

Познакомился я с молодым фон Мекком. Он заказал мне два небольших образка на могилы его родителей, похороненных в Новодевичьем монастыре. Фон Мекк в те дни был в полосе увлечения русской живописью. Приобрел у Анатолия Ивановича Мамонтова васнецовскую «Аленушку», позднее врубелевского «Демона» и «Пана». Он имел художественно развитой, капризный, но несомненный вкус.

Было бурное собрание передвижников, на котором отличился наш В. И. Суриков, наотрез отказавшийся дать свои вещи для репродукций в юбилейном издании, прося за право репродукции с Товарищества 2000 руб. Причем со свойственной ему бесшабашностью заявил, что в последнее время религия его — деньги.

В компании художников был на «Рогнеде» в Мамонтовском театре. Постановка и декорации были исполнены В. А. Серовым и К. А. Коровиным превосходно.

Был у Серова, видел последние вещи. Они слабее прежних, хотя мастерство остается. Беда Серова в том, что природа отказала ему в воображении. Его эскиз «Мамаево побоище» для одной из стен Исторического музея — слаб. Серов старался убедить зрителя, что без исторического видения, без особого чутья обойтись можно. Серов силен не этим. Он подарил мне акварельный рисунок князя Владимира для «Рогнеды».

Были на свадьбе Алексея Степановича Степанова, нашего «Степочки», женившегося на Медынцевой из богатого купечества. Она была мила, сам Степочка — очарователен. Выглядел немного федотовским майором. Аполлинарий Васнецов был шафером. Он долго репетировал свою роль, чтобы не оплошать перед именитым московским купечеством. Во время венчания сильно волновался, был бледен, растерян, много способствовал нашему веселому настроению. Казалось, что бедный Аполлинарий побаивается, чтобы по ошибке не женили его, вместо Степочки. Потом мы долго изводили Аполлинария тем, что старик Медынец, любивший одинаково хорошего повара и хорошего художника, выдаст ему замуж вторую свою дочь, смело укрощавшую огромного дога, беря его за пасть.

Был юбилей Репина. Почтенный Илья Ефимович немало сделал бестактностей, вызвавших газетную грызню⁴¹. Поленов также праздновал свой юбилей. Он прошел без инцидентов.

Заболел Левитан. При входе на выставку «Московских художников» с ним сделалось дурно. Еле живого его привезли домой. На другой день его осмотрел профессор Остроумов, признал сильнейший порок сердца. Болезнь неизлечимая, хотя при самом покойном образе жизни, для Левитана по многим причинам немислимом, он мог бы прожить пятьдесят лет. Нас всех, художников и почитателей прекрасного, такого искреннего, поэтического дарования Левитана, его болезнь очень тяжело поразила. Я любил этого человека не только за его талант, но и за хорошую, нежную душу его...

В конце ноября у меня и у Аполлинария Васнецова побывал П. М. Третьяков. Был мил и любезен, но не взял ничего. Третьяков купил коллекцию этюдов молодого Борисова, ездившего на Новую Землю. Ценность не художественная — этнографическая.

В декабре пришлось ехать в Петербург на юбилейное собрание Товарищества передвижников. Работал весь декабрь над образами иконостаса храма Воскресения. Парланд сообщил, что решено весь храм Воскресения покрыть мозаикой и желательнее, чтобы я взялся написать Христа для купола. Парланду отказал.

В декабре, в письме к отцу отмечено, что «в Мамонтовском театре появился некий Шаляпин — вятич лет двадцати трех-двадцати четырех, с огромным талантом и с прекрасным голосом. Сегодня он поет в «Псковитянке» Грозного».

Новый, 1897, год начался заботами и хлопотами об устройстве моей Ольги в Киевский институт. Кисв меня знал по Владимирскому собору, там оставалось немало друзей, между коими была начальница института графиня М. А. Коновницына. Мария Акинфиевна делала все, чтобы облегчить поступление Ольги. Хорошо поставленный Киевский институт выделялся из всех провинциальных. Графиня Коновницына была живая, энергичная, с добрым лицом, отзывчивым сердцем. Она душу полагала в дело, ей порученное.

Одновременно я готовился к Передвижной выставке. В тот год у меня были «Труды преподобного Сергия» и «На горах». Кроме картин я написал для иконостаса храма Воскресения четыре образа.

Во второй половине февраля художники, полные надежд, двинулись в Питер. Выставка была юбилейная (двадцатипятилетие Товарищества). Я впервые, как член Товарищества, должен был принять участие в приеме экспонентских картин, в выборе новых членов. Решил, что буду голосовать за талантливых — бесталанных к тому времени накопилось на Передвижной достаточно... Но в члены Товарищества в тот год прошел один Костанди. Костя Коровин, Досекин и Пастернак были забаллотированы. Мы — тогдашняя молодежь — этим были возмущены.

Выставка была в неудобном помещении Общества поощрения художеств. Перед открытием выставки был президент Академии художеств вел. кн. Владимир Александрович. Государь по болезни в тот год был у нас лишь в конце выставки. Традиционный обед Товарищества, несмотря на то, что выставка была юбилейная, прошел вяло, и только при появлении старика Шишкина раздались бурные приветствия.

Центром выставки был васнецовский «Грозный», еще в Москве приобретенный Третьяковым. Другой крупной картиной был долгожданный «Иуда» Ярошенко. Картина Николаю Александровичу не удалась, он с сокрушенным сердцем это видел. Неудачна была и большая картина Мясоедова «Искушение Христа». «На горах» и «Труды преподобного Сергия» поставлены были удачно. Соседями были Левитан, Серов, Константин Маковский.

Отношение к «Грозному», как и к моим вещам, было сдержанное. Лемох спросил Архипова, нравится ли ему «Грозный». Последний ответил — «нравится». Тогда всегда сдержанный, корректный Лемох в недоумении спросил Архипова: «Тогда, может быть, вам нравится и Нестеров?» Ответ был как будто бы утвердительный.

Репин к другу своей юности В. Васнецову за «Грозного» был беспощаден. Обходя со мной выставку, Илья Ефимович, остановившись у «Грозного», заметил вскользь: «Обидели Грозного». И постояв у картины, спросил наивным тоном: «Что это у него в руке? Очки?» — Я сказал: «Лестовка»⁴².

С «Грозным» было то же, что за два года перед тем с Суриковским «Ермаком». Обе картины вовсе не вызвали споров. К ним остались равнодушны. Будущее показало, что «Грозный» и «Ермак» были разноценны. Время обнажило все недостатки «Грозного», «Ермак» же возрос с годами в своем значении до «Морозовой», и быть может, превысил эту великолепную картину компактностью композиции и мистическим воодушевлением.

В Академии художеств произошли волнения среди академистов. Около четырехсот человек было уволено. Профессору А. И. Куинджи было предложено оставить Академию. Она закрывалась на неопределенное время⁴³.

В тот мой приезд в Петербург Прахов всячески старался меня афишировать, всюду возил меня. Я был вместе с ним во дворце гр. Шереметева, на торжественном заседании образовавшегося тогда «Общества ревнителей просвещения в память императора Александра III». Прахов читал там доклад «О значении передвижников и об отношении к ним покойного государя». При этом большое место было отведено Владимирскому собору. Собор и был центром праховского доклада. Он был, по его словам, художественным центром русского искусства в эпоху Александра III. Наши имена, особенности дарований были разукрашены так, что я не знал, куда деваться.

В те дни я встречался с Праховым то там, то здесь. То на дягилевской выставке шотландцев, то в Академии. Прахов был всюду и везде. Ходили слухи, что он не сегодня-завтра будет назначен вице-президентом Академии художеств вместо Толстого, что Прахов заменит бездарного Парланда по сооружению храма Воскресения... А наш Адриан Викторович был таков, что от него можно было ожидать всяких неожиданностей...

В тот мой приезд в Петербург с меня написал схожий, но малоинтересный портрет Н. Д. Кузнецов. Портрет этот находится в Уфимском музее.

В начале марта я уехал в Москву. Весна в тот год была ранняя. Приближался месяц, когда Олюшка должна была ехать в Киев держать экзамен в институт.

У меня созрела мысль принести Третьяковской галерее, тогда уже подаренной Павлом Михайловичем городу Москве, две свои картины и эскиз из жизни преподобного Сергия. Картины «Юность» и «Труды пр. Сергия» в свое время не были взяты в галерею. Между тем общество их ценило. Мне казалось, что весь цикл картин из жизни преподобного Сергия должен быть в Москве, вблизи места его подвижничества. Я посоветовался с близкими и письмом к Третьякову, как пожизненному попечителю галереи, просил его принять названные вещи в дар городу Москве.

Павел Михайлович, по получении письма моего, немедленно явился ко мне и в самых трогательных выражениях благодарил меня «за сочувствие его делу». Затем, когда вещи были уже в галерее, я получил официальную благодарность от кн. Голицына, тогдашнего московского городского головы. Таким образом, весь цикл моих картин из

жизни Сергия Радонежского с того времени стал достоянием русского общества. По слухам, что доходили до меня, поступок мой был принят хорошо. Мне говорили об этом и Виктор Михайлович Васнецов и другие. Вообще в те дни ко мне многие были настроены более чем сочувственно. Говорили, что я для многих сейчас ближе, чем Васнецов.

В Москве «На горах» приобрела немало почитателей. Здесь она и выглядела по-иному. Деловитому Питеру мало было дела до того, что на душе у моей героини, или, как некоторые называют ее, «Фленушки»⁴⁴.

В мае Олюшка с моей сестрой ездили в Киев. Там она держала экзамен в институт, выдержала его и вернулась в Уфу до осени. В Киев должен был и я переселиться на долгие годы.

Пока что я устроился около Троицы в Вифании, там работал до отъезда своего в Кисловодск, куда еще зимой обещал приехать Ярошенкам, к которым все более и более располагалась моя душа.

В начале августа я был в Кисловодске. Николай Александрович Ярошенко тогда только что вернулся из-за границы. Он был совсем без голоса. Говорили, что у него несомненно горловая чахотка. Он по-прежнему был мил, остроумен и хорошо настроен ко мне.

В Кисловодске в то лето было еще двое тяжелобольных — чахотка в последней стадии — молодых художника: сын покойного В. Г. Перова — Владимир, малодаровитый, малоприятный красивый молодой человек, и Сергей Анфимович Щербиновский, тоже красивый, как оперный Ромео, очень мягкий, деликатный, не даровитый. Щербиновский был брат так называемого «Митеньки» Щербиновского, способного, безалаберного болтуна-художника. Сергей Анфимович часто бывал у Ярошенок.

В то лето я написал с Николая Александровича Ярошенко небольшой, слабый по живописи, но довольно похожий портрет на воздухе, в саду, теперь находящийся в Полтавском музее.

Тогдашнее пребывание в Кисловодске осталось памятным мне на всю жизнь еще тем, что там я вторично испытал сильную любовь, ее чары, радости, горести, волнения в такой неожиданной и бурной форме, как, быть может, не пережил в свои юношеские годы.

Как-то, помню, я возвращался от Ярошенок с Сергеем Анфимовичем Щербиновским. Дело было к вечеру. Шли к себе домой, разговаривая о том о сем Щербиновский неожиданно остановился около маленького голубого домика

и просил подождать его минуту-другую, пока он переговорит со своей тифлисской знакомой. В открытое окно Щербиновский окликнул свою знакомую по имени, и тотчас же из окна раздался чарующий, такой глубокий, мелодичный и неотразимо прекрасный, как у Дузе, голос: «Анфимыч, это вы?» Той, что говорила, не было видно за тюлевой занавеской, и она продолжала перекидываться с Анфимычем ничего не значащими фразами, но то, что слышало мое ухо, было так музыкально, так неожиданно прекрасно и трогательно, задушевно, что я, стоя поодаль, не мог без волнения слушать. Невидимая незнакомка пригласила Анфимыча зайти к ней, но он сказал, что не может, что он не один и, на вопрос с кем, назвал мое имя.

Поговорили минут десять, попрощались, и мы с Щербиновским пошли своей дорогой, а дивный голос, его божественная музыка преследовали меня неотступно, и я спросил Анфимыча, с кем он говорил, кто обладательница этого волшебного голоса. Он назвал итальянское имя, под которым моя незнакомка пела тогда в Кисловодске, в опере. Все, что я узнал о ней, все меня влекло к ней, и я просил милого Анфимыча при случае познакомить нас.

На другой или на третий день мы снова проходили с Щербиновским мимо голубого домика, скорей — казацкой хатки с незамысловатым крылечком, и Щербиновский опять окликнул свою приятельницу. Опять та же дивная музыка. Незнакомка просила подождать минутку — она собиралась в театр.

Прошла дозвольно длинная минутка, когда на убогом крылечке показалась она, такая гибкая, хорошего среднего роста, в накинутом итальянском плаще с капюшоном. Лицо веселое, задорное, со вздернутым носиком, на котором как-то выразительно сидело пенсне, а из-под накинутого капюшона капризно выбивались на лоб, на глаза пряди волнистых волос.

Нас познакомили. Она знала «Варфоломея» и еще что-то. Полились дивные звуки не песни, а простой речи, но столь музыкальные, столь задушевные и трогательные, что хотелось слушать и слушать без конца. Мы шли улицей, потом парком.

Я старался, как художник, не только наслаждаться музыкой, но рассмотреть и самый инструмент, который обладает таким дивным свойством. Л. П., так звали г-жу С., была ни в коем случае не красавицей. В ней поражало, очаровывало не внешнее, а что-то глубоко скрытое, быть может, от многих навсегда, и открывающееся немногим в счастливые минуты. Через веселую, остроумную речь сквозили ум и какая-то далекая печаль. В глазах эта печаль иногда пере-

ходила в тоску, в напряженную думу, и тогда задорный вздернутый носик так не гармонировал со складкой упорной думы над ним.

Словом, у моей новой знакомой если и была красота, то весьма субъективная, спорная красота. Но ее голос, его особые вибрации, выпадения букв «л» и «р» для меня лично были совершенно неотразимы. И, как бывает у людей моего порядка, соприкосновение с Л. П. вызвало наружу такой комплекс чувств, впечатлений, образов и слов, что наш бедный Анфимыч, при всей его необычайной красоте оперного Ромео, сразу полинял.

А мы с Л. П. куда-то неслись, нас что-то увлекало дальше и дальше в какую-то волшебную даль. Через два-три дня мы были друзьями, а через неделю мы уже не могли обойтись один без другого. Мы страстно полюбили друг друга. Начались дивные ночи, безумные ночи. Красные камни, серые камни, окрестности Кисловодска знали, слышали то, о чем мы говорили, мечтали, думали, гадали. Анфимыч давно понял, что он лишний, а мы были ему благодарны лишь за то, что он нас познакомил.

В те дни, когда Л. П. была занята на сцене, в театре бывал неуклонно и я. Голосок у моего друга был небольшой, приятный и неказенный голосок, но он и следа в себе не имел того, что было в ее разговорной речи.

Мадемуазель С. лет семь прожила в Париже, брала уроки у Виардо, что едва ли прибавило много к ее сценическому дарованию. Ее роли были исполняемы умно, старательно, но не более.

Конечно, при каждом ее выходе подносились то букет, то венки, преимущественно из белых чайных роз... Кто были эти «многочисленные поклонники», знали только мы с Л. П.

Кончался спектакль, и я уже ждал ее у актерского входа. Она поспешно появлялась в своем итальянском плаще с каким-то капуцинским капюшоном, небрежно наброшенным на кудрявую головку. На задорном носике задорно сидело пенсне. Она была усталая, неудовлетворенная своей игрой, но стоило только остаться нам вместе, и все оживало. Моя «Дузе» касалась меня своим волшебным, чарующим голосом. И счастье вновь воцарялось в наших сердцах.

Конечно, это было не то счастье, что пережито было когда-то в юности с покойной моей Машей. Той юношеской свежести, той как бы целомудренности здесь, может быть, и не было. Но тут было счастье родственных душ, душ двух артистов, двух равноценных культур, развитий, чего не было в первом случае. Так или иначе, но мы обрели

друг друга, полюбили так, что казалось жить нам порознь хуже, чем не жить вовсе. И это «вовсе не жить» в минуты утомления любовным нектаром было для нас таким естественным выходом.

Ярошенко скоро проведали обо всем. Я сознался и просил разрешить представить им свою невесту и на другой день был с ней у Ярошенко. Экзамен был строгий, но Л. П. его выдержала. Была находчива, задорна, остроумна, хотя складочка между бровей была еще резче, а глаза еще более усталые, измученные...

Она понравилась, несмотря на то, что у Марии Павловой для меня были особые виды. Я должен был, по моему мнению, жениться на богатой, а Л. П. была бедна, жила тем, что зарабатывала на сцене у своего антрепренера Форкатти. В ней одновременно жили как бы две души. Живая, впечатлительная душа ее матери — итальянки, и меланхолическая, мистически напряженная душа отца, русского интеллигента-волжанина. Париж и что-то всегда недоговоренное, глубоко затаенное, быть может, какая-то таинственная связь с русской эмиграцией тех времен, делали моего любимого друга временами беспомощным, глубоко несчастным. И это были страшные для нас обоих минуты, часы. Что-то третье становилось между нами и угрожало нашему счастью. Но таинственные воспоминания или непосильные обязательства забывались, и мы оба снова оживали и бурно, беззаветно любили друг друга. Летели часы, дни, недели.

Опера Форкатти окончила свой обязательный срок в Кисловодском театре, и вся труппа уезжала в Тифлис, где она зимовала. Приходил и конец нашим встречам. Настал последний спектакль. Л. П. пела в «Сельской чести». Получила большой венок чайных роз «от почитателей», а на другой день уезжала из Кисловодска с тем, чтобы по окончании контракта с Форкатти бросить сцену и быть моей навсегда.

Вот настал и последний день. Я еду вместе с Л. П. до Минеральных Вод. Ее провожают до Тифлиса ее друзья — мать и дочь — графини Т. Всю дорогу мы говорим, спешим сказать все недосказанное. Л. П. выглядит разбитой, постаревшей (ей тогда было лет двадцать семь — двадцать восемь) Вот и Минеральные. Здесь пересадка на Владикавказ — Тифлис. Часа два мы ждем поезда.

Моя невеста изнемогала от печали, я тоже был сам не свой. Наконец, подали поезд. Она в вагоне. Смотрит из окна постаревшая, бледная-бледная. Что напоминает еще о недавнем — это дивный голос да упрямая прядь кудрей,

пенсне. Остальное все куда-то ушло, погибло. А вот и третий свисток, она у окна, мертвенно-бледная, крестит меня. Я тоже, как потерянный...

Поезд исчезает из глаз. Я еду в опустелый для меня Кисловодск. С дороги несутся открытки. Затем и я уезжаю в Киев, где моя Олюшка уже поступила в институт и куда меня ждут.

Письмо за письмом полетели из Тифлиса в Киев. Сколько жизни, веселья, мечтаний и невыразимой тоски было в этих отзвуках любящей души богато одаренной натуры моей милой. Каждое письмо с новой силой захватывало, восхищало или повергало меня в неизъяснимую печаль.

Каковы были мои письма? — Они, вероятно, были родственны тем, что неслись ко мне с далекого Кавказа.

Так шли дни, недели. Прошло месяца два. День нашего счастья, освобождения от Форкатти приближался, и вдруг я получил письмо. С обычной поспешностью его вскрываю, пробегаю... и все закружилось в глазах.. Л. П. писала, что долгие думы обо мне, о моей судьбе, обо мне — художнике привели ее к неизбежному выводу, что она счастья мне не даст, что ее любовь, такая страстная и беспокойная любовь, станет на моем пути к моим заветным мечтам, что она решила сойти с этого пути и дать простор моему призванию.

Много слышалось в этом письме душу надрывающих дум, намерений. Все сводилось к тому, что люблю, а потому и ухажу. Такое отчаяние, такой душевный надрыв слышался в каждом слове. Заканчивалось же оно просьбой на это письмо не отвечать, принять все с благоразумной покорностью, и что такова-де «наша судьба». Говорилось, чтобы на мои письма ответов я не ждал, их не будет.

Что со мной было первые несколько дней! Я, как обезумевший, принимал одно решение за другим, перечитывал письмо, изнемог от слез, переболел за эти дни все мое горе и однажды проснулся с холодным сознанием, что «все кончено», мечта унеслась. Остался я опять один...

Проснулся художник, он помог мне и на этот раз в моем горе, в моих поисках горячей любви. Художник опять указал мне на мое призвание — оно должно было заменить мне страсть к женщине. Художник осилил эту страсть, ибо лишь две страсти всю жизнь господствовали надо мной: страсть любовная и страсть к искусству. Обе они давали мне жизнь, смысл и вдохновение. Если бы не было этих двух сильных страстей — я был бы самый обычный человек, быть может, вредный самодур, пьяница, неудачник на каком-либо житейском поприще. Любви горячей, взаим-

ной, пламенной любви к женщине и к искусству я обязан тем, что мое искусство дает людям то смутное волнение, каким волновался я всю мою незадачливую и в то же время яркую жизнь. Итак, и это горе я переболел. Скоро начал свой «Великий постриг». Эта картина помогла мне забыть мое горе, мою потерю, она заполнила собой все существо мое. Я писал с каким-то страстным воодушевлением.

Прошло несколько месяцев. Я неожиданно получил из Тифлиса от графини Т. письмо, она сообщала мне, что Л. П. в полном отчаянии от содеянного, но что изменить своего решения не в силах, что на похоронах умершего от чахотки Анфимыча она сильно простудилась, у нее отнялись ноги, ее увозят на Черноморское побережье... А года через два-три я узнал, что она скончалась в Сухуми...

Между тем Олюшка моя была уже в институте. Ее там все полюбили. По праздникам я бывал у нее на приемах, и она, теперь седьмушка, радостно появлялась в переполненном зале то с голубым, то с розовым бантом, а иногда и с двумя — за успехи в языках французском и немецком... Начальница была очень заботлива к Олюшке. Иногда она болела, и тогда заботы начальницы к ней удваивались. Скоро моя дочка стала общей любимицей в институте.

В то же время дела художественные шли своим чередом. Дягилев, увидя фотографию с «Чуда», со свойственной ему настойчивостью убедил меня поставить картину на Русско-Финляндскую выставку. Немало любезностей было в его письмах по поводу картины.

Приближалось рождество. Сестра Александра Васильевна приехала в Киев. Таким образом, рождественские праздники взятая из института Олюшка прогостила у меня со своей любимой теткой, не знавшей меры в баловстве своей любимицы. Праховы устроили елку чуть ли не нарочно для моей девочки. Все в будущем сулило одно хорошее.

Так закончился для меня 1897 год.

Наступивший 1898 год начался, как и 1897, хорошо. На Периодической выставке в Москве великий князь Сергей Александрович приобрел вариант моей картины «Христова невеста», написанный еще в 1887 году. В начале февраля я выехал в Петербург, где выставял на Передвижной «Великий постриг», а у Дягилева на Русско-Финляндской выставке — «Чудо».

Перед отъездом пришлось сильно поволноваться. В институте появилась эпидемия кори, и моя девочка тоже забо-

дела. К счастью, уход был идеальный, и она к моему отъезду была уже вне опасности.

В тот год наплыв приезжих в Питер был огромный, и я едва-едва нашел себе комнату. Любезно и настойчиво предлагал мне остановиться в его квартире добрейший Василий Васильевич Матэ. Квартира у него была в главном здании Академии преогромная. Гостеприимство Матэ было всем известно. У него подолгу жилал во время своих деловых наездов Серов. Кроме того, в тот раз Матэ предлагал мне устроиться в одной из больших академических мастерских, так как со мной были образа иконостаса для храма Воскресения и их необходимо было просмотреть в хороших условиях света.

Как всегда, я часто бывал у Ярошенок. Николай Александрович написал в тот год слабый портрет с Льва Толстого и хороший — с Владимира Соловьева.

На Дягилевской выставке царили финляндцы, Эдельфельдт, Галлен и другие. Нас, русских-москвичей, было человек пять. Особым успехом пользовались Врубель и Костя Коровин, нравился и Серов.

Мое «Чудо» предполагаемого Дягилевым успеха не имело. Оно было как-то не в стиле выставки. Однако Дягилев продолжал расточать мне любезности и предложил участвовать на его выставке в Мюнхенском Сецессиионе, просил дать ему «Чудо», «Под благовест» и только что проданную молодому фон Мекку картину «На горах».

Наступал день открытия Передвижной. «Великий постриг» был принят одними восторженно, другими (стариками) холодно.

Накануне открытия выставки явилась закупочная музейная комиссия с Михаилом Петровичем Боткиным — Иудушкой, как его звали, — во главе. Я назначил за «Постриг» четыре тысячи рублей. Это не считалось дорогого.

Я случайно был в то время, как комиссия осматривала выставку, тут же в Обществе поощрения художеств, где меня и нашел М. П. Боткин. Он спросил, что я назначил за «Постриг». Я сказал ему, что четыре тысячи. Он, восторгаясь вещью, стал упрашивать уступить тысячу, предлагая это якобы от лица всей закупочной комиссии, которая единогласно остановилась на «Постриге» для музея императора Александра III. Я продолжал настаивать на четырех тысячах, с тем Боткин и удалился от меня.

Прошло сколько-то времени. Комиссия, окончив осмотр, появилась в залах музея, где, встретив меня, поздравила с успехом и с приобретением картины в музей за... три тысячи рублей. Отвечают, что все были согласны дать эту

сумму, но Михаил Петрович настоял на трех, объявив, что он «убедил Нестерова уступить».

Я в негодовании стал искать Боткина, а его и след пропал. Тут все стали меня уговаривать, чтобы я не поднимал «истории», что вещь, конечно, стоит больше, но ведь она пойдет в музей и прочее, и прочее... Однако я решил поговорить с Боткиным, а пока что, встретив приехавшего на выставку М. П. Третьякова, рассказал ему проделку его родственника. Павел Михайлович меня успокаивал и обещал сам поговорить с Боткиным, но тот, по свойственному ему бесстыдству, от всего отрекся...

Успех на выставке был полный. Две покупки утвердили за мной имя, бранили меня лишь за то, что я продешевил. Газеты признавали «Постриг» «гвоздем выставки». Дягилевцы говорили, что в «Постриге» я поднялся до небывалой для меня высоты, и надо было стараться на такой высоте удержаться.

Одновременно с Передвижной и Дягилевской в Петербурге открылась выставка английских мастеров. Она не была интересна. Выделялись имена Уолтера Крэна, Уотса; Альма Тадема был уже на склоне дней своих. Говорили, что царь приобрел на этой выставке небольшую вещь Тадемы, по ошибке уплатив за нее вместо 3500 рублей — 3500... фунтов, т. е. более тридцати тысяч рублей.

Скоро я уехал в Москву, там узнал, что за «Постриг» представлен к званию академика. Вместе со мной были представлены Серов, Левитан, Архипов и Дубовской. В Москве все меня поздравляли с успехом, говорили, что Васнецов сделал все, — теперь надо ждать от Нестерова. А сам Виктор Михайлович без всякого удовольствия принял вести о покупке моих картин и утешался тем, что я «продешевил».

В Москве оставался недолго. Проехал в Вифанию. Там встретил настоятеля храма Казанской божьей матери, что у Калужских ворот в Москве, очень приятного почтенного старика. Он передал мне о намерении прихожан храма просить меня расписать его. Храм был построен весьма известным тогда архитектором Никитиным, членом Московского археологического общества, другом Василия Осиповича Ключевского, который был прихожанином этого храма.

В тот же день мы с отцом настоятелем были в Москве, подробно осмотрели храм, очень обширный, построенный в византийском стиле, со многими удобными для живописи стенами, с мраморным иконостасом. На другой день я познакомился и со строителем храма архитектором Никитиным, которому тоже, как и В. О. Ключевскому, хотелось, чтобы я взялся за это дело.

Мысль расписать один из лучших храмов Москвы мне нравилась. Расписать одному целый храм, создать что-то, быть может, новое — было заманчиво. Работы было бы года на три. Смету я представил ничтожную, что-то около сорока тысяч. Меня просили сделать два-три эскиза, чтобы прихожане-жертвователи могли иметь понятие о том, что я им дам.

Эскизы я решил делать в Киеве, куда спешил уехать еще потому, что хотел поскорее повидать после болезни мою Олюшку. В институте у нее застал Лелю Прахову.

В марте скончался в Петербурге И. И. Шишкин — поэт северного лесного пейзажа. Иван Иванович был прекрасный и своеобразный человек. Мы — художники — отслужили по нем панихиду во Владимирском соборе. В Киев, для осмотра Владимирского собора приезжал К. П. Воскресенский, тогда уже живший на покое, передав училище в ведение бывших своих учеников, составивших общество имени Воскресенского. Константин Павлович был в восторге от собора, от моих работ в нем. Он горд был тем, что когда-то первым почувствовал во мне дарование и так энергично, умно способствовал тому, чтобы меня отдали в Училище живописи.

Пасха в тот год была ранняя, в начале апреля. На праздник я взял Олюшку к себе. Ее комната была полна цветов. Праховы ее баловали несказанно. У них она чувствовала себя как дома. Праховское радушие подкупало тогда многих. У Лели оно было такое искреннее, нежное.

Институтским начальством было решено отпустить Олюшку, по слабости здоровья после кори, на каникулы раньше. Училась она хорошо, и не было никаких причин ее задерживать.

В мае мы с дочкой были в Москве, откуда она скоро уехала с сестрой в Уфу, а я должен был представить эскизы для росписи церкви на Калужской площади.

Был назначен день, когда все почтенные прихожане должны были собраться у отца-настоятеля для осмотра эскизов. Собрались. Был и Василий Осипович Ключевский, был строитель храма Никитин. Были именитые купцы-«благодетели»: паркетчик Жернов, мясник Пушкин и др.

С самого начала заседания дело пошло не гладко. Паркетчик обиделся, что не представили ему меня, наставительно сказал мне, что хорошо бы мне сделать визиты, «почтить» именитых прихожан, прежде чем начать дело. Я промолчал, решив никаких визитов не делать.

Подошел небольшой, сухонький старичок и ласково при-

гласил меня побеседовать с ним. Сели в сторонке на диван. Мой елейный старичок начал пытаться меня: сколько мне лет, кто мои родители, давно ли я «беру подряды», «велика ли у меня артель». Я отвечал, что «подрядов» не беру, «артели» у меня нет, что работаю один...

Старичок сделал озабоченное лицо, задал еще несколько вопросов, решив, что если я и живописец, то, должно быть, не настоящий. Разговор кончился.

Собеседник мой был миллионщик, домовладелец глухого переулка на Якиманке. Там, в праздники, после обедни и сна, он приятно проводил время с супругой у ворот на лавочке, беседуя со своим дворником, обязанным собирать в корзину то, что оставляли после себя рысаки замоскворецких обывателей.

Атмосфера в собрании все больше и больше накалялась. Прекрасный, тихий и даже робкий настоятель делал ошибку за ошибкой, приводя в ярость «благодетелей». Дело кончилось тем, что один из них, не приглашенный в комиссию, бросил в лицо старику тысячу рублей и вышел вон, ругаясь непристойными словами. Настоятель, потрясенный случившимся, заплакал и тут же снял с себя обязанности председателя. Все понемногу разошлись.

На другой день я послал свой мотивированный отказ. Ко мне приезжал Никитин, уговаривал меня взять отказ обратно, но я хорошо видел, что у Калужских ворот нужен другой живописец, с большей артелью.

Я уехал в Вифанию. Задумал вновь побывать за границей. Потянуло в Мюнхен, где тогда были мои картины, где я любил бывать, любил выпить мюнхенского пива, побродить по музеям... Скоро достал себе заграничный паспорт и уехал сначала в Германию, а оттуда в любезные мне Италию.

Перед отъездом за границу неожиданно обратился ко мне молодой фон Мекк от имени своего дяди Николая Карловича с запросом, не возьмусь ли я написать три образа в часовню на могиле старых Мекков в Алексеевском монастыре. Предложил мне с первого слова за три образа восемь тысяч рублей. Такая цена была для меня новостью — я охотно согласился.

Мекки, сильные в железнодорожном мире, предоставили в мое распоряжение купе первого класса до Варшавы. На этот раз я отправился в заграничное путешествие с большим комфортом. И то сказать: у меня было уже имя, я был академик, все было иное, чем тогда, когда я впервые, в 1889 году, с пятьюстами рублями, полученными за «Пустынника», двинулся за пределы отечества.

В Мюнхене усердно осматривал музеи, выставки. Видел в Сецессионе свое «Чудо», «На горах», «Монахов»⁴⁵, усталым проехал во Флоренцию. Там встретил художника Пурвита, с ним, попивая кьянти, вдыхал воздух Флоренции, любуясь ее искусством, написал несколько этюдов и уехал в Рим, где, на этот раз, берег себя, памятуя, что дома меня ждут мекковские образа и задуманный давно «Димитрий царевич убиенный».

Недолго я прогостил в Италии*, а вернувшись в Россию, узнал о внезапной смерти благородного, инакомыслящего Николая Александровича Ярошенко.

Вернулся я в Киев к началу занятий в институте, куда кто-то из девочек занес скарлатину. Заболело сразу несколько девочек. На приемах только и разговору было, что о скарлатине. 9 сентября заболела моя дочка. 10-го начальница объявила мне об этом, успокоив, что болезнь пока в легкой форме. Олюшка была отделена от прочих больных.

Уход и заботы о ней с первых же дней болезни были идеальны. Начальница, переодеваясь и беря ванну, бывала у нее не только днем, но и по ночам. В институт был приглашен проф. Тритшель.

В моей девочке у меня оставалась последняя надежда на счастье, последнее воспоминание о Маше. Чего-чего не передумалось в те дни, недели, месяцы...

Болезнь приняла неожиданный, угрожающий характер. Проходили дни, недели — температура стояла высокая, болезнь кинулась на уши, потом на почки, осложнилась дифтеритом. Пошли одна за другой операции.

Были вызваны лучшие профессора к моей и к другой тяжело больной девочке, дочери молодого архимандрита-вдовца, ректора Киевской духовной академии, позднее митрополита Платона. Жизнь в девочках едва теплилась. Смерти их ждали со дня на день. Мы с архимандритом Платоном подолгу оставались в институте, ожидая печального конца. Две девочки в институте умерли. Занятия там были прерваны. Проходили месяцы, собирались консилиумы, профессора снова оперировали: Была сделана трепанация черепа с тяжчайшими перевязками...

Жизнь моей двенадцатилетней девочки висела на волоске. Все кругом были измучены. Сестре, вызванной из Уфы, было разрешено оставаться при больной день и ночь.

* Подробности заграничного путешествия 1898 года опущены автором «Воспоминаний» *Ред.*

Дочка архимандрита Платона начала поправляться: уехала на юг, а моя Олюшка все еще лежала с головы до ног забинтованная, как Лазарь во гробе...

Начальница института графиня Коновницына продолжала с неусыпной заботой, чисто материнской лаской следить за каждым движением болезни, облегчая ее постоянным нежным своим участием. Через полгода со дня заболевания, когда о самой scarlatine и помину уже не было, шли лишь периодические операции и перевязки, больную перенесли из лазарета в квартиру начальницы с тем, чтобы та могла с еще большим вниманием следить за ходом болезни, которая, искалечив мою девочку, начала ослабевать. Но медленное выздоровление наступило только к весне 1899 года, когда, в мае, я увез вставшую с постели Олюшку в Крым, где она окончательно окрепла.

С сентября 1898 года по январь 1899 болезнь неустанно угрожала жизни больной, а я постоянно жил под угрозой потерять свою дочку, и, тем не менее, в те дни и часы, когда не был в институте, я работал над своим «Димитрием царевичем убиенным» и над «Преподобным Сергием». И, как бы вопреки всему происходившему, тут, в картинах, я находил свой мир, отдохновение, «Димитрий царевич» день за днем более и более воплощался в те формы, кои грезились мне. Душа царевича уже витала среди весенних березок старого Углича...

В конце ноября 1898 года была получена мной из Петербурга от вице-президента Академии художеств следующая телеграмма:

«Можно ли обратиться к Вам с просьбой расписать церковь на Кавказе. Подробно почтой. Граф Толстой».

Вскоре было получено письмо, из которого я узнал, что наследник престола Георгий Александрович построил на свои средства храм в Абастумане и через вел. кн. Георгия Михайловича обратился к Толстому, чтобы тот рекомендовал ему художника для росписи храма. Толстой назвал меня. Я дал свое согласие.

Предстояла поездка в Абастуман для представления наследнику и осмотра храма... С этим делом меня торопили, а болезнь Олюшки заставляла поездку все откладывать. Так дело тянулось до начала февраля 1899 года. Лишь в февралье врачи начали подавать некоторую надежду, что опасность смерти моей девочки миновала, и я собрался в путь. Решено было, что сестра останется около больной до моего возвращения.

При помощи Прахова была выработана двойная смета росписи: полная из пятидесяти восьми композиций и орнаментации храма в сто тысяч рублей и сокращенная в семьдесят пять тысяч рублей. Наследник утвердил первую — стотысячную. Образа иконостаса в эту смету не входили, так как там уже были временные, написанные Н. А. Бруни.

Выехал я в Одессу, там сел на пароход до Батуми. Зима в тот год была суровая. Были на Черном море штормы, но я море любил, и оно любило меня. На обледенелом «Пушкине» я целыми днями сидел на палубе, вытянув ноги, тепло одетый. Спускался вниз для завтраков, обедов и сна.

В Батуми я был первый раз. Там было тепло, и до отхода поезда на ст. Михайловскую в Боржом осматривал город, бродил по приморскому бульвару.

Из Киева и из Батуми были посланы телеграммы в Абастуман о моем выезде. Думы мои неслись и в Киев, и в Абастуман. Что-то ждало меня в нем? Сумею ли я поставить себя так, чтобы не уронить достоинство художника, над чем так много и успешно думал и работал когда-то Крамской? Впереди все было ново и неизведано.

Вот и Боржом, жемчужина Кавказа, как его тогда называли. Зима не давала полного понятия о его красотах.

От Боржома до Абастумана было семьдесят верст. Тогда их проезжали в экипажах. На почтовой станции меня, по извещению из Абастумана, уже ждали. Появление моей скромной, совсем не генеральского вида, особы в шубе с барашковым воротником и в шляпе, не смутило станционное начальство. Оно за пребывание наследника видело разные виды от самых блестящих генерал-адъютантов до Василия Осиповича Ключевского, преподававшего наследнику русскую историю и уехавшего за год до меня.

Мне, как полагалось гостям наследника, были оказаны честь, внимание и предупредительность. Величали меня «ваше превосходительство». Самые лучшие яства и вина предлагались мне, пока спешно запрягали четверик великолепных, белой масти лошадей в отличную коляску, которая должна была доставить меня в Абастуман. Лошади были поданы, укрепили мой чемодан, лихой ямщик-туземец сел на козлы. Экипаж подкатил к крыльцу станционного домика, и я сел, посаженный начальником станции. Кони с места пошли полной рысью. Проехали дворец вел. князя Николая Михайловича. Снега не было вовсе, было тепло, а в моей шубе жарко.

Пошли названия станций, напоминавшие о былых делах, о славе русского оружия. Вот Страшный Окоп. Сейчас ничего страшного — маленький белый домик и только.

Встреча, быстрая смена лошадей, опять белых. Новый ямщик, такой же лихой, отлично одетый. Кони взяли с места, и коляска с моей особой покатила дальше. Пронесимся мимо аулов. Там-сям по горным тропам видны были пробирающиеся куда-нибудь на праздник семейства турок: на «осляти» сидит в белом покрывале турчанка с ребенком, а сзади, погоня ленивца, ступая особой мягкой горной поступью, идет турок в феске.

Вдали виден старый замок, покрытый желтым мхом. Много лет этим руинам. Они как бы срослись со скалой, их приютившей. Чего не видали стены старого Ацхура? — Помнят они владычество персов, потом турок. Помнят пиры и битвы своих ацхурских владык-князей. Помнят и русского солдата, бравшего приступом и Страшный Окоп, и седой Ацхур.

Подъезжаем ближе. Старый, старый мост на каменных высоких сводах перекинут через быструю Куру, весь покрытый оранжевым мхом, он совсем, совсем узкий. По нему может пройти ослик с кладью да погонщик в один ряд. Какая красота этот мост, идущий к самому красавцу замку!..

Катим дальше... Что это там на горе? — спрашиваю ямщика. Отвечает: — «Ахалцых — крепость». Великолепное средневековое сооружение.

Вот тут, под стенами Ахалцыха, взятого приступом русскими войсками, когда-то пал смертью храбрых Архип Осипов. Он, с зажженным фитилем в руках, подкрался к пороховому погребу и взорвал его, взлетев вместе с ним на воздух. И с тех пор до самого 1917 года в славном Тенгинском гренадерском полку за обычай было на переключке поминать героя. Ежедневно вызывался и он — Архип Осипов, на что дневальный чуть ли не сто лет подряд отвечал: «Погиб во славу русского оружия».

Русские, взяв Ахалцых, сделали его еще более грозным, неприступным. Шоссе вилось по горам, по ущельям, а то выбегало на простор долины с широким горизонтом и вершинами далеких гор.

Вот и последняя станция. Переменили лошадей. Четверик несется дальше. Осталось лишь пять-шесть верст до Абастумана. Впереди сгрудились скалы. Там так неприветливо. Где же сам Абастуман, где поселился и медленно угасает сейчас второй сын императора Александра III?

Спрашиваю ямщика: «Где Абастуман?» Он показывает рукой — «Там». Ничего не видно. Несемся дальше, как бы намереваясь перескочить на лихих конях сквозь цепь гор. Однако я начинаю различать какое-то ущелье. Не это ли ущелье — «ворота Абастумана»?

Въезжаем в ущелье, узкое, как коридор, посередине которого стремится небольшая горная речка — Абастуманка. В ней много форелей.

Горы охватывают справа и слева, теснят нас, как бы сжимают, давят в своих объятиях. Кони несутся сначала по одному, потом по другому берегу Абастуманки. Начинают попадаться строения, становится холоднее. А вот и снег. С половины местечка снег становится гуще и гуще.

Охватывает неприятное жуткое чувство. Что-то меня здесь ждет?

Быстро проезжаем мимо казарм кубанцев, мимо ванного здания, старой грузинской церковки, в которой, до постройки новой, молился наследник. А вот справа и новая церковь, та, которую мне скоро придется расписывать. Она в грузинском стиле, прекрасно выдержанном. Среди гор она не кажется высокой, тогда как на самом деле она высока и обширна.

Я с напряженным вниманием вглядываюсь в ее подробности. Все прекрасно, пропорционально. Красивый материал — камень зеленовато-желтый, как бы горчичного цвета. Купол каменный, красноватого приятного тона. Прекрасная паперть, кое-где осторожно введен оригинальный грузинский орнамент, высеченный из камня же. Справа небольшая, изящная, значительно ниже церкви, колокольня. Церковь алтарной стеной почти касается покрытых хвойным лесом гор. Она рисуется красивым пятном на их темно-зеленом фоне.

Вот и церковь осталась позади. Строения справа и слева речки выглядят все лучше, богаче. Это уже напоминает то, что было всем давно известно на Северном Кавказе от Минеральных Вод до Кисловодска. Проезжаем нечто вроде маленьких скверов. Это «Первая» и «Вторая» ронци — место прогулок абастуманцев, где тогда в известные дни и часы играла музыка, где и мне позднее приходилось бывать, отдыхая от работы, со своими думами и заботами, коих я еще не мог предвидеть в такой мере, как это случилось.

Когда же дворец? — Ямщик говорит: «Скоро!» — еще несколько минут, я слышу: «Вот дворец!» Перед моими глазами открывается нечто деревянное, похожее на подмосковную дачу где-нибудь в Перловке. Однако это и есть «дворец», где сейчас обитает Георгий Александрович — наследник Российского престола.

Четверка белых коней подкатила к «свитскому» большому каменному корпусу, остановилась у подъезда. Выбежал камер-лакей, принял меня и мой чемодан.

В приемной ожидал меня состоящий при вел. кн. Георгии Михайловиче полковник Ф. В. Дюбрейль-Эшаппар. Познакомились, и он проводил меня в отведенную мне комнату — комнату для гостей наследника. Оставил меня там, предупредив, что когда я приведу себя в порядок, он зайдет за мной, так как вел. кн. Георгий Михайлович желает тотчас же меня видеть, и я должен буду теперь же представиться наследнику, который ждет меня у себя.

Новизна положения обязывала меня к особой осторожности. Я не раз слышал, что в том заколдованном мире, куда я сейчас вступал, под личиной самой отменной любезности можно было встретить немало коварства, лицемерия...

Я с обычной своей поспешностью совершил туалет, надел сюртук (сказано, что фрака не нужно) и ожидал, когда явится за мной полковник. Он не заставил себя ждать, и мы отправились.

В бильярдной меня ждал вел. кн. Георгий Михайлович. Очень высокий, как все «Михайловичи», с длинными усами, как у китайца, он был в тужурке. Встретил приветливо, просто. У него была открытая улыбка, видны были крепкие, крупные зубы. Они сверкали из-под черных, книзу опущенных усов.

Поговорили о дороге (вел. кн. знал о болезни моей Олюшки). Вообще он старался всячески ввести меня в обстановку для меня новую, необычную. Сказал, что через каких-нибудь полчаса мы должны отправиться во дворец. Ехать так ехать, подумал я, как диккенсовский попугай, и, одевшись, мы отправились через двор к подъезду дворца.

Подходим ближе, я вижу — у подъезда стоят три небольшие чухонские лошадки, запряженные в чухонские же санки. В тот же миг замечаю на крыльце наследника. Он в бурке, в морской фуражке, надетой по-нахимовски — сильно на затылок.

Чем ближе мы подходим, тем фигура наследника делается яснее, из-под бурки заметны тонкие-тонкие, как спички, ноги в высоких сапогах... и лицо, красивое, породистое, тонкое, с небольшими темными усами, такое измученное, желтое, худое-худое... Вся фигура согбенная, старческая, глубоко несчастная, какая-то обреченная, покинутая.

Сзади свита — морской офицер и два-три штатских.

Мы поднялись на крыльцо. Вел. кн. представляет меня, я снимаю шляпу. Наследник здоровается, спрашивает о том, как я доехал, причем зловещий румянец появляется на впалых, как у покойника, желтых щеках его.

Наследник предлагает поехать сейчас же засветло осмотреть церковь. Мы садимся в санки, наследник с вел. кн.

Георгием Михайловичем, я с полковником Эшаппаром. В третьи санки салятся морской офицер и штатский. Первый был состоящий при наследнике лейтенант Бойсман, второй — штатский — лейб-медик Айканов.

Поехали, правили сами, без кучеров. Через десять-пятнадцать минут были в церкви, где уже нас ждали духовник наследника протоиерей К. А. Руднев и еще какие-то лица.

Церковь внутри была очень обширна. Прекрасный белого с розовым мрамора иконостас с образами Бруни (внука знаменитого), причем мне тут же было сказано, что образа эти временные и их решено заменить моими.

Стены были оштукатурены и очень хорошо расположены, хорошего размера, приятного для росписи. Архитектором церкви был старик Симансон, давно, в молодости, состоявший при наместнике вел. кн. Михаиле Николаевиче. Симансон был талантливый художник, но, как говорили, плохой техник, что позднее и обнаружилось в абастуманской церкви.

Осмотр длился около часу. Мы двинулись домой. Стало темнеть, так как ущелье рано скрывало от абастуманцев солнце, — оно ненадолго заглядывало туда.

Вернувшись во дворец, я был приглашен к обеду и отправился отдохнуть в свитский дом, в свою комнату. Там предался думам, размышляя о только что виденном, пережитом...

Поню, в один из дней, что я провел в Абастумане, в первый туда приезд, возвращаясь с какого-то официального визита, я был свидетелем следующего.

Стоял солнечный, слегка морозный день. Подъезжая, я увидел у дворца на скамейке сидящим наследника в своей бурке, в нахимовской, надетой на затылок фуражке, осунувшегося, такого немощного, уходящего и, около него бодрого, крепкого, подтянутого по-военному лейтенанта Бойсмана.

Я раскланялся. Наследник меня пригласил к себе. Какие-то незначительные, любезные, всегда сдержанные вопросы. Предлагает мне присесть... Он греется на солнышке, которое скупно заглядывало в ущелье...

И вот я слышу где-то далеко, далеко заунывную хоровую песню, такую песню, которая в душу просится, такую, что сердце кровью обливается. Песня ближе и ближе... Слышны звуки каких-то инструментов, не то вторящих песне, не то причитающих, плачущих... Песня близится. Наследник грустно вслушивается, говорит: «Это кубанцы на прогулку идут...»

Скоро звуки смолкли и снова послышались, не те причитающие звуки любимой женщины — матери, невесты, а удалые, победные... и сотня на конях показалась из-за

угла. Впереди — бравый хорунжий, за ним музыканты, песенники, вся сотня на конях. Увидев наследника, кубанцы подтянулись. Кони заиграли, голоса еще удалей понеслись куда-то в горы. Сотня поравнялась с наследником, прошла мимо церемониальным маршем... А он, такой жалкий, изнемогающий, на ладан дышащий, приложил бледную, исхудалую руку к козырьку своей нахимовской, черной с белым кантом, фуражки.

Сотня прошла дальше, в сторону Зекарского перевала. Голоса постепенно удалялись, замирали, потонули вовсе в горах... Наследник встал, простился со мной, пошел с Бойсманом во дворец, — я в свитский дом...

Много лет прошло с тех пор, а я, как сейчас, слышу эти казацкие песни, то бесконечно тоскливые, то безмерно удалые...

На следующее утро были поданы лошади, и мне передали, что вел. кн. Георгий Михайлович предлагает мне сейчас ехать с ним в Зарзму. Я быстро собрался, явился во дворец.

Через несколько минут мы уже катили по Абастуману в сопровождении некоего Х-ва, грузина, хорошо знавшего местные и турецкий языки.

30 верст было до Зарзмы. По дороге сменялись дивные виды. Великий князь, зная места, пояснял мне их историю, быт и прочее.

Часа через два вдаль на высокой скале показался великолепный Зарзмский храм. Он стоял среди татарской деревни или аула.

Мы подъехали, и наш спутник отправился в аул, чтобы найти там человека, который бы мог открыть храм и проводить нас туда. Вел. князь, захвативший аппарат, пожелал снять храм, а также и меня на фоне этого дивного памятника грузинской старины.

Скоро явились в сопровождении нашего проводника жители аула. Они низкими поклонами и особыми мусульманскими знаками выразили высокому гостю свое уважение, отперли храм.

Перед нами предстало чудо не только архитектурное, но и живописное. Храм весь был покрыт фресками. Они сияли, переливались самоцветными камнями, то синими, то розовыми, то янтарными. Купол провалился, и середина храма была покрыта снегом. Всмотриваясь внимательно, мы заметили, что и часть фресок уже погибла. Погибла дивная красота...

Побродив по останкам бывшего великолепия, мы вышли на воздух и обошли храм кругом. Он ясно вырисовывался теперь своим темно-красным, запекшейся крови, силуэтом

на фоне окрестных гор, покрытых снежной пеленой. Он был такой одинокий, забытый, никому не нужный...

На обратном пути обсуждалась возможность реставрации храма. Она и была произведена на средства наследника уже после его кончины.

К вечеру мы были в Абастумане. За обедом Зарзма была главной темой разговоров.

Во второй половине марта я был снова в Киеве. Олюшка моя к тому времени начала поправляться, она была уже на ногах, не сегодня-завтра должна была выехать кататься, а потом отправиться на юг, в Сочи или Крым. Остановились на Крыме — куда выздоровевшая и уехала в сопровождении сестры милосердия, ходившей за ней последний месяц болезни в институте.

Я нанял около Мисхора в Олеизе у Токмаковых дачку «Нюра», на которой перед тем жил больной Горький.

Здоровье Олюшки день ото дня улучшалось, она очень выросла, опять стала весела, но в характере ее появились неровности, которых до болезни и следа не было. Она, избалованная за девять месяцев болезни, теперь, здоровая, требовала исключительного внимания к себе, а его-то и недоставало сейчас. Сестра Е-ва, отлично ухаживавшая за гыжко больной, следить за здоровой девочкой не находила в себе ни сил, ни умения. Она скучала, вздыхала, пела, а тем временем Олюшка, чуя за собой слабый надзор, делалась все предприимчивей, и однажды, вернувшись домой, я не нашел ее там. Спросил сестру Е-ву, она тоже не знала, когда и куда исчезла наша больнушка.

Пустились в поиски в разные концы. Я побежал через Мисхор к Алушке и там, за несколько верст от Олеиза, в Алушкинском парке нашел свою дочку, преспокойно играющую с какой-то девочкой. Я был рад своей находке, а моя беглянка, полуглухая, еще не окрепшая после болезни, была только удивлена тем, что я встревожен, что ее ищут. Объяснила мне, что и сама не помнит, как, гуляя по Мисхорской дороге, попала в Алушку. Я тотчас же взял извозчика и увез ее домой.

Надо было подумать, как быть дальше. Необходимо было сестру Е-ву удалить, заменить кем-то более надежным... Я написал в Киев гр. Коновницыной, и она предложила мне прислать одну из своих классных дам, мою однофамилицу.

Я поблагодарил и попросил ее не откладывать приезда Елизаветы Александровны Нестеровой. Через неделю она была уже в Олеизе, как уточка забавная, добродушная,

заботливая, некрасивая... Сейчас же я отпустил сестру Е-ву, и жизнь скоро вошла в свою здоровую колею.

Но срок пребывания в Крыму кончался. М. П. Ярошенко звала Ольгу к себе в Кисловодск, а мне необходимо было снова ехать в Абастуман, везти свои эскизы для представления их наследнику. И мы двинулись разными путями на Кавказ: я — на Батум и Абастуман морем, Олюшка с Е. А. Нестеровой на Новороссийск в Кисловодск, где мы должны были встретиться по моем возвращении из Абастумана.

Из Батума я ехал той же дорогой на Боржом, с теми же встречами и проводами на станциях. Те же Ацхур, Ахалцых... Вот и Абастуманское ущелье. Теперь лето, все зелено, все залито солнцем, и само ущелье не такое мрачное. Четверик мчит коляску по извилистым берегам Абастуманки. Вот церковь, еще несколько минут и деревянный — как выставочный павильон или подмосковная дача — дворец наследника.

Я ежедневно бывал в абастуманском храме, намечал мысленно то, что со временем должно быть написано на его стенах. Часто виделся с отцом Рудневым, который больше и больше нравился мне своей искренностью и горячим сердцем.

Однажды наследник сообщил мне, что он считает для меня полезным, раньше чем начинать роспись церкви, ознакомиться с образцами старой грузино-армянской архитектуры и живописью этих средневековых кавказских церковных памятников.

Мысль эту наследнику, быть может, подсказал гр. Толстой. Так или иначе, но она была дельная, и я, конечно, не возражал против такого предложения. Тем более не возражал, что мне и самому хотелось повидать мозаики и фрески Гелатского монастыря, дивного храма в Мцхете, Сафорского монастыря, Сионского собора в Тифлисе и многое другое, что знал я по уважам... Тут же был решен мой отъезд в ближайшие дни в Кутаис. Лейтенант Бойсман снабдил меня бумагами, весьма внушительного содержания. Я откланялся наследнику, простился со всеми, кого знал, и двинулся через Зекарский перевал в долину Риона.

Шестерик прекрасных коней медленно поднимал мою коляску на шестнадцать тысяч футов над уровнем моря. Вот, наконец, и перевал. Дивная первозданная панорама открывалась перед моими глазами. Предстояло верст более пятидесяти проехать, спускаясь вниз до самого Кутаиса. Четверик отпрягли, коляска моя, запряженная теперь лишь

парой коней, на тормозах должна была осторожно спуститься в долину Риона. Дивные виды сменяли один другой.

Показался Кутаис. Проехали по его незамысловатым улицам, миновали его. Впереди Гелатский монастырь. Вот и он показался. Дивный старый собор, а по бокам, как бы образуя улицу, симметрично шли по обеим сторонам, как игрушечные, тоже каменные, того же грузинского стиля, маленькие церковки. Это было так неожиданно, так ново и так выдержано в стиле. Строитель знал, что делал. Его план был очевиден. Монастырские корпуса дополняли этот план.

Волшебная бумага Бойсмана быстро распахнула передо мной все двери. Я вошел в собор, и моему взору представилась прежде всего мозаическая абсида с богоматерью. Она напомнила мне базилики Рима, капеллу Палатина. Стройная, вся в синих тонах владычица небесная шествовала на заревом, золотом подернутом фоне. Она по форме куда была совершенней киевской «Нерушимой Стены». По всем стенам, пилонам и колоннам шли фрески, переплетенные своеобразным грузинским орнаментом...

Я осмотрелся и просил сопровождающего меня монаха разрешить мне сделать несколько акварельных набросков. Конечно, разрешение было дано. Мне было предоставлено все, чтобы облегчить мое занятие. И я приступил к делу, нарисовал абсиду, некоторые фрески, — одна из них послужила мотивом для моего абастуманского «Благовещения». Так она была выразительна, так благородна и нежна в красках, так свежа, как будто прошли не сотни лет с момента ее написания, а лишь год или два.

Сделав все, что мне было надо, я в сопровождении монаха обошел те игрушечные церковки, что шли к собору. Был у настоятеля, там закусил и, довольный тем, что видел и сделал, двинулся в дальнейший путь, к станции Михайловской, на Тифлис — Мцхет, славившийся своим собором.

Собор этот виден издалека. Он возвышается над старым Мцхетом, он его центр. Желтовато-зеленый, с каменным куполом, с сияющим крестом, такой гармоничный с окружающей его природой, с горами, среди которых он вырос и стоит сотни лет...

Я осматриваю, зарисовываю его фрески, пишу этюд с него на фоне родных гор и собираюсь ехать дальше, в Тифлис. Сажусь в скорый, идущий из Батума поезд. Сажусь, по своему новому положению, в отдельное купе первого класса и еду. Ехать недолго, что-то с час или два — не помню.

Наружный вид Сионского собора очень хорош. Стиль его сохранился, если не полностью, то все же ничем не шокирует глаз после Гелатского и Мцхетского храмов. Роспись позднейшая — князя Гагарина, она не в стиле глубокой грузинской старины, но тон росписи приятный и не банальный.

Вызванный настоятель храма предупредил нас, что ризница собора помещается чуть ли не на чердаке, что попадают туда через какой-то люк... Однако мое желание было так непреодолимо, что и старик настоятель, и мой егермейстер поняли, что тут ничего не поделаешь и через люк лезть придется. Полезли, выпачкались в пыли, но то, что я увидел, искупало все лишения, все трудности. Ризница, хотя и не была в идеальном порядке, все же представляла несомненный драгоценный церковно-археологический материал, однако уступающий московской патриаршей ризнице.

Выбравшись тем же путем обратно, я поблагодарил настоятеля, и мы отправились осматривать туземный базар.

На другой день смотрели огромный и плохой Александровский собор, где в картинах Рубо могли видеть эпизоды покорения Кавказа, сдачу Шамиля и прочее... Побывавши на горе в монастыре св. Давида, поклонились могиле Грибоедова, и после обеда я отправился на вокзал и, простившись с моим чичероне, поблагодарив его, уехал через Баку — Владикавказ в Кисловодск, где меня ждала моя дочка, проживающая у М. П. Ярошенко. Таким образом, закончился мой обзор грузинских церковных памятников. Позднее я предполагал проехать в Армению, но неожиданные события совершенно изменили мои планы.

В Кисловодске я нашел Олюшку совершенно здоровой, окруженной лаской, любовью и заботами М. П. Ярошенко и «уточка» Е. А. Нестеровой. Побежали дни за днями. Жилось всем хорошо. Мне хорошо работалось... когда однажды утром, чуть ли не в Петров день, пронесся слух, что в Абастумане внезапно скончался наследник — цесаревич Георгий Александрович...

Во второй половине августа я вернулся в Киев, стал работать абастуманские эскизы и картину «Голгофа»⁴⁶.

Олюшка осталась в Кисловодске у М. П. Ярошенко. «Уточка» наша к началу занятий в институте уехала в Киев. Ее заменила некая Б-а. В конце октября дочка моя с Марией Павловной и Б-ой приехала в Петербург, где моей больнушке предстояла новая операция — извлечение косточ-

ки около уха, оставшейся после неудачной трепанации черепа. Операция была сделана проф. Е. В. Павловым.

В ноябре, после десятилетней дружбы, я сделал предложение Е. А. Праховой. Оно было принято, но свадьба наша не состоялась. Мое знакомство, близость с Ю. Н. У., предстоящее рождение дочери Веры и многое другое настолько осложнило дело, что свадьба как-то сама собой разошлась, что не помешало нам с Еленой Адриановной остаться друзьями на всю жизнь. В декабре Олюшка вернулась в Киев.

Так закончилось для меня девятнадцатое столетие. Оно подготовляло нам, всей России, события чрезвычайные. Для меня новое столетие началось довольно благополучно...

Я готовился к Передвижной, писал «Голгофу» и небольшую картину «Думы», на выставке так понравившуюся Левитану. Прошла и выставка, я вернулся в Киев.

С Олюшкой была Б-а. Характер моей дочки после девяти месяцев болезни, нескольких операций стал иным. Она стала капризна, нервна и требовала огромного внимания, очень бережного обращения. Этого, несмотря на все усилия, на драгоценную помощь гр. Коновницыной, дать моей Олюшке я не мог. Она оставалась дома, понемногу готовилась к весенним экзаменам, их выдержала и, по совету проф. Волковича, в мае должна была ехать в Уфу на кумыс. Ее проводила туда Б-а, оставив на попечении сестры, которая по-прежнему в ней души не чаяла.

Я еще оставался в Киеве, работал над эскизами. Количество их увеличивалось... Впереди меня ждала новая поездка в Абастуман. По слухам, после кончины наследника там многое изменилось к худшему!

Одновременно с абастуманскими я делал эскизы для церкви в Новой Чартории Волынской губернии, построенной на могиле бывшего Виленского генерал-губернатора Оржевского. Сама церковь была небольшая, ничем не примечательная, но внутри все декоративные, мраморные и прочие работы взялся исполнять Адриан Викторович Прахов. Я же был приглашен написать образа иконостаса и сделать эскизы стенной росписи в куполе, в барабане. Вот сейчас я и был всем этим занят.

Подготовив все что надо, я уехал снова на Кавказ. Летом дорога до Абастумана была приятной, скорей прогулка, тем более, что я знал, что пребывание в Абастумане займет несколько дней...

Осмотрев церковь, решил приступить к загрузке стен, поручив ее архитектору Свиньину. Этот Свиньин, вятич из крестьян, не даровитый, но ловкий, как-то пролез к высочайшим. Ему, простоватому на вид, якобы преданному, поверили. Он сделался архитектором двора его величества.

При изменившемся положении в Абастумане Свиньин задумал обесценить абастуманский храм, созданный талантливым Симансоном. Он бранил Симансона, говорил, что храм недолговечен, о чем намекал вел. кн. Георгию Михайловичу и императрице Марии Федоровне — «старухе», как он называл императрицу за глаза. И, подготовив почву, думая встретить во мне соучастника, сообщил мне свою счастливую мысль — доложить государю и императрице-матери о безнадежном положении абастуманского храма, предложить им построить, по образцу Зарэмской церкви, другой — лучший — в Гатчине, поблизости дворца. Такой храм должен был не только сохранить память о наследнике, но своим видом напоминать о нем августейшей матери. Я должен поддержать такой проект, потому что я же и распишу гатчинскую церковь. Мне выгодно это тем, что не надо будет жить где-то в скучном Абастуманском ущелье, я буду «на виду» и т. д.

Свиньину казалось все делом легким. От предложения я наотрез отказался, о чем и написал простодушному вятскому мужичку... Все же я доверил ему загрузку церковных стен.

Из Абастумана я проехал в Москву, оттуда в Париж. Осмотрел Всемирную выставку, побывал в музеях, осмотрел то, что видел в предыдущий приезд и много нового, еще не виданного.

Русский отдел не был выдающимся. Наши музеи, где хранились лучшие произведения русских мастеров, не имели обычая выпускать из своих стен вещи за границу.

Самым сенсационным произведением были недавно написанные и нашумевшие малявинские «Красные бабы». За них Малявину хотели присудить «Grand Prix» * и не сделали этого лишь потому, что художник был молод, а рядом были картины давно прославленных мастеров Репина, Васнецова, Сурикова, Серова.

Серов был представлен отлично, его портрет великого князя Павла Александровича в латах на коне и другие останавливали на себе внимание. Репин был вне конкурса, так как участвовал в жюри по присуждению наград. Виктор Васнецов поставил свою «kozyрную» вещь — «Аленушку»,

* Большой приз (фр) Ред

два образа — слабые повторения с иконостасных образов Владимирского собора. Суриков дал «Снежный городок», я — «Под благовест» и «Чудо». Они не были плохи, однако не были и такими, за которые ломают копья.

Жюри присудило «Гран при» Серову, золотую медаль Малявину за его «Баб», приобретенных в Венецианскую национальную галерею. Виктору Васнецову присуждена была серебряная медаль, но Репин и гр. И. И. Толстой так горячо протестовали против такого решения, что медаль была отменена, а Васнецову был дан французским правительством «За общие заслуги перед искусством» орден Почетного легиона.

Таким образом дни альянса не были омрачены. Мне дали серебряную медаль, Левитану тоже. Суриков, несмотря ни на что, не был понят вовсе, и ему присудили бронзовую медаль. Многим из наших известностей дали лишь почетный отзыв.

Самолюбия были оскорблены. Все были недовольны... но что же поделаешь? Виноваты были и мы, смотревшие сверху вниз на заграничные выставки.

Как-то, придя в Русский отдел, я увидел на одной из левитановских картин траурный креп и тотчас же узнал в комиссариате о полученной телеграмме, что Левитан скончался в Москве внезапно от разрыва сердца. Моя и наша общая печаль была искренней: хороший человек, отличный художник молодым еще выбыл из наших рядов. Я искренно любил его, считал верным своим приятелем и ценил его дивный дар.

Выставка 1900 года не была так разнообразна, как 1889-го. Для меня одно отсутствие «Жанны д'Арк» Бастьен-Лепаж было ничем не заменимо. Был очень хорош английский отдел.

В Париже и у нас дома говорили, что на выставке общее внимание возбуждал наш железнодорожный отдел. Он был лучшим после американского. Постройка С. И. Мамонтовым пути на север к Архангельску была прекрасно иллюстрирована большими панно Константина Коровина.

Я не мог тогда долго оставаться в Париже, скоро вернулся в Россию. В сентябре я снова был в Киеве. В это время я обдумывал композицию своей «Святой Руси».

Здоровье моей дочки улучшилось, хотя глухота осталась. Часто думалось о том, чтобы около нее был верный, надежный человек... Такого не было, и это заботило меня в те дни.

До сих пор я ничего не сказал о своем знакомстве с княгиней Натальей Григорьевной Яшвиль, имевшей

в моей жизни, особенно второго киевского периода, большое значение. Я познакомился с ней в стенах Владимирского собора в пору его окончания.

Тогда Наталья Григорьевна была недавно овдовевшая молодая женщина. Она была замужем за потомком того князя Яшвиль, который участвовал в убийстве императора Павла, после чего остаток жизни провел в покаянии о содеянном.

Муж Натальи Григорьевны, полковник лейб-гвардии Царскосельского гусарского полка, делал быструю карьеру, но внезапно умер, оставив своей молодой жене двух маленьких детей... Кроме детей, кн. Яшвиль оставил большое, совершенно расстроенное имение Сунки близ Смелы, когда-то принадлежавшее друзьям Пушкина — Раевским.

Молодая вдова осталась в тяжелых условиях. Одаренная волей, большим умом, Наталья Григорьевна (урожденная Филипсон — род, ведущий свое начало из Англии; отец ее — старый генерал, был когда-то попечителем Петербургского учебного корпуса) не падала духом.

Разоренное имение скоро превратилось в благоустроенное, с виноградниками, с фруктовыми садами, с огромным, приведенным в образцовый порядок, лесным хозяйством. В Сунках была построена прекрасная школа, где крестьянские дети обучались различным ремеслам, баня (в Малороссии их не знали, а с тех пор баней пользовалось все огромное село Сунки).

Многое было задумано и умно осуществлено Натальей Григорьевной. В имении, еще недавно запущенном, теперь цветущем, Наталья Григорьевна устроила мастерскую кустарных вышивок, образцами коим служили музейные вещи XVII—XVIII веков. Вышивки скоро стали популярны не только в России — они шли в большом количестве за границу. В Париже сунковские крестьянки получили золотую медаль. Вышивки эти давали молодым женщинам и девушкам-крестьянкам отличный заработок, особенно в зимнее свободное время...

Горе, когда-то пережитое, забывалось, дети росли... Наши отношения крепили, выросли в дружбу. В Киеве мы жили визави: кн. Яшвиль со своей сестрой С. Г. Филипсон жила в небольшом особняке, наполненном искусством, музыкой, заботами о детях. Наталья Григорьевна до замужества училась у Чистякова, была и тут даровита, как всюду, к чему ни прикасались ее ум и золотые руки. За массой дел по имению, по разным светским и благотворительным обязанностям, она успевала заниматься искусством. Она хорошо, строго, по-чистяковски рисовала ак-

варелью портреты, цветы. Как-то сделала и мой портрет, но он, как и все с меня написанные, не был удачен.

Дети ее отлично, умно воспитывались, ее радовали. Постоянным и верным другом и помощником была ее сестра — Софья Григорьевна Филипсон — натура горячая, любящая.

Наталья Григорьевна в моей жизни заняла большое место. Она сердечно, умно поддерживала все то, что могло меня интересовать, духовно питать. Часто у нее я находил душевный отдых, как человек и как художник. Ее богатая натура была щедра в своей дружбе, никогда, ни на один час не покидала в трудные минуты. Видя меня иногда душевно опустошенным, одиноким, она звала меня вечером к себе и, частью в беседах об искусстве, частью музыкой — Шопеном, Бахом, а иногда пением итальянских старых мастеров небольшим приятным своим голосом — возвращала меня к жизни, к деятельности, к художеству. Я уходил от нее иным, чем приходил туда.

У нее были обширные знакомства, связи, по преимуществу среди киевской знати. Но я не любил бывать у Яшвиль в дни приемов. Уж очень я был несветский человек.

Живя летом в своих Сунках, Наталья Григорьевна однажды, когда я был уже вторично женат, предложила мне поселиться у нее на хуторе, в четырех верстах от имения.

Хутор Княгинино был уголком рая. Это был сплошной фруктовый сад с двумя прудами: в одном водились караси и карпы, в другом было преудобно купаться. Славный малороссийский домик был обставлен на английский лад. Мы прожили там с небольшими перерывами девять лет, девять прекрасных, незабываемых лет... Дети наши вспоминают об этом времени, как о счастливейшем.

Там, на хуторе, жил приказчик-садовник Василий, хохол с мистическим мировоззрением, упорный кладоискатель, человек необыкновенной честности и не без романтизма в прошлом. В него, очень красивого, когда-то влюбилась помещичья дочь и, не имея возможности осуществить свою мечту, покончила с собой. Серьезность, какая-то замкнутость Василия делала его одиноким, и лишь книги серьезного содержания отвлекали его от каких-то далеких дум.

Были на хуторе и еще служащие — семья малороссов-стариков с внуком Трохимом, приятелем и сверстником моих детей. Во время покоса, нашей страды, нанимались временно рабочие из села.

Славно нам жилось в Княгинине. Часто наезжали гости из Сунок в экипажах и верхами. Они пили у нас чай, насыщались и уезжали шумной ватагой домой.

Я много работал. Там были написаны почти все этюды к Марфо-Мариинской обители. В Сунках же был написан портрет Натальи Григорьевны, бывший на моей выставке, потом у самой Натальи Григорьевны и после 1917 года перешедший в Киевский исторический музей...

В первую мировую войну Наталья Григорьевна стояла во главе огромного госпиталя и по воле вдовствующей императрицы ездила в Австрию для осмотра лагерей с нашими пленными. Поездка ее, говорят, дала хороший результат...

С именем княгини Натальи Григорьевны Яшвилъ у меня связаны сотни самых благородных, прекрасных воспоминаний...

Заботы о моей дочке не покидали меня. Воспитательницы, которые появлялись около нее, не имели авторитета, и я стал подумывать отдать ее с осени вновь в институт.

Приближались праздники рождества, Новый год. Собирался ехать в Петербург, так как Дягилев настаивал, чтобы я выставил у него абастуманские эскизы. Пока я над этим делом раздумывал, он добился разрешения на постановку эскизов на своей выставке у наследника Михаила Александровича, о чем и телеграфировал мне. Волей-неволей эскизы были посланы Дягилеву, которому они в тот момент были нужны. С их помощью Сергей Павлович надеялся привлечь на выставку царя и вдовствующую императрицу, недолюбливавшую выставки «Мира искусства».

К тому времени Дягилев и Александр Бенуа успели изменить свой первоначальный взгляд на искусство В. М. Васнецова, ополчились на него, добились того, что следующие поколения уже не смотрели на Виктора Михайловича так, как поколение предшествующее. При этом «цель оправдывает средства» применялось к Васнецову в полной мере.

Журнал «Мир искусства», субсидируемый государем, благодаря умелому ходатайству Серова, писавшего с него портрет, немало способствовал, чтобы омрачить славу Васнецова.

Обстоятельства складывались так, что и мое имя, как религиозного живописца-художника, было Дягилевым взято на прицел. Сейчас я должен был сослужить ему последнюю службу. Я это почувствовал, готовился сам предупредить дальнейшие действия Сергея Павловича. Час для этого настал...

Выставка «Мира искусства» открылась в начале января 1901 года в Академии художеств с огромной пышностью.

Я снова в Петербурге... Переодевшись, еду в Академию художеств. Рафаэлевский зал узнать нельзя, так преобразил его волшебник Дягилев. Огромный зал разделен на десятки маленьких уютных комнаток, обтянутых холстом приятного цвета, и в этих уютных клетках, среди цветов, показано было искусство тех дней.

В первой или второй комнатке нарядно помещались мои абастуманские эскизы. Их надо было показать первыми, пока высокие гости еще не устали, не притупилось их внимание. Расчет был верным. Над ними по углам были помещены яркие, большого размера полотна Врубеля, совершенно задавившие мои маленькие акварели.

Я вижу замысел Сергея Павловича: заслужить за мои эскизы высочайшее одобрение и, с другой стороны, показать «своим», что и Врубель не забыт...

Выждав, когда освободится кипящий как в котле Дягилев, я отозвал его в соседний зал и без обиняков заявил, что соседство Врубеля для меня невыгодно, что оно двоит впечатление, что необходимо мои вещи перевесить дальше от входа, оставив Врубеля на его местах, или ему придумать что-нибудь иное. Если же он этого сделать не пожелает, то я сейчас же свои эскизы с выставки снимаю...

С Дягилевым нелегко было говорить: с одной стороны, его «диктатура», с другой — обаятельность. Оба эти свойства Сергея Павловича я знал хорошо, также знал, что в тот момент я ему был больше нужен, чем он мне. И взял единственный верный тон — тон категорический, заявив ему, что разговор наш не затянется, что он будет в двух словах. Горячий, неприятный разговор. Я, по словам Сергея Павловича, «человек тяжелого характера», «со мной трудно сговориться», — что делать... Сергей Павлович обещает мне тотчас же перевесить мои эскизы или найти соответствующее место большим, прекрасным, написанным маслом вещам Врубеля. Стали искать место — нашли прекрасное для картин Врубеля. Я остался на прежнем месте.

Этот разговор, моя настойчивость были поводом к дальнейшему углублению пропасти между мной и мирискусниками...

В тот год я поставил на Передвижную картон (уголь, пройденный акварелью) с киевского своего «Рождества» (во Владимирском соборе) и маленькую картину «Преподобный Сергий» (зима, преподобный идет не то в Пахру, не то в Звенигород).

С картоном было такое: назначил я за него недорого. В первый же день к заведующему выставкой Хруслову подошел солидный господин. Спросил цену, ему сказали. Он

просил уступить. Заведующий ответил, что на это он разрешения не имеет, но что может послать автору телеграмму в Киев. Телеграмму я получил и ответил, что уступок никаких не будет.

Через день-два солидный господин зашел справиться об ответе. Узнав, что уступки не будет, он сказал, что «Рождество» оставляет за собой, и, когда пришлось писать расписку в получении задатка, оказалось, что солидный господин был не кто иной, как известный сахарозаводчик-миллионер Павел Иванович Харитоненко...

Хруслов его не знал и жалел, что не назначил за «Рождество» втрое...

Позднее, в 1907 году, Павел Иванович познакомился со мной на моей выставке в Москве и, уже не торгуясь, платил мне большие деньги за мои вещи, покупаемые и заказываемые им. Позднее, за границей, для «Рождества» была приобретена Харитоненками у парижского антиквара старая итальянская рама XVII века, за которую, вероятно, с Павла Ивановича взяли в несколько раз дороже, чем он, торгуясь, заплатил за мой картон.

Маленькую картинку «Преподобный Сергей» приобрел тогда вел. кн. Алексей Александрович.

В Киеве я тогда кончал образа для мозаик в мавзолей графа Бобринского в Александро-Невской лавре, писал этюды к «Святой Руси» и заканчивал образа для церкви в Новой Чартории. В Москве выставил на Передвижной «Чудо», бывшее год назад на выставке «Мира искусства» в Петербурге.

Тогда же прочел, по совету Ярошенко, первый том Горького и восхищался им.

Дочка моя тем временем жаловалась на боль в ушах, плохо слышала, и я отправил ее в Крейцнах, славившийся своими водами. У меня была впереди поездка в Соловецкий монастырь. До поездки туда я побывал в Уфе.

Отдохнув немного в Москве, я отправился на Соловецкий с молодым пейзажистом Чирковым, подававшим в те дни надежды, их не оправдавшим и скоро сгоревшим от излишнего пристрастия к отечественному винокурению.

Приехав в Архангельск, мы узнали, что пароход на Соловки только на другой день. Мы осмотрели все, что можно было осмотреть, начиная с собора и хранившихся в нем работ искусных рук Петра Великого. Ночь, летнюю северную ночь, мы почти не спали, так как, начиная с 11 часов вечера и до самого рассвета, толпа гуляющих фла-

нировала взад и вперед по панели у нашей гостиницы, как бывало по Невскому по солнечной стороне от 4 до 6 часов.

На другой день мы с Чирковым были на пароходе «Св. Николай». Он вскоре отошел от пристани, полный богомольцев. День был свежий. Шли Северной Двиной, встречали множество судов, сплав леса по Двине был огромный. Вышли в море. Началась качка. На палубе настроение изменилось. Сначала женщины и дети, а потом и весь пароход, все его пассажиры почувствовали, что море не шутит.

Капитан — молодой, красивый монах, стоял на капитанском мостике, как изваяние. Спокойный, твердый, решительный, он властно отдавал приказания, глядя острым глазом из-под скуфьи. Волосы его были заплетены в небольшую тугую косу. Он чем-то напоминал мне суриковского Ермака.

Пришла ночь, настало утро, тихое, спокойное. Вдали виднелись храмы и стены обители Соловецкой. «Св. Николай» вошел в док. Монах-капитан отдавал последнюю команду. Толпа на берегу ожидала, когда «Св. Николай» причалит. Бросили сходни, народ повалил на берег. Мы с нашим незамысловатым багажом пошли туда же. Меня еще с берега узнали гостившие здесь молодые художники со Стеллецким во главе. Они заботливо, радушно предложили устроить нас в гостинице, расположенной около пристани. День на Соловецком был короткий, немощный, бледный, зато с вечера, часов с 10—11 и до утренней зари — часов до 3-х, было очень удобно работать красками. В эти часы я обычно работал. А мой приятель больше фотографировал.

Как-то забрел я далеко от монастыря на кирпичный завод. Там попался мне типичный монах-помор. Он был в подряснике из синей крашенины, на голове самоедовская меховая шапка с наушниками. Я попросил его посидеть, он согласился. Этюд, написанный с него, вошел потом в «Святую Русь».

Во время работы немало интересного порассказал мне монах. Поведал мне и о старинном институте так называемых годовиков. Давно повелся на Соловецком обычай весной привозить в обитель подростков лет двенадцатишестнадцати. Эти мальчики в большинстве случаев были «вымоленные» родителями после долгого бесплодия, после тяжелой болезни или иной какой беды. Таких вымоленных и привозили обычно родители в обитель с весны до весны на год, потому и звались они годовиками.

Таких мальчиков монастырь определял к какому-нибудь занятию: в певчие, если был голос, слух, в типографию, в поварню, в иконописную или еще куда. Там наблюдали за годовиком, за его способностями. Так проходил год, и вот тогда, если у годовика оказывались способности чрезвычайные, был он особенно умен, даровит, монастырь предлагал родителям оставить их мальчика еще на год. Родители и сам мальчик иногда соглашались, иногда нет, и его увозили домой... Бывали же случаи, что такой годовик, оставаясь в обители ряд лет, так привыкал к ней, что сам отказывался навсегда вернуться домой. Поздней он становился членом монашествующей братии, доходил до высших чинов монастырской иерархии. Его выбирали настоятелем монастыря, как было с архимандритом Иннокентием, который властно правил обителью в дни моего там пребывания.

Состав монастыря, его братия — крестьяне с северных губерний и Сибири. Это был народ крепкий, умный, деловой. Они, как и мой натурщик, молились богу в труде, в работе.

Однажды встретил я днем в стенах обители мальчика-монашка лет шестнадцати-семнадцати, такого бледного, болезненного, с белыми губами, похожего на хищную птицу, — на кобчика, что ли... Он был пришлый богомолец, неразговорчивый. Недуг одолевал его медленню и беспощадно. Его я тоже написал, и он попал в «Святую Русь».

Попало ко мне и еще несколько лиц более или менее примечательных. Они вошли в другие картины. Двое из них стоят — мечтают — в «Мечтателях» («Белая ночь на Соловецком»). Кое-кто попал в большую картину «Душа народа». Стены обительские, соловецкие пейзажи также вошли в свое время в мои картины ⁴⁷.

Писал я больше по ночам. Тишина, сидишь, бывало, один-одинешенек, и только чайки время от времени, просыпаясь, пронизывают воздух гортанными своими возгласами и вновь дремлют, уткнув головки в крылья...

Ездили мы с Чирковым и на Рапирную гору, и в Анзерский скит. На Рапирной, сопровождаемые монашком, помню, вышли мы на луговину. На ней сидело двое-трое дряхлых, дряхлых старичков. Они всматривались через деревья в горизонт уходящего далеко, далеко Бела-моря. Слева была рощица. Наш проводник внезапно обратился ко мне со словами: «Господин, смотрите, лиска-то, лиска-то!» Я, не поняв, что за «лиска» и куда мне надо смотреть, переспросил монашка. Он пояснил, что смотреть надо вон туда, налево, на опушку рощи, из которой выбежала лиса и так доверчиво, близко подбежала к старичкам. А им это

дело было знакомое, они мало внимания обратили на такую фамильярность дикого зверька ⁴⁸.

Монашек пояснил нам, что у них звери, будь то медведи или зайцы, человека не боятся, и человек к ним привык, не трогает их без особой надобности. Чуть ли не однажды в год монастырский «собор» постановляет изловить для нужд монастыря столько-то оленей, медведей, лисиц и еще чего там надобно. Делают капканы, силки и прочее, а что попадет в них лишнее против соборного постановления, выпускают на волю...

По дороге из Соловков заехал в Нижний, к Горькому, который после сиденья в тюрьме совершенно оправился. Я написал с него этюд на воздухе, в саду...

Горький уже тогда был знаменитостью, его имя возбуждало много симпатий и надежд. С ним легко говорилось на темы, любезные русскому интеллигентскому сердцу, говорилось в упор, без обходов. Жена Алексея Максимовича Екатерина Павловна в те дни была еще молоденькая, живая, приветливая. Жили они по-студенчески, довольно бестолково. Я прогостил у них несколько дней с большим удовольствием.

Из Нижнего на пароходе «Грибоедов» я проехал до Самары, дальше по железной дороге в Уфу. Из Уфы вернулся в Киев, в конце сентября двинулся в Абастуман. Там оставался недолго. Работы в церкви по перегрунтовке ее шли своим порядком. Помощник мой делал шаблоны орнаментов. Новой загрузке надо было дать время выстояться...

В конце октября я вернулся в Киев и снова принялся за «Святую Русь». У меня была большая, удобная мастерская на Банковой, в доме директора Киевской консерватории Пухальского. Мастерская непосредственно соединялась с квартирой, тоже удобной, прекрасной. Целыми днями я работал свою «Святую Русь», с головой уходил в любимое дело, стараясь позабыть об Абастумане, обо всем, с ним связанном.

Горький прислал полное собрание своих сочинений с дружеской надписью. Как давно все это было и как многое после того изменилось!

В Москве тогда образовывалось новое художественное общество, филиал «Мира искусства» с некоторым перебором членов москвичей. Новая выставка была названа по количеству участвующих «Выставкой 36-ти». Цель ее была обессилить и без того стареющих и терявших чуткость передвижников. Пригласили и меня. Я послал эскизы к образам церкви в Новой Чартории...

К декабрю «Святая Русь» была почти вся прописана, недоставало четырех-пяти фигур, для которых не было сделано в свое время этюдов...

Временно оставив картину, я стал работать над образами Абастуманского иконостаса.

Наступил 1902 год. В феврале я через Москву проехал в Петербург. В Москве смотрел Шаляпина в «Борисе», а в антрактах в его уборной видел, как Федор Иванович работал над ролью, над своим гримом. Виденное лишний раз убедило меня, что даже с таким огромным дарованием, какое имел двадцатидевятилетний Шаляпин, необходимо затрачивать массу энергии, воли, стремления к постоянному усовершенствованию.

В Петербурге в тот раз я пробыл до середины марта. Вернулся в Киев, где заканчивал «Святую Русь», не сегодня-завтра предполагая показать ее своим друзьям. Предстоящим судом волновался, хотя и видел, что час моего заката к сорока годам еще не наступил, как не настал он и для моих сверстников К. Коровина, Серова, Архипова.

В апреле я показал «Святую Русь» своим знакомцам. Видел ее и бывший тогда в Киеве и заезжавший иногда ко мне Шаляпин. Картину хвалили. Я радовался, хотя знал, что немало еще придется мне над ней поработать, особенно над Христом.

В те дни, когда была открыта «Святая Русь», в моей мастерской перебивало немало народа. Бывали знакомые и незнакомые, с рекомендательными письмами, с карточками. Однажды начальница института гр. Коновницына попросила меня разрешить посмотреть картину одной из институтских классных дам, лично мне неизвестной, но о которой я слышал восторженные отзывы от своей Ольги, что она и красива, и симпатична, и молода. Я дал свое согласие, и дня через два мне доложили, что меня спрашивает г-жа Васильева.

Вошла высокая, красивая, одетая в черное, скромная девушка. Поздоровалась, в сдержанных словах она высказала свое желание посмотреть картину, о которой слышала от гр. Коновницыной. Я пригласил ее в мастерскую, открыл ей картину.

Долго и молча смотрела моя гостья на «Святую Русь». Ничего экспансивного, все просто, естественно. Картина очень понравилась, а г-жа Васильева понравилась мне. Я попросил ее присесть. Разговорились с неразговорчивой девушкой. Она понравилась мне не только своей красивой внешностью, но и своей скромностью, вернее, какой-то

сдержанностью, замкнутостью. Просидела она долго, быть может, дольше, чем в таких случаях бывает. Прощаясь, я пригласил ее заглянуть как-нибудь еще, что и последовало через несколько дней.

Завязалось знакомство, явные симпатии... Дальнейшие визиты привели к тому, что она стала моей невестой, а спустя месяца два я женился на ней. Свадьба наша была в Кисловодске, после чего мы в тот же день уехали в Абастуман.

Когда я женился второй раз, мне было сорок лет, моей жене Екатерине Петровне двадцать два года.

В Абастумане я был теперь с молодой женой. Там нашел я большой беспорядок. Помощник Свинына — архитектор Луценко загрунтовал стены неумело, небрежно. Материал для заливки был взят самого плохого качества, результатом чего было то, что заливка вместе с написанным по ней орнаментом быстро стала отставать от стен. Огромные затраты времени и денег были напрасны.

Я вынужден был поставить перед великим князем вопрос об удалении Свинына и его помощника и о полном невмешательстве в церковные работы дружественно настроенных к Свиныну лиц. Решено было к докладу великому князю и графу И. И. Толстому в качестве вещественных доказательств послать несколько аршин грунта с позолоченным по нему сложным грузинским орнаментом. Грунт этот при малейшем прикосновении к нему ножа отставал от стен лентами. Эти ленты я накатал на вал и в таком виде отправил в Петербург.

В своем докладе я просил великого князя или все работы по переделке доверить мне единолично, или освободить меня от работы в Абастуманской церкви. В конце доклада я говорил, что в ближайшие дни уезжаю в Уфу, остановлюсь на несколько дней в Москве. Устал я тогда страшно, не столько от работ, сколько от борьбы с абастуманцами. Для такой борьбы у меня не было ни охоты, ни призвания.

Приехав в Москву, я получил от великого князя следующую телеграмму: «Москва, Академику Нестерову. Письмо Ваше получил. Вполне Вам доверяю, очень надеюсь, что все работы, Вами начатые, будут продолжаться. Посторонних вмешательств допускать не буду. В сентябре приеду в Боржом. Георгий». Адрес мой не был указан, и телеграфист после долгих поисков нашел меня в гостях.

Таким образом, враг был посрамлен. В Москве, ввиду переделки церковных стен, я совещался с учеными-химиками. Показал им ленты, снятые со стен храма. Для

меня стало совершенно ясно, что злоупотребления были несомненные. Скоро я успокоился. Телеграфировал обо всем своим абастуманским друзьям. Тогда же из Петербурга в Абастуман было дано распоряжение, чтобы мне впредь никаких препятствий не чинили.

Вместо Уфы я ненадолго проехал в Киев и в сентябре снова был в Абастумане. В Боржоме был принят с докладом вел. кн. Георгием Михайловичем, энергично подтвердившим то, о чем он телеграфировал мне в Москву.

В Абастумане я нашел все в порядке. Работы по перегрузке шли ускоренным темпом. Вскоре оказалось, что купол, заново перекрытый Свиньиным (что обошлось будто бы недешево), с появлением осенних дождей стал вновь протекать. Работать в нем было невозможно, о чем я и телеграфировал великому князю, предлагая созвать комиссию.

Снова начались интриги. Хотя мне и без труда удалось установить факт протекания купола, все-таки в Абастуман экстренно прикатил Свиньин. Он со своими приверженцами горячо отстаивал дело рук своих. Я же и на этот раз действовал решительно, сняв с себя всякую ответственность в этом деле. Крылья, своды и паруса продолжали протекать. Свиньин упорствовал, и я стал снова подумывать, не пора ли мне складывать чемодан, готовиться к отъезду из Абастуманского ущелья. Ждали приезда на Кавказ великого князя: «Вот приедет барин...» и т. д...

Наконец, великий князь приехал в Боржом. От ктитора нашей церкви—подполковника Попова—он узнал о ходе работ, остался доволен, просил передать мне, что разрешает поставить леса для осмотра купола и созвать комиссию по моему усмотрению. Таким образом, приезд Свиньиного в Абастуман не имел дурных последствий для дела. В Петербурге ему перестали слепо верить.

Вскоре и я поехал в Боржом с докладом о ходе работ. Тогда же, по моему указанию, в комиссию был приглашен строитель храма старик Симансон. Помощник же Свиньиного архитектор Луценко был устранен от дел такой телеграммой великого князя гр. И. И. Толстому: «Ваш Луценко оказался порядочный мошенник. Немедленно удалить его от всех работ, мне подведомственных».

Наконец, мы в Абастумане вздохнули свободно. Можно было работать спокойно. В декабре я оставил Абастуман. Работы без меня продолжались под руководством моего помощника. Несколько позолотчиков с не очень благозвучными фамилиями (Гнидов, Шелудько) писали орнаменты.

В Петербурге тогда вышла книга А. Бенуа о русском искусстве. Мой приятель⁴⁹ был недоволен отзывом Алек-

сандра Николаевича обо мне. Однако книга была написана человеком даровитым, чутким — была необходима. Взгляд Бенуа на мое иконописное искусство не был мягок, он был куда проникновеннее, глубже всего того, что тогда обо мне писалось и говорилось. Конечно, мне было бы приятнее, если бы Бенуа высказал свой взгляд на мою иконопись дружески, не в печати, а в личном разговоре (как позднее он мне и говорил), желая мне лишь добра, спасая меня от меня самого, не давая соблазна на мой счет людям неустойчивым, дурно ко мне настроенным. Но сам по себе, повторяю, взгляд Александра Николаевича на мое церковное искусство я считал и считаю живым, горячим, во многом верным.

Я не защищаю книгу Бенуа безусловно, со многими из его взглядов я был и остался не согласен.

Проездом из Абастумана в Киев я опять остановился в Москве, где в то время искусство процветало: сценическое в Большом театре и в молодом Художественном, а живописное — на выставке «Мира искусства».

В Художественном смотрел я прекрасно разыгранного пбсеновского «Доктора Штокмана». Я был восхищен «Штокманом», писал о нем в Петербург:

«... Ах, как все это хорошо, ну, разве это не возрождение? Какой живой, горячий подход к искусству — сколько во всем этом еще увлечения, вдумчивости, желания изыскать новые формы. Сердце радуется, сам молодеешь...»

Через пару месяцев я увидел в Художественном театре «На дне». Новизна темы, красочный быт, отличная передача пьесы, Москвин — Лука — мужик лукавый, балагур, себе на уме, как-то по-своему, по-мужицки, хитро ладивший с богом; Качалов — Барон, Книппер — Настенька с ее рыцарем Гастошей... Чтобы оценить тогда Горького как сценического писателя, надо было посмотреть пьесу у Станиславского. Тогда Художественный театр казался уголком новой, еще невиданной, несуществующей жизни, где не было актеров, были люди, хорошие и худые — всякие люди.

Позднее, взглядевшись в дело Станиславского, я сильно изменил свое мнение о нем. Мне стало ясно, что любовь там была, но «головное» убивало живое, непосредственное. То ли дело Шалапин, тот на полной своей воле творил, раскрывал перед изумленным зрителем великолепные, полные трагизма или веселости, тонкой прелести жизни, поэзии образы. Он, несомненно, заставлял любить искусство, жизнь, красоту божьего мира.

На московской выставке «Мира искусства» были превосходные портреты Серова... Были нарядны яркие, опять

красные «Бабы» Малявина. Было много Рерихов, был Сомов, значительно менее живой, чем раньше.

Ожидалась выставка «36-ти» с Виктором Васнецовым, с москвичами, отделившимися от Дягилева.

В Киеве я еще поработал над своей «Святой Русью», переписал Христа. Так прошел год 1902.

Новый, 1903 год мы встретили в Киеве.

Я негодовал на «Новое время». Сотрудники его М. Иванов и Н. Кравченко писали фельетоны об искусстве⁵⁰. Оба были нетерпимы, мало понимали происходившее в искусстве того счастливого времени, злобно кидались на все и на всех.

В конце января нового года я с женой уехал в Абастуман через Москву — Тифлис. В Москве шумели Леонид Андреев, Горький. Леонид Андреев не казался мне большим талантом. Искусственное, надуманное мешало ему стать в уровень с теми, с кем любил он фигурировать: с Шаляпиным, с Максимом Горьким, достигшим к тому времени полного развития своего дарования.

Приехав в Абастуман (в который раз, я и счет потерял), я застал половину орнаментов конченными. Церковь, благодаря золотой инкрустации по белой, как бы слоновой кости стене, становилась нарядной, «пасхальной»... Пошли рабочие дни, они сменялись субботними или воскресными поездками за пределы Абастумана. Мы радостно выезжали из нашего ущелья. Перед глазами на много верст расстилалась долина, видны были ближние и дальние горы. Мы отдыхали на солнце, оно так щедро разливало свои лучи по широкому простору берегов Рионы и Куры.

Налюбовавшись, отдохнувши, мы снова ехали в свой мрачный коридор. В свободное время читали. Я выписывал только что появившийся перцовский «Новый путь», где тогда группа интересных писателей с Розановым во главе, казалось, найдет новый путь к познанию России, россиян, их скрытых дум, заветных чувств, мыслей. Откроет тайну, давно утерянную, как любить божеское и человеческое.

Тогда же мы прочитали трилогию Мережковского⁵¹. Темы этих новых творений указывали на образованность и вкус автора... Правда, подход к темам был более научно-философский, чем художественный. Художественность была самой слабой стороной романов. Хороши характеристики самого Юлиана, Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, но действия, жизни, страсти, искренности нет и следа. Толпа Мережковского ходульна и банальна. Там, где автор должен показать себя как художник, он бездарен, скучен до утом-

ления. Его спасает начитанность, умение пользоваться материалом библиотек Ватиканской и других и новизна тем. Это не художественные произведения, не поэмы, а научно-археологические исследования. Вся трилогия Мережковского менее талантлива, хотя, быть может, замысловатее «Камо грядеши» мастеровитого Г. Сенкевича.

Комиссия по осмотру купола церкви была собрана, был и строитель ее Симансон. Все высказывались весьма туманно, а старый придворный Симансон уклончиво заметил, что сейчас что-либо сделать с заново перекрытым куполом «трудно». На этом и разошлись. У меня же на этот счет была уже своя думка.

В марте мы уехали в Киев. Там пришлось мне расставаться с моей прекрасной мастерской, так как дом, где мы жили, был продан и новый хозяин хотел сам занять нашу квартиру. Начались поиски новой квартиры. Дело было спешное. Искали там же, в Липках, поближе к институту. Кое-как остановились на одной. Мастерская окнами на север, с низкими потолками, но иного выхода не было. Переехали. Там я и окончил свою «Святую Русь». Там прожили мы до своего отъезда из Киева на жительство в Москву в 1910 году.

Необходимо было ехать с докладом в Петербург. Великому князю было теперь не до купола, не до нас с Симансоном (были юбилейные дни основания Петербурга). Однако, несмотря на это, в мае я был в Петербурге, видел своего патрона, мой проект относительно купола был одобрен, и я выехал в Ялту.

Там мы с женой пробыли недолго, встретили в Алушке Виктора Михайловича Васнецова, я проехал дальше в Гагры, где был один принц Ольденбургский. Принят я был любезно, и от имени принцессы мне было передано разрешение написать свои образа в «архангелский» иконостас базилики не на месте, а на медных досках, что очень упрощало дело, и мы с ближайшим пароходом уехали в Батум — Абастуман.

Работы без меня шли вяло. С моим приездом все ожило, все подтянулось.

Начался лечебный сезон, музыка во второй роще. После тяжелого рабочего дня плохо гулялось мне, не то было в голове. Святые угодники, мученицы неотступно следовали за мной.

Однажды неожиданно явился ко мне М. Горький с женой — Екатериной Павловной и со свитой, из которой помню

только одного — редактора «Знания» Пятницкого. Горький выглядел отлично, он загорел, поправился, был в хорошем настроении.

Я предложил осмотреть церковь. Мы поднимались по лесам в самый купол. Алексей Максимович хвалил церковь, хвалил искренне. Особенно нравилась ему «Св. Нина», незадолго перед тем написанная мной на одном из пилонов храма. Лицо Нины было не совсем обычно. Написал я его с сестры милосердия Петербургской Крестовоздвиженской общины, приехавшей отдохнуть, подышать абастуманским горным воздухом, подмеченной где-то в парке моей женой.

Сестра Копчевская (так звали мою «Нину») действительно обладала на редкость своеобразным лицом. Высокая, смуглая, с густыми бровями, большими, удлинненными, какими-то восточными глазами, с красивой линией рта, она останавливала на себе внимание всех, и я, презрев туземных красавиц, кои не прочь были бы попозировать для излюбленной грузинской святой, познакомился с сестрой Копчевской и написал с нее внимательный, схожий этюд. Он и послужил мне образцом для моей задачи.

Этот же этюд пригодился мне еще однажды: я ввел это оригинальное лицо в толпу своей «Святой Руси». Она изображена на заднем плане, в белой косынке своей общины.

Горький высказал сожаление, что церковь эта не в столице, а где-то в далеком Абастуманском ущелье. Настоятель церкви показал гостю церковные богатства, принесенные в дар высочайшими особами. После осмотра все отправились к нам завтракать, говорили о текущих событиях в столице, в России.

Горькому, по его словам, тогда не работалось. Путешествовал он для укрепления здоровья.

Часов в шесть Алексей Максимович и его спутники собрались на нашем балконе к обеду. К этому времени весть о том, что в Абастуман приехал Горький, облетела все ущелье. Местные жители и «курсовые», приехавшие в модный тогда курорт из Тифлиса, узнав, что Горький у нас, к концу обеда собрались у нашей террасы. Барышни, студенты сначала робко, а потом смелей стали выражать свои чувства, бросать на террасу цветы. По желанию Алексея Максимовича пришлось опустить занавеси. Несмотря на эту меру толпа росла, к вечеру восторженная молодежь закидала нашу террасу букетами жасмина.

Горький к тому времени уже был пресыщен. Все эти знаки подданничества больше не занимали его. В ту же ночь путешественники покинули Абастуман, через Зекарский

перевал уехали в Кутаис. Отклики его пребывания в Абастумане оставались еще долго. Абастуманцы внимательно следили по газетам за его триумфами.

Я же с Горьким после того больше не встречался никогда...

В конце августа я выехал в Гагры, чтобы поставить в иконостас базилики написанные за лето образа. Чудная дорога, голубое тихое море. Все чары благодатного юга сопутствовали мне. В Гаграх я не нашел своих заказчиков. Они были еще на севере. Поставив образа, я тотчас же уехал в Киев, с тем, чтобы через месяц вернуться в опустылевший к тому времени Абастуман, куда мною был приглашен А. В. Щусев осмотреть протекавший купол.

Дело оказалось легко поправимым. В куполе до и после перекрытия его вокруг креста оставалось пространство достаточно большое, чтобы через него дождевая вода и талый снег могли проникать внутрь и впитываться в пустотелый кирпич. В нем теперь скопилось много воды, она давала сырость, мешавшую росписи церкви.

Щусев своим молодым чутьем скоро напал на причину всех бед и предложил прежде всего выпустить накопившуюся воду, пробив пустотелый кирпич внутри купола. Затем, заделав пробоины кирпича, он приказал сделать воронку из красной меди, плотно облегающую стержень креста, и залить крест свинцом. Таким образом, доступ влаги в купол был прекращен.

Задача была выполнена прекрасно. Купол начал мало-помалу просыхать и скоро стал пригодным к росписи. То, чего не могли сделать опытные архитекторы, удалось легко достичь талантливому молодому их собрату.

Щусеву церковь и ее роспись понравилась. Пробыв несколько дней, он уехал в Киев, где под его руководством шли работы по орнаментации трапезной лаврской церкви...

В начале ноября я вернулся через Москву в Киев. В Москве смотрел в Художественном театре «Юлия Цезаря». Вспоминались мейнингенцы...⁵²

Узнал об уходе с Передвижной Остроухова, Ап. Васнецова, Первухина, Иванова, Архипова, Степанова, Виноградова... Народ даровитый, полный сил. Я еще числился передвижником, не было достаточно повода их покинуть, выходить же за компанию не стоило.

Тяжело захворал Серов. Счастливая операция спасла жизнь даровитому художнику.

В Киеве я написал две-три небольших картинки из соловецких воспоминаний, готовил последние эскизы для Абастумана.

В Петербурге открылась васнецовская выставка. На ней впервые появились признаки охлаждения общества к любимому прославленному мастеру.

1904 год — год несчастий и всяческих бед — начался поездкой в Москву. Там видел, восхищаясь, «Вишневый сад», Шаляпина в «Демоне». Слушал молодого Масканьи — автора «Сельской чести». Осмотрел выставку «Союза»⁵³. Был у выздоравливающего Серова и вернулся в Киев под впечатлением виденного и слышанного...

Конец января для России и для меня лично был особенно памятен. Началась Русско-японская война. Я был в Киеве.

2 апреля, помню, сидел после утреннего чая у окна в своей мастерской, читал «Киевлянина». Читал о том, о сем. Вдруг меня что-то как бы толкнуло... Быстро, быстро, с замиранием сердца читаю, что в ночь на 1 апреля эскадра наша на порт-артуровском рейде подверглась нападению миноносцев, что броненосец «Петропавловск» пошел моментально ко дну. На нем погибли: начальник эскадры адмирал Макаров, даровитейший и благороднейший Макаров, погиб славный художник Верещагин... Дальше шел перечень погибших, среди них и друг моей юности — старший врач «Петропавловска» доктор Андрей Николаевич Волкович. Потом перечень спасшихся, среди них вел. кн. Кирилл Владимирович.

Неизъяснимый ужас. Зову жену, читаю вторично, и страшное сознание глубже и глубже охватывает меня. Ужасное испытание посылает судьба России!..

В ближайшие дни приходят подробности. От них не легче, а еще тяжелей. Там, на Дальнем Востоке, быть может, решается дальнейшая судьба России — нашей родины.

На нужды войны я отдал бывшую на Передвижной картину «Голгофа». Ее купил какой-то сибиряк, увез к себе.

Что ни день, то приходили новые вести. Вместо Макарова назначен популярный, но не оправдавший надежд адмирал Скрудлов...

Теперь стала ясной до очевидности вся несвоевременность затеи устроить самостоятельную выставку. Неудачная война отвлекла внимание всех от таких зрелищ. Не до художников и их художеств было России. Сердце русских билось тревожно. На Дальнем Востоке гибли отцы, братья, дети здесь оставшихся...

Побывав в Петербурге, показав вел. князю остальные эскизы Абастуманской церкви, я выехал туда через Ялту. Там у своего приятеля доктора Средина встретился с Со-

биновым и Миролюбовым, бывшим артистом Московского Большого театра, прекрасным певцом, но на беду таким неврастеником, что перед выходом на сцену с ним делалась медвежья болезнь.

Доктор Средин, полуживой, чахоточный, обладал неисчислимыми душевными богатствами, делился ими со своими друзьями. Казалось, он решал вопросы жизни за всех, кому недосуг. Темой особых разговоров у Средина был горьковский «Человек» и «Жизнь Василия Фивейского» Л. Андреева.

«Человек» предназначался как бы для руководства грядущим поколением. Написан он был в патетическом тоне, красиво, но холодно, с определенным намерением принести к подножию мысли всяческие чувства: любви, религиозное и прочие. Это делал тот Горький, который еще недавно проповедовал преобладание чувства над мыслью, который года за два до этого, тут же, в Ялте, в ночной беседе у него на балконе, прощаясь со мной, говорил в раздумье: «За кем я пойду? За Достоевским или против него, — не знаю еще сам». Теперь Горький знал, что он пойдет против Достоевского. Его «Человек» был лучшим и бесспорным тому доказательством. «Человек», при всей его внешней красивости, во многом был уязвим...

Вещь Андреева, интересная по частям, ради излюбленных им ужасов была растянута на сто страниц. Ужасы эти были более противны, чем страшны. Жаль, что непосредственная пора творчества так быстро покидает художников. Наша братия скоро приноравливается ко вкусам публики, не ведет ее за собой, а сама идет у нее на поводу...

Работа в церкви тем временем шла вперед. Летом я надеялся снять среднюю часть лесов. В Абастуман из Уфы приходили вести, что мой восьмидесятишестилетний отец день ото дня слепнет, дряхлеет. Окружающим нелегко с ним живет. В Киеве моя Ольга кончала институт, предполагала уехать в Уфу, а затем вместе с моей сестрой побывать в Абастумане, посмотреть, что я там натворил. К тому времени мне оставалось написать только девять композиций из пятидесяти.

С дороги в Уфу Ольга писала, что сотни тысяч наших солдат едут на Дальний Восток. С заунывными песнями едут татары, слышны меланхолические напевы украинцев, удалые — наших ярославцев, москвичей...

В те дни я, как и миллионы русских людей, крепко верил в призвание Куропаткина. От меня сильно доставалось маловеерам. Всей силой души я негодовал на «старого хохла» — Драгомирова, когда тот остроумно высмеивал Куро-

паткина. Драгомиров, отказавшись от командования на Дальнем Востоке, сидя у себя на печке в Конотопе, критиковал всех и вся...

Военные события развивались грозно. Куропаткин был уже на подозрении, со дня на день ждали падения Порт-Артура.

В Абастумане с каждым днем приближался момент снятия лесов, и скоро должно было предстать перед абастуманцами содеянное мною за два года. В конце июня появились слухи, что экзарх Грузии Алексей, объезжая свою епархию, заедет в Боржом и к нам в Абастуман посмотреть, что делается в новом храме. Мои недруги ожили. Вскоре мы узнали, что экзарх не только будет в Абастумане, но что 3 июля предполагает служить в нашей церкви всенощную, а 4-го — обедню. А у нас же по всей церкви леса, пыль, шаг ступить нельзя, чтобы не запнуться, по неопытности не набить себе шишек о бревна, — а тут это неожиданное архиерейское служение.

Народу в Абастуман, как всегда в сезон, понаехало множество. Такие слухи нимало не смутили нас — настоятеля, ктитора храма и меня. Задолго до таких вестей было нами условлено все лишние леса снять, а лишними были сейчас весь центр храма с пола до купола и леса снаружи храма. Кстати, мы решили снять и боковые, внутренние, так как то небольшое, что оставалось просмотреть в правом и левом крыле храма, можно было достать и со стремянок, с подвижных лесов. И мы решили в несколько дней осуществить намеченный план — освободить от лесов весь храм.

Работа закипела. С шести утра до семи вечера тенгинцы⁵⁴ за хорошую плату работали с нами, не покладая рук. С каждым часом храм больше и больше открывался, и сердца наши радовались.

В эти немногие дни мы преобразили груды бревен, досок, вороха пыли в стройную, нарядную, сверкающую золотым орнаментом церковь. Все, кто ее видел, поздравляли нас, радовались с нами. Уверовали, что конец росписи не миф, как утверждали наши противники.

3 июля церковь была в полном блеске. Сотни огней сияли в паникадилах, в подсвечниках. В 6 часов о. Константин прошел в драгоценном облачении к паперти. В то же время вдали показался экипаж экзарха.

Владыка, крупный, благодушный, вышел из экипажа. Здесь, на наружной паперти, о. Константин, горячий, искренний оратор, встретил его с крестом, с внушительным словом,

дав понять владыке, что тут все «утверждено и одобрено высочайше». Таким образом, поставил его в положение «не ложное». Тот, став на такую точку, все понял...

Экзарх вошел в храм (еще было светло), осмотрелся и сразу просиял: не это он, по наветам в Тифлисе, думал найти здесь... и рад был, что случилось так, а не иначе. Войдя в алтарь, поздравил нашего милого батю с великолепным храмом, с понравившейся ему росписью.

Началась всенощная. Я переживал вторично дни Владимирского собора. После всенощной настоятель представил меня владыке, и я вместе со всеми был приглашен к чаю, во дворец, где остановился экзарх.

Чай затянулся до 12-го часу. О многом расспрашивал меня благодушный старик. Многое он узнал тогда, чего не знал, сидя у себя в Тифлисе. С ним приехало несколько человек его свиты. Между ними был молодой протоиерей Иоанн Восторгов.

Ласково отпустил всех нас экзарх.

На другой день была назначена торжественная литургия в новом храме. Народу было множество. Всем хотелось посмотреть роспись, которую многие после всенощной знали, говорили о ней...

В то лето за границей умер Чехов. Не стало отличного художника, не совершившего до конца своего пути.

В Уфе умер глубоким стариком отец. Сестра была на пути из Абастумана в Уфу, приехала ко дню похорон, видела, как Уфа отозвалась на смерть отца, старейшего из ее граждан.

Ольга оставалась еще в Абастумане.

В начале октября все работы в церкви были закончены, были сняты с них фотографии...

Скоро я покинул Абастуман, чтобы никогда туда не возвращаться. Думается, что сделанное мною в Абастумане было бы иным, лучшим, если бы оставался в живых наследник Георгий Александрович.. При нем не было бы тех интриг, злоупотреблений, какие выпали на мою долю после его смерти

Таким образом мною был пройден еще один этап художественный и житейский

По дороге в Киев заехал в Крым Был с подробным докладом у вел кн Георгия Михайловича Тогда он только что построил у себя в имении церковь в грузинском стиле Не помню кто был стронтелем этой грациозной церковки Великий князь попросил меня рекомендовать ему декора тора художника Я указал ему все на того же Щусева

Во время моего доклада о перипетиях в Абастуманском куполе великий князь не без тревоги спросил меня: «Что это все стоило? Тысячи полторы?»

Я ответил, что «меньше», и подал великому князю счет слесаря-немца. Тот взял за медную воронку к куполу, за то, чтобы ее припаять и залить все свинцом, не 1500 рублей, как думал великий князь, а... 75 рублей.

Вернувшись в Киев после двухлетней напряженной работы, я предался полному ничегонеделанию. Вскоре у меня родилась дочь Настенька...

В Киеве работал над эскизом когда-то в ранней молодости задуманной картины «Гражданин Минин»...

Пасху, бывшую в тот год в апреле, встретил дома, в Киеве. В ту зиму написал портрет с жены, бывший в 1907 году на моей выставке в Петербурге, в 1914 году на выставке в Мальмё, потом в Америке и, по возвращении, приобретенный в 1927 году в Третьяковскую галерею. Портрет этот в свое время нравился, и было предложение приобрести его, вместо портрета дочери, в музей императора Александра III.

Были на Волыни, у Н. И. Оржевской, где тогда заканчивалась роспись церкви по моим эскизам.

В середине мая с женой и дочерью Ольгой через Вену проехал в Париж. Нерадостно он нас принял тогда. Еще в Вене мы получили письмо, что маленькая дочь наша Настенька захворала, опасности никакой не было. И мы продолжали свой путь. Приехав в Париж, получили новое известие, более тревожное, а затем две телеграммы одну за другой. В последней было сказано, что Настенька скончалась. Горе жены было тяжелое. Мысль, что она, оставаясь около больной, могла бы помочь ей, облегчить ее страдания, угнетала жену. Париж сразу утратил для нас всякий интерес. Он стал как бы виновником несчастья, укором нашим... Однако впереди нас ожидало не меньшее, иное несчастье.

Мы собрались, помнится, на выставку Родена, взяли извозчика, едем где-то около Comedie-Française. Нас обгоняет экипаж, в нем сидят четверо японцев и что-то радостно, шумно между собой болтают. Нервы были напряжены, меня это зрелище как-то кольнуло, однако масса впечатлений сменяли одно другое, и мы, доехав до выставки, пошли пешком.

Слышим, газетчики кричат последние новости. Первое, что мы улавливаем в этих криках, было радостно. Кричали, что вчера произошла встреча двух эскадр, нашей и японской, что японцы разбиты. Подробности особо.

Не успели мы воспринять радостную весть, как бегут с новыми прибавлениями, с тем же навязчивым криком оповещают, что в Цусимском проливе произошло генеральное сражение. Русская эскадра погибла вся, она уничтожена. Адмирал Рождественский взят в плен...

Такая быстрая смена впечатлений, радостного и мрачного, была ошеломляющей. Что я пережил за это несчастное утро! Известия, одно другого отчаянней, безнадежней, сменялись в продолжение дня. Было ясно, что страшную правду надо принять целиком, пережить ее. С того дня величие Родины, ее слава померкла. Закатилось солнце, глубокий траур приняла народная душа.

Следующие дни, что оставались в Париже, мы узнавали из газет одну подробность за другой. Все они были тяжелыми. Душе не на чем было отдохнуть. Правда, наши моряки вели себя геройски, но и враг был не менее героичен. Злой рок и многое другое дало врагу победу, неслыханную победу. Тоска неизъяснимая овладела мной. Париж потерял всякий интерес. Музеи, выставки смотрели уже без живого интереса. Душа была не здесь, в веселом, беззаботном Париже, а где-то далеко, с нашими несчастными моряками. Мысль, чувства работали напряженно, болезненно. Тяжело было тогда быть русским. Мы были беспомощны, одиноки... Воображение рисовало картину гибели эскадры, наших героев. Гибель броненосца «Император Александр III», перевернувшегося у всех на глазах и пошедшего на дно Цусимы со всем экипажем, со своим командиром — Бойсманом первым... Хотелось все бросить, все забыть и лететь туда, на восток, в Россию, чтобы всей русской семьей оплакивать наше горе...

В Вене у меня было задание — осмотреть новую посольскую церковь, сооруженную по проекту талантливого петербургского архитектора, моего приятеля Г. И. Котова. Церковь была неплохая, лучше многих наших заграничных церквей. Ее тогда предполагалось расписать. Я виделся с нашим послом кн. Урусовым. Он мне говорил много хороших слов, но дело оставалось за малым: у них на роспись не было средств.

В Киеве, несмотря на то, что в Вене Ольга была у славившегося тогда по ушным болезням профессора Урбанчика, слух ее снова стал ухудшаться. Страх новой операции, быть может, трепанация черепа, пугал нас еще и потому, что Урбанчик намекал на то, что после предыдущей операции часть гноя могла еще оставаться в ухе. Решили, что Ольга конец лета проведет в Кисловодске у М. П. Ярошенко.

Быть может, и теперь совершится чудо, и дело обойдется без новых мучительных переживаний.

По возвращении из-за границы мечта о самостоятельной выставке в Петербурге меня не покидала. «Святая Русь» была почти готова. Было написано еще несколько картин, акварельных эскизов. Немало было и этюдов, которые можно было показать. Предполагал я выставить полностью эскизы Абастуманской церкви, несмотря на то, что большая часть их была уже на Дягилевской выставке в 1901 году.

Недолго по возвращении из-за границы просидел я дома, собрался в Уфу. По дороге туда прожил недели две в Васильсурске, где в то время были очень патриархальные нравы: мои соседи, уезжая на неделю, на две в Казань, не запирали своего домика, наказывая моей хозяйке посмотреть за курами и только!

Написав несколько этюдов для задуманной картины «За Волгой», я еду дальше, в Уфу. Там обычный прием. Отдыхаю душой и телом. Прожив недель около двух, плыву обратно по Белой, такой прозрачной, голубой. Еду до Старого Макария. Макарий Желтоводский — колыбель старой Макарьевской, потом Нижегородской, ярмарки, горделиво прозванной именитым купечеством «всероссийским торжищем». У Макария пароход не останавливается, он берет нефть напротив, у села Исады, красивого, раскинувшегося по нагорному берегу, с двумя-тремя старыми церквями, с массой яблоневых садов. От Исад к Макарию переправляются через Волгу на лодке.

Вот я и на том берегу. Старинный монастырь, большой, пятиглавый. Средняя глава давно провалилась. Внутри храма стены покрыты фресками. Голубые фоны доминируют. Величавые колонны, на них изображения святых угодников, благоверных князей. Все значительно, торжественно. Веет большой древностью, подвигами, деяниями былой Руси. Монастырь окружен старой, старой стеной. Кое-где уцелели башни, простые, внушительные, нижегородского типа.

Нанимаю себе комнатку. Все, как водится: с клопами, с геранью на окнах, с «удобствами» на противоположном конце большого двора. Хозяйка приветливая, услужливая. Срядились во всем до мелочей. Просит мой паспорт отдаю. Сам ухожу со шкатулкой побродить по берегу. Пишу этюд нагорной стороны Волги. Мимо бегут пароходы, медленно проплывают величавые, ленивые беляны. Чувствую

себя отлично, готов фон для картины «За Волгой». Иду домой, предвкушая чай со сливками и потом постель и отличный сон, сон, несмотря ни на что.

Прихожу. Меня встречает хозяйка с постным лицом. Мой паспорт в обложке Гранд-Отеля уже побывал у станového. Он из него узнал, что приехавший неизвестный «бродил три раза кругом света», что он непоседа, да еще занимается бог знает чем — рисует!.. И предусмотрительный становой твердо посоветовал хозяйке поскорей, не задерживая, распрощаться с новым жильцом, отдать ему задаток и пусть себе едет куда знает сегодня же, с первым пароходом, что «побежит» вверх по Волге к Нижнему. Все мои резоны, уверения в моей непричастности к чему бы то ни было противозаконному не убедили трусливую бабу. Она тут же вернула мне задаток.

Я уложил свой сак и стал ждать парохода. Вот и он показался, отвалил от Исад. Я сел в лодку, дали сигнал пароходу, чтобы он уменьшил ход, остановился. «С грустной миной на лице» я сел, и пароход побежал дальше.

Из Нижнего еду в Пучеж. Самолетский парохол «Князь Федор Ярославский» бежит мимо Николы-Бабаек. Там молебен, бежим дальше в Ярославль. Потом Москва, и я снова в Киеве.

Сейчас мои мечты — создать музей в Уфе. Для этого у меня имеется свободная земля. Стоит только вырубить часть нашего сада, что выходит на Губернаторскую улицу, вот и готово место для музея в самом центре города. Щусев, совсем еще молодой, обещает начертить проект музея. Я тоже пытаюсь что-то себе представить «архитектурно».

Музей предполагает быть наполненным собранием картин, этюдов, скульптуры, полученных мною в подарок или в обмен от моих друзей и современников. Я мечтаю, что когда музей будет готов, открыт — поднести его в дар городу Уфе.

Позднее это осуществляется иначе. Городской голова Малеев предлагает мне поместить мою коллекцию в задуманном им Аксаковском Народном доме. В 1913 году я и делаю это, оформив все законным порядком.

Давно желанный мир с Японией заключен. Вите — «герой дня». О нем, о его ловкости, кричит вся Европа. Он почти Бисмарк.

В октябре выставка Виктора Васнецова в Академии художеств. Его «Страшный суд» не популярен. Академисты

ходят по выставке «руки в карманы». Был какой-то эксцесс, после чего Васнецов выставку закрыл, вышел из членов Академии...

В январе 1906 года мои вернулись из Ростка. Ольга после двух операций выглядела отлично, стала весела и бодра, остриглась. Что-то задорно-мальчишеское было в тогдашней ее внешности. В феврале я с ней был в Питере. На обратном пути заехал в Москву, куда ранее была послана с другими картинами «Святая Русь» для фотографирования. В Москве «Святую Русь» видели многие, видел В. М. Васнецов, нашедший ее «интересной». Однажды, еще во время росписи Владимирского собора, Виктор Михайлович говорил о Семирадском. По его словам, Семирадский не скупился на похвалы картинам собратьев-художников, кои не мешали ему или были не опасны, и сугубо молчал, когда картина задевала его своими достоинствами. Тогда, бывало, не жди от него похвалы — не получишь.

Видел «Святую Русь» и Суриков. Он отнесся к ней явно недоброжелательно. Видела ее в Историческом музее и молодежь — г.г. Милиоти и другие из «Золотого руна»⁵⁵, появившегося тогда взамен «Мира искусства». Наговорили мне много любезностей, уверяли, что я еще полон сил, что «об уходе со сцены мне и думать нечего».

Тут же в Москве мне было сделано предложение участвовать со «Святой Русью» в Париже, что, однако, не помню почему, не состоялось.

В мае был я в Ялте, видел своих друзей, оттуда проехал на Кавказ, затем в Сергиев, где все напоминало мне молодость. Вот елочка, что написана на «Пустыннике», она из маленькой и чахлой, когда-то своей юностью так раздражавшая огромного Стасова, за восемнадцать прошедших лет стала большой кудрявой елью.

Пожив, поработав сколько-то в скиту у Черниговской, я еду опять на Волгу, в Чебоксары. Помню раннее утро, сижу на крыше своего домика на берегу Волги, пишу предрасветный этюд Заволжья и слышу — с реки несется протяжный крик. Всматриваюсь — ничего не видно. Крик повторился и смолк.

Часов в семь на берегу собрался народ. Машут руками, куда-то указывают. Что-то случилось. Иду и я посмотреть, послушать, узнать от скуки, в чем дело. Оказывается, крик, что я слышал рано утром, был крик утопающей молодой девушки-чувашки. Теперь собрались ее искать. Прискакали до обеда — нашли.

Я ходил смотреть утопленницу. Она, совсем юная, лежит без одежды, как купалась. Лицо приятное, спокойное.

Лежит как мраморное изваяние. На берегу много чувашей, женщин, девушек — ее подруг. Плачут, рассказывают, как было дело.

Назавтра похороны. Все Чебоксары тут, в церкви, потом все идут за открытым гробом. Она, вся усыпанная полевыми цветами, лежит, как Офелия. За гробом плетутся отец с матерью, пригородные чувашки. Отец держится за гроб, не может оторваться. Дочка была одна и такая, слышно, ласковая, все ее любили.

Из Чебоксар я еду в Уфу, оттуда на Урал до Миасса. По дороге «Уральская Швейцария», станции Аша-Балашовская, Златоуст. Пишу этюды, еду дальше, к Миассу. Пошли Тагонай — Большой, Малый. То там, то здесь видны горные, полные по краям быстрой водой, реки. Вот и Юрюзань, многоводная, сильная. Она величаво катит свои воды почти в уровень берегов. Суровая, задумчивая и загадочная природа. Она глубоко проникает в чувство, в душу человеческую, оставляя в ней след чего-то смутного, угрожающего. Суровый, прекрасный край моя родина!

Вот и Миасс. Перед глазами далекое озеро с гористыми далями, с голубоватыми сопками на горизонте. Я пишу подробный этюд озера, вошедшего позднее как фон в мою картину «На земле мир» (три старца на берегу озера). Тут, у ст. Миасс, стоят пограничные столбы, разделяющие Европу и Азию.

В этот приезд мой в Уфу был начат портрет дочери в амазонке. Окончен он был осенью, когда мы вернулись с хутора в Киев, в 1907 году был на моей выставке в Петербурге и приобретен для музея императора Александра III.

[...] ⁵⁶

Я продолжал готовиться к своей выставке. Думалось, что-то ожидает меня в новом 1907 году, в Петербурге! Испытание мое и всяческие терзания приближались...

Год 1907-й был один из самых интересных и знаменательных в моей жизни и деятельности.

Начался он моей выставкой в Петербурге; потом последовало приглашение меня вел. кн. Елизаветой Федоровной к росписи сооружаемого ею храма при Марфо-Мариинской обители, рождение сына Алексея и поездка в Ясную Поляну, написание там портрета с Л. Н. Толстого, поездка в Кагарлык к другому Толстому — графу Дмитрию Ивановичу, директору Эрмитажа.

Об этом расскажу так, как сохранила моя память, и по письмам, что остались в Уфе и у моего приятеля в Петербурге.

Помещение для выставки было снято мною еще в конце 1906 года. Это был известный тогда Екатерининский концертный зал во дворе Шведской церкви, что на Малой Конюшенной. Зал был новый, с хорошим светом, белый, нарядный. Он был законтрактанован неким Лидвалем, аферистом, замешанным перед тем в деле с поставкой хлеба в Нижнем. Лидваль вышел сух из воды и теперь промышлял в Питере чем придется. Между прочим, снял у Шведской общины концертный зал, отдавая его под концерты, выставки, лекции за большие деньги. Мне рекомендовал его Дягилев, предупредив, что с Лидвалем надо быть все время начеку.

Я снял зал на один месяц за две тысячи рублей. Плата в два срока. Первый — при начале устройства выставки, второй — во второй половине по открытии ее.

В Питер приехал я заблаговременно и начал понемногу приготовляться. Имея план зала, я еще в Киеве составил план развески картин. И когда время моей аренды наступило, я, имея опытных людей наготове, быстро стал развешивать выставку. Была у меня и опытная кассирша (от Дягилева), она взяла на себя всю деловую канцелярскую сторону устройства: публикация, билеты, разные разрешения... Дело кипело... В три-четыре дня все было поставлено по местам, декорировано светлой материей, цветами, лавровыми деревьями, нарядными кустарными вышивками по стенам, на мебели. Вышивки были мне даны для декорирования выставки и чтобы познакомить публику с новинкой, сделанной по старым украинским и русским образцам киевскими крестьянками села Сунки у княгини Яшвилъ, в Вербовках у Давыдовой и в Зозове у Гудим-Левкович.

Лидваль заходил на выставку, посматривал и дня за три до открытия напомнил мне, что завтра срок первого взноса.

Я на его слова, в хлопотах, не обратил внимания — не до того было.

Наступило «завтра». Я кипел, как в котле, совсем забыв о времени взноса. Прошло это «завтра»...

На другой день утром на выставку явился Лидваль и заявил, что так как контракт мною нарушен, то он просит немедленно «очистить зал». Я вижу свою оплошность, предлагаю этому господину сейчас же получить следующую тысячу рублей (их я все время носил в кармане), но Лидваль и слушать не хочет...

Что делать? Я в отчаянии. Кто-то мне посоветовал обратиться к брату Лидваля — архитектору, вполне порядочному человеку, просить его содействия. Я еду к нему, и, благо-

даря его вмешательству, деньги в тот же день были уплачены, и я мог рассчитывать, что теперь все пойдет гладко.

Не тут-то было: накануне открытия, когда все было развешано, весь, так сказать, парад был наведен, ко мне является уполномоченный от певицы Вяльцевой и заявляет, что на завтрашний вечер концертный зал давно сдан Вяльцевой, что афиши уже расклеены, билеты все проданы, и чтобы я, так сказать, убирался со своими картинами куда знаю... Уполномоченный был один из бесчисленных поклонников Вяльцевой, какой-то молодой князек. Он с чванливой непреклонностью заявил мне свой ультиматум.

В те годы я был не из очень сговорчивых, взял соответствующий его сиятельству тон и также категорически заявил, что об этом надо было меня раньше предупредить.

Князь удалился ни с чем. Мои же помощники, здоровенные, огромные ребята — плотники, обойщики, те, что устраивали обычно все выставки — Передвижную, «Мира искусства» и другие, узнав о таком деле, заявили, что они готовы всю ночь прокараулить, но ни одну картину снять или тронуть не позволят. Это еще укрепило меня.

Через некоторое время явился другой уполномоченный г-жи Вяльцевой, помягче. Он предложил на время концерта завесить мои картины колесиком. Так как на самом деле ни я, ни Вяльцева в этом инциденте повинны не были, а был виноват один Лидваль, его жадность, то на такое предложение я пошел. За час все картины были завешены оставшимся холстом, кое-что отодвинуто в сторону, и концерт Вяльцевой, к удовольствию ее почитателей, состоялся. Цыганские песни в тот вечер пелись на фоне нестеровских картин, так мало имевших общего с жанром г-жи Вяльцевой.

Накануне открытия выставки петербуржцы получили такое приглашение: «Художник М. В. Нестеров имеет честь просить Вас почтить своим присутствием открытие его выставки, имеющее быть 5-го сего января в 4 часа дня в Екатерининском концертном зале на Малой Конюшенной, д. 3».

Пятого января на выставке собралось до шестисот приглашенных. Было оживленно. Все мои близкие на этот день приехали из Киева, из Уфы в Петербург. Выставка нравилась. Она своим составом, говорили тогда, вносила какое-то успокоение в взбаламученное предыдущими событиями общество. Многие, уходя, благодарили меня.

Я выглядел именинником. Каждый день приносил с собой что-нибудь новос, интереснос.

С первых же дней стали появляться газетные отзывы. Они, неожиданно для меня, были благоприятными, и только крайние левые газеты, «Товарищ» и другие, пока молчали.

Познакомился я на выставке с В. В. Розановым. Его статьи о выставке были наиболее интересными. Появились они в «Новом времени», «Золотом руне» и «Русском слове» (под псевдонимом Варварина).

В одно из воскресений появился большой фельетон Меньшикова (в «Новом времени»).

Немало статей появилось тогда в газетах и журналах. Я не ждал этого, готовился или к замалчиванию, или к великому газетному погрому. Ничуть не бывало.

В первые дни, в первую неделю, на выставку шло народу немного, человек сто-двести в будни и человек пятьсот-шестьсот в праздник, но было очевидно, что количество посетителей растет день ото дня. И вот о выставке заговорили, она стала популярной...

В первые дни ее открытия я узнал, что меня собираются чествовать обедом, что идет подписка, что инициаторами этой затеи были Рерих и Сергей Маковский. В те дни у меня с Рерихом были отношения ничем не омраченные, и в ближайшее воскресенье он передал мне просьбу приехать в такой-то час (сам обещает за мной заехать) в ресторан Северной гостиницы. Просьба была от ряда лиц разного звания и положения.

Я дал согласие, хотя такого рода чествования не в моем вкусе. На них всегда чувствую себя плохо. У меня нет слов для речей, я не оратор, я не знаю, что мне с собой и с окружающими делать. Однако едем, или, вернее, меня везут... Входим в большой зал, полный не знакомых мне лиц. Ну, думаю, вот когда ты попался, голубчик... Встречают аплодисментами. Народу человек пятьдесят, если не больше. Тут и военные всякого рода оружия, тут и актеры, и наш брат-художник. Кое-кого узнаю. Начинается пиршество, тосты, речи... Я думаю, что же я отвечу на этот поток слов, похвал, сравнений, заслуженных и незаслуженных... Однако надо отвечать. Встаю. Все утихают. Начинаю с того, что сваливаю все на свою врожденную неспособность говорить. Извиняюсь, мило улыбаюсь и, под гром рукоплесканий, сажусь. Пир затягивается. Становится ясно, что мне — чествуемому — лучше уехать, о чем я и говорю сидящим около меня устроителям, и, еще раз поблагодарив собравшихся, я удаляюсь. Пожелания всех возможных благ несутся мне вослед... Это и была «лучшая минута» во всем этом шумном и ненужном чествовании.

Немало писем, знакомств, разговоров, очень интересных и характерных, было в это памятное мне время. Приведу две-три встречи, беседы.

Однажды, уже в середине выставки, когда успех ее определился, когда и по будням бывало много народа, а по праздникам перевалило за тысячу, ко мне явился какой-то уполномоченный от группы молодежи — студентов и курсисток, кои хотели меня видеть, слышать объяснение некоторых моих картин.

Я и раньше слышал и читал письма неведомых корреспондентов. Одни меня восхваляли, другие упрекали за отсутствие картин на тему минувших дней. Ну, думаю, сейчас придется держать ответ. Умудри, господи!

Иду и, как всегда в таких «критических» случаях, спокоен, внешне спокоен. Спускаюсь в зал. Толпа. Лица молодые, приятные и неприятные, молодежь мужская и женская. Я вхожу в их гущу. Стоят перед «Димитрисм царевичем». Кольцо за мной замыкается. Здороваясь, отвечают не все.

Вперед вышла некрасивая, полная, коренастая девушка и старообразный, высокий, бородатый студент. Одеты оба бедно. Лица знакомые, памятные с молодости. С такими жывал когда-то, и хорошо жывал в Москве, по мебелирашкам. Те же ухватки, все то же, что было двадцать пять лет назад. Послушаем, посмотрим, с чего начнется допрос, в чем станут обвинять меня. «Димитрий царевич» — самая одиозная, самая острая картина на выставке. С нее, вероятно, и начнут. Так и вышло.

Курсистка с места взяла мажорный тон. Смысл ее речи был таков: как и чем я могу объяснить то, что взял такой сюжет для своей картины, тем самым сея в народе предубеждения, поддерживая веру в нелепые понятия; что личность этого самого «святого» далеко не такова, каким я желаю его показать, и пошла, и пошла... В окружающих вижу сочувствие моей обвинительнице. Особенно грозен бородатый, длинный студент.

Я дал наговориться милой девице, выложить все ее обвинения меня в крайнем моем невежестве, во «тьме» моей, и, когда поток ее красноречия иссяк, когда я выслушал еще двоих-троих, вот тогда и я заговорил. Заговорил со всем возможным спокойствием и дружелюбием. Напомнив прежде всего эпитафию поверия народного, что был в моем каталоге перед «Димитрием царевичем»⁵⁷, сказал, что у меня и в мыслях не было написать «исторического» Димитрия царевича. Тема эта лишь предлог к тому, чтобы рассказать людям переживания матери, потерявшей ребенка, быть может, поте-

рвящей надежду иметь детей вообще. Что тут, так сказать, рассказ ведется от имени такой несчастной матери.

При этом я обратился к моей вопрошательнице с вопросом — замужем ли она? Ответила — нет.

Говорю: «Вот когда вы выйдете замуж, а вы молоды, и это будет, когда станете матерью, тогда поймете не рассудочно, не отвлеченно, а сердцем, быть может, опытом, что такое дитя и что значит его потерять».

Девица покраснела, смутилась, смягчилась, прошел по окружающим какой-то шепот, одобрение. Я почувствовал, что опасность миновала. Даже сердитый бородач стал на меня смотреть мягче. Вопросы живые, человеческие посыпались со всех сторон. Кончилось тем, что мне жалли наперерыв руки, благодарили, и я расстался с моими молодыми людьми самым приятным образом.

Вот и еще один разговор. Мне говорят, что меня желает видеть генерал Верещагин. Прошу его в свою комнату, наверху при выставке. Входит крупный, нарядный генерал, очень схожий по облику с покойным Василием Васильевичем Верещагиным — баталистом. Рекомендуется, называя себя братом знаменитого художника.

Смотрю — золотое оружие. Вспоминаю — «Шипка-Шейново», летящий на белом коне Скобелев, его приветствие героям: «Именем царя, именем отечества — спасибо, братцы!» Позади Скобелева летит ординарец — это теперешний мой гость...

Начинается беседа, угощенье папиросами, все, как полагается. Спрашивает, сколько бывает посетителей. Отвечаю, сколько в будни, сколько в праздник. Бывает много, по сравнению с другими выставками, но мой гость недоволен. Горячится, упрекает меня в неумении вести дело. Что так-де нельзя, что, имея в руках такую выставку и в такое время, надо уметь ею пользоваться, проявить инициативу, быть смелым и т. д.

Я слушаю... Генерал спрашивает, что я намерен делать дальше, хочу ли показать свои картины в Москве. — Да, — говорю, — предполагаю. — Где? — Еще не знаю...

— Как «не знаю»? Тут и знать нечего... Поезжайте в Москву, снимите манеж, да, манеж, манеж. И там выставьте свою «Святую Русь» и другие вещи. Назначьте в будни по пятаку, в праздники пускайте даром, а в понедельник для избранных по рублю. Народ повалит. Десятки тысяч пройдут через манеж. И вот вы увидите, что результат будет тот, что ваше имя будет греметь, и вы соберете не какие-нибудь гроши, а большие тысячи. Поверьте моему опыту. Ведь я в былое время был постоянным сотрудником

и помощником брата. Помню (да и вы помните по газетам) выставку брата в Вене. Отличное помещение в центре города. Выставлена серия евангельских картин. Помните? Ну вот, с первых же дней скандал: венский архиепископ запрещает некоторые, особенно яркие. Их пришлось снять. На другой день газеты полны разговоров о выставке: какой-то фанатик-католик обливает одну из картин серной кислотой. Мы с братом в восторге, после этого народ повалил толпами. Конная полиция едва могла сдерживать толпу перед входом на выставку. Каждый день давка, обмороки... Брат и я приходим домой возбужденные, довольные. Что-то будет завтра? — Хорошо бы было, если бы завтра одного-двух задавили насмерть. — Воображаю, говорит брат, что бы стало тогда на следующий день!.. Выставка имела громадный успех. Вот как нужно делать выставки!» — заключает взволнованный воспоминаниями бывший ординарец Скобелева.

Я слушаю и чувствую, что «не в коня корм», что у меня нет тех данных, коими был одарен так щедро покойный Василий Васильевич Верещагин. Я благодарю генерала, но не обещаю следовать его советам. Расстаемся любезно, но сдержанно.

Было и такое: входит ко мне в комнатку субъект типа мастерового или рабочего — высокий, сухой, нервный. — Я к вам, — говорит. — Садитесь, в чем дело? И вот, называется, с места в карьер, начинает желчно, раздраженно жаловаться на недавнее прошлое. Что их-де обманули, что вообще кругом ложь и неправда. Что «обещают хлеба, а дают вместо хлеба камень».

Ну, думаю, дело дрянь. Никакого хлеба я не обещал и камня тоже не давал. Писал картины, как думал, как чувствовал... и только. И вот — на, поди!

Однако не ко мне относились такие горькие упреки. А я, напротив, своей «Святой Русью» утолил духовный голод моего мрачного посетителя. Он, по его словам, в первый раз почувствовал, что здесь есть какая-то «правда».

И все это говорилось так сухо, деловито, серьезно. Я почувствовал всю драму разочарованного человека. Разговорились, назвал какой-то неизвестный мне петербургский завод, где он работал, принимал участие в минувших событиях. Расстались по-хорошему. Жал руку, благодарил.

Незадолго до закрытия выставки ко мне подошел офицер самого «армейского» вида. Назвал фамилию и попросил меня уделить ему несколько минут поговорить, посоветоваться — Пойдемте наверх, — говорю ему, — там и поговорим.

Начал издалека. Целая биография. Сибиряк, «мальчик» в гостинице. Потом какая-то ученая экспедиция князя, помнится, Голицына. Нужен художник, так как взятый в столице по пути умер. Князю называют гостиницу, он-де, «балует», рисует. Князь посмотрел «баловство», понравилось, взял с собой... Тибет, еще что-то. Экспедиция кончена. Юноша, по протекции князя, поступает в юнкерское училище, его кончает (способный, цепкий). Вот он и офицер. Однако закоренелая привычка, любовь к рисованию не оставляет его. Рисует урывками. И вот теперь он уже поручик, лет под тридцать. У меня на выставке что-то почувствовал и решил поговорить со мной. Хочет бросать военную службу. Ему не по духу — тяжелое время — некоторые обязанности, кои он по долгу присяги не имеет права не выполнять. Спрашивает, как быть?

Что ему сказать, что посоветовать этому совершенно незнакомому офицеру? Ни способностей, ни условий жизни его я не знаю. Спрашиваю: «Женат?» — «Да, есть ребенок». Что тут посоветуешь? А он ждет, так верит тебе...

Говорю: «Не бросайте пока службы, а ходите в Общество поощрения художеств, рисуйте, пишите. Через год-другой будет видно, что делать». — Не того ждал от меня поручик, однако благодарил, обещал подумать.

Года через четыре (я жил уже в Москве, расписывал церковь Марфо-Мариинской обители) стою где-то у Серпуховских ворот, жду трамвая. Еще два-три человека.

Один зорко всматривается в меня, подходит, спрашивает: «Вы меня не узнаете? Я такой-то, был у вас на выставке, говорил с вами. Помните, офицер?»

Вспоминаю, но от офицерства ничего не осталось, он уже штатский. Тогда же бросил военную службу, поступил в Общество поощрения художеств, много работал. Сейчас здесь, в Москве, управляет домом какого-то купца на Калужской улице... и художествует, рисует, что называется, запоем. Я живу близко, на Донской, просит меня зайти, посмотреть его работы.

Как-то захожу, смотрю кучу этюдов, набросков. Способности несомненные. А бывший поручик повествует, что он уже участвует в выставках, такой-то и такой-то. Что же, в час добрый!..

Заходит ко мне. Постоянно в хлопотах житейских и художественных. Энергия неукротимая и страшная, неудержимая словоохотливость, мысли роятся в голове, но мысли эти не новы, у кого они ни бывали.

Года через два, слышу, он едет на средства Поленовых в Париж месяца на три... Оттуда приезжает совершенно

сбитый с толку. В голове путаются барбизонцы с импрессионистами... Сумбур страшный.

Пробую удержать его на чем-либо одном. А он несется на всех парах... Опыты, опыты, без конца опыты и словоизвержения... Однако мне удается внушить ему необходимость серьезной школы, формы. Он начинает понимать это. Пытается строже рисовать, переезжает в Тарусу, там работает не покладая рук, время от времени показывая сделанное мне.

А годы идут да идут... Он остается и под пятьдесят тем же увлекающимся открывателем давно открытых истин, каким был двадцать лет назад. Одну акварель покупает у него Третьяковская галерея. Это предел его вожделений. Он достиг какого-то признания. Слава богу. Сибирский мальчик, гостинодворец, член тибетской экспедиции — теперь художник. Это Василий Дмитриевич Шитиков.

Успех выставки между тем все возрастал. Много было продано. Осмотрела выставку покупочная комиссия. В комиссию входили и друзья мои и недруги. Среди первых был незабвенный и постоянный мой благодетель — Архип Иванович Куинджи. На другой стороне умный, пастойчивый Владимир Егорович Маковский, маленький Лемох и «Миша Боткин».

Споры были, главным образом, около «Святой Руси». Куинджи настаивал, чтобы приобрести ее для музея Александра III, остальные выдвигали «для оттяжки» маленький жанр «Тихая жизнь». Особенно на этой незначительной вещи настаивал Лемох.

Куинджи горячился, волновался. Он не умел говорить и, в особенности, не умел говорить спокойно; дорого обходились ему такие споры, где бы они ни были, — в заседаниях ли Академии, на выставках ли, — все равно. И вот теперь, на моей выставке, его горячность не прошла ему даром, у него хлынула кровь горлом и носом; ему сделалось дурно. Сердце уже было плохо. У моей картины произошел один из таких тяжелых припадков. Кончился он благополучно.

Было решено, что «Святая Русь» будет приобретена не в музей Александра III, а в музей Академии художеств и за очень низкую цену — за восемь тысяч рублей. Запросили меня, согласен ли я отдать картину за такую низкую цену. Куинджи настоял, чтобы я, не нуждаясь тогда в деньгах, согласился, полагая, что Академический музей будет переходным в Русский, что и случилось впоследствии.

Здесь, у моей «Святой Руси», впервые пожали друг другу руки лютые враги — передвижники (Маковский) и

мирискусники (Бенуа), а самый спор был не о достоинствах или недостатках моей картины, что ни для тех, ни для других не было тогда важно; важны были «тактические соображения», «родственные» на этот раз и у тех, и у других.

Комиссия музея Александра III (Русского музея) в лице товарища директора графа Д. И. Толстого тоже по таким соображениям примкнула к мирискусникам. Граф Толстой высказался против приобретения в Русский музей «Святой Руси».

Когда же стал особенно ясен исключительный успех выставки, когда на ней перебивали «высочайшие», тогда и Толстой заговорил иначе. Бывая последние дни на выставке почти ежедневно, он как-то сказал мне: «Вероятно, «Святая Русь» попадет в Русский музей гораздо раньше, чем я думал, так как успех вашей выставки «стихийный, и с этим необходимо считаться».

Считаясь с ним, Толстой поспешил пока что приобрести один из моих портретов — портрет дочери в амазонке, за две тысячи рублей.

С. П. Дягилев только что вернулся из Парижа, где устраивал так называемую Русскую выставку, в состав которой вошли Бакст, Бенуа, Лансере и другие мирискусники и не попали Суриков, Виктор Васнецов, Айвазовский и я. Мне говорили, что Дягилев приехал ко мне на выставку тотчас по приезде своем в Петербург, так как о ней много говорили в те дни. Сергей Павлович хотел лично убедиться, стоит ли она того и не сделал ли он «тактической» ошибки, не позвав меня на свою Русскую выставку в Париже. И, кажется, убедился, что ошибка сделана была и ее следовало исправить, за что он и взялся со свойственной ему решимостью, пуская в ход все свои чары. Но об этом позднее...

Приглашения на разного рода выставки тогда сыпались на меня обильно: княгиня Тенишева приглашала участвовать с Рерихом и Щусевым на выставке, устраиваемой ею в Париже, Сергей Маковский звал в Лондон... Не было ни гроша, да вдруг алтын...

В те дни приглашала меня как петербургская знать — Имеретинские, Извольские, Уваровы, баронесса Иксуль, так и интеллигенция — Вячеслав Иванов, наговоривший мне на выставке любезностей, Феноменов, Мих. Ив. Ростовцев, у которого собиралось тогда немало всякого народа — от либеральничавших сенаторов до старых и молодых поэтов, ученых, артистов...

Я продолжал получать приветственные письма. Одно очень большое в стиле Максима Горького, написанное

рабочим, долго хранилось мною. Одновременно получил благодарность от воспитанниц выпускного класса Смольного института, бывших на выставке. Я имел основание быть довольным.

Даже газета «Товарищ» поместила у себя статью под заглавием «Христос и революция» и мой портрет. «Товарищ» пытался связать минувшие события с моей картиной. Попытка была тщетная...

В конце января скончался Д. И. Менделеев. Похороны были торжественные. Я был на них. На панихидах впервые видел Витте, огромного, усталого, поникшего. Лицо его мне не понравилось.

Приближался день закрытия выставки. Мои друзья советовали продолжить ее на неделю — на две, так как количество посещающих все росло, но сделать это было невозможно, так как Лидваль зал отдал раньше под концерты, лекции...

Последние дни выставки публика валом валила на нее. Последние праздники бывало более чем по две тысячи человек. Едва было можно пробираться через людскую гущу. Сердце мое радовалось, радовалось тем более, что сейчас же после событий минувших двух лет я, как было сказано выше, вовсе не надеялся даже на малый успех. Некоторые ходили на выставку по многу раз. Лица многих были мне уже известны, хотя я и не знал, кто были эти лица.

Наступили и последние часы выставки. Во втором часу Екатерининский зал и все помещение выставки было переполнено. С трудом можно было двигаться. Две кассирши едва справлялись со своим делом. Публика густой толпой поднималась по обеим сторонам прекрасной, широкой лестницы. Фотографий со «Святой Руси» уже не было, на них шла запись. Толпа гудела — это была какая-то стихия. Многие пришли «попрощаться» с выставкой. И я чувствовал, что конец моего праздника приближается, и он едва ли когда повторится...

Незадолго до звонка к закрытию выставки на ней появился Дягилев. Сергей Павлович видел, что даже и такие чуткие люди, к каким принадлежал он, не всегда бывают достаточно проницательны. Екатерининский зал в ту минуту был лучшим доказательством его оплошности. Он принял новое решение. Подошел ко мне такой великолепный, победоносный, начал поздравлять меня с успехом.

Прозвонил звонок, публика начала медленно расходиться. Остались немногие, среди них и Дягилев. Фотографы наскоро снимали то, что нужно было им для газет и журналов...

Сергей Павлович взял меня под руку, стал со мною ходить по опустевшему залу. Он заговорил о своих новых планах, о выставке в Венеции, переполненной весной туристами со всего света. Там Сергей Павлович хотел показать русское искусство. Ему нужен был мой «Димитрий царевич» и еще кое-что, по его выбору. Конечно, я ему в этом помогу.

Я слушаю «венецианскую серенаду» и, когда она была кончена, спрашиваю: почему в Париже, где только что закончилась его выставка, где также бывает много туристов, он не нашел нужным на своей Русской выставке показать ни Сурикова, ни Виктора Васнецова, ни меня... Неужели среди Бакста, Александра Бенуа, Лансере не нашлось места для нас и что произошло такое, что Сергей Павлович вспомнил обо мне сейчас?..

Сбивчивые объяснения, то была ошибка и еще что-то... Около часа мы ходили, переливая из пустого в порожнее. Я наотрез отказал Сергею Павловичу дать что-нибудь в Венецию. Не верилось избалованному Дягилеву, что я устою перед его чарами. Однако было так.

Мы расстались, и с тех пор я слышал о нем много, но никогда уже не встречался. Венецианская выставка успеха не имела.

На другой день Екатерининский зал был свободен, и г-жа Вяльцева вечером услаждала там слух петербуржцев цыганскими романсами.

Я уехал в Москву, не последовав пылкому внушению генерала Верещагина, — манеж под свою выставку не снял, а взял помещение на углу Кузнецкого моста и Лубянки и еще через неделю открыл там свою выставку. Она не была такая нарядная, как в Петербурге. Залы были менее комфортабельны, однако получился какой-то уют, было много цветов.

На открытии, как и в Питере, было много народу. Отношение к выставке Москвы поначалу было хорошее, о ней многие слышали по газетам.

В том же доме, по Кузнецкому, была открыта в те дни посмертная выставка Борисова-Мусатова, и вскоре я заметил, что москвичи разделились. Одни отдавали свои симпатии мне, другие Мусатову. На его стороне были мирискусники и делали все от них зависящее, чтобы ослабить мой петербургский успех. Они говорили тогда, что там они «прозевали» мою выставку.

Стали одновременно с хвалебными статьями появляться статьи явно враждебные. Заговорили П. Муратов, Грабарь и другие, имевшие в те дни «директивы» от Острохова и мирискусников.

Я, со своей стороны, не делал ничего, чтобы умиловать богов. Однажды ненароком не узнал у себя на выставке Грабаря, с которыми перед тем встретился однажды... На Трубниковском Олимпе⁵⁸ тогда ставили мне всякое лыко в строку. Что поделаешь!..

В конце выставки явилась покупочная комиссия Третьяковской галереи — Остроухов, Серов и еще не помню кто. Поздоровались официально. Стали осматривать, оставались на выставке долго, много говорили, спорили о «Димитрии царевиче». Подошел ко мне Серов, спрашивает:

«Скажите, Михаил Васильевич, на ваших «Мечтателях» темная тень под крышей. Она от солнца?»

Отвечаю: «Нет, не от солнца (картина в каталоге имела два названия: «Мечтатели» и «Белая ночь на Соловецком»). То, что вы приняли за тень от солнца, — осмоленная дегтем деревянная надстройка на каменной стене»...

«А, а...», — Валентин Александрович понуро уходит к своим сотоварищам. Вскоре комиссия удалилась, ничего не взяв на выставку.

В газетах появилась пылкая статья Маклаковой, негодующая на комиссию, предлагающая устроить среди москвичей подписку на приобретение «Димитрия царевича» с тем, чтобы принести картину в дар городской Третьяковской галерее.

На выставке бывало много молодежи. Ко дню закрытия было продано из восьмидесяти четырех вещей семьдесят восемь. О выставке читались рефераты, было много споров.

Перед закрытием выставки ко мне обратился молодой фон Мекк. По его словам, вел. кн. Елизавета Федоровна (секретарем которой он был тогда) намерена была построить церковь при учреждаемой ею обители милосердия. Она просила указать талантливому архитектору, которому бы можно было такое дело поручить. Я назвал Щусева.

Через несколько дней узнал, что моя рекомендация принята, причем было передано, что великая княгиня хотела бы, чтобы будущая церковь обительская была расписана мною. На это я тогда же дал свое согласие. Мечта расписать в Москве храм была давняя. Еще задолго перед тем, в Киеве я высказал эту мою мысль Щусеву. Тогда думалось о часовне, им построенной и мною расписанной...

В то время княгиня Тенишева через Рериха возобновила свое предложение принять участие в устраиваемой ею выставке в Париже и Лондоне. Кроме меня, приглашены были Рерих и Щусев, тогда уже известный рядом своих построек.

После долгих размышлений, после того как умный, талантливый Рерих, любивший больше меры интриги и рекламу, заявил мне, что «пресса вся куплена», что риска нет никакого, я от участия отказался. Выставка, несмотря на купленную прессу, успеха ни в Париже, ни в Лондоне не имела.

5 апреля в Киеве родился у меня сын Алексей. Мальчик родился крепким, здоровым, лицом похожий на мать, аппетитом на отца.

Скоро я вернулся в Киев. Весна была запоздалая. На Пасхе уехал в имение кн. Яшвиль — Сунки, работал этюды к задуманной, но неисполненной картине «Природа». На фоне южного, весеннего пейзажа, среди цветов по холмам, по полям, взявшись за руки (или навстречу друг другу) идут юные, крепкие, в чем мать родила, влюбленные. Они — составная часть торжествующей «Природы-Матери»...

В июле попал в Уфу, проехал в Златоуст до Миасса. На обратном пути получил ответ из Ясной Поляны на запрос о времени приезда туда. Ответ был таков: «Всегда рады Вас видеть».

Таким образом, было предreshено писание портрета с Льва Николаевича, о чем был разговор с Софьей Андреевной еще на моей выставке в Москве. Тогда она спросила, не прису ли я в Ясную, не хотел ли бы я написать портрет с Льва Николаевича. Отвечаю: «Конечно, но Лев Николаевич так не любит позировать...» Софья Андреевна говорит, что это и так, и не так. Что все можно будет устроить. Я благодарю. Простились «до свидания в Ясной»...

В начале июля я был у Толстых⁵⁹. Встретили ласково. В тот же день Лев Николаевич изъявил полную готовность позировать мне. На другой день начались сеансы, очень трудные тем, что и сам Лев Николаевич, и обстановка того времени часто отвлекали меня от дела, не давали сосредоточиться...

[...] ⁶⁰

Одновременно со мной в Ясной гостили художница Игуменова, Сергеенко и сестра депутата Маклакова. То и дело приезжали и уезжали разные люди, из них помню Демчинского...

[...]

От Толстых я проехал в Княгинино и оттуда, спустя некоторое время, в местечко Кагарлык (Киевской губернии), в имение О. И. Чертковой (по мужу тетушки Владимира Григорьевича Черткова), к другому Толстому — Дмитрию Ивановичу — директору Эрмитажа, жематому на дочери О. И. Чертковой.

Граф Д. И. Толстой, слепо веровавший в «Шуру» Бенуа, к концу выставки, после ее успеха, уверовал и в меня, приобрел у меня эскиз «Св. Зосима Соловецкий» и пригласил погостить летом у них в Кагарлыке.

Вот я и уехал туда, послав предварительно телеграмму о времени своего приезда. Выхавший за мной на станцию экипаж уже в сумерках привез меня в усадьбу. Любезная встреча и прочее...

Владелица Кагарлыка, «кавалерственная дама» Ольга Ивановна Черткова — жена бывшего генерал-губернатора киевского, позднее — варшавского, тогда была очень пожилой. Однако следы былой красоты еще сохранились. Об О. И. Чертковой, ее жизни ходило немало почти анекдотических повествований. Не буду повторять их здесь.

В день моего приезда в Кагарлык прибыла экскурсия студентов Киевского Политехнического института с их учеными руководителями. Целый день прошел в осмотре образцово поставленного хозяйства огромного имения. Мне сообщили, что сейчас в парке я увижу молодых людей и их мэтров. Отлично, посмотрю и здесь, у кагарлыкских Толстых, экскурсию.

Часов в 9-10 пригласили в парк, расположенный у самого дома, похожего на дворец. Выходим на террасу. Парк, площадка перед домом и ближние аллеи иллюминированы. Тут и приезжие гости. Знакомимся. Приглашают ужинать. Хозяева, профессора и мы, двое-трое из гостей, садимся за центральный, большой стол. Молодежь размещается за малыми столами. Дивная сервировка. Обносят яствами, очень изысканными, отличными винами. Все побарски, богато, красиво, много цветов, но все это так мало гармонично с не привыкшими к изысканной роскоши простыми лицами, костюмами экскурсантов.

Подают шампанское. Хозяйка произносит красивый тост за своих молодых гостей. За них отвечают, благодарят за радушный прием мэтры.

Лица молодежи делаются оживленными, быть может, более оживленными, чем этого хотели хозяева. Молодые гости зорко всматриваются во все, что их окружает, что, как в сказке, проходит перед ними. Некоторые лица остаются усталыми, сумрачными...

Вино делает свое дело. Становится шумно, слышатся развязные голоса, речи молодежи... Становится все ясней, сколько неуместно было устройство этого пира после едва потухшего пламени первой Революции. Как неудачна была вся эта «политика» такой находчивой, остроумной при

дворе О. И. Чертковой с сегодняшними ее гостями, из коих, быть может, многие были участниками недавних грозных событий...

И как это кагарлыкское торжество у графов Толстых не было похоже на живое, увлекательное торжество яснополянских Толстых! Одно такое искусственное, другое — искреннее, полное жизни и веселости. Тут — иллюминация, роскошный ужин с шампанским, там — тысяча детей, купанье, самовары, такой молодой, звонкий восторг!

На другой день ученая экскурсия выехала в Киев, разговоры о ней прекратились.

Я оставался в Кагарлыке несколько дней, написал этюд дивной церкви, напоминавшей мне чем-то падуанский собор св. Антония.

Здесь, как и в Ясной, со мною пытались заговорить о вере. Тогда, после революции, все кинулись к вере, часто вовсе не испытывая никакой в ней живой потребности. Таково было время, такова была мода.

Монотонный, однообразный порядок жизни у кагарлыкских Толстых был утомителен для меня. Огромный дом был полон довольства. Люди — воспитанные — жили внешне красивой жизнью, но как они были бедны духовно!

Иное в Ясной Поляне. Там все клочкотало около гениального старика. Он собой, своим духовным богатством, помимо своей воли, одарял всех, кто соприкасался с ним.

В Кагарлыке мне советовали обратить внимание на особенно красивый тип и костюм девушек, сохранившийся от времен старой Украины. Кагарлыкские «Наталки», высокие, стройные, были редкостно красивы, величавы, красив был их национальный костюм, головы, украшенные яркими цветами, лентами. Красавицы эти ходили по роскошным комнатам кагарлыкского дома босыми, правда, ножки их были хорошо вымыты...

Далекая, еще гетманская Украина чудилась здесь живой, чарующей, поэтической.

Простившись с любезными хозяевами, я снова уехал в Княгинино к своей семье. В августе мы вернулись в Киев, а в сентябре я был уже в Москве и там видел проект Щусева церкви Марфо-Мариинской обители. Говорил с вел. княгиней о росписи будущей церкви.

Осенью же было приступлено к земляным работам, а весной предполагалась закладка храма. Место для обители было куплено большое, десятины в полторы, с отличным старым садом, каких еще и до сих пор в Замоскворечье достаточно.

Таким образом, мы с Щусевым призваны были осуществить мечту столько же нашу, как и вел. княгини... Создание Обители и храма Покрова при ней производилось на ее личные средства. Овдовев, она решила посвятить себя делам милосердия. Она, как говорили, рассталась со всеми своими драгоценностями, на них задумала создать Обитель, обеспечить ее на вечные времена. Жила она более чем скромно.

Ввиду того, что при огромном замысле и таких же тратах на этот замысел вел. княгиня не могла ассигновать особенно больших сумм на постройку храма, я должен был считаться с этим, сократив смету на роспись храма до минимума. В это время я был достаточно обеспечен и мог позволить себе это.

Смета была мною составлена очень небольшая, около сорока тысяч за шесть стенных композиций и двенадцать образов иконостаса, с легким орнаментом, раскинутым по стенам. В алтаре, в абсиде храма, предполагалось изобразить «Покров Богородицы», ниже его — «Литургию Ангелов». На пилонах по сторонам иконостаса — «Благовещение», на северной стене — «Христос с Марфой и Марией», на южной — «Воскресение Христово». На большой, пятнадцатидесятиаршинной стене трапезной или аудитории — картину «Путь ко Христу».

В картине «Путь ко Христу» мне хотелось досказать то, что не сумел я передать в своей «Святой Руси». Та же толпа верующих, больше простых людей — мужчин, женщин, детей — идет, ищет пути ко спасению. Слева раненый, на костылях, солдат, его я поместил, памятуя полученное мною после моей выставки письмо от одного тенгинца из Ахалциха. Солдат писал мне, что снимок со «Святой Руси» есть у них в казармах, они смотрят на него и не видят в толпе солдата, а как часто он, русский солдат, отдавал свою жизнь за веру, за эту самую «Святую Русь».

Фоном для толпы, ищущей правды, должен быть характерный русский пейзаж. Лучше весенний, когда в таком множестве народ по дорогам и весям шел, тянулся к монастырям, где искал себе помощи, разгадки своим сомнениям и где сотни лет находил их, или казалось ему, что он находил...

Иконостас я хотел написать в стиле образов новгородских. В орнамент должны были войти и березка, и елочка, и рябинка. В росписи храма мы не были солидарны со Щусевым. Я не намерен был стилизовать всю свою роспись по образцам псковских, новгородских церквей (иконостас был исключением), о чем и заявил вел. княгине. Она не

пожелала насловать мою художественную природу, дав мне полную свободу действий. Шусев подчинился этому.

Перед отъездом из Москвы Шусев и я были приглашены в Ильинское, где жила тогда вел. княгиня. Там был учрежден комитет по постройке храма, в который вошли и мы с Алексеем Викторовичем. Ездили осматривать юсуповское Архангельское.

Окончив все дела в Москве, я уехал в Кисловодск, где в тот раз у Ярошенко жил В. В. Розанов с семьей. Наши встречи с ним нередко кончались бурными спорами, разногласиями, но не ссорами.

Вернувшись в Киев, я стал заканчивать портрет Толстого, затем принялся за образ «Распятие» — Каменским в Пермь. Впереди были эскизы для московской церкви. «Машина» была пущена полным ходом...

1908 год начался поездками в Москву, в Петербург.

В Москве представлял вел. княгине эскизы росписи. Они были одобрены. Видел Васнецова и других.

В Петербурге видел стареющую Дузе. Билет на «Адриенну Лекуврер» был заказан еще из Киева. С волнением ожидал я появления гениальной артистки. Помня дни ее расцвета, дни молодости, я со страхом ждал, что-то даст она теперь, в годы увядания, после всех перипетий, после истории с д'Аннуццо...⁶¹ Я помнил каждый оттенок ее дивного голоса, изумительные вариации в «Даме с камелиями». Когда-то, слушая ее, я переносился в Италию былых времен. Казалось, в Дузе было что-то от века Возрождения, от великих художников ее родины, веяло тысячелетием Рима... И вот я вновь увижу ее.

Дузе появилась в одной из любимых своих ролей, в «Адриенне», в роли артистки со страшной судьбой. Появилась и... стало ясно, что годы и все пережитое не прошло для нее даром. Голос, мимика, пластика были те же, но все было покрыто каким-то налетом. И было больно слушать, смотреть великую артистку, и едва ли она не лучше всех знала то, что скрыть не было сил. Знала, что время победило, сокрушило и ее. Огромный талант, опыт как-то и где-то еще спасали, но воскресить минувшее не было сил.

Встречали и провожали артистку одни сдержанно, другие преувеличенно восторженно. Однако неизбежное свершилось... Не было прежней Дузе — перед нами была постаревшая Дузе...

В тот мой приезд ректор Академии Беклемишев предложил мне вступить в число профессоров Академии вместо

ушедшего Репина. Я по разным соображениям (уже вторично) отказался.

А там потянуло в Италию, на этот раз со старшей дочерью и сестрой. Вернувшись в Киев, стал собираться. Приехала сестра, и мы втроем обсуждали план нашего путешествия на Краков, Вену, Рим, Неаполь, Капри, и обратно — на Флоренцию, Пизу, Венецию.

ПУТЕШЕСТВИЕ 1908 ГОДА

(Рим — Неаполь — Капри — Венеция)

В конце февраля пустились в путь. Первая остановка — Краков. На вокзале встречает нас супруга покойного Станиславского. Мы осматриваем его посмертную выставку; на ней был и портрет покойного художника моей работы, про который он сказал когда-то: «Вот хороший портрет для моей посмертной выставки».

Предсказание сбылось. Выставка интересная, любовно составленная. Успех большой. Из Кракова она проедет в Львов, Варшаву, Вену (из Варшавы, в день открытия, тамошние художники прислали мне приветственную телеграмму). Как и в предыдущий раз, мы осматривали все наиболее примечательное в Кракове — музеи, костелы. Мои симпатии к Кракову были неизменны. Двинулись в Вену. С Вены началась подлинная «заграница».

А вот и Италия. Миновав Венецию, Флоренцию, мы прямым путем проехали в Рим. Надо было видеть, как восхищалась сестра всем на пути от самой Понтеббь до Рима. Ведь она всю жизнь, много читая об Италии, мечтала попасть туда, и вот сейчас, уже пятидесятилетней, она видит осуществленными свои грезы: видит Рим, Сан-Пьетро, она летает по улицам Вечного города, как по своей Уфе. Незнание языка мало ее смущало: сообразительная, быстрая и предприимчивая, она всюду как-то поспевала. К тому же и Ольга скоро усвоила итальянскую речь и стала нашим чичероне. День за днем пролетали в осмотре древних базилик, музеев, окрестностей Рима. Восхищению, восторгам не было конца. Вечером мои спутницы возвращались усталые, но счастливые, на свою виа Аврора, в пансион милейшей Марии Розада, и обмен впечатлениями продолжался до тех пор, пока сон не сковывал глаз. А там, завтра, новые впечатления: Палатин, Квиринал, стада англичанок, несущихся к Колизею. Всюду музыка, везде чувствуешь благословенную страну, прекрасную Ита-

лию — «Italia la bella». С грустью простились мы с Римом, но впереди у нас Неаполь, и лица вновь светлы и радостны. Весенняя природа, опаловый залив, дымящийся Везувий, а там мерещатся Капри, Иския, берега Сорренто, и все это ожидает нас, вольных, как птицы, помолодевших, счастливых.

В Неаполе расположились мы в старом доме, именуемом отель «Палаццо донна Анна». Палаццо полно легенд, связанных с трагически погибшей когда-то в нем какой-то донной Анной. Морской прибой бьет о стены старого романтического палаццо. Там, в этом старом отеле, нам не было жарко. Он весь был пронизан сыростью. По вечерам мы затапливали камин и, сидя у огня, прислушивались к каким-то таинственным шорохам и стонам, кои были плодом нашего воображения. В окна виден был Везувий, по вечерам напоминавший нам своим огненным дыханием судьбу двух несчастных городов...

Жизнь, пестрая, южная, кипела кругом. Тогда не было уже старой Санта Лючия, не было живописных кварталов папского владычества. Модные отели, битком набитые англичанами, немцами и пока что не унывающими россиянами. Нарядные отели гордо вздымали свои стены над старым городом. Я писал из окон своего палаццо море, Позилуппо, окутанные в вечерние серо-голубые тона.

Однажды во время писания такого этюда, где-то на набережной, вокруг меня собралась толпа любопытствующих маленьких итальянцев. Они болтали, о чем-то вопрошали меня и, не получая ожидаемого ответа от молчаливого синьора, снова приставали к нему. А когда такое безмолвие им надоело, итальяшки стали бросать в него камнями. Головорезы добились того, что я собрал свои художественные пожитки и ушел бы, как явился избавитель в лице Коки Прахова, жившего в ту пору с женой и детьми в Неаполе и случайно проходившего мимо. Он с присущими Праховым лингвистическими способностями давно говорил чуть ли не на всех местных итальянских народных наречиях. Кока быстро управился с моими врагами, и под его покровительством я успел окончить свой этюд. Он и сейчас у меня перед глазами, со своим бледно-лиловым Везувием, с опаловыми облаками и с платаном на первом плане.

За табльдотом в «Палаццо донна Анна» мы ежедневно любовались прекрасной дамой, напоминавшей еще более прекрасную некогда Элеонору Дузе. Дама ежедневно являлась в сопровождении супруга, такого убогого, хромого... садились близ нас за один и тот же столик и, не скрывая

своих симпатий, смотрели на мою Ольгу, а мы с меньшей искренностью любовались ею. Однако надо было покидать Неаполь, ехать на Капри. Расстались с «донной Анной», с Позиллипо Капо, сели на парходик и часа через три подходили к «Грот-Блэ».

Десятки лодок окружили нас. Какие-то возбужденные донельзя люди подхватили багаж, усадили нас в лодку. Мы уже на берегу. Фуникулер мигом доставил нас наверх к Пьяцетте. С нее как на ладони виден дымящийся Везувий и далекий Неаполь. Узкими улочками пробрались мы к отелю Пагано. В нем решили мы остановиться, потому что он «antico»*: в нем все пропитано воспоминаниями, традициями, художеством и художниками, жившими здесь чуть ли не с его основания, с 40-х годов минувшего века.

Здесь все старомодно, грязновато. Нет нарядных холлов новейших отелей, рассчитанных на особо богатых англичан, американцев и наших «рябушинских». В Пагано попроще. Начиная со швейцара, незатейливого, без особо величаво-спокойного тона, каким обладают эти господа в Палас-отелях, Викторнях и т. д. В Пагано все нараспашку, начиная с веселого хозяина, потомка славных давно почивших синьоров Пагано. Наш молодой Пагано — милый, вечно улыбающийся, общительный, с особой хитрецой «паганец». Он работает с утра до ночи: то мы видим его бегущим на Пьяцетту, то он с рабочими выкатывает из подвалов бочку с кьянти. Он постоянно в хлопотах и лишь во время завтраков, обедов, прифранченный, приглаженный и особо галантный, присутствует среди своих гостей.

Наши комнаты выходят одна на террасу, другая в сад, где десятки апельсиновых деревьев, покрытых дивными плодами, горят, переливаются золотом на солнце. Тут и великолепная, уже пожилая пальма, вазы с цветами... Все ярко, все старается перекричать друг друга. Всюду довольство. Довольны и мы трое**, попавшие в этот райский уголок, созданный природой и синьорами Пагано. Приглашают к завтраку.

Идем. Огромный зал, расписанный художниками, с давних пор жившими здесь. Столики украшены цветами, фрукты из нашего сада. Фрукты и вино выглядят здесь по-иному, чем у нас: они здесь так же необходимы, как хлеб и вода за нашим русским столом. Не бравшая в рот вина дома, моя Александра Васильевна здесь, на Капри, выходит из-за

* Древний (итал.).

** То есть сам художник, его сестра А. В. Нестерова и дочь Ольга.

стола более веселой, чем садилась к нему. На эту сдержанную, немолодую особу «воздух» Капри действует опьяняюще. Я с первых дней приезда сюда усиленно стал работать. Сестра охотно следовала за мной с этюдником. Она терпеливо сидела около во время сеанса, любуясь морем, далекой Искией, вдыхая сладостный аромат юга. Были написаны море и дали и чудная церковка — развалины далекой старины. Церковка мне была нужна для фона одной из картин обительского храма.

На Капри все пропитано музыкой, пением... Вечером не умолкали мандолины. Они тренькали повсюду, на порогах парикмахерских, заливались в трапториях, — где только не было их на Капри! А шарманки! О, они преследовали нас всюду! Мы с сестрой запомнили одну, большую; хозяин возил ее на двухколеске. Она была его любимицей-кормилицей. Была она такая нарядная, причудливо задрапированная яркой материей, обшитой золотой бахромой, с картинкой на лицевой стороне. Она имела свой репертуар, свой тон, свою манеру играть. Эту шарманку было слышно издалека. Она врвалась в вашу жизнь, в вашу душу. Она желала всюду господствовать — в солнечный яркий жаркий полдень, равно как и в ненастный, дождливый вечер. Она и ее «патроне» одинаково неутомимо преследовали нас. Не было человеческих сил, чтобы избавиться от этих двух тиранов — «патроне» и его шарманки. Мы мечтали, что уедем с Капри и тогда не услышим больше звуков, нас изводящих. Не тут-то было.

Покидаем Капри, садимся в лодку, чтобы доехать к пароходу в Неаполь, но и здесь, на лодке, на морских волнах, она, наша шарманка, и ее «патроне». Они, как и мы, покидали Капри. На пароходе эти заговорщики, эти деспоты вступили в свои шарманочные права — она заиграла какую-то бравурную народную песенку... Шарманка и ее господин были неутомимы, и под эти звуки мы подошли к Неаполю. Она и сейчас, через много лет, слышится мне. Да, это была веселая, довольная собой шарманка. Быть может, она не была слишком умной шарманкой, но она так радостно, бодро исполняла свое призвание.

С Капри, минуя Рим, мы проехали во Флоренцию. Внимательно осмотрели все, что мне давно было известно, и теперь я охотно показывал это знакомое своим спутникам. Мечтой моей сестры с давних пор была Венеция. Туда она уносилась мечтой и теперь торопила нас, и мы покинули Флоренцию. Вот и Венеция. Моя Александра Васильевна в гондоле: она, как «догаресса», как ни в чем не бывало, восседает в ней, тихо проплывает по Каналь Гранде,

мимо Марии дель Салюта. Она счастлива, довольна... Александра Васильевна неутомима. Она, сидя в Уфе, как бы накапливала силы, чтоб здесь, в Венеции, растонать их. Она всюду и везде... Не было предложения, которое она не приняла бы с восторгом. Музеи сменялись поездками на Лидо: храмы, дворцы, Тинторетто, Веронезе прекрасно уживались со старыми лавочниками, рынками, с фабрикой Сальвиати. Она как-то по-своему, по-уфимски, претворяла в себе все, умела во всем разобраться, неутомимо восхищалась, радовалась, была в прекрасном расположении духа. Вечером, усталая, крепко засыпала, чтобы с утра быть готовой к восприятию новых впечатлений. Венеция оправдала себя, дала сестре высшую меру наслаждения. И я в те дни был счастлив, видя, как были счастливы и довольны мои спутницы. Воспоминаний о Венеции, казалось тогда, хватило бы сестре на долгую, долгую жизнь.

Я побывал тогда в Национальном музее, видел малявинских «Баб» — его первых «Баб». В Венеции они не показались ни слишком смелыми, ни ошеломляющими. Потому ли, что рядом висел большой черный «Крестный ход в Нормандии» Коттэ, или по чему другому — не знаю. Не стану здесь упоминать о своих старых любимцах — великих венецианцах. Они и на этот раз занимали никем не оспоримое первенствующее место.

Мы покинули Венецию, лагуны, а потом и прекрасную Италию, — опять через Земмеринг вернулись в Вспу; мшнуя Краков, были на русской границе. Родимая сторона — мы дома, в Киеве...

* * *

В Киев впервые приехала Айседора Дункан. Долго не хотел я идти смотреть ее танцы, но, убежденный кем-то из ее поклонников, пошел и не жалел о том.

Тогдашние мои впечатления от этой удивительной артистки были и новы, и свежи. Дункан удалось в танцах подойти к природе, к ее чарующей чистоте. Она, быть может, впервые в наши дни показала в благородном применении женское тело. Дункан, тогда еще молодая, показалась мне артисткой одного порядка с Дузе, Девойодом и нашим Шаляпиным. Как она иллюстрировала своими танцами Шопена, это меня мало занимало... Добавлю, что хореографическое искусство всегда было далеко моему пониманию. Я любовался танцами непосредственно...

Пришла весна. Вторую половину мая я жил около Троицы у Черниговской. С увлечением писал там этюды, готовился к росписи храма на Ордынке.

В одном из писем того времени я писал: «Во всяком случае, пребывание здесь (у Черниговской) многое для меня выяснило, композиция «большой стены» созрела и окрепла на живых наблюдениях, Если бы ты знал, как народ и всяческая «природа» способны меня насыщать, делают меня смелее в моих художественных поступках, я на натуре, как с компасом. Отчего бы это так?.. Натуралист ли я, или «закваска» такая, или просто я бездарен, но лучше всего, всего уверенней всегда я танцую от печки. И знаешь, когда я отправляюсь от природы — я свой труд больше ценю, уважаю и верю в него. Оно как-то крепче, добротнее товар выходит».

Как-то в тот раз зашел я в скиту ко всенощной. Церковь деревянная, давняя, так называемая «филаретовская». При ней, в покоях жывал по летам когда-то митрополит Филарет Московский. Любил он отдыхать там.

В этой церковке с деревянными переходами, с длинными скамьями по сторонам, с лубочными картинками «Страшного суда», угодников по стенам паперти, шла торжественная служба с акафистом. На середину церковки вышла вся братия в мантиях, в клобуках. Такие суровые, значительные лица... XVI век, Александровская слобода, Кирилло-Белозерский монастырь... Какая сила, какая своеобразная красота! И я остро почувствовал, что все эти мужики-монахи и я — мы родные. Такими, как эти старцы, были и мои предки, жившие где-нибудь по верховьям Волхова...

Вернулся в Москву. Там 22 мая была закладка соборного храма во имя Покрова Богородицы при Марфо-Мариинской обители. При закладке присутствовали, кроме великой княгини Елизаветы Федоровны, герцогиня Гессенская, наследная королева греческая (сестра императора Вильгельма), королевич греческий Христофор. Было много приглашенных. Имена высочайших особ, митрополита и присутствующих епископов, а также мое и Щусева были выгравированы на серебряной доске, положенной при закладке фундамента.

Мы со Щусевым ходили праздничными, а наши киевские мечтания о часовне были недалеко от действительности. Щусев в те дни был доволен и тем, что проекты его Почаевского собора и Московской великокняжеской церкви были замечены на Венской выставке...

Работы закипели. Щусев предполагал к осени вывести стены храма под кровлю. Тогда кн. С. А. Щербатову пришла мысль устроить у себя в имении «Нара» колонию для бедных сирот. Сироты, быть может, были предлогом,

интересовала же князя, после счастливой постройки им дома на Новинском бульваре, художественная архитектура. А так как свободные деньги у князя еще водились, то он и обратился к Щусеву — просил его сделать проект колонии, а меня просил в будущей колонии расписать некоторые стены, от чего я тогда же отказался.

Этой барской затее не суждено было осуществиться.

По закладке храма я уехал в Малороссию, а оттуда в Ессентуки. Мне хотелось избавиться от катара желудка, коим я упорно страдал. В Ессентуках я получил от вице-президента Академии гр. И. И. Толстого проект затеваемых им реформ Академии. Я должен был высказаться на этот счет. Не имея ни преподавательского, ни административного опыта, я на запрос не отвечал, тем более, что вся реформа сводилась лишь к внешним формам, не задевая сути дела.

Из Ессентуков проехал в Москву, предполагая написать давно задуманный портрет с Виктора Михайловича Васнецова. Намерение это мне удалось осуществить спустя восемнадцать лет, за год до смерти Васнецова. Вернулся в Киев, куда позднее приехал Щусев. Работы по постройке обительского храма быстро подвигались вперед. Время до рождества прошло быстро.

Наступил 1909 год.

Я в Петербурге. Новое предложение поступить в число профессоров Академии. Новый отказ. Все интересы мои сосредоточены на московской церкви и на Аксаковском народном доме в Уфе. Из Уфы получил лист на сборы пожертвований. Подписал сам, других к подписке не принуждал, как-то было неловко. Быть может, ложное чувство, но было так.

Тогда, в связи с московским делом, стал все чаще и чаще возникать вопрос о переезде из Киева. Пока что я работал образа для Московского иконостаса. Церковь к тому времени была достроена, выбелена снаружи, внутри стали штукатурить стены. Все меня радовало, заставляло бодро смотреть в будущее.

Приближались весна, лето, решили провести их в Княгинине. Там раздолье, особенно для детей. Алексей давно бегал, хотя был он не из крепких.

В Княгинине тем летом у нас гостила вдова покойного Яна Станиславского. У нас же Янина Станиславовна заболела внезапно тифом. Болезнь бросилась на мозг. Пришлось больную отправить в Смелянскую больницу, где она в страшных страданиях и скончалась. Я и брат Станиславско-

го оказались душеприказчиками и должны были распределить художественное наследство Станиславского между музеями Кракова, Львова и Варшавы, что мы и выполнили позднее. В Краковский музей был завещан и портрет художника, мной написанный с него перед тем в Княгинине.

Осенью, когда мы вернулись в Киев, я получил уведомление об избрании меня в Общество художества и литературы в Париже. Из русских членом этого общества был скульптор Паоло Трубецкой.

В Москве в те дни возник вопрос о проведении через Красную площадь трамвайной сети, что возмутило некоторых москвичей — любителей старины. Председательница Московского археологического общества гр. Уварова отправила на высочайшее имя красноречивое послание о недопущении трамвайных вагонов через площадь. Образована была особая комиссия для рассмотрения дела, в нее вошел В. М. Васнецов, проф. Цветаев и другие.

Наружная отделка церкви на Ордынке была закончена, и многим тогда казалось, что это создание Щусева есть лучшее, что сделано по храмовой архитектуре в новейшее время.

Каково-то, думалось, удастся роспись. Задача не была легкой, хотя бы потому, что в ней не было согласованности с архитектурой, с ее стилем. Я думал сохранить в росписи свой, так сказать, «нестеровский» стиль, стиль своих картин, их индивидуальность, хорошо сознавая всю трудность такой задачи. Стены сохли плохо, что невольно заставляло откладывать начало росписи.

В Петербурге в тот год был открыт памятник императору Александру III. Это был талантливый шарж на покойного царя, созданный князем Паоло Трубецким⁶². Москва тоже получила новый памятник — первопечатнику Ивану Федорову. Его сделал мой школьный приятель и кум Волпухин и сделал неплохо.

Тогда впервые стали появляться монографии современных художников, вышли Серова, Левитана, ожидалась Виктора Васнецова, Врубеля, моя и некоторых декораторов.

В Крыму умер от чахотки удивительный человек — доктор Средин

Тогда же произошел такой случай. Как-то утром приезжает ко мне взволнованный художник Мурашко, заикаясь и спеша (он сильно заикался), передает мне газетную телеграмму о смерти Архипа Ивановича Куинджи. Погоревали, обсудили как лучше почтить нам киевлянам

память почившего талантливому художника — прекрасного, великодушного человека. Решаем пока что от нашего имени послать вдове покойного телеграмму, а в день погребения, оповестив местных художников, отслужить панихиду во Владимирском соборе. Так и сделали.

Мурашко взялся отправить телеграмму и наладить все с панихидой. На другой день утром Мурашко снова у меня. Он возбужден не менее вчерашнего. Он только что получил ответ: «Благодарю за телеграмму. Я здоров. Куинджи».

Вот тут и верь столичным корреспондентам. Конфуз конфузом, но и радость наша была велика. Не часто рождаются столь одаренные и благородные люди, каким был Архип Иванович.

Я продолжал работать над образами для двух наружных мозаик обительского храма. В промежутки писал небольшую картину «Вечерний звон». Весна, монастырский двор. По нему пробирается с большой зажженной свечой принявший схиму старец. Эту картину позднее приобрел Харитоненко, а в годы революции она попала в Вятский музей. «Вечерний звон» был в 1910 году на международной выставке в Риме.

В ноябре квартира наша на Елизаветинской опустела. Заболела дочь Наталья. Болезнь была упорная и изнурительная. Врачи советовали переменить климат, уехать на юг. Наталия Ивановна Оржевская, бывшая в те дни в Киеве, предложила жене переехать с детьми к ней на Воынь, в Новую Чарторию. Мы подумали, посоветовались с врачами и решили предложение принять.

Жизнь в Чартории мне была известна, она сильно разнилась с нашей. Почти дворцовый обиход смягчался там разумной трудовой деятельностью хозяйки. Она с утра уходила в свою больницу и работала там как рядовая сестра до завтрака, иногда снова уходила. Вечера проходили в чтении, в хороших беседах.

Отношения Наталии Ивановны к моей семье были прекрасными, сердечными, комфорт предоставлен был полный. Жена взяла с собой нашу няньку, толковую, молодую «калуцкую» бабу, скоро освоившуюся среди новых порядков. Она так же, как у себя на Елизаветинской, продолжала добродушно покрикивать на Алексея: «А тебе, толстун, есть нябось пора!»

Вскоре по отъезде семьи получили письмо от сестры. У нее обнаружили признаки рака, от которого в нашем роду по женской линии были смертельные случаи, чего боялась и сестра. Она спешно собралась в Москву к проф. Снегиреву. Дочь Ольга выехала навстречу и оставалась

с ней, пока не выяснилась болезнь сестры. Скоро пришли успокоительные вести: ни рака не было, ни операции не потребовалось. Сестра, успокоенная, вернулась в Уфу. Ольга же уехала на Ривьеру показаться каким-то хваленным докторам. Показываться докторам обратилось у нее в привычную необходимость.

Я уехал в Москву. Стены церкви сохли плохо, приходилось роспись откладывать на неопределенное время.

Был в Художественном, смотрел «Царя Федора» с Москвинным. Много было хорошего, но местами переигрывали, балаганили, без нужды подчеркивали русское хамство. Тогда же видел Андреевского «Анатэму». Автор был даровит, но не умен, не в меру захвален. Умелая техника актеров — и все же нечто картонное.

Из Москвы проехал на несколько дней в Уфу. Зимний пейзаж, обычное радушие... Промелькнуло давно прошедшее, молодость, те дни, когда, умиротворенный после моего горя, живал, писал там свои ранние вещи, переживал свои первые успехи. Впереди мерещилась старость...

Из Уфы проехал прямо в Новую Чарторию. Там провел рождество. Воздух Чартории, заботы любезной хозяйки сделали то, что моя большая окрепла. Детям не хотелось уезжать. Однако к Новому году мы были у себя на Елизаветинской.

Начало нового 1910 года не было радостно. Из Лозанны Ольга писала о возможности новой операции, а Щусев захворал воспалением легких, предполагалась поездка в Италию на несколько месяцев. Роспись еще отодвигалась...

В конце января я уехал в Краков по делу об устройстве наследства Яна Станиславского. Там провозились с братом покойного около недели, сортируя картины, этюды, распределяя их по музеям Польши. Работали в холодном помещении, оба простудились, нажили себе ревматизм и все же дело закончили. Составили протокол, его подписали и передали все богатое художественное наследство Станиславского на места.

В феврале я привез образа для наружных мозаик. Их одобрили. Тогда же был возобновлен с Харитоненками разговор об иконостасе для Сумского собора, сооружаемого на их средства. Дал условное согласие начать работать образа тотчас по окончании великокняжеской церкви.

В тот же год Русским музеем был приобретен «Димитрий царевич убиенный». Я предложил гр. Д. И. Толстому взять у меня «Царевича» за минимальную цену (три тысячи рублей) Картину эту даже дягилевцы, в те дни от меня далекие,

не решались браковать, я же считал эту вещь лучшей после «Варфоломея». Поступление ее в музей всеми встречено было сочувственно.

Тем временем из Лозанны стали поступать вести более успокоительные. Ольга была у знаменитого Ру, и тот, после долгого исследования, признал, что операция не нужна, что все дело в нервах, советовал чаще бывать в обществе, не предаваться унынию... Ольга уехала в Болье, попала к карнавалу, там было много русских знакомых, сразу самочувствие стало иным, уныния как не бывало... В апреле через Афины и Константинополь она вернулась домой; выглядела Ольга отлично, казалось, что тревога об ее слухе, о здоровье надолго будет позабыта.

Прошла пасха. Мы начали разорять наше старое гнездо, укладываться для переезда в Москву. Последнюю ночь мы провели у друзей. На другой день были проводы.

На вокзале собрались все, с кем прожили мы долгие годы, с кем сроднились. Я не думал, что прощание будет таким трогательным, даже болезненным... Много горячих чувств было высказано нашими друзьями, знакомыми, и долго оставались мы под впечатлением этих часов разлуки.

В Москве мы в ближайшие же дни разделились. Жена с меньшими детьми уехала на дачу в Тверскую губернию, мною заранее снятую. Ольга уехала в Уфу. Я должен был начать поиски квартиры, что было делом нелегким.

Мне нельзя было забираться далеко от Ордынки, от строящейся церкви, куда мне предстояло ездить ежедневно на работы. Квартира должна быть вместительная, не менее шести-семи комнат, причем необходима была одна большая, под мастерскую. Я и мои московские знакомые были очень озабочены этим. Начиная с утра я ежедневно отправлялся на поиски, но подходящего не было. Если и были удобные, сходные по цене, то далеко от Ордынки. Если были близко, то без мастерской или слишком дорогие. Время шло, я измучился, стал терять надежду на счастливый исход моих поисков.

И вот однажды читаю: отдается квартира о семи комнатах на Донской. Еду на Донскую. Улица широкая, засаженная по сторонам деревьями вплоть до самого монастыря. Невзрачная в своем начале у Калужских ворот, она делается более и более приятной, приближаясь к концу. Много богатых особняков купеческого типа. Множество старых садов, что полагалось Замоскворечью в старину.

Вот и дом № 28, большой, не старый, трехэтажный. Вхожу, — лестница чистая, удобная; квартира 96 наверху

Показывает управляющий, нечто вроде приказчика из лабаза. Он вежлив, обстоятелен...

Входим, осматриваю. Квартира светлая, с большим залом 14 на 10 аршин, что мне и нужно, в виду семиаршинных «Христиан». Цена тоже подходящая, по силам. Узнаю, что дом принадлежит купцу Простякову, что у него только по Донской восемь домов, да на Басманной еще... Договорились обо всем, дал задаток.

Надо было повидаться с домовладельцем. Управляющий говорит о нем благоговейно. Узнаю, что из города «сам» приезжает поздно, отдыхает и никого потом не принимает. Придется ждать праздника, тогда после обеда, может, и примет. Откладываю свое свидание до ближайшего воскресенья.

Особняк, где живет Иван Григорьевич Простяков, тут же на Донской, почти окна в окна с моей квартирой. В воскресенье являюсь, принимает. Пожилой, степенный, корректный, выглядит директором банка (коим и был он тогда). Разговорились. Видит, что хоть и художник я, но не «шантрапа». Все, что можно, обещает сделать, чего нельзя (сбавить с положенной цены), о том лучше и не проси, — старик крепкий. Расстались по-хорошему.

Не откладывая в долгий ящик, стал оборудовать квартиру по своему вкусу. К тому времени пришел наш киевский скарб. Кое-что пришлось подкупить, освежить. Работа кипела. Целый день, как в котле.

Наконец, переселился. Сердце радовалось, так было все удобно, уютно, хорошо. Больше всего мне нравилась сама улица, широкая, тихая, засаженная большими липами. Из окон, из так называемого фонаря — перспектива на обе стороны: налево к Калужским воротам, направо к Донскому монастырю, к семнадцативековой церкви «Риз положения».

Погода стоит жаркая — май месяц. Ложусь, на ночь открываю окна. Воров бояться нечего, третий этаж. Довольный, засыпаю на новоселье. Однако часу в первом просыпаюсь от какого-то неистового грохота, такого равномерного и бесконечного. Что бы это могло быть?

А грохот по Донской несется неустанно. Совсем проснулся, не могу уснуть. И чувствую, что, кроме грохота, чем-то смущено и обоняние мое. Встаю, подхожу к открытому настежь окну и вижу: от самой Калужской площади и туда, к Донскому монастырю, не спеша громяют сотнями «зеленые бочки», те самые, на которых ездят толстовский Аким из «Власти тьмы».

Так вот какова разгадка! Донская, моя прекрасная Донская, с липовыми аллеями по обе стороны широких панелей, входит в число тех улиц, по которым каждую ночь до рассвета, чуть не большую часть года, тянутся со всей Белокаменной к свалкам ассенизационные обозы. И так будет, пока «отцы города» не устроят канализацию.

Всю ночь я не спал от шума, от этих «Акимов». Утром решил добиться свидания с Простяковым. Как и говорил я, по будням он не бывал дома, но по неотложному делу его можно было застать или в банке, или в «амбаре» в одном из переулков между Никольской и Ильинской, в московском «Сити».

Еду туда, застаю, принимает в своем роскошном кабинете. Просит садиться. Терпеливо выслушивает мою горестную повесть. Разводит руками, говорит, что горю моему пособить не может. Возвратить задаток не в его правилах. Однако, видя мое положение (я был похож на федотовского обманутого молодого), советует мне «примириться». Легко сказать! — примириться. Я не глухой, и мое обоняние в совершенном порядке.

Простяков простирает свое участие до того, что дает мне совет не открывать окон, оговариваясь, что это поможет делу немного. «А что действительней — это привычка. Пройдет месяц-другой, вы попривыкнете и, поверьте, почитать будете прекрасно-с. Ваши нервы поуспокоятся. Так-де бывает со всеми вначале, а потом пообтерпятся и ничего-с».

И что вы думаете, — я, как и вся обширная Донская с ее многочисленным населением, попривык. Правда, на ночь я больше окон не отворял, напротив, запирал их наглухо и... попривык.

Наладив, что нужно в церкви, я уехал к семье в имение А. И. Манзей «Березки». Это было необходимо, так как в поисках квартиры и в ее устройстве я устал, сил было мало, их перед началом работ на стенах церкви необходимо было восстановить, попасться на травке, пописать этюды.

Планы мои тогда не совсем удались. Дети заболели корью. Старшая дочь писала из Уфы, что боли в ушах возобновились. Время проходило в заботах и всяческих хлопотах.

Моим отдыхом тогда было — сесть в лодку (у нас на даче была своя) и одному пуститься по восьмиверстному озеру. Я люблю водную стихию, будь то море, река или такие озера, как были возле нас.

Однажды утром сел я в лодку и пустился в путь. Впереди у меня было несколько свободных часов. Погода стояла, хотя и серенькая, но не предвещавшая ничего плохого.

Я уплыл далеко, устал изрядно, повернул обратно. Передо мной как из земли выросла туча, да какая! Вот можно было сказать — туча тучей: темная, мрачная, зловещая... Сверкнула молния, где-то раскатился гром. Стало свежей. Надо было торопиться. По озеру заходили барашки. Буря была не за горами. По берегам гнулись березки, вдали шумел темный бор.

Дело было плохо, греб я изо всех сил. Сверкнула молния, за ней страшный удар. Разверзлось небо, полил дождь. Зашумело, заволновалось озеро. Мою лодку с оранжевыми боками бросало, как щепку. До нашего берега было далеко, а буря всей злей, все яростней. Дождь залил меня, нитки сухой не осталось на мне. Собрав все силы, я навалился на весла... Доеду ли, а ну как волна захлестнет или опрокинет мой кораблик! Как ключ пойду я ко дну, только меня и видели, поминай как звали...

Однако господь помиловал. Как-то добрался я до берега, пристал и, полуживой от усталости, явился домой...

Верстах в семи от нашей дачи была Академическая дача, где проводили лето ученики Академии художеств. Время они проводили весело, шумно. Народ подобрался живой, изобретательный, предприимчивый, устраивали спектакли, пикники, экскурсии... Недалеко от Академической проживал и ректор тогдашней Академии — скульптор Беклемишев. Он часто бывал у своих академистов. Перед моим отъездом в Москву Беклемишев упросил меня побывать на Академической и мы отправились туда. Радушная встреча. Народ все хороший, хотя и безалаберный, зато почти все «гении». Так и Яковлев Александр, прозванный «Саша-Яша», и его двойник Шушаев, и более умный, чем талантливый, горбатенький Демьянов.

Вскоре я уехал в Москву, где получил от болгарского правительства приглашение принять участие в росписи строящегося в Софии собора, взорванного позднее анархистами. От участия в росписи я отказался.

В Москве в нашей церкви не все было ладно: стены не сохли, и решено было две боковые картины написать на бронзовых досках, укрепленных на металлическом каркасе.

В моей мастерской на мольбертах стояли все образа иконостаса. Христа написал я по старому образцу «Ярое Око», «Богоматерь» в типе так называемого «Умиления». Образцом для «Марфы и Марии» послужил редкий образ «Святых жен», указанный мне покойным Никодимом Павловичем Кондаковым. На образах этого иконостаса я хотел испытать себя, как стилизатора, и я увидел, что при же-

лании тот или иной стиль я мог бы усвоить, довести до значительной степени художественного совершенства. Но не это меня тогда занимало в церковной живописи. Я понимал, что, вступая на путь старой церковной иконографии, я должен был забыть все пройденное, пережитое за долгую личную жизнь — школу, навыки, мои субъективные переживания, все это я должен был оставить вне церковных стен. Этого сделать тогда я не мог и не хотел. Все более и более приходил я к убеждению, что стены храмов мне не подвластны. Свойственное мне, быть может, пантеистическое религиозное ощущение на стенах храмов, более того, в образах иконостасов для меня неосуществимо. Я делал проверки моих наблюдений, и решение мое отказаться от церковной живописи медленно созревало...

Вел. княгиня уехала в Псков на какие-то торжества, и мне хотелось к ее возвращению подготовить одну стену вчерне, показать ее и уехать на неделю-другую в Березку. С огромным увлечением принялся я за работу. Композиция картины «Христос у Марфы и Марии» меня не удовлетворяла, но я надеялся выиграть в красках, вложить в картину живое лирическое чувство. Работа у меня шла быстро, видевший ее Щусев был доволен.

На другой день по возвращении вел. княгини из Пскова я пригласил ее в церковь и не без волнения ждал, что-то мне скажут. Картина понравилась, а так как я знал, что вел. княгиня никогда не говорит того, что не чувствует, что слово ее правдиво, искренне и нелицемерно, то похвалам был рад. При прощании заявил о своем намерении поехать отдохнуть.

В Березке нашел все в порядке. Жилось там хорошо, даже весело. На Академической одна забава сменяла другую. Изобретательности молодежи не было конца. В Березку приехала старшая дочь.

Среди этого шума и молодой веселости узнал о действительной смерти Архипа Ивановича Куинджи. Вскоре пришла весть, что умер друг моей молодости — Сергей Васильевич Иванов. Оба художника ушли внезапно от разрыва сердца. Немного прошло времени, за этими двумя ушел и третий — Клавдий Степанов.

Недолго прогостил я у своих — дела призывали меня в Москву, на Ордынку. Стены сохли плохо. Оказалось, что Щусев в свое время позабыл распорядиться покрыть их кровлей от осенних дождей. Вода свободно проникала в кирпичную кладку, и теперь приходилось принимать особые меры для их просушки.

По моей просьбе, вел. княгиня распорядилась вывесить на дверях церкви объявление, запрещающее туда вход во время работ. Такая мера была необходима, она была продиктована практикой Владимирского собора. Немало времени и нервов стоили нам, работавшим в соборе, несвоевременные посетители. Так, в Киеве, для обозрения собора в годы его росписи выдавались особые билеты из канцелярии генерал-губернатора. Билеты были действительны в праздничные дни и часы, когда работы там приостанавливались, в часы отдыха. Несмотря на это, было немало случаев нарушения этих правил, и посетители буквально врываются в неурочные часы и доставляли нам много неприятностей.

[...] ⁶³

Сама вел. княгиня о своих посещениях предупреждала меня, спрашивала, не помешает ли мне, и очень редко заходила без предупреждения в те часы, когда меня в церкви не было. В те разы, когда вел. княгиня заходила в церковь, я сходил с лесов, давал объяснения о предстоящих работах, планах...

Так проходили рабочие дни мои в обительском храме.

Как-то узнал, что вместо скончавшегося Куинджи совет Академии художеств кандидатом наметил и меня. Почетных членов по Академии числилось шестьдесят человек. За выбытием кого-либо из них выбирали новый. Избранник утверждался государем. Были выставлены имена Рериха, Савинского и не помню еще кого. Рерих прилагал все усилия, чтобы первенство осталось за ним, так как он был учеником Архипа Ивановича. Я решил ничего не делать для поддержания своей кандидатуры. Вскоре из газет стало известно, что первым кандидатом огромным большинством голосов прошел я. Это обстоятельство еще больше разъединило меня с Рерихом. В деловом отношении в моем лице Академия ничего не выиграла. Я никогда не был активным ее членом, редко присутствовал на заседаниях, не выступал ни с проектами, ни с речами.

Я продолжал работать, не покладая рук, но скоро, почувствовав настоятельную необходимость сделать передышку, уехал в Кисловодск, где, как и в старые годы, долго зажила М. П. Ярошенко, где было все так любезно и знакомо мне. В ту осень жил там после болезни К. С. Станиславский.

Отдохнув, я вернулся в Москву, где мы вскоре узнали из газет об уходе Л. Н. Толстого из Ясной Поляны. Столь необычная новость несказанно взволновала меня. Толстой

сделал тот последний шаг, о котором долго и упорно молчал. Слова его превращались в дело. С момента своего ухода он делался неуязвим.

Радость моя была необычайная, я не знал, к кому броситься с ней. Хотелось от полноты чувства кричать. Дома я не находил места, не знал, с кем поделиться своим душевным восторгом. Наконец, я излил этот восторг в письме В. В. Розанову, который чуть было не напечатал его в «Новом времени».

Вскоре появились тревожные слухи со станции Астапово. Настали иные дни, сначала тревоги, а потом и печали. Лев Николаевич навсегда ушел из мира живущих, быть может, не завершив какой-то своей заветной мысли. Мне хотелось знать освобожденного Толстого, но таким увидеть мне его не удалось.

На смену ликованием пришла большая печаль от того, что моя мечта о Толстом, свободном от самого себя, от опутавших его тенет и опеки житейской и моральной, мечта, быть может, миллионов людей, не осуществилась. А вся последующая шумиха с похоронами была проделана так грубо и была как-то оскорбительна для памяти великого художника-мыслителя, которому и после смерти что-то или кто-то мешал уйти от житейской и всяческой суеты сует.

Осень со слякотью, темными днями не давала мне работать, и лишь запоздалый снег освободил меня от невольного безделья. Я заканчивал вторую стену — триптих «Воскресения Христова», изобразив в центре картины ангела у гроба, слева «Жен мироносиц», а справа Христа в образе садовника.

Тема «Воскресения» — не моя тема. Для нее недоставало у меня ни мистического воодушевления, ни подлинной фантазии, могущей иногда заменить недостающие художнику духовные свойства. Картина, выдержанная в реальных тонах, была, быть может, и красива, но холодна и неубедительна, как чудо, как нечто необычайное. В ней не было ни того, что иногда встречается у примитивистов — у Джотто в Падуе, ни того, что дала в эскизах на тему «Воскресения» болезненно прекрасная фантазия Врубеля...

Написав вторую стену, я уехал в Петербург для приема из мастерской Фролова мозаичных образов «Спаса» и «Богоматери» для наружных стен обительского храма.

В тот приезд мой в Питер ко мне обратилась кн. Оболенская, вдова бывшего финляндского губернатора, с предложением написать для нее образ-картину «Несение креста». Заказ этот я принял без ограничения срока его окончания.

Тогда же секретарь Академии передал мне, что избрание мое в действительные члены прошло с редким единодушием в оценке моей художественной деятельности и моей личности...

С января нового 1911 года я начал писать самую ответственную пятнадцатиршинную вещь в трапезной храма. Затея была такова: среди весеннего пейзажа с большим озером, с далями, с полями и далекими лесами, так, к вечеру, после дождя, движется толпа навстречу идущему Христу Спасителю. Обительские сестры помогают тому, кто слабее — детям, раненому воину и другим — приблизиться ко Христу... Тема «Путь ко Христу» должна была как-то восполнить то, что не удалось мне выразить в своей «Святой Руси».

Картина была задумана сначала в виде триптиха. В центре — народ с Христом, слева раненый солдат с сестрой милосердия, справа две женщины-крестьянки — молодая и старая, на коленях. Опушка леса, на первом плане — цветы.

Картину начал с большим увлечением. Верилось, что что-то выйдет.

Московско-Казанская железная дорога решила построить новый, многомиллионный вокзал. Стоявшие тогда во главе акционеров дороги фон Мекки, по моей рекомендации, остановили свой выбор на входившем в известность Щусеве. Он должен был сделать предварительный проект, представить его фон Меккам, а по утверждению назначался конкурс, на котором обеспечивалось первенство за Щусевым. Он же должен был быть и строителем вокзала. Таким образом, Алексею Викторовичу предоставлялась возможность не только создать себе крупное имя, но и обеспечить себя материально.

Январь и февраль были обычным временем выставок, премьер и прочих развлечений. Москвичи, пресыщенные всем этим, скучали, им чего-то не хватало, они ждали сенсаций, была жажда эмоций чрезвычайных.

Самой боевой выставкой того сезона была выставка Союза русских художников, от нее в то время откололись Ал. Бенуа, Рерих и еще кое-кто из мирискусников. На выставке был отличный Коненков со своим архаическим «Мужичком-полевичком», чем-то родственным моему «Пустыннику».

Центром же выставки должен был быть давно жданный и шумно анонсируемый Малявин с его «Семейным портретом». Этот портрет сперва ждали на выставке «Мира

искусства» в Петербурге. Ал. Бенуа написал о нем фельетон в «Речи», репродукции с него были в каталоге «Мира искусства».

Тем временем лукавый мужичонка, взвесив обстоятельства момента, пошушукавшись с Остроуховым, взял да и поставил свой портрет вместо «Мира искусства» на протезируемой Остроуховым тогда выставке «Союза». Поставил после вернисажа и открытия этой выставки. Радость союзников была так велика, что они после такой «победы над врагами» задали Малявину многолюдный банкет с речами, шумными тостами и прочим.

Тогда говорили, что дошло до того, что портрет собирались за очень крупную сумму приобрести в галерею, и вдруг как-то оказалось, что «Семейный портрет» не только не гениальный, но и вообще ниже всего того, что тогда дал Малявин. Портрет был какой-то неумный, хорошо сработанные детали тонули в нелепой многоречивости, нагроможденности. Были в нем пышная, самодовольная пошлость, безвкусице... И столь нашумевший малявинский «шедевр» лопнул, как мыльный пузырь. Он скоро был, к удовольствию, а может, и при содействии «Мира искусства», забыт капризными и изменчивыми москвичами. А сам «маэстро», привыкший себя считать наравне с великими портретистами, со всеми этими Ван Дейками и Веласкесами, должен был вернуться к своим, изрядно надоевшим, «красным бабам».

Услышав как-то, что Щукин приобрел нового Пикассо, «последнего Пикассо», я попросил Сергея Ивановича показать мне обновку. Приглашает в ближайший праздник, когда он обычно передается заслуженному отдыху.

Приезжаем небольшой компанией. Встречает, просит следовать за ним. Осмотр начался с импрессионистов: с Моне, Мане, Ренуара, потом Пювис, Сезанн, прекрасный Гоген. Все они, по словам Сергея Ивановича, «устарели». Дальше Матисс и ранний Пикассо. Тут останавливаемся. А вот и последний зал с последним Пикассо...

Перед нами нагромождены кубы, конусы, цилиндры, чего-чего тут нет. Весь этот хаос столярного производства приводит Сергея Ивановича в восторженное оцепенение. Он стоит, как зачарованный кролик перед удавом, наконец, сильно заикаясь, начинает нам объяснять мудрования парижского эксцентрика. Слушаем в недоумении, не решаясь сказать, что «король голый», что все это или шарлатанство, или банкротство, ловко прикрытое теоретическими разглагольствованиями. Такое «святотатство» менее всего приходит в голову нашему любезному хозяину. И то ска-

зять, — догадаться об этом — значит признать себя невеждой...

Чтобы разрядить атмосферу, спрашиваю: «Не утомляют ли его такие Пикассо?» Отвечает, что когда он видит произведения Матисса и Пикассо у них в мастерских, он бывает безотчетно поражен ими. Первая мысль его ими завладеть, увезти в Москву, развесить в своем кабинете, стараться к ним привыкнуть. Это дается не сразу. Он тренирует себя, вспоминает внушения Пикассо и как-то привыкает, начинает видеть так и то, чему его учили в парижской мастерской.

Дела в обители, тем временем, шли своим порядком. Я много работал. Тогда же получил от курского архиепископа предложение «создать тип» для образа нового святителя — Иосафа Белгородского. Честь эту я от себя отклонил за неимением времени, еще и потому, что мечты мои о большой картине занимали меня тогда чрезвычайно.

Тогда же меня известили об избрании меня действительным членом Петербургского Общества поощрения художеств. Одновременно были избраны Репин, Константин Маковский и Щусев.

На состоявшемся в те дни конкурсе проектов Нижегородского государственного банка Щусев не только не получил первой премии, не получил он ни второй, ни третьей — ему дана была четвертая премия... Первую взял В. А. Покровский...

Я только что окончил большую картину «Путь ко Христу», радовался этому, предполагал в ближайшее время показать ее вел. княгине...

Прихожу в церковь, поднимаюсь на леса и замечаю по всей картине выступившие какие-то черные маслянистые нарывы. Что такое? Какое их множество! Пробую пальцем, они лопаются, на их месте — черные маслянистые слизняки. Точь-в-точь, как было с Абастуманским орнаментом на загрунтованных Свиньиным стенах. Какой ужас!

Сразу понял я всю серьезность положения. Картину необходимо счистить, стену перегрунтовать, написать наново. Хватит ли сил? Удастся ли она вторично?! Как объявить о случившемся вел. княгине, которой уже известно, что картина кончена и не сегодня-завтра я попрошу ее для осмотра?

Никому и ничего не сказав, спустился я с лесов и, чтобы не выдать своего волнения, сейчас же под каким-то предлогом уехал домой.

Весь день и ночь продумал. Причины несчастья были

ясны. Стены под роспись было поручено подготовить Щусеву, он, в свою очередь, поручил это сделать своему знакомому киевскому живописцу. Тот взял масло для заготовки подешевле, быть может, испорченное, и вышло то же самое, что и в Абастумане. Время не ждало. Необходимо было объявить обо всем вел. княгине.

На другой день я доложил, ей, что картина готова и просил прийти посмотреть ее. Пришла она радостная, оживленная, приветливая. Остановилась перед моим созданием. Внимательно всматривалась в него. Наконец, обратилась ко мне со словами самой искренней трогательной благодарности.

Минута была нелегкая. Все сказанное было так радостно, была одержана какая-то победа, и вот сейчас надо было сказать, что победа была кратковременная... И я объявил вел. княгине о том, что открыл, сказал, что картину придется уничтожить, что это неизбежно, необходимо. Она была поражена моими словами не меньше, чем я перед тем своим открытием, пробовала меня утешать, предлагала картину оставить, думая, что со временем злокачественные нарывы пропадут...

Мне нельзя было ни на минуту поддаваться такому искушению, и я не смалодушествовал, убедил вел. княгиню со мной согласиться, разрешить картину соскоблить.

Но соскоблить пятнадцатидесятиаршинную стену — это еще не решает дальнейшей судьбы дела. Плохая подготовка стен, быть может, не одна была причиной того, что картину необходимо было переписать: стены сами по себе были не в порядке, они еще не совсем просохли и когда просохнут — сказать было трудно. Поэтому, раньше чем что-либо решать, надо было переговорить со Щусевым, и только после единодушного решения с ним я мог предложить вел. княгине написать повторение картины на медной доске, как и две первые картины.

Мое предложение было принято. Медная доска и металлический подрамник к ней были заказаны на фабрике Хлебникова, а я тем временем занялся подготовкой остальных стен под живопись по способу Кейма⁶⁴, усиленно рекомендованному Щусевым, как более надежный, не боявшийся сырости.

Здоровье дочери тем временем улучшалось, она стала понемногу бродить по комнатам. В начале мая ее можно было уже отправить в Швейцарию. Жена и дети уехали в Березку.

Я остался один и начал снова, теперь уже на меди, «Путь ко Христу».

Стены храма сохли плохо, а наш милейший Алексей Викторович относился к этому с очаровательной беспечностью...

С утра я уходил в церковь, где кипела работа по загрузке стен по способу Кейма. Из Академии был выписан особый мастер.

Краски Кейма, живописные, мне не нравились, казались жидкими, водянистыми, ничем не походили на настоящую фресковую живопись, и я иногда жалел, что в этом уступил Щусеву.

За день я сильно уставал. Вернувшись домой, отдохнув, ехал куда-нибудь обедать, чаще всего в известный тогда ресторан «Прага» на Арбате. Там собирались тогда такие же, как и я, бессемейные. Засиживались долго за разговорами.

В Москву приехал миниатюрист Похитонов. Он устроил выставку, имевшую хороший успех. Похитонов был приятный человек, много видевший, знавший хорошо Европу. Он бывал у меня на Донской.

Так шли дни за днями. От дочери из-за границы стали приходить вести более успокоительные. В Березке хворали и выздоравливали, и снова заболели дети.

Я ничего не сказал еще о своих ближайших помощниках. Их было несколько, они исполняли главным образом орнаментальные работы. Я лишь давал мотивы орнаментов, преимущественно взятых из русской флоры. В них входили излюбленные мною деревья, цветы, растения: береза, рябина, ель. Орнаментов было немного, не так, как в Абастуманской церкви, густо орнаментированной. Одно было в этих церквях общее: их белый основной тон (фон). Тот и другой храм были светлые, «пасхальные». Мне хотелось этим дать ощущение праздника, дать отдых душе.

Эту мою мысль я проводил в согласии с вел. княгиней и, быть может, вопреки Щусеву, любителю не столько стилей, сколько стилизаций. Я полагал найти свой собственный стиль, в котором бы воплотилась как-то вся моя вера, творческая сила, лицо, душа, живая и действенная душа художника.

Мне думалось, что в деле веры, религии это было необходимо. Стиль есть моя вера, стилизация же это вера, но чья-то. За ней можно хорошо прятать отсутствие своей собственной веры...

Я сказал, что орнаменты исполнялись моими помощниками. Первым из них был рекомендованный Щусевым архитектор Л-н, хохол, славный малый, но порядочный лентяй. Он редко успевал выполнить те задания, что получал

от меня. И то, что он делал, мало радовало меня. Через какое-то время мне пришлось с ним расстаться.

Его место занял другой — это был живописец П-в, способный, но еще более вялый, чем его предшественник, к тому же болтливый, с вечной папироской во рту. Его «советы», а главное, недопустимая при срочных работах медлительность выводили меня из себя. С ним я тоже скоро расстался.

После П-ва я взял третьего, совсем еще молодого, мне уже известного — Павла Дмитриевича Корина. Знакомство с ним началось с того, что как-то Павла Дмитриевича прислала ко мне с другим юношей вел. княгиня, задумавшая издать к освящению храма некоторые иконы из большой церкви в доступных по цене репродукциях. Она обратилась в так называемую Иконописную палату, где учились юноши из семей палехских и иных иконописных гнезд.

Из Иконописной палаты и пришли ко мне на Донскую двое с тем, чтобы сделать копии для великокняжеского издания. Оба юноши были разные и по внешнему, и по внутреннему своему облику. Один выглядел заурядным ремесленником, другой — с тонким, серьезным, немного сумрачным лицом, похожий на тех юношей в парчовых одеяниях, что написаны на фресках у Гирландайо, Пинтуриккио... Насколько первый из них был тороплив, настолько второй сдержан.

Мои симпатии определились скоро. Копия первого была вялая, без признаков дарования, у второго же дарование было очевидно... Копии скоро были сделаны; дело утвердилось за вторым, за юношей с фресок Гирландайо. Это и был Павел Дмитриевич Корин.

С первым юношей я распростился навсегда, второй стал время от времени заходить ко мне, получал кое-какую работу и исполнял ее не только добросовестно, но с умом и талантом. Но что особенно в нем было ценно — это его глубокая порядочность, какое-то врожденное благородство. Тогда Корину было лет шестнадцать-семнадцать.

Корин оказался прекрасным помощником. Точный, исполнительный работник, с инициативой, со строгим вкусом, с достаточной подготовкой для того, что ему пришлось делать у меня. Я не мог нарадоваться, глядя на него.

Я любил приходить на работу рано, но как бы рано я ни пришел, всегда заставал своего помощника на лесах. Дело у него кипело. Казалось, большей противоположности очаровательному Алексею Викторовичу Щусеву трудно было придумать. Корин, при несомненной одаренности, умел быть человеком долга, глубоких принципов, правил жизни,

чего совершенно лишен был Щусев, несущийся всегда «по воле волн». Имея такого помощника, как Корин, уезжая в Питер, в деревню или еще куда, я был совершенно спокоен, что без меня время не будет потеряно.

В июне были сняты леса с главной части храма, и я впервые увидел его таким, каким он позднее предстал на суд людской...

Осталось расписать трапезную. «Путь ко Христу» был нарисован в угле...

Наряду с Обителью, с ее жизнью, шла новая жизнь, на нее не похожая.

Помню, разнеслись среди нас — художников — слухи о небывалых успехах балета Дягилева за границей, в Лондоне. Слухи множились, росли, делались фантастическими. Сегодня мы узнаем, что Дягилев получил «лорда», завтра новый лорд, наш Сергей Павлович, вывез из Англии миллион рублей...

Вечно путешествующая моя Ольга возвратилась домой веселая, здоровая, через Афины, Корфу, Константинополь в Березку, где в тот год семья моя зажила до поздней осени...

В октябре было закончено повторение большой картины. «Путь ко Христу» явился в измененном виде. Оставалось установить наружные мозаики. Работы в храме двигались к концу. Видевшие были довольны росписью, и я сам чувствовал некоторое удовлетворение. Был пройден новый этап, удалось преодолеть еще одну трудную задачу, преодолеть усилием воли. Шли разговоры о времени освящения храма. Намечалось 24 декабря.

До того же мне хотелось сделать передышку, съездить с женой* в Италию, показать ей Флоренцию, Рим, побывать в Сиенне, Вероне, Виченце, где раньше я не бывал. Так мы и сделали. Взяли обычный путь на Вену, Земмеринг, Венецию.

ПУТЕШЕСТВИЕ 1911 ГОДА

(Сиенна — Рим — Орвиетто — Верона) ⁶⁵

Опять сон наяву! Дивные видения молодости. Смотришь на все с какой-то алчностью, упиваешься красотой, созданной богом и человеческим гением. Великолепный, непрерывный праздник красоты! Красота шествует по пятам. Красота

* Вторая жена художника — Е. П. Васильева. — *Ред.*

в дивных, полных задумчивой тишины, тайны минувших веков каналах. Красота неожиданная в музыкальных звуках ласкала наш слух. Палаццо, украшенные кружевом мраморов, рынки, переполненные овощами, цветами. Какой-то фантастический хаос красок, ощущений. Музеи, храмы... В них Тицианы, Тинторетто, Веронезе... Все они живут и дышат на вас своим великолепием. Они не умирали и умереть не могут. Века, как дни, для них не существуют. Богатства их творений неисчерпаемы и юны.

Дни в Венеции пролетели как часы. Я успел побывать на этот раз в музее «нового искусства», видел когда-то прославленных малявинских «красных баб». И то, что когда-то казалось так неожиданно, ново, стало старо, вылиняло. Рядом висящие Сулоага и Коттэ, совсем не Веласкесы, в соседстве с Малявиным выигрывают. В двух словах, «Бабы» — вещь талантливая, но варварская, музей же нового искусства — самое слабое, что дала мне Венеция в тот раз.

Мы во Флоренции. Опять беготня, восхищение музеями, церквями, берегами красивого Арно в тихие вечера. С головой окунулись мы в итальянскую жизнь, такую очаровательную, так полно захватывающую ваше чувство, зрение, слух. А впереди Рим. До Рима — Сиенна. Сколько впечатлений, новых, неиспытанных...

Мы в Сиенне. Желто-красные, цвета *terra di сиенна** , холмы встречают и провожают нас туда. Не успели приехать, едва переоделись, привели себя в порядок, уже мы на улице. Идем, или, вернее, летим по ним. Готовы ко всяческим неожиданностям, ждем их, и по вере нашей в чудесное — получаем на каждом шагу. Из-за угла вдруг выступает величавый мраморный силуэт собора, его алтарной абсиды. Видим его из-под горы, в плафоне, отчего он кажется скалой, нагроможденной фантазией зодчего. Обходим кругом, осматриваем внутри. Любуемся фресками Пинтуриккио — св. Екатерины Сиеннской над ее гробницей. А вот и ратуша. В ней смотрим сиеннского Рафаэля — Содому. Пробегаем кривые, косые, очаровательные улочки Сиенны. Полны разнообразных впечатлений, спешим дальше, в Рим.

Жена больше всего стремилась в Рим: о нем много читала, слышала от меня и наших друзей. И вот сейчас перед ее глазами далеко, далеко почудился Вечный город — над ним купол Буонаротти. Поезд несся по ровным долинам Ломбардии. Мы напряженно всматривались в даль. И, сколько я ни помню, всегда с одним и тем же чувством

* Название краски — «земля Сиенны» (*итал.*).

подъезжал я к бывшей папской столице, с чувством неизъяснимого восторга, счастья. Вот и опять сподобился увидеть тебя, великий Рим! Каждый раз одно и то же возрождение испытанного большого счастья.

Видеть Рим, и сколько бы раз его не видеть, — значит видеть века, тысячелетия истории человечества, многообразной, бурной, величественной, мрачной или победоносной, поражающей нас творческим гением. От Цезаря до Гарибальди, от святых апостолов до Льва XIII, из века в век Рим остается Римом. И вот он перед нами, мы у его ног...

Погода дивная. Замелькали знакомые улицы, памятники, храмы. Пошли Сады Авроры, виа Аврора, пансион, где живал я молодым во времена Владимирского собора. Как здесь все мне любезно!

Мое восхищение Римом теперь жене понятно, и мы ретиво принялись за осмотр его. Все здесь нам нравилось — и памятники великого искусства, и траттория, куда мы забежали наскоро перекусить. Везде был Рим, римляне, римлянки, и этого было довольно, чтобы хорошее настроение не покидало нас ни на минуту. Сикстинская капелла, Палатинский холм, Латеранский собор, равно как и маленькая Санта Праседа, видели нас счастливыми, беззаботными. Мы не уставали смотреть, удивляться, радоваться. Дни сменялись с необычайной быстротой.

В тот год в Риме была Международная художественная выставка с Русским отделом. Надо было заглянуть и туда. Помещалась выставка где-то за Порта Пиа. Наш отдел большой, но не сильный. Лучше других Серов — он занимал особый зал. Итальянцы его не оценили. Мои две вещи, с такой неохотой данные Толстому, были поставлены плохо*. Я пошумел там, и мне обещали перевесить мои картины в зал Серова, вещи которого почему-то должны были вернуться в Россию до окончания выставки.

Великолепен был отдел англичан. Он накануне нашего приезда закрылся, и только по-особому, данному мне разрешению нам удалось его осмотреть. Английское искусство было показано в исторической перспективе. Тут были и Рейнолдс и прерафаэлиты с Берн-Джонсом, Вальтером Крейном до художников последнего времени. Здоровая нация была представлена в здоровом искусстве. Везде отличная школа. Не было и следа французского упадочного новаторства.

Были интересны испанцы, вернее, двое из них: Сулоага

* В Италии на выставке было представлено две картины Нестерова: «Вечерний звон» и «Мечтатели».

и Англада. Каждый имел особый зал. Один из них северянин, другой южанин — оба дали превосходные вещи. Оба ярко изобразили Испанию тех дней. Мне остались особенно памятливы две картины этих мастеров. Сулоага изобразил суровый каменистый ландшафт Кастилии. На фоне его плетется на старом, усталом Россинанте старый, печального образа гидальго с копьем в руках. Всадник и конь хорошо пожили, сейчас они никому не нужны. У ворот оставленного городка шумит толпа, там праздник — бой быков. Когда-то, давно, гидальго был молод, нравился красавицам... Тогда он не был старым грибом. Гордо выступал он на своем коне в шитом золотом наряде... Он привык к победам. Сколько одержал он их — счету нет. Ну а теперь, пусть они веселятся без него... безумствуют. Ему что за дело! Он устал, хочет отдохнуть. Грустные мысли теснятся сейчас в голове старого пикадора... Драма конченного человека выражена в картине так трогательно, с таким душевным участием...

Иное у Англады. Тот со всем пылом южанина изобразил ночь в Гренаде. Яркие звезды, мириады их мерцают как бы в изнеможении, блистая алмазами, падают в бездну. Воздух насыщен ароматами роз... Все полно страсти, необузданной, опьяняющей страсти, безумного восторга. Какое-то неистовое сладострастие овладело и людьми с гитарами... Гитары поют, стонут — их звуки то замирают в томной неге, то бурно клопочут в победных аккордах... Вот-вот струны порвутся, гитары с шумом разобьются о землю, и сами неистовые музыканты падут в безумном экстазе. Англада, как никто, сумел выразить этот музыкальный бред, вызванный южной ночью, одуряющим ароматом цветов, близостью чернооких красавиц Гренады...

Последние дни мы отдали Ватикану. Я попрощался с Микеланджело, с Рафаэлем. Я не говорил им «прощайте» — я сказал им: «до свидания». С прекрасным чувством мы оставили великий Рим.

Вот и Орвиетто. Городок, как орлиное гнездо, высоко ютится на скале. Подъезжаем. Кондуктор, соскакивая на ходу, весело кричит: «Орвиет-то», как он закричит потом «Болонья». Нам тоже почему-то весело. Мы решаем, что до отхода поезда на Верону успеем, не торопясь, осмотреть городок, пообедать и отдохнуть. Вот мы и на горе. Вот и собор. В этом инкрустированном из разноцветного мрамора соборе мы увидим «Страшный суд» Содомы, говорят, лучший «Страшный суд», с необыкновенным антихристом, с неподражаемыми чертями в адском пекле. Все это мы увидим. Наконец увидели. Жена пришла в восторг и от собора,

и от Содомы, и от «Страшного суда». Я — только от чертей Содомы. Они какие-то знакомые, где-то я их видел — быть может, в жизни?.. О, этот Содом! Не списал ли он их со своих сиеннцев? Да и у нас на Руси такие водятся.

Однако слишком много впечатлений для одного месяца, и я чувствую, что надо отдохнуть уже и от своего отдыха. Пора в Москву, на Ордынку, за дело. Но раньше чем покинуть это милое орлиное гнездо с чертями Содомы, мы утолим свой голод, зайдем в ресторанчик. Он тут, где-то около разномраморного собора. Ресторанчик небольшой, уютный. Входим: в нем много военных; они болтают на своем очаровательном языке, такие все маленькие, как будто по особой субординации они не могут перерасти своего крошечного короля с его огромными, очень воинственными усами. Офицерики похожи один на другого, все в сиреневых невыразимых с красными, малиновыми, желтыми лампасами.

Выбираем себе место, откуда все видно, заказываем что-то в высшей степени итальянское, главное, просим дать вина, побольше вина, прелестного, немного шипучего, похожего на наше Донское, Орвиетто. И пьем, пьем и болтаем. Болтаем, пьем, едим и опять пьем. Вы думаете, быть может, что мы изрядно напились? Ничуть. Мы только стали веселее. Просим приготовить Орвиетто для дороги, хотим привезти его в Москву... Благодаря чудесному напитку в этот день мы чувствовали себя особенно хорошо и к вечеру, удовлетворенные, покинули очаровательный городок, который так «аппетитно» выкрикивал кондуктор, соскакивая с подножки вагона: «Орвиет-то!»

В тот же вечер мы были в Вероне. Обычная процедура в отеле, из окна которого видна веронская «конка» — трамвай без рельс. Он, шатаясь по сторонам, бежит по улочкам Вероны. Что-то очень провинциальное. Пахнет «Сельской честью». На панелях видим героев Масканьи. Они бегают как «живые». На другой день наскоро пьем кофе, справляемся с путеводителем и тоже бежим. Вот античный театр — осматриваем его наскоро, идем дальше. Нам надо видеть церковь Сан Джорджо. Там великолепный Веронезе с автопортретом, с дивным вороным конем*. Его знают по репродукциям, без красок. А какие там краски! А статуя Христа, возвышающаяся перед алтарем!..

Позавтракали наспех и снова несемся. Мы неутомимы. Времени у нас мало, мы помним это. Вот перед нами, как из земли, вырастает нечто средневековое. Это знаменитый

* Имеется в виду картина П. Веронезе «Мученичество св. Георгия».

дворик, гробницы рода Скала (Скалигеров). Бог мой! Такое чудо — и где же: не в Риме, не во Флоренции, а в маленькой Вероне. Скалигеры до сих пор владывают в ней. Вот они во всеоружии предстали перед изумленными москвитями. Один из них на коне, закованный в латы, улыбается вам. Какая удивительная идея увековечить свой славный род в дивных памятниках ваяния, поставить их у себя в усадьбе, во дворе, на какой-то веронской Ордынке, позвать самых лучших мастеров, самых смелых художников своего времени, дать им право сказать о себе всю правду, в ней показать могущество, коему дивятся люди через четыреста-пятьсот лет и надивиться не могут!

Скалигеры у себя дома. Они здесь правили веронцами, воевали, жили и умирали. Над самым входом в их дом, над их дверьми, один из этих Скалигеров спит вечным сном в мраморном изваянии. Какая архитектура! Что за вымысел, форма, линии ансамбля!

Не хотелось покидать нам Верону, а московская Ордынка призывала домой, и мы, не останавливаясь на пути, проехали итальянскую границу, Вену, и в начале ноября были в Москве. Это и было мое последнее путешествие в чужие края. Мечта побывать в Испании, в Англии, в северных странах осуществиться не могла...

* * *

Я снова на церковных лесах, в заботах, хлопотах. Все надо в последний раз посмотреть на свежий взгляд.

Щусев к тому времени закончил проект вокзала. В первых набросках он казался интересней, цельней. В основу был положен русский смешанный стиль. XVI, XVII и частью XVIII века вошли в разработку его фасада. От Сумбекиной башни, башен соловецких, захватив эпоху Романовых — Михаила Федоровича, Петра, Елизавету, — живопись, мозаика, черепица, куранты — чего-чего тут не было. Цвет всего массива белоснежный. Царский павильон — зеленый.

На фоне тогдашнего увлечения москвичей стилем модерн затея Щусева сулила многое. Затея была богатая, смелая. Немного осталось от нее по окончании постройки. Гора родила мышь. Тогда же Щусев сделал интересный проект «Школьного городка» для кн. Щербатова.

Харитоненки, увлеченные церковью на Ордынке, задумали построить в своем имении Натальевка небольшую церковку. Говорили о своем намерении со мной, не решаясь, на ком из архитекторов остановить свой выбор... Я настоя-

чиво рекомендовал все того же Щусева; однажды вместе с ним приехал к Харитоненко, и они скоро сговорились. Церковь в Натальевке должна была быть в древненовгородском стиле, такой же иконостас. С моей легкой руки после Абастумана Щусев пошел сильно в гору.

В конце ноября скончался от грудной жабы Серов. Смерть его была мгновенна. Еще утром Валентин Александрович собирался ехать на сеанс к кн. Щербатову. Он чертил тогда углем портрет княгини.

Похороны Серова превратились в многолюдную демонстрацию. Много народа шло за гробом, который несла молодежь. Пение «Вечная память» не прерывалось до самого Донского монастыря. Могила Серова — против могилы Муромцева.

После покойного осталась семья. Младшей дочери было четыре года. Осталось ценное художественное наследство. После похорон стали говорить о посмертной выставке, о том, что необходимо просить государя назначить семье пенсию. Выставка и пенсия дали Серовым возможность жить спокойно, безбедно.

На моей родине в тот год был голод. Сестра опять уехала куда-то в башкирскую деревню кормить голодающих. Земство отпустило в тот раз крупную сумму в полное ее распоряжение.

К рождеству церковь была окончена совершенно. Был поставлен иконостас, образа в него вставлены. Освящение отложено было до весны 1912 года.

Этот год начался в нашем художественном мире архитектурным конкурсом проектов нового здания Училища живописи, ваяния и зодчества. Конкурс был слабый. В нем участвовал и живописец Аполлинарий Васнецов. Проект его в русском стиле был эхом былых архитектурных увлечений его брата Виктора Михайловича — автора прекрасной абрамцевской церкви.

Я кончил для кн. Оболенской «Несение креста». Получив разрешение вел. княгини, я показал церковь на Ордынке кое-кому из знакомых. Были Поленов, Виктор Васнецов, еще человек сорок. Написанное нравилось. Васнецов смотрел с большим вниманием, как знаток таких дел. Хвалил большую картину и образа иконостаса. Хвалил и Щусева, и лишь некоторый его модернизм вызвал неодобрение Виктора Михайловича. Уходя, он с грустью заметил, что ему уж больше не писать церквей, а «Вы еще поработаете!»

Дочь моя Ольга тем временем собралась замуж. Она познакомилась с молодым ученым, учеником проф. Шершеневича — Виктором Николаевичем Шретером. Он стал бывать у нас, его посещения были определены. Виктор Николаевич всем нам нравился. Видимо, он нравился и дочери, хотя от нее и доставалось его немецкому происхождению, повадкам. Виктор Николаевич был из состоятельной немецкой одесской семьи. Дядя его был известный архитектор профессор Шретер — строитель тифлисского театра, дома Петербургского кредитного общества и дома «Штоль и Шмидт», что на Малой Морской.

В марте В. Н. Шретер был объявлен женихом. Дом наш перешел на особое положение: готовилось приданое, строились планы на ближайшее время, создавалась та особая атмосфера, которая так удивительно описана Толстым. Приехала из Уфы сестра и сейчас же стала во главе всех свадебных приготовлений. И правду сказать — хорошее это было время. В моей жизни опять как бы выглянуло солнышко. Жених моей Ольги был мне по душе, а тут и предстоящее торжество освящения храма. Снова знакомые переживания, волнения...

Наступило и 8 апреля — день освящения. Народу собралось множество. Приглашены были и художники — Виктор Васнецов, Поленов, Остроухов. Присутствовали и власти: Вл. Фед. Джунковский, Адрианов, городской голова Гучков и другие...

В тот день немало слышалось похвал нам обоим. На них не скупился и Виктор Михайлович. Смягчилась и наша неприязнь с Остроуховым.

К нам — ко мне и Щусеву — московское общество, как и пресса, отнеслось, за редким исключением, очень сочувственно... Хвалили нас и славили...

Настали Бородинские торжества. Они проходили частью в Москве, частью на месте наполеоновских битв. К этому времени приехали в Москву государь и вся царская семья. К тому же времени приурочено было и открытие памятника Александру III, и открытие музея его имени.

Памятник вышел, как говорили, «ярко опекушинский». Мысль изобразить царя-самодержца на троне со всеми символами его власти оказалась не под силу старому, недаровитому Опекушину, автору довольно приличного памятника Пушкину и совсем неприличного — Лермонтову в Пятигорске.. Не спасли дела ни символика, ни посвящение на постаменте..

Состоялось и открытие музея скульптуры, возникшего по инициативе проф. Цветаева и при деятельном содействии состоятельных москвичей.

Помню званый обед у Харитоненко. Были директор Эрмитажа гр. Д. И. Толстой, гр. Олсуфьев и я с женой. Пили за мой недавний успех, за мое здоровье. Тогда же было окончательно решено, что я буду писать образа главного иконостаса в Сумской собор.

Перейду от торжеств официальных к семейным. На 1 июля была назначена свадьба моей Ольги с Виктором Николаевичем Шретером. По летнему времени большинство наших московских знакомых и друзей отсутствовало, и свадьба могла быть немногочленной. Приехала еще задолго из Уфы воспитательница Ольги сестра моя Александра Васильевна. Из Одессы приехали родные жениха — братья, красивые, рослые немцы, моложавый, элегантный отец и дядя. В день свадьбы — обычная суета.

Ольга в подвенечном платье была на редкость хороша. Высокая, стройная, сосредоточенная, немного бледная, похожая на белую лилию. Венчание было в нашем приходе, в старинной церкви Ризположения. Пятилетний Алеша был «мальчик с образом». Пел прекрасный хор. После венца — обед, шампанское, тосты. На мне была обязанность провозглашать их за присутствующих и отсутствующих. На особой бумажке были предусмотрительно помечены все тети Терезы, Эммы, Эмилии, дядя Густав и прочие. Нужно было никого не забыть. И этого не случилось. С грехом пополам я вышел из этого не свойственного мне положения. С утра поступали телеграммы. Все радовались нашей радости, поздравляли молодых, желали им счастья, и тогда они несомненно казались счастливыми. Вечером поезд увозил их в Крым. На вокзале много народу, опять шампанское, множество цветов.

Мы с сестрой были довольны судьбой нашей Ольги, и казалось, что роль наша окончена. Месяца через полтора молодые должны были вернуться с тем, чтобы снова уехать, и надолго, за границу — в Париж, в Лондон, где зять должен был работать над магистерской диссертацией. Вскоре в Москве на Донской не осталось никого. Я уехал к Троице писать этюды к своим «Христианам», семья в Березку, сестра в Уфу, а немцы в свою Одессу.

Пришла осень. Из Питера на жительство в Москву переехал Щусев. Постройка вокзала осталась за ним. В то время казалось, что никто из наших архитекторов не чувствовал так поэзии старины, как Щусев. Рядом с ним Покровский (автор Федоровского собора в Царском Селе) был лишь ловкий компилятор.

Лето и осень прошли у меня в работе. Я написал много этюдов для задуманной большой картины, хотя текущие

заказы и отодвигали надолго ее осуществление. Были на очереди картины для Оболенской и образ для мозаики на памятник Столыпину, заказанный Шусеву.

В ноябре ко мне обратился Романовский юбилейный комитет⁶⁶ с предложением нарисовать для народного издания «Избрание Михаила Федоровича Романова на царство», которое должно было выйти в количестве миллиона экземпляров. Срок был дан короткий, и я отказался.

Время от времени меня приглашала вел. княгиня для разных советов по поводу церкви. Однажды, вызванный туда, я нашел вел. княгиню в обществе не известных мне дамы и свитского генерала. Нас познакомили. Дама и генерал были князь и княгиня Юсуповы. Они осматривали церковь, и я снова услышал похвалы ей.

Княгиня прошла со мной вперед и сообщила о том, что они собираются построить у себя в Кореизе новую церковь. Прежняя стара и мала. Проект согласился сделать вел. князь Петр Николаевич, и они хотели бы заручиться моим согласием расписать ее. Вскоре вел. княгиня и кн. Юсупов присоединились к разговору. Надо было что-то отвечать, а так как я про себя уже решил, что после Сумского собора и взятых раньше образов брать церковных заказов не стану, то и сказал это Юсуповым прямо и откровенно. Такого ответа, видимо, не ожидали. Они вообще нечасто получали отказы. Пробовали меня убеждать, предлагали подумать, дело ведь было не к спеху и т. д.

А все мои помыслы тогда бы около «Христиан», и мне хотелось остаток жизни быть свободным, исполнить то, что не успел за постоянными и не всегда приятными заказами. Тогда я был материально обеспеченным и не было никаких оправдательных мотивов, чтобы брать новые обязательства.

Отказ мой был принят сухо. Едва ли им была довольна и вел. княгиня.

Моя картина рисовалась мне все отчетливей, ярче, непреодолимо манила к себе. Купил холст, два семиаршинных отреза заграничной выделки. И не было тогда у меня лучших мечтаний, как о моих «Христианах». Мысли о них были моими праздничными мыслями...

1912 год приближался к концу. Наступило рождество, святки, елка, домашний спектакль у Харитоненок, куда мы были приглашены всей семьей. Теперь, после обительской церкви со мной были особенно предупредительны, любезны. Надолго ли?

Житейский опыт подсказывал мне осторожность, и я был осторожен, памятуя рассказ о том, как кн. Тенишева, одна из дам петербургского света, любившая возиться

с артистами, художниками, всякого рода знаменитостями, однажды пригласила пианистку Софию Метнер к себе в Талашкино. Приглашение было принято. В Талашкине все было поставлено на ноги. К гостье был приставлен особый штат — камеристки, парикмахер. Красивая княгиня Мария Клавдиевна была предупредительна, мила, любезна. Самая изысканная лесть окружала артистку, и она охотно играла на великолепном Бехштейне*. Завтраки, обеды, пикники сменялись излияниями двух прекрасных дам. Так шли дни в Талашкине.

Отдохнув от концертов, от столичного шума, артистка стала скучать, задумываться. Атмосфера незаметно стала меняться, повеяло холодком. Обе дамы насторожились. Гостья стала подумывать об отъезде. Княгине хотелось ее удержать. Обе избалованы: одна славой, другая миллионками... Однажды камеристка не явилась на звонок Метнер, раболепство вдруг исчезло. Артистка заявила об отъезде, лошадей не дали. Прошло сколько-то времени, к княжескому дворцу подали таратайку, положили багаж артистки, и она покинула Талашкино, проклиная «гостеприимство» красивой княгини.

Вернусь к Харитоненко. После елки предполагался спектакль. Жена с детьми поехали раньше, я позднее, к спектаклю. Елка была богатая, чудесные дорогие подарки. Наталье и маленькому Алексею досталось их рублей на сто. Чего-чего тут не было: и огромных размеров лошадь с санями, с бабой и мужиком отличной кустарной работы, и нарядная дорогая кукла, и многое другое. На другой день все было доставлено на Донскую.

В спектакле участвовала московская «золотая молодежь», разные доморощенные «дофины» и «инфанты». Среди них первенствовал «единственный», как томно называла мадам Харитоненко сына Ивана Павловича — Ваню Харитоненко. Народу набралось человек до трехсот. Москва титулованная и та, что «за кавалергардов» — именитое купечество со своими отпрысками. Были кое-кто из артистов, художников. Спектакль ставил артист Художественного театра талантливый, опытный Москвин. Хорошие костюмы, декорации.

Спектакль затянулся. По окончании мы с женой хотели тотчас уехать домой — не удалось. Намерение наше было открыто, пришлось остаться ужинать. Началось шествие к столу. Княгиня Щербатова взяла меня под руку, и судьба моя была решена.

* Музыкальный инструмент. — *Ред.*

Огромная столовая, в ней большой центральный стол и ряд малых, отлично сервированных, украшенных массой цветов. За нашим столом, кроме кн. Щербатовой и меня, были молодые Мекки, кн. Щербатов и балерина Гельцер. Не скажу, чтобы я чувствовал себя в этом обществе, как дома. Салонные разговоры не были мне по душе. Однако как-то все обошлось благополучно. Хозяевами был предложен тост за мое здоровье. Часам к четырем ужин кончился, мы распростились, автомобиль доставил нас домой.

Харитоненко приглашали нас в свою ложу «на Шаляпина». Тем или иным способом они оказывали нам внимание. Как-то из Италии мы получили два ящика прекрасных мессинских мандарин. Много курьезов, теперь позабытых, в годы между двумя революциями позволяла себе денежная Москва, не замечая ничего вокруг себя, веселясь напропалую.

По своему характеру, по своим навыкам я далек был от такой развесело-изошренной жизни. Знал о ней больше понаслышке. Последний заказ харитоненковский поставил меня впервые лицом к лицу с таким образом жизни, таким бытом.

И надо сказать, что мои заказчики далеко не были людьми худыми. Они были добры, внимательны к людям им нужным, тратили огромные деньги на свои Сумы, на десятки учреждений, ими созданных. Правда, они были тщеславны, и за это дорого платили (доходы их в последние годы достигали четырех миллионов чистыми).

Дочери их вышли замуж — одна за светлейшего князя Горчакова, внука канцлера, другая за гвардейца Олив. Первый был очень красивый барин, второй оказался с большим характером. В большую копеечку стало добрейшему Павлу Ивановичу его «камергерство», постоянное желание быть на виду.

Когда Н. П. Лихачев продал государю свою прекрасную коллекцию икон, Павел Иванович Харитоненко предложил оборудовать по рисункам Щусева в музее Александра III особую палату для образов, подаренных государем музею.

Небескорыстная, вызванная тщеславием щедрость Харитоненок к своим Сумам была проявлена еще отцом Павла Ивановича — Иваном Герасимовичем, вышедшим из народа. Он своим огромным умом обогатил себя и сумел найти разумное применение накопленным миллионам: приюты, больницы, богадельни, училища гражданские и военные вырастали в Сумах одно за другим. Тысячи людей около Харитоненок нашли безбедное существование.

Город Сумы в воздаяние заслуг Ивана Герасимовича Харитоненко решил поставить ему монумент. Монумент этот был, как говаривали, оплачен чуть ли не полностью от щедрот своих благодарным сыном Павлом Ивановичем. Он же воздвигнул в Сумах великолепный собор, который мы со Щусевым призваны были украсить: я — своими образами, Щусев делал для них раму-иконостас.

Чтобы закончить характеристику этих тщеславных, но добрых людей, вспомню здесь слова Анны Андреевны, достойной жены Павла Ивановича. Когда им говорили, что такой-то их обокрал тысяч на сто, то эти толстенские, маленькие супруги благодушно отвечали: «С кого же и брать, как не с нас!»

Что скажешь против такого аргумента, достойного славных земляков их — Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны!

Легко и приятно проходила жизнь этих беспечных добряков. Они постоянно куда-то стремились, боясь запоздать туда, где было так называемое избранное общество, модная выставка или премьера. Они легко сходились с людьми, еще легче расходились. Дорого и мило им было то, что носило на себе клеймо успеха или моды. Они не были исключением в обществе начала XX века, как не были исключением во все века минувшие: напудренные парики дочерей стали бы розовыми и голубыми, природа же этих людей из века в век оставалась неизменной, и они, не ведая, доживали до своего рокового часа.

Год такой трудный, хлопотливый для меня и все же счастливый, закончился.

1913 год начался прекрасной выставкой «Союза». Было на ней пол-Москвы. Под аплодисменты появился Шалаяпин. Тогда впервые увидел я незаконченную, но живую и яркую бытовую картину покойного Рябушкина «Въезд посольства в XVII веке». Она вызвала много споров. Не всем были видны ее крупные достоинства. Чутье к старине — явление вообще не частое — в те дни почти вовсе было утрачено.

Выставки передвижников делались все слабее. Репин дал большую, сложную и неудачную картину «9 января». Бодаревский, как говорили тогда шутя, был «светозарен». Даст же господь столь младенческое разумение всего в мире сущего...

Прошел слух, что одна из больших картин В. Васнецова «Баян» приобретена в Русский музей за... тридцать тысяч, что потом оказалось преувеличенным вдвое. И то сказать, «Богатырей» Третьяков купил за шестнадцать тысяч.

Вспомнились времена, когда Васнецов после долгого торга был вынужден отдать свою «Аленушку» Анатолию Ивановичу Мамонтову за... пятьсот рублей в рассрочку. Было и нечто похуже: Савва Иванович Мамонтов когда-то, на заре деятельности Васнецова, за заказанных Виктору Михайловичу «Трех царевен», самую «васнецовскую» из сказочных вещей мастера, отказался уплатить ему условные пятьсот рублей. Позднее, после Владимирского собора «Три царевны» были приобретены Иваном Николаевичем Терещенко действительно за пятнадцать тысяч рублей. Ходили слухи о «Баяне», что при возвращении его с римской выставки он был прорван, и не совсем нечаянно. В «Баяне», быть может, впервые обнаружилось, что прежнего Васнецова мы больше не увидим.

В начале января я хорошо простудился и надолго слег в постель. Сначала была просто инфлюэнца, потом появилось что-то в легких, высокая температура. Пришлось поездку в Питер отложить и отказаться от ряда работ. Помнится, по болезни не состоялось в те дни мое знакомство с философом Львом Михайловичем Лопатиным — другом Владимира Соловьева. Мой доктор-немец приезжал ко мне часто, смотрел на меня, улыбался, говорил, что я молодец, что все «очень каряшо», что у меня ничего серьезного нет, брал десятирублевку и уезжал, а я все лежал да лежал.

Немец опять приезжал, такой розовый, рыжий, всеселый, говорил то же, находил, что у меня повторная инфлюэнца, прописывал кучу лекарств и снова исчезал. Температура то поднималась, то спадала...

Долгое лежание сделало меня нетерпеливым, раздражительным. В дни моего вынужденного отдыха я часто писал к своему приятелю, хотя и знал, что от него, более чем от кого-либо из близких моих, сокрыта самая значительная область моего существования, сокрыта окончательно и навсегда. Ту область моей души или духа, которая и была источником моего творчества, «Варфоломея», «Дмитрия царевича» и других моих картин, тот уголок моей природы, моей творческой души знали очень немногие — двое, трое. Знала о ней покойная мать, догадывалась Леля Прахова, да милый Сергей Николаевич Дурылин.

Наконец, я стал поправляться. Силы восстанавливались, пробуждалась энергия, жажда деятельности. Я встал со своего «одра болезни» и принялся за эскизы образов для Сумского собора. Они, по мнению видевших их, выходили интереснее обительских. Супруги Харитоненко часто заезжали ко мне. Однажды я показал им сделанные эскизы.

Пришли, можно сказать, в неистовый восторг. Не только сам Павел Иванович, любивший расточать поцелуи, начал обнимать и целовать, но и мадам попросила разрешения облобызать меня и, недолго думая, весьма экспансивно привела свое намерение в исполнение. Я от неожиданности смутился и едва успел найти пухлую ручку, чтобы в свою очередь принять посильное участие в столь неожиданных проявлениях чувств... Тогда же была куплена у меня Харитоненками картина «Тихая жизнь», а Павел Иванович самодовольно говорил, что ни у кого из частных коллекционеров Нестеров не был так представлен, как у него.

Приближалась весна. Март был на дворе. Прилетели грачи. Надо было подумать и о том, где провести лето. Неожиданно пришли дурные вести из Уфы. Тяжело заболела сестра. Пришлось спешно ехать к ней. Оказалось, что уже несколько месяцев как появился у сестры рак желудка. Больная не сознавала еще, что жизнь ее в опасности. Я послал телеграмму за границу дочери и зятю. Уход за больной был заботливый, и пока что мое присутствие в Уфе необходимо не было. Я вернулся в Москву, где заболел скарлатиной маленький Алексей.

Вел. княгиня, узнав о моих напастях, предложила взять нашу Наталью к себе в обитель и поручила ее там одной из обительских сестер. Жилось нашей девочке в обители прекрасно, вернулась она домой довольная, долго еще вспоминала об этом времени с большим удовольствием. Отпуская Наташу домой, вел. княгиня подарила ей на память красивую безделушку от Фаберже ⁶⁷.

Между тем здоровье сестры быстро ухудшалось. В половине апреля я снова был в Уфе. После консилиума, исполняя желание больной, я перевез ее в Москву, поместил в одну из лучших тогда лечебниц Евангелического общества. Новый консилиум обнаружил наличие рака желудка — положение было признано безнадежным. К тому времени из Парижа в Москву вернулась моя дочь с мужем, и на их долю досталось отвезти больную в Уфу, о чем она сейчас мечтала. Там дочь и зять оставались до конца дней нашей больной.

Снова пошли то улучшения, то ухудшения болезни. То появлялась надежда, что родное солнышко, наш сад исцелят ее, то тяжкий недуг брал свое. Не спеша, но верно дело шло к развязке. Для всех было очевидно, что пройдет месяц-другой, и солнце днем, а звезды ночью перестанут светить усталым глазам. Узнают ее друзья башкиры и хохлы по своим деревням, что не стало той, что так самоот-

верженно отнимала их у голодной смерти. Помянут ее добрым словом — в этом и была ее земная слава.

Жена с детьми переехала на лето в Киевскую губернию, в любезное нам Княгинино. Я решил ждать в Москве или у Троицы призыва в Уфу. Закончил вчерне образа для Сумского собора. В те дни С. В. Малютин написал с меня давно задуманный портрет, позднее приобретенный в Третьяковскую галерею.

Вести из Уфы шли все хуже и хуже. Со дня на день ожидал я вызова туда. В начале июня пришла телеграмма. Силы большой быстро падали. Я спешно выехал в Уфу, где застал приближение конца. Сестра чувствовала это, томилась. Она давно сделала свои распоряжения. Тяжело ей было расставаться со своей любимой воспитанницей — моей Ольгой, в те дни заботливо за ней ухаживающей. Сестра, узнав и полюбив зятя, мужа Ольги, могла быть спокойна, что он сделает все, чтобы ее Олюшка была счастлива, и все же самое тяжелое — это было расставание с ней, с этой Олюшкой.

Часы шли, конец близился. Все, начиная с бедной больной, были измучены. За неделю до смерти под влиянием морфия и других наркотиков больная стала терять память. Часто засыпала. Страдала сильно, но еще более сильная воля не давала страданиям властвовать над собой. Дня за два, видя кругом усталые лица, сказала: «Потерпите день-два, конец теперь скоро. Я это чувствую». Она соборовалась, причащалась.

Утром в день смерти доктор сказал, что до ночи больная не доживет. Скоро началась агония. Мы, близкие, окружили постель. Сознание покинуло, жизнь покидала измученное тело. Я взял альбом и успел сделать два-три наброска. Наступил конец. Сестры Александры Васильевны не стало. Начались часы и дни приготовления к похоронам, шли панихиды. На них перебивало много уфимцев, знавших сестру, уважавших ее за большой характер, за прямолинейную честность, за все то, что делала она для других, делала так скромно, без показа и позы, не жалея своих сил. Похороны были многолюдны. Могила сестры была рядом с могилой отца. Имущество свое, движимое и недвижимое, сестра отказала моей Ольге, в которую вложила всю нежность, всю пылкость своей большой души.

Болезнь сестры и печальный ее исход произвели на меня впечатление исключительное, убедительно-реальное. С ее смертью я потерял последнего близкого человека, очевидца, свидетеля моего жизненного пути с раннего детства, с нашего родного гнезда до последних лет моей

художественной деятельности с ее успехами и неудачами. С ней сладко было вспоминать далекое детство, все то, что было и чего уже не будет. Как бы ни были добры и ласковы оставшиеся, они никогда не поймут и половины того, что было понятно нам двоим с полуслова. Старые приятели также не заменят мне никогда умной, серьезной и преданной мне сестры.

Недолго оставался я тогда в Уфе, уехал на хутор к семье, оттуда в Эссентуки и Киев...

Осенью я был в Петербурге на заседании общего собрания членов Академии. Председательствовала президент Академии вел. княгиня Мария Павловна. Я в тот раз окончательно примкнул к правой группе Академии. Слева сидели все те, что получали свои «директивы» от мирискусников. У нас справа было скучновато, слева же слишком уж бойко. Центр был ближе к президентскому креслу.

В Москве в ту осень открылся еще один театр, так называемый «Свободный». Некий помещик, любитель театрального дела, обремененный лишними миллионами, задумал потешить себя и других. Кликнул клич, и скоро около тароватого барина стало тесно. Сомов сделал чудесный занавес из разноцветных лоскутков. Были в нем и Арлекин, и Коломбина, все то, чем богат сам Сомов. Заиграли, затанцевали и запели на сцене Свободного театра актеры. Помещик кричал: «Наддай!» Поставили «Прекрасную Елену». Опять на сцене модный Сомов, стиль маркизы вместе с «Belle Héléne», с Буше, с Ватто. Столь же красиво, как и скучно. Особенно скучно тем, кто помнил времена, когда на оперетку смотрели просто так, как на нее смотрел веселый Оффенбах, как когда-то давно играли у нас в Москве «Прекрасную Елену» Запольская, Волынская, несравненный комик Родон. Тогда это не была траурная месса, какую преподнесли публике скучающий помещик, изощренный Сомов и г. г. сатириконцы.

Зимой того года был у меня приобретен для галереи портрет-этюд Л. Н. Толстого вместе с небольшой картинкой — вариантом «Христовой невесты». С портретом Толстого я расстался неохотно, так как он был написан мной с определенной целью, как этюд для большой картины «Душа народа», куда Толстой должен был войти как один из ищущих бога живого.

Тогда появился новый журнал «София». От «Софии» ждали много, однако жизнь журнала была скоротечной.

Последние месяцы я работал с большим напряжением над образами для Сумского собора. Образа Харитоненкам нравились.

На рождество открылись обычные выставки. Передвижная была унылая. «Новые владельцы» Богданова-Бельского — «Вишневый сад» без его поэзии, без того трогательного, что у Чехова смягчает жесткую тему.

С музыкой и помпой открылась выставка «Союза». Хорошо изучив своих клиентов, союзники поражали ум своей публики огромными ценами, особым подбором имен, тем, размеров картин. В сущности, эти выставки последние годы перед событиями 1917 года превратились в хорошо поставленный магазин с Кузнецкого моста. Множество коровинских «букетов» по тысяче за каждый. Дороговато, но так мило.

Так закончился 1913 год. Мы подошли к 1914-му, навеки памятного для Европы, а для нас — беспечных россиян — в особенности.

Год у меня начался поездкой в Петербург, где в то время открылась посмертная выставка Серова. Эта прекрасная выставка, устроенная Грабарем, дала возможность обеспечить семью Серова. К пенсии Серовым, данной царем, прибавилась крупная сумма. Выставка позднее повторилась в Москве, показала значение Серова как серьезного мастера-западника⁶⁸.

В те дни я получил письмо от моего приятеля, желавшего знать, как я отношусь к современным левым течениям, к коим не благоволил он. Я отвечал ему, что несмотря на приемы и методы моих приятелей, русское искусство и искусство вообще в последние годы «отдыхает», отдыхает от тяжких трудов художественной мысли, напряжения творчества и серьезной учебы — отдыхая, молодеет и крепнет и в избытке новых сил пока что разминает косточки, а подчас впадает в озорство и даже буйство... Но все это минует и искусство возродится в новых формах (пока неведомых), появятся яркие краски, по которым многие истосковались, и новые художественные теории, мысли.

Современные художники, — писал я, — «это люди средних лет, поработавшие изрядно, а некоторые и преизрядно (как К. Коровин с его удивительным живописным талантом, с его «откровениями» в области театральных постановок). Эти средних лет молодые люди, созная свои *права на отдых*, разлеглись теперь на солнышке, и греются, и нежатся тебе на зло, себе на утеху. Ты злишься без всяких прав на злобу, на строгую критику...

Я смотрю на все спокойней только потому, что опытом всей жизни *знаю, как трудно*, как много надо положить таланта, настойчивости, труда для того, чтобы быть тем, чем стали все эти господа, они дали все, что могли дать,

и едва ли что утаили от нас. Спасибо им за это, как и всем тем, кто не зарывает своих даров в землю.

Не этика и не профессиональная дисциплина, а опыт и знание нашего дела заставляют меня относиться снисходительно ко многому, что я вижу, конечно, не хуже тебя».

Вот что думалось и писалось мной тогда о искусстве и художниках-модернистах среднего возраста.

Весна прошла за работой над окончанием иконостаса для Сумского собора. Устал, ездил отдохнуть в Киев. Вернулся, был у Троицы, в скиту видел похороны знакомого монаха, с которого раньше был написан этюд для большой картины. Монах был суровый. Красивый, стройный погребальный обряд. Пахло XVI веком. Ни одной слезы, ни одного внешнего проявления печали.

Вел. княгиня Елизавета Федоровна еще раньше, зимой высказала предположение устроить при большом храме малый, а в нем усыпальницу для себя и тех сестер обители, кои первыми приняли посвящение. Я неоднократно приглашался для обсуждения такого проекта. Было постановлено летом 1914 года приступить к работам.

Пользуясь тем, что во время [работ] богослужения в большом храме не будет, я задумал осуществить свое намерение сделать в храме некоторые живописные дополнения: расписать купол, прибавить орнаменты по аркам. Мысль мою вел. княгиня одобрила, и скоро в церкви вновь появились леса, и я стал часто бывать на Ордынке.

Усыпальницу также предположено было покрыть живописью. Для этой цели я рекомендовал вел. княгине моего помощника Павла Дмитриевича Корина, к тому времени успевшего проявить себя как художника с самой лучшей стороны. В куполе был мною написан Саваоф с младенцем Иисусом и Духом Святым по образцу старых образов. Орнаменты исполнял тот же Корин. Почти все лето пошло на эти работы.

Усыпальница дала Корину возможность показать, что в нем таится. С большим декоративным чутьем он использовал щусевские архитектурные формы. Он красиво, живописно подчеркнул все, что было можно, и усыпальница превратилась в очень интересную деталь храма. Вел. княгиня осталась очень довольна и благодарила Корина.

Павел Дмитриевич в то время был уже в Училище живописи и мечтал об Италии. Этому серьезному юношу манили к себе Рим с Ватиканом, с Микеланджело, Рафаэлем и станцы...

Из Уфы мне писали о желании земства приобрести мою усадьбу. Это и окончание Аксаковского Дома заставляло меня подумать о поездке на родину. Свою поездку я приурочил к годовщине смерти сестры. В начале июня я был в Уфе, осмотрел Аксаковский Народный дом, специальное помещение в нем для будущего художественного музея, для принесенной мною в дар городу коллекции картин, а также выяснил, на каких условиях земство желает купить мою усадьбу. Впервые в Уфе остановился я не в своем доме, где жили тогда квартиранты, а в гостинице.

В Уфе по газетам узнал о смерти П. И. Харитоненко в Сумах. Перед самым своим отъездом из Москвы Харитоненко принял от меня оконченные образа, расплатился со мной, был бодр, весел, молодец, несмотря на свои «за шестьдесят». Еще незадолго перед тем он проехал шестьсот верст на автомобиле. Не стало добродушного Павла Ивановича, оставившего огромное состояние, до ста миллионов.

Из Уфы я попал в Княгинино, где в то лето жила моя семья. Погода стояла жаркая, урожай был прекрасный. Абрикосы, сливы, персики, разнообразные сорта вишен в огромном количестве были в нашем хуторском саду. Всю эту благодать возили в Смелу на базар возами. Я принимал солнечные ванны, для чего в полдень забирался в глубь сада. Ленивая истома наполняла воздух, кругом все цвело, произрастало, славил бога. Тихие, благоуханные вечера, душевные ночи, множество сверкающих звезд. Благодатный край!..

В то лето часто шумной молодой толпой приезжали Яшвили, гуляли, пили чай и кто верхом, кто в экипажах возвращались к себе в Сунки. Дни бежали... Вот и пятнадцатое июля — престольный праздник Владимира Святого в Киевском Владимирском соборе. В Сунках тоже праздник — именинник молодой Владимир Яшвил — студент Киевского университета, пылкий юноша. В тот год он проводил день своих именин в Петербурге у родных. Все были у обедни, собирались к вечеру приехать к нам на хутор.

После обедни жена узнала от Яшвилей новость: утренние газеты были необычны, чудилось что-то неладное, надвигалась беда. После убийства эрцгерцога Фердинанда в воздухе запахло гарью. Слухи сменялись одни другими. Положение было неопределенное, выжидательное. Однако было ясно, что «не все благополучно в Датском королевстве». И вот в газетах, полученных в Сунках утром 15 июля 1914 года, сообщалось, что в Европе не все ладно. Об этом шли тревожные разговоры после обедни. Вечером

на хутор понаехало много гостей, и говорилось в тот памятный вечер только о том, что узнали утром: ни о чем другом говорить и думать не хотелось. Слово «война» было у всех на устах. Хотя надежда, что грозная туча минует, нас не покидала.

Все уехали, а думы о войне остались. Что ни день, то тревожнее становилось в воздухе. Новые газеты принесли нам весть, что война между Россией и Австрией объявлена.

Событие величайшего значения совершилось. Вслед за Австрией объявила нам войну Германия, и ее войска вступили в наш Калиш, и тут впервые пролилась русская кровь. И сколько ее пролилось с тех пор...

Война застала Ольгу в пределах Германии, где ее муж работал над магистерской диссертацией. Лишь после необычайных трудностей они вернулись в Россию через Данию, Швецию, Финляндию. Дома зятя ожидал призыв в действующую армию как запасного артиллерийского офицера. Он должен был выступить со своей бригадой в ближайшее время в поход. Все было готово, как получилось уведомление, что он, как штатный доцент, мобилизации не подлежит.

Между тем события развивались. Вильгельм неистовствовал, грозил то тем, то другим. Сулился через неделю «завтракать в Париже» и многое в этом роде.

Петербург волновался, настроение было повышенное, буйное. Выбили стекла в новом здании германского посольства, кого-то там убили. С крыши посольства толпа стащила бронзовых коней со всадниками, потопила их в Мойке. Москва не отставала от Питера, громила немецкие магазины, фабрики, также не обошлось без убийств.

Вместе с тем шла, кипела огромная работа, спокойная, деловая. Был издан приказ о запрещении продажи спиртных напитков. Пьяных стало меньше, постепенно они исчезли с московских улиц. Все были серьезны, заняты исполнением своего долга.

Я искренно жалел, что не могу принять в этом большом деле прямого участия. Семье пришлось с хутора уехать раньше предположенного, так как, по слухам, там должен был пройти тыл армии. В начале августа все мы были в Москве. Столица ожидала приезда царя.

Месяц с небольшим, как началась война, а уже погиб Самсонов. Россия пережила битву при Зольдау, напомнившую по своим ужасным последствиям давно минувшую битву при Седане. Однако падать духом было рано. В те же дни генерал Рузский взял Галич, Львов. Кому-то пришла в голову мысль внушить царю переименовать Санкт-Петербург

в Петроград. Создание и деяние великого Петра, связанные с этим именем, были позабыты. Умер восьмидесятишестилетний император Франц-Иосиф. Незадолго перед тем мне снилось: старый немецкий город, не то Нюрнберг, не то Гейдельберг, город с красными черепичными крышами, с причудливыми фасадами старинных зданий на старинных узких улицах. На одной из таких улиц, на двух ее противоположных домах, на оранжево-красных черепичных крышах, на высоких трубах сидят два огромных царственных орла. Медленно они вращают своими круглыми, желтыми зрачками, сидят, озираются, охорашиваются. На головах обоих короны. У одного — старинная корона Габсбургов, на голове другого — Гогенцоллернов. Так длилось минуту. В следующий момент поднялся страшный вихрь, столб пыли, камней взвился к небу. Поднялись, высоко взлетели орлы, затем стремительно упали вниз и, падая, были такие жалкие, ошипанные, с мокрыми, редкими перьями, без корон на головах...

Я проснулся взволнованный и подумал: какой странный, вещий сон.

Никаких Мининных, никаких Пожарских не было видно. На их месте красовался Александр Иванович Гучков⁶⁹. У французов не видно было Гамбетты⁷⁰. Вместо него на «Блерио» летал авиатор Пегу, а немцы ему навстречу слали свои цеппелины, громили Нотр-Дам, Реймский собор, обесценивали культурные ценности старого мира. Тут же красивая романтическая фигура молодого короля Альберта была душой своего народа...⁷¹

Да, думалось ли мне, что на склоне дней своих придется мне услышать о новой битве народов, видеть участников этой гигантской нецужной битвы.

Тысячи этих героев привозили тогда к нам в белых вагонах императорских и просто санитарных поездов. Тихие, усталые от подвигов, больше того, от страданий, страшных потрясений, они вливались в недра обеих столиц. Развозили их по всей земле нашей. Нам удалось взять двоих. Заботы о них хоть немного заглушали то острое чувство общей нашей вины, какой была полна душа.

Шел сентябрь. Стояли чудные дни. Я поехал к Черниговской, оттуда по Волге проехал снова в Уфу. Надо было кончать с продажей моей усадьбы земству. Оставался в Уфе недели полторы. Аксаковский Народный дом был окончен. Открытие его пришлось отложить до окончания войны. К тому времени памятники отцу, матери и сестре были поставлены, и я, распрощавшись с живыми и мертвыми, уехал из Уфы, на этот раз навсегда.

Война продолжала удивлять мир своей жестокостью. Особенно тогда, казалось, люты были немцы. Поставленная ими цель выполнялась с удивительным искусством, сдинодушием и цинизмом. Их гений, их знания, средства — все было отдано войне. Забвению был предан былой идеализм, быть может, с тем расчетом, что когда война кончится, враг будет у ног, тогда она — Германия — снова начнет насаждать у себя всякие блага — возьмется за просвещение, философию, поэзию, искусство.

Вильгельм тогда многим казался символом победоносной Германии. Он был как бы зеркалом немецкого народа, отражением его стремлений и всяческих вожделений. Немцам тогда мерещилась новая Аллея Побед, а потом уже новые Гете, Вагнеры, Гумбольдты...

Немцы были под Варшавой, а у нас в тылу, по медвежьим углам толковали о взятии Перемышля, о том, что враг отражен...

Военные телеграммы оповестили, что Турция присоединилась к воюющим державам, что «Гебен» бомбардирует Новороссийск и Феодосию⁷², что теперь надо было побеждать и «турку», а при разыгрывающихся аппетитах, пожалуй, и нам захочется пообедать в Константинополе.

У меня на Донской тем временем шла своя работа: я оканчивал последний эскиз к «Христианам» и собирался приступить к самой картине. Мне казалось, что в композиции ее я добился полноты, что в ней все продумано, толпа двигалась, жила. Лишнего ничего нет. Эпиграфом к картине решил взять евангельские слова: «Кто не примет царства божия, как дитя, тот не ввидет в него».

В октябре я поехал в Киев. Он жил тогда деятельной жизнью тыла армии. Мои знакомые дамы и девицы работали по госпиталям, дежуря там с утра до ночи. Многие были на передовых позициях. Некоторые, еще недавно такие избалованные, изнеженные, праздные, сейчас с огромным самоотвержением несли тяжелые обязанности, работая иногда под огнем. Эти неженки сами стирали белье, сидели на одном хлебе, теснясь по сорока душ в одной хате.

Некая Мушка Г., у которой после нескольких месяцев счастливого замужества был убит муж, едва пережив потерю, работала теперь в Галиции, в лазарете под Ярославом, по двадцать часов в сутки. Она вместе с армией, в ее гуще, отступала от Ярослава. За ее автомобилем с ранеными взорвали мост через Сан. Теперь эта Мушка Г. выглядела отлично, была полна энергии, ее рассказы дышали жизненной правдой очевидца.

Мужчины — недавние барчата — работали под огнем. Мои друзья показывали мне ряд киевских госпиталей. В них видел я неопишуемые страдания, и будь прокляты всякие человеческие истребления!

Тогда, как и в войны предыдущие, бранили интендантство. Господа интенданты, несмотря ни на какие угрозы, до расстрелов включительно, не унимались.

В Киеве я узнал, что молодой Яшвил, ушедший добровольцем, взят в плен, а его мать работала в одном из самых больших госпиталей на шестьсот человек, бывшем при старом Кирилловском монастыре.

Возвратившись в Москву, я написал картину «Раб божий Авраамий». На фоне елового молодняка, на опушке, у озера стоит старый, согбенный раб божий. Стоит и взирает на мир божий, на небо, на землю, на лужайку с весенними цветами, радуется тому, сколь прекрасно все созданное царем небесным. Небольшая тема, небольшая картинка...

В Москве было выставочное оживление. Большинство из художников свой сбор предназначало на помощь раненым воинам. На эти выставки художники охотно несли свои картины, эскизы, этюды. Вырученные деньги вносили в разные комитеты, пункты для сбора пожертвований. А так как моих вещей на художественном рынке было мало, то все, что я выставял, скоро раскупалось, и деньги шли по назначению.

Раненые, взятые нами, скоро поправились, покинули нас, новых давать перестали, так как целые лазареты, хорошо оборудованные, открывались один за другим. Делалось это на частные средства, как единоличные, так и коллективные, квартирантами больших домов.

Как-то Щусев пригласил смотреть большую модель Казанского вокзала, тогда как самое здание уже было выведено вчерне по верхний карниз так называемой Сумбекиной башни. Николаевский вокзал перестал казаться большим.

Так очутились мы накануне нового 1915 года, не менее страшного, чем год минувший.

Начиная с нового года, наряду с выставками, цель которых была помощь нашему воинству, открывались выставки обычные: Передвижная, Союза русских художников и другие.

На «Союзе» Суриков выставил свое «Благовещение». Оно не поражало зрителя так, как Суриков мог это делать в старые годы, и все же его «Благовещение» не было обычным. Особенно сильно были задуманы фигуры и лицо богоматери, такое доверчивое, естественное, живое; именно

так мать божия могла смотреть на дивное видение, посетившее ее. Архангел Гавриил — юноша сильный и прекрасный. Лучшее же в картине — ее тон, звучный, опять напоминающий любимого Суриковым Тинторетто. Газетчикам «Благовещение» не понравилось.

Были на выставке хороши Малютин, Архипов и праздничный, нарядный Костя Коровин. Поразила меня коненковская «Русская Психея». Какое великолепное создание талантливого мастера, едва ли не лучшее за все долгие годы упадка нашей скульптуры! «Русская Психея» сработана Коненковым из любимого им материала — дерева, слегка подкрашенного. Она не была приобретена ни одним из наших музеев. Тогда говорили, что Грабарь — директор Третьяковской галереи — не взял статую только потому, что Коненков был «не их прихода». Он не был мирискусником. Причина, знакомая многим... Вспомнился незабвенный Павел Михайлович Третьяков. Как много ему, его беспристрастию обязано русское искусство!..

На Передвижной Юрий Репин дал «Бой под Тюрингом», и его не похвалили тогдашние писаки, а между тем дух захватывало от картины несчастного для нас боя. Молодой Репин делал вас как бы участником этого боя, в нем был истинный трагизм.

В конце января был в Петербурге, вернувшись, начал небольшую картину «Сестры». На Волге, в скитах, встретились две сестры. Одна — радостная, светлая, другая сумрачная, обреченная. Написал еще «Одиноких» — две девушки бредут каждая со своими думами. Написавши «Одиноких», принялся за давно задуманную «На земле мир...» Где-то на далеком Севере, на Рапирной Горе, у самого студеного моря живут божьи люди. Сидят старцы, ведут тихие речи. Лес, светлое озеро, голубая мгла далеких гор. Неспешно живут старцы. Кругом поют птицы. Здесь их не трогают. Вот лиса выбежала на опушку, смотрит на старцев, а старцы — на нее, улыбаются. Прекрасен мир божий. Как не быть «в человецех благоволения...» С удовольствием писал я своих старцев, а когда понадобилось, охотно и повторил их.

К большой картине, к «Христианам» все было готово, пора было приниматься за картину...

В начале марта был взят Перемышль. Генерал Иванов, этот «мужичок-полевичок», говорил, что под Перемышль на бойню людей посылать не стоит, и он туда их не пошлет. Перемышль, как нарыв, назреет и сам прорвется. Так и вышло.

В Москву приехала вернувшаяся из Австрии кн. Яшвиль, командированная туда по высочайшему повелению для осмотра лагерей с нашими пленными. Наталья Григорьевна была у нас, порассказала немало интересного. Ее наблюдения, характеристики были ярки. Я помню две-три: генералов Иванова, Брусилова и Леша.

Генерал Иванов встретил Н. Г. Яшвиль у себя в ставке утром запросто, в туфлях, в старом военном пальто вместо халата. Выслушав, сделав свои распоряжения, пригласил ее к чаю. В его комнатах кипел самовар, чай был жидкий, спитой. Посидели, попили чайку, поговорили о делах.

Николай Иудович не терпел возле себя светских, титулованных штабных, им неохотно доверял...

Генерал Брусилов ничем не был похож на генерала Иванова. Светский, сдержанный, сухой, англазированный, он принял кн. Яшвиль в огромном дворце польского магната. Принял, позируя, поставив одну ногу на стул, облокотясь рукой на огромную карту военных действий, как бы за решением сложной стратегической задачи. Тут и следа не было ивановской простоты и доступности...

Леш был один из генералов, командующих на Карпатах: большой, толстый, бьющий на популярность среди солдат. В метель, вьюгу он мчался на автомобиле в холодном пальто нараспашку. Встречаясь с войсками, идущими в бой, «по-скобелевски» (увы, без его таланта) приветствовал их «именем царя, именем отечества». Перекатистое «ура» несло ему вслед... Леш любил промчатся под легкой шрапнелью.

Помню, в те дни прочел книгу Льва Шестова⁷³. Кажется, что Шестов в своей книге сводил какие-то счеты с Достоевским. Обнажая все качества героев Достоевского, он приписал их самому Федору Михайловичу. Раскольников, Иван Карамазов, великий Инквизитор, Федор Павлович — все они суть сам Достоевский. Нет такого преступления, порочной мысли, которую не навязал бы Шестов автору «Бедных людей». Преступна и «Пушкинская речь»⁷⁴. По словам критика, «глупо человечество, обманутое, поклоняющееся гению Достоевского, этого мракобеса, гонителя правды, прогресса и добра, преступнейшего из смертных». Вот каков был величайший русский гений по Шестову. Далеко не так его оценивали западные критики.

Весной опять был в Петербурге, потом снова побывал у Троицы. Погода была дивная, травка лезла из земли, рвалась к солнцу, все хотело жить.

Получил дорогостоящий подарок — в парчовом переплете с золотым тиснением альбом «Федоровский государев собор». Едва ли стоило малоценный в художественном смысле памятник, каким был царскосельский собор, издавать так роскошно.

Весной в институте заболела крупозным воспалением легких дочь Наталья. Опасность была несомненная. Девочку причащали. Однако кризис миновал благополучно. Наталья быстро поправилась и на все лето уехала в Княгинино. Я же отправился на Волгу, сделал несколько этюдов в костромском Ипатьевском монастыре и тоже приехал на хутор.

Военные события продолжали тяготеть над Россией. Были взяты Варшава, Новогеоргиевск, Осовец, Брест, отобраны обратно от нас Перемышль, Львов. На западе дела казались тоже плохими. Были взяты Брюссель, Антверпен. Потоплена «Лузитания»⁷⁵. Немцы неистово кричали «хох!» своему кайзеру и одобрительно похлопывали по плечу своего «старого немецкого бога».

Но счастье в те дни еще не совсем нас покинуло. В июле, когда я был в Железноводске, стало известно о взятии нами одиннадцати тысяч пленных. Однако это оживление не было продолжительным.

Из Железноводска я проехал в Туапсе. Вид моря, купание в нем сильно укрепило меня. Туапсе, с проведением через него железной дороги на Сочи, быстро развивалось, появились сносные гостиницы, рестораны, а море пополняло остальное. Прожить в нем две-три недели было приятно.

Коренная Россия наполнилась беженцами. Петербург с его тогдашним растерянным, анемичным городским головой гр. Иваном Ивановичем Толстым оказался совершенно беспомощным. Москва же с ее Земским союзом и другими организациями успешно справлялась с размещением выкинутых из своих родных гнезд беженцев. Многие москвичи отдали свои квартиры этим пасынкам России.

Дела на войне с уходом Сухомлинова опять стали как будто поправляться. События, коими жила вся страна, выбили меня из обычного строя. Не хотелось думать об искусстве, о картинах, о «Христианах», о будущей выставке их в Лондоне. Куда-то все ушло, стало далеким, ненужным, поплыло в каком-то тумане. Война, Россия, а главное — «что будет?» Это «что будет?» стало вопросом жизни.

Все, что говорилось, делалось тогда в Думе, было слабо. Не было человека ни большой инициативы, ни большой воли. Не было человека, который авторитетно, сильно

сказал бы: «Довольно болтать, за дело!» — и указал бы это дело. Россия страдала тяжким недугом.

В конце сентября я вернулся в Москву, там нашел много давно небывалого. Москвичи ждали со дня на день забастовок, ждали, что закроют водопровод, станут трамваи, потухнет электричество. Все знакомые симптомы налицо.

Зять мой бы тогда командирован Земским союзом в Ригу для эвакуации заводов, фабрик. Над Ригой в это время летали немецкие аэропланы, цеппелины. Все спешили, работали день и ночь. Ольга проживала в Кисловодске, шумном, набитом праздными людьми.

Внезапно тяжело заболела Мария Павловна Ярошенко и в середине сентября скончалась. Не стало деятельной, умной женщины. С ней вместе ушла целая полоса жизни. Мария Павловна знала на своем веку целый пантеон самых выдающихся людей своего времени. Она была со многими в наилучших отношениях. Многие из них гащивали у нее в Кисловодске. Достоевский, Лев Толстой, Тургенев, Салтыков, Вл. Соловьев, Короленко, Гаршин, Менделеев, Кавелин, Крамской, Ге, Шишкин, Репин, все передвижники — соратники Н. А. Ярошенко бывали у них, дружили, пользовались их гостеприимством. Ярошенки были люди большой душевной красоты.

Скончалась Мария Павловна, окруженная большой заботливостью тех, кто ее любил и кого она любила. Была около нее и моя Ольга, с детства, с года ее тяжелой болезни сделавшаяся ее любимицей.

Я был назначен Марией Павловной одним из ее душеприказчиков. По завещанию покойной, ее усадьба в Кисловодске назначалась к продаже с тем, чтобы на вырученные деньги душеприказчиками было выстроено, оборудовано, а потом передано городу Кисловодску Горное училище. Собрание картин, оставшихся у Ярошенко, было завещано родине Николая Александровича — Полтаве.

Из всего завещанного мы успели осуществить лишь один пункт: передали собрание картин в Полтавский, имени Гоголя, музей...

Марию Павловну Ярошенко похоронили в одном склепе с Николаем Александровичем, в ограде кисловодской церкви, недалеко от их усадьбы, от того дома, где Ярошенки долго жили, где Николай Александрович любил работать, где летом и осенью не переводились гости.

Около этого же времени в Петербурге умер Константин Маковский, блестящий «Костя» Маковский, так много шумевший в дни царствования императора Александра II. Этот государь, равнодушный к искусству, покупал его карти-

ны. В Эрмитаже того времени были его «Масленица», «Перенесение священного ковра в Каире» и «Русалки». Последняя картина, наделавшая много шума, дала повод Александру II впервые посетить Передвижную выставку.

Современники Маковского помнят его «рауты», где можно было встретить тогда весь знатный, артистический и блестящий Петербург. Там бывал и император, встречаемый красавицей женой Кости Маковского, лучшей моделью его картин.

К. Маковский, увлеченный светскими своими успехами, быть может, не дал всего, что мог дать. Через его руки, как и через руки В. В. Верещагина, прошли огромные деньги, они в их руках не задерживались. Смерть обоих была сходна тем, что была насильственной, Маковского на улице зашибли лошади, Верещагин погиб на «Петропавловске» в самом начале русско-японской войны. На обоих этих художниках ярко отразились некоторые черты их времени.

В начале октября я, наконец, начал «Христиан» красками. Работал с большим одушевлением. Картина была обдумана во всех подробностях. Материалы в ней были почти все налицо. Начал писать с пейзажа, с Волги. Как люблю я наш пейзаж! На нем как-то ясно чувствуется наша российская жизнь, человек с его душой.

План картины был таков: верующая Русь от юродивых и простецов, патриархов, царей — до Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева, до наших дней, до войны с ослепленным удушливыми газами солдатом, с милосердной сестрой — словом, со всем тем, чем жили наша земля и наш народ до 1917 года, — движется огромной лавиной вперед, в поисках бога живого. Порыв веры, подвигов, равно заблуждений проходит перед лицом времен. Впереди этой людской лавины тихо, без колебаний и сомнений, ступает мальчик. Он один из всех видит бога и раньше других придет к нему.

Такова была тема моей картины, задуманной в пятом или шестом году и лишь в 1914-м начатой мной на большом, семиаршинном холсте.

Я так описывал тогдашний свой рабочий день приятелю: «В хорошее, ясное утро с восьми часов стою у картины. К 12¹/₂, совершенно осатанелый, плетусь обедать и пока не набью брюха, все сидят, затаив дыхание. Обед длится десять — двенадцать минут (на «щи» — три мин., на жаркое — пять, да на сладкое — две минуты). Кофе подают в мастерскую и пьется он на ходу, с палитрой в одной руке, с чашкой в другой»

Время от времени, чтобы дать себе (вернее, своим от себя) отдых, я уезжаю к Троице, в Абрамцево или в Петербург. К лету я предполагал окончить картину вчерне.

В то время я был полон своими «Христианами», никуда не показывался, на приглашения отвечал молчаливым. Наряду с этим в те дни приходилось исполнять рисунки с благотворительной целью. Был исполнен рисунок для марок, на стенной календарь, изданный на средства вел. княгини. Календарь был выпущен в ста тысячах экземпляров по семьдесят пять копеек за каждый. С моим же рисунком было выпущено сто тысяч открыток для однодневного сбора пожертвований.

За пожертвование своей художественной коллекции я был избран почетным попечителем уфимского музея, названного моим именем.

Война тем временем делала свое страшное дело. Жизнь выбрасывала на поверхность и хорошее, и плохое: Кречинские, Расплюевы сменили Обломовых, Левиных, Безуховых. Российские идеалисты всех мастей — славянофилы, западники, трезвенники и прочие сменялись, как в калейдоскопе. Всплывали поступки, действия то прескрасные, величавые, то безумные, преступные.

Когда-то, лет пятьдесят тому назад, в Сибири гремели миллионщики — братья Сибиряковы. Были они откупщики. У одного из них, Михайлы, были дети — сын Иннокентий да дочка Анна. Сын в молодые годы «чудил», свободно обращался с родительскими капиталами. Стал постарше, «уходился», начал задумываться. Кончил тем, что презрел все земное, ушел на Старый Афон. Сделал там вклад, построил келью у самого моря. Стал молиться, поститься, да в одночасье взял — и повесился.

Сестра его тем временем жила в Питере, посещала курсы, полна была добрых не только намерений, но и дел. Вокруг нее делались дела и добрые, и недобрые. Время шло. Некрасивая, нарядно одетая Анна Михайловна пуще всего боялась женихов: чуяло ее сердце, что не зря они около нее увидаются.

Тогда, в пору ее благополучия, одна дама взяла у нее на какой-то малый срок десять тысяч рублей. Документов Анна Михайловна не признавала, верила хорошим людям на слово. Барыня деньги взяла, да о них и позабыла. Шли годы. Барыня умерла. Анна Михайловна жила где-то в Париже, успела сама обеднеть, стала нуждаться. Душеприказчики умершей барыни, разбирая ее бумаги, письма, нашли в них указания на то, что долг Анне Михайловне уплачен не

был и к тому времени возрос чуть ли не вдвое. Разыскали Анну Михайловну душеприказчики где-то в меблированных комнатах, обедневшую, постаревшую, но все такую же добрую. Сообщили ей о том, что она должна получить свой долг, возросший до большой цифры.

Ответ был таков: документов у нее нет. Если долг установить удастся точно, то она просит всю сумму, ей причитающуюся, передать от нее в дар Высшим женским курсам на стипендию имени ее умершего брата. Так поступила нищая миллионерша, оставаясь до конца дней в своих убогих меблирашках.

Таков был образ деятельного русского идеализма. За него, думается, немало грехов отпущится предкам-откупщикам.

Итак, приближался 1916 год. Он начался, как и предыдущие, под грохот орудий. Проходили один за другим санитарные поезда с фронта. Неустанно работали госпитали. Открывались все новые и новые частные лазареты. Война у всех была на уме. Надежды сменялись упадком духа.

В начале месяца мы с женой получили приглашение вел. княгини послушать у нее «сказителей». Приглашались мы с детьми. В назначенный час мы с нашим мальчиком были на Ордынке. Там собрался небольшой кружок приглашенных, знакомых и не знакомых мне. Вел. княгиня с обычной приветливостью принимала своих гостей... Все поместились вокруг большого стола, на одном конце которого села вел. княгиня. В противоположном конце комнаты сидели сказители. Их было двое: один молодой, лет двадцати, кудрявый блондин с каким-то фарфоровым, как у куколки, лицом. Другой — сумрачный, широколицый брюнет лет под сорок. Оба были в поддевках, в рубахах-косоворотках, в высоких сапогах. Сидели они рядом.

Начал молодой: нежным, слащавым голосом он декламировал свои стихотворения. Содержания их я не помню, помню лишь, что все: и голос, и манеры, и сами стихотворения показались мне искусственными.

После перерыва стал говорить старший. Его манера была обычной манерой, стилем сказителей. Так сказывали Рябинин, Кривополенова и другие, попадавшие к нам с севера. Голос глуховатый, дикция выразительная. Сказывал он и про «Вильгельма лютого, поганого». Называлось сказанье «Беседный наигрыш». За ним шел «Поминный причет» и, наконец, «Небесный вратарь». Последние два были посвящены воинам. Из них мне особенно понравился «Поминный причет».

Сказители эти были получившие позднее шумную известность поэты-крестьяне — Есенин и Клюев. Все, что сказывал Клюев, соответствовало времени, тогдашним настроениям, говорилось им умело, с большой выразительностью.

После всего гости оставались некоторое время, обмениваясь впечатлениями. Был подан чай. Поблагодарив хозяйку, все разошлись.

Вскоре на очереди встали дела Третьяковской галереи.

Еще летом 1913 года Грабарь задумал перевеску картин, и я, не зная завещания Павла Михайловича, в котором ясно было выражено желание не изменять после его смерти ничего, сочувственно отнесся к этой затее Грабаря, тем более, что многие из художников при перевеске выиграла. Эта проба, как мне тогда казалось, была удачной. Однако дальнейшее разрушение изменило мое оптимистическое отношение к плану Грабаря, и я скоро встал в ряды тех, кто справедливо протестовал против нарушения последней воли основателя знаменитой галереи. Грабарь и его помощник Черногубов, пользуясь своими связями с влиятельными гласными главенствующей тогда партии, поддерживаемые городским головой Челноковым, творили в галерее то, что им хотелось. Совет галереи к тому времени был ими сведен к нулю. Единственный независимый, пытавшийся иногда противостоять этим двум лицам, был кн. Щербатов, но он не был сильным человеком, и ему трудно было бороться с дерзким на язык, умным и совершенно аморальным Черногубовым.

Противниками галерейного произвола из стариков были Виктор Васнецов, Репин, Владимир Маковский. На мою долю выпало объединить противников Грабаря. На нашу сторону стала огромная часть передвижников, Союз русских художников, Общество петербургских художников, члены Академической выставки и ряд других менее значительных обществ.

Грабарь и К^о — также не теряли времени. Они сплотились около «Мира искусства». С ними были опытные в таких делах мастера — Александр Бенуа, Рерих. Из стариков к ним пристали вечно молодящийся Поленов и краса наша Василий Иванович Суриков, тогда уже смотрящий на многое глазами своего зятя П. П. Кончаловского.

Образовалось два лагеря: один сильный численностью и слабый опытом, методами борьбы, другой был искушен в таких методах. С первым было «Новое время», со вторым «Речь». Популярное «Русское слово» не знало, на какую ногу ступить. «Русские Ведомости» примкнули тоже к мир-искусникам

Наряду с газетной полемикой был ряд заседаний Московской Городской думы, на которых обсуждался обострившийся вопрос о Третьяковской галерее. С самого начала к нам присоединился бывший городской голова Н. И. Гучков и очень внимательный гласный Геннер. На стороне Грабаря были все думские газеты с их головой Челноковым. Мы стояли на стороне моральной сущности заведения П. М. Третьякова, наши противники на формальной его стороне.

Наша статья «Вниманию московских гласных» и «Письмо группы художников, лично знавших П. М. Третьякова», к которому присоединился целый ряд обществ, произвели сильное впечатление. О делах галереи заговорили не только в столицах, но и в провинции. Громкое дело следовало скорее потушить, замять. Этим и занялась тогда «челноковская» дума, дума «гейш».

Нам казалось, что удастся отстоять правое дело, отделить третьяковское собрание от нетретьяковского, оградить личность основателя, его эпоху, его дело от дел Грабарей, Черногубовых и К°. Дума тех дней, спасая Грабаря, спасала как-то и себя. В конце концов, после ряда думских схваток, нам все же стало очевидно, что мы, сильные авторитетом моральным, должны будем уступить «духу времени» — авторитету формальному. Грабарь остался директором галереи, Черногубов должен был уйти. После такой «победы» третьяковские традиции неудержимо покатались под уклон...

В начале февраля скончался давно болевший В. И. Суриков. Хоронили его торжественно. На кладбище Виктор Михайлович Васнецов сказал простое, душевное слово. Могила Василия Ивановича была около могилы его жены Елизаветы Августовны. Когда-то часто бывал он здесь в неутешной своей печали. Среди нас не стало удивительного художника-провидца, истолкователя старины, судеб нашей родины.

В ту весну много говорили о действиях так называемой Покупочной комиссии. Она оказалась левой. Были куплены вещи предпочтительно мирискусников. Особенно много говорили о картине Кустодиева «Катанье на масленице»...

[...] *

Весной в Ялте скончался Адриан Викторович Прахов, завещав похоронить себя на ялтинском кладбище около своего брата-поэта, взяв обещание посадить на его могиле «дикую яблоньку». В этой дикой яблоньке сказался эллин

* Далее следуют выдержки из писем художника к А. Турыгину.

наших дней. Он любил прекрасное, любил природу, обоготворял ее. И лежит он теперь на берегах древней Тавриды, в головах его растет-цветет дикая яблонька, а дальше без конца-края море, такое голубое, голубое.

Узнав о смерти Прахова, я написал о нем краткое воспоминание, напечатанное тогда в «Новом времени». Прочитав его, Виктор Михайлович Васнецов благодарил меня за посвященные ему в воспоминаниях строки. «Неудавшийся грешник», как любил себя называть Виктор Михайлович, все еще не мог решить, враг я ему или не враг. Не хотел он понять, что если бы я пожелал быть его врагом, то стал бы им давным-давно, еще в пору своего «братания» с Дягилевым.

В мае того года я совершенно неожиданно получил от моих домохозяев письмо (старик Простяков к тому времени умер). Мне предлагали очистить занимаемую квартиру к 15 августа по той причине, что квартира нужна для больного сына. Мне казалось, что просьба очистить квартиру не больше как желание получить за нее прибавку, и я нимало не был этим обеспокоен, решив, что прибавлю, и делу конец.

Не так вышло на самом деле. Младший отпрыск Простяковского рода женился. Жена оказалась капризная. Молодоженам их квартира показалась тесна, некуда было поставить дорогую приданую мебель. Они, воспользовавшись тем, что мое квартирное условие кончалось, предложили мне квартиру освободить.

В то время в Москве квартир не было. Свободные были заняты под лазареты, склады и прочее. Мои друзья, узнав о такой оказии, принялись помогать мне в поисках. Предлагали и то, и се, но ни то, ни се мне не годилось. Нужно мне было помещение с большой комнатой, не менее девяти-десяти аршин для семиаршинной картины.

Узнала о моих затруднениях и вел. княгиня. Просила передать, что в случае необходимости можно будет устроить мне мастерскую в одной из запасных зал Кремлевского или Николаевского дворца. Уведомили меня и из Исторического музея, что там тоже могут мне предоставить одну из неоконченных зал.

Но мне не хотелось кончать картину вне дома. Куда было удобнее иметь мастерскую тут же, у себя под рукой. В любой час дня и ночи картина могла быть передо мной. Бывало, вне работы я заходил в мастерскую, садился перед холстом на диване и, не спеша, обдумывал ее подробности. Приходил в мастерскую и в бессонные ночи, и ранним-ранним утром.

Каких мер, способов и уговоров не было пущено в ход, но неподатливый отпрыск не сдавался. Время шло, а квартирный вопрос все был ни с места. Семья моя, тем временем, жила в Абрамцеве, куда наезжал и я, писал там недостающие этюды для «Христиан».

В то лето в Абрамцеве в одном из помещений для дачников (бывшем театре) был лазарет для слепых солдат. Я писал с них этюды для первопланной фигуры. Один из слепых был особенно трогателен. Звали его Миша. Добродушный паренек лет двадцати был ослеплен газами в тот момент, как их эшелон, прямо из вагона, вступил в бой. Тогда шли ожесточенные бои за обладание Варшавой. Работая этюды, я разговаривал с Мишей — он был охотник поговорить. Спрашиваю его, страшно ли было идти в бой. Он простодушно выкрикнул: «А стра-а-шно!» В то время Миша, не сознавая всего ужаса своего положения, не был еще ожесточен на судьбу, на людей, пославших его на страшную бойню.

Позднее, уже осенью, я нашел для своего слепого превосходную модель. То был тоже солдатик из рабочих. Нашел я его в Арнольдском убежище для слепых, что было на Донской. Это был красивый, с правильными чертами лица, высоко настроенный юноша. Написанный с него этюд и вошел в картину.

Война с переменным счастьем продолжалась. Была одержана большая победа, взято двести тысяч пленных. Каких жертв эта победа стоила нам — один господь знает.

Как-то позвонил мне кн. Щербатов. Он слышал о моих злоключениях с квартирой и предложил мне освободившуюся в его новом красивом премированном доме по Новинскому бульвару. В тот же день я был там, осмотрел квартиру. Она не была так обширна и удобна, как моя старая. Мастерская была меньше, хотя картина в ней поместиться могла. А так как иного выхода не было, то я тут же предложение князя принял. Стал поджидать возвращения семьи из деревни, изредка наезжая туда сам.

Стояли холода, шли дожди, но несмотря на это, я закончил все недостающие этюды, и в начале августа мы переселились в Москву, стали разорять прежнее гнездо, где так хорошо работалось и жилось в протекшие годы. Привели в порядок новую квартиру, назначили время для переезда, что не было в те времена сложно. Перевозка организована была отлично, и мы, попрощавшись с нашей Донской, тронулись в путь...

Дом. кн. Щербатова был построен незадолго — года за три-четыре — до нашего туда переезда. Богатый, избало-

ванный, с капризным, изысканным вкусом князь объявил конкурс на проект дома. За красивейший проект назначалась премия, а получивший ее делался и строителем дома.

Премию взял молодой, талантливый архитектор-художник Таманов. Он сумел умно использовать красивое, выходящее на два фронта, место. Главный фасад был обращен к Новинскому бульвару, задний к берегам Москвы реки, с перспективой на далекие Воробьевы горы. Стиль дома — модный тогда ампир. Все, что можно было использовать в смысле материала, было Тамановым сделано. Тут был и дворик со львами, и античные статуи, и трельяж с вьющимся диким виноградом, и княжеский герб над аркой во внутренний дворик. Ничего не было забыто, чтобы потешить избалованного барина.

Верхний этаж дома предназначался для самого владельца. Там сосредоточено было все, что можно было придумать, чтобы создать достойный фон для красивой княгини. Введены были дорогие материалы. Стеклопанельная терраса обрамляла весь верх дома, давая изумительную картину на Москву, на Нескучный, Воробьевы горы, на села и деревни, примыкающие к Первопрестольной со всех сторон. Была при квартире князя отличная мастерская с верхним светом и боковым на север.

Князь был дилетант-художник, где-то, у кого-то учился за границей. Жил он на большую ренту, на доходы со всего премированного дома, — жил и не тужил. Венцом его благополучия была княгиня, красивая оригинальной красотой, не то бывшая фельдшерница, не то сестра милосердия, счастливо выходявшая князя во время его болезни, влюбившая в себя этого по внешности Пьера Безухова, такого огромного, породистого, быть может, не слишком мудрого.

Для нас на Новинском началась новая эра. По устройстве квартиры, я, усталый, уехал в Кисловодск. Там стояла дивная погода. Много знакомых. В Кисловодске тогда была и моя Ольга. Жили мы в опустелом доме покойной Ярошенко.

Я быстро стал поправляться, помолодел. Кисловодск той осенью кишмя кишел отдыхающими — по воле и по неволе — бывшими сановниками и всякого рода знаменитостями. Вельможи и недавние вершители судеб тогдашней России, бывшие не у дел, праздно слонялись по парку, перекидываясь при встречах пророчествами, предзнаменованиями. Тут был дятлоподобный, в каком-то клетчатом, зеленоватом пальмерстоне бывший министр иностранных дел Сазонов, бывший военный министр Поливанов, про-

мелькнувший метеором на своем посту Хвостов, бывший нижегородский губернатор Фредерикс, тверской — Бюштинг. Был тем и наш «Минин-Пожарский» — Александр Иванович Гучков.

Все эти господа в ожидании, когда снова пробьет их час «спасать Россию», сейчас «поднаразнивались», пили невинные № 4 или № 20 Эссенуки, пили и Баталинскую. Скучали в своем вынужденном безделье, делали скуки ради свой моцион, бегали по дорожкам: одни по дорожкам первой категории, другие по категории второй, а те, что помоложе и побойчей, взлетали на третью категорию, к Красным, Серым камням, к Храму воздуха.

Из Трапезунда проездом в Москву заехал к нам зять мой Виктор Николаевич Шретер, командированный для какой-то ревизии Земским союзом. Виктор Николаевич порассказал немало интересного про Кавказский фронт, недавние победы наши там, про генерала Юденича и других. События огромной важности чередовались одно за другим. В тот момент Румыния находилась под жестким ударом немцев, и война могла перекинуться к нам в Бессарабию, к морю, к самой Одессе.

В Кисловодске погода стояла дивная, жаркая. Курсовые дамы в конце октября ходили еще в белых летних костюмах. Я много гулял, всматривался в лица еще недавних и будущих «властителей дум» — наших правителей, спасителей и героев.

Я тщетно пытался найти разгадку, тайну популярности Александра Ивановича Гучкова. Его особа, лицо, фигура не давали ничего моему глазу художника. Среднего роста, плотный, улыбающийся особой, «москвезской», немного «гостинодворской», улыбкой, человек себе на уме, с мягким подбородком, с умными глазами, с такой московской, с купеческим развальцем походкой, в желтеньких новеньких ботинках. Чем он мог импонировать? И все же каждое его появление в парке, в партере театра делало сенсацию. Штатские и военные генералы спешили к нему с приветствиями. Где была запрятана такая его сила над людьми? Неужели в безнадежной их слабости, спрашивал я себя, была эта сила, в их изжитости и интеллигентской никчемности?

Из Кисловодска я проехал в Туапсе, брал там морские ванны; думал проехать дальше, в Сочи, в Мацесту, куда велась тогда железная дорога через все Черноморское побережье до Батума.

Огромное имение Витте было изрезано на мелкие участки и продавалось по очень низкой расценке. Я и

знакомые москвичи (проф. Плетнев, Щусев) намерены были обзавестись такими участками на Мацесте, в восьми верстах от Сочи, где росли пальмы, апельсины, камелии и всяческая тропическая благодать, где в море купались до ноября месяца.

Однако, побывав в Туапсе, покупавшись там, ни в Сочи, ни в Мацесту я тогда не попал, так как должен был вернуться в Москву. Я хорошо тогда отдохнул, укрепил свои нервы и бодро принялся за окончание картины в новой своей мастерской. Работал в Оружейной палате, написал знамя кн. Пожарского, скипетр, державу и шапку Мономаха. Позировал для меня в этом историческом головном уборе хранитель Оружейной палаты Трутовский — сын художника Трутовского, когда-то предпрешившего мою судьбу.

В те дни частенько у меня собирались друзья-приятели, художники и нехудожники. Время было тяжелое, всем хотелось поделиться своими думами, тревогами, надеждами. Как-то собрались «на гуся» человек двадцать. Был редкий гость — Малявин, образец истинного варвара в стадии своего благополучия. Смесь хитрого мужика, откровенного невежды с паивным хвастуном, он был махровым букетом российского самородка. Обсуждались дела всеинные, дела думские, речь князя Евгения Николаевича Трубецкого⁷⁶ — все было чревато последствиями. Слухи сменялись одни другими. То мы узнавали о самоубийстве ген. Брусилова в связи с занятием немцами Бухареста, то проносились вести о мнимой победе. Не верилось, что живешь и свидетельствуешь столь дивным по своей огромности событиям, что на наших глазах исчезают царства, из катаклизма возникают новые, а ты себе, как ни в чем не бывало, пьешь, ешь, озабочен своим весом, желудком и прочим. Какая фантастика — жизнь!

На одном из собраний Академии художеств президент ее вел. кн. Мария Павловна попросила меня взять на себя представительство Академии в комиссии по реставрации храма Христа Спасителя в Москве. Отказаться было невозможно: я и так в продолжение ряда лет ничем себя не проявил как действительный член Академии, часто отсутствуя на ее заседаниях. В этом случае я не был похож на моего предшественника Архипа Ивановича Куинджи, самого активного, ревностного ее деятеля.

По возвращении с Кавказа, мне пришлось впервые заседать в комиссии храма Христа Спасителя. Двадцать один год существовала эта курьезная комиссия. Обычно почетным председателем ее был московский генерал-губернатор. В числе ее был и вел. князь Сергей Александрович, членами

ее редко были особы ниже действительного статского — важные старики, инженеры, архитекторы. Среди них появился бесчиновный, немолодой новичок.

Такие попадались изредка и раньше — живописцы, назначенные от Академии. Одним из последних был Виктор Михайлович Васнецов. Художники недолго засиживались там. Вглядевшись в дремотное собрание, кое о чем догадавшись, они скоро под каким-либо предлогом подавали в отставку, и сонное царство продолжало без помехи существовать.

Появился в этой комиссии и я, был встречен в ней с отменной любезностью опытными, выдавшими виды дельцами. Председатель комиссии, очень приятный старичок, бывший Полтавский губернатор Князев, был рад моему назначению, так как, быть может, ему одному хотелось сдвинуть дело с мертвой точки. Заседание началось и прошло в ознакомлении меня в общих чертах с тем, что было сделано (вернее, чего сделано не было) за истекшие двадцать один год. В двадцати томах было изложено это хроническое бездействие, в продолжение коего храм Христа Спасителя, его роспись гибли.

К моему приходу гибель дошла до своего предела. Лучшие картины Семирадского, Сурикова, Сорокина лупились. Краска на них висела ключьями. Копоть покрывала все стены храма густым слоем. Надо было действовать, однако всем действиям умело ставились противодействия лицами, в этом заинтересованными: архитектором храма — Поздеевым и инженером, заведующим отоплением. Оба они, как я слышал, были весьма чутки к какому бы то ни было движению дела, умело парализуя его.

После первого нашего заседания я был приглашен Поздеевым «запросто, по-московски пообедать». Этот дельфинообразный толстяк надеялся сделать меня, новичка, своим. От обеда я отказался, просил доставить мне отчеты комиссии для ознакомления на дом. Понравиться такое начало не могло.

Познакомившись с делом, я решил подробно доложить обо всем, что узнаю, президенту Академии и просить освободить меня от участия в Комиссии. Ни того, ни другого сделать мне не пришлось. Быстрее, чем мы думали, наступили события, которые всему положили конец. Комиссия распалась сама собой, а храм Христа Спасителя, его живопись умирает естественной смертью.

В одном из писем того времени мой приятель под каким-то впечатлением написал мне свой взгляд на Васнецова и Нестерова и просил меня ответить, согласен ли я с ним. Вот что я ответил ему:

«Твоя позиция насчет Викт. Васнецова правильна. Это художник и большой! Если бы он написал только «Аленушку», «Каменный век» и алтарь Владимир[ского] собора, — то и этого было бы достаточно для того, чтобы занять почетную страницу в истории рус[ского] искусства. Десятки русских выдающихся художников берут свое начало из национального источника — таланта Викт. Васнецова. Не чувствовать этого — значит быть или нечутким вообще к русскому самобытному искусству, или хуже того — быть недобросовестным по отношению своего народа, его лучших свойств, коих выразителем и есть Васнецов, может быть грешный лишь в том, что мало учился и слишком расточительно обращался со своим огромным дарованием.

Относительно Нестерова тебе (как и мне) мешает мыслить и особенно говорить вслух близость его к нам с тобой... Однако Нестеров все же может быть назван тоже художником. Менее одаренный, чем В. Васнецов, он, быть может, пошел глубже в источник народной души, прилежно наблюдал жизнь и дольше, старательней учился; не надеясь на свой талант, как Васнецов, он бережней относился к своему и все время держался около природы, опираясь во всем на виденное, пережитое. Надо полагать, большая картина <«Душа народа»> положит окончательное разделение Нестерова и Васнецова — и это не будет к умалению ни того, ни другого».

В картине осталось закончить две-три фигуры. В январе я надеялся показать ее москвичам. В то время можно было заметить, как поднялись цены на мои картины. «Мечтатели», оцененные на выставке 1907 года в тысячу двести рублей, в 1916 году были перекуплены у кого-то Кистяковским за шесть тысяч рублей. Последний, имея большие деньги, тогда увлекался моими и сомовскими вещами, мечтая построить особняк по проспекту Шусева, в коем должны были быть комнаты Нестерова и Сомова.

На рождестве я показал оконченную вчерне большую картину близким. Было признано единодушно, что я не старею, а как живописец вырос. Мнение было таково, что «Душа народа» значительно выше «Святой Руси».

В конце декабря в Петербурге произошло событие, как бы сигнал к событиям дальнейшим, не заставившим себя ждать. Был убит Распутин. Об этом сатанисте так много говорилось, личность его была столь отвратительна, зло, причиненное им России, так огромно, что прибавлять еще что-то нет охоты.

Новый 1917 год я с семьей встретил в церкви Большого Вознесения на Никитской. Эта прекрасная церковь была построена на месте старой, XVII века, от которой осталась только колокольня. Большое Вознесение создавалось по мысли и на средства светлейшего князя Потемкина. В ней блистательный князь Тавриды предполагал венчаться с «матушкой Екатериной». Позднее не раз Большое Вознесение видело в своих стенах события и людей, так или иначе вошедших в историю России. А. С. Пушкин венчался здесь с Н. Н. Гончаровой.

В половине января доктор Гетье послал меня отдохнуть к Черниговской. Картина сильно пораздергала мои нервы.

Вернувшись в Москву, я стал показывать «Христиан». С меньшей охотой показывал их своей братии-художникам. Видевшие хвалили, говорили, что «Христиане» («Душа народа») лучшее, что я сделал за последние пятнадцать лет. Коненков нашел, что по теме, многолюдству композиции картину следовало увеличить вдвое, что семинарский холст для нее мал.

Скоро слух об окончании картины разнесся по Москве, и что ни день, то количество желающих видеть ее росло. Мастерскую мою в то время посещали и художники, и ученые, и разного звания и положения люди.

Посетила меня и группа религиозно-философского кружка: С. Н. Булгаков, отец Павел Флоренский, В. А. Кожевников, М. А. Новоселов, кн. Е. Н. Трубецкой, С. Н. Дурыйлин и другие. Пресобывало немало и духовных лиц.

Все картину хвалили, пророчили ей успех. Каждый влагал в нее свое понимание, давал ей свое наименование, искал подходящий текст для эпитафии.

Я же знал, что дело не в названии, что сама картина должна будет ответить на сотни текстов, на множество предъявленных ей запросов, и если мне удалось вложить в своих «Христиан» действительную силу, силу мысли, чувства, художественного их воплощения, словом, если моя картина есть «истинное произведение искусства», то она сделает свое дело и будет жить и без названия. Если же нет, то никакие тексты, евангельские, библейские, из святых отцов церкви, самые возвышенные и глубокие, не спасут ее.

Как-то я был приглашен в Археологический институт слушать старика Колосова, появившегося перед тем в Москве со своими гуслями. Интересный инструмент в умелых руках Колосова делал чудеса. Спутница его талантливо сопровождала инструмент оригинальной песней далекой северной старины. Во время антракта присутствующие собрались поделиться своими впечатлениями, пред-

ложен был чай, и я, совершенно неожиданно, сделался предметом единодушных и шумных оваций. Мне аплодировали, жали руки, со мной знакомились.

На концерте было много старообрядцев, и они-то с особенно горячим чувством приветствовали меня. Расспрашивали, как я писал свой «Великий постриг», много ли изучал быт старообрядцев, ездил ли на Кержнец и т. д. Из какого-то непонятого озорства я разочаровал их: ответил, что все мое «изучение» ограничилось Нижегородским Балчугом (базар вроде Сухаревки).

По окончании концерта Колосов, с которым меня познакомили, выразил желание продемонстрировать свое искусство у меня в мастерской. Я, в свою очередь, обещал ему показать своих «Христиан». Вскоре такой вечер состоялся у меня.

Колосов предупредил меня, что если я приглашу на его сеанс знакомых и друзей, он ничего не будет против этого иметь. Я так и сделал. Собралось народу столько, что моя квартира могла с трудом вместить всех пожелавших послушать талантливого старика и его спутницу. Были тут и художники, и кое-кто из московской знати, и просто друзья-приятели. Музыкальный вечер прошел с большим одушевлением. Как музыканты, так и слушатели остались очень довольны. Играли и пели сверх намеченной программы с возрастающим воодушевлением. Нравились и гусли, и те, кто так мастерски ими владел. Далекая старина воскресла перед очарованными слушателями. В антрактах пили чай, снова музицировали и поздно разошлись, благодаря и дивных музыкантов, и нас — хозяев.

На прощание я подарил Колосову свой этюд. Распрощались дружески. Скоро Колосов уехал на юг...

Число желающих видеть картину все увеличивалось. Для удобства пришлось организовать нечто вроде очереди. Приходили группами теперь уже и незнакомые, и лишь во главе таких групп был кто-нибудь из людей мне известных. Бывали и с рекомендательными письмами. Перебывали и тогдашние московские власти с губернатором гр. Татищевым.

Наслышанная о картине вел. кн. Елизавета Федоровна тоже выразила желание посетить меня. В то же время мне передали, что она снова высказала мысль, что по окончании войны мне следует повезти «Христиан» в Англию, в Лондон, где будто бы меня знают и примут хорошо.

Шла речь о том, чтобы в Лондоне моя выставка была устроена в одном из дворцов, причем одновременно, как бы на фоне ее, должен был выступить наш Синодальный

хор в полном составе, под управлением даровитого регента Данилина, выступить в концерте из наших религиозных песнопений, идущих из далекой старины и до наших дней.

А война тем временем продолжалась, кровь лилась. Настроение внутри страны делалось все тревожней и мрачней. В воздухе становилось душно. Гроза, буря, революция надвигалась.

В это время усталая, больная жена моя уехала на юг, к морю, в Туапсе. Я с детьми остался на Новинском.

Время несло с ужасающей быстротой. Промелькнул февраль. Наступили навсегда памятные дни марта 1917 года.

Императорский поезд по дороге из ставки в Царское село был остановлен на станции Дно. Из Петербурга в Псков, куда был передан поезд, прибыла депутация с требованием отречения царя от всероссийского престола. 2 марта Николай II подписал отречение за себя и за своего наследника... Революция началась. Россия вступила в новую, яркую полосу своей тысячелетней истории...⁷⁷



ДАВНИЕ ДНИ

В. Г. ПЕРОВ

Когда-то, очень давно, имя Перова гремело так, как позднее гремели имена Верещагина, Репина, Сурикова, Васнецова.

О Перове говорили, славили его и величали, любили и ненавидели его, ломали зубы «критики», и было то, что бывает, когда родился, живет и действует среди людей самобытный, большой талант.

В Московской школе живописи, где когда-то учился Перов, а потом, в последние годы жизни, был профессором в натурном классе, все жило Перовым, дышало им, носило отпечаток его мысли, слов, деяний. За редким исключением все мы были преданными, восторженными его учениками.

В моей памяти образ Перова ярко сохранился с того момента, как однажды, в первые месяцы моего там пребывания, мы, ученики головного класса, спешно кончали голову «Ариадны» к «третьему» экзамену. Я сидел внизу, в плафоне амфитеатра, у самой головы. Почуввав какое-то движение среди учеников, я обернулся вправо и увидел на верхних скамьях, у дверей, старика Десятова (нашего профессора), а рядом с ним стоял некто среднего роста, с орлиным профилем, с властной повадкой. Он что-то говорил, кругом напряженно слушали. Я невольно спросил соседа: «Кто это?» — «Перов» — был ответ. Я впился глазами в лицо, такое прекрасное, связанное с громким именем.

Мне шел шестнадцатый год, я был восторженный малый, я впервые видел знаменитого художника... Человек с орлиным профилем ушел, и для меня как бы все потухло... К рождеству я перешел в фигурный класс — класс был проходным в натуральный — и мог теперь чаще видеть Перова. Он проходил в свое дежурство мимо нас, задумчивый, сосредоточенный, с заложенными за спину руками. Мы

проводили его жадными глазами. В 12 часов Перов появлялся вновь, окруженный учениками.

В «третние» месяцы, когда более достойных переводили в следующий класс, а в натурном давали медали, когда старание работающих удваивалось, Перов приходил рано, уходил поздно вместе с учениками, всячески поддерживая общий подъем духа, а в минуты усталости он двумя-тремя словами, сказанными горячо, умел оживить работающих: «Господа, отдохните, спойте что-нибудь». И весь класс дружно запевал «Вниз по матушке по Волге», усталости как ни бывало, и работа вновь кипела. Так проходили страдные дни школы: Перов по нескольку раз проходил через наш класс, проходил озабоченный, сутуловатый, в сером пиджаке или в коричневой фуфайке, в коей он изображен на прекрасном неоконченном портрете Крамского. За ним вереницей шли ученики: высокий, стройный, с пышными, вьющимися волосами, умный, даровитый Сергей Коровин, много тогда обещавший ученик Сорокина — Янов, Василий Сергеевич Смирнов, талантливый, рано умерший автор «Смерти Нерона». Ленивой, барской походкой шел лучше всех одетый Шатилов, за ним мрачный Ачуев, прозванный «Ванька Каин», Клавдий Лебедев, потом благодушный, с лицом сытого татарина, толстяк, уездный предводитель дворянства Иван Васильевич Коптев, Светославский, Андрей Павлович Мельников, сын Мельникова-Печерского, роскошная красавица Хрусталева. Шли Долинский и Бучнев, попросту «Букаш», оба смиренные, многосемейные труженики-иконописцы. Шел седой старик Протопопов. Немало тут было людей солидных, много лет бесплодно посещавших школу. Замыкал это мерное шествие «Вениамин» натурального класса, любимый Перовым, талантливый, тихий-тихий Андрей Петрович Рябушкин.

Вся эта стая «гнезда Перова» скрывалась, погружаясь в свои рисунки, в свое дело... И дело это умели любить, считали нужным, необходимым. Нередко ученики натурального класса хаживали к Перову на квартиру, бывшую тут же, в школе. Хаживали целым классом и в одиночку. В день именин Василия Григорьевича по давно заведенному порядку весь класс шел его поздравлять. Учеников встречал именинник со своей супругой, приглашал в мастерскую, где во всю стену стоял «Пустосвят», а по другую «Пугачевцы». Потом шли в столовую, где ждало обильное угощение. Василий Григорьевич предлагал своим ученикам: «Водочки не хотите ли-с?» Пили водочку, закусывали, говорили о своих училищных делах и, простившись, возвращались в класс.

Я, когда перешел в натурный класс, любил бывать у Перова один, и такие посещения памяти были надолго. Мне в Перове нравилась не столько показная сторона, его желчное остроумие, сколько его «думы». Он был истинным поэтом скорби. Я любил, когда Василий Григорьевич, облокотившись на широкий подоконник мастерской, задумчиво смотрел на улицу с ее суетой у почтамта, зорким глазом подмечая все яркое, характерное, освещая виденное то насмешливым, то зловещим светом, и мы, тогда еще слепые, прозревали...

Перов, начав с увлечения Федотовым и Гоголем, скоро вырос в большую, самобытную личность. Переживая лучшие свои создания *сердцем*, он не мог не волновать сердца других.

Жил и работал Перов в такое время, когда «тема», переданная ярко, выразительно, как тогда говорили «экспрессивно», была самодовлеющей. Краски же, композиция картины, рисунок сами по себе значения не имели, они были желательным придатком к удачно выбранной теме. И Перов, почти без красок, своим талантом, горячим сердцем достигал неотразимого впечатления, давал то, что позднее давал великолепный живописец Суриков в своих исторических драмах... Легко себе представить, что бы было, если бы перовские «Похороны в деревне», «Приезд институтки к слепому отцу», «Тройка» были написаны с живописным мастерством Репина, которому так часто недоставало ни острого ума Перова, ни едкого сарказма, ни его глубокой, безысходной скорби. Перов, как и «добрый волшебник» Швинд, мало думал о красках. Их обоих поглощала «душа темы». Все «бытовое» в его картинах было необходимой ему внешней, возможно, реальной оболочкой «внутренней» драмы, кроющейся в педрах, в глубинах изображаемого им «быта». А его портреты? Этот «купец Камышин», вмещающий в себе почти весь круг героев Островского, а сам Островский, Достоевский, Погодин¹, — разве это не целая эпоха? Выраженные такими старомодными красками, простоватым рисунком портреты Перова будут жить долго и из моды не выйдут так же, как портреты Луки Кранаха и античные скульптурные портреты.

Вернусь к тому времени, когда меня перевели в натурный класс. Когда подошло дежурство Перова, я сильно волновался: хотелось отличиться, а как назло выходило плохо. Пропали краски, не было рисунка, Перов подходил не ко всем, а, как и Прянишников, — по выбору. Наметит когонибудь — подойдет, подсядет. Я долго оставался незамеченным, это увеличивало мое беспокойство, плохо влияло

на работу, и вот, когда, казалось, всякая надежда пропала, когда думалось, что я и хуже всех и бесталанней, когда я стал уже мириться со своей горькой долей, тогда совершенно неожиданно, минуя всех, Перов подошел ко мне с обычными словами: «Ну, что-с?» Взял палитру, сел и начал поправлять мой этюд, время от времени делая замечания. Я поведал ему свои тревоги и огорчения. Этюд был прописан заново, ожил. Перов встал, отдал палитру и, отходя от моего мольберта, громко, на весь класс, сказал: «Плохой тот солдат, который не думает-с быть генералом!» — и быстро пошел дальше... Его слова не только не обидели меня, они оживили, придали бодрости, моего малодушия как не бывало. Работа стала ладиться.

Так Перов умел двумя-тремя словами повлиять, заставить поверить в свои силы, воодушевить своих учеников. Он любил свой класс, и мы платили ему тем же, всрили в него. Видали мы его удовлетворенным, веселым, видали усталым, желчным; тогда довольно было малейшей оплошности, чтобы целый поток сарказма, едких слов обрушился на голову виноватого или ни в чем не повинного.

Бывало, подойдет Перов к своему любимцу — маленькому, беленькому, 17-летнему молчаливому Рябушкину, посмотрит на этюд, смеряет косенькую фигурку Рябушкина своим ястребиным глазом и ехидно «задерет» его... Спросит как бы невзначай: «А вы еще не женаты-с, Андрей Петрович?» Тот едва слышно бормочет: «Нет». — «Пора-с» — и быстро отойдет... Или такое: этюдный класс кончается... За несколько минут до двенадцати отворяется дверь, входит в класс смущенный, с коротким туловищем, в какой-то клетчатой кофте, бородатый Андрей Павлович Мельников. Он нагружен огромной, с мудреным механизмом шкатулкой, какими-то бумагами, длинными кистями и еще чем-то. Мельников видит на другом конце класса Перова, пробирается между мольбертами на свое место. Перов посмотрит на маневры вошедшего и громко, на весь класс, спросит свою жертву: «Что это вы, Андрей Павлович, сегодня так рано-с?» В это время бьет двенадцать. Иван-натурщик соскакивает с пьедестала, класс окончился. Андрей Павлович вновь собирает свою мудреную шкатулку, Перов уходит...

Или: вечерний класс подходит к концу. Вот-вот большие стенные часы пробьют семь. Отворяется дверь, и в нее пролезает с огромной папкой Иван Васильевич Коптсв, добродушный толстяк с маленькими глазками, с блестящими, как вороненая сталь, волосами, с растерянной улыбкой на круглом, монгольском лице. Он, пыхтя и отдуваясь, пробирается между рисующими на свое место, раскладывает

принадлежности, чинит уголь, немного успокаивается, как вдруг с другого конца слышится голос Перова: «Покушали-с, Иван Васильевич?..» Молчание... Иван Васильевич «покушал»: он по обыкновению засиделся в Эрмитаже², пообедал с подвернувшимися друзьями и, поздно вспомнив о вечеровом, о Перове, наскоро простился, велел своему кучеру скорей ехать к почтамту, в училище...

Перов знал эти привычки Ивана Васильевича. Иногда кому-нибудь из великовозрастных «Рафаэлей» придет в голову поныть, пожаловаться Перову на то, что не выходит рисунок, что опять его обойдут медалью. Посмотрит на такого «Рафаэля» Перов и скажет: «А вы пойдите на Кузнецкий, к Дациаро. Там продается карандаш — стоит три рубля, он сам-с на медаль рисует»...

Перовский месяц кончался, наступало дежурство Евграфа Семеновича Сорокина. Настроение класса менялось: все ждали, когда-то наверху хлопнет дверь, потом заскрипит другая, отворится третья и явится красивый, благодушный толстяк в бархатном пиджаке, в белом галстуке. Толстяк легкой походкой пройдет к нам, поздоровается, поставит натурщика, и начнется скучноватый, но спокойный месяц Сорокина... Евграф Семенович был прекрасный человек, был «знаменитый рисовальщик», но с большой ленцой. Класс посещал без охоты, к делу относился формально. Не было при нем ни оживления, ни песни, ни той нервной приподнятости, что бывало в перовский месяц.

В год моего поступления в школу живописи Перовым была организована в залах училища первая ученическая выставка картин. До нас, только что поступивших, доходил слух о том, кто и что пишет, что поставит на выставку. Имена Янова, двух Коровиных, Левитана, Смирнова, Светославского назывались чаще других. Мы прислушивались, что делалось в натурном, в пейзажной мастерской Саврасова. Наступило рождество, выставка открылась — и какая интересная! Смотрим на нее, воображение работает, рождаются мечты самому попасть туда, написать «такое», встать вровень со всеми этими счастливцами. Через год и я был участником второй ученической выставки.

Это было в 1878 году, мне было шестнадцать лет. Я написал две небольшие картинки, одна была этюд: девочка строит домики из карт, вторая — «В снежки». Двое ребятшек бьются в снежки, бой идет азартный. Фоном послужил известный в свое время магазин Орлика на углу Садовой и Орликовского переулка, где сейчас стоит восьмизэтажный дом.

Мимо магазина Орлика по субботам нас, учеников

(так называемых «живущих») реального училища Воскресенского, водили в «Орликовские бани». Тогда вся огромная усадьба от Садовой до Каланчовской принадлежала этому Орлику. Бани «стелились» низкими, небольшими корпусами; внутри, в их коридорах, была заливчатая роспись «аль-фреско» — эпизоды из недавней русско-турецкой войны. Вот и мое первое произведение «В снежки» было «батальное» и ни в коей мере не предвещало во мне автора «Видения отроку Варфоломею»... Картинка была замечена: в обозрении ученической выставки в «Новом времени» было о ней сказано несколько похвальных слов, что особенно порадовало моих родителей в Уфе³. Во время этой выставки я познакомился с Исааком Левитаном, с коим дружно прожил до конца дней его. Через год, на третью ученическую выставку я поставил картину более сложную, из трех фигур. Называлась она «С отъездом». Из «подворья» провожали уезжающего купца, его обступили услужливый швейцар, «номерной», в ожидании «на чаек». Затея немудреная, написана картина была вся с натуры, с претензией на «экспрессию», столь тогда ценимую.

Картина меня и радовала, и болел я за свое детище, ожидая, какова-то будет его судьба.

Накануне открытия выставки, когда все картины были установлены, мы пригласили для осмотра Перова, инициатора и строгого нашего судью. У каждого было на мысли, что-то скажет Василий Григорьевич.

Появился и он... Мы тотчас окружили его, и просмотр начался. Моя картина стояла в натурном классе, слева у окна. Долго мне пришлось ждать, пока Перов дошел до нее. Мое юное сердце билось-билось, я переживал новое, еще неведомое чувство: страх, смешанный с сладостной надеждой.

Перов остановился против картины, все сгрудились вокруг него, я спрятался за товарищей. Внимательно осмотрев картину своим «ястребиным» взглядом, он спросил: «Чья?» — Ему ответили: «Нестерова». — Я замер. — Перов быстро обернулся назад: найдя меня взором, громко и неожиданно бросил: «Каков-с!» — пошел дальше. Что я перечувствовал, пережил в эту минуту! Надо было иметь семнадцать лет, мою впечатлительность, чтобы в этом «каков-с» увидеть свою судьбу, нечто провиденциальное...

Я почувствовал себя счастливейшим из людей, забыв все, оставив и Перова и выставку, бросился вон из училища и долго пробродил одиноким по стогнам и весям московским, переживая свое счастье. Однородное по силе чувство пережили я в жизни еще два-три раза, едва ли больше.

Через девять лет оно посетило меня вторично, в тот день, когда П. М. Третьяков приобрел у меня для галереи моего «Пустынника», и этот день был днем великой радости: тогда впервые мои близкие признали во мне художника, и это была самая большая награда для меня, больше медалей, званий, коими награждали позднее.

В. Г. Перов и П. М. Третьяков меня утвердили в моем призвании. Они были и остались для многих примером, как надо понимать, любить и служить искусству.

Перову не было и пятидесяти, а казался он стариком. Он все чаще и чаще стал прихварывать. Появилась ранняя седина, усталость... В те дни я и кое-кто из моих приятелей стали подумывать об Академии. Собирались туда без особой надобности, без плана, «за компанию»... Я пошел к Перову, все рассказал ему, но сочувствия, одобрения не получил. По его словам, ехать в Петербург было мне рано, да и незачем. Недовольный, ушел я тогда от Василия Григорьевича — он не убедил меня: тяга в Академию все росла...

В конце зимы Перов серьезно заболел воспалением легких. У него обнаружилась чахотка. Стали ходить слухи, что долго он не протянет. Как случилось, что Василий Григорьевич Перов в 49 лет стал седым, разбитым стариком и теперь умирает в злой чахотке? Да как — очень просто: ненормальное детство, арзамасская школа Ступина, где он, незаконный сын барона Криденера, учился и получил за хороший почерк прозвище «Перов», дальше невоздержанная юность, бурная, как в те времена часто бывало, молодость, напряженная нервная работа, непомерная трата энергии, безграничный расход душевных сил. Дальше — с боя взятая известность, наконец, слава, а за ней тревога ее потерять — появление Верещагина, Репина, Сурикова, Васнецова, — и довольно было случайной простуды, чтобы подточенный организм сломился...

И вот Перов умирал, не дописав «Пугачевцев», не докончив «Пустосвята», коими, быть может, собирался дать последний бой победоносным молодым новаторам...

Весна, май месяц. Мы, двое учеников, собрались в подмосковные Кузьминки навестить Перова. Хотелось убедиться, так ли плохо дело, как говорят, как пишут о Перове газеты. В Кузьминках встретила нас опечаленная Елизавета Егоровна. Мы прошли на антресоли дачки, где жил и сейчас тяжело болел Василий Григорьевич. Вошли в небольшую низкую комнату. Направо от входа, у самой стены, на широкой деревянной кровати, на белых подушках полулежал Перов, вернее, остов его. Осунувшееся, восковое лицо с горящим взглядом, с заострившимся гор-

батым носом, с прозрачными, худыми, поверх одеяла, руками. Он был красив той трагической, страшной красотой, что бывает у мертвецов. Василий Григорьевич приветствовал нас едва заметной бессильной улыбкой, пытался ободрить нашу растерянность. Спросил о работе, еще о чем-то...

Свидание было короткое. Умиравший пожелал нам успехов, счастья, попрощался, пожав ослабевшей рукой наши молодые крепкие руки. Больше живым Перова я не видел. Ездили к нему и другие ученики, и однажды был такой случай: в Кузьминки поехал навестить Василия Григорьевича один из его любимых учеников О. П. В-в, добродушный, способный, но весьма примитивный малый, лохматый, с огромными рыжими усами. Его привели к больному. Поздоровался с гостем: «Ну что, Осип Петрович, плохо дело-с!» Смотрит на него испытующим взглядом, а Осип Петрович, не будь плох, и утешил больного: «Вот, говорит, в газетах пишут, что и Тургенев умирает»... — «Да». — Горько усмехнулся Василий Григорьевич. 29 мая (10 июня) 1882 года Перова не стало.

Весть эта быстро облетела Москву, достигла Петербурга. Смерть Перова была большим событием в художественном мире тогдашней России. Школа живописи, мы, ее ученики, готовились к встрече, к похоронам Перова... У заставы, куда должен был прибыть гроб, мы большой толпой дожидались его. В ненастный дождливый день, промокшие, пешком проводили его до Мясницких ворот в церковь Флора и Лавра. На другой день было назначено отпевание и похороны в Даниловом монастыре.

Смерть Перова было первое мое большое горе, поразившее меня со страшной, неожиданной силой.

Наступил день похорон. С утра начали приносить в церковь венки. Их было множество. Ожидались депутаты от Академии художеств, от Общества поощрения художеств, от Товарищества передвижных выставок, основателем которых был Перов, от музеев и пр.

Мы, молодежь, в этот памятный день были на особом положении: мы хоронили не только знаменитого художника Перова, мы хоронили горячо любимого учителя. Церковь за обедней была совершенно полна — собралась вся тогдашняя художественная и артистическая Москва. Было в полном составе Общество любителей художеств и весь Совет нашего училища. В нем находился и почетный член Общества — скромный, высокий Павел Михайлович Третьяков.

Провожатых было множество. Народ стоял вдоль панелей. Впереди процессии растянулись ученики с венками

Венок нашего натурального класса несли самые младшие из учеников Перова — Рябушкин и я.

Видя такие многолюдные похороны, подходили обыватели спрашивать: «кого хоронят?» — и, узнав, что хоронят не генерала, а всего-навсего художника, отходили разочарованные. Медленно двигалась процессия к Данилову монастырю, куда за много лет по той же Серпуховке, мимо Павловской больницы, провожали Гоголя (а позднее Перов нарисовал рисунок: «Похороны Гоголя его героями»).

Вот показались башни и стены древнего монастыря, о котором летопись говорит так: «Некогда сей монастырь построен был Даниилом князем московским на берегу Москва-реки. Позднее он был razорен татарами и возобновлен великим князем Иоанном Васильевичем Третьим».

Данилов монастырь издавна служил местом упокоения многим русским людям, писателям и художникам. В его стенах сном вечным почивали Гоголь, Хомяков, Языков, Николай Рубинштейн, наконец, Перов⁴.

У ворот монастыря печальную процессию встретили настоятель с братией и с песнопениями проводили гроб до могилы.

Наступили последние минуты. Из толпы отделился Архип Иванович Куинджи. На могильный холм поднялась его крепкая, небольшая, с красивой львиной головой фигура. Куинджи говорил недолго, говорил от лица старых товарищей-передвижников. Его речь не была ораторской, но сказал ее Куинджи — автор «Украинской ночи» и «Забывтой деревни» — и его благоговейно слушали. Куинджи кончил. Толпа подалась, расступилась — явился прямо с поезда запоздалый Григорович. Бледный, взволнованный, он на ходу бросил плащ, — плащ концом упал в могилу... Высокий красивый старик Григорович говорил свободно, мастерски, говорил он напутствие старому другу в далекий путь... Но голос изменил, на глазах выступили слезы, волнение передалось окружающим, послышались рыдания...

Вот и последнее расставание. Как тяжело оно нам! Гроб опускают, земля глухо стучит где-то внизу. Все кончено. Скоро вырос намогильный холм... Все медленно расходятся, мы, ученики покойного, уходим последними...

Перова больше нет среди нас. Осталось его искусство, а в нем его большое сердце.

Вечная память учителю!

П. П. ЧИСТЯКОВ

В начале 80-х годов из Московского Училища живописи я перешел в Петербургскую Академию художеств. В те годы старая Академия доживала, так сказать, свои последние дни.

Ректором тогда был Ф. И. Иордан, а среди профессоров был П. П. Чистяков. О нем шла слава, как об единственном профессоре, у которого можно было учиться.

Помню, в первый месяц в натурном классе, куда я поступил, дежурным по этюдам был В. П. Верещагин, на вечеровом — Шамшин.

Оба они после наших москвичей — Перова, Евграфа Сорокина, Прянишникова, Саврасова — показались мне неживыми. Они лишь формально исполняли свои обязанности.

Но скоро мы узнали, что на второй месяц в этюдном будет Чистяков. Ученик и горячий почитатель Перова, я заранее ревновал его к Чистякову. Настал второй месяц, в классе появился Павел Петрович.

Все заметно ободрились, ожили. Я напряженно прислушивался, и все то, что до меня доходило, что вызывало восторги, горячо обсуждалось молодежью, мною принималось, если не враждебно, то с большими сомнениями, с критикой.

Дарование, ум, темперамент, манера обращения, манера говорить, давать советы Чистякова так не были похожи на Перова.

Там и тут была острота, неожиданность, своеобразие, но стиль у обоих был разный, и этот-то чистяковский стиль мне не давался, ускользал от меня, и самая острота его меня раздражала.

Подошел Павел Петрович и ко мне. Этуд мой был безнадежно плох. Павел Петрович сделал мне замечание общего характера и больше во весь месяц ко мне не подходил.

Как-то на вечеровом мне указали на сидящего впереди меня Врубеля. Он рисовал «в плафоне» детали натурщика — руку, ухо, еще что-то. Рисунок был подробно сработан, умно штудирован, убедителен, но прием идти не от общего к частностям (сорокинский прием), а от частных — неизвестно куда, мне не нравился*. Восторги, расточаемые Врубелю, который был одним из любимых учеников Чистякова, меня не трогали. Тогда же указали мне еще нескольких учеников-чистяковцев. Рисунки их отличались теми же приемами. Оценить их в то время я не мог. В этюдном классе в те дни наперерыв копировали этюд В. Е. Савинского, одного из ближайших учеников Чистякова. Этюдом восторгались; он и мне нравился, хотя я и не мог разобраться — чем. Учебный год проходил, мои дела были плохи: я совсем отбился от Академии. Чистяков, которого прославляли на все лады, был мне чужд.

Я стал бывать в Эрмитаже, стал его ежедневным посетителем, начал копировать «Неверие Фомы» Вандика, и эта копия (ее тогда многие заметили, хвалили) как-то примирила меня с Петербургом.

В Эрмитаже однажды подошел ко мне и познакомился Крамской, пригласил бывать у него, и я под его руководством, далеко не возмещавшим собой Перова, задумал две-три жанровые картины, так напоминавшие любимых москвичей — Перова, Маковского, Прянишникова, хотя темы их и брал из петербургской жизни.

Эскизы этих картин я показывал Крамскому, он их похваливал; таким образом, время шло да шло.

Так я прожил в Петербурге года три, ничему не научившись. За это время умер от чахотки Перов, и скоро я вернулся на старое пепелище — в Московское Училище.

Там дело пошло лучше, я кончил курс, написал большую неудачную историческую картину¹, поставил ее на конкурс в Общество поощрения художеств, получил за нее премию, а от умирающего Крамского — нагоняй, и снова очутился бы перед глухой стеной, но за это время в жизни моей произошло событие большого значения, и мое художественное внимание было направлено далеко в сторону, результатом чего было появление картин: «Христова невеста», «Пустынный» и «Видение отроку Варфоломею». В это время я стал

* См. примечание в «Воспоминаниях» на с. 67. — *Ред.*

бывать в мамонтовском Абрамцево и там увидел удивительный портрет чистяковца Серова «Верушки Мамонтовой»². Тогда я не был уже так простодушен, и портрет Мамонтовой поразил меня, восхитил, перед ним было над чем задуматься, и я сильно задумался. Результатом всех этих обстоятельств было то, что после своего «Варфоломея», давшего много сладких и горьких минут, я решил, что я неуч, что я должен переучиваться заново и идти за этим не к кому другому, как к П. П. Чистякову.

Мысль эта сверлила мое сознание, была неотступна, и я поделился этим с моими новыми друзьями и наставниками — передвижниками, поведал им о своем намерении.

Помню, Н. А. Ярошенко высмеял меня, назвал мои мечты «блажью», сказал, что учиться можно и на картинах, говорил, что их от меня ждут товарищи-передвижники. Однако я твердо решил с осени, бросив думать о картинах, о передвижных успехах, идти к Павлу Петровичу «открыть ему душу» (мы, москвичи, привыкли при покойном Перове «открывать душу» и проч.). К такому намерению побуждало меня и то, что, по слухам, к моему «Варфоломею» Павел Петрович отнесся благосклонно.

Но тут подвернулся А. В. Прахов. Он с В. М. Васнецовым еще после «Пустынника» наметили привлечь меня к росписи киевского Владимирского собора, а после «Варфоломея» решенные это было принято ими окончательно.

Прахов предложил мне работать в соборе. Не сразу дал я свое согласие, не сразу расстался с мыслью переучиваться у Чистякова.

И только, побывав в Киеве, посмотрев, что там натворил Васнецов, я не устоял и приглашение Прахова принял³.

В эти годы произошло мое сближение с П. П. Чистяковым.

Всякий раз, как я приезжал то из Киева, то из Абастумана или из Москвы, я бывал у Павла Петровича, бывал и на дому и в мозаичной мастерской. Отношение ко мне Павла Петровича было неизменно благожелательным. Особенно, помню, он озабочен был тем, чтобы образа, заказанные мне офицерами кавалергардского полка для мозаики храма Воскресения («Воскресение Христово» и «Александр Невский») ⁴, благополучно прошли через комиссию, в которой были Павел Петрович, гр. И. И. Толстой и не любивший меня М. П. Боткин.

Павел Петрович не раз заходил ко мне в мастерскую, давал ценные советы, которые я с благодарностью принимал, а позднее он с особенным вниманием следил за исполнением моих образов в мозаичной мастерской, радуясь

вместе со мной тому, с каким искусством и любовью мозаики выполнялись старейшими и талантливыми мастерами Кудриным и Сильсеновичем.

Тогда я уже любил Павла Петровича и мог оценить его систему, его значение как учителя и как большого художника.

Я любил его оригинальный ум и самобытную образную речь и такую русскую, русскую душу его.

Теперь, стариком, я с радостью вспоминаю свои встречи с Павлом Петровичем и сожалею о том, что Владимирский собор отвлек меня от моего намерения пройти лучшую школу, чем та, которую я получил в юности, что дало бы, вероятно, иные результаты и избавило бы меня от многих ошибок и горьких дум.

И. Н. КРАМСКОЙ

В начале 80-х годов, переехав из Москвы в Петербург, я поступил в Академию художеств. Занятия мои в ней пошли плохо, и я вскоре охладел к ней — стал ежедневно посещать Эрмитаж, стал копировать «Неверие Фомы» Вандика.

Работа шла успешно. Посетители часто останавливались около меня, выражая свою похвалу. Как-то подошел все- сильный министр внутренних дел Тимашев, мой земляк-уфимец, сам чуть ли не скульптор, — он тоже нашел копию удачной, похвалил — словом, в Эрмитаже я нашел себе большее удовлетворение.

По понедельникам в определенный час приезжал туда Крамской давать уроки вел. кн. Екатерине Михайловне и до начала урока, а иногда после него он проходил анфиладой зал к дочери американского посла, копировавшей что-то, и делал ей свои замечания. В первый раз, я помню, мимо меня прошел непохожий на обычного посетителя ничем — ни своим лицом, ни повадкой, ни костюмом. В фигуре, лице было что-то властное, значительное, знающее себе цену. Костюм был — фрак. Министр, да и только... И вот, оказывается, этот важный господин, этот министр был И. Н. Крамской, находившийся тогда в зените своей славы.

Я стал следить за ним с юношеским волнением. И, помню, как-то в один из понедельников, когда копия была почти закончена, вдали показалась фигура Крамского, раздались его какие-то особенные шаги, шаги «значительного человека», и совершенно неожиданно он, поровнявшись со мной, повернул, подошел ко мне вплотную; окинув копию внимательно, спросил, как моя фамилия, где учусь, давно

ли в Петербурге. Я ответил, что зовут меня так-то, учусь в Академии, из Москвы, ученик Перова, что с Академией не в ладах. Говоря о Перове, видимо, чем-либо выдал свои равнодушные чувства к нему, что понравилось Крамскому.

Кончилось дело совсем неожиданно: Крамской пригласил меня бывать у него, просил не откладывать свой приход и дал адрес.

Через несколько дней, принарядившись изрядно, — однако, полагаю, имея вид порядочного «бурсака», — я пустился на Малую Невку, где тогда, в доме Елисеева, жили Крамской, Куинджи, Литовченко, Клодт, Волков и еще кто-то из передвижников. Поднявшись на третий этаж, с замиранием сердца я позвонил; прошла минута, дверь отворилась, и передо мной стояла дама, красивая, средних лет, в каком-то необычном костюме, не то в греческой, не то в римской тунике. Я спросил Ивана Николаевича, назвал свое имя, меня пригласили войти. Вид мой едва ли был боевой; все меня поражало своим великолепием, я мысленно говорил: «Так вот как живут настоящие художники».

Красивая дама была жена Крамского. Она скоро увидела, что со мной каши не сварить, позвала лакея и приказала провести меня к Ивану Николаевичу в мастерскую, которая была в верхнем этаже по той же лестнице. Большая комната с верхним светом была освещена сильными лампами. Крамской в блузе стоял перед мольбертом, работал портрет какого-то старого господина; оказалось, портрет писался с фотографии, и господин был какой-то скончавшийся общественный деятель.

Крамской поздоровался любезно, попросил садиться и, продолжая писать, расспрашивал подробно то, что ему хотелось знать. Я отвечал и в то же время присматривался, как живут и работают большие художники. В мастерской не было ничего лишнего: ни пуфов, ни букетов Макарта, всего того хлама, какими были полны студии многих живописцев. Римская арматура на стенах, кое-что из материй да несколько начатых работ на мольбертах.

За разговором отворилась дверь, и в мастерскую вошли двое молодых людей: один повыше, другой невысокий в пенсне. Крамской оглянулся, протянул: «а-а» — и, обращаясь ко мне, сказал, указывая на вошедших: «Два мои сына — Коля и Толя... Н-но — не бог весть, что за ореолы!» После этого скоро все мы отправились вниз, где нас ждали к вечернему чаю. Тут были и свои и чужие. За большим столом всего было вдоволь, из семейных, кроме жены

Ивана Николаевича, Софьи Николаевны, помню дочь, тогда молодую девушку, Софью Ивановну, двух упомянутых сыновей и еще третьего — маленького кадета Сережу, красивую племянницу Ивана Николаевича, а из посторонних — чудака Литовченко и тогда имевшего успех акварелиста Александровского, рисовавшего по заказам гвардейских полков формы этих полков и наиболее замечательных служивых гвардии тех дней.

Александровский был весьма самодовольный и гордый своей специальностью господин, украшенный множеством орденов маленького размера на цепочке. Я в первый вечер приглядывался, больше помалкивал, стараясь разобраться во всем виденном, отделяя настоящее от «так себе», и пришел к заключению, что настоящее — это сам Крамской, остальное же все лишь фон, инсценировка для этого настоящего и нужного, в чем позднее окончательно убедился, тем более ценя самого Крамского с его огромным умом, характером, авторитетом, превышающим талант, все же большой. С упомянутого вечера я стал время от времени бывать у Крамского, стал привыкать к обстановке его жизни; установились более простые отношения с ним.

Иногда я приносил ему свои работы, преимущественно эскизы. Большинство из них были жанры. Темы их были часто публицистические: в них сквозил перовский «сатирический» характер. То рисовал я, под впечатлением виденного, «Задавили», где бичевал какого-то сенаторского кучера, задавившего своими рысаками маленького чиновника; тут же был и сам сенатор, был и расторопный городской, и негодующий студент в плеле, и народ — все тут было, как полагалось по правилам того времени. То рисовал я купца-домовладельца, измывающегося со своим единомышленником-дворником над семейством бедных уличных музыкантов: больной матерью с двумя голодными детьми, называя свое, бичующее нравы создание «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет». А то, насмотревшись у себя дома на жизнь своих квартирных хозяев — быт мелкого чиновничьего люда, изображал этот быт. Тут была и злая старуха теща, и ведьма-жена, и неудачник ее муж Петя, которого после получки и пропития жалования сажали, отобрав у него сапоги и платые, на несколько дней под арест вязать чулки.

Все это я приносил на просмотр и критику Ивану Николаевичу. Он не разрушал моего перовского настроения, был очень со мною бережен, полагая, что придет час, когда я сам почувствую запоздалость моей сатиры.

Я помню: раз, когда я принес ему эскиз «Домашнего

ареста», он его одобрил и посоветовал не ограничиваться эскизами, а теперь же остановиться на одном из них и попробовать писать картину, причем, имея при мастерской свободную маленькую комнату, предложил переехать к нему и работать под его руководством. Я обещал подумать, а, подумав, решил с благодарностью отклонить столь лестное по тем временам для меня предложение. Видимо, инстинкт подсказывал мне, всегда свободолюбивому, и тут оберечь мою самостоятельность, и я принялся очень ретиво за материал к «Домашнему аресту». Картину тогда же написал. Она была на конкурсе в Обществе поощрения художеств. Но премии не получила, да и не стоила этого.

Так шло время между работой дома, Эрмитажем, Крамским и нечастыми посещениями Академии, где, за исключением П. П. Чистякова, которого система в то время мне была не по душе, не на чем мне было душу отвести.

Как-то, придя из Академии, я узнал, что заболел Крамской. Я тогда же отправился к ним и узнал, что болезнь серьезная, аневризм, и что больного спешно отправляют в Ментону. Попрощался я с Иваном Николаевичем, таким усталым, постаревшим, и зажил своей обычной жизнью выбитого из колеи академиста, изредка помышляя бросить Академию и вернуться в Москву к любимому Перову. Это было не легко: ведь все мои приятели в Академии преуспевали, получали медали, награды, и я один оплошал, обвиняя в этом не себя, а кого-то неведомого, какую-то систему, уставы, профессоров, а дело было только во мне, в моем нежелании признать, что Академия — только школа.

Прошло, помнится, около года¹. Крамской вернулся из Ментоны; по слухам, здоровье его мало улучшилось. В один из праздников я отправился к нему.

Был вечер. Меня провели в кабинет, там был полумрак, какая-то тревожная таинственность. Были видны люди, но сразу разобрать, кто был и сколько, было не легко. Осмотревшись, я увидел в глубине на большом диване или тахте фигуру, к которой было устремлено общее внимание присутствующих, — я направился туда и разглядел Крамского. Он был одет в какой-то бархатный черный балахон наподобие широкой кофты, обшитый, как тогда мне показалось, горностаем. Он ласково поздоровался со мной и предложил мне сесть с ним на тахту. Мне не казалось это удобным. Однако делать было нечего, и я неуклюже полез к стенке. Начались расспросы: что я делаю и пр. Все почтительно молчали, и вообще чувствовалась во всем какая-то сговоренность присутствующих не волновать больного. Вечер

был для меня тягостный, и я ушел с смутным сознанием, что дело плохо и что Иван Николаевич болен тяжело и опасно.

В этот период времени я бывал в доме Елисеева не часто, думая все время, как мне покончить с Академией, и, наконец, решил ее бросить и вернуться в Москву, о чем и пришел сообщить Крамскому; он выслушал меня, но решения не одобрил, и тем не менее я вскоре уехал.

В последние годы жизни, избалованный вниманием общества, успехами, — а быть может, причиной тому была болезнь, — Крамской стал проявлять некоторые странности.

Вот что мне пришлось когда-то слышать.

В те времена в Петербурге жил-поживал некий нотариус Иванов, человек обеспеченный, имевший одну непреодолимую страсть, — он любил знаться с «знаменитыми людьми»: для него «слаще меда» было похвастать, что он еще вчера утром был у Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина и тот ему «совершенно интимно» передал нечто пикантное и злое, а вечером он проиграл в карты столько-то Николаю Алексеевичу Некрасову...

Иванов знался с художниками, артистами, конечно, прославленными, и был полон их славой. С виду Иванов был небольшой, толстенький лысый человечек с рачьими глазками, прекрасно одетый, с массивной золотой цепочкой и кучей «юбилейных» брелоков на округлом брюшке. Он был весьма подвижной, сангвинический господин. И вот однажды к нему в контору на Невском заезжает И. Н. Крамской. Его радостно встречает Иванов в своем роскошном кабинете, предлагает чудесные сигареты, спрашивает, чем он обязан такому приятному посещению. Иван Николаевич сообщает о каком-то своем «деле», где необходимо свидетельство нотариуса, и вот он у него... На звонок является угреватый клерк, ему передают дело с тем, чтобы все было исполнено немедленно...

Тем временем Иванов сообщает своему знаменитому клиенту последние сплетни... Дело готово, и Иванов почтительно предлагает Ивану Николаевичу подписать, где следует, свое имя, фамилию, но тут-то и вышло нечто совершенно неожиданное. Иван Николаевич недоуменно и как бы с состраданием глядит на бедного нотариуса и подписать бумагу отказывается, ссылаясь на то, что «я — Крамской»... Нотариус старается пояснить Ивану Николаевичу, что это «так полагается», что это уж такая устарелая, глупая формальность, без которой бумага недействительна, и что исполнить ее необходимо. Однако Иван Николаевич был непоколебим, ибо ведь «он — Крамской» и сего —

совершенно достаточно. И долго бедному Иванову пришлось доказывать необходимость совершенно отжившей формальности, пока Иван Николаевич, как бы снисходя к глупым пережиткам времени, сказал: «Ну, если уж так, то извольте» — и подписался, где следует: «Крамской».

Вернулся я в Петербург, вызванный телеграммой приятеля, что посланная на конкурс картина моя «До государя челобитчики» удостоена половинной премии. Картину надо было взять из Общества поощрения и поставить на академическую выставку. Устроив все, я отправился к Крамскому, по слухам, тяжело больному. Нашел его сильно постаревшим, каким-то сосредоточенным, задумчивым. Двигаться ему было не легко, и он больше сидел.

Расспросив меня о Москве и моих делах, он перешел прямо к картине моей, виденной им на конкурсе. То, что он тогда говорил, было столь же неожиданно, как поучительно. Речь его для меня, имевшего некоторый успех тогда, получившего за картину в Москве большую серебряную медаль и звание художника, а в Питере премию, была горькой пилюлей, даже не позолоченной.

Крамской говорил, что он недоволен мною, считая, что я раньше был ближе к жизни, и он ждал от меня не того, что я дал. Он находил картину слишком большой для своей темы (она была 3—2¹/₂ аршина), что сама тема слишком незначительна, что русская история содержит в себе иные темы, что нельзя, читая русскую историю, останавливать свой взгляд на темах обстановочных, мало значащих, придавая им большее значение, чем они стоят.

Говорил Иван Николаевич, несмотря на явную трудность, горячо, горячее, чем обычно. Видимо было — и я это, к счастью, почувствовал тогда же, — что он не обидеть меня хотел, а только сбить с ложного пути, что судьба моя ему безразлична. Он говорил, что верит, что я найду иной путь, и путь этот будет верный.

В столовую вошла дочка Ивана Николаевича Соня (в том возрасте, как она изображена на портрете, что в Русском музее²). Она была нарядно одета, боа из светлых перьев вокруг шеи. Соня повертелась около отца, спросила, нравится ли она ему. Он, усталый, ответил: «Да, Сонечка, очень». Вошла Софья Николаевна, обе спешно простились, уехали куда-то на званый вечер...

Иван Николаевич, в тяжелом раздумье, спросил меня, читал ли я «Смерть Ивана Ильича»?³ Я ответил, что читал...

Я ушел, полный благодарного чувства к искренности Ивана Николаевича. Свидание это было последним, я скоро

уехал в Москву, и там мы узнали, что Крамской скончался за работой. Он писал портрет доктора Раухфуса, внезапно вскрикнул, и кисть из руки Ивана Николаевича выпала навсегда ⁴.

Крамской сделал все, что ему положено было. Сделал в размер своего дарования, всегда сдерживаемого сильным контролем необычайного ума. Он был столько же художник, как и общественный деятель. Роль его в создании Товарищества передвижных выставок была первенствующей. Очень требовательный к себе, он был гораздо снисходительнее к своим друзьям художникам. Благородный, мудрый, с редким критическим даром, он был незаменим в товарищеской среде. Его руководящее начало чувствовалось во всем, что касалось славы и успеха Товарищества того времени. Думается, он был бы незаменимым в деле возрождения тогдашней Академии художеств. Это был бы ректор ее по призванию.

Но судьба его была решена, вместе с тем была решена и судьба Академии, не оправдавшей тогда возлагаемых на нее надежд. Со смертью Крамского незаметно стали приходить в упадок и дела Товарищества. Заменить его как администратора, как идейного руководителя было некому.

Мы должны оценить значение Крамского в русском искусстве. Ему будут оказаны те честь и место, которых он достоин. Лично я ему признателен за многое, что не услышал бы в те времена ни от кого. В Академии я был одинок, и лишь Крамской своим участием оживил мое одиночество и рассеял закравшееся сомнение в моем призвании.

Вечная ему моя благодарность!

Н. А. ЯРОШЕНКО

I

В давно минувшие годы моей молодости самым свободомыслящим, «левым» художником слыл, несомненно, Николай Александрович Ярошенко; безупречный, строго-принципиальный, он был как бы «совестью» художников, тогда как их «разумом» был И. Н. Крамской, и они в Товариществе передвижников выгодно дополняли друг друга.

Я узнал Николая Александровича в свои ученические годы, в год, памятный мне на всю долгую мою жизнь (1886). Тогда я кончал Училище живописи и ваяния, писал картину на звание «классного художника» в отведенной мне в школе мастерской, где пропадал я целыми днями. И не раз моя Маша, придя ко мне, шутя говорила, что я не ее, а «картинкин», что было в какой-то мере правдой. Неудовлетворенный, неустанно работая над своей картиной, я, быть может, подсознательно чувствовал, что не в ней я найду себя, лицо свое, а где оно скрыто, — пока не ведал, не знал.

Помню, дело было ранней весной; в мою мастерскую постучались, а затем вошли двое... Один был любимый наш преподаватель, другой — артиллерийский полковник. Илларион Михайлович Прянишников, так звали преподавателя, представляя меня своему спутнику, сказал: «Вот, Николай Александрович, рекомендую вам нашего будущего передвижника». Для меня такая рекомендация была в те годы «слаще меда», да и кто из нас не мечтал добиться такого счастья: ведь передвижники в то время были на вершине своей славы, они господствовали над всей художественной братией тех дней.

Николай Александрович понравился мне с первого взгляда; при военной выправке в нем было какое-то своеобразное изящество, было нечто для меня привлека-

гельное. Его лицо внушало доверие, и, узнав его позднее, я всегда верил ему (бывают такие счастливые лица). Гармония внутренняя и внешняя чувствовалась в каждой его мысли, слове, движении его. И я почувствовал его — тогда еще молодой, неопытный в оценке людей — всем существом моим.

Тема моей картины («До государя челобитчики») едва ли могла Николаю Александровичу быть по вкусу, но он о теме и не говорил, ее не касался, не трогал того, что было мною показано, указывая лишь на то, как было сделано, делая это осторожно, помня, что тут же стоит мой учитель, и он мне может сказать, что найдет нужным.

В свое время, когда картина была кончена, я получил за нее звание, послал ее в Петербург на конкурс в Общество поощрения художеств, получил за нее премию и поставил своих «Челобитчиков» на Академическую выставку, где картину видел И. Н. Крамской, сурово, но справедливо осудил ее, сказав — с несомненным желанием помочь мне, — что в нашей истории есть много тем более значительных, что размер картины по теме, чисто эпизодической, слишком велик, он не согласован с ее содержанием, и что, придет время, я сам увижу, осознаю свой промах. Крамской не хотел меня обескуражить, а лишь направить на верный путь. Я был признателен ему за это, его слово берег и делился им, с кем мог, всю свою жизнь.

Через две недели по получении мною медали и звания после радости пришли печали: не стало моей Маши, она умерла после родов, оставив мне дочку Олюшку, ту самую, что через девятнадцать лет послужила мне моделью для портрета в амазонке в красной шапочке на голове (портрет был приобретен на моей выставке в Петербурге в 1907 году Государственным Русским музеем).

Смерть жены вызвала перелом в моей жизни, в моем сознании, наполнив его тем содержанием, которое многие ценят и теперь, почти через шестьдесят лет. Оно и посейчас согревает меня, уже старика, и чудится мне, что и Крамской не осудил бы меня за него. Все пережитое мною тогда было моим духовным перерождением, оно в свое время вызвало появление таких картин, как «Пустынник», «Отрок Варфоломей» и целый ряд последующих, создавших из меня того художника, каким остался я на всю последующую жизнь.

Через три года, приехав с приобретенным у меня П. М. Третьяковым «Пустынником» в Петербург, я в тот же день встретился на выставке с Н. А. Ярошенко. Ему моя картина понравилась, и я тогда же был приглашен им бывать у них на Сергиевской.

Николай Александрович Ярошенко родился на Украине, в Полтавщине, кончил там кадетский корпус, перешел в Петербургскую артиллерийскую академию; окончил ее, был оставлен на службе при Петербургском арсенале, где и прослужил до выхода своего в отставку. Николай Александрович с ранних лет пристрастился к художеству.

В Петербурге в свободное время стал посещать вечерние классы Общества поощрения художеств, где в то время кипела жизнь. Туда наведывались художники с «воли», бывали там и передвижники, заглядывал и Крамской. Он скоро обратил внимание на способного молодого артиллериста, познакомился с ним, найдя в нем умного, хорошо образованного, развитого человека, сблизился с ним, стал давать ему уроки. Николай Александрович делал быстрые успехи. Это не были успехи, коими тогда поражали всех два необычайных дарования, — Репина и юного телеграфиста-пейзажиста Васильева, тоже пользовавшегося советами Крамского.

Ярошенко скоро освоился с техникой дела, тогда еще не сложной, стал хорошо рисовать портреты мокрой тушью, потом перешел на масло, стал пробовать писать небольшие картинки, постепенно креп, развивал в себе наблюдательность, стал присматриваться к жизни своего времени, проникаться тем, что называется «духом» (им в ту пору были пропитаны молодые артиллеристы и части инженерных войск). Картины молодого художника становились заметными; не помню, когда он появился впервые на Передвижной выставке¹.

Я был учеником реального училища Воскресенского, и однажды уже весной, в праздничный день, мне сказали, что директор училища Константин Павлович Воскресенский распорядился, чтобы я с воспитателем отправился на бывшую в то время в Москве — на Мясницкой улице, в Школе живописи и ваяния — Передвижную выставку. Такое исключение для меня одного было сделано потому, что к этому времени моя страсть к рисованию обратила на меня внимание, я «брехал» рисованием.

Это было за год до моего поступления в Училище живописи и ваяния, где в те годы бывала Передвижная выставка, к чему уже привыкли москвичи. На выставку картин я попал тогда впервые. Мне было четырнадцать лет, и я совершенно был «ошеломлен» виденным там. Особенно остались в моей памяти четыре вещи. «Украинская ночь» Куинджи, перед которой была все время густая

толпа совершенно пораженных и восхищенных ею зрителей. Она даже в отдаленной мере не была тогда похожа на изменившуюся за много лет теперешнюю «олеографическую» картину этого большого мастера.

Была тогда

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо, звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух..

Вот что восхищало и опьяняло в ней тогда. Следующая, оставшаяся в моей голове картина, была «Кобзарь» Трутовского, третья — «Опахивание» Мясоедова и, наконец, четвертая — «Слепцы» Ярошенко.

Все четыре художника были южане, и позднее они играли в моей жизни немалую роль.

В «Слепцах» Ярошенко предавался как бы воспоминаниям о своей родной Украине. Слепцы-бандуристы бредут, как у Брейгеля, цепляясь один за другого, по живописным путям-дорогам Полтавщины.

Все четверо художников-южан были с поэтическими склонностями, чем, быть может, и подкупали мое юное сердце, и я помню картины до сих пор.

3

Позднее стали являться одна за другой более зрелые вещи Николая Александровича. В самом конце 70-х или в начале 80-х годов, словом, после процесса над Верой Засулич, оправданной судом за покушение на старого градоначальника Трепова, появилась на Передвижной выставке картина Ярошенко «У Литовского замка». Она наделала тогда много шума и хлопот и навлекла на Николая Александровича недельный домашний арест, кончившийся неожиданным «визитом» к молодому артиллерийскому офицеру тогдашнего всеильного диктатора Лорис-Меликова. После двухчасовой беседы с опальным арест с него был снят.

Картину эту я не видал, а слышал о ней по многим ходившим тогда рассказам. На ней была изображена девушка, прогуливающаяся около так называемого «Литовского замка», со сложным, весьма напряженным выражением лица типа женщин-революционерок тех дней, которые шли на все во имя принятой идеи.

Хотя и были у Ярошенко фотографические карточки Софьи Перовской и Веры Засулич как лиц характерных,

типичных революционерок того времени, но в картине не было портретного сходства с Засулич, однако кому-то нужно было устроить неприятную историю передвижникам, и в частности Ярошенко. Была пущена молва о том, что на картине изображена Вера Засулич.

Картина немедленно с выставки была снята, сам художник оказался под арестом. Картина эта, отданная на сохранение знакомым Николая Александровича, плохо свернутая, у них погибла.

В те годы стали появляться одна за другой картины, так называемые идейные картины. Появился «Заключенный», как говорили тогда, написанный Ярошенко с его друга Глеба Ивановича Успенского и приобретенный тогда же П. М. Третьяковым для его галереи, потом «Кочегар», также взятый Третьяковым в галерею.

Эти вещи показывают уже зрелого художника, мастера, знающего, чего он хочет, верящего в свое дело, считающего его нужным, необходимым. В них Николай Александрович является художником своего времени, видевшим в общественной, социальной жизни тогдашней России, ее общества жестокие несправедливости. Он пытается, пока одиноко, в живописи указать на них; не складывая оружия, работает на избранном им пути. Одновременно он становится со смертью Крамского одним из самых деятельных руководителей художественной организации Передвижного товарищества, давая ему возможно серьезное направление, придавая в то же время моральную устойчивость. Голос его звучит на собраниях; слушают его внимательно, почти так же, как привыкли слушать Крамского.

4

Николай Александрович, правдивый, принципиальный, не выносил фальши ни в людях, ни в искусстве; он не терпел пошлости и людей, пораженных этим педугом. Им не было места в сознании, в сердце Ярошенко. Мы знали людей с большим именем, коим была раз и навсегда заказана дорога к Ярошенко, в их квартиру на Сергиевской или излюбленный всеми знавшими их балкон в Кисловодске. Таков был этот корректный, но такой взыскательный к себе и к другим человек... Такова была его природа...

Чтобы еще яснее охарактеризовать Николая Александровича, отступлю несколько назад, к его молодым годам, к его «жениховству». Невеста его была ему под стать, она исповедовала те же убеждения, что и он, училась на

Бестужевских курсах, была деятельной общественницей и так же, как и он, любила искусство, мечтала стать художницей. Вот что я слышал уже от пожилой женщины, когда Николая Александровича не было в живых.

Полюбив друг друга, строя планы на будущую жизнь, они подошли к вопросу: можно ли заниматься искусством серьезно, отдавая ему все свои силы, будучи супругами-друзьями? Не будет ли такое невольное соревнование им помехой? И пришли к тому, что один из них должен отказаться от мысли стать художником. Мария Павловна (так звали жену Николая Александровича), признавая за ним больше прав, больше шансов на серьезный успех, словом, его превосходство, мужественно отказалась на всю жизнь от мысли идти одной дорогой с ним, и за всю жизнь, живя душа в душу, ни разу не взяла кистей в руки.

5

Вернусь ко времени моего дальнейшего сближения с Н. А. Ярошенко. Произошло оно в тот год, когда я привез на Передвижную «Пустынника», когда на той выставке впервые появился В. А. Серов с чудесным портретом своего отца (коим он, говорят, тогда не был доволен²). Крамского уже не было в живых, хотя память о нем была еще свежа. Николай Александрович встретил меня ласково, вспомнил свое посещение моей мастерской в Москве за три года перед тем.

«Пустынник» как художество ему, как и всем, тогда понравился, ну, а как тему мне не ставили в вину, быть может, по молодости моих лет, «по неразумению» моему.

Вот тогда-то я и был впервые приглашен на Сергиевскую, где позднее, на протяжении многих лет, привык бывать, как в родной семье, встречая неизменное радушие, встречая там немало интересных и симпатичных мне людей.

Скоро я стал понимать, уяснять основные черты характеров супругов. Оба, согласные в главном, во взглядах на современную им жизнь, на общество того времени, разнились, так сказать, в «темпераментах». Николай Александрович — всегда сдержанный, такой корректный; Мария Павловна — пылкая, непосредственная, нередко не владевшая собой, — но оба большой, хорошей культуры, образованные, глубоко честные.

Николай Александрович обладал тонким юмором южанина-украинца, был приятный, остроумный собеседник, — конечно, среди людей ему любезных. Круг его знакомств был определенный — это передовые люди той памятной

эпохи. Бывали и ученые и артисты, но больше всего художники — передвижники по преимуществу. Встречал я на Сергиевской Д. И. Менделеева, Короленко, Михайловского, Петрушевского (химика). Бывали там И. П. Павлов, Е. В. Павлов и ряд профессоров Военно-Медицинской Академии и других высших учебных заведений прогрессивного лагеря. Мало ли кто не стремился на Сергиевскую тех дней.

Шла туда и учащаяся молодежь. В своих «Давних днях» я написал одну из таких «ярошенковских» суббот во время «слета» членов Товарищества со всей России к выставке. То была суббота — ужин в год появления после долгих лет молчания Н. Н. Ге с его «Христом перед Пилатом».

К тому времени художественное лицо Н. А. Ярошенко сложилось совершенно. Были написаны: прекрасный портрет Стрепетовой, «Курсистка», «Студент», что в Третьяковской галерее, и много других портретов с частных лиц.

Кому была дорога на Сергиевскую к Ярошенко заказана, — это людям с «подмоченной» моральной репутацией...

У Николая Александровича была цельная натура. Он всегда и везде держал себя открыто, без боязни выражая свои взгляды, он никогда не шел ни на какие сделки. Предлагаемых ему портретов с великих князей не писал, на передвижных выставках при ежегодных их посещениях царской семьей не бывал.

6

Через год после «Пустынника» я привез в Петербург своего «Отрока Варфоломея». Часть старых передвижников его приняла враждебно, среди них Николая Александровича Ярошенко не было, чему я был несказанно рад. Против «Варфоломея» встали не только некоторые из старых «товарищей» с Мясоедовым во главе, но и их друзья с «воли»: В. В. Стасов, Д. В. Григорович и кое-кто еще.

Однако моя картина, приобретенная еще в Москве П. М. Третьяковым, прошла большинством голосов, и попытка «стариков» навязать картине несуществующий смысл не удалась. Она писалась как легенда, как стародавнее сказание, шла от молодого, пораненного сердца, была глубоко искренна — такой осталась на многие годы, до наших дней включительно; так она воспринимается и современниками почти через шестьдесят лет по ее написании.

Очевидно, всего вышеуказанного было достаточно, чтобы Николай Александрович не стал ко мне враждебно настроенным.

Близость моя к Ярошенко имела для меня во многом воспитательное значение. Уезжая в тот раз из Питера, я был зван обоими супругами «погостить» к ним в Кисловодск, не предполагая, что такие «гостины» наступят в то же лето. Вышло это совершенно неожиданно.

По дороге в Уфу на пароходе я сильно простудился, домой приехал больной, мне становилось день ото дня хуже. Пригласили доктора П., тогда считавшегося лучшим. Он осмотрел меня, покачал головой и объявил, что у меня эксудат, что этот гнойник необходимо вскрыть, и чем скорей, тем лучше. Послали к П. на квартиру за инструментами. Доктор был по специальности гинеколог, но за отсутствием лучших врачей по другим болезням был, что называется, «на все руки мастер». Но П. был не только врач, не только опытный гинеколог, главное, чем был он страстно увлечен, — это церковным пением; считая себя опытным руководителем созданного им любительского хора, увлекался этим делом, забывал все остальное. Вот и тут, у меня, больного, он с жаром повествовал о том, как вчера за обедней он «провел концерт Бортнянского». Затем, как бы опомнившись от столь сладостного воспоминания, мой счастливый регент-хирург приказал принести из погреба холодного квасу. Мне было сказано встать с моего «одра болезни» и сесть в кресло против света, а тем временем мой «гинеколог» осматривал привезенные инструменты, говоря без умолку о своей музыкальной страсти и успехах в этой области.

Квас был подан, мне было сказано: сидеть «молодцом», все-де будет кончено в минуту, и завтра я буду здоров. На что, думаю, лучше!.. Ланцет вонзился в мою грудь, хлынул гной. Я сидел недвижимо.

Мне дали выпить из ковша холодного, со льда, квасу и совершенно обессиленного уложили в постель. Прошел день... их прошло несколько, боль не унималась, лучше мне не было. П. ездил ежедневно, покачивал головой, что-то мычал нечленораздельное про себя до тех пор пока не догадался свалить все на «плохой климат Уфы» (климат у нас в Уфе был прекрасный) и тогда же посоветовал мне, не откладывая в долгий ящик, отправиться на юг, в Крым или на Кавказ.

Вот тут-то я и вспомнил о приглашении супругов Ярошенко приехать к ним летом в Кисловодск.

В тот же день послал им телеграмму, а на другой день был ответ: меня будут ждать и выедут по телеграмме с дороги встречать на Минеральные Воды.

Через несколько дней я увидел красоты Северного Кавказа. На Минеральных меня ждала Мария Павловна Ярошенко. Со мной в поезде приехал на группы известный тогда в Петербурге хирург Евгений Васильевич Павлов (с него незадолго перед тем Репин написал чудесную небольшую вещицу — «Евгений Васильевич Павлов во время операции»; она тогда же была приобретена П. М. Третьяковым).

Я встречал Е. В. Павлова у Ярошенко на Сергиевской; тогда про его удачные операции и про его рассеянность ходило много толков. Евгению Васильевичу я поведал о своем недуге, и он обещал в ближайшие дни быть в Кисловодске у Ярошенко, осмотреть меня и назначить лечение.

Мы все, приехавшие с поездом и встречающие, двинулись на тройках, на двадцати или более, на группы.

7

Дамы нервные или настроенные на романтический лад ожидали встречи с «абреками». Вот и Пятигорье, слева Машук, против него красавец Бештау. Обогнув Бештау, увидели Пятигорск, а дальше, далеко слева, сиял на утреннем солнце Эльбрус.

Все это было до проведения узкоколейной дороги от Минеральных до Кисловодска, до разных новшеств, курзалов, театров, больших гостиниц.

Проехали скучные Ессентуки, с их семнадцатым номером. Показались Ольховка, а там Бургустан с Кольцом-горой, со станцией Кисловодской, с ее голубыми, розовыми, беленькими казацкими хатками.

А вот и сама кисловодская группа. Здесь все еще так примитивно!

Проехали галерею нарзана и через несколько минут, поднявшись в гору, очутились у собора, в двух шагах от которого была усадьба Ярошенко. Мария Павловна купила ее случайно за бесценок, постепенно обстроилась там, заменив белые хатки небольшими домами, в коих стали летом проживать знакомые Ярошенко: Владимир Григорьевич Чертков с семьей, большая семья историка С. М. Соловьева, группа профессоров-врачей и кое-кто еще. Сами Ярошенко поместились в ближнем к улице домике, где была и небольшая мастерская Николая Александровича.

К домику примыкал балкон, очень вместительный; на нем, как на балконе доктора Средина в Ялте, постоянно были посетители. Кого-кого на нем не перебывало!

Николай Александрович задумал расписать балкон в помпейском стиле по увражам; ему в этом помогала дочь историка Соловьева Поликсена Сергеевна (ее псевдоним, как талантливой поэтессы, был «Аллегро»). Во втором доме, побольше, жили Чертковы, а когда-то там жила Э. А. Шан-Гирей (княжна Мери), у нее бывал Лермонтов. От того времени остались лишь три каменные ступеньки, по которым частенько взбегал Михаил Юрьевич.

Осмотревшись, я не считал удобным для себя остаться у Ярошенко, нанял себе поблизости от них «вольную» комнату, постоянно бывая, столуясь у Ярошенко. Встречаясь часто с Чертковым, беседуя о Толстом, о его учении, я чувствовал немалое желание Владимира Григорьевича вовлечь меня в толстовство; однако, питая восторженное преклонение перед гениальным художником Толстым, я не чувствовал влечения к его религиозно-философским воззрениям. К тому же слышал, что и сам Лев Николаевич иногда будто бы не прочь был посмеяться над увлечениями некоторых толстовцев.

Николай Александрович в это время писал небольшую картину «Больная» с жены Черткова, той самой, с которой в свое время была написана им «Курсистка». Картина эта принадлежит Государственному Русскому музею.

8

Скоро началось для меня такое приятное по воспоминаниям время. Обычно к вечеру мы с Николаем Александровичем собирали свои художественные принадлежности и вдвоем уходили на этюды в одну из балок, или в Ольховую, или в Березовую, там выбирали себе место по вкусу близко один от другого и начинали писать. Николай Александрович был опытнее меня. Он скоро ориентировался и начал работать.

Этюды были написаны сильно, точно, но в них не было чувства, той поэтической прелести, что бывала в этюдах Левитана. Если мы сидели близко один от другого, то велись интересные разговоры, надолго памятные мне, а дивный воздух этих балок опьянял, одновременно оздоравливал.

Время летело, смеркалось, и мы, каждый на свой лад удовлетворенные, возвращались на «помпейский» балкон. Николай Александрович брал графин и приглашал меня

пойти с ним по темному уже парку в галерею нарзана, чтобы принести к ужину свежего, только что полученного из источника чудодейственного напитка.

На обратном пути в разговорах, иногда спорах, проходили мы по темным аллеям парка домой, а там на балконе уже кто-нибудь был, ожидал нас.

Евгений Васильевич Павлов давно успел побывать в Кисловодске, осмотрел меня, поставил диагноз, сказав мне, что будет к нам навещаться, а я чтобы хорошо питался, сл бы больше винограда, дышал бы этим целебным воздухом, равным, быть может, только несравненному воздуху «Вечного города»³. И я незаметно стал крепнуть: дренаж, вставленный в отверстие, сделанное «гинекологом» на моей груди, стал входить ту же и ту же.

У Ярошенко в это время гостила артистка Московского Большого театра Махина — маленькое избалованное создание (говорили, лучший Торопка из оперы «Аскольдова могила»). Махина вставала не раньше двенадцати часов — прифранченная, такая миниатюрная, с большими капризами — выходила в столовую, как на сцену, и тут же попадала на острый зубок к Николаю Александровичу. Она бойко отшучивалась, было довольна собой, была неуязвима.

Рядом с этим шла у Ярошенко жизнь иная, — каких жгучих вопросов там не было затронуто и разрешено теоретически! И все-таки, несмотря на строгий стиль хозяев, дышалось у них легко. Даже такой народ, как артисты, певцы, музыканты, раньше чем появляться перед большой публикой в «Казенной гостинице» (лермонтовских времен), спешили на балкон к Ярошенко — показать у них свое искусство.

9

Николай Александрович в то лето написал еще одну картину: «Спящего ребенка» — в детской коляске, с маленького сына Чертковых. Надо сказать, что такие интимные вещи не были доступны таланту Ярошенко, они походили больше на добросовестные, внимательные этюды.

Вскоре Николай Александрович покинул Кисловодск; он должен был быть в Крыму и в Киеве, и я расстался с ним до Петербурга, куда по настоянию Е. В. Павлова должен был приехать в сентябре и там от него узнать о своей судьбе, услышать о его решении: ехать ли мне на долгий срок на юг, в Италию, или Евгений Васильевич отпустит меня в Киев, где меня ждали работы в киевском соборе.

Сентябрь разрешил этот вопрос для меня благоприятно: рана моя закрылась навсегда, и я немедленно уехал в Киев, хорошо попрощавшись с супругами Ярошенко. Стал наезжать в Петербург два-три раза в год, подгоняя эти свои наезды к выставочному сезону.

Как в предшествующие годы, так и в годы моей близости к Ярошенко, Николай Александрович много и успешно работал. Тогда была написана им наиболее популярная в большой публике картина «Всюду жизнь».

Кто не видал ее тогда на выставках в столицах и в провинции, кто не знал ее по многим репродукциям, а затем в Третьяковской галерее!

На ней изображен арестантский вагон на остановке, в нем идет своя жизнь людей, соединенных поневоле воедино. Их сейчас сближает хорошее человеческое чувство. К вагону залетели с «воли» голуби, и сейчас, каждый по-своему, рад им; их кормят, сгрудившись у окна. Какой отдых усталой душе! Но вот поезд тронулся, голуби с шумом отлетели, и потянулись дни, недели, быть может, месяцы, тяжелой, однообразной, подневольной жизни до самого «места назначения». Помню я еще одну картину Ярошенко с таким же трогательным содержанием — это «Мечты». В предзакатный час, за письменным столом, в блаженном сладком сне, при потухающей лампе изображен писатель, может быть, поэт. Перед ним проходят, как чудные видения, его темы, такие дорогие, совершенные, необходимые. В дверь входит озабоченная жена, видит своего друга таким радостным, счастливым... Увы! Лишь во сне! (А они уже не молоды). Если бы так было наяву, как хорошо бы им жилось!..

Картина задумана поэтически, в нее вложено истинное чувство, но зачем такой большой размер: он давит ее, мешает ей быть такой, какой, быть может, представлял ее себе автор.

В те же годы были написаны Николаем Александровичем наиболее ценные его портреты деятелей умственного труда: Д. И. Менделеева в его рабочем кабинете, Короленко, Михайловского, прекрасный портрет Владимира Соловьева и, на мой взгляд, лучший — П. А. Стрепетовой; написаны «Студент», что в Государственной Третьяковской галерее, и ряд портретов с частных лиц.

Чем больше узнавал я семью Ярошенко, тем больше привыкал к ним, любил их. В один из моих последующих

приездов в Кисловодск Николай Александрович собрался со знакомым проводником чеченцем в горы. Он хотел посмотреть на жизнь, на быт в аулах. Поездкой он остался доволен, приняли там его хорошо. Он написал интересные этюды к задуманной картине. Картина эта меня не тронула, она не имела в себе обаяния той жизни, какая должна быть в такой теме, какую взял Николай Александрович (в ауле горцы слушают рассказы о былом). Не было ничего, что бы меня восхитило и в его «Спевке». В ней старый дьячок с традиционной «косичкой» дирижирует хором мальчиков у себя в саду. В картине не было ни южного юмора Николая Александровича, ни сатиры, какая в свое время была в таких темах у Перова. Талант Ярошенко был особый — талант художника идейного; в таких картинах он был «как у себя дома», он их чувствовал...

Как-то, приехав в Петербург по делу, я чуть ли не в тот же вечер был у Ярошенко⁴. Это было тогда, когда роспись Владимирского собора в Киеве была окончена. Участников его росписи прославляли на все лады, но, конечно, были «скептики», к ним принадлежал и Н. А. Ярошенко, не упускавший случая при встрече со мной съязвить по поводу нами содеянного. И на этот раз не обошлось без того, чтобы не сострить на этот счет, а тут, как на беду, попалась на глаза Николая Александровича книжка ранних рассказов М. Горького — «Челкаш» и другие. Он спросил меня, читал ли я эту книжечку? И узнал, что не только не читал ее, но и имени автора не слышал. Досталось же мне тогда — и «прокис-то я в своем Владимирском соборе», и многое другое. Я, чтобы загладить свою вину, уезжая, попросил мне дать книжку с собой, и дома, лежа в постели, прочел эту чудесную, живую, такую молодую, свежую книгу. На другой день на Сергиевской мы с Николаем Александровичем вполне миролюбиво рассуждали о прекрасном даровании автора.

Сколько пророчеств и упований было тогда высказано по его адресу! Его рассказы и поныне остались такими же свежими, в этом их привлекательность, их неувядаемость...

Время стало брать свое. Николай Александрович стал прихварывать, и я, живя в Киеве, узнал, что врачи у него находят горловую чахотку; он лишился голоса, говорил шепотом или писал.

Приехав в Петербург, я мог в этом убедиться, а из рассказов узнал, что рядом с нависшей бедой у него явилась жажда писать новую большую картину — «Иуда». Тема одна из трагических на страницах евангелия. Но

Николай Александрович подошел к ней не столько как художник, а как публицист, как обличитель худых нравов, причем для Иуды послужил ему один из собратий.

Такое начало в искусстве не предвещает хорошего и не в силах оправдать себя. Драма вытекает из ряда событий, ей предшествующих, и должна перебродить в сознании, в чувстве артиста. Если этого не произошло, — нет ни драмы, ни картины, и никакая поездка в Палестину и этюды, написанные там, не дадут художественного произведения. Так вышло и с новой затеей Ярошенко. Картина была написана, но ничего, ни в каких кругах общества; интереса к себе не возбудила, прошла, к огорчению Николая Александровича, незамеченной и поступила в свое время в Полтавский музей⁵.

11

Николай Александрович во время своей поездки в Палестину был уже в отставке, носил вместо генеральского мундира штатское платье и шляпу а 'la Вандик, что ему шло больше, чем мундир отставного генерала. Когда в ближайшее лето, по его возвращении из путешествия, я приехал в Кисловодск⁶, то нашел его бодрее, свежее, и хотя голос к нему не вернулся, но говорить с ним было легче. Я предложил написать с него портрет тут же около дома, в саду. Он охотно согласился и хорошо позировал мне, сидя на садовой скамейке в покойной позе, в своей шляпе а 'la Вандик. Я писал с большим усердием, но опыта у меня не было, и хотя портрет и вышел похож, но похожесть не есть еще портрет, не есть и художественное произведение. Портрет этот также находится в Полтавском музее.

Это было мое последнее свидание с Н. А. Ярошенко. Он умер внезапно, как показало вскрытие, не от горловой чахотки, все следы которой исчезли, а от разрыва сердца. Утром он сидел у себя в мастерской, читая; перед тем попросил их воспитанницу, Александру Александровну Голубеву, принести ему кофе. Когда она вошла с кофе в руках в дверь мастерской, то тотчас же увидела, что все кончено. Николай Александрович был мертв⁷.

Друзья-врачи ревностно лечили его от одного, забыв о другом — о сердце, а оно-то и было причиной его смерти.

Похоронили Николая Александровича близко от дома, в ограде собора. Скульптор Позен, передвижник, сделал намогильный памятник с бюстом Николая Александровича.

Позднее, в 1915 году, в ту же могилу опустили и Марию Павловну Ярошенко, лучшего друга и спутника по путям жизни его.

По давнему соглашению супругов Ярошенко, их имущество, усадьбу душеприказчики должны были продать, а на вырученную сумму построить в Кисловодске Горное училище. Наступившие затем события 1917 года, Великая социалистическая революция дали иное направление наследству Ярошенко: на их усадьбе, объединенной с соседними, был образован позднее Кардиологический институт имени В. И. Ленина. Бывшие душеприказчики Ярошенко, из коих один — пишущий эти воспоминания, еще до 1917 года принесли в дар Полтавскому музею все собрания картин, рисунков и альбомы его, где все это и хранилось до сего времени в полном порядке в особом зале имени Николая Александровича Ярошенко.

12

Летом 1918 года на Северном Кавказе шли бои. Кисловодск переходил из рук в руки, и я как-то получил телеграмму, в которой меня просили обратиться в Москве к кому-либо из правительства и ознакомить с положением дела усадьбы Ярошенко, в которой белые уничтожили музей.

Мне посоветовали обратиться с этим делом к Надежде Константиновне Крупской, что я и сделал. Она приняла меня, внимательно выслушала и сказала, что к восстановлению порядка в усадьбе Ярошенко будут приняты меры.

Через какое-то время я получил письмо из Кисловодска, в котором мне сообщили, что по распоряжению В. И. Ленина, который, как и Крупская, любил и ценил Ярошенко, на его могиле было устроено траурное торжество, говорились речи, посвященные его памяти, а затем огромная процессия двинулась к дому Ярошенко. Был восстановлен музей в этом доме, и улица, прежде Дондуковская, была переименована в улицу Ярошенко. Так кончилась эта чудесная жизнь, жизнь человека, неустанно думавшего, чтобы людям жилось лучше, чтобы социальные условия их быта были иными.

Жизнь Ярошенко была хорошая, достойная жизнь. Кто не помянет добром художника Николая Александровича Ярошенко, горячо любившего свою родину и так много поработавшего для блага ее народов!

В. И. СУРИКОВ

В 1916 году, в ближайшие дни после смерти В. И. Сурикова, по просьбе, обращенной к нам, художникам, «Русскими ведомостями», я написал следующие немногие строки:

«Суриков умер. От нас ушел в мир иной гениальный художник, торжественный, потрясающий душу талант. Суриков поведал людям страшные были прошлого, показал героев минувшего, представил человечеству в своих образах трагическую, загадочную душу своего народа. Как прекрасны эти образы! Как близки они нашему сердцу своей многогранностью, своими страстными порывами! У Сурикова душа нашего народа падает до самых мрачных низин; у него же душа народная поднимается в горние вершины — к солнцу, свету. Суриков и Достоевский — два великих национальных таланта, родственных в их трагическом пафосе. Оба они прошли свой земной путь, как великий подвиг. Прими наш низкий поклон, великий русский художник»¹.

Строки эти были напечатаны, и мне тогда же газета предлагала написать о Василии Ивановиче Сурикове статью больших размеров, отводя для нее место двух воскресных фельетонов. Я отказался от такого щедрого предложения тогда потому, что о Сурикове можно было в то время, сейчас же после его смерти, или говорить сжато, сдержанно, так, как принято говорить о только что умерших, или говорить полно, широко, пользуясь всем тем, что давала собой яркая личность славного художника. Для последнего тогда еще не наступило время.

Мое знакомство с Суриковым произошло в юношеские мои годы, когда мне было двадцать три года, в пору первой женитьбы, когда писалась мной на звание «классного художника» картина «До государя челобитчики», когда для

этой картины мне нужны были костюмы XVII века и меня надоумили обратиться за советом по этому делу к автору «Боярыни Морозовой», тогда писавшейся. Вот к каким временам нужно отнести нашу первую встречу. Я знал и помню супругу Василия Ивановича — Елизавету Августовну. Дочь его, Ольгу Васильевну Кончаловскую, и сестру ее, Елену Васильевну, я знал детьми, в возрасте 6-7 лет, в том возрасте, когда был написан Василием Ивановичем с Ольги Васильевны прекрасный этюд в красном платье с куклой в руках у печки...

Как давно все это было!

Наши ранние отношения с Василием Ивановичем были наилучшими. Я бывал у него, он также любил бывать у меня, видимо, любясь моей женой, — любовался ею не он один тогда.

Скоро наступили для нас с Василием Ивановичем тяжелые годы. В июне 1886 года умерла моя Маша. Через год или два, не помню, не стало и Е. А. Суриковой². С этих памятных лет наши отношения, несмотря на разницу лет, углубились, окрепли на многие годы, вплоть до того времени, когда дочка Василия Ивановича, Ольга Васильевна, стала Кончаловской, а сам П. П. Кончаловский занял в душе Василия Ивановича первенствующее и никем не оспоримое место.

Тогда же, в ранние годы, в годы наших бед, наших тяжелых потерь, повторяю, душевная близость с Суриковым была подлинная, может быть, необходимая для обоих. Нам обоим казалось, что ряд пережитых нами душевных состояний был доступен лишь нам, так сказать, товарищам по несчастью. Лишь мы могли понять некоторые совершенно исключительные откровения, лишь перед нами на какое-то мгновение открылись тайны мира. Мы тогда, казалось, с одного слова, с намека понимали друг друга. Мы были «избранные сосуды». Беседы наши были насыщены содержанием, и содержанием до того интимным, нам лишь доступным, что, войди третий, ему бы нечего было с нами делать. Он бы заскучал, если бы не принял нас за одержимых маньяков в бредовом состоянии. Мы же, вероятно, думали бы, что этот несчастный, попавший в наше общество, был на первых ступенях человеческого состояния, и постарались бы от него поскорее избавиться. Так высоко парили мы тогда над этой убогой, обиженной судьбой, такой прозаической, земной планетой. Вот чем мы были тогда.

Сам Василий Иванович позднее и по-иному переживал свое горе. Тогда говорили, что он после тяжелой, мучительной ночи вставал рано и шел к ранней обедне. Там, в своем приходе, в старинной церкви он пламенно молился о покойной

своей подруге, страстно, почти иступленно бился о плиты церковные горячим лбом... Затем, иногда в вьюгу и мороз, в осеннем пальто бежал на Ваганьково и там, на могиле, плача горькими слезами, взывал, молил покойницу — о чем? О том ли, что она оставила его с сиротами, о том ли, что плохо берег ее? Любя искусство больше жизни, о чем плакался, о чем скорбел тогда Василий Иванович, валяясь у могилы в снегу? Кто знал, о чем тосковала душа его?

Но миновала эта пора, как миновало многое в его незаурядной жизни. Успокоились нервы, прошли приступы тоски-печали. Стал Василий Иванович жить, работать, как и раньше. Написал как финал, как заключение к пережитому свое «Исцеление слепого».

Целая полоса жизни миновала, ушла в вечность. Иные пошли разговоры. Опять мы вспомнили об искусстве, о старине, о том, как жилось там, в Красноярске. Помню рассказ Василия Ивановича о том, как дед его в порыве ярости закусил ухо своему старому, служилому коню. Рассказывал о том, как пустился он в путь с обозом в Питер и как обоз на повороте раскатился и Василий Иванович из него вылетел... Вспомнил и последнее расставание со своей матушкой, как, весь в слезах, десятки раз отрывался он, прощаясь с ней, и, как зверь, завопил напоследок: «Ма-амынька»... и на долгие годы покинул любезный свой Красноярск, променяв его на холодную, важную Петербургскую Академию художеств с ее Шамшиным, Басиным, Марковым, Бруни — этими жрецами им любимого искусства.

Вспомнил, как отводил душу с Павлом Петровичем Чистяковым — единственным, кто мог оценить скрытые еще так глубоко залежи огромного таланта молодого сибиряка.

Говорилось нами о любимой Суриковым живописи, о рисунке, который он тоже умел любить, когда хотел любить, когда по его расчету не любить его было нельзя. Говоря о живописи, о красках, он как никто разбирался в них. И это не было «лабораторное» отношение к ним.

Суриков и краску и живопись любил любовью живой, горячей. Он и тут, в беседу о живописи, о ее природе, о ее особом «призвании», вкладывал свой страстный, огненный темперамент. Поэтому, может быть, краски Василия Ивановича «светятся» внутренним светом, излучая теплоту подлинной жизни.

А как любил он жизнь! Ту жизнь, которая обогащала его картины. Исторические темы, им выбираемые, были часто лишь «ярлыком», «названием», так сказать, его картин, а подлинное содержание их было то, что видел, пережил, чем был поражен когда-то ум, сердце, глаз внутренний и

внешний Сурикова, и тогда он в своих изображениях — назывались ли они картинами, этюдами или портретами — достигал своего «максимума», когда этому максимуму соответствовала сила, острота, глубина восприятия.

Суриков любил композицию, но и эту сторону своего искусства он не подчинял слепо установленным теориям, оставаясь во всех случаях свободным, исходя из жизни, от ее велений и лишь постольку считаясь с теориями, поскольку они носили в себе законы самой жизни.

Он был враг высасывания теорий из пальца. Суриков в хорошем и великом, равно как и в несуразном, был самим собой. Был свободен.

Василий Иванович не любил делиться своими замыслами, темами ни с кем. Это было его право, и он им пользовался до того момента, когда творческие силы были изжиты, когда дух его переселялся в картину и уже она жила им, а Василий Иванович оставался лишь свидетелем им содеянного — не больше.

Помню, он позвал меня смотреть «Ермака»³. Слухи о том, что пишет Суриков, ходили давно, года два-три. Говорили разное, называли разные темы и только в самое последнее время стали увереннее называть «Ермака»...

И вот завтра я увижу его...

Наступило и это «завтра». Я пошел в Исторический музей, где тогда устроился Василий Иванович в одном из запасных неконченных зал, отгородив себя дощатой дверью, которая замыкалась им на большой висячий замок. Стучусь в дощатую дверь. — «Войдите». — Вхожу и вижу что-то длинное, узкое... Меня направляет Василий Иванович в угол и, когда место найдено, — мне разрешается смотреть. Сам стоит слева, замер, ни слова, ни звука.

Смотрю долго, переживаю событие со всем вниманием и полнотой чувства, мне доступной; чувствую слева, что делается сейчас с автором, положившим душу, талант и годы на создание того, что сейчас передо мной развернулось со всей силой грозного момента, — чувствую, что с каждой минутой я больше и больше приобщаюсь, становлюсь если не участником, то свидетелем огромной человеческой драмы, бойни не на живот, а на смерть, именуемой «Покорение Сибири»...

Минутя живопись, показавшуюся мне с первого момента крепкой, густой, звучной, захваченной из существа действия, вытекающей из необходимости, я прежде всего вижу самую драму, в которой люди во имя чего-то бьют друг друга, отдают свою жизнь за что-то им дорогое, заветное

Суровая природа усугубляет суровые деяния. Вглядываясь, вижу Ермака. Вон он там, на втором, на третьем плане; его воля — непреклонная воля, воля не момента, а неизбежности, «рока» над обреченной людской стаей.

Впечатление растет, охватывает меня, как сама жизнь, но без ее ненужных случайностей, фотографических подробностей. Тут все главное, необходимое. Чем больше я смотрел на Ермака, тем значительней он мне казался как в живописи, так и по трагическому смыслу своему. Он охватывал все мои душевные силы, отвечал на все чувства.

Суриков это видел и спросил: «Ну, что, как?» — Я обернулся на него, увидел бледное, взволнованное, вопрошающее лицо его. Из первых же слов моих он понял, почувствовал, что нашел во мне, в моем восприятии его творчества то, что ожидал. Своими словами я попал туда, куда нужно. Повеселел мой Василий Иванович, покоровший эту тему, и начал сам говорить, как говорил бы Ермак — покоритель Сибири.

Наговорившись досыта, я просил Василия Ивановича разрешить мне сказать то малое, что смущало меня. Надетый на Ермака шишак, мне казалось, слишком выпирал своей передней частью вперед, и затем я не мог мысленно найти ног Ермака... Василий Иванович согласился, что в обоих случаях что-то надо «поискать». Конечно, он ни тогда, ни после и не думал ничего искать, да и прав был: такие ошибки всегда почти бывают художником выстраданы и тем самым оправданы.

Прощаясь еще более дружелюбно, чем встретил, Василий Иванович сказал, что «Ермака» из посторонних якобы видел пока один Савва Иванович Мамонтов, бывший тогда во всей славе своей. Года через два-три был написан «Суворов»⁴, я тоже видел его один из первых, но того впечатления, что от «Ермака», не испытал.

«Разина» видел я на Международной выставке в Риме; картина была дурно повешена, да в ней и не было прежнего Сурикова, Сурикова «Стрельцов», «Меньшикова», «Морозовой», «Ермака», — годы брали свое⁵.

Нарушая последовательность появления суриковских картин, скажу о своей самой любимой — о «Меншикове в Березове». Появление ее когда-то вызвало большое разногласие как среди художников, так и среди общества. Умный, благородный, справедливый, равно требовательный к себе и другим, Крамской, увидав «Меншикова», как бы растерялся, встретив, спускаясь с лестницы, идущего на выставку Сурикова, остановил его, сказал, что «Меншикова» видел,

что картина ему непонятна — или она гениальна, или он с ней еще недостаточно освоился. Она его и восхищает и оскорбляет своей... безграмотностью — «ведь если ваш Меншиков встанет, то он пробьет головой потолок»... Однако, несмотря ни на какие разногласия, П. М. Третьяков тогда же приобрел картину для своей галереи.

Нам, тогдашней молодежи, картина нравилась, мы с великим увлечением говорили о ней, восхищались ее дивным тоном, самоцветными, звучными, как драгоценный металл, красками. «Меншиков» из всех суриковских драм наиболее «шекспировская» по вечным, неизъяснимым судьбам человеческим. Типы, характеры их, трагические переживания, сжатость, простота концепции картины, ее ужас, безнадежность и глубокая, волнующая трогательность — все, все нас восхищало тогда, а меня, уже старика, волнует и сейчас.

Однако вернусь к тому времени, когда Суриков был еще в поре, когда он жил в Леонтьевском переулке, где продолжались наши встречи с ним. Тогда еще наши встречи с ним были горячи и дружны. Эти встречи не были часты; они не могли быть часты потому, что я бывал в Москве наездом из Киева.

Мои посещения Василия Ивановича иногда бывали в обществе приятелей-художников. Больше всего я любил бывать у него один. К тому времени обе дочери его стали подрастать, кончили гимназию, у них были уже свои интересы, знакомства. На окнах появились какие-то занавесочки, стояли диван, кресла и еще какие-то несоответствующие новшества, и лишь в комнате самого Василия Ивановича оставался его старый друг, красноярский сундук с этюдами, эскизами — «аквареллами», покрытый нарядным сибирским ковром, давно знакомым мне еще по дому Збука⁶, где мы в старые годы отогревались у Василия Ивановича чаем, сидя за столом на этом сундуке.

В Леонтьевском вечерами нередко беседа наша касалась великого Иванова. Кто и когда из русских художников, серьезно настроенный, любящий искусство, не останавливался на этой волнующей теме? Тогда еще не замолкли голоса Хомякова, Гоголя, тогда мы, художники, ставили превыше всего «Явление Христа народу», а не эскизы Иванова, сами по себе превосходные, но не вмещающие всего Иванова, Иванова в пору его величайшего творческого напряжения, в пору его ясновидения.

Вот об этом-то сильном, творящем свое гениальное «Явление Христа народу», мы и говорили в те времена с Суриковым. Василий Иванович любил Иванова любовью полной, всевмещающей, любил как художник-мастер и как

творец: так в те времена любили Иванова и Крамской и Репин. Любили и Поленов, и В. Васнецов, и кое-кто из нас, тогдашних молодых...

Мне говорили, как Василий Иванович в последние годы жизни, когда знаменитая картина была уже в лучших условиях, стояла в помещении с верхним светом, приходил в Румянцевский музей за час, за два до его закрытия, и, одинокий, оставался перед картиной, стоял, садился, снова вставал, подходил к ней вплотную, впиваясь в нее, ерошил свои волосы и с великим волнением уходил домой, чтобы опять прийти, опять насладиться, приходиться в смущение и восторг от того, что видел своим духовным оком, оком творца «Морозовой», «Меншикова», «Ермака».

В Сурикове в годы нашей близости, да, вероятно, и до конца дней его, великий провидец времен минувших, человек с величайшим интеллектом, уживался с озорным казаком. Все это вмещала богатая натура потомка Ермака. Быть может, потому-то, захватывая в его лучших картинах так широко, так всеобъемлюще жизнь, отражая ее трагические и иные причуды, он так поражает ими наше чувство и воображение. В нем жили все его герои, каковы бы они ни были.

Когда-то Остроухов рассказывал: однажды Суриков, В. Васнецов и Поленов встретились у него — Остроухова. Тогда были ими уже написаны «Морозова», «Каменный век» и «Грешница». Остроухов же был молодым малоизвестным художником. Все сговорились собраться у Сурикова на пельмени. Собрались... Были пельмени, была и выпивка, небольшая, но была. Были тосты.

Первый тост провозгласил хозяин. Он скромно предложил выпить за трех лучших художников, здесь присутствующих. Выпили. Прошло сколько-то времени — Поленов, посмотрев на часы, заявил, что ему, как ни жаль покинуть компанию, необходимо уйти. Простился и ушел. Оставшиеся трое — Суриков, Васнецов и Остроухов — продолжали дружескую беседу. Василий Иванович, налив вина, предложил теперь снова выпить за здоровье оставшихся двух — Васнецова и Сурикова, уже действительно лучших и славных. Выпили. Остроухов присутствовал при этом...

Время шло. Надо было и Васнецову собираться домой, с ним поднялся и Остроухов. Простились, ушли. Спускаясь по лестнице, Васнецов и говорит добродушно Остроухову: «А вот теперь Василий Иванович налил еще рюмочку и выпил ее совершенно уже искренне за единственного лучшего русского художника — за Василия Ивановича Сурикова. »

Шли годы, мы жили, работали, росли наши дети, старились мы, старики. Являлись новые художники, сменялись законы жизни и сама жизнь. И нашим добрым отношениям с В. И. Суриковым, видимо, приходил конец...

Первые признаки перемены прежних отношений проявились в годы, предшествующие моей выставке (1907). Я скоро догадался, что то, что было, ушло невозвратно. В последние девять-десять лет мы встретились два-три раза — не больше... Последний раз мы, помнится, встретились с Василием Ивановичем на выставке икон. Разговаривать было не о чем... Более в живых я Сурикова не видал. Увидел его во время отпевания, простился, проводил до могилы на Ваганьковом⁷.

Я, как и в молодости, продолжаю восхищаться огромным талантом Сурикова и уверен, что его значение в русском искусстве так же, как значение великого Иванова, как многих истинных великих людей нашей родины, будет незыблемо, вечно.

В. М. ВАСНЕЦОВ

Многолетняя близость моя к Виктору Михайловичу Васнецову, наши исключительные с ним отношения делают мою задачу — написать о нем правдивый очерк — очень трудной, и все же я обязан это сделать более чем кто-либо. Попробую взглянуть на пройденный им путь, на его великое наследие с возможной объективностью. Мои отношения к этому большому художнику не были одинаковыми, они менялись.

Когда-то, в юношеские, ученические годы, когда Васнецов резко порвал с «жанром», так своеобразно им показанным в его картинах «Чтение военных телеграмм» (1878), «Преферанс» (1879), столь не похожих на Перова, еще меньше на Вл. Маковского, когда Виктор Михайлович пришел к сказкам, былинам, написал свою «Аленушку» (1881), когда о нем заговорили громче, заспорили, когда он так ярко выделился на фоне передвижников с их твердо установившимся «канонem», — тогда новый путь Васнецова многим, в том числе и мне, был непонятен, и я, как и все те, кто любил его «Преферанс», пожалел о потере для русского искусства совершенно оригинального живописца-бытовика, а появление его «Трех царевен подземного царства» (1881), с одинаковым увлечением поносили как «западники», так и «славянофилы».

Ругали их и неистовый Стасов, и горячий патриот Иван Сергеевич Аксаков в своей «Руси»¹. Стасов кричал: «Так и Василий Петрович Верещагин напишет» (Василий Петрович Верещагин был малодаровитый профессор Академии художеств, писавший на темы былин и русской истории).

Злополучные «Царевны» были выставлены на одной из передвижных выставок, кои в Москве бывали всегда в

нашем Училище живописи, и мы, ученики, на правах «хозяев», фланировали по выставке до ее открытия и, конечно, критиковали «Царевен» беспощадно.

Вот в это-то время я впервые и увидел Васнецова. На него показали мне приятели. По анфиладе выставочных зал, в ее «музыкантский» конец быстрыми шагами удалялась высокая фигура. Это был Виктор Михайлович Васнецов, с которым в будущем мне пришлось не только работать, но и быть многие годы, несмотря на большую разницу лет, в самых близких отношениях.

Перелом в моих взглядах на васнецовское искусство произошел у меня позднее, при следующих обстоятельствах: как-то я бродил по Третьяковской галерее. У васнецовского «Игоревы побоища» (1880)² стояла группа посетителей. Среди них я заметил известного тогда артиста Малого театра Макшеева; он горячо, с увлечением пояснял окружающим поэтическую прелесть картины.

Я невольно стал вслушиваться в восторженное повествование артиста, и не знаю, как случилось, но у меня как завеса с глаз спала. Я прозрел, увидел в создании Васнецова то, что так легко было скрыто от меня. Увидел и горячо полюбил нового Васнецова — Васнецова большого поэта, певца далекого эпоса нашей страны, истории нашего народа, родины нашей. Никогда не забывая своего учителя — Василия Григорьевича Перова, его значения в нашем искусстве, узнав и полюбив Васнецова, я стал душевно богаче, увидел обширное поле красоты. Мне стали понятны помыслы художника-мечтателя, его «Царевны», «Аленушка», «Каменный век», весь тот мир, в коем столь радостно, так полно, неограниченно жил и творил тогда Виктор Михайлович, несмотря ни на нападки на него, ни на материальную нужду: еще незадолго до создания одной из самых проникновенных в глубину веков картин — своего «Каменного века», он, тогда уже многосемейный, бывал вынужден носить в заклад свои серебряные часы, так как картины его этого времени оплачивались очень скудно. Его «Аленушка», три из четырех панно для Донецкой дороги пошли по 500 руб., а четвертое — «Три царевны» — заказавший панно Савва Иванович Мамонтов забраковал вовсе («Царевны» были проданы спустя много лет Ивану Николаевичу Терещенко и сейчас украшают Киевский музей).

Восторги поклонников и поклонниц васнецовских дерзновеней оставались платоническими. «Каменный век», заказанный графом Уваровым для Исторического музея (композиция его была вчерне освоена Васнецовым на извозчике,

по пути от Исторического музея до Полянки, где он тогда проживал), дал художнику передышку.

Эти же годы совпадали с расцветом художественной жизни в Абрамцеве, когда-то любимой подмосковной старика Аксакова, где в разное время перебивало немало выдающихся людей, имена коих давно перешли в историю русской культуры. При Сергее Тимофеевиче Аксакове жил там Гоголь, бывали Погодин, Хомяков и другие славянофилы. Позднее, уже в мамонтовском Абрамцеве, бывали художники, артисты: В. М. Васнецов, И. Е. Репин, В. Д. Поленов жили там семьями. Туда наезжают Суриков, Антокольский, Неврев, молодой Серов пишет там свою «Верушку Мамонтову» («Девочка с персиками»), гостят там Костя Коровин, Врубель, Аполлинарий Васнецов, молодой Шаляпин.

Живал там и я: с абрамцевского балкона был написан фон к «Варфоломею».

В те годы с увлечением создавалась абрамцевская церковка. Над ней трудились В. Васнецов и Репин, брат и сестра Поленовы, Антокольский дал туда свою скульптуру. Тогда же появились васнецовская «Избушка на курьих ножках» и очаровательные эскизы к «Снегурочке»³. Эскизы эти позднее послужили источником хороших и еще больше плохих подражаний, создав искаженный, так называемый «васнецовский стиль», немало огорчавший Виктора Михайловича.

Эскиз к «Снегурочке» — «Ярилина долина», полный сказочной таинственной прелести, увлекает уравновешенного молодого Серова, он делает с акварели «Ярилиной долины» копию маслом, она и по сей час находится в Абрамцевском музее.

В мамонтовское Абрамцево, проездом в Киев, заглядывает Адриан Викторович Прахов, приходит в восторг от содеянного там Васнецовым, привлекает его к росписи киевского Владимирского собора, во главе комиссии по окончании коего тогда был поставлен Прахов.

Васнецова не пришлось долго уговаривать: после «Каменного века» Виктор Михайлович спал и видел роспись больших стен. Васнецов в Киеве; с огромным воодушевлением он отдается новому, такому для него увлекательному делу, мало помышляя о заработке.

Незаметно пролетели первые пять лет, голые стены некрасивого сооружения архитектора Беретти изменились так, что о них заговорили не только дома, в России, но и за границей. В первые пять лет Васнецовым была создана лучшая часть работ, а его помощниками были подготовлены по его эскизам и картонам многие стены. Нарисованы им почти

все акварельные эскизы. Словом, был проделан труд чудовищный по своим размерам, и немудрено, что Прахов, видя непосильный труд Васнецова, пытается привлечь к соборной росписи Репина, Сурикова, Поленова. Однако безуспешно: все трое в это время были заняты своими ответственными картинами, к тому же все главное в соборе было уже сделано. Тогда-то Праховым была сделана грубая ошибка; он вывез из Рима Сведомских и Котарбинского, людей, ни в какой мере такого рода работами не заинтересованных.

Почти одновременно Прахов обратился к Врубелю, перед тем расписавшему стены древней Кирилловской церкви и написавшему туда же в Венеции прекрасный по стилю и краскам иконостас.

Врубелю предложение было по душе, и он сделал превосходные эскизы, но невежественная комиссия их забраковала (сейчас эти эскизы хранятся в Киевском музее). Участие Врубеля ограничилось немногими интересными орнаментами. Тогда же Прахов предложил Серову сделать композиции для одной из стен на хорах, тот дал согласие, но с представлением эскиза пропустил все сроки, с окончанием же росписи в Петербурге стали торопить.

В это время мной был написан «Пустынный», обративший на себя внимание киевлян на Передвижной, а на следующий год появился на Передвижной же «Варфоломей». Его в Петербурге видел Прахов и проездом через Москву, на домашнем спектакле у Мамонтова, познакомился со мной и тут же предложил мне работать в Киеве, сначала поехав туда и ознакомившись на месте с делом.

Я, как и многие тогда, по ходившему фотографическому альбому знал о работах Васнецова, был им увлечен, однако и я не сразу согласился на праховские «соблазны» (уж никак не материального характера). У меня также была затеяна картина, кроме того, я мечтал поехать в Питер доучиваться у П. П. Чистякова. Однако мое сопротивление было сломлено, и весной я обещал Прахову побывать в Киеве.

Перед поездкой туда был у П. М. Третьякова, он напутствовал меня словами «не засиживаться долго в соборе». Был май месяц, природа ликовала победу над студенкой зимой⁴. Подъезжая к Днепру, вижу чудесную картину: высокий берег широкой реки, покрытый цветущими садами с пирамидальными тополями, среди этих южных красот то там, то тут мелькает киевская старина.

Переехали мост, пошли окраины, «Соломенки», «Демиевки», а там справа синие купола: это и есть Владимирский собор, цель моей поездки. Там Виктор Васнецов, как гласила молва, «творит чудеса». Там мечта живет, мечта

о «русском ренессансе», о возрождении давно забытого дивного искусства «Дионисиев», «Андреев Рублевых».

Вот и приехали, беру извозчика, еду мимо некрасивого, окруженного ветхим забором Владимирского собора, еду в номера Чернецкого, там наскоро привожу себя в порядок, спешу в собор. Я весь — молодой порыв, желание скорей увидеть, что там творится.

Вхожу в калитку. Встречает старый Степан, верный и ревностный страж покоя художников от назойливых посетителей. Я знаю «пароль», меня пропускают, вхожу: передо мной леса, леса, в промежутках то там, то здесь поблескивает позолота, глядят широко раскрытыми очами «Пророки», видны чудные орнаменты. Зрелище великолепное, напоминающее соборы Италии, ее мозаику. Медленно двигаюсь среди непривычной, такой таинственной обстановки, двигаюсь робко, как в заколдованном лесу.

Куда-то проходят люди, озабоченные, запыленные, тащат бревна, стучат топорами, где-то молотками бьют по камню. Тысячи звуков несутся ввысь, туда, в купол. Всюду кипит жизнь, все как бы в каком-то деловом экстазе. Так мне, повичку, кажется.

Спрашиваю Васнецова; говорят, что он на хорах, вон там, на левом их крыле. Сейчас он занят: снизу кричат ему мою фамилию, голос сверху приглашает меня на хоры, кому-то приказывает проводить меня туда. Появляется, как из земли, рабочий в блузе, без пояса: это Кудрин — соборный «талант»: он наотмашь сдергивает с лохматой головы картуз, говорит: «пожалте» — и быстро ведет меня то вправо, то влево: поднимаемся по пологим лесам все выше, выше.

По лесам я иду впервые, иду робко, озираясь влево на все увеличивающуюся пропасть: перил нет, голова немного кружится, а мой спутник летит по ним «быстрее лани», да и я скоро буду бегать по ним, как по паркету. Наконец, площадка; мы на хорах. Кудрин круто берет влево, и я вижу между лесов, перед огромным холстом фигуру в синей блузе, с большой круглой палитрой на руке. Это и есть Виктор Михайлович Васнецов.

Заслышав наши шаги, Виктор Михайлович оборачивается, кладет палитру на запыленные бревна, идет навстречу. Мы сердечно здороваемся, целуемся, и с этой минуты начинаются на долгие годы наши добрые отношения, быть может, дружба, с малыми перебоями, едва ли от нас зависящими. Мы какие-то «Штоль и Шмидт»*...

* Штоль и Шмидт — владельцы торгового дома аптекарских и парфюмерных товаров в Петербурге.

Виктор Михайлович в те дни был таким, каким его написал незадолго перед тем Н. Д. Кузнецов. Виктор Михайлович был высок ростом, пропорционально сложен, типичный северянин-вятич с русой бородой, с русыми волосами на небольшой голове; прядь волос спускалась на хорошо сформированный лоб. Умные голубые глаза, полные губы, удлинённый правильный нос. Фигура и лицо 41-летнего Васнецова дышали энергией, здоровьем. Мы заговорили о работах, о моем «Пустыннике», о «Варфоломее»; Васнецов, вопреки Прахову, находил их свободными от западных влияний.

Виктор Михайлович повел меня осматривать им сделанное. Тут же в двух шагах была одна из стен, кои мне предстояло расписать.

В тот же день я познакомился с семьей Васнецова. Его жена — его землячка, из Вятки; она была женщина-врач первого выпуска, лет тридцати пяти. Было пятеро детей: четыре сына и дочь, гимназистка лет двенадцати. Жили Васнецовы у Золотых ворот, жили очень скромно, да иначе и не могло быть, так как труд его оплачивался более чем умеренно. Достаточно сказать, что за все десять лет работ в соборе Васнецов получил всего 40 тысяч р., причем позолота, а ее было много, полагалась на его счет. Подрядчики-иконописцы брали тогда дороже. Если бы П. М. Третьяков не приобрел у Васнецова «Ивана-царевича на Сером волке» (1889), то едва ли ему удалось бы по окончании собора свести концы с концами.

В мастерской, в большой комнате, стояли начатые еще в Москве «Богатыри», прорисованные местами мелом. Я видел их впервые, и они, неоконченные, обещали больше, чем оказалось в оконченном виде. В тот день я остался у Васнецовых обедать. Подали, ради московского гостя, бутылочку красного, выпили по рюмочке, по другой — и баста. Были хорошие разговоры об искусстве, о предстоящих работах.

Вечером пошли к Праховым. Семейство Праховых было известно в Киеве своею эксцентричностью. Сам Адриан Викторович был большим мастером слова, большим дельцом. Официально он был профессором истории искусства в Киевском университете и членом комиссии по окончании Владимирского собора.

Украшением семьи была старшая дочь Прахова Леля, та самая, что изображена Васнецовым на лучшем портрете его работы, принадлежащем Государственной Третьяковской галерее. На другой день мы с Виктором Михайловичем были приглашены Праховым обедать, после чего со мной

велась деловая беседа, а на следующий день я выехал в обратный путь в Москву, с тем чтобы осенью вернуться и приняться за дело...

Был сентябрь, я застал Виктора Михайловича несколько переутомленным, он проходил усталой рукой то, что было подготовлено его помощниками, оканчивал эскизы, картоны...

Время от времени Васнецову делали новые предложения росписи, но он от них уклонялся. Была угроза росписи так называемой Великой лаврской церкви, но и она отпала, быть может, потому, что тогдашний киевский митрополит, суровый Иоанникий, не жаловал Владимирский собор и будто бы однажды высказал, что он «не желал бы встретиться с васнецовскими пророками в лесу», да и вообще наше духовенство было более чем равнодушно к изобразительному искусству.

Между тем слава Васнецова росла и не всегда радовала его: неумеренные, а подчас и неумные почитатели его соборных работ равняли их с великими произведениями итальянского Ренессанса, чаще других с Рафаэлем. Такие восторги принимались Виктором Михайловичем с благодушной иронией, и он, отшучиваясь, говорил: «Ну, где уж там — Рафаэль, хотя бы Корреджио-то быть!». Здоровый критический ум, его честность перед собой спасали его от обольщений. Он говорил как-то о себе, вспоминая о судьбе Кукольника: «Хорошо-то оно хорошо, но и Кукольник думал о себе, что он — Пушкин, да ошибся... так Кукольником и остался, это помнить надо». Думается, что, написав «Каменный век», «Игорево побоище», «Аленушку», да и еще кое-что, Виктор Михайлович «мог спать спокойно».

Опасность же не забвения, а охлаждения некоторой части русского общества начиналась уже в конце 90-х годов.

Но самое опасное для Васнецова заключалось в том, что он в свое время, в годы своего академического ученичества, не прошел не только школы Иванова и Брюллова, но не прошел он и той, более поздней школы, которую прошли Репин или Серов.

Тут невольно вспоминаются слова «юродствующего мудреца» Павла Петровича Чистякова: он говорил, что у него «было два ученика: один, Виктор Васнецов, — он не допекся, другой, Савинский, — тот перепекся». Вот это-то «не допекся», незаметное в пору расцвета огромного таланта Васнецова, и стало более и более тяготеть над ним в пору его усталости.

Те знания, что были, — иссякли, а об их обновлении, оздоровлении на природе, на живой природе, на которой можно было без конца еще учиться, доучиваться было некогда, и может быть, не хотелось думать. Ведь после ряда лет бурного творчества так скучно учиться... Впереди так много дела: там Варшавский собор, Храм Воскресения в Петербурге, храм в Гусь-Хрустальном, — а там далеко, далеко мерещится отдых, отдых на любимых темах, на давно облюбованной серии сказок...

Закончу свой очерк о В. М. Васнецове напоминанием, что исключительный успех его породил в свое время немало о нем неверных толков. Для его характеристики красок, особенно темных, не жалели. Между прочим, указывали на какую-то неприятную «елейность». Елейности в нем не было, была мягкость, было благодущие, и то до времени, и вот, что мне невольно вспоминается из киевской поры. В собор во время работ в нем вход посторонним был строго воспрещен, об этом было всем известно, у входа красовались соответствующие распоряжения высокого начальства.

И вот однажды в рабочий, горячий день в соборе появляется важный генерал, генерал-адъютант — «персона первого ранга». Он разгуливает между лесов, побрякивает — таково сановито, а художники с лесов посматривают: не до работы им. Так было до тех пор, пока Васнецов не спеша спустился вниз, подошел к незваному гостю и в самой вежливой форме осведомил его о соборных правилах.

Генерал смерил дерзновенного равнодушным оком и... пошел молча дальше. Этого было достаточно, чтобы Васнецов мгновенно из мягкого превратился в жесткого, он побагровел, клок его волос прилип ко лбу (плохой знак), и он совершенно решительно заявил важному посетителю, чтобы он уважал правила, установленные не по капризу, и чтобы тотчас оставил собор.

Оба вспыхнули. Генерал запальчиво объявил, что он генерал-адъютант Рооп, что он одесский генерал-губернатор, что его знают в Петербурге достаточно, и со словами, что он тотчас же туда телеграфирует, — покинул собор. Васнецов вернулся на леса. Последствий никаких не было. Вот каким «елейным» мог быть Виктор Михайлович Васнецов... Вообще же он любил хорошую шутку, любил остроумную беседу с милейшим Павлом Осиповичем Ковалевским — эксбаталистом. Как-то, помню, разбираясь в себе, шута заметил Ковалевскому, что он, Виктор Михайлович, ни больше, ни меньше, как «неудавшийся грешник»...

В свое время немало говорилось о васнецовском «богатстве». Из Киева он вернулся через десять лет почти таким же «богачом», как приехал туда. Что же было им заработано позднее, было чудовищно преувеличено. Он продолжал жить в Москве так же скромно, как в Киеве. Правда, у него была маленькая усадьба, совершенно бездоходная, где он отдыхал летом, и был деревянный дом с мастерской в одном из переулков на Мещанских⁵. Мастерская и была наградой за его многолетние труды, за то, что он дал своим талантом русскому обществу.

В этой мастерской он работал последние 15-20 лет.

Работы Васнецова последних лет были поэтическими по замыслу, но технически уже были далеки от прежних. Прекрасные в эскизах, они нередко проигрывали в слишком больших размерах на картинах.

Виктор Михайлович Васнецов был истинным художником, и никем и ничем иным быть он не мог. Он прожил хорошую, честную, трудовую жизнь — и его ли вина, что эта жизнь сложилась, быть может, не так, как она мерещилась в пору молодости его огромного таланта, и что он дал не все, что ждало когда-то от этого таланта русское общество?

И то, что оставил нам Васнецов в наследство, не всякому удастся оставить. Наследство это еще не раз будет в корне пересмотрено, и я верю, что Родина наша, столь беззаветно им любимая, еще много раз помянет его добрым словом своим...

Н. Н. ГЕ

Центром Передвижной выставки 1890 года, ее «сенсацией», была картина давно не выставлявшегося старого знаменитого мастера Н. Н. Ге, его «Христос перед Пилатом». Около нее — толпа. Голоса разделились. Одни в восторге, другие «не приемлют». С детских лет я любил Ге за «Тайную вечерю», за «Петра и царевича Алексея», но тут все так не похоже на то, что я любил. Христос Ге далек от меня, он чужой; однако все же писал его большой художник, и мне не хочется пристать к хулителям.

Выставка вообще интересная. Мне также приходится слышать немало приятного за моего «Варфоломея». Около него молодежь, о нем говорят горячо. Со мной милы, ласковы, но не «мэтры». Те молчат, не того они ждали после «Пустынника». Я стал им ясен, но не с той стороны.

Я не их, какой-то чужой и, как знать, может быть, вредный, опасный...

В субботу был обычный вечер перед открытием выставки у Николая Александровича Ярошенко. Маленькая квартира артиллерийского полковника на пятом этаже по Сергиевской полна народа. Кого-кого тут нет! Весь культурный Петербург здесь. Тут и Менделеев, и Петрушевский (химик), еще несколько выдающихся профессоров того времени, либерального лагеря, но особенно много художников-передвижников. Среди них главенствует давно не бывший в Петербурге, старейший из них Н. Н. Ге. Я тоже приглашен, присутствую здесь среди этого цвета русского искусства.

Часов около двенадцати приглашают к ужину. Как в этой маленькой столовой уместится такое множество людей, это знают только гостеприимные хозяева — Николай Алек-

сандрович и Мария Павловна, да еще так озабоченная добрая матушка Марии Павловны.

Тесно, но как-то усаживаются. Я неожиданно своим соседом справа имею «героя сезона» Н. Н. Ге. Против меня И. И. Шишкин, В. Е. Маковский и еще кто-то из москвичей... Я чувствую себя таким маленьким, почти мальчиком. Мой сосед справа и не замечает меня, зато я на него «взираю». Он уже овладел вниманием общества и так красноречиво, внушительно, с такой чарующей дикцией ораторствует. Все «внемлют». Редко кто возражает. Давно не слышали старого, опытного мастера слова, и он знает себе цену. На ужинах у Ярошенок вкусно ели, а пили мало. Говорили горячо, интересно, расходились поздно, часа в два и позднее. Так было и на этот раз.

На другой день встал я поздно: проспал. В Академию наук, где в тот раз помещалась Передвижная выставка, я попал часам к двенадцати. Вхожу, ко мне навстречу идет И. М. Прянишников.

«Где вы пропадаете? Вас с утра ищет Н. Н. Ге. Всех спрашивает о вас. Пойдемте».

Я поспешаю за Илларионом Михайловичем, не зная, чему приписать желание видеть меня, явившееся у Ге. Вот и он идет мне навстречу, окруженный собратями-художниками. Илларион Михайлович рекомендует меня: «Вот вам Нестеров, получайте». Николай Николаевич оставляет своих спутников, протягивает мне руку, целует меня, обнимает, и мы удаляемся вдвоем в сторону.

Ге говорит, что он с утра хотел со мной познакомиться, искал меня, видел мою картину и хочет со мной о ней и о многом поговорить. Идем к картине. Он хвалит пейзаж, мальчика, говорит, что в картине большая свежесть, но о теме ни полслова. Говорит о задачах искусства, о его высокой роли среди людей. Называет меня «братом христовым» и еще кем-то...

Я, как очарованный, слушал Николая Николаевича. Его дивная дикция волнует меня. Я, совсем еще неопытный в житейской комедии, принимаю все за чистую монету. А Николай Николаевич входит в свою привычную, любимую роль «учителя», пророка, увлекает меня дивными перспективами, передо мной открывающимися. Так проходит, быть может, час. Мы все ходим, ходим Николай Николаевич все говорит, говорит... И я начинаю утомляться от ходьбы, от напряженного внимания к словам, не всегда понятным, «учителя», а он, как бы угадывая мое состояние, неожиданно останавливается со мной у своей картины, у «Христа перед Пилатом», и спрашивает мое мнение о ней.

О картине его я и позабыл и сейчас был как бы разбужен от сладкого сна ударом в бок. Что я скажу ему, этому славному художнику, такому ласковому со мной? У меня нет слов, кои ему нужны от меня, я их не знаю, не чувствую его создание. Как быть? Солгать?.. Солгать после такой увлекательной, высоконастроенной и благосклонной беседы?..

Нет, солгать не могу. Не могу и сказать той горькой «правды», что думаю о картине: я не могу, не хочу этого прекрасного старика обидеть. Промолчу, — быть может, так будет для него лучше, не так больно.

А время идет да идет. Молчание мое для Николая Николаевича становится подозрительным, наконец, неприятным. И так мы простояли перед «Пилатом» минут десять. Я нем как рыба. Для старика все стало ясно, и он... повернулся и ушел, куда-то исчез, оставил меня, ушел с тем, чтобы никогда ко мне не подходить, стать навсегда ко мне глубоко враждебным.

Он никогда не простил мне моего неумелого молчания, много раз страстно осуждал мои картины, и не раз их приходилось защищать от памятливого старика.

Особенно выразилось такое ко мне отношение Николая Николаевича, когда был выставлен мною «Сергий с медведем»¹. Ге был неумолимым его хулителем, и картина моя, тогда еще экспонента, была едва принята на выставку, и если и была принята, то лишь благодаря не менее страстному за нее заступничеству Архипа Ивановича Куинджи. Спор был жаркий, я прошел лишь одним голосом.

Позднее я видел Н. Н. Ге еще два раза. Один раз на той же Сергиевской у Ярошенок, в другой раз в Киеве на улице.

Так же, как и тогда, когда был выставлен «Пилат», Ге привез на Передвижную, что — не помню. Как и тогда, собралось много народа у Ярошенок. Был и я, теперь свой там человек. Звонок — открывают дверь, входит Н. Н. Ге, в армяке, засыпанный снегом: ни дать ни взять максимовский колдун на свадьбе².

Весть, что пришел Ге, мгновенно облетела квартиру, и вот вижу в дверь из мастерской, как старика обступила куча молодежи, студентов, курсисток... С него благоговейно смахивают снег. Кто старается над засыпанной снегом шапкой, кто сметает снег с валенок и, проделавши эту часть туалета, снимает бережно с него армяк, а Николай Николаевич, как архиерей во время облачения, только протягивает руки, повертывает голову и говорит, говорит, говорит, а его слушают, внимают ему. Разоблачив, повели его прямо через коридор в гостиную.

Я скоро ушел и его в тот раз больше не встречал. Последний раз я видел Николая Николаевича в Киеве, в те дни, когда я расписывал Владимирский собор.

Помню, мы сидели с Виктором Михайловичем Васнецовым на балконе. Мы отдыхали после рабочего дня, о чем-то лениво говорили, как вдруг Васнецов говорит: «Смотрите, ведь это едет Ге». Я обернулся и увидел Николая Николаевича, ехавшего на извозчике в сторону Софийского собора. С ним на пролетке сидел почтительно, бочком, молодой человек, по виду художник. Николай Николаевич что-то оживленно ему говорил, и нам показалось на наш счет, так как смотрели оба на наш балкон. Ни он нам, ни мы ему не поклонились, и этот наш поступок мы не могли забыть и простить себе всю жизнь. Вызван он был тем, что Ге всюду и везде с великой враждой относился к нашей попытке росписи во Владимирском соборе³.

Вскоре я узнал, что Ге скончался у себя на хуторе...

В. В. ВЕРЕЩАГИН

Как-то в самом начале девятисотых годов я проездом из Киева был в Москве, повидал кого нужно, вечером сидел уже в поезде, ехал в Петербург.

В купе нас было четверо. Рядом со мной, у двери, сидел молодой квалергард-корнет. Напротив, у окна, — квалергардский ротмистр. Оба такие породистые, красивые, элегантные в своих белых с красным околышем фуражках. Наискось от меня, у двери, сидел штатский с бледным, как бы слоновой кости лицом, огромным, прекрасно сформированным лбом, увеличенным большой лысиной, с орлиным носом, с тонкими губами, с большой бородой. Лицо чрезвычайно интересное, умное, энергичное. В петлице хорошо сшитого пиджака — офицерский георгиевский крест. Ого, подумал я, штатский-то, должно быть, был вояка. Лицо его, чем больше я смотрел на него, было такое знакомое, издавна известное. Где я его видел?.. С некоторым вниманием относились к штатскому и квалергарды — к его беленькому кресту на оранжевой с черным ленточке. И вдруг я вспомнил его лицо.

Да это ведь Василий Васильевич Верещагин, знаменитый наш баталист, герой Ташкента, сподвижник Скобелева!¹ Вот кто с нами был сейчас в купе... Внимание мое к спутнику, если не утроилось, то удвоилось. Это имя тогда имело яркий ореол, его еще не пытались свести на нет в русском искусстве, как это случилось позднее. Оно, это имя, сияло — оно было равно Репину, В Васнецову, Сурикову. Я любил его картины. Я узнал их и запомнил еще с ранней поры юности. Его туркестанская коллекция, прогремевшая по всему свету, его иллюстрации русско-турецкой войны — все эти «30 августа», «Шипка-Шейново», «Победители»² и проч., — все жило и было еще действенно. И вот автор

этих произведений сидит тут с нами. Художник-герой. Это так редко совмещается. Что хотите, но герой и наш брат художник — эти два образа не часто бывают идентичны. И я невольно не спускаю с него глаз, всматриваюсь в его умное, несколько холодное лицо, и этот беленький крестик маячит передо мной.

Кавалергарды переговариваются между собой то по-русски, то по-французски. Они отлично воспитаны, отменно предупредительны, чем как бы хотят оградить себя от знакомства с нами, неизвестными штатскими. У них свои товарищеские, полковые интересы, с них этого довольно. Чувствуют себя отлично, свободно.

Быстро проехали Клин. Мой визави-ротмистр достал дорожный подсвечник отличной работы, ловко укрепил его у себя на стенке, вынул из прекрасного саквояжа небольшой, в канареечной обложке томик французского романа и, усевшись поудобнее, стал разрезать листы канареечной книжечки. Красивая рука красиво держит красивый нож, красиво, не спеша им разрезывает листок за листком.

Верещагин (буду называть нашего спутника так) зорко, глазом если не орла, то коршуна, поглядывает на нас... Что он думает, что чувствует этот почти легендарный человек? Он непроницаем...

Кавалергарды что-то говорят между собой по-французски, выходят оба разом в коридор. Свеча у места ротмистра остается гореть — он ее позабыл потушить.

Прошло достаточно времени. Верещагин стал выражать какое-то нетерпение, не то нервничал, не то ждал чего-то... Посматривал то на дверь, то на оставленную гореть свечу. Что-то ему было не по себе...

И вдруг он быстро встает с места, быстро кидается к свечке и... тушит ее. Тушит и, как ни в чем не бывало, снова садится на свое место... Он успокоился. Причина его раздражения была эта свечка — она потухла, потух и он. Сидит почти не шевелясь — думает.

Иногда его взгляд скользит по мне, мой — по нему.

Проходит немало времени, кавалергарды вернулись: они накурились, наговорились (купе было для некурящих), входят, и ротмистр видит, что свеча не горит... Как так — он ее не тушил, и не сама она потухла. Обвел поверх нас недоуменным глазом, — видимо, что-то понял, не спеша зажег снова свечу, устроился на своем месте, снова взял книжку и стал читать. Его юный сотоварищ сделал то же.

Тишина. Не спится. Никому из четверых не спится. Проходит сколько-то времени. Ротмистр встает, потягивается, и оба снова удаляются покурить... Свеча не задута.

Посмотрим, как на сей раз отнесется к этому как бы вызову наш «герой Ташкента».

А он снова нервничает, ерзает на месте. Лицо бледное, заостренное, губы тонко сжаты... и неожиданно тот же маневр, и свеча снова задута. Ого, думаю, дело принимает оборот серьезный — это уже почти «объявление войны». Посмотрим.

Кавалергарды снова появились. Старший видит, что свечка опять погасла. Серьезное лицо, глаза скользнули по обоим. Остановились на мгновение на бледном лице Василия Васильевича, скользнули по его офицерскому Георгию, и... на этот раз война не была объявлена. Сел, снова зажег свечу, стал читать. Прошло еще сколько-то.

Подъезжаем к Бологому. Офицеры надели шинели, фуражки, снова покинули купе. На этот раз свеча была погашена ротмистром. Оба вышли.

Мы остались с Василием Васильевичем вдвоем. Я не любил дорожных знакомств, избегал их, но сейчас у меня явилось непреодолимое желание завязать разговор, познакомиться с Верещагиным. Случай редкий, соблазнительный. Я назвал себя, сказал, что с давних пор люблю его картины. Он знал мое имя и мои вещи. В особенности хорошо помнил «Сергия с медведем».

Разговор быстро завязался. Голос Василия Васильевича был резкий, металлический, тонкий — скорее бабий, неприятный. Но речь живая, образная, увлекательная. Привычка, чтобы его слушали, сказывалась тотчас же. Искусство современное, главным образом наше, тогда еще молодых художников, его волновало. Он его неохотно принимал. Наши задачи были Василию Васильевичу чужды. Он весь был полон собой, своим прошлым и настоящим. Хотя и был он с головы до ног художник, но он был в то же время этнограф, военный корреспондент и проч...

Его, не скажу, образованность, а осведомленность была огромная. Он говорил свободно обо всем. Говорил умно, дельно. Вернувшись, наши кавалергарды видят, что оба штатские уже мирно беседуют, стали приготавливаться ко сну. Скоро улеглись, заснули. А мы проговорили часов до двух.

Из всей беседы нашей я вынес впечатление, что я провсел время на редкость интересно, что мой собеседник, несмотря на свою самовлюбленность, во всем оставался большим человеком, таким же и художником, — правда, от меня и моих друзей, соратников по искусству, далеким.

Личность В. В. Верещагина не имела в русском искусстве предшественников. Его характер, ум, техника и принципы в жизни и искусстве были не наши. Они были, быть может,

столько же верещагинские, сколько, сказал бы я, американизированные. Приемы, отношения к людям были далеко не мирного характера, — были наступательные, боевые.

Проснувшись утром, мы приветствовали один другого, как давно знакомые. Был близок Петербург.

Встали и наши кавалергарды. Все умылись, почистились, уложились. Поезд, выпуская клубы пара, шумно подлетел к перрону, стал как вкопанный. Выскочил коренастый, весь в галунах, «обер». Пассажиры спешно выходили. наших спутников ждали две дамы — старая и молодая, прекрасная. Мы с Василием Васильевичем на перроне распрощались, выражая удовольствие по поводу знакомства.

Расстались мы, чтобы встретиться еще однажды, за год до поездки его на Дальний Восток. Была зима. Я, помнится, возвращался из Третьяковской галереи. На Москворецком мосту мне встретился Верещагин. Он ехал на своей кургузой лошадке в маленьких, так называемых «казанских» санках, обитых ковром. Сам правил. Одет был в шубу с бобровым воротником, в такую же бобровую шапку. Сбоку сидел кучер. Василий Васильевич узнал меня первым, приветливо поклонился и что-то крикнул, что — я уже не расслышал. Это и была моя вторая и последняя встреча с «знаменитым» Верещагиным, как его называли в отличие от другого, не знаменитого.

Через год Верещагин погиб смертью храбрых в Порт-Артурском рейде на броненосце «Петропавловск»³.

Чтобы охарактеризовать В. В. Верещагина более ясно, попытаюсь рассказать здесь то, что в разное время слышал о нем и что едва ли кем еще записано. Как-то, говоря о художниках-собратьях с В. М. Васнецовым, я от него услышал следующее о Верещагине. Васнецов был во всей славе своей, сейчас же после Владимирского собора. Он жил уже в Москве. П. М. Третьяков был очень увлечен им в те дни. Приобрел у него эскизы и картоны соборные, между ними и «Преддверие рая». Этот картон, перед тем как отправить его в галерею, Виктор Михайлович «проходил» в одной из зал Исторического музея. Однажды туда к нему ненароком зашел Верещагин. Поздоровались. Стал Василий Васильевич рассматривать картон в подробностях. Ничего не бранит — скорей даже похваливает. Однако увидел одно уязвимое место и говорит, как поправить дело. Васнецов молча слушает. Василий Васильевич увлекся открытием и неожиданно нетерпеливо говорит: «Дайте-ка сюда палитру, я вам вот здесь трону». Васнецов, со свойственной ему, когда он хотел, деликатностью, остановил увлекшегося маэстро: «Нет, — говорит, — я уж сам поправлю»...

Верещагин спохватился, наскоро распрощался и был таков.

А вот еще: Василий Васильевич, живя под Москвой, в Коломенском, работал там свой «12-й год». Заболел тяжело. Позвали славившегося тогда врача. Приехал, стал лечить, вылечил. Распрощались, довольные друг другом.

Дома и размечтался прославленный эскулап, сидя с женой за чаем. Думают, как отблагодарит Верещагин его, спасшего Василия Васильевича от беды. Что подарит? Этюд, рисунок или еще что? Жена уверена, что этюд. Фантазия разыгрывается — какой этюд? Конечно, что-нибудь хорошее, быть может, из индийской коллекции⁴. Муж полагает как городничий, что «хорошо и красную»⁵ — хорошо бы и рисунок с подобающим посвящением (денег за лечение врач, конечно, с Верещагина не брал)... Спорят, гадают, а время идет, от Верещагина ни слуху, ни духу.

Уж и позабывать стали супруги, как однажды прислуга говорит, что пришел посланный от Верещагина. Что-то принес. Подает большой пакет. Спешно разрезают бечевку, разворачивают в ожидании «индийского этюда». Смотрят — большая фотография с самого знаменитого художника с его автографом: «В. Верещагин». Только и всего...

Горько было разочарование супругов. Поговорили о «мании величия», еще о чем-то. И перестали мечтать об индийском этюде. Старались позабыть и о самом Верещагине.

А то и такое было: В. В. Верещагин устраивает одну из своих выставок в Одессе. Обставлена выставка шумно. Там и оркестр, и «трофеи», и еще что-то. Газеты славят художника. Народ валом валит на его выставку, а ему все мало. Каждый день забегает Василий Васильевич в редакции газет, в разные там «Одесские новости». Справляется, что пишут о нем для завтрашнего номера. Бойкий местный художественный критик дает ему прочесть восторженный отзыв, что изготовил он на завтра. Василий Васильевич бегло просматривает, морщится: недоволен. «Дайте, — говорит, — сюда карандаш». Берет наскоро бумагу и пишет, пишет. Готово, подает. «Вот, — говорит, — как надо писать о верещагинской выставке». Критик смущен, подавлен быстротой и натиском знаменитого баталиста...

Статья, так «проредактированная» Василием Васильевичем, на другой день, в воскресенье, появляется в «Одесских новостях». Все и всюду читают ее, бегут на верещагинскую выставку и славят самого Верещагина, столь ненасытного, ревнивого к славе своей⁷.

И. И. ЛЕВИТАН

Говорить о Левитане мне всегда приятно, но и грустно... Подумать только: ведь он был лишь годом старше меня¹, а я как-никак еще работаю... Работал бы и Левитан, если бы «злая доля», ранняя смерть не отняла бы у нас, всех знавших и любивших его, всех старых и новых почитателей его таланта, — чудесного художника-поэта.

Сколько дивных откровений, сколько не замеченного никем до него в природе показал бы людям его зоркий глаз, его большое чуткое сердце.

Левитан был не только прекрасным художником он был верным товарищем-другом, он был полноценным человеком.

Мои воспоминания о нем идут с давно минувших лет Первая встреча наша, первое знакомство, а потом и близость произошли шестьдесят с лишком лет назад в Московском Училище живописи и ваяния. Много, много воды утекло с тех пор, но Левитан стоит передо мной, как будто бы я только расстался с ним. Школьная пора, ученические выставки, потом годы нашего «передвижничества» и, наконец, совместное наше участие на выставках «Мира искусства» первого периода этих выставок. Вот какие «этапы» пройдены нами вместе.

Путь наш шел одной большой дорогой, но разными тропами.

Была весна нашей жизни, мне было шестнадцать, Левитану семнадцать лет. Московская школа живописи переживала лучшую свою пору. Яркая, страстная личность Перова налагала свой резкий отпечаток на жизнь нашей школы, ее пульс бился ускоренно. В те годы в школе вместе с Перовым работали большие дарования В числе наших учителей был знаменитый «рисовальщик» Евграф

Сорокин, академическая программа которого «Ян Усмович» (ее очень недостает в Русском музее) давала повод А. А. Иванову ожидать от Сорокина первоклассного мастера. В фигурном классе был Прянишников, в пейзажной мастерской Саврасов и др. Тогда у Перова зародилась мысль об ученической выставке, а в Петербурге Крамской и еще полные сил передвижники призывали художников послужить родному искусству. Я узнал Левитана юношей, каким тогда был и сам. На редкость красивый, изящный мальчик-еврей был похож на тех мальчиков итальянцев, кои, бывало, с алым цветком в кудрявых волосах встречали «форестьеры» на старой Санта Лючия Неаполя или на площадях Флоренции, где-нибудь у Санта Мария Новелла. Юный Левитан обращал на себя внимание и тем, что тогда уже слыл в школе за «талант». Одетый донельзя скромно, в какой-то клетчатый поношенный пиджак, коротенькие штанишки, он терпеливо ждал, когда более удачливые товарищи, насытившись у «Моисенча»² расходились по классам; тогда и Левитан застенчиво подходил к «Моисенчу», чтобы попросить доброго старика подождать старый долг (копеек 30) и дать ему вновь пеклеванник с колбасой и стакан молока. В то время это был его обед и ужин.

Левитан сильно нуждался, про него ходило в школе много полуфантастических рассказов. Говорили о его большом даровании и о великой его нужде. Сказывали, что он не имел иногда и ночлега. Бывали случаи, когда Исаак Левитан после вечерних классов незаметно исчезал, прятался в верхнем этаже огромного старого дома Юшкова, где когда-то, при Александре I, собирались масоны, а позднее этот дом смущал московских обывателей «страшными привидениями».

Вот здесь-то юный Левитан, выждав последний обход опустелого училища солдатом Землянкиным, прозванным «Нечистая сила», оставался один коротать ночь в тепле, оставался долгий зимний вечер и долгую ночь с тем, чтобы утром, натошак, начать день мечтами о нежно любимой природе. Проходило много дней и ночей; страх, горе, обиды сменялись восторгом и радостью.

Талант в самом деликатном возрасте своем встретился с жесткой нуждой. Бедность — спутница больших истинных дарований... А дарование Левитана было несомненным, в этом нам служит порукой его наследство, все то, что он оставил своей родине, что хранится в наших музеях, все дивные ландшафты, проникнутые то тоской-печалью, то лучом радостной надежды и солнцем.. Правда, солнце не часто светит на его картинах, но если светит, то и греет

и дает отраду усталому сердцу. Завязалась борьба на долгие годы: победителем вышел талант — нужда, зависть, недоброжелательство отступили, но увы — враг более сильный, мрачный подстерег и убил его.

В школьные годы Левитан числился и работал в так называемой «саврасовской» мастерской. Там работал ряд даровитых учеников. Их объединял умный, даровитый, позднее погибший от несчастной своей страсти к вину Алексей Кондратьевич Саврасов, автор прославленной картины «Грачи прилетели». Надежды всей школы были обращены на пылкого, немного Дон-Кихота, Сергея Коровина и юных Костю Коровина и Исаака Левитана. Мастерская Саврасова была окружена особой таинственностью, там «священнодействовали», там уже писали картины, о чем шла глухая молва среди непосвященных. Саврасовская мастерская должна была поддержать славу первой ученической выставки.

Левитану давалось все легко, тем не менее работал он упорно, с большой выдержкой.

Как-то он пришел к нам в натуральный класс и написал не обязательный для пейзажистов этюд голого тела, написал совершенно по-своему в два-три дня, хотя на это полагался месяц. Вообще Левитан работал быстро, скоро усваивая то, на что другие тратили немало усилий. Первая ученическая выставка показала, что таится в красивом юноше. Его неоконченный «Симонов монастырь», взятый с противоположного берега Москва-реки, приняли как некое откровение. Тихий покой летнего вечера был передан молодым собратом нашим прекрасно. К. Коровин поставил осенний пейзаж, давший тогда уже право ждать, что «Костя» будет отличным живописцем.

На одной из последующих ученических выставок П. М. Третьяков приобрел в галерею небольшую картинку Левитана «Просека», где идущую по дороге женскую фигуру приписал наш приятель, наш общий товарищ Николай Павлович Чехов, брат Антона Павловича.

Подобные случаи сотрудничества художников в те времена бывали нередко: сказывали, что пейзажные фоны на «Охотниках на привале» и «Птицелове» Перова написаны были Саврасовым, а медведи на шишкинском «Утре в сосновом лесу» Савицким, на марине же Айвазовского Пушкин приписан Репиным.

Успех Левитана на ученических выставках принес ему немало огорчений: не только «Сальери», но и «Моцарты» тех дней, да и поздней, не свободны были от чувства зависти к большому таланту молодого собрата.

Но миновали тяжелые дни, работы Левитана стали охотно приобретать незадарого любители-москвичи. П. М. Третьяков не выпускал Левитана из своего поля зрения.

К этому времени нужно отнести так называемый «останкинский период» жизни художника, когда он работал с огромной энергией, изучал ландшафт в его деталях, в мельчайших подробностях.

Одновременно он страстно увлекался охотой. Если он не сидел часами на этюдах, то бродил с ружьем и со своей Вестой по окрестностям Останкина. По зимам он кочевал по «меблирашкам», набитым всяким людом. Последними из таких «шамбр-гарни» были номера «Англия» на Тверской. Там часто мы виделись с ним; там в те дни жил, еще холостяком, наш общий любимец Алексей Степанович Степанов, «Степочка», как все его звали, лучший после Серова «анималист», выставка произведений которого так была бы желательна теперь.

Помню я зимнюю ночь, большой, как бы приплюснутый номер в три окна на улицу — с неизбежной перегородкой. Тускло горит лампа, два-три мольберта с начатыми картинами, от них ползут тени по стенам, громоздятся к потолку... За перегородкой изредка тихо стонет больной. Час поздний. Заходят проведать больного приятели. Они по очереди дежурят у него.

Как-то в такой поздний час зашел проведать Левитана молодой, только что кончивший курс врач, похожий на Антона Рубинштейна. Врач этот был Антон Павлович Чехов...

Левитан поправился, и чуть ли не в эту же весну он уехал в Крым; был очарован красотами южной природы, морем, цветущим миндалем³. Элегические мотивы древней Тавриды с ее опаловым морем, задумчивыми кипарисами, с мягким очертанием гор как нельзя больше соответствовали нежной, меланхолической натуре художника.

Вернувшись в Москву, Левитан поставил свои крымские этюды на Периодическую выставку, в то время наиболее популярную после Передвижной. Этюды были раскуплены в первые же дни, и надо сказать, что до их появления никто из русских художников так не почувствовал, не воспринял нашу южную природу с ее морем, задумчивыми кипарисами, цветущим миндалем и всей элегичностью древней Тавриды. Левитан как бы первый открыл красоты южного берега Крыма.

Он имел тогда совершенно исключительный успех, дарование его стало неоспоримым.

Затем следовал ряд лет, проведенных на Волге, в Плесе. Там искусство Левитана окрепло, получило свою особую физиономию.

Совершенно новыми приемами и большим мастерством поражали нас этюды и картины, что привозил в Москву Левитан с Волги. Там, после упорных трудов, был окончен «Ветреный день» с нарядными баржами на первом плане⁴.

Этот этюд-картина нелегко дался художнику. В конце концов «Ветреный день» был окончен, и может быть, ни одна картина, кроме репинских «Бурлаков», не дает такой яркой, точной характеристики Волги.

Левитан, вдумчивый по природе, ищущий не только внешней «похожести», но и глубокого, скрытого смысла, так называемых «тайн природы», ее души, шел быстрыми шагами вперед и как живописец. Техника его росла, он стал большим мастером. Все трудности так называемой «фактуры» он усваивал легко и свободно. Глаз у него был верный, рисунок точный. Левитан был «реалист» в глубоком, непреходящем значении этого слова: реалист не только формы, цвета, но и духа темы, нередко скрытой от нашего внешнего взгляда. Он владел, быть может, тем, чем владели большие поэты, художники времен Возрождения, да и наши — Иванов, Суриков и еще весьма немногие.

Плес и последующие за ним годы — жизнь в Тверской губернии — были самыми богатыми и плодотворными в его короткой жизни. В те годы, когда Исаак Ильич, еще здоровый, возвращался осенью в Москву, мы, его друзья-приятели, да и почитатели, устремлялись к нему в «Англию», а позднее в морозовскую мастерскую⁵ и любовались там на им содеянное. Завистливые голоса притихали.

Появился П. М. Третьяков, выполнявший в те времена огромную миссию собирателя русской живописи не ради своей утехи, а на пользу общую, на разумное просвещение русского общества, русского народа.

Бывало, в декабре, когда художники всех толков потянутся через Москву в Питер к выставкам, — начнутся паломничества Павла Михайловича по мастерским, по квартирам, комнатам-«меблирашкам», где проживал наш брат-художник. Обычно по утрам к одному из таких счастливых подъезжали большие крытые сани — из тех, в каких езжали доктора с большой практикой или те, кому удалось жениться, как федотовскому «майору»⁶; такие крытые сани с медвежьей полостью вез большой сытый конь, на козлах сидел солидной наружности кучер, словом, все было «добротное». В таких санях совершал свои наезды к художникам наш «тишайший» Павел Михайлович Треть-

яков. Неторопливо вылезал он из саней, тихо звонил у подъезда или стучался у дверей, ему отворяли.

Входил высокий, «старого письма», человек, в длинной барашковой шубе, приветливо здоровался, целуясь, по московскому обычаю, троекратно с встречавшим хозяином и, приглашаемый им, входил в мастерскую. Просил показать, что приготовлено к выставке (у москвичей — к Передвижной). Садился, долго смотрел, вставал, подходил близко, рассматривал подробности. И не всегда сразу приступал «к делу», а бывало и так, что посмотрит-посмотрит, да и заговорит о постороннем. Всякое бывало.

Начинал свой объезд Павел Михайлович со старших — с В. М. Васнецова, Сурикова, Поленова, Прянишникова, Влад. Маковского, потом доходил и до нас, младших: Левитана, Архипова, меня, К. Коровина, Пастернака, Аполлинария Васнецова и других. Если объезд начинался с Левитана, тогда тот, немедленно по отбытии Павла Михайловича, извещал остальных приятелей о результатах визита. Редкий год Третьяков не брал чего-либо из новых работ Левитана для своей галереи, потому сейчас Государственная Третьяковская галерея имеет лучшее собрание «левитанов».

Серия волжских этюдов и картин послужила основой настоящей известности Левитана. О нем говорят, его любят, ему живется хорошо. Он близко сходится с семьей Чехова, дружит с Антоном Павловичем, таким же тонким русским поэтом, как и он сам. Левитан неустанно работает над собой, своим образованием, развитием. Его ум, склонный к созерцанию живущего в мире, помогает ему отыскивать верные пути к познанию сложной жизни природы.

Мои симпатии к чудесному художнику были давние: с первых дней знакомства я любовался живым, ярким талантом его, отвечавшим мне некоторым сходством понимания смысла нашей русской природы. Мы оба по своей натуре были «лирики», мы оба любили видеть природу умиротворенной; конечно, это не значило, что я не видел и не ценил в творчестве Левитана иных мотивов, более или менее драматических, или его романтики («Над вечным покоем»). Я любил его «Омут», как нечто пережитое автором и воплощенное в реальные формы драматического ландшафта. Любил и популярную «Владимирку», равноценную по замыслу и по совершенству выполнения. «Владимирка» может быть смело названа русским историческим пейзажем, коих в нашем искусстве немного.

Со времен стародавних, не одну сотню лет, до самого того времени, как от Москвы до Нижнего Новгорода

прошла «чугунка», — по Владимирке гнали этапом ссыльных, как политических, так и уголовных. Народ наш жалостно называл их «несчастенькими» и охотно по пути их следования подавал им милостыню, как деньгами, так и «натурой».

В Нижнем ссыльных сажали на особые баржи, покрашенные в хмурый желтый цвет. Баржи брал на буксир такой же хмурый, с белой каймой на черной трубе пароход. То были пароходы пермяков Колчиных. Вот такой пароход не спеша и тащил свой груз — сперва по Волге, потом Камой до самой Перми, а там дальше партия следовала через Урал то водой, то пешой, до самых далеких и суровых окраин Сибири. Бывало — лет шестьдесят тому назад и поболе, — по пути из Уфы до Нижнего встретишь не один такой пароход с белой каймой на трубе, с железом обитой баржей — и не раз сожмется сердце, глядя на медленно и неуклонно «бегущие» колчинские пароходы с их человеческим грузом «несчастеньких», жадно выглядывавших через железные решетки небольших окон баржи на волю, на широкую Волгу, на суровую Каму, на яркое солнце днем, на мириады звезд ночью...

В левитановской «Владимирке» сочеталась историческая правда с совершенным исполнением — и картина эта останется одной из самых зрелых, им написанных.

Годы шли. Росла известность Левитана, росла любовь к нему общества. Левитан уже передвижник, хотя и признанный, но не любимый, как и мы, его сверстники, Константин Коровин, Серов и я. Мы — пасынки передвижников.

Как это случилось, что я и Левитан, которые в ранние годы были почитателями передвижников, позднее очутились у них в пасынках?

Несомненно, мы стали тяготеть к новому движению, кое воплотилось в «Мире искусства» с Дягилевым и Александром Бенуа во главе.

Среди передвижников к тому времени остались нам близкими Суриков, Виктор Васнецов и Репин, да кое-кто из сверстников. В те годы каждое появление картины Левитана было его торжеством. Вокруг него создавалась целая школа «маленьких Левитанов». Счастье становилось на его сторону, ибо он был признанный мастер; имел удобную, с верхним светом мастерскую, построенную одним из Морозовых для себя и уступленную Левитану. В этой мастерской были написаны почти все лучшие картины художника, потом составившие его славу. В этой мастерской одно лишь огорчало Исаака Ильича: его картины, попадая в случайные, часто худшие условия выставочных зал, в них проигрывали, и

невольно вспоминался спартанец Суриков, написавший своих «Стрельцов», по словам Стасова, «под диваном».

Перед нами Левитан, признанный, любимый. С него пишет прекрасный, очень похожий портрет Серов, лепит тогда молодой скульптор Трубецкой статуэтку, и все же Левитана надо назвать «удачливым неудачником». Что тому причиной? Его ли темперамент, романтическая натура или что еще, но художник достиг вершины славы именно в тот час, когда незаметно подкралась к нему тяжелая болезнь (аневризм сердца).

Известный тогда врач проф. Остроумов не скрыл от Исаака Ильича опасности для его жизни. И потянулись дни, месяцы в постоянной тревоге, переходы от надежды к отчаянию.

Последние годы — два-три — Левитан работал под явной угрозой смерти, вызывавшей в нем то упадок духа, то страстный небывалый подъем творческих сил. Натура Левитана, страстная, кипучая, его темперамент мало способствовали тому, чтобы парализовать болезнь, чтобы можно было оттянуть развязку. Левитан и шел к этой развязке неуклонно...

Предчувствие неминуемого конца заставляло его спешить жить, работать — и он жил и работал со всем свойственным ему увлечением. Он спешил насладиться жизнью ему так скупой отпущенной, спешил налюбоваться красотами природы, такой непоказной у нас, но полной сокровенных тайн, доступных лишь тем немногим избранникам, к коим принадлежал Левитан.

Так подходила к своему закату жизнь славного художника.

Эта жизнь прошла почти вся на моих глазах. Красивый, талантливый юноша, потом нарядный, интересный внешне и внутренне человек, знавший цену красоте, понимавший в ней толк, плененный сам и пленявший ею нас в своих произведениях.

Появление его вносило аромат прекрасного, он носил его в себе.

И женщины, более чуткие к красоте, не были равнодушны к этому «удачливому неудачнику». Ибо что могло быть более печальным — иметь чудный дар передавать своею кистью самые неуловимые красоты природы и в самый расцвет своего таланта очутиться на грани жизни и смерти. Левитан это чувствовал и всем существом своим судорожно цеплялся за жизнь, а она быстро уходила от него.

В эти последние годы жизни Исаака Ильича, наезжая в Москву, я часто виделся с ним. В это время мы обменялись

этюдами. Лучший из них находится в Уфимском музее⁷, коего я был основателем, подарив в 1913 году родному городу все свое собрание картин и этюдов моих современников. Помню, как Левитан, узнав о моем приезде, спустился из своей мастерской, изнеможенный, усталый, но великолепно, в нарядном бухарском золотисто-пестром халате, с белой чалмой на голове — таким он мог бы позировать и Веронезу для «Брака в Кане Галилейской»⁸.

Появление Левитана в Большом театре, красивого своей серьезной восточной красотой, останавливало на себе внимание многих, и не одно сердечко, полагаю, билось тогда трепетно, учащенно...

Последнее мое свидание с Исааком Ильичом было весной 1900 года, месяца за два-три до его смерти.

Как всегда, попав в Москву, я зашел к нему. Он чувствовал себя бодрее, мы говорили о делах искусства, о передвижниках и о «мирискусниках». Нам было ясно, что ни там, ни тут мы были «не ко двору». На Передвижной многое нам было не по душе, не лучше было дело и у Дягилева: мы оба были «москвичами», дягилевцы были «петербуржцы»; быть может, это, а быть может, и еще кое-что другое, трудно уловимое, отделяло нас от «Мира искусства» с его «тактическими» приемами и соображениями... Мы очень ценили и понимали, что появление «великолепного» Сергея Павловича и его «Мира искусства» было необходимо. В первый его период мы были на его стороне, позднее же из нас, москвичей, вошедших в ряды «Мира искусства», до конца остался там лишь Перов.

Не раз приходило нам в голову уйти из обоих обществ, создать нечто самостоятельное, привлечь к делу наиболее даровитых молодых наших собратьев, а если бы таковые с нами не пошли — устраивать самостоятельные периодические выставки картин Левитана и Нестерова.

Но и этому не суждено было осуществиться: летом умер Левитан, и я недолго оставался в передвижниках и мирискусниках.

Возвращаюсь к последней нашей встрече с Левитаном. В дружеской беседе мы провели вечер, и когда я собрался уходить, то Исаак Ильич вздумал проводить меня до дому. Была чудесная весенняя ночь. Мы тихо пошли по бульварам, говорили о судьбах любимого нами дела. Воскресали воспоминания юности, пройденного нами пути жизни. Ночь как бы убаюкивала все старое, горькое в нашей жизни, смягчала наши души, вызывала надежды к жизни, к счастью..

Поздно простились мы, скрепив эту памятную ночь поцелуем, и поцелуй этот был прощальным.

Летом того же 1900 года, во время Всемирной выставки в Париже, как-то захожу в наш Русский отдел и вижу на рамках левитановских картин черный креп; спешу в комиссариат, там узнаю, что получена телеграмма: Левитан скончался от разрыва сердца в Москве⁹. Наше искусство потеряло великолепного художника-поэта, я — друга, верного, истинного. Он первым приходил ко мне, когда из Киева или Уфы проездом останавливался я в Москве, чтобы посмотреть картины в рамках перед отправкой их в Петербург на выставки. От него, Исаака Ильича, я слышал отзывы совершенно искренние, нелицемерные, советы дельные, ценные.

Левитан показал нам то скромное и сокровенное, что таится в каждом русском пейзаже, — его душу, его очарование.

И вот сейчас, по прошествии сорока лет, образ его стоит передо мной цельный, неизменный, прекрасный. Я, как и в молодости, люблю его искусство, чту его память.

Иногда весной, когда цветет сирень, заходим мы с женой на Дорогомиловское кладбище навестить наших ушедших друзей, оттуда идем на соседнее старое еврейское кладбище, идем по аллее от ворот прямо, прямо, и там в конце, налево за оградой, стоит забытый скромный черный памятник, под ним покоится чудный художник-поэт Исаак Левитан. Мы прибираем сор, что накопился за осень и зиму, приводим могилу в порядок. Жасмин, посаженный кем-то у могилы, не цветет еще; придет пора, зацветет и жасмин — быть может, к вечеру где-нибудь близко зашелкает соловей... Оживет природа, которую так нежно любил художник.

В наши дни кладбище бывшего Новодевичьего монастыря зовется «Некрополем», там усыпальница многих выдающихся сынов нашей родины. Туда перенесены останки славных. Там лежат Гоголь, Языков, Хомяков, там и Чехов — друг Левитана, много артистов, художников нашли там свой покой. И вот думается сейчас, пока еще не поздно, следовало бы перенести прах Левитана в наш «Некрополь»¹⁰.

КОСТЯ КОРОВИН

Кто не знал Костю Коровина, этого причудливого, капризного, красивого юношу? Костя, как и Левитан, обратил на себя внимание на 1-й ученической выставке в Училище живописи картиной «Весна», такой живописной, непосредственной, с большой вороной на обнаженном дереве¹.

Костя работал вместе со своим братом Сергеем у Саврасова, позднее перешел к Поленову. В противоположность Левитану, он был общий баловень. Баловали его профессора-художники, баловали учителя по наукам, коими он не любил заниматься, сдавая экзамены походя, где-нибудь на площадке лестницы, причем всегда кто-нибудь за него просил: «Поставьте ему три, он так талантлив!»

Баловали его товарищи и училищные барышни, души не чаявшие в этом юном Дон-Жуане, или, как его тогда звали, в «Демоне из Докучаева переулка». Костя, как хамелеон, был изменчив: то он был прилежен, то ленив, то очарователен, то несносен, наивный и ко всему завистливый, доверчивый и подозрительный. То простодушный, то коварный, Костя легко проникал, так сказать, в душу, и так часто о нем хотелось забыть... В нем была такая смесь хорошего с «так себе»...

Все в нем жило, копошилось, цвело и процветало. Костя был тип художника, неотразимо действующего на воображение, он «влюблял» в себя направо и налево, никогда не оставляя места для долгой обиды, как бы ни было неожиданно им содеянное. Все его «качества» покрывались его особым, дивным талантом живописца.

Легко и жизнерадостно проходил Костя школьный, а потом и житейский путь свой.

Везло Косте, и он, беззаботно порхая, срывал «цветы удовольствия». То его увозило аристократическое семейство

куда-нибудь в старую усадьбу на Волгу, в глушь, и там он пленял всех, от чопорных старух до «тургеневских» дворянских девушек, рассказывая, ноя и умирая, про какую-то несчастную судьбу свою; то писал великолепные этюды и говорил так красиво, увлекательно об искусстве; то летними сумерками катался с барышнями на лодке и так прекрасно, с таким чувством пел. Так проходили счастливые дни Кости, дни «юного бога».

Побыл он в Училище живописи и в ненужной ему Академии². Вернулся в Москву, понравился великолепному Савве Мамонтову и стал писать для его оперы превосходные декорации. Был приятелем всех театральных знаменитостей, всех этих Бевиньяни, братьев д'Андраре, Ван-Занд. Отлично имитировал Мазини. Кордебалет и хор поголовно были влюблены в Костю, а за кулисами только и слышно было: «Костя, Костя, Костя»... И было так, пока одна из хористок не стала его женой, так было и после того...

Костя не мог изменить ни жизни своей, ни характера, оставаясь свободным, доступным всем течениям, всем ветрам Дон-Жуаном. Он писал, писал, писал, писал; одна постановка была лучше другой. Савва-великолепный любил сго, звал «Веселый корабельщик», баловал. В декоративной мастерской у Кости кипела жизнь, там работала веселая компания приятелей-неудачников: они там как-то кормились около Кости. Был там и Д., опустившийся, лохматый человек, по прозвищу «Расточитель», умевший, как никто, быстро и дочиста спустить с себя все. Был там и Н., прозванный Костей «Графом», менее всего похожий на эту породу людей; были и другие.

И вот, бывало, ночью, часу во втором, в мастерскую при театре внезапно является Костя: он видит, что «Граф» и «Расточитель» — оба в самом бесшабашном положении, все атрибуты веселья налицо. Костя пробует негодовать, браниться, угрожать, кричит, что через полчаса будет в мастерской сам Савва Иванович... ничего не помогает, Костя прибегает к «военной хитрости»: начинает хныкать, умолять, жаловаться на свою горькую судьбу, называет «Расточителя» — «Расточителёк» и, чего не мог добиться угрозами, добивается жалкими словами. Компания растрогана, ей Костю жаль; она для него готова на все, а он уж командует: приказывает и «Расточителя» и «Графа» до приезда Саввы Ивановича закатать, как Аркашку, в старую заднюю кулису, там, в темном углу, и чтобы они лежали смирно. Сказано — сделано. В мастерской порядок полный. Приезжает «сам», ему показывают новые декорации. Он их одобряет и в знак благоволения увозит Костю с собой.

«Расточителя» и «Графа» раскатывают, и пир возобновляется до утра.

Костя — профессор Училища живописи, где под его руководством заканчивает школу ряд талантливых учеников. Правда, Костя — редкий гость в своей мастерской, но и редкие его посещения — праздник для учеников; он блестящий, остроумный собеседник, его советы, образы необычны и незабываемы. Костя участвует на выставках «Мира искусства» и «Союза русских художников». Он и там и тут желанный гость. Блестящий живописец, он работает, как бы играючи, и все же часто то, что он делает, столь пленительно, что любуешься им созданным с великим наслаждением. Но вот наступают дни падения Саввы-великолепного — Костя переходит на казенную сцену и там создает такие постановки, какие в Европе не снились³..

14—16-е годы. Европейская война в самом разгаре; Костя на фронте. Приезжает ненадолго в Москву в форме полковника: он заведует военной маскировкой. Красавец-военный пленяет московских дам. Он опять нашел себя. Настал год 17-й. Умер Савва Иванович, бедные похороны⁴. Костя идет за гробом, он теперь одет в серую чуйку. «Как Косте идет этот костюм», — говорят старые его поклонницы. Затем Костя в Париже, быль и небылицы сплетает о нем молва и, наконец, смерть на чужбине⁵.

Так не стало одного из самых даровитых, увлекательных живописцев недавнего прошлого, не стало Кости Корovina.

СЕРГЕЙ КОРОВИН

Он был старший брат Кости, во всем ему противоположный. Серьезный, пылкий романтик, он был «рыцарь без страха и упрека», но что ни делал он самого возвышенного, прекрасного, все, все обращалось ему во вред: собственное благородство как бы подавляло, изнуряло его. Его художественным замыслам редко суждено было воплощаться в законченные образы... что-то роковое было в этой высокой, стройной фигуре, в его небольшой, с вьющимися черными волосами голове, в его умном лице, с блестящими, как агат, темными глазами.

Помню звездную морозную ночь. По опустелым московским бульварам быстро идут трое: Сергей Коровин¹, Сергей Светославский и совсем юный — я. Поздно засиделись мы где-то на веселой пирушке, поздно было мне возвращаться домой, и Коровин предлагает мне идти ночевать к ним. Идти приходится далеко, чуть ли не через всю Москву, с Мясницкой к Тверским воротам, да и холод адский. Но Сергей обещает показать свой «12-й год», а Светославский — «Днепровские пороги». И я не устоял, пошел к ним... Часу в третьем добрались мы к Тверским воротам, до мастерской, до деревянного сарая с большим окном на втором дворе дома Рязанова.

Вошли: темно. Засветили какую-то жестяную коптилку... Холодно, затопили железную печурку. Спать никому не хотелось; хозяевам хотелось показать свои картины, а их юному гостю еще того больше хотелось эти картины посмотреть. И вот я увидел «12-й год!»..

О картине в училище шла молва. Говорили, что картина огромная, что Сергей давно ее пишет, то приближаясь, то удаляясь от ее окончания. Говорили, что в мастерской был Перов, смотрел «12-й год», сделал Сергею какие-то

замечания, после чего он к картине охладел, почти забросил ее. Холст аршин пяти в длину был весь записан. Глубокие снега, занимается заря. То там, то здесь по обширному снежному полю покоятся замерзшие воины — остатки Великой армии. На первом плане старый гренадер отогревает замерзающего юношу, дальше мародер, озираясь, снимает с умершего собрата «Почетный легион», не думая, что через несколько часов он не будет ему нужен. Там, дальше, еще фигуры, все они обреченные... Красивая мысль, красивая композиция, такая красивая, торжественная заря. Картина, на мой юный взгляд, удивительная, и я, конечно, в полном восторге, не нахожу слов, чтобы его выразить. Автор, видимо, «отогревается»; он давно потерял веру в свой труд, но мой искренний восторг вливает в него новую надежду и... как знать?..

Напротив «французов» стоит холст поменьше, так, аршина в три. Бешеные волны серого Днепра катят через пороги. Прекрасная стихия! Картина живая, отлично нарисованы волны... У меня на эту ночь еще много в запасе «восторгов», и я щедро их расточаю.

С рассветом улеглись спать, — спали не раздеваясь. Утром мастерская остыла, отогрелись чаем.

Пятиаршинный «12-й год» окончен не был. Много лет спустя появилась небольшая картина, отдаленный намек на первую. Успеха она не имела. Сергей Коровин с тех пор как бы усомнился в своем большом истинном таланте². Он то начинал, то бросал начатое. И все же, несмотря на такое недоверие к себе, его «Сходка» — один из самых значительных жанров в русском искусстве³. Картине не мешают ни ее краски, рыжевато-серые, ни вялая живопись.

А как хорош его эскиз «На богомолье»! И не многие знают замечательный образ св. Николая, бывший в ялтинской часовне, — этот образ ялтинское духовенство в старые годы, чтобы придать ему больше весу, выдавало за васнецовский. Да мало ли было превосходных, совершенно оригинальных начинаний у Сергея Коровина!

Однако не многим из них суждено было осуществиться. Он женился. Жизнь этого благородного мечтателя надломилась, он стал попивать, стал медленно и верно опускаться; психика потеряла устойчивость, что отразилось на его работах. Его пылкий ум всегда стремился к познанию, к изучению, а легкомысленный Костя жалким голосом говорил брату: «Ведь ты, Сережа, с кишек начинаешь рисовать!...» И все же Сергей нежно любил Костю.

Сергей Коровин последние годы жизни был преподава-

телем в низших классах Училища живописи, придумал сложную систему первоначального обучения рисованию, она плохо усваивалась⁴.

Последнее его произведение была разработка эскиза «Куликовской битвы» для одной из зал Исторического музея. Эскиз этот имел все достоинства и недостатки позднейших работ С. Коровина.

Между тем болезнь прогрессировала, и Коровин скончался, не выполнив и малой доли того, что таилось в его богатой натуре, в благородном сердце его.

А. П. РЯБУШКИН

Говорить об Андрее Петровиче Рябушкине, человеке большого таланта и больших, скрытых страстей, — трудно.

Через фигурный, бывало, проходит в натурный Василий Григорьевич Перов, за ним вереница учеников, — в хвосте их Рябушкин, такой щупленький, бледный; пробирается он как-то бочком, крадучись... Он был самый младший в натурном классе, «Вениамин», и как «последыш» имел свои привилегии, им заслуженные: он был талантлив, трудолюбив и проч. Перов любил его и иначе не звал, как «Андрей Петрович». Бывало, желчный, чем-нибудь раздраженный, подойдет к Рябушкину, такому маленькому, косенькому, посмотрит на него сбоку своим ястребиным глазом и «задерет»: «А что, Андрей Петрович, вы еще не собираетесь жениться?..» — и довольный, выпустив желчь, проходит дальше.

Товарищем Андрей Петрович был хорошим, но нуждался сильно, жил какими-то стипендиями, маленькими заказами. В классе работал старательно, не манкировал, однако писать этюдов не любил, да и рисовал не блестяще — не то, что С. В. Малютин¹. Вся сила Рябушкина была в эскизах: он делать их любил, делал их хорошо, хотя и пользовался слишком широко так называемыми материалами. Особенно доставалось бедному Гюставу Доре.

Делал Андрей Петрович и жанровые эскизы из деревенской жизни. Его «Деревенская свадьба», что в Русском музее, переработана из школьного эскиза².

Рябушкин был сыном захудалого иконописца, и говорили, что был он племянником известного в свое время тамбовского разбойника, чуть ли не казненного где-то не то в Рыльске, не то в Морше (так назывался Моршанск). Андрей Петро-

вич был замкнутый, как бы носящий в себе какую-то тайну. И лишь иногда прорывалась завеса сокровенного, и перед нами мелькали сильные страсти, в нем скрытые.

Рябушкин, как и многие из нас, уехал в Академию. Там с обычным усердием принялся за работу. Много занимался анатомией, добросовестно изучал перспективу и стал быстро выделяться эскизами, которые делались раз от разу самостоятельней, хотя в них и нельзя было еще предвидеть того Рябушкина, который так ярко выразил себя в последних, замечательных своих картинах. Андрей Петрович быстро прошел все ступени академической лестницы, дошел до ее вершины — программы на большую золотую медаль. Однако программа его — «Голгофа» — успех хотя и имела, но заграничной поездки Рябушкин, как и Малявин, не получил³. Вместо казенной заграничной поездки президент Академии вел. кн. Владимир Александрович предложил ему из своих средств поездку по России на два года по сто рублей в месяц, ничем не ограничивая его. Рябушкин такое предложение великого князя принял.

Итак, впереди был самостоятельный путь художника. Давно желанная мысль, как когда-то у Перова, проехать по России, могла теперь осуществиться.

По возвращении из этой поездки Андрей Петрович был приглашен работать в Храм Воскресения в Петербурге, после чего ему предлагали стать во главе группы художников для росписи Софии Новгородской. Он, как перед ним сделал я, от такой работы отказался, понимая, что после старой фресковой росписи Софии наша, хотя бы и стилизованная под новгородскую, роспись была бы совершенно неуместна там.

Одновременно Андрей Петрович продолжал делать рисунки. Они становились все более и более самостоятельными, приближаясь к полному выражению его художественного облика. И все же Андрей Петрович развивался не спеша, что-то ему мешало — его ли тяжелая наследственность, личные ли свойства его характера — сказать трудно.

Он чаще стал «срываться». Такие приступы, худо кончавшиеся, стали ярче. Вот что пришлось мне видеть однажды, проездом через Нижний в Уфу: по дороге с вокзала на пристань навстречу моему извозчику неся лихач. Дрожки от бешеной езды у лихача как-то подпрыгивали, раскатывались по круглым булыжникам мостовой — они молниеносно приближались к нам. За лихачом я увидел седоков — двух разряженных девиц, одну в оранжевом, другую в ярко-зеленом. Перья их огромных шляп трепались по ветру. Одна из девиц сидела рядом, другая на коленях,

в позе рискованной, у маленького, бледного, с беленькой бородкой мужчины. Мужчина этот был Андрей Петрович Рябушкин. Он узнал меня, крикнул: «Здравствуй, Михаил Васильевич»... Дрожки пронеслись и быстро скрылись за углом.

Рассказывали еще такое. Кончая или уже окончив Академию, Андрей Петрович стал зарабатывать на иллюстрациях немалые деньги. Накопив несколько сот, он исчезал так на неделю. Никто не знал, где его искать. И лишь случайно узнали, где в такие дни пропадает Андрей Петрович. Он удалялся тогда в места злачные... Там, по особому договору с «мадам», уплачивал ей чеком недельную ее прибыль и оставался полным хозяином заведения, которое на такие дни закрывалось. Новый султан изменял жизнь заведения. Все должно было быть согласовано с его капризными вкусами... А он, такой странный, то потухший, то разгульный и дикий, требовал новых и новых впечатлений.

Однажды, в дни такого разгула, по особому заказу в заведение привезли чудотворную икону. Встретили икону с подобающим почетом. Был отслужен в зале молебен, после чего икону, по особым просьбам девиц, пронесли по всем комнатам заведения, все окропили святой водой. Более чувствительные девицы от умиления плакали. Андрей Петрович принимал живейшее участие в домашнем торжестве, зорко всматривался во все происходившее, усердно со всеми молился, и, когда церемония кончилась, щедро расплатился с батюшкой. И икону вынесли девицы на руках до кареты, запряженной цугом.

Тот день прошел в особом сосредоточенном настроении. И долго будто бы Андрей Петрович лелеял мысль написать картину «Привоз чудотворной иконы». Картина не была написана. Я думаю, что если бы Рябушкин осуществил свою мысль, то это была бы одна из лучших жанровых картин в духе его «Чаепития».

Когда срок аренды заведения кончался, Андрей Петрович, одарив девиц, дружески со всеми простившись, исчезал до лучших дней. Он снова настойчиво и терпеливо принимался за дело.

Андрей Петрович был чуткий музыкант, у него был небольшой, приятный голос. Не чужд был Андрей Петрович и композиторству, тонко понимая дух народной песни.

Тяжелая, ненормальная жизнь оставила свои глубокие следы, и хотя за Андреем Петровичем в последние годы его жизни и был дружеский уход, однако это не могло его уберечь. У него развилась чахотка, и он умер в самый расцвет своего большого, своеобразного и такого русского таланта.

А. А. РЫЛОВ

Те, кто еще помнят Петербург старого, дореволюционного времени, те помнят в конце Б. Морской, у самой арки, дом, окрашенный в розоватую краску, а на нем по всему фасаду, да и у подъезда, вывески алого цвета: «Ресторан Малоярославец». Ресторан этот не был первоклассным, он ничем не походил на старого Донона, того меньше на модного Кюба... «Малоярославец» посещал разный люд; бывали там и художники. У него был свой «стиль», своя «машина», а гости не чувствовали там себя гостями.

И вот, как-то в конце 90-х годов, собрались там пообедать и обсудить какое-то неотложное общее дело художники разных толков. Были там и передвижники, что помоложе; были «мирискусники» — те тогда все были молодые. Попали туда и «газетчики», сочувствующие тем или другим из присутствующих художников. Народу набралось — тьма; отведенная большая комната едва вмещала собравшихся. В ожидании обеда закусывали, «разминали языки», о чем-то говорили...

Пригласили к столу. Помнится, слева от меня сидел Левитан, справа один из газетчиков, а наискось от нас поместился некто еще молодой, инородческого облика, скорее, быть может, «вятич». Сидел он молча, внимательно слушая, приглядываясь к окружающим. Этот вятич показался мне привлекательным, и я спросил соседа: «Кто сей?» — мне сказали: «Рылов»... А, Рылов, вот он какой!

О Рылове говорили, как об одном из самых даровитых учеников А. И. Куинджи, молва о нем докатилась и до Киева, где я жил тогда. О нем говорили, как о художнике, имевшем свое особое «лицо». Отбор среди художников был суровый, передвижники этим «отбором» шутить не любители, да и у «мирискусников» было не слаще, — и все же Рылов сумел показать себя ярко, значительно...

Я стал пристально вглядываться в этого скромного, сосредоточенного в себе человека, и как-то вышло само собой — вскоре заговорил с ним через стол, а к концу обеда мы как бы почувствовали некое «средство душ», доверие, взаимное влечение и, выходя поздно из «Малоярославца» толпой, разделились по группам. Я с Аркадием Александровичем очутился вдвоем, в оживленной беседе — в таких случаях темы набегают одна за другой, темы близкие, животрепещущие. Перед взором художника они роятся, весь мир тогда к его услугам, и лишь надо уметь «видеть», понимать, чувствовать, и этот весь мир тебе ответит на все твои самые жгучие, страстные запросы и многому научит тебя. «Наблюдательность» — это «видение», драгоценное свойство людей науки, по своей природе экспериментаторов, каким был наш гениальный экспериментатор-провидец И. П. Павлов, — в значительной степени присуща и нам, артистам, в большинстве своем людям чувства; и мы, «люди чувства», умеем и любим наблюдать пульс жизни, ее изгибы во всем ее огромном разнообразии и непостижимости действий, поступков, образов и форм...

Так состоялось мое знакомство с Рыловым. Оно сулило, оно таило в себе множество самых разнообразных радостных надежд.

С этого времени мое внимание к симпатичному мне художнику, к его художественным «поступкам», к дальнейшему «выявлению» его личности, конечно, усилилось, и я, сидя в Киеве, не выпускал Аркадия Александровича из своего поля зрения. Рылов как вятч, как сосед мне, уфимцу, был дорог, быть может, из особых, так сказать, патристических чувств. Ведь считались же в былые времена все сибиряки «земляками», чуть ли не кумовьями: живя где-нибудь в Барнауле, красноярцам или далеким амурцам все они были «земляки».

Вот и мой «земляк» Рылов стал мне особо близок и любезен. Я следил за ним, я узнавал о нем при всех возможных случаях, радовался, когда слухи о нем были хорошие и мой земляк имел успех, завоевав себе добрую славу. Я знал, что Аркадий Александрович преподает в школе Общества поощрения художеств, и радовался за ее учеников, имевших в молодом своем учителе добросовестного, талантливого руководителя-друга. Мне говорили, что в Рылове счастливо сочеталось отзывчивое, доброе сердце с умением передать в простых словах, «немудрствуя лукаво», своим ученикам свои знания, свои наблюдения...

Такой учитель — ведь клад, он не заведет неопытного юнца в невылазную трясику, освободив его от знаний...

Таким, каким был Аркадий Александрович, отдававшим молодежи весь свой опыт, полагавшим душу свою, был когда-то в Московском Училище живописи В. Г. Перов и позднее там же, как говорили мне, таким был Серов. Вообще явление это редкое, почти единичное. В старой Академии таким единичным явлением был покойный Павел Петрович Чистяков.

Общество поощрения художеств последних десятилетий сумело обставить свою школу удачно, обрело ряд ценных, преданных делу учителей; среди них называли тогда Рылова, Ционглинского, отдававшихся делу учительства с беззаветною любовью и горячностью.

Месяцы январь, февраль бывали временами выставок; в это время я старался побывать в Петербурге: тогда там, как на актерской «бирже», где-нибудь в московском ресторанчике, происходили радостные встречи друзей. Тогда и я старался повидать всех, кто мне был любезен и мил, или у них на дому, в мастерских, или на выставках. На последних я встречался с Аркадием Александровичем Рыловым, беседовал с ним, видел его произведения, любовался ими, узнавал ближе и ближе их автора. Мой земляк из года в год щедро одарял меня своими поэтическими новинками, и я благодарно вспоминаю это хорошее время.

Одна за другой являлись тогда чудесные вещи Рылова. Перечислять их не стану: любители искусства, в частности русского пейзажа, их хорошо помнят и любят.

Годы с начала 900-х по самый год кончины были непрерывной цепью успехов Аркадия Александровича, его любованием разнообразнейшими красотами родной природы. Имя его становилось почетным, но ни в какой мере не кричащим, в русском искусстве. Талант креп, образы его делались более и более значительными, и он, не будучи по своей природе тенденциозен, был содержателен.

Прелесть картин Рылова крылась в их внутренней и внешней красоте, в их «музыкальности», в тихих, ласкающих или стихийных, бурных переживаниях природы. Его таинственные леса с шумами лесных их обитателей дышат, живут особой, чарующей жизнью. Его моря, реки, озера, небо ясное, сулящее на завтра «ведро», или небо с несущимися куда-то облаками — беду сулит — все, все у Рылова в действии, все динамично радость жизни сменяет ее драму. Темный бор полон тревоги, бурные берега Камы, быть может, кому-то несут гибель. Осенний перелет птиц за далекие моря переживаем, как личную утрату ясных дней. Все у Рылова полно значения, и он нигде, ни в коей мере не равнодушен к смыслу, к совершающимся таинствам

природы и ее обитателей. Он поет, славит и величает Родину-мать...

Ради красочного эффекта, ради внешней красивой формы, ради «красного словца» Аркадий Александрович и не подумает поступиться «смыслом», тем смыслом, каким полно все «в мире живущее».

Рылов не просто «пейзажист», он, как Васильев, как Левитан, глубокий задушевный поэт. Он родной нам, он дорог нам, ибо Рыловых природой отпускается очень, очень скупо...

Шли годы, много их осталось позади, немало за это время Рыловым было сделано прекрасного. Так пролетела половина нашей жизни. Давно я узнал ясное лицо чудесного художника, многие из нас приблизились к старости, иные «позна [ли] запад свой», скрылись навсегда. Подошли годы «юбилеев», не миновал своего и Аркадий Александрович. У нас в Москве была устроена его выставка. На ее открытия я не был; вернулся с выставки близкие мне, не было конца похвалам. Вечером собрались приятели-художники, среди них горячий почитатель Аркадия Александровича — Павел Дмитриевич Корин, и мы с любовью говорили о выставке, о художнике, столь близком нам и дорогим. Казалось нам, что каким-то «моментом», какой-то стороной своего искусства наш художник был родственником Галлену.

Таинственные голоса лесов, рек, морей рыловских созвучны галленовским «сагам». Оба художника, нашептывая, напевая, славили Родину-мать. Павел Дмитриевич Корин вспоминал, как любил Галлена и его искусство лично знавший его М. Горький, как часто возвращался к разговорам о нем, о его картинах. Побывал на выставке и я. Перед мной с новой силой открылись тайники души художника, и долго потом его ясные, простые, такие свежие, как утренняя роса, как музыкальные мотивы любимого мною Грига, виделись мне картины Рылова.

Дни его выставки в Москве были днями его успехов, его праздника. Не раз тогда он посетил меня, и тогда же мы сошлись с ним ближе. Я любил слушать его повествования про любезных его пернатых жителей лесов, про всякую тварь, населяющую их. Эти простые любовные характеристики были чудесным дополнением к его ландшафтам. Мои симпатии к Аркадию Александровичу крепки, мои посещения его мастерской восполнили их¹.

После успехов его выставки в Москве, летом группа художников, и среди них старейший — Аркадий Александрович, предприняла поездку по Волге, и вот тут, несмотря на свой возраст, он поражал многих юностью своей любознательности, предприимчивости. Мне говорили, что где-то,

в одном из поволжских городов, экскурсантам было предложено совершить дальние полеты по воздуху и что раньше других такое предложение принял наш Аркадий Александрович².

Его мягкий, общительный, благодушный характер привлек к нему общее расположение. Казалось, что такого, каким был он, не любить было нельзя.

Прошли годы послеюбилейные; талант Рылова не сдавал; работал он много, и живопись его не теряла обычной свежести. Большое чувство согревало его искусство. Осенью я по дороге из Колтуш был у Рыловых. Жизнь Аркадия Александровича шла обычным темпом, он был бодр, полон планов на будущее, выглядел прекрасно.

Однако вскоре после того пронесся слух, что Аркадий Александрович чувствует себя нехорошо. Затем тревожные слухи стали расти, грустный конец наступал быстро. Наша родина, искусство наше потеряло превосходного художника-поэта.

Среди нас нет больше доброго, благодушного Аркадия Александровича, отзывчивого, прекрасного товарища...

Теперь, когда прошло довольно времени, чтобы с большей ясностью видеть облик прекрасного художника, нас покинувшего, и придать ему должное значение в нашем искусстве, дело наших музеев бережно сохранить наследство Аркадия Александровича Рылова.

ЯН СТАНИСЛАВСКИЙ

Имя Станиславского, посмертная выставка которого привлекла в 1907 году внимание Варшавы, Кракова и Вены, почти неизвестно у нас, как мало известны нам и недавно умерший Выспянский, и все то поколение, которому выпало на долю создать новое польское искусство*.

После славного Баяна старой Польши — Матейко — этому поколению удалось, хотя и с иными идеалами, но с той же любовью послужить польскому искусству.

Ян Станиславский родился в 1860 году в сердце Украины, недалеко от Смелы и Корсуни, в деревне Ольшанах, близ родины Шевченко, которого старая няня Станиславского хорошо знала. Знала она множество народных песен и певала их будущему художнику.

Отец его сначала был профессором Харьковского университета. События 63-го года¹ отразились на ребенке смутно, тем не менее остались в памяти навсегда.

Отец его был серьезный ученый, вместе с тем поэт, сделавший лучший перевод на польский язык «Божественной комедии» Данте; он любил перечитывать написанное в домашнем кружке, и маленький Ян хорошо знал содержание и лица комедии. В прекрасном чтении отца мальчик рано познакомился с польскими поэтами, причем Мицкевич был любимым из них.

Дед его по матери, служивший некогда в польских войсках, большой поклонник Наполеона, привил и внуку любовь к великому полководцу; дед и внук любили вместе рисовать наполеоновские войны; и в минуты разочарования и хандры, даже в последние годы, Станиславский жалел, что не сделался военным.

* Мегофер, Рушиц и другие.

Окончив математический факультет в университете, он поступил в Петербургский технологический институт, но, увлекшись Эрмитажем, бросил навсегда математику, посвятив себя всецело искусству.

В 1883 году появилась его первая картина «Заброшенная мельница», вызвавшая общее одобрение. В том же году он уехал в Краков, где поступил в художественную школу, в которой тогда господствовал Матейко.

В то же время под руководством проф. Лушкевича Станиславский вместе с несколькими товарищами издает «Польский мир в памятниках искусства», часто бродит по древним улицам Кракова, срисовывая старые здания в еврейских кварталах города; тем не менее он остается неудовлетворенным. Матейко, занятый своими картинами, мало интересовался школой (на картине Матейко «Жанна д'Арк» одно из лиц написано со Станиславского), и Станиславский решает покинуть Краков, переселиться в Париж, где поступает в школу Каролюса Дюрана.

На впечатлительную натуру его Париж и его искусство имели громадное влияние, тем не менее сильно развитая индивидуальность не позволяет ему подчиниться какому-либо направлению. Летние же поездки на Украину поддерживают тесную связь с родиной. Живший в те годы в Париже замечательный польский художник Хельмоньский, кончавший самую богатую, характерную и бурную эпоху своего творчества, больше других пришелся по сердцу молодому Станиславскому, и они долгие часы проводили в беседах и мечтах о «чистом пейзаже».

В Париже Станиславский прожил десять лет. Смерть отца (1883 г.) и стесненные материальные условия семьи, хотя и создали крайне тяжелую обстановку для искусства, однако не поколебали его решимости до конца посвятить себя этому искусству, и 24-летний молодой художник, по его выражению, довольно «косолапый» в рисунке, но глубоко чувствующий красоту природы, преодолел все препятствия, поставленные ему жизнью, и в 1890 году вещи его принимаются в «Salon».

Вскоре после этого Рейхе покупает у него тридцать этюдов, платя по двадцать франков за каждый.

Станиславский, припоминая это событие в его жизни, говорил, что никогда не чувствовал себя столь богатым.

Ему, как и Хельмоньскому, Гупиль предлагал писать только для него, но свобода была для него столь дорога, что и это заманчивое условие он нашел возможным отклонить.

В 1893 году он попадает в Италию, которую позднее посетил шесть раз, восхищаясь ею и много работая там этюдов, постоянно зачерчивая все, что поражало его, в альбомы-памятки, которые представляли собой как бы дневник его художественной жизни.

На родине его тогда не знали. К так называемому «импрессионизму», которому Станиславский симпатизировал, относились враждебно или насмешливо. Появление его на родных выставках было встречено жестокой критикой, и только с появлением в Лемберге² в 1894 году его «Вечера» (у Косцельского около Познани) отношение к нему благоприятно изменилось.

В следующем году Юлиан Фалат предложил ему написать пейзаж в панораме «Переход через Березину», после чего Фалат, назначенный после Майтеки директором Краковской Академии, предложил Станиславскому быть профессором по пейзажной живописи в этой Академии. Десять лет, до самой смерти, Станиславский с увлечением работал в ней. Молодежь всегда находила в нем увлекательного, сердечного руководителя; частые совместные поездки в Карпаты на этюды имели живой, дружественный характер и надолго останутся в памяти участников, как останется в памяти сам Станиславский с его прекрасным искусством, с его пламенной любовью к жизни.

Я познакомился со Станиславским, или, как было принято его называть в русском обществе, Иваном Антоновичем, в семье Прахова в годы росписи Владимирского собора. Помнится, с первых же дней нашего знакомства мои симпатии были отданы этому грузному по внешности, симпатичному и тонкому по духовной своей природе, прямодушному и благородному человеку.

Добрые отношения наши, однако, развивались медленно, в них не было порывов, мы оба на протяжении многих лет пристально вглядывались друг в друга, и только последние годы, несмотря на то, что ни один из нас не в силах был поступиться ни одной чертой из заветных мечтаний наших, мы могли, наконец, сказать себе, что дружба наша истинная, крепкая и неизменная, ибо и непоколебимость взаимных верований мы привыкли уважать. Скорбь его понятна была мне, моя печаль доходила до него.

В киевской моей жизни последних лет Станиславский играл особенную роль. Его наезды из Кракова были желанными для меня, встречались как праздник, как отдых души; осенние же встречи в Киеве были для нас взаимной проверкой минувшей рабочей поры.

Своими небольшими картинами-этюдами умел Стани-

славский говорить о мирном счастье, о хорошей молодости, и с ним так хорошо мечталось! В его искусстве таилось прекрасное сердце.

Поэзия тихих украинских вечеров, днепровских далей, итальянских городков, какой-нибудь Вероны или Пизы, с их былой культурой, с задумчивостью переживших свое славное прошлое старцев, во всех этих этюдах-песнях кроется так много той славянской меланхолии, которая и нам, русским, столь мила и любезна и так сладко щемит наше сердце. Вслушиваясь в песни этого поэта Украины, невольно в размягченном сердце своем забываешь историческую драму, разъединившую два народа³.

Чудесная объединяющая сила жила в личности Станиславского, живет и в творениях его. Таинственное значение его велико, имени же его должна принадлежать одна из победных страниц истории польского народа. Еще недавно в 1905 году, проездом в Париж, исполняя данное Станиславскому обещание побывать в Кракове, я с семьей заехал туда.

Радушно встреченные, мы провели там три дня, и эти дни памятливы мне до сих пор. В освещении знаменитой некогда резиденции польских королей дорогой Станиславскому старины, истории, религии, быта культуры было так много прекрасного, поэтического! Увлекаюсь сам, он увлек и меня. В трогательном восхищении своей родиной был и великий смысл и залог будущей жизни.

Слушая его, мне хотелось самому крепче любить нашу Россию, с тем чтобы зажечь моей любовью столь многих равнодушных и безучастных к судьбе нашей родины соотечественников.

Лето 1906 года я и моя семья проводили близ Смелы, недалеко от родных Станиславскому мест, куда, по нашему давнему приглашению, в августе приехал И. А. Станиславский с женой (скончавшейся минувшей осенью⁴), истинным его другом, так любовно делившим с ним все его труды, планы и мечты. Мы были очень обрадованы его приездом, но после первых же приветствий нам стало ясно, что с ним произошло что-то недоброе. Он похудел, осунулся, богатырская фигура его как бы подалась. Землисто-желтый цвет лица и сильная одышка бросались в глаза.

Из осторожных расспросов узнали, что он пережил тяжелую болезнь почек и сердца и едва не умер в Кракове, что его врачи посылают в Египет, и что он Египту предпочел Украину.

Станиславские решили у нас остаться погостить. Какое-то смутное чувство подсказывало мне воспользоваться его

пребыванием у нас, написать с него портрет, на что он охотно согласился.

В тот же день я начал работать, работая с особенно нервным подъемом, и через несколько дней, показав его нашим гостям, услышал полное их одобрение, причем, помню, Станиславский заметил: «Хороший это портрет для моей посмертной выставки» — и, заметив наше огорчение его словами, он обратил их в шутку, и нам так хотелось, чтобы это была если и не шутка, то и не роковое предчувствие.

Во все время наших сеансов стояла дивная погода. Яркие солнечные дни сменялись тихими сумерками, а там наступала ночь, такая звездная, звездная! И мы обыкновенно после сеанса, после запоздалого обеда брали стулья, выносили их на середину двора и, усевшись поудобнее, долго молчаливо созерцали мириады этих ярких мигающих звезд, вслушиваясь в таинственную тишину, разлитую вокруг нас. Как прекрасны, краноречивы были эти памятные ночи! Лишь изредка их спокойствие нарушалось отрывистой фразой, вздохом. Иногда все уходило в дом, засыпали, мы же с Станиславским всё сидели, вглядываясь в эти звезды, вдумываясь в смысл жизни, в красоту живущего.

Конченный портрет я подарил жене Станиславского, причем ими было высказано желание завещать его в свое время в Краковский музей.

С Станиславским еще раз мы виделись в Киеве, в сентябре. До глубокой ночи провели в дружеской беседе, и через несколько дней он заехал попрощаться. Настроение у него было бодрое, и все опасения об его здоровье невольно стали рассеиваться. Оставив мысль об Египте, он уехал в Краков. Письмо его оттуда, полученное в ноябре, звучало грустно и загадочно, а в декабре в Петербурге я узнал, что Станиславский тихо скончался в Кракове 4 декабря 1906 года.

Не стану говорить, сколь велика была моя печаль! И теперь, когда Станиславского нет среди нас, позволительно сказать: счастлив тот народ, светло и лучезарно будущее страны, где не переводятся люди, подобные усопшему, нежно любившему свою родину, как и искусство, любовью деятельной, созидательной, прекрасной. Велико духовное богатство их при жизни, велико оно и тогда, когда эти сеятели добрые уйдут с нивы жизни, «познав запад свой».

П. М. ТРЕТЬЯКОВ

1

4 декабря 1898 года в Москве умер один из замечательных людей своего времени — П. М. Третьяков. Художественный мир тогдашней Москвы, да и всей России, с великой печалью принял эту скорбную весть. В это время имя П. М. Третьякова было уже известно как у нас, так и за пределами нашего отечества. Дело Третьякова было дело серьезное. Честолюбие его было высокого порядка. Он был собирателем того, что создалось нашим народом от ранних «изографов», от Симона Ушакова, до передвижников, до «Мира искусства».

Молчаливый, скромный, как бы одинокий, без какой-либо аффектации он делал свое дело: оно было потребностью его сердца, гражданского сознания, большой любви к искусству своей родины. Начав с малого, быть может, случайно облюбованной картины Шильдера¹, Павел Михайлович незаметно втянулся в собирательство — оно стало его жизнью, его призванием.

2

Приобретенная им верещагинская «Туркестанская коллекция» окончательно определила это призвание, и чуть было не навлекла на него «опеку»... за расточительность: 70 тысяч рублей, заплаченные Верещагину, было делом в те времена неслыханным, малопонятным московским обывателям². А тихий, молчаливый человек продолжал делать свое дело.

Мы, тогда юнцы, ученики Училища живописи и ваяния, хорошо знали дорогу в Лаврушинский переулок. Там, во дворе, стоял небольшой двухэтажный особняк с подъездом посредине; тут же, сбоку, ютилась пристройка с особым

входом. Мы шли туда как домой. Внизу была развешана верещагинская коллекция, наделавшая столько шума, и мы старались постичь «тайны» верещагинского искусства, такого неожиданного, иллюстрирующего его мысли о войне. В конце узкой, длинной с перегородками залы вела дубовая лестница наверх; там мы любовались, учились на Иванове, Брюллове, Кипренском, Федотове, Перове, Саврасове и других.

А галерея росла да росла. Росли и мы, наши понятия, вкусы и, скажу, любовь к искусству. Иногда в галерее появлялся высокий, сухощавый человек, он подходил то к одной, то к другой картине, пристально, любовно всматриваясь в них, вынимая из сюртука платок, свертывал его «комочком», бережно стирал замеченную на картине пыль, шел дальше, говорил что-то двум служителям, бывшим при галерее, и незаметно уходил. Мы знали, что это был сам Павел Михайлович Третьяков. Мы видели его иногда на годичных актах в училище, среди других почетных членов, он и там был «одиноким», ровный со всеми.

Мы приучались любить его, уважать, понимать его значение, знали многое о нем.

3

Лаконическая надпись над входом Петербургской Академии художеств: «Свободным художествам» — не была «звуком пустым» для нашего Павла Михайловича. Сверстник «тринадцати протестантов», во главе с Крамским покинувших пережившую себя после Иванова и Брюллова казенную Академию, П. М. Третьяков был их единомышленник, позднее переросший их. Потому-то ныне Государственная Третьяковская галерея поражает всех своим многообразием. В ней уживаются новгородские и строгановские иконописцы с Аргуновым, Брюлловым, коим в свою очередь не мешают позднейшие мастера — передвижники с рассудочным Крамским, патетическим Ге, сатириком Перовым, суриковская «Боярыня Морозова», репинский «Крестный ход», васнецовские «былины» с «Аленушкой», мой «Отрок Варфоломей», чудесная лирика Левитана, портреты европейца Серова, Коровин, Сомов, Малявин, Бенуа и другие.

Все это и есть знаменитая Третьяковская галерея, созданная когда-то человеком высокого интеллекта, подлинным историком русского искусства.

Мне нет нужды описывать в порядке постепенности развитие галереи при жизни Павла Михайловича: это

сделают другие. Я бы только хотел, чтобы материалы, коими будут пользоваться биографы Третьякова, не были истолкованы односторонне, так как не раз я слышал упреки Павлу Михайловичу за его осторожность, расчетливость в покупках. Правда, он не бросал денег зря, он и не мог это делать, так как до известного момента нес один на себе всю материальную тяжесть пополнения галереи.

4

Перейду к тому памяtnому и дорогомy для меня времени, когда я, молодой художник, познакомился с Павлом Михайловичем. Больше пятидесяти лет тому назад, в 1888 году, я задумал одновременно две картины: «За приворотным зельем» и «Пустынник».

Летом уехал в Сергиев посад; поселился на «Вифанке», почему-то называвшейся «Лифанкой», у старухи «Бизяхи». Там познакомился с Елизаветой Григорьевной Мамонтовой и стал бывать в Абрамцеве.

К осени все этюды были окончены, и я, переехав в Москву, написал «За приворотным зельем», отправил картину на конкурс в Петербург, а сам уехал в Уфу и начал своего «Пустынника».

Жилось и работалось в Уфе чудесно, спокойно. К новому году «Пустынник» был написан, и я, провожаемый всяческими пожеланиями, повез его в Москву. Там нанял комнату в гостинице, развернул картину.

Начались посещения приятелей-художников. «Пустынник» всем нравился. Особенно горячо отозвался Левитан, суливший мне успех. В той же гостинице жил, дописывая свою картину «Чтение письма с родины», молодой Пастернак³. Суриков тоже одобрил картину, но как «живописец», любитель красок не был доволен этой стороной картины. И правда, в «Пустыннике» ни краски, ни фактура не интересовали меня: я тогда был увлечен иным, но Суриков сумел убедить меня, что «если я захочу», то и живопись у меня будет. Василий Иванович особенно не был доволен фактурой головы моего старика.

По уходе Василия Ивановича я, недолго думая, стал переписывать лицо, а оно-то и было основой картины. Мне казалось: есть лицо — есть и картина; нет нужного мне выражения умиленной старческой улыбки — нет и картины. Мне, как Перову, нужна была *душа человека*, а я с этой-то душой безжалостно простился.

С того дня десятки раз я стирал написанное и у меня не только не выходила «живопись», но я не мог напасть

на прежнее выражение. Я стирал написанное по несколько раз в день, рискуя протереть холст, и однажды, измученный, к вечеру опять написал то выражение, что искал. Велика была моя радость.

Вскоре встретил бывшего моего учителя, хорошо ко мне относившегося, И. М. Прянишникова; он слышал о моей беде, спросил о картине и дал мне совет никогда не подвергать риску главное, самое ценное, основу картины, ради второстепенного. В данном случае не живпись была главным, и я ради нее едва не погубил то, чем так долго жил.

Такой урок был дан мне навсегда, и я никогда его не забывал. Во время моих злополучных поисков утерянного не раз мне говорили, что меня хочет посетить П. М. Третьяков, и я боялся, чтобы он не застал бедного «Пустынника» без головы. Этого не случилось. Павел Михайлович приехал неожиданно, когда картина была поправлена, и я ожил.

Помню, как сейчас, стук в дверь, мое «войдите». На пороге показалась знакомая нам, художникам, фигура Павла Михайловича в шубе с каракулевым воротником, с шапкой в руке. Обычные поцелуи со щеки на щеку, вопросы о здоровье. Я знал, что Павел Михайлович не любитель говорить. Он прямо приступил к делу, к осмотру картины.

Смотрел «Пустынника» долго, сидя, стоя, опять сидя, подходил, отходил, задавал односложные вопросы, делал замечания всегда кстати, умно, со знанием дела.

Пробыл около часу, сообщил, что был у того-то и того-то, неожиданно, вставая, спросил, не могу ли я уступить вещь для галереи? О боже мой! Могу ли уступить!? Каждого молодого художника (да и старого) заветной мечтой было попасть в его галерею, а моей — тем более: ведь мой отец давно объявил мне полусерьезно, что все мои медали и звания не убедят его в том, что я — «готовый художник», пока моей картины не будет в галерее. А тут — «могу ли я уступить!»

Однако я степенно ответил, что «могу».

Следующий вопрос самый трудный: «Что вы за нее хотите?»... Что хочу? — Ничего не хочу, кроме того, чтобы «Пустынник» был в галерее рядом с Перовым, Репиным, Суриковым, Васнецовым. Вот что я страстно хочу, и все же надо сказать не это, а что-то другое, серьезное... и я сказал, сказал! — и сам себе не поверил.

Что я наделал!.. Счастье было так близко, так возможно, а я, безумный, назначил... пятьсот рублей, и Павел Михайлович не возмутился, а прехладнокровно выслушав меня, сказал: «Я оставлю картину за собой», — стал прощаться, оделся и уехал, а я остался в каком-то полубреду.

Когда пришел в себя, припомнил все: казалось, — для сомнения не было места, однако зачем же Павел Михайлович так настаивал, чтобы «Пустынника» я послал на Передвижную, что он там увидит меня? Только к вечеру я поверил своему счастью, послал радостную телеграмму в Уфу. Послал и... вновь стал сомневаться.

Срок доставки картины на выставку приближался, я и мои приятели отправили картины и сами поехали в Питер. В первый же день, поднимаясь по широкой лестнице дома Боткина на Сергиевской, я встретился с Павлом Михайловичем; он был очень ласков со мной и как-то особенно подчеркнул, что картину считает своей. Потом я узнал, что ему передали о моих «переживаниях». «Пустынник» был принят на выставку единогласно... В нем было немало оригинального, нового, и он многим понравился. Молодежь особо горячо приняла его. Из стариков лучше всех отнесся к нему Ярошенко, хуже других Мясоедов — и на то была особая причина: Мясоедов сам написал и выставил пустынножителя, осуждая его за несчастную мысль «спасаться». Его монах, еще не старый, томился где-то в лесу, при закате летнего дня. Мясоедов посмотрел на моего жизнерадостного старика и начал что-то переписывать на своей картине. А это плохой признак: «перед смертью не надышишься».

Я был удовлетворен своим первым выступлением среди самых крупных художников того времени. Скоро уехал из Петербурга и с одним из первых пароходов отправился, счастливый, в Уфу, где был принят, как «настоящий художник». Летом я уехал на три месяца за границу, на те пятьсот рублей, что получил за «Пустынника». Впереди у меня была новая затея.

5

Побывав в Италии и на Парижской выставке, я прямо приехал в Москву, в деревню Комякино, где и засел за этюды к «Варфоломею». Часто бывал в Абрамцево. Как-то с террасы абрамцевова дома моим глазам неожиданно представилась такая русская, русская красота: слева лесистые холмы, под ними извивается аксаковская Воря, там где-то розовеют дали, вьется дымок, а ближе капустные, малахитовые огороды. Справа золотистая роща. Кое-что изменить, добавить, и фон для «Варфоломея» такой, что лучше не придумаешь. Я принялся за этюд, он удался, и я, глядя на этот пейзаж, проникся каким-то чувством его подлинной «историчности». Именно такой, а не иной, стало

казаться мне, должен быть фон к моему «Варфоломею». Я уверовал так крепко, что иного и искать не хотел.

Оставалось найти голову для отрока, такую же убедительную, как пейзаж. Я приглядывался к комякинской детворе, написал фигуру мальчика, детали к картине, березки, осинки, первый план и проч. Было начало октября. Вся композиция картины жила перед глазами в набросках, а вот головы мальчика, что мерещился мне, не было.

Однажды, идя по деревне, я заметил девочку лет десяти, стриженую, с большими, широко открытыми удивленными глазами, болезненную, со скорбным, горячечно дышащим ртом.

Я замер, как перед видением. Я нашел то, что грезилось мне. Это был «документ» моих грез. Я остановил девочку, спросил, где она живет, узнал, что она «комякинская», что она дочь Марьи, что изба их вторая с края, что зовут ее так-то, что она долго болела грудью, что недавно встала и идет туда-то.

На первый раз довольно. Я знаю, что делать дальше.

Художники в Комякине были не в диковинку, их не боялись, на них ребята подрабатывали на орехи и проч. Я отправился прямо к тетке Марье, изложил ей все, договорился о «гонораре» и на завтра, если не будет дождя, назначил сеанс.

На мое счастье, на другой день был теплый, серенький денек, я взял краски, лимонную дощечку, зашел за моей больнушкой и, устроившись поспокойней, начал работать.

Дело шло ладно. Мне необходим был не столько красочный этюд, как тонкий рисунок с хрупкой, нервной девочки. Работал напряженно, старался увидеть больше того, что, быть может, давала мне модель. Ее бледное, осунувшееся, с голубыми глазами личико было моментами прекрасно, и я это личико отождествлял со своим Варфоломеем.

У моей девочки было хорошее личико, но и ручки такие худенькие, с нервно сжатыми пальчиками, и я нашел не одно лицо, но и руки будущего преподобного Сергия (отрока Варфоломея).

В два-три сеанса этюд был готов. Весь материал был налицо. Я быстро сделал эскиз красками, нанял дачу в соседней деревне Митино и во второй половине сентября развернул холст, начал рисовать углем картину. Я был полон ею. Полили дожди, перед глазами были унылые кирпичные сараи, даже в Абрамцево нельзя было попасть: такова была грязь. Питался скудно. Моя стряпуха едва умела готовить щи да кашу.

Так прожил я месяц, нарисовал картину в угле и убе-

дился, что при плохом питании, один-одинешенек, я долго не выдержу... Я свернул картину на вал. Уехал в Уфу, на родину. Радостная встреча, разговоры об Италии, о Париже.

Картина натянута... Писалось приятно, дело быстро двигалось вперед. В те дни я жил только картиной, в ней были все мои помыслы, я как бы перевоплотился в ее персонажей. Когда не писал, — не существовал. Кончал писать в сумерках и потом не знал, куда себя девать. Проходила долгая ночь, утром снова за дело, и оно двигалось да двигалось. Я пишу голову Варфоломея, самую ответственную часть картины. Голова удалась, картина есть. «Видение отроку Варфоломею» кончено. Теперь, после «Пустынника», все, что я ни напишу, моим нравится. Знакомые хвалят: ведь обругать всегда успеется.

Собираюсь в Москву, везу с собой картину. В Москве помещаюсь в тех же «номерах», что и год назад. Приятели узнали, что привез картину, потянулись смотреть.

Пришел Левитан, смотрел долго, объявил, что «картина хороша», успех будет. Третьяков у него уже был, спрашивался, приехал ли я. Каждый день приходят художники, молва о картине растет.

Однажды утром пожаловал сам Павел Михайлович. К этому я был подготовлен.

Обычное тихое постукивание в дверь; то же «войдите»; та же длинная шуба с барашковым воротником, высокие калоши; то же хорошее русское лицо с заиндевевшей бородой и усами. Приветствия, поцелуи, расспросы об Уфе, просьба посмотреть картину; прошу. Рассматривает и так и этак, порядок обычный. Сам спокойный, без слов, одно внимание, любовное внимание: ведь дело большое, важное. Замечания односложные. Репинский «сидящий» портрет с Павла Михайловича похож до мелочей: глаза, рот, затылок, руки, манера их держать.

Первая часть визита кончена, начинается вторая — торг. Задается вопрос: могу ли я «уступить» картину для галереи? Могу ли уступить!.. Могу ли не уступить! — это было бы вернее. Конечно, «могу». «Как вы ее цените?» — Ну, тут начинается для художника самая мучительная часть разговора: боишься продорожить, так как никакой установленной цены на тебя нет еще, а с другой стороны, нет охоты сильно продешевить. Все, что думано раньше, равно советы друзей, в эти минуты не годится. Однако отвечать надо сейчас, и я очертя голову назначаю 2 тысячи рублей. Павел Михайлович, подумав, спросил, не уступлю ли я. Отвечаю, что назначил недорого, уступить ничего не могу.

Поговорили немного, гость стал прощаться. Снова поцелуи, пожелания, и... «скрылось милое виденье».

Пошли сомнения, упреки в упрямстве. На другой день узнаю, что картина Павлу Михайловичу понравилась, что следует ждать, быть может, еще не один визит, что уступать ничего не следует. Суриков, Остроухов, Архипов, Степанов, Левитан заходят; все настроены дружески.

А вот и Павел Михайлович — еще заехал. Сидел с час. Заметил, что огород я «тронул», стало хуже. При нем же стер: стер — стало лучше... Павел Михайлович успокоился. Опять спросил о цене, опять уехал ни с чем. Дружья в истории с огородом видят, что Павел Михайлович считает картину уже своей, он боится, чтобы я ее не испортил. Встречаемся через несколько дней со своим «покупателем» на Археологической выставке. Спросил, что делаю, не надумал ли уступить? Упорствую. Ну и характер!..

Время близится к отправке в Питер. Вот и опять знакомый утренний стук в дверь. Павел Михайлович на этот раз особенно любезен. Кончилось дело тем, что, прощаясь, надевая шубу, неожиданно объявил, что картину решил оставить за собой, ««что знает, что покупает ее не задорого, но возможность того, что в Петербурге Репин или кто-нибудь из старых мастеров выставит такое, что необходимо будет иметь в галерее, несмотря ни на какую цену, застав-ляет его экономить на нас, молодых...»».

Опять поцелуи, пожелания успеха и проч. Вот и «Варфоломей» в галерее. Посылаю телеграмму в Уфу, счастливый еду к Левитану, у него тоже все хорошо. Павел Михайлович взял и у него что-то ⁴. Большой компанией едем в Питер. Мы, молодые, пока еще экспоненты, подлежим суду членов Товарищества, быть может, многие из нас не будут приняты.

День суда настал; мы томимся ожиданием на мансарде одного петербургского приятеля. Я знаю, что Мясоедов, Вл. Маковский, Волков, Лемох моей картиной недовольны. Часу в первом на мансарду влетают двое молодых членов — Дубовской и Ап. Васнецов, объявляют радостную весть: все присутствующие на мансарде на выставку приняты. Дня за два до открытия по выставке одиноко бродил П. М. Третьяков. В это же время перед моим «Варфоломеем» собрались мои недруги и другие «знатоки»... Они судили картину «страшным судом» и сообща решили обратиться к Третьякову с увещанием, чтобы он от своей покупки отказался. Отыскали «московского молчалиника» где-то в конце выставки и приступили к нему с тем, что картина молодого экспонента Нестерова не отвечает задачам Товарищества.

Много было высказано против злополучного «Варфоломея» и в заключение выражена надежда, что ошибка будет исправлена и т. п. Павел Михайлович, молча выслушав обвинения, спросил судей (в их числе были Д. В. Григорович, В. В. Стасов, А. С. Суворин, Г. Г. Мясоедов), кончили ли они, и, узнав, что обвинения были исчерпаны, ответил им так: «Благодарю вас за сказанное; картину Нестерова я купил в Москве и если бы не купил ее там, то взял бы здесь, выслушав вас». Поклонился и тихо отошел к следующей картине. О таком эпизоде я слышал от Остроухова, а позднее это же кратко передал мне Павел Михайлович. «Видение отроку Варфоломею» в свое время имело исключительный успех.

6

Весной в Москве «Варфоломея» увидел Прахов, он предложил мне принять участие в росписи киевского Владимирского собора. Тогда же посетивший меня Третьяков предупредил меня, чтобы я в соборе не засиживался, возвращался к картинам.

Новые темы родились в моей голове... Павел Михайлович просил меня показать ему эскиз следующей картины («Юность преподобного Сергия»), у меня был лишь маленький акварельный набросок, я показал его Павлу Михайловичу, он ему понравился. Как это нередко бывает с нашим братом, показав еще не созревшую мысль, я охладел к ней. Поздней я нашел иную композицию для этой картины, уехал в Ахтырку (около Абрамцева), стал работать над этюдами к ней. В сентябре уехал в Киев, начал работать во Владимирском соборе и только летом, во время отдыха в Уфе, мог приняться за «Юность преподобного Сергия».

В 1892 году картина была окончена, я привез ее в Москву, там она произвела на одних еще большее впечатление, чем «Варфоломей», другие находили ее не доведенной до конца. К последним принадлежал и П. М. Третьяков. Я и сам видел, что в картине первенствовал пейзаж, и решил «Юность» переписать.

В 1894 году переписанную поставил на Передвижную выставку. При ее появлении голоса резко разделились: одни горячо ее приветствовали, другие бранили. Куинджи, Суриков, Ярошенко и молодежь были за нее. Против были — Ге, Вл. Маковский, Мясоедов, Остроухов. Любивший меня Шишкин простодушно заявил: ««Ничего не понимаю!» Репин нашел картину «декадентской» (тогда новое, мало

понятное слово), причем Илья Ефимович прибавил: «Это какой-то Фет!» Последнее не было уж так плохо...

Картина осталась у меня на руках. То, что я писал в последние годы, приобреталось частными лицами, и лишь «Великий постриг» пошел в Русский музей (за него дано мне звание академика, а Павел Михайлович высказал мне свое удовольствие по поводу его приобретения в музей).

Отношение ко мне Третьякова было прежде, он бывал у меня, интересовался моими работами и ... только. Ни я, ни мои друзья не могли найти объяснения тому, что галерее мои вещи миновали. Так было до тех пор, когда П. М. Третьяков решил принести в дар свое знаменитое собрание городу Москве. Тогда и у меня возникла мысль передать уже в Московскую городскую галерею свой цикл картин из жизни преподобного Сергия, что я и сделал, написав о своем намерении письмом Павлу Михайловичу, теперь как попечителю галереи.

На другой день он был у меня, горячо благодарил меня. Позднее я получил официальную благодарность от Московской городской думы.

Павел Михайлович, любивший искусство истинной любовью, перенес эту любовь и на художников, что проявлялось в разных формах, при всевозможных обстоятельствах. Он нередко прислушивался к голосу художников, они это понимали и ценили.

Незадолго до своей смерти Третьяков сделал к галерее большую пристройку и произвел коренную перевеску картин. Мои картины были помещены вместе с васнецовскими, и мы друг другу не мешали, но и не помогали, и я написал Павлу Михайловичу свое мнение о таком соседстве, предпочитая его соседству Н. Н. Ге. Такая контрастность была выгодна нам обоим. На это Павел Михайлович ответил мне следующим письмом:

Москва, 25 авг. 1898.

Глубокоуважаемый Михаил Васильевич,

Вы сказали верно о решении моем поместить Ваши картины в той комнате, где картины Ге. Вы ведь дали мне эту мысль, и вышло, по моему мнению, очень удачно. Галерея теперь совсем готова и, если не задержит каталог, откроется с 1 сентября.

Крепко жму Вашу руку и желаю всего самого лучшего. Будьте здоровы!

Преданный Вам П. Третьяков.

Пишу по старому адресу, не знаю, так ли?

Кому не приходила мысль о том, что, не появившись в свое время П. М. Третьяков, не отдайся всецело большой идее, не начни собирать воедино Русское Искусство, судьбы его были бы иные: быть может, мы не знали бы ни «Боярыни Морозовой», ни «Крестного хода», ни всех тех больших и малых картин, кои сейчас украшают знаменитую Государственную Третьяковскую галерею.

Тогда, в те далекие годы, это был подвиг, который лишь двадцать один год тому назад был оценен и узаконен, как акт государственной важности⁵.

Е. Г. МАМОНТОВА

Довольно долгая жизнь покойной Елизаветы Григорьевны Мамонтовой¹ была прекрасный подвиг, и я, право, не знаю, не помню на пути своем ни одной женщины, которая бы отвечала так щедро, так полно на все запросы ума и сердца.

Какое счастливое сочетание большого ума и большого сердца! Какое редкое равновесие того и другого!

Величайший житейский такт, мудрость жизни, неусыпная мысль к доброму деланию, скромность, простота. Религиозность без ханжества. Христианка в самом живом, деятельном проявлении. Чудная мать, заботливая хозяйка, энергичный, разумный член общества, друг меньшей братии с прекрасной инициативой в области просвещения и прикладных искусств. При всем том обаятельная в обращении с людьми, с привлекательным лицом, тихими, немного прищуренными глазами и несколько печальной, приятной улыбкой, чертами лица правильными, несколько грузинского типа. И не удивительно, что одно из наиболее любимых современных церковных изображений исполнено под впечатлением этого прекрасного лица.

В моей жизни Елизавета Григорьевна, знакомство с ней и дни моей молодости, посещения и жизнь в Абрамцево занимают немалое место. Там, в Абрамцево, я впервые видел в высшей степени приятный «тип жизни». Жизни не показной, шумной, быть может, слишком «артистичной», бывавшей там в дни наездов великолепного, с широкой, художественной натурой Саввы Ивановича, а жизни без него, когда там оставались Елизавета Григорьевна с двумя дочками-подростками, сыном Андреем Саввичем и умницей Еленой Дмитриевной Поленовой. Вот в эти дни такой тихой, нешумливой деятельности я любил приезжать в Абрамцево и,

живя там, приходиться в большой дом. Именно тогда мне хорошо думалось, хорошо работалось там. В те счастливые дни там написан был пейзаж для «Варфоломея», весенние этюды для «Юности преподобного Сергия».

Трудовой день ее начинался рано занятиями с детьми, посещением школы и столярной мастерской, разговорами с крестьянами и проч. А потом, после обеда, прогулки и вечером чтение вслух, рисование за большим столом среди хороших образцов искусства... Как это было хорошо, ново для меня... И сколько в это время было сделано Елизаветой Григорьевной добрых дел, сделано тайно, незаметно...

Еще долго после кончины Елизаветы Григорьевны приходилось слышать в округе о добрых делах ее. Жизнь ее как бы светила и грела всех лучами своего сердца, и все это без всякой слащавости или предвзятости, так естественно, просто, разумно.

Ах, если бы в мире было больше таких, какой была Елизавета Григорьевна!

Если зло имеет неотразимую прелесть, то его, конечно, может победить чудная красота добра, и такая красота была дана Елизавете Григорьевне, и жизнь ее была непрерывной борьбой с обаянием зла. И пришел час, — тихо угасла эта жизнь, но свет ее светит и поныне, то там, то здесь мерцает, ведет людей к вере в лучшие дни, в лучших людей...

Э С К И З

Девяностые годы. Петербург. Большая Морская. Открытие Передвижной. Толпы народа, приветствия, поздравления. Шумит Стасов: выставка «тузовая».

«Каков Репин! Не правда ли, как хорош Поленов? Недурны и молодые...»

Однако вслушивается и чувствуете что-то неуловимое: торжество, но не полное. Что случилось? Ах, опять этот Дягилев !

«Вот посмотрите, эти двое — это из его шайки. Слушайте, слушайте, что они говорят...»

Вот группа академистов; они категоричны, рубят с плеча: в восторге от Серова, восхищаются Левитаном. Новые слова, термины. Вспоминают выставку в школе Штиглица, всех этих шведов, норвежцев, финляндцев, сецессионистов, любят их, помнят поименно². Как они ярки, как много в них света! Вот настоящая живопись! Там есть «настроение». Ясно, что надо делать... Мы с ними. А если с ними, то, значит, — против М., против К., против всех этих черных, тяжелых, тенденциозных полотен.

Так говорила тогда зеленая академическая молодежь. Так говорили и мыслили уже многие.

Имя Дягилева повторялось чаще и чаще. Дягилев и его друзья, главным образом Александр Бенуа, поставили себе целью так или иначе завербовать все, что было тогда молодого, свежего, и тем самым ослабить приток новых сил куда бы то ни было. К даровитым, смелым новаторам потянулись все те, кто смутно искал выхода из тупика, в который зашли тогда передвижники, сыгравшие в 80-х и 90-х годах такую незабываемую роль в русском искусстве. А Дягилев зорким глазом вглядывался в людей и без промаха брал то, что ему было нужно. С Передвижной

первыми попали в поле его зрения четверо: Серов, Константин Коровин, Левитан и пишущий эти строки, и мы четверо вошли в основную группу будущего «Мира искусства».

В тот год я выставил картину, которая многим нравилась. В день открытия я, как и все участники, был на выставке и там узнал, что меня ищет А. Н. Бенуа, обративший перед тем на себя внимание таинственным замком, приобретенным П. М. Третьяковым³.

Мы познакомились, разговорились. Я услышал от него похвалы моей картине, от которых он не отказался и позднее. Похвалы эти были тем более приятны мне, что во многом они совпадали с тем, что я сам от себя требовал. Он подошел к моему странному старичку⁴ умно, все до конца понял, не придав картине предвзятой окраски. Ведь и было в ней все так просто, и искать несуществующего был бы напрасный труд.

Тогда же я познакомился с С. П. Дягилевым и стал бывать у него, стал вглядываться в новых для меня людей, таких молодых, энергичных, непохожих на передвижников. Многое мне в них нравилось, но и многое было мне чуждо, неясно, и это заставляло меня быть сдержанным, не порывать связи со старым, хотя и не во всем любезным, но таким знакомым, понятным.

Я не мог, как Серов, сразу порвать с чуждыми ему передвижниками и, как он, отдаться бесповоротно кружку «Мир искусства», ему родственному по культуре. Серов — западник, петербуржец — сразу нашел в них то, что искал, чего жаждала его художественная природа⁵. Сильно потянуло к ним Константина Коровина, великолепного живописца, для которого живопись — была все. Труднее входил туда Левитан, тонкий поэт-лирик, носивший в своей душе склонности к мечтательности, идеализму, чему невольно подчинял себя как живописец. Еще труднее было мне, не только москвичу по воспитанию, но москвичу и по складу души, ума, идеалов, быть может, еще бессознательно носящему особые задания религиозных исканий, столь, казалось мне, чуждых петербуржцам. Не находя отзвука на мое душевное состояние у передвижников, я не нашел его и в кружке «Мир искусства», и в этом я был ближе других к Левитану. Мы поверяли друг другу свои недоумения, тревоги и опасения и, приняв предложение участвовать на выставке «Мира искусства», мы не бросили передвижников, что, естественно, раздражало Дягилева, человека очень властного, решительного, не желавшего считаться с нашим душевным состоянием.

Мы с Левитаном мало-помалу очутились в положении подозреваемых как тем, так и другим обществом, и понемногу приходили к мысли создать свое самостоятельное художественное содружество, в основу которого должны были стать наши два имени, в надежде, что в будущем к нам присоединятся единомышленники-москвичи.

К такому решению мы были близки, когда тяжело больной Левитан скончался. Я же, занятый церковными работами, далеко живущий от Москвы и Петербурга, один осуществить этого дела не мог.

К тому времени в состав «Мира искусства», кроме упомянутых четырех передвижников, входили: Серов, Врубель, Сомов, Бакст, Головин, Малютин, Александр Бенуа; были там — Малявин, Рерих, Лансере, Поленов, Якунчиков, Остроумова-Лебедева, Добужинский и другие.

А Дягилев — такой обаятельный, смелый, как солнце среди пасмурных передвижников — освещал художественный мир...

Это и был расцвет «Мира искусства».

Однако пропасть между мной и обоими обществами (передвижниками и «Миром искусства») все росла и росла, и было достаточно ничтожного повода, чтобы разрыв совершился, — что и случилось. Я почти одновременно вышел из членов Товарищества и из состава «Мира искусства». Изменился к тому времени и характер «Мира искусства».

Дягилев власть свою разделил с Серовым и Бенуа. «Мир искусства», не теряя своей яркости и значения, захватил тогда и крайние течения того времени, хотя и не увлекался ими.

Но недолго оставался Дягилев среди созданного им дела. Его тянуло на Запад, в Европу — и он уехал туда. Его художественные выставки, постановка русской оперы, балета в Лондоне, в Париже и позднее за океаном прославили русское искусство. О нем восторженно заговорил Старый и Новый свет. Дягилев — явление чисто русское, хотя и чрезвычайное. В нем соединились все особенности русской одаренности. Спокон веков в отечестве нашем не переводились Дягилевы. Они — то тут, то там — давали себя знать.

Редкое поколение в какой-нибудь области не имело своего Дягилева, человека огромных дарований, не меньших дерзновений, и не их вина, что в прошлом не всегда наша страна, наше общество умело их оценить и с равным талантом силы их использовать.

ОДИН ИЗ «МИРИСКУСНИКОВ»

Сергей Павлович Дягилев, или «Сережа Дягилев», как звали его близкие (Дягилев был сын кавалергардского полковника, не из очень родовой знати, но с хорошими связями), вопреки всему был русским. Ни его космополитизм, ни манеры, ни лоск, ни прекрасный пробор и седой клок волос на голове, ни его элегантный костюм — ничто не мешало ему быть русским... Недаром в его жилах текла мужицкая кровь даровитого самородка-пермяка, и весь яркий талант его был русский талант, и Сергей Павлович без всяких «патриотических» побуждений, нимало не думая о «славе отечества», а думая лишь о самом себе, о своем благополучии, о «каретке», прославил русское искусство на Западе и за океаном.

Расточитель своего счастливого дара — дара ли администратора, антрепренера или художественного новатора, — чего хотите, — он начал с малого, начал с молодых лет.

Он и его друзья (Бенуа, Сомов, Бакст, Философов), разгуливая по Эрмитажу, выставкам, по петербургским гостиным, имея влечение — «род недуга» — к искусству, споря и критикуя стареющих передвижников, пришли к мысли показать россиянам, что делалось на Западе. Имея там связи, умея их заводить, они неожиданно устроили в Петербурге превосходную выставку западного искусства, и это было целое откровение. «Передвижное» болото зашевелилось, старики проснулись, начали браниться, мы же, тогда молодые, воспрянули духом: то, о чем мы грезили, на Западе имело все права гражданства, имело своих ценителей, друзей. Восторженно приветствуя Дягилева, мы скоро познакомились с его друзьями.

Из москвичей первыми вошли в круг будущего «Мира искусства» четверо: Серов, Левитан, Константин Коровин

и я. Неченимые передвижниками, мы без оглядки готовы были идти за Дягилевым хоть «на край света». Мы видели в нем свое спасение. Он же смотрел на нас как на готовую, ему нужную силу. Его задачей было поскорей оторвать нас от передвижников и закрепить за собой.

На нас сыпались похвалы, приглашения «бывать», и мы стали мало-помалу ясещать дягилевские не то вторники, не то четверги.

Холостая квартира Сергея Павловича была уютна: картины, эскизы висели по стенам, были хорошо подобраны; какая-то замысловатая, в виде дракона, люстра на потолке; приятная старушка-нянюшка разливала чай, к нему подавались сандвичи. Все располагало к общению, к хорошим разговорам и было так непохоже на знакомые сборища наших стариков.

У Дягилева собиралось много народа, шумели, спорили, было моллодо, оживленно, весело. Мы с Левитаном внимательно вслушивались, приглядывались к новым для нас людям и... не чувствовали себя там как «у себя дома», хоть и не могли дать себе ответа, что было тому причиной.

Один Серов, его плотная, призмистая, нахохлившаяся фигура, был там на месте. Одинаковая ли культура, навыки или еще что делали Валентина Александровича там своим человеком. Больше того: его непреодолимо влекло к Дягилеву, которого позднее он сравнивал с лучезарным солнцем, и без этого солнца жизнь была ему не в жизнь. Костя Коровин бывал у новых друзей налетом, хитро приглядывался к ним и незаметно кое с кем перешел на «ты».

Назревал журнал «Мир искусства». Дело, которое затеяли Дягилев и его друзья, не могло обойтись без своего журнала. И он явился. Одним из первых пайщиков был Савва Иванович Мамонтов, тогда человек большой силы. Позднее вошла кн. Тенишева, а еще позднее Серову удалось во время сеансов привлечь к изданию последнего Романова¹. Первый номер «Мира искусства» не был особенно удачен. Его бледно-желтенькая, с рыбками и избушками, обложка не показала особой изобретательности ее автора — Кости Коровина. Лучше был текст — задорный, молодой.

Журнал встретили одни улюлюканьем, другие — восторженно. Следующие номера стали ярче. Журнал делался более и более боевым. Нашим старикам (особенно Вл. Маковскому) приходилось плохо. Им жестоко там доставалось. Журнал шумел.

Выставки «Мира искусства» объединяли талантливую молодежь. Лицо этих выставок ни мне, ни Левитану не

было особенно привлекательным: специфически петербургское, внешне красивое, бездушное преобладание «Версалея» и «Коломбин» с их изысканностью, — все отзывалось пресыщенностью слишком благополучных россиян, недалеких от розовых и голубых париков. Не того мы искали в искусстве. Левитан в своих пейзажах был глубоким лириком, художником большого поэтического чувства, до которого не было никакого дела Дягилеву.

Однако пока что отношения наши с «мирискусниками» оставались «приятными». С нами были милы, любезны. Со мной им было по пути. Из меня, казалось, что-то можно извлечь.

Я входил в моду. Передо мной стоял Абастуман². Это было тогда, когда однажды Врубель, меланхолически настроенный, неудовлетворенный, стоя у окна абрамцевской столовой, на фоне которого изображена серовская «Верушка Мамонтова»³, говорил о себе, о своих мнимых неудачах, и на мои возражения нетерпеливо сказал: «Хорошо вам, когда у вас уже есть Варфоломей».

В те времена Врубель не казался «мирискусникам» тем, чем он стал для них позднее. В те дни, признавая в нем талант, они считали этот талант слишком неуравновешанным, его стиль, фантазию, краски, форму — болезненно острыми. Врубель не подходил ни под один из образцов западных мастеров, на которых воспитывались наши друзья. И, надо правду сказать, не они «открыли» Врубеля. Он был открыт задолго до того Праховым, пригласившим его расписывать стены киевского Кирилловского монастыря. Продолжая свои наблюдения, мы с Левитаном делились ими, и нам становилось очевидным, что передвижники, несмотря на свои старческие немощи, нетерпимость и проч., все же морально были выше питерских, ни перед чем не останавливающихся новаторов.

Несравненный Сергей Павлович, блестящий дирижер отлично подобранного оркестра, наезжая в Москву, посещал мастерские художников, как когда-то делал Третьяков, — делал это без его благородной скромности, делал совершенно по-диктаторски, распоряжался, вовсе не считаясь с авторами. Рукою властной отбирал, что хотел, жаловал, карал и миловал их. И только на одного нашего сибирского казака, Сурикова, «чары» Сергея Павловича никогда никакого действия не имели. Все попытки его проникнуть мастерскую Василия Ивановича кончались конфузом: тот неизменно и откровенно не принимал его, разговаривая с ним через цепочку двери, называя нашего денди по-сибирски — «Дягилёв».

Много позднее меня уверяли, что Дягилев не был вполне тем, чем нам казался в первые годы его деятельности, что инициатива почти во всех делах «Мира искусства» принадлежала Бснуга, а Дягилев был лишь талантливый исполнитель предначертаний своего друга...

Не стану говорить о моих столкновениях с Дягилевым, изменивших наши с ним отношения. Ясно было, что ни я, ни Левитан, ни даже К. Коровин, безраздельно не принадлежим к «Миру искусства», что не могло не делать отношений наших натянутыми, и с этим необходимо было покончить.

Перед рождественскими праздниками обычно художественная братия съезжалась в Петербург к выставкам. Одни ставили свои картины на Передвижную, другие — на Академическую, третьи — на «Мир искусства». Были и такие, что ставили и к передвижникам и к Дягилеву. С последним и надо было уговориться. Перед ежегодным общим собранием членов Товарищества стало известно, что передвижники и мирискусники, недовольные нами, четверьмя москвичами, желали «выяснить положение».

В день общего собрания Дягилев пригласил нас вместе побеседовать. Собрались у «Медведя»⁴. Само собой, обед был лишь предлогом к тому, чтобы хорошо поговорить, и разговор был откровенный, что называется, «на белую копейку». Нас ласково слушали, вместе с тем твердо наставляли, чтобы мы навсегда покинули старое гнездо и кинулись без оглядки в объятия «Мира искусства». Переговоры наши, и того больше — выпитое шампанское, сделали то, что мы были готовы принести «клятву в верности» Дягилеву, и он, довольный нами, отправился проводить нас на Морскую, напутствовал у подъезда в Общество поощрения художеств, и мы расстались как нельзя лучше.

Войдя в зал заседания, тотчас почувствовали, как накалена была атмосфера. Нас встретили холодно и немедленно приступили к допросу. На грозные обвинительные речи Маковского, Мясоедова и других мы едва успевали давать весьма скромные «показания», позабыв все, чему учил нас Сергей Павлович. Заседание кончилось. Мы (кроме Серова) не только не ушли к Дягилеву, но еще крепче почувствовали, что он нам не попутчик. Мы не порвали отношений ни с Передвижной, ни с «Миром искусства», и это больше не требовалось, так как летом не стало Левитана, а я всецело ушел в церковные работы. К. Коровин занят был театром.

Позднее я навсегда вышел из обоих обществ, мечтая о самостоятельной выставке, понемногу готовясь к ней. Реже и реже виделся я с Дягилевым и его друзьями. Прекратились

завтраки у Пювато и многое другое, и наши дороги почти разошлись.

Стали меняться и дела «Мира искусства». Диктатура Сергея Павловича стала тяготить его друзей, и однажды, после бурного заседания, было постановлено, что редактором журнала не будет единолично Сергей Павлович, а будет триумвират — Бенуа, Серов, Дягилев. Такая перемена скоро оказалась гибельной для дела и была началом конца «Мира искусства». Журнал, сослужив свою службу, после какого-то времени прекратил свое существование.

Сергей Павлович, после того как кончилось его самодержавство над «Миром искусства», не сложил рук и не мог их сложить по своей кипучей, властной натуре. Он и раньше интересовался музыкой, балетом, театром вообще, предъявляя к ним особые свои требования, а теперь, на свободе, предался этим искусствам с еще большим увлечением, и скоро Петербург заговорил о том, что не сегодня-завтра Дягилев сменил кн. Волконского, кратковременного директора императорских театров. Этого не случилось, не Дягилев стал вершителем театральных дел. Почему-то случилось так — потому ли, что боялись этого смелого новатора и властного, неугомонного «декадентского старосту», как шутя звал его президент Академии художеств вел. кн. Владимир Александрович.

Директором императорских театров вместо Волконского был назначен малоизвестный управляющий конторой московских театров, гвардейский полковник Теляковский. А наш Сергей Павлович, через какое-то время, устроив великолепную ретроспективную выставку портретов в Таврическом дворце, исчез, уехал за границу. Там, в Париже, устроил так называемую «Русскую выставку»⁵. Прошло еще сколько-то, — пронесся слух, что Дягилев поставил в Париже «Бориса Годунова» с Шаляпиным⁶.

Успех был чрезвычайный, событие. Оно и было началом его блестящей, шумной театральной деятельности за границей.

С тех пор с все возрастающим успехом, триумфами Сергей Павлович появлялся то в Лондоне, то в Мадриде, в Монте-Карло или за океаном, в богатой Америке. Его сотрудниками, делившими с ним успехи, были Шаляпин, Анна Павлова, художники К. Коровин, Бакст, Судейкин, Ларионов, Гончарова, Пикассо. Все, все шло на потребу нашему Сергею Павловичу. Имена Мусоргского, Римского-Корсакова, Стравинского, Прокофьева загремели по всему свету белому. И все те же диктаторские замашки, тот же неотразимый шарм, когда кто-нибудь ему нужен, и те же

«два пальца» уже ненужной, отслужившей балерине — все то же.

Шли годы, уходили силы. Слухи о Дягилеве то поднимались, как морские волны, то падали... То он стал «лордом», то был «другом испанского короля» (испанский король почему-то чаще других коронованных особ фигурирует в качестве «друга артистов»), то Сергей Павлович чуть ли не был банкротом, впадал в нищету, и его видели с протянутой рукой на улицах Чикаго, Буэнос-Айреса. И как ни странны, ни фантастичны были слухи о нем, все, решительно все могло случиться с этим необыкновенным искателем счастья...

И вот минувшим летом в московских газетах промелькнула заметка, так, в две-три строчки: «Дягилев умер в Венеции»⁷. Жизнь, деятельность и конец С. П. Дягилева — это сказочная феерия, фантастическим фоном последнего акта которой была «прекрасная владычица морей». Если Дягилев казался солнцем Серову, то и для нас, знавших его, он не был «тьмой крошечной», и мы по-своему его как-то любили. Богата Русская земля, даровит наш народ. С. П. Дягилев был живым его воплощением. Что за беда, что он беспечно, так щедро расточал свои таланты! Мир артистов долго его не забудет.

Ф. И. ШАЛЯПИН

О Шаляпине говорилось много, и все же о нем можно сказать кое-что, быть может, еще никем не сказанное...

Однажды, лет более тридцати тому назад, ко мне в Кокоревское подворье, где в те времена жилали художники, зашел один из приятелей и с первого слова полились восторги о виденном вчера спектакле в Мамонтовском театре, об удивительном певце, о каком-то Шаляпине, совсем молодом, чуть ли не мальчике, лет двадцати, — что певца этого Савва Иванович извлек из какого-то малороссийского хора, что этот новый Петров не то поваренок с волжского парохода, не то еще что-то с Волги... Я довольно скептически слушал гостя о новом феномене, однако вечером того же дня я слышал о нем те же восторженные отзывы от лица более сведущего в музыкальных делах. Говорили о «Псковитянке», о «Лакме», где молодой певец поражал слушателей столько же своим дивным голосом — басом, сколько и игрой, напоминавшей великих трагиков былых времен.

Следующие несколько дней только и разговору было по Москве, что о молодом певце со странной фамилией. Быль и небылицы разглашались о нем. Опять упоминали о каком-то малороссийском хоре не то в Уфе, не то в Казани, где юноша пел еще недавно, года два тому назад. Кто-то такие слухи горячо опровергал и авторитетно заявлял, что он все знает доподлинно, что Шаляпин извлечен «Саввой» из Питера, с Мариинской сцены, что он ученик Стравинского, дебютировавший неудачно в Руслане, а вот теперь «Савва» его «открыл» и т. д.

Достал и я себе билет на «Псковитянку». Мамонтовский театр переполнен сверху донизу. Настроение торжественное, такое, как бывает тогда, когда приезжают Дузе, Эрнесто Росси или дирижирует Антон Рубинштейн...

Усаживаются. Увертюра, занавес поднимается. Всё, как полагается: певцы поют, статисты ни к селу ни к городу машут руками, глупо поворачивают головы и т. д. Бутафория торжествует. Публика терпеливо все выносит и только к концу второго действия начинает нервно вынимать бинокли, что называется, — «подтягивается»... на сцене тоже оживление: там как водой живой вспрыснули. Чего-то ждут, куда-то смотрят, к чему-то тянутся...

Что-то случилось. Напряжение растёт. Еще момент — вся сцена превратилась в комок нервов, что быстро передается нам, зрителям. Все замерло. Еще минута, на сцене все падают ниц. Справа, из-за угла улицы, показывается белый в богатом уборе конь: он медленным шагом выступает вперед. На коне, тяжело осев в седле, профилем к зрителю показывается усталая фигура царя, недавнего победителя Новгорода. Царь в тяжелых боевых доспехах — из-под нахлобученного шлема мрачный взор его обводит покорных псковичей. Конь остановился. Длинный профиль его в нарядной, дорогой попоне замер. Великий государь в раздумье озирает рабов своих... Страшная минута. Грозный час пришел... Господи, помяни нас грешных!

То, что сейчас происходит там, на сцене, пронизывает ужасом весь зрительный зал. Бинокли у глаз вздрагивают. Тишина мертвая. Сцена немая, однако потрясающая. Долго она длиться не может. Занавес медленно опускается. Ух! слава богу, конец...

Так появляется Грозный-Шаляпин в конце, самом конце действия. Немая сцена без звука, незабываемая своей трагической простотой. Весь театр в тяжелом оцепенении. Затем невероятный шум, какой-то стон, крики: «Шаляпина! Шаляпина!» Занавес долго не поднимается. Шаляпин на вызовы не выходит. Антракт...

Начинается следующее действие тем, что в доме псковского воеводы ждут царя. Он вступает в горницу. В дверях озирается. Он шутит. Спрашивает воеводу: «Войти иль нет?»

Слова эти леденят кровь. Страшно делается за тех, к кому они обращены. Все в смятении. Тяжкая, согбенная фигура царя в низких дверях великолепна. Царь входит, говорит с обезумевшими от страха присутствующими. Садится, угощается... Страшный царь-грешник выщипывает начинку пирога, нервно озираясь кругом. Обращается то к одному, то к другому.

Это сцена непередаваема. Лучшие моменты великих артистов равны тому, что здесь дает молодой Шаляпин. Он делает это до того естественно, до того правдиво и как-то

по-своему, по-нашему, по-русски. Вот мы все такие в худшие, безумные минуты наши...

Опять занавес. Опять стон от вызовов. Начинается последнее действие «Псковитянки». В нем артист так же великолепен. Грим его напоминает грозного царя, каким его представил себе Виктор Васнецов в том великолепном этюде, что послужил ему потом для картины. Сцена убийства очень близка к репинской. Повторяю, — сила изображения действия разительна...

Однако нервы устали, восприимчивость притупилась, все требует отдыха от непосильной работы. Пьеса кончается. Певцу удается иногда в немых сценах, без звука, иногда в потрясающих, бурных порывах, показать с небывалой силой, яркостью былое, олицетворить страшного царя в трагические моменты его деяний.

Долго не появлялся Шаляпин на неистовые вызовы. Предстал он перед нами неожиданно, без грима, без шлема, в тяжелых боевых доспехах, в кольчуге (подлинной). Предстал как-то неуклюже. Перед нами стоял и кланялся благодушный, белобрысый, огромного роста парень. Он наивно улыбался, и как все это было далеко от того, что было здесь, на этой сцене, перед тем незадолго. Контраст был разительный. Трудно верилось, что то, что было и что сейчас перед нами, одно и то же лицо...

С тех дней русское общество долгие годы было под обаянием этого огромного дарования, возвышающегося порой на сцене до подлинной гениальности.

Бывая в Мамонтовском театре, можно было наблюдать, что Шаляпин был в поре величайшего творчества. Каждая новая роль его бывала для нас, тогда живших в Москве, новым откровением. Театральный сезон был весь заполнен Шаляпиным, разговорами о нем, восторгами, знакомством с ним и т. д.

Как-то меня пригласили в Общество любителей художеств, где тогда собиралось немало народа, так или иначе причастного к искусству. Я не любил там бывать, но на этот раз обещали, что там будет и новый «кумир». Его уже в те дни таскали по Москве чуть ли не по записям. Около него образовался кружок лиц, делающих на его имени свое маленькое благополучие. Они возили его туда, сюда, были с ним на «ты», и проч. и проч.

Вот и теперь один из этих Бобчинских привез Федора Ивановича в Общество любителей художеств. Певец всем понравился, нашли его славным малым. Он охотно и много пел. Ужинал, со всеми перезнакомился. Выглядел он тогда совсем юным. Огромного роста — вятское, немного бабье

лицо было умно, легко преображалось в соответствии с тем, что требовалось ему. Он был или казался тогда простодушным, доверчивым. Так нам всем в ту пору казалось.

В то лето, по дороге в Уфу, я прогостил у молодого Горького в Нижнем несколько дней¹. Написал с него этюд и много говорил с ним о новом замечательном артисте, который должен был играть летом в ярмарочном театре. Горький жаждал увидеть Шаляпина, познакомиться с ним, не предугадывая, что в будущем эти два имени так часто будут произноситься вместе.

Я особенно в то время был увлечен ролью Сусанина, в которой Шаляпин давал такой полный, естественный и величавый образ крестьянина, охваченного огромной идеей, — положить жизнь за Родину, за юного царя. Кто помнил Петрова, знаменитого создателя глинкинского героя, те находили, что образ, даваемый Шаляпиным, был не ниже. Я же полагал, что он совершенен.

Я снова переехал в Киев и лишь проездом в Петербург бывал в Москве, каждый раз не упуская случая посмотреть Шаляпина в одной из новых, еще не виденных мною ролей. Шаляпин теперь пел на сцене московского Большого театра. Широкий путь лежал перед ним...

Летом того же года я был в Кисловодске, встречаясь с Шаляпиным, Собиновым, Збруевой часто на даче Марии Павловны Ярошенко.

Время шло. Шаляпин был всероссийской знаменитостью. Он создавал один за другим дивные образы: Мефистофель, Владимир Галицкий, Сусанин, Мельник, царь Борис, Грозный — все они были великолепными, быть может, гениальными созданиями, его прославившими. Образы, им созданные, иногда приближались, возвышались до Сурикова: были так же трагичны и не менее историчны. Поразительная гармония внешнего и внутреннего облика, его героев с вокальными его достижениями. Ведь обычно мы получали одно из двух: или изумительные голосовые средства при полном отсутствии игры, как у Мазини, Патти, или же то, что было у великолепного актера-певца Стравинского, владевшего в совершенстве «игрой» при несовершенном голосе. И лишь Шаляпин, да еще, быть может, француз Девойод в мое время совмещали то и другое... Оба они придавали большое значение костюму, гриму, декорациям.

Так подвизался тогда Федор Иванович Шаляпин, переезжая из Москвы в Питер, появляясь то там, то здесь в провинции, везде с одинаково огромным успехом. Не нужно говорить, как в те дни оплачивалась возмож-

ность слышать его. Записи, очереди дневные и ночные у театра, барышники и проч.

Множество анекдотов, рассказов о том, как певец обращался со своими антрепренерами, с бесталанными собратьями по искусству, с разными глупыми Фаустами и такими же Маргаритами, наконец, с дирижерами просто и дирижерами знаменитыми. Рассказывали, что «Федя», как его многие теперь любили называть в глаза и за глаза, одетый в бармы и шапку Мономаха, перед тем как выходить, торгуется с плутоватым антрепренером, требует «деньги на стол» и т. п. Или он урезонирует на сцене во время репетиции князя Василия Ивановича Шуйского — какого-нибудь Шкафера — быть с ним, с царем Борисом, повежливей, не наседать на него фамильярно, помнить, что «все же я царь...» Словом, теперь это далеко уж не был тот благодушный вятский паренек, что явился однажды перед изумленными москвичами. О нет, — это было совсем иное, — это был уже властный, деспотический владыка сцены.

Вот он в Киеве. Билеты задолго все проданы. Я иду на «Бориса». Говорят, что сейчас Шаляпин роль эту переработал, углубил. Это правда: царь Борис великолепен. В антракте иду к Федору Ивановичу, в его уборную, полную народа. Тут все гости дорогие. «Борис» сегодня идет последний раз. Шаляпин уезжает куда-то дальше. Получаю приглашение после спектакля на ужин в Гранд-Отель.

Народу полон зал. Кого, кого тут нет. Пир горой, шампанское льется. Однако «сам» пьет, вопреки молве о нем, мало. Наступает рассвет. Те, что «уцелели», перешли с хозяином в его номер. Там он вздумал петь, и пел дивно. Разбуженные соседи и не думали протестовать — ведь они слушали самого Шаляпина да еще в таком ударе! Домой я попал тогда, когда дочь моя уходила в институт (она была так называемая «экстерна» — приходящая) ².

Шаляпин чаще и чаще стал бывать в Киеве. Вот он опять там. Мы снова видимся. Он иногда заезжает ко мне перед спектаклем.

Однажды заехал днем посмотреть мою «Святую Русь», которую я в те дни кончал. Застал у меня киевских дам. Как прирожденный светский человек держал он себя с ними. Одна из дам, умная и даровитая, нашла в нем сходство с «львицей». И правда, Федор Иванович иногда походил на молодую, ласковую, как бы облизывающуюся львицу.

Вскоре состоялся бенефис артиста. Я был на нем. Шел «Фауст».

Спектакль начался. Шаляпин был исключительно прекрасен. Никогда не забуду сцены, когда Мефистофель является

на площади перед церковью, куда вошла Маргарита. Это появление, истинно трагическое, проведено было так ново, так неожиданно, гениально. Мефистофель, одетый в черное, в черный, дивно облегающий гибкую фигуру плащ на оранжевой, огненной подкладке, едва заметной то здесь, то там, тяжелой, конвульсивной поступью — поступью грешника, стопы которого как бы впиваются в землю, им попираемую, и он с величайшим усилием отрывает их от раскаленной земли — делает новый шаг к новому греху, к новой беде... Такой Мефистофель совсем уже не оперный дьявол. Он поистине несет в себе, в каждом своем помысле, в каждом движении гибель, проклятие... И все же он шел, ибо в этом было его проклятие.

Успех Шаляпин имел в тот раз огромный.

Мои отношения с Федором Ивановичем не менялись. Бывая в Москве, я бывал у него. Однажды обедал у него в обществе Рахманинова, К. Коровина и еще кого-то. Помнится, приехав из Киева, я не мог достать в кассе билет на «Царя Бориса»³. Позвонил к Федору Ивановичу, и он устроил меня в оркестре, где я мог не только видеть и слышать Бориса, но еще и наблюдать жизнь оркестра — этого царства инструментов, подчиненного одной воле, одному исключительно музыкально одаренному человеку — дирижеру. В антрактах по переходам из оркестра я пробирался в уборную Федора Ивановича. Там, среди своих поклонников и друзей, отдыхал он, усталый. В эти минуты поистине тяжела ему была «шапка Мономаха».

В тот раз он играл дивно, и, что не часто с ним бывало, сам был доволен своей игрой. Сцена с видениями на троне была потрясающе прекрасна. После нее изнеможенный, со сплывшими волосами, как бы сам раздавленный содеянным, он долго оставался в уборной безмолвным, постепенно освобождаясь от страшного видения, им гениально созданного...

А. М. ГОРЬКИЙ

Лет около пяти назад редакция «Литературного наследства» предложила мне написать о моих встречах с М. Горьким. Я написал небольшую статью о нем и, раньше чем отдать ее в печать, решил послать написанное мной на суд самому Горькому, жившему тогда в Крыму. Я сделал это с первой же подвернувшейся «оказией», приложив письмо к Алексею Максимовичу, в коем просил его дать свой отзыв о моем написании. В соответствии с отзывом я предлагал или послать статью в «Литературное наследство», или уничтожить ее вовсе. Через какое-то время получил ответ:

«Многоуважаемый Михаил Васильевич — простой, «душевный» тон воспоминаний Ваших мне очень понравился. А вот публикация «Литературным наследством» воспоминаний о человеке еще живущем — не нравится. Погодили бы немножко. Сердечно поздравляю Вас с новым годом, желаю Вам здоровья. Слышал, что Вы написали еще один портрет И. П. Павлова и говорят — еще лучше первого.

Крепко жму талантливейшую Вашу руку. *А. Пешков.*
2.1.1936»

Такой ответ Алексея Максимовича порадовал меня и заставил задуматься: надо ли спешить с опубликованием статьи. Через полгода Горького не стало и мною были напечатаны воспоминания о покойном.

Мое знакомство с Максимом Горьким началось с его произведений. Как-то в конце 90-х годов, приехав из Киева в Питер, я попал на Сергиевскую к Николаю Александровичу Ярошенко. Я любил этого безупречного, честного, прямого, умного человека. В те далекие времена имена Крамского и Ярошенко часто упоминались, дополняя один другого. Крамской был «разумом», Ярошенко — «совестью»

передвижников. Н. А. Ярошенко был на четырнадцать лет старше меня¹, но это не мешало нам быть в наилучших отношениях до самой смерти Николая Александровича.

Вот и в этот раз я с удовольствием думал о нашей встрече, нам было о чем поговорить. В те годы была уже закончена роспись киевского Владимирского собора, о нем говорили, писали у нас и за границей. Нас, художников, «славили», но были и «скептики». К ним принадлежал и Ярошенко, не упускавший случая при встречах со мной съязвить по поводу нами содеянного.

Досталось мне и в этот раз. Я мужественно отбивался, но тут, как на грех, попалась на глаза Николая Александровича небольшая книжка — это были ранние рассказы М. Горького — «Челкаш» и другие.

Николай Александрович спросил, читал ли я эту книжку, и узнал, что я не только не читал ее, но и имени автора не слышал. Ну и досталось же мне тогда — прокис-то я в своем Владимирском соборе, и многое еще было сказано. Все это говорилось, конечно, в милой, в дружеской форме, и я, чтобы загладить свою вину, уезжая, захватил рассказы с собой и дома в постели залпом прочел чудесную книгу.

На другой день я опять был на Сергиевской и, уже «прощенный», целый вечер проговорил с Николаем Александровичем о большом даровании молодого автора. Сколько упований, надежд и «пророчества» было нами высказано на его счет.

Помечтали мы тогда изрядно... Рассказы эти и посейчас остаются такими же свежими, живыми, поэтическими — в этом их сила, их неувядаемость.

Где, когда познакомился я лично с Алексеем Максимовичем — сейчас не помню². Может быть, в Крыму, в Ялте — по пути в Абастуман, или в Нижнем — по дороге в свою Уфу... В Ялте я мог встретить Горького в 1899 году на балконе у доктора Средина, куда в те времена тянулся «интеллигент» всех толков. На срединском балконе бывали и марксисты, и идеалисты, там всем было место, как у Ярошенко на Сергиевской, или у них же в Кисловодске. Какая-то неведомая сила влекла на этот балкон как ялтинских обывателей, так и заезжих в Крым.

Бывало: тянутся люди в гору, мимо гимназии к дому Ярцева, где проживал тогда медленно угасавший в злой чахотке доктор Средин, объединявший вокруг себя «ищущих правды жизни». Кто только не шел к милому, спокойному Леониду Валентиновичу! Часто бывал там и Горький, любил бывать и Чехов. М. Н. Ермолова говорила мне, что она «на срединском балконе отогревается от московской стужи».

Художники Левитан и Виктор Михайлович Васнецов, Мамин-Сибиряк и благодушный большой Елпатьевский заглядывали туда. Все несли Средину свои думы, заботы, радости и печали, а он всех выслушивал почти молча, и молчание это было «мудрое молчание»: все знали, чувствовали, что их внимательно слушают, до конца понимают, и уходили с балкона бодрые духом, благодарные...

Так или иначе, познакомившись с Алексеем Максимовичем, я помню, что он сразу же пришелся мне по душе. Молодое лицо его, на редкость привлекательная улыбка располагали, влекли к нему всех. Детвора ни с кем так охотно не ходила в горы — на Ай-Петри, как с Алексеем Максимовичем. Мы стали встречаться то в Крыму, где Горький время от времени появлялся, то в Нижнем, во время моих поездок по Волге к себе в Уфу или обратно в Киев. Огромный, сутуловатый, с небольшой головой, прямыми темными волосами, с одухотворенным лицом простолыдина, широким ртом, прикрытым рыжеватыми усами, в светло-серой рубашке или в черной блузе, — таким я помню Горького в те далекие встречи.

Наши отношения скоро установились — они были просты, искренни; мы были молоды, а искусство нас роднило. Встречаясь, мы говорили о том, что волновало нас, — мы не были людьми равнодушными, безразличными, и хотя не во всем соглашались, не все понимали, чувствовали одинаково, но на том, что считали важным, значительным, сходились.

Помнится, в 1901 году я прожил у Алексея Максимовича в Нижнем несколько дней, мне нужно было написать с него этюд (тот, что сейчас находится в музее его имени). Этюд должен был послужить мне для большой картины «Святая Русь».

Писал я в саду, примыкавшем к большому многооконному дому, где жил в ту пору Алексей Максимович. У него постоянно бывал народ, он любил быть окруженным людьми. За обедом места не пустовали. Наши беседы велись по преимуществу на темы, так или иначе присущие искусству.

Помнится, мы пошли погулять: Алексей Максимович, Екатерина Павловна и я. Дошли до театра, повернули к дому. Пошли дальше, разговор был «о путях творчества». Алексей Максимович говорил, что во время работы бывало такое: вся повесть готова, но одно слово — его образное значение, непередаваемый яркий смысл — тормозило дело. Слово не шло на ум, оно ускользало, как бы дразня художника. Тут никакие мольбы редакции для автора значения не имели, он бывал немолчим.

Однажды рассказ был совсем готов и лишь это одно слово не давалось, оно убегало от Горького. Редакция выходила из себя, все сроки прошли, а нужного слова все нет, как нет... Заходит приятель, видит: Алексей Максимович не в духе, предлагает пойти... в цирк. Идут, смотрят разные разности — «рыжих» и прочее. Вдруг совершенно неожиданно слово мелькнуло, как живое, перед «внутренним оком» художника. Он схватил слово на лету. Алексей Максимович, не дожидаясь конца представления, веселый, довольный, вернулся домой. Рассказ был кончен и немедленно отправлен в Питер.

Наше знакомство продолжалось. Алексей Максимович как-то прислал мне собрание своих сочинений с приятной надписью, я ответил посылкой ему этюда и эскиза. Их он в свое время передал в Нижегородский музей, где они находятся по сей день. Дороги наши были разные: я писал картины на излюбленные мной темы, Горький написал «Песню о соколе», «Буревестника», имя его становилось все популярней, значительней.

Помню, были мы в Ялте, часто видались то там, то сям. Однажды сидели на террасе, южный вечер незаметно перешел в тихую звездную ночь, а мы сидели, вели мучительные, вдумчивые разговоры, говорили о судьбе нашей родины, о художниках и искусстве, о Л. Толстом, Достоевском, о целях, путях, призваниях писательских...

После этой беседы в Крыму с Горьким больше не встречался, а через какое-то время появился его гимн человеку — «Человек».

В 1903 году я жил в Абастумане. Абастуман был тогда одним из излюбленных дачных мест Закавказья. На лето туда съезжалось много народа, большое оживление вносила молодежь. В один из летних дней ко мне на квартиру явились Алексей Максимович, Екатерина Павловна и с ними К. П. Пятницкий — издатель «Знания». Они путешествовали по Кавказу и по дороге в Кутаис заехали в Абастуман.

В то время Максим Горький был «во всей славе своей». Молодежь быстро узнала о его приезде. Во время обеда нашу террасу закидали цветами. Демонстрация длилась до конца обеда и изрядно утомила Алексея Максимовича. После обеда я показал гостям свои работы.

На другой день рано утром путешественники отправились дальше, через Зекарский перевал в Кутаис.

Много лет прошло после нашей абастуманской встречи, огромные события преобразили совершенно нашу родину. За эти долгие годы не раз я слышал, что Алексей Максимович обо мне поминал добром. Встретились мы еще раз в 1935 году

на моей небольшой кратковременной выставке в Музее изящных искусств (ныне имени Пушкина). Оба мы уже были стариками, встретились хорошо, я рад был увидеть все такую же привлекательную улыбку, какая была у Алексея Максимовича в молодые годы. Он внимательно осмотрел выставку, хотел приобрести одну из картин, как он сказал, «для Нижегородского музея». Это был семейный портрет, и я уступить его не мог³.

Спустя некоторое время Алексей Максимович взял у меня другую вещь, также бывшую на выставке — «Больную девушку», и она по сей час висит в его кабинете в Горках.

Прошел еще год, Горький только что вернулся из Крыма, он хотел посмотреть одну из моих картин, не бывших на выставке, дважды звонил ко мне, но не дозвонился. Через две недели — 18 июня — его не стало.

Ушел из жизни большой художник-поэт, яркий выразитель дум, скорбей и упований народных.

И. П. ПАВЛОВ

Еще в 1929 году Северцев, Шокальский, Борзов начали поговаривать о том, что мне следует написать портрет с И. П. Павлова.

О Павлове я знал давно, знал его приятелей-сослуживцев по Военно-Медицинской Академии. В последние лет 10-15 имя Ивана Петровича, его исключительное положение, его «линия поведения» в науке и в жизни становились «легендарными»... бль и небылицы переплетались, кружились вокруг него.

И вот с этого-то легендарного человека мне предлагают написать портрет; «нас сватают»: показывают мне его портреты, приложенные к его сочинениям. Я смотрю и не нахожу ничего такого, что бы меня пленило, «раззадорило»... Типичное лицо ученого, профессора, лицо благообразное, даже красивое и... только. Я не вижу в нем признаков чрезвычайных, манящих, волнующих мое воображение... и это меня расхолаживает.

Лицо Льва Толстого объясняют мне великолепные портреты Крамского и Ге, наконец, я знаю, я восхищаюсь с давних пор «Войной и миром», «Анной Карениной». Так было до моего знакомства с Толстым. Познакомившись, я увидел еще многое, что ускользнуло от тех, кто писал с него, ускользнуло и от меня, хотя и я успел взять от него то, что мне было нужно для моих целей, для картины, и мой портрет не был портретом, а был большим этюдом для определенной цели.

Знал я Д. И. Менделеева: лицо его был характерно, незабываемо --- оно было благодарным материалом для художника. Из портретов Павлова я ничего такого усмотреть не мог, это меня обескураживало, и я, не считая себя

опытным портретистом, не решался браться не за свое дело и упорно отклонял «сватовство». Однако «сваты» не унимались. После одной из сессий Академии наук Северцев сообщил мне, что со стороны Павлова препятствий не имеется: он якобы согласился позировать мне. Дело остается за мной... и я через какое-то время набрался храбрости, дал свое согласие поехать в Ленинград, познакомиться с Павловым, а там-де будет видно...

Было лето 1930 года. Июль. Я отправился в путь, остановился в «Европейской», позвонил к Павловым, меня пригласили в пять часов к обеду. Еду на Васильевский остров, знакомый мне с юношеских, академических лет. Вот дом Академии наук на 7-й линии, на ней когда-то давно-давно я поселился с приятелем, приехав из Москвы в Питер искать счастья в Академии художеств времен Иордана, Шамшина, Виллевалде и других — сверстников, преемников славного Карла Павловича Брюллова.

Вхожу по старинной лестнице времен николаевских¹. Звоню, открывают. Дома меня встречает небольшого роста полная, приветливая, несколько старомодная старушка: это жена Ивана Петровича, Серафима Васильевна, более пятидесяти лет бывшая умным, преданным спутником жизни, другом его.

Не успев я осмотреться, сказать несколько слов, ответить на приветствие супруги Ивана Петровича, как совершенно неожиданно, с какой-то стремительностью, прихрамывая на одну ногу и громко говоря, появился откуда-то слева, из-за угла, из-за рояля, сам «легендарный человек».

Всего, чего угодно, а такого «выхода» я не ожидал. Поздоровались, и я вдруг почувствовал, что с этим необычайным человеком я век был знаком. Целый вихрь слов, жестов понесся, опережая друг друга... более яркой osoby я и представить себе не мог. Я был сразу им покорен, покорен навсегда. Иван Петрович ни капельки не был похож на те «официальные» снимки, что я видел, и писание портрета тут же мысленно было решено.

Иван Петрович был донельзя самобытен, непосредствен. Этот старик 81 года был «сам по себе» — и это «сам по себе» было настолько чарующе, что я позабыл о том, что я не портретист, во мне исчез страх перед неудачей, проснулся художник, заглушивший все, осталась лишь неутолимая жажда написать этого дивного старика...

Страстная динамика, какой-то внутренний напор, ясность мысли, убежденность делали беседу с Иваном Петровичем увлекательной, и я не только слушал его с огромным интересом, но вглядывался в моего собеседника.

Он, несмотря на свои 81 год, на седые волосы, бороду, казался цветущим, очень, очень моложавым; его речь, жест (ох, уж этот мне «жест!»), самый звук голоса, удивительная ясность и молодость мыслей, часто несогласных с моими, но таких убедительных, — все это увлекало меня. Казалось, что я начинаю видеть «своего Павлова», совсем иного, чем он представлялся до нашей встречи.

На другой день мы уехали в Колтуши, и я, осмотревшись там, решил написать портрет с Ивана Петровича на застекленной террасе, где он любил работать, читать своих любимых авторов — Шекспира, Пушкина, Льва Толстого или что-нибудь по своей научной специальности.

Принимая во внимание возраст моей модели, я остановился на более удобной позе: за чтением. Сеанс начался. Сидел Иван Петрович довольно терпеливо, если не считать тех случаев, когда ему хотелось поделиться своими мыслями.

Однажды попался ему свежий английский журнал с критической статьей на его научные теории: надо было видеть, с какой горячностью Иван Петрович воспринимал прочитанное; по мере своего возмущения он хлопал книгой об стол, начинал доказывать всю нелепость написанного, забывая, что я очень далек от того, что так взволновало его.

В такие минуты, положив палитру, я смиренно ожидал конца гнева славного ученого.

Буря стихала. Сеанс продолжался до следующей вспышки.

Так шли дни за днями, наши отношения упрощались. Недели через три портрет был окончен, я показал его близким Ивана Петровича, в Колтушах. Портрет находили похожим, его решено было приобрести для Института экспериментальной медицины.

Перед моим отъездом в Москву Иван Петрович показал мне опыты искусственного питания, пояснил мне свою знаменитую теорию об условных рефлексах на живом примере — собаке. Я распрощался с Павловым, уехал, не предполагая тогда, что за первым моим посещением Колтушей последует ряд лет, когда я буду туда наезжать гостем. Между нами установилась живая связь, я стал переписываться с семьей Павловых.

Весной в 1933 году Иван Петрович пригласил меня приехать погостить у него в новом доме. В июле мы снова встретились. Иван Петрович выглядел бодрым, жизнь вел деятельную; те же привычки, занятие, купанье утром, «чурки», разговоры, чтение, споры со мной об искусстве.

Вокруг дома Ивана Петровича кипела работа, был разбит большой сад, планировался «Павловский городок». Всюду

Иван Петрович вносил свою инициативу, свой кипучий темперамент. Мы, два старика, более и более привыкали друг к другу.

Так прожил я у Павловых две недели. Пора было уезжать домой. Летом 1934 года я снова был приглашен в Колтуши погостить, приехал туда в июле, нашел много нового. Теперь там собралась почти вся семья. Были тут и обе любимые внучки Ивана Петровича — Милочка и Манечка.

Снова побежали дни за днями. По утрам мы сходились с Иваном Петровичем с двух концов дома пить чай на застекленной террасе, где было много солнца, цветов, много и разговоров, таких оживленных, о том о сем. В то лето Иван Петрович изменил давно заведенный обычай: он не купался, не играл в чурки, он много занимался умственным трудом, мало отдыхал, что тревожило его близких, — боялись за его зиму, и не напрасно.

В Колтушах появились подаренные Вороновым обезьяны породы шимпанзе — Рафаэль и Роза. Им возле дома был построен обезьянник; скоро начались и опыты с ними, они привлекали много любопытных. Работая умственно, Иван Петрович все же до конца не забывал своих навыков: утром и вечером он по два часа занимался физическим трудом, коему он придавал всегда, с молодых лет, большое значение. Теперь он чистил дорожки своего молодого сада, а я тогда на ходу его зарисовал. Рисовал я и по вечерам, после чая, когда все собирались на террасе перед сном. Ум Ивана Петровича неусыпно работал: казалось, в любой час дня и ночи он был способен к ясным, точным выводам, недаром на его новом доме, на его белых стенах, было начертано: «Наблюдательность, наблюдательность...». Где бы он ни был, что бы ни делал, он оставался наблюдателем, экспериментатором.

Как-то, работая в саду, чистя дорожки, Иван Петрович приблизился к той части сада, где стояли ульи, и здесь проявились его основные свойства, его наблюдательность: он стал внимательно следить за жизнью пчел. За завтраком (мы завтракали втроем: Иван Петрович, Серафима Васильевна и я) он с оживлением, достойным большей аудитории, чем какая была перед ним, стал излагать свои наблюдения над пчелами; говорил, что пчелы умны во всем, что, летая вокруг него, они не жалят его, так как знают, что он, как и они, работает, и не чувствуют в нем врага, так сказать, эксплуататора их труда, вроде какого-нибудь пчеловода; что пчеловод — враг, потому он и не смеет приблизиться к ним: они сейчас же его накажут, ужалят, а вот он,

Иван Петрович, не враг, и потому они его не жалят, зная, что каждый из них занят своим делом и не покушается на труд другого и т. д.

Все это было изложено горячо, убежденно, и кончил Иван Петрович своей любимой поговоркой — «вот такая штука», пристукнув для вящей убедительности по столу кулаками, — жест для него характерный и знакомый его близким, сотрудникам и ученикам. Мы с Серафимой Васильевной, выслушав внимательно новые наблюдения, ничего не возражали.

На другой день опять за завтраком нас было трое, и я, сидя с правой его стороны, заметил у правого глаза Ивана Петровича, под очками, изрядную шишку; мы оба с Серафимой Васильевной заметили эту перемену, но и виду не подали о том. Иван Петрович за завтраком говорил о том о сем и был как бы в каком-то недоумении, а в конце завтрака, за пасьянсом, поведал нам, что его сегодня во время работы ужалила пчела, — она, ясно, была *глупая* пчела: не сумела отличить его, человека для нее безвредного, от явного врага пасечника, и случай этот, конечно, не был типичным, а исключительным.

Повсдад нам обо всем этом, он успокоился; мы ни слова не возражали...

На другой день садимся завтракать, видим, что с другой стороны, теперь с левой, у глаза около очков, у Ивана Петровича вторая шишка, побольше первой... симметрично, но... лица не красит. Иван Петрович чем-то озабочен, кушает почти молча и лишь в конце завтрака сообщает нам, что и сегодня его ужалила пчела и... что он, очевидно, ошибся в своих предположениях, что ясно — для пчел нет разницы между невинным занятием его, Ивана Петровича, и их врага пасечника...

Мы молча приняли к сведению мужественное признание в ошибочном выводе всегда честного Ивана Петровича.

У Ивана Петровича в кабинете висело множество картин передвижников, которые он ценил и любил созерцать во время отдыха. Эти картины порождали иногда между нами споры.

Взгляд Ивана Петровича на живописное искусство был общим с большинством людей 70—80-х годов, времени расцвета передвижников с их рассудочностью и «литературничаньем», он был дорог и любезен Ивану Петровичу, что усугублялось его знакомством с многими из членов Товарищества. Мое же поколение художников вышло из-под их влияния: у нас «чувство» преобладало над рассудочностью, мы искали правду в поэзии, в самом искусстве;

идеалы передвижников стали нам чужды, и мы отошли не только от обличителя-сатирика Перова, но и от рассудочника Крамского и отходили даже от громадного дарования Репина; с нами оставался только Суриков.

Сколько раз мы сцеплялись с Иваном Петровичем в горячем споре на эти темы. Иван Петрович всячески вышучивал нас, людей «чувства» и «интуиции». Я иронизировал над горделивым превосходством ученой братии перед нами, бедными. Иван Петрович, конечно, как большая умница, знал цену и разуму, и чувству; он оценил и то и другое как естественное и неоспоримое, хотя его природе были более свойственны рассудочность и анализ... Но не один Иван Петрович в те времена имел трезвые и рассудочные тенденции в понимании искусства: даже один из крупнейших художников, Репин, быть может, половину своего необычайного таланта отдал «духу времени», и приносил свой великолепный дар подлинного живописца темам, ему не свойственным. Он, как Карл Брюллов, искал темы, а не они искали его.

Итак, наше художественное образование с Иваном Петровичем в молодости шло разными дорогами — он воспитывался не столько на Сурикове и Репине, сколько на Владимире Маковском, Дубовском и иже с ними, потому искусство для него и было лишь необходимым отдыхом, его жестковатым, но любезным диваном, а не высоким наслаждением, к которому нас призывали великие мастера Возрождения, гениальные поэты и музыканты.

Иван Петрович расспрашивал о братьях Кориных, особенно интересуясь талантом Павла Дмитриевича.

В другие дни, настроенный более мирно, Иван Петрович высказывал разные мысли. Он говорил, что человек под старость, изжив все свои ресурсы — молодость, энергию и прочее, теряет, так сказать, свое оперение, свою внешнюю привлекательность. Она ему больше не нужна. Появляется седина, он лысеет, теряет зубы, и, наоборот, появляются волосы в ушах, где им быть не нужно, и они его не красят. Все, все говорит, что физическая жизнь кончена, в возмещение чего усиливается умственная жизнь, духовная. Говорил Иван Петрович, как всегда, образно, доказательно, с присущей ему живостью.

Иногда Иван Петрович касался вопроса о войне; он был всегда противником войны, как человек, деятельность которого посвящена умственному труду и мирному кабинетному творчеству на пользу и благо человечества...

Погостив в тот раз в Колтушах три недели, я уехал к себе в Москву. 27 сентября праздновали восьмидесяти-

пятилетие Ивана Петровича. Правительство и вся страна приняли участие в его юбилее. На мое приветствие Иван Петрович ответил следующим письмом:

«Дорогой Михаил Васильевич,

от души говорю Вам с Екатериной Петровной спасибо за теплый привет к моему 85-летию и за Ваш подарок. Счастлив, что и в старые, конечно, остывающие годы могу еще внушать к себе живые дружеские чувства. Дай вам бог еще долго находить радость в Вашей художественной творческой работе, как я все еще в моей научной работе переживаю неувядающий интерес жить.

Всего наилучшего Екатерине Петровне и Вам.

Ваш *Ив. Павлов*».

Кроме приветственного письма я послал тогда Ивану Петровичу мое повторение портрета, писанного с него в тридцатом году.

В марте 1935 года мы узнали о тяжелой болезни Ивана Петровича. Врачи боялись осложнения. Мы ловили слухи. Они менялись. Тревога за 85-летнего старика росла. Наконец мы получили успокоительные вести от семьи, опасность миновала. Стали носиться слухи о конгрессах в Лондоне и Ленинграде.

В июле Иван Петрович вместе с сыном Владимиром Ивановичем выехал в Лондон. Газетные слухи шли с дороги: писали, что наш Иван Петрович «грозился» в случае дурной погоды перелететь Ла-Манш на аэроплане. Торжества в Лондоне окончились. Иван Петрович держал путь домой. На границе его встретил «вагон И. П. Павлова». Вот он в Ленинграде, там начинается съезд ученых физиологов со всего мира. Конгресс заканчивается в Москве великолепным банкетом в Кремлевском дворце. Иван Петрович остается на несколько дней в Москве, посещает родных и друзей. Был он с семьей и у меня на Сивцевом Вражке; от нас все поехали к Васнецовым, так как Иван Петрович давно хотел познакомиться с последними «сказками» Виктора Михайловича, — он интересовался первоначальным их происхождением и часто жалел, что не успел познакомиться с этим замечательным русским художником. Затем следовала поездка Ивана Петровича с семьей на его родину, в Рязань. Там снова торжества. По возвращении из Рязани — отъезд в Ленинград. По приглашению Ивана Петровича я еду с ним в Колтуши с определенным намерением — начать с него второй портрет. Вот я и еще раз в Колтушах. До чего они

преобразились к конгрессу! В саду красуются бюсты Декарта, Менделя, Сеченова. Я опять в своей комнатке. Я привык к ней; у меня постоянно цветы, их здесь теперь множество: сад разросся на радость Ивана Петровича.

Приступаем к портрету, более сложному, чем первый: нам обоим 158 лет; удастся ли преодолеть все трудности, для одного — позирования, для другого — писания портрета? Однако судьба нам благоприятствует...

...Портрет был окончен, близкие Ивана Петровича его одобрили, пригласили всех сотрудников для осмотра — и все в один голос нашли портрет более похожим, чем первый ²...

...Приезжала депутация заводской молодежи и поднесла Ивану Петровичу резные палки для игры в «чурки». Подарок тут же был обновлен. Иван Петрович с юношеским задором сыграл партию и поблагодарил депутацию, отпустив молодых людей очарованными им. Иван Петрович и Серафима Васильевна покинули Колтуши, чтобы приготовить квартиру на зимний лад, на другой день уехал и я. По приезде в город узнал, что заболел Всеволод Иванович ³. Иван Петрович был очень озабочен, хотя от него еще скрывали тогда, что у больного предполагают рак печени.

Всеволод Иванович был секретарем Ивана Петровича, очень им ценимым. 20 сентября утром мы с Иваном Петровичем отправились навестить больного. Погода была серая, ветреная; шли по набережной мимо Академии художеств, по Университетской линии к Малой Невке, к дому Академии наук, куда перевезли больного. Иван Петрович шел в летнем пальто: он ходил в нем обычно до декабря, когда на зиму сменял его на демисезонное. Я недолго оставался у больного; прощаясь, не думал, что простился с ним навсегда.

Вечером я уезжал в Москву. Подали машину, стали прощаться. Иван Петрович впервые за годы нашего знакомства поцеловался со мной старческим поцелуем — прямо в уста. Провожаемый добрыми пожеланиями, я вышел на площадку лестницы. Тотчас за мной появился на ней Иван Петрович и со свойственной ему стремительностью послал мне вслед: «До будущего лета в Колтушах!» — и исчез...

Мог ли я думать, что в этот миг я слышу столь знакомый, бодрый, молодой голос Ивана Петровича, вижу его в последний раз в моей жизни...

Скоро пять лет, как это было; я успел побывать в Колтушах, пожить в новом доме, где не пришлось нам пожить с Иваном Петровичем. В новом доме шла жизнь та же, что и в

старом, тот же распорядок, те же симпатичные мне люди, но Ивана Петровича не было с нами. Я побывал у него на Волковом кладбище...

В Колтушах идут работы. Павловский городок растет, жизнь там кипит, и чудится мне, что дух великого экспериментатора, такого правдивого, с горячим сердцем русского человека, — долго будет витать над нашей страной.

А. С. СТЕПАНОВ

Алексея Степановича Степанова, нашего «Степочку» мы все любили. Да и как было его не любить! Я совершенно уверен, что на всем белом свете не нашлось бы такого свирепого человеконенавистника, который ни с того, ни с сего, «здорово живешь», невзлюбил бы Алексея Степановича.

Его любили равно за его чудесный нрав, как и за его прекрасное искусство, любили так, как он любил нас, как любил он своих мишек, лошадок, лосей, всех малых и больших зверушек и зверей, коих изображал. Он любил и родной наш пейзаж, любил крестьянский быт и охотничий люд. Все и всё платили ему ласковым вниманием, добрым чувством.

Степанов был лучшим анималистом после Серова. Он был учеником И. М. Прянишникова, затем В. Г. Перова, кончил Школу живописи при В. Е. Маковском.

Прянишников и Перов, страстные охотники тургеневского типа, учили и нашего Степочку любить охоту не столько как спорт (тем более бесцельное хищничество), сколько за то, что в предрасветные часы тяги совершается в природе, — любить поэзию охоты.

Его животные, звери, как и у Рылова, как-то чувствовали в художнике своего друга.

Как-то давно, в молодые наши годы, художники Степанов, Сергей Иванов и еще кто-то задумали на «косной» поехать по Волге. Я встретил их случайно на пути, в Казани. Мы забрались на высокую гору большого волжского села Услон и там провели чудесные часы, говоря об искусстве, мечтая о счастье жизни, пока пароход не увез меня в Уфу.

Алексей Степанович был очень знающий, чуткий учитель; его и тут любили. Так хочется сейчас, чтобы в наших школах было побольше таких Степановых!

Он ушел от нас, оставив по себе на редкость прекрасную память, прослужив искусству, познанию тайн его неложно.

В. Н. АНДРЕЕВ-БУРЛАК

Андреев-Бурлак был первоклассный сценический талант. Раньше, до сцены, он был капитаном одного из волжских буксирных пароходов. Талант его — был русский талант, так называемый «нутряной».

На сцену он попал немолодым. Лучшую пору свою играл в Москве, кажется, в Народном театре, потом в театре Бренко, вместе с Киселевским, Ивановым-Козельским, Соловцовым, молодым Роциным-Инсаровым, Гламой-Мещерской и др. Бурлак сильно пил и был на редкость некрасив: нижняя губа была у него непомерно велика, и тем не менее в ролях своего репертуара он был удивительный артист.

Вне сцены я встретил его дважды. Первый раз дело было в популярном когда-то актерском ресторанчике «Ливорно» близ Кузнецкого моста, в небольшом, одноэтажном, выкрашенном в темно-коричневую краску домике. Там, в «Ливорно», великим постом был слет актерской братии. В «Ливорно» они питались, там были радостные встречи старых друзей, там же была и актерская «биржа». Там они заключили контракты с антрепренерами и после пасхи разбредались по лицу русской земли.

И вот однажды, проездом через Москву, я зашел в «Ливорно» позавтракать. Маленький грязненький ресторанчик-кабачок кишмя кишел актерским людом. Я занял свободный столик, заказал себе что-то и стал наблюдать за необычным для меня миром. Было шумно, все говорили, что-то напевали, немного «позировали», «играли». Радостно встречались, лбызались. Все жили особой возбужденной жизнью.

Здесь были налицо все персонажи тогдашней сцены: были трагики, резонеры, первые любовники, комики, коми-

ческие старухи. Не было еще тогда актеров на ампулу «неврастеников», появившихся позднее, вместе с драмами Чехова, Ибсена и других.

И вот в разгар такого шумного сборища отворяется наружная дверь: в нее врываются вместе с холодным воздухом клубы пара, а в них видна фигура вошедшего человека, выше среднего роста, хорошо одетого, усталого. Он медленно проходит между столиками к буфету, а на пути его шествия все сидевшие поспешно и почтительно встают и, как один, молча кланяются вошедшему, а он не спеша, торжественно, как король на сцене, проходит дальше, отвечая всему усталым, величественным наклонением головы.

Так он проследовал в глубь ресторанчика и скрылся из глаз. Пронесся шепот: «Андреев-Бурлак, Андреев-Бурлак!» Таковы сила и действие подлинного таланта. Он вызывает невольное преклонение.

Прошло года два-три. Я снова был в Москве. Зашел пообедать в «Большую Московскую». Выбрал столик, устроился поуютней, заказал себе что-то и стал наблюдать за милыми москвичами, весело и оживленно заканчивающими в «Большой Московской» свой деловой день. Очень близко от меня, почти напротив, сидели двое: очень некрасивый, болезненного, раздражительного вида господин — знаменитый Андреев-Бурлак — и с ним элегантная молодая дама редкой красоты, одетая в мягкий черный крепдешин.

Контраст безобразной старости и необычайной прекрасной молодости был еще более разителен тем, что молодая красавица влюбленно, с величайшей нежностью ухаживала за своим старым, полуживым, достаточно уродливым спутником. А он, усталый, быть может, слишком привыкший к преклонению перед своим талантом, равнодушно, апатично принимал такую трогательную заботливость очаровательной красавицы.

Вскоре газеты принесли весть, что Андреев-Бурлак умер¹.

В. И. ИКСКУЛЬ

На одной из передвижных выставок, не помню какого года, появился превосходный, наделавший много шума и тотчас же приобретенный Третьяковым портрет баронессы Варвары Ивановны Иксуль фон-Гильденбандт. Портрет был написан во весь рост; баронесса Иксуль была изображена на нем в черной кружевной юбке, в ярко-малиновой блузке, перехваченной по необыкновенно тонкой талии поясом; в малиновой же шляпке и с браслеткой на руке. Через черный вуаль просвечивало красное, бледное, не юное, но моложавое лицо. Это было время самого расцвета таланта Репина. Все его живописные достоинства, как и недостатки, были налицо: свежая, молодая живопись лица, рук, блузки, золотых браслетов — и почти обычное отсутствие вкуса. Во всяком случае, мы тогда были в восхищении от нового шедевра Ильи Ефимовича, и я впервые по этому портрету узнал о существовании баронессы Иксуль.

С тех пор чаще и чаще я стал встречаться с ее именем: оно то фигурировало вместе с какими-нибудь филантропическими учреждениями, с женскими курсами, медицинскими, Бестужевскими, с концертами в пользу недостаточной молодежи, наряду с именами старушки Стасовой, Философовой, Марии Павловны Ярошенко, то с какими-нибудь петербургскими сплетнями. Хорошее о ней переплеталось с «так себя»... но никто никогда не говорил о Варваре Ивановне Иксуль, что она глупа, — нет, ни в одном повествовании о ней не было такого. Быть может, не было и того, чтобы «повествователи» любили ее, но и при всей нелюбви их Варваре Ивановне не отказывали в уме, энергии, находчивости, в сильной воле.

Варвара Ивановна Иксуль в те далекие времена принадлежала к либеральному лагерю российской интеллигенции,

к либеральной части петербургской знати. Она была вдова нашего посланника в Риме, барона Иксуль фон Гильденбандта, человека гораздо старше ее, оставившего своей супруге какое-то состояние, дом на Кирочной и баронский титул. До баронства Варвара Ивановна была мадам Глинка, у нее было два сына от первого брака: красавец-кавалергард и моряк Гриша, довольно хилый молодой человек. Вот что было у Варвары Ивановны до баронского титула и особняка на Кирочной.

Так жила да поживала в Питере баронесса Иксуль, пока не прославил ее своим портретом Илья Ефимович Репин. О ней заговорили громче; хорошее и худое о ней получило более яркую окраску. Говорили, что женские медицинские курсы, закрытые в конце царствования Александра II, вновь открылись в царствование Александра III благодаря умелому ходатайству баронессы Иксуль. Казалось, к суровому царю с такими делами, как открытие женских медицинских курсов, и подступить было немислимо. Александр III — и женское образование... хм... и, однако, не кто другой, а Александр III дал милостивое соизволение на открытие таких курсов; он не только согласился на их открытие вновь, но дал землю под это полезное учреждение и обеспечил их существование на будущие времена.

Дело было так: ревнители женского образования ломали себе головы, как подступить с таким делом к неподатливому царю. И вот тут, как и на репинском портрете, выступила баронесса Иксуль особенно ярко. У ней в те времена, как и раньше, как в дни последующие, как во все времена ее жизни, — были большие связи... с так называемыми «нужными людьми», будь то мир придворный, военный или чиновный, ученый, мир художников, артистов. Везде баронесса Иксуль вовремя и умно заводила связи и ими блестяще пользовалась.

Люди, жившие в 80-е годы, знали или слышали о генерале Черевине, близком человеке к царю. Генерала Черевина, как Бову-королевича или Паскевича-Эриванского изображали на лубочных картинках просто: тиснут медянкой, потом киноварью, еще охрой — и готов Черевин-Паскевич. Генерал Черевин был запойный пьяница. Пил он непробудно, и в минуты редкого и короткого похмелья докладывал царю о том, о сем, и тогда из этого выходило что-то ладное для «лучших людей». Тут и подвернись умная баронесса Иксуль. Поговорили о ней «лучшие люди», и стала баронесса поджидать черевинского похмелья; дождалась, и своими «чарами», а у ней их было довольно, убедила пьющего генерала доложить царю о курсах, о том, что

женское медицинское образование не только не вредно, но даже польза от него может быть...

Царь выслушал Черевина милостиво и повелел тогда восстановить запрещенные курсы по более широкому плану.

И стали курсы жить, процветать, много от них пользы было государству, и слава баронессы Иксуль как умной женщины еще более возросла. Куда бы ее деятельность ни направлялась, всюду видны были ее ум, твердая рука, административные и иные таланты. И как она умела выбирать людей, а выбрав, командовать ими!..

Было начало 1907 года. В Петербурге, на Малой Коношенной, в доме шведской церкви, была моя выставка. Ее успех для меня, как для моих друзей и недругов, был неожиданным. Среди выставляемых картин была там небольшая «Богоматерь с младенцем»; ее на первых же днях и приобрела баронесса Варвара Ивановна, а через несколько дней на той же выставке и сама познакомилась со мной. Первое мое впечатление было чисто зрительное. Помню, что Варвара Ивановна была вся в черном, никаких украшений, ничего лишнего. Лицо бледное, красивое, интересное, очень хорошо сохранившееся для своих лет (сыну, кавалергарду, было тогда за тридцать). Сходство с портретом Репина было большое, хотя Репин и не уловил того, до чего так мастерски и остро добирался Серов. Особую оригинальность облику Варвары Ивановны Иксуль придавал локон седых волос надо лбом, как у Дягилева. Этот седой локон на черных, вьющихся хорошо положенных волосах придавал большую пикантность лицу Варвары Ивановны. С первых же слов умелая барыня взяла со мной верный тон, простой, как бы дружеский.

Первая встреча наша закончилась приглашением, без обычного визита, к обеду.

В назначенный день и час я был на Кирочной. Широкая лестница вела во второй этаж, в апартаменты баронессы: приемная, дальше гостиная во вкусе 80-х годов, где лишь некоторый избыток живописно набросанных тканей, шелка, парчи и всякого рода безделушек указывал на то, что хозяйка дома считает себя не чуждой вкусам художников стиля тогдашнего модного живописца Ганса Макарта или нашего Константина Маковского. В то же время в этой гостиной все было рассчитано на уют, располагающий к хорошим разговорам. Каждый уголок имел как бы свое особое назначение...

Хозяйка встретила меня с любезной простотой, так знакомой нам, художникам. Она села на свое излюбленное место — кушетку, заполненную разного рода подушками,

подушечками, — она как бы погрузилась в них, и они приняли ее в свои теплые объятия. Мне было предложено кресло напротив, около стола с большой лампой под огромным абажуром на ней. Слева, ближе к окну, стоял другой стол поменьше, круглый, как и первый, а на нем был поставлен, лицом к хозяйке, в широкой, черной резной раме портрет Максима Горького, имя которого в то время было особенно популярно среди будирующего Петербурга. Опытная, светски воспитанная хозяйка втянула меня в оживленную беседу, перескакивая с одной темы на другую, нигде не обнаруживая своей сущности.

Скоро стали собираться другие приглашенные к обеду гости. Приехал ученый секретарь Академии наук академик Ольденбург, ставший более известным позднее, приехали муж и жена Медемы и, наконец, экс-премьер Горемыкин со старушкой женой. Через несколько минут все были приглашены в столовую. Хозяйка указала место, и я, как «герой сезона», был посажен первым справа от хозяйки. Рядом сел старик Горемыкин, дальше Ольденбург и последним еще молодой псковский губернатор, зять Горемыкина, барон Медем.

Сервировка стола прекрасная; обед не очень изысканный, но вкусный; винам особого значения не придавали. Беседа шла общая — о моей выставке, об искусстве вообще и на общие темы. Недавние грозные события затронуты за обедом не были. Мой сосед, с такой предрешающей свою судьбу фамилией, был очень прост: в нем не было и следа важного сановника, недавнего главы правительства; это был образованный, хорошо воспитанный старый человек. Менее других мне понравился академик Ольденбург.

После обеда все вернулись в гостиную; там за разговорами прошла часть вечера; около десяти часов я простился и, приглашенный «не забывать», уехал домой.

Позднее баронесса Иксуль в мои тогда довольно частые посещения Петербурга, узнав от общих знакомых о моем приезде, звонила ко мне по телефону в Гранд-Отель или присылала записку с приглашением посетить ее, и я изредка бывал у нее и встречал иногда интересных людей. Во время одного из моих визитов баронесса познакомила меня с нарядным, высоким, лет пятидесяти, в генеральском мундире, с открытым лбом военным, по манерам, облику похожим на какого-нибудь командира гвардейских полков. То был лейб-медик Вельяминов, как говорила молва, счастливо заменяющий покойного барона Иксуль.

Бывая на Кирочной, я заметил, что портреты в резной черной раме на круглом столе у окна менялись сообразно

с тем, кто был в те дни «героем сезона», о ком говорил Петербург.

Все чаще и чаще приходилось слышать о баронессе Иксуль, о ее энергии, деловитости, умении руководить большим делом, попавшим в ее руки. Она, между прочим, была почетным попечителем и чуть ли не основателем Кауфманской общины сестер милосердия, где все было насыщено ее инициативой, волей, умом. Дело там шло превосходно. Дисциплина была железная, и сестры общины, такие выдержанные, бесстрастные, преданные долгу, в накрахмаленных белых повязках-кокошниках, воротничках и нарукавничках, были послушными исполнительницами указаний своей энергичной, не хотевшей стариться попечительницы.

Как-то Варвара Ивановна заехала в Киев к сыну, тогда уже «бывшему» моряку, слабосильному, такому приятному бездельнику Грише. Он был женат на Тарновской, дочери одного из потомков малороссийских гетманов, богатого, своенравного, влюбленного в малороссийскую старину и имевшего у себя в черниговском имении лучшее собрание древностей своего края.

В этот приезд в Киев Варвара Ивановна Иксуль посетила мою мастерскую. Она и тогда была все такая же интересная, не желавшая поддаваться влиянию времени пикантная женщина с черными, как вороново крыло, волосами, с неожиданным седым локоном в них, быть может, уже созданием парижского куафера.

Не помню, бывал ли я позднее у баронессы Иксуль в ее особняке на Кирочной, но я слышал, что круглый столик у окна и черная рама на нем не утратили своих чудесных свойств: в черной раме продолжали меняться «герои сезона», пока однажды, на смену Максиму Горькому, не появился новый герой... Григорий Распутин.

«АРТЕМ»

Говоря о Перове, я упоминал об его умении пользоваться всеми средствами для поддержания воодушевления в классе. В бытность Александра Родионовича Артемьева в натурном классе Училища живописи Перов, бывало, приглашал его рассказать что-нибудь, когда класс, усталый от напряженной работы, терял бодрость и становился вялым. Прослушав один-два живых, остроумных рассказа талантливого собрата, класс вновь оживал и работа спорилась.

Слава об Артемьеве жила в Училище и тогда, когда он Училище оставил и был уже преподавателем рисования в Московской 4-й гимназии. Александра Родионовича постоянно приглашали то в Артистический кружок, то в «Секретаревку»¹, то в Немчиновский театр, где в те времена играли любители. Артемьев царствовал там.

С Александром Родионовичем познакомился я в юные мои годы, еще тогда, когда был в натурном классе Училища живописи. Помнится, дело было так. После вечернего класса Сергей Коровин пригласил меня пойти с ним пображничать куда-то в трактир, предупредив, что там его ждет Артемьев. Тогда для меня довольно было и того, что меня зовет С. Коровин, его компания сама по себе была мне приятна, и тут еще и возможность увидеть, познакомиться с Артемьевым. Я, конечно, с радостью согласился. Александр Родионович нас ждал: познакомились, «приступили», попробовали того-сего. Пир начался. Я, самый младший из компании, старался себя не уронить в мнении своих собутыльников, и скоро все были в том положении, когда равенство так легко достигается...

В первые минуты нашего знакомства Артемьев поразил меня своею внешностью: маленький, шупленький, крайне подвижной, какой-то взъерошенный, рябой, с бородкой, что

называется «мочалкой», ни дать ни взять — Аркашка из «Леса». Недолго пришлось нам ждать, еще меньше упрашивать Александра Родионовича «рассказать что-нибудь». Анекдоты, импровизации посыпались как из рога изобилия. Комизм Александра Родионовича, его внешность, голос, ужимки — все было так естественно, не деланно, не вымучено. Жизнь из этого человека была ключом, заражала нас неудержимым весельем. И сам он веселился с нами искренне, так простодушно. Минутами не только мы, но и он сам как будто удивлялся тому каскаду нелепостей, фантастической чепухи, которые неудержимо им излучались. Вечер прошел быстро; помню еще, что мы долго «проводжали» друг друга.

А вот и еще воспоминание того времени, но более ясное, цельное. Ученики Училища задумали любительский спектакль в пользу своих недостаточных товарищей. Выбрали «Лес», сняли «Секретаревку». Роздали роли между своими, частью — между знакомыми любителями. А. Янов играл молодого Восьмибратора, Сергей Коровин — гимназиста Буланова, кто-то из учеников еще взял роли. Геннадия Демьяновича играл любитель, и опытный. Аркашку же должен был играть Артемьев. Он и был главной приманкой спектакля. Его участие обеспечивало успех дела, полный сбор.

Наступил желанный вечер. То было воскресенье, когда не было вечеровых занятий, и все, кто хотел из учеников и учителей быть на спектакле, могли быть беспрепятственно. Народу, своего и чужого, набралось множество, полный зал.

Занавес поднят. Знаменитая сцена в лесу. Встреча старых приятелей. С первых слов со сцены повеяло такой жизнью, таким неподдельным, заражающим, непреодолимым весельем. Каждое слово Аркашки было пропитано, просолено таким самодовольством, хвастовством и бесшабашностью. «Игры» никакой и помину не было. Какая там игра! Аркашка как бы «резвился» на весеннем солнышке. Он был почти без грима. Природные свойства Артемьева, его рост, фигура, вертлявость, его «подлинная» борода — все, что ему было отпущено шутки ради развеселившейся природой, все это сейчас «пело и играло», наполняло таким заразительным весельем и его, и всех тех, кто тут был. Ваше зрительное напряжение таково, что не хочется пропустить ни одного момента, каким одаряет вас артист. Нелепая личность Аркашки заполняла собой все ваше существо. Его душонка сейчас царит, торжествует тут. Все, кроме него, куда-то исчезло, провалилось, нет ни леса, ни бедного трагика — перед вашим взором один Аркашка, он выбил

вас из колеи вашей жизни; он и «соловьем свистит» и наслаждается актерским существом своим — наслаждается вдохновенно, радостно. Он влюблен в себя, он в своей тарелке. И кто тут был истинно гениален: знаменитый ли автор, или этот маленький, тщедушный человек в нелепом костюме, так непосредственно иллюстрировавший маленькое актерское счастье, делавший в увлечение собой такие забавные антраша... При всем этом мы не чувствовали в игре вдохновенного артиста ни капли шаржа.

После сцены в лесу, после того как занавес упал, наступила тишина; все были в каком-то мгновенном оцепенении, как бы устали, не хотелось аплодировать, и лишь в следующий момент раздались бешеные аплодисменты. В такие минуты кажется, что артисту, еще не остывшему, еще не пришедшему в себя, когда он еще весь в «роли», когда он «Аркашка», все еще «Аркашка», а не А. Р. Артемьев, — в эти первые две-три минуты ему аплодисменты и не нужны; он их захочет, быть может, жадно захочет позднее, тогда и будем ему хлопать до одури, до иступления.

Так же вдохновенно, с тем же совершенным перевоплощением, с тем же восторгом проведена была артистом вся роль беспутного Аркашки. Успех был полный, незабываемый. Я был сам не свой: быть может, впервые я видел артиста, искусство которого было столь совершенно, так подлинно претворялось в жизнь. Тогда говорили, что Артемьев играл Аркашку не хуже Шумского, создавшего эту роль. А когда Шумский умер, то Артемьеву, будто бы по настоянию Ермоловой, было предложено занять ампула покойного на сцене Московского Малого театра.

Говорили и то, что он от такой чести отказался, отказался потому, что его супруга, имевшая на него влияние, отсоветовала ему идти на сцену, сказав: «Вот выслужись пенсию здесь, в гимназии, будем обеспечены, тогда ступай на сцену, тогда мы не останемся без хлеба, если тебе не повезет там». Так Александр Родионович и сделал, выслужил пенсию и с легким сердцем пошел в Художественный театр, к тому времени начавший свое существование, и там, приняв имя «Артем», прославился.

Мне же всегда казалось, что пришел Артем в Художественный театр поздно, что ни в одной роли своего нового, так называемого «чеховского» репертуара Артем не был тем, чем был когда-то, в молодые годы, что Александр Родионович в новых своих ролях как бы оплакивал Артемьева, так непосредственно и радостно игравшего когда-то в Артистическом кружке, в «Секретаревке», где осталась его молодость и лучшая доля его истинного, большого таланта.

Сюда же, в Камергерский переулок, принес Артем лишь старческую теплоту, свой прекрасный, немного однообразный лиризм, тихую грусть о минувшем, которые совпадали иногда так счастливо и с чеховской меланхолией, чеховскими настроениями... И все же старый Артем был лучшим украшением Художественного театра в те времена.

ПОРТРЕТ М. К. ЗАНЬКОВЕЦКОЙ

Зима 1884 года. «Малороссийская труппа» после бурных успехов в Петербурге, после неистовых восторгов старика Суворина переехала в Москву, не то к Коршу, не то в театр «Парадиз» на Никитской¹. Мы, молодежь того времени, наслушались разных разностей об этой труппе, о том, что Суворин и «иже с ним» превозносят Заньковецкую до Ермоловой, чуть ли не ставят ее вровень с Дузе и подбивают ее перейти от «Наталки-Полтавки»² к Островскому, а того лучше — прямо к Шекспиру. И вот эта-то «чуть ли не Дузе» Заньковецкая сейчас будет играть у нас в Москве. Мы уже знали Боярскую, талантливого «плясуна» Манько, но Заньковецкая не просто талантливая артистка — она «гениальна», она «феномен» и т. д.

В первое же представление «Наймычки»³ галерка была полна молодыми энтузиастами. Они всегда, во все времена, бывали застрельщиками, самыми горячими, отзывчивыми почитателями новых, живых идей, больших талантов во всех областях народной жизни.

С боя я достал себе билет там, в «раю». Было шумно, все были возбуждены, ждали поднятия занавеса. Вот он взвился перед нами, восторженными, хотя и невзыскательными зрителями. Началась грустная повесть бедной «наймычки»...

Появление ее на сцене, ее образ, дикция, идущий прямо в душу голос, усталые, грустные очи... все, все пленяло нас, и мы, «галерка», да и весь театр, переживали несложную, но такую трогательную драму несчастной девушки. Украинский говор, такой музыкальный, подлинные костюмы, наивные декорации, эти хатки с «вишневыми садочками» — все нас умиляло. А она, бедная «наймычка», изнывала в своей злой доле. Мы же были всей душой с ней, с «наймычкой» —

Заньковецкой. И то сказать: все, что давала нам артистка, было так свежо и неожиданно. И что удивляться тому, что к концу каждого действия вызовы — «Заньковецкая!», «Заньковецкая!» — достигали высшего напряжения? Лекции, этюды, рисунки забывались: мы жили от спектакля до спектакля, от «Наймычки» до «Наталки-Полтавки».

Все пьесы, в коих выступала покорительница наших сердец, мы неуклонно посещали. В «Парадизе» мы стали «своими людьми». Имена Заньковецкой, Затыркевич, Кропивницкого, Саксаганского, Садовского, Карпенко-Карого и других были нам родными. Нашей вдохновительницей была бесподобная артистка Заньковецкая. Самые пылкие из нас сподобились бывать за кулисами, проникали в уборную чудесной артистки, прикладывались к ее ручке, торчали за кулисами, а так как мы не жалели ладоней на «бешеные вызовы», то нас вся труппа и сама «божественная» — «терпели»... чего же больше было желать?

Однажды, когда, казалось, артистка превзошла себя, когда ее небольшой, в душу проникающий голос, ее дивные, печальные очи, пламенно дышавшие уста вызывали у зрителей слезы, когда, глядя на нее, душа изнывала от горя, от того, что «наймычка» переживала там, на сцене, и так хотелось быть ее избавителем, — мне пришла в голову шальная мысль написать с Заньковецкой портрет в роли «наймычки».

Двадцатидвухлетний упрямый малый раздобыл адрес тех «меблирашек» на Никитской, где проживала вся труппа... Не то «Полярная звезда», не то «Северное сияние». Недолго думая, я отыскал «Северное сияние» — шамбр-гарни 2-го разряда.

Вхожу с трепетным сердцем, спрашиваю у швейцара: «Дома ли Мария Константиновна Заньковецкая?» — Говорят: «Дома». Поднимаюсь по сомнительной чистоты лестнице во второй этаж. По коридору фланируют какие-то люди, быть может, это «запорожцы за Дунаем», — как знать? Спрашиваю номер Заньковецкой — показывают; стучу в дверь — слышу: «войдите».

Вхожу: передо мной сама несравненная Мария Константиновна, закутанная в орнбургский платок, такая зябкая. Она делает приветливое лицо... Я что-то бормочу, извиняюсь, стараюсь найти почву под ногами, а эта почва куда-то уходит. Однако из тех нелепостей, что я успел наговорить, Мария Константиновна может понять, что я прошу ее попозировать мне в роли наймычки для задуманного портрета, и совершенно неожиданно, без колебаний, Мария Константиновна дает мне свое согласие.

...Через несколько дней в «Полярной звезде» или «Северном сиянии» начались сеансы. Я пишу этюд в полнатуре с тем, чтобы потом увеличить его. Передо мной женственная, такая гибкая фигура, усталое, бледное лицо не первой молодости, лицо сложное, нервное; вокруг чудесных, задумчивых, быть может, печальных, измученных глаз — темные круги... рот скорбный, горячечный... на голове накинута сбитый набок платок, белый с оранжевым, вперемежку с черным рисунком; на лоб выбилась прядь черных кудрей. На ней темно-коричневая с крапинками юбка, светлый фартук, связка хвороста за спиной.

Позирует Заньковецкая так же, как играет, естественно, свободно, и я забываю, что передо мной знаменитая артистка, а я всего-навсего ученик натурального класса Школы живописи и ваяния. Во время сеанса говорили мало; я волнуюсь, спешу; Мария Константиновна все видит и щадит меня. Однако дело движется. В часы наших сеансов я невольно всматриваюсь в «быт», в повседневную жизнь перелетной актерской семьи того далекого времени, и эта жизнь так мало отвечает тому, что эти люди изображают на сцене, чем я восхищаюсь сам.

Очень видный, еще молодой муж Заньковецкой — артист Садовский, артист на «героические» роли и на роли «первых любовников» — был постоянной мишенью стареющей капризной женщины-артистки, и надо было иметь большую выдержку, любовь, преклонение перед великолепным талантом Марии Константиновны, чтобы терпеливо, безмолвно сносить ее капризы. Вне сеансов меня поразило однажды следующее: шла пьеса, не помню какая; в ней Заньковецкая играла так весело, увлекательно, плясала, пела, ее небольшой, гибкий, послушный голосок доходил до самого сердца.

Публика принимала ее восторженно, а мы, «галерка», совсем потеряли головы, отбили себе ладони, охрипли от вызовов.

Я побежал за кулисы, чтобы лично выразить свои чувства, и вижу: Заньковецкая, та Заньковецкая, что только что пела, плясала, выходила на шумные вызовы, была сейчас подвязана теплым платком; она, как львица в клетке, бегала по сцене, стонала, кого-то проклинала: у нее жестоко болел зуб. Все в смятении не знали, что делать, как приступить к ней... Мы, почитатели, живо ретировались и быстро очутились на своих «горных вершинах».

Антракт кончился, занавес поднят, что же?.. наша несравненная пляшет... куда девался теплый платок, что сде-

лалось с зубной болью — аллах ведает!.. Мы поражены, восхищены, но за кулисы в следующий антракт носа не кажем. Было ли все виденное нами достигнуто артисткой силой ее воли, дисциплины, или таково магическое действие искусства, увлечение ролью, а может быть, и то, и другое вместе?.. Так или иначе — она все преодолела, поборола «немошную плоть».

Этюд мой был кончен, вышел похожим; я был счастлив и доволен, поблагодарил Марию Константиновну, продолжал ходить на спектакли с ее участием. Дома работал портрет, и он не одному мне казался тогда удачным; помнится, удалось уловить что-то близкое, что волновало меня в «Наймычке».

Позднее, году в 1897, зашел ко мне Поленов, увидал портрет, остался им доволен, а я незаметно к тому времени охладел к нему и как-то однажды взял да разрезал его на части; такое бывает с нами в какие-то минуты... Изрезал и успокоился, а через много лет принес в дар родной Уфе коллекцию картин, этюдов моих современников, частью и своих; туда попал и этюд, написанный с Заньковецкой. Он и посейчас в Уфимском музее. М. К. Заньковецкая долго не сходила со сцены; с годами ее чудесное дарование, как и у Дузе, стало блекнуть.

Умерла она в очень преклонных годах, кажется, слепая, где-то у себя на родной любезной ей Украине⁴.

П. А. СТРЕПЕТОВА

Стрепетова вышла из театральной провинциальной среды. Помнится, она была дочерью не то театрального парикмахера, не то суфлера Нижегородского театра¹. Она с ранних лет узнала закулисную жизнь с ее нравами, интригами, нуждой и проч. Чуть ли не девочкой дебютировала на нижегородской сцене. Вышла замуж за провинциального даровитого артиста М. И. Писарева, от которого имела сына, ею любимого, и менее любимую дочь. Долго Стрепетова с Писаревым играли по провинции. Там начались ее успехи, там она составила себе большое имя. Супруги играли и в Москве: в народном театре Берга и в Артистическом кружке, проявляя повсюду свое огромное дарование, преимущественно в ролях сильно драматических. Трагедия была ее стихией...

Стрепетова, как и великий Мочалов, как и ряд выдающихся русских актеров, основывавших свою игру на непосредственном «чувстве», была неровна в игре. Сегодня потрясала она зрителей глубокими, незабываемыми переживаниями мятущейся женской души — ее тяжелой доли, а завтра в той же роли была заурядна, бесцветна. И так всю жизнь, на сцене и в жизни, чередовались у нее успехи с неудачами, с отчаянием. Более неустойчивого дарования трудно было себе представить. Более сложной, болезненной, незадачливой жизни нельзя было себе вообразить.

Переходя со сцены на сцену, из города в город, она попала в начале 80-х годов в Петербург на сцену Александринского театра, когда театр этот занимал, после Малого московского, едва ли не первое место по составу своих артистов и репертуара.

Там, на Александринской сцене, играли молодая Савина, Варламов, Сазонов, Давыдов, Жулева, Мичурина и немало

других, хотя и менее даровитых артистов. И вот среди таких-то сил, да еще «любимцев публики», появилась Стрепетова со своей «провинциальной славой» огромного таланта, временами возвышавшегося до гениальности — до Дузе, до Сары Бернар... Появилась уже не первой молодости, с разбитыми нервами, такая невидная, некрасивая, маленькая, горбатенькая, больная, с очень тяжелым характером — такая восторженная, экзальтированная, подозрительная и капризная.

В репертуаре ее было несколько ролей, в которых она не имела себе соперниц. В «Грозе» она была поразительной Катериной. В потехинской пьесе «Около денег» она играла Степаниду — и как играла!..

Немало и других ролей с ярко выраженным трагическим характером и преимущественно из народной русской жизни Стрепетова играла как истинно великая артистка. В моей памяти осталась она несравненной, незабываемой Степанидой.

Пьеса Потехина написана хорошим языком. Драма Степаниды в ней нарастает естественно, неумолимо... «Рок» над Степанидой совершает свой путь с неизбежностью непредотвратимой.

И вот тут Стрепетова давала такой цельный, живой, привлекательный образ, что забыть его я не могу и за сорок лет, прошедших с тех пор. Пьеса благодаря Стрепетовой стала так называемым «гвоздем сезона». Народ на нее валом валил.

В Петербурге о Стрепетовой — Степаниде только и было разговору. С первого акта, где она появляется в своем черненьком, монашеском платье, такая маленькая, худенькая, бледная, обреченная, с голосом, который «беду несет», — она завладевает зрителями до последнего, такого страшного, безумного момента. Она влюбляется в Капитона с такой силой искренности, что театр исчезает, зритель незаметно становится свидетелем подлинной житейской драмы. Он волнуется, трепещет, мучается, падает духом и отчаивается заодно с несчастной Степанидой, когда Степанида, обманутая, обезумевшая от горя и обиды, в порыве великой, охватившей ее большой мозг страсти поджигает избу своего обидчика и является перед отцом и семьей, а отец, срывая с нее платок, видит ее поседевшей за одну ночь.

Покаяние Степаниды перед народом. Звук ее голоса, простота, естественность — тот великий реализм, что бывает так редко, и даже у великих художников знали мы не так часто — вот этот реализм был у Стрепетовой в минуты ее

высочайшего вдохновения. Вероломного любовника Капитана тогда хорошо играл умный, немного холодный Сазонов. Отличный комик того времени Арди играл Сережку: его пьяненькие вариации — «Хозяйнушка», «Хозяйнушка милый», «Хозяева вы наши» и проч. были неподражаемы.

Личное мое знакомство с Полиной Антипьевной Стрепетовой произошло у Ярошенок, на Сергиевской, — она бывала там часто, «отводила душу» в этой сочувствующей ей семье. Николай Александрович Ярошенко очень близко передал ее лицо, руки и что-то лишь недоглядел в ее фигуре в том портрете-характеристике, в «психологическом», так сказать, портрете, что находится в Третьяковской галерее.

Из своих личных воспоминаний о Стрепетовой вне сцены передам здесь следующий, характерный для нее эпизод.

Н. А. Ярошенко давно собирался побывать в Палестине. На эту поездку его подвигало не религиозное чувство — он не был человеком религиозным. Он хотел сделать какие-то этюды на месте для своей картины «Иуда», потом им написанной, успеха не имевшей и находящейся в Полтавском музее.

Настал день отъезда Николая Александровича. Ехал он через Европу, хотел быть в Италии, кажется, в Египте и потом в Иерусалиме.

Много друзей собралось на перроне Варшавской железной дороги. Николай Александрович был уже в отставке, носил штатское платье и никто бы не подумал, что этот эlegantный господин в шляпе «а la Van Dyck» — вчерашний артиллерийский генерал. Он был в прекрасном настроении, мило шутил с собравшимися. Была тут и Полина Антипьевна Стрепетова, такая убогая, горбатенькая; она держалась ближе к Марии Павловне (супруге Николая Александровича), чувствуя себя около нее, около этой монументальной, доброй женщины, «как за каменной стеной».

Полина Антипьевна, видимо, нервничала. Раздался второй звонок. Николай Александрович, простившись со всеми нами, стоял уже на площадке своего вагона, продолжая перекидываться то с тем, то с другим из друзей. Третий звонок, франтоватый обер-кондуктор в серебряных галунах, в молодежато надетой шапке дал энергичный, выразительный свисток, поезд лязгнул буферами, едва заметно тронулся. Мы стали посылать пожелания отъезжающему.

В этот момент от нашей группы спешно отделилась Стрепетова и в каком-то экстазе бросилась за прибавлявшим ход вагоном. Она что-то кричит трагически сдавленным голосом, на бегу протягивает руки — и бежит, бежит... Мы видим, что Николай Александрович озабоченно накло-

няется к ней с площадки своего вагона с протянутой рукой. Полина Антипьевна что-то в эту руку быстро сует и, бледная, изнеможенная, быстро-быстро крестится. Поезд прибавляет ходу, удаляется...

Мы все в каком-то оцепенении. Что же оказалось? Полина Антипьевна, увлеченная общим настроением, позабыла то главное, за чем приехала сюда, забыла передать Николаю Александровичу деньги — «на свечи к гробу господню» — и вспомнила об этом в тот лишь момент, когда поезд тронулся, и она, не думая об опасности, бросилась за ним, успела вручить какую-то мелочь и сейчас, удовлетворенная, хотя и с бьющимся сердцем, спешила нам передать обо всем этом трагикомическом обстоятельстве.

Всю дорогу до Сергиевской Полина Антипьевна, сидя с Марией Павловной и со мной в экипаже, без умолку говорила о том, как давно она мечтала попросить Николая Александровича поставить за нее свечку, — желание ее исполнилось, и она «так счастлива, так счастлива сейчас».

В конце ее сценической карьеры, да незадолго и до ее кончины, вот что пришлось пережить этой трагической актрисе и трагической женщине. Стрепетова тогда играла на той же Александринской сцене. Так же ее успехи чередовались с неудачами. Ей было уже под пятьдесят и, конечно, это ее не красило. И вот в этот потухающий закатный час ее славы с ней приключилось следующее: в знаменитую артистку влюбился и влюбил её в себя юноша-студент, красивый, стройный, с вьющимися белокурыми кудрями, чистый, идеально прекрасный, из старой дворянской, русской семьи...²

Он беззаветно полюбил артистку, героиню какой-то потрясающей драмы, где Полина Антипьевна, несмотря на свои годы, на свое физическое убожество, была неотразимо прекрасна, так трогательна, поэтична, с такой силой передавала привлекательный, чарующий образ женщины, охваченной сильно любовной страстью...

Прекрасный юноша-студент с белокурыми кудрями полюбил впервые — горячо, до самозабвения... Познакомился с артисткой, и это не только его не разочаровало, а еще усилило его пламенное чувство. Начался их роман, такой необычный, опасный роман. Полина Антипьевна, быть может, впервые за свою долгую жизнь переживала то, что так часто передавала на сцене гениальной своей игрой.

Время летело, как оно летит у влюбленных, и юноша, вопреки мольбам родственников и близких друзей, сделал последний шаг — повенчался с Полиной Антипьевной. Настал «медовый месяц». Молодые были неразлучны...

Уютная, небольшая квартирка. В свободные от сцены дни так приятно оставаться вдвоем. Никто не помешает часами сидеть у ног помолодевшей на двадцать лет гениальной подруги, — сидеть на белой медвежьей шкуре, положив кудрявую русую голову на колени любимой, притом такой необычайной, всеми прославляемой артистки. Когда же Полина Антипьевна играла, молодой, счастливый муж был в ее уборной.

Счастье их казалось таким полным и несокрушимым. Полина Антипьевна оставалась на сцене. Иногда на ходу пьесы рядом с ней появлялся «герой» и, на правах героя, то целовал героиню, то обнимал ее.

В эти вечера юный муж был задумчив, являлись признаки смутной ревности. И потом дома, за поздним чаем, а затем там, в уютном будуаре, сидя у ног возлюбленной, он в страстных порывах ревности допытывался о том, чего не было и быть не могло. Просил, молил отказаться от таких ролей. Допытывался, не разлюбила ли она его, так ли, как раньше, любит его и проч. и проч. Умолял бросить те роли, где являются эти ненавистные бутафорские «герои» — мнимые соперники. В начале артистке было легко заглушать ревнивые подозрения, потом они стали крепнуть, и ей становилось день ото дня трудней это делать, а к тому же порывы запоздалой страсти начинали уступать закоренелой привычке лицедействовать. Артистка стала вытеснять влюбленную женщину.

Сцены ревности повторялись чаще и чаще. Самые болезненные, мучительные ее приступы, еще недавно кончавшиеся примирением, теперь принимали грозный характер.

В уютной квартире артистки наступал ад, слезы, угрозы с той и другой стороны, проклятья, — и новый пароксизм бурных ласк и проч. И оба они — один такой юный, другая стареющая, усталая — теряли силы, мучая друг друга невыразимо.

Так длилось несколько месяцев, так шло до того дня, когда однажды великолепная артистка, вдохновенно сыгравшая свою роль, вернулась домой усталая, но счастливая.

Юный муж был особенно мрачен. Подали чай, холодный ужин. Супруги остались одни, она — изнеможенная недавней игрой, он — ревностью; так сидели они за столом. Потом перешли на любимое место: она — в уютное кресло, а он у ее ног. Мрачные предчувствия чередовались с поцелуями.

Так шло время; казалось, что сегодня будет так, как вчера, как было много раз раньше — все кончится забвением, новыми обетами и проч. Но одно неосторожное слово

артистки — юноша выхватывает револьвер, еще мгновение — выстрел, и он падает мертвый у ног артистки, заливая кровью пушистый мех белого медведя.

Несчастливая, обезумевшая Стрепетова, сразу постаревшая на десятки лет, бросилась к бедному юноше. Однако драма кончилась на этот раз без аплодисментов, и лишь проклятия близких погибшего юноши сопутствовали старой артистке. Она едва не сошла с ума. Бросила сцену.

И не стало великого таланта, так тесно связавшего свою личную судьбу с теми героинями, которых она умела с такой силой передавать на сцене. Остался разбитый, уничтоженный старый человек, доживавший свой век, свою мятежную жизнь, свою запоздалую несчастную любовь к прекрасному, белокурому юноше...³.

ДЕВОЙОД

В маленьком незатейливом театре сада «Эрмитаж» идет «Фауст»: Валентина поет Девойод.

Нас четверо художников-приятелей... идем его слушать... слушать и «смотреть». Мы заранее испытываем великое наслаждение... Правда, Девойод сейчас не тот, каким был пятнадцать лет назад: ему под шестьдесят... и все же он великолепен. Недаром его ставят наряду с великими трагическими талантами: с Сальвини, Муне-Сюлли, с Ермоловой, Дузе, Шаляпиным.

Имя Девойода еще недавно гремело как в Европе, так и за океаном. Короли предлагали ему свою дружбу. Один из них шел дальше: хотел «покумиться» с ним (у Девойода было двенадцать человек детей). Девойод — убежденный республиканец-патриот (он солдатом-добровольцем дрался за родную Францию с пруссаками) — не колеблясь, отклоняет королевское желание.

Женатый на русской, он любит бывать в России. Странствуя по белу свету, охотно возвращается к нам. Великодушный, благородный, щедрый до расточительности, зарабатывая огромные деньги, он не сумел сберечь ничего «про черный день» и вот теперь, стариком, должен, без надежды на отдых, кончать свой век где придется. Сейчас он опять у нас, поет в театре «Эрмитаж», в сборной итальянской труппе...

Девойод родился во второй половине 40-х годов во Франции; был хорошего среднего роста, с небольшой головой, пропорционально сложенный, носил острую бородку. Стремительный, сухощавый, с пластической упругой, как сталь, походкой, с сверкающим открытым взором, с тонкожатыми губами, весь страстный, он был неотразимо прекрасен в трагические моменты своей игры. Да это и не была игра,

а была жизнь во всей реальной полноте, потрясавшая, казалось, как его, так и тех, кто видел, слышал его. Превосходный певец (баритон), с чудесной дикцией, он был в то время изумительный трагический актер: когда-то я слышал, что он послужил прообразом для врубелевского «Пророка». Я в своей жизни встретил человека «на грани жизни и смерти», напомнившего мне всю трагическую красоту Девойода, и я включил это лицо в одну из моих картин...¹

Ермолова, несшая тогда на себе трагический репертуар Малого театра, поклонялась Девойоду, не пропускала ни одной его гастрولي... Девойод платил ей тем же... но исключительная замкнутость обоих мешала им до поры до времени сблизиться по-настоящему, и они ограничивались поверхностным знакомством.

Одно происшествие изменило это — и именно тот спектакль в театре «Эрмитаж», о котором я рассказываю. Девойод, усталый от своей кипучей деятельности, от жизни вообще, пел Валентина; вернусь к тому, чему мы были свидетелями...

Спектакль был «парадный», зал переполнен, цены удвоенные. Девойода встречают сдержанно, слышны редкие аплодисменты. Артист нездоров, голос не слушается, звук глухой. Публика насторожилась, артист смущен, показывает знаками на горло, что нимало не трогает зрителей, заплативших «двойную цену»... Рядом с жидкими аплодисментами слышатся свистки, шиканье. Старику изменило счастье, он растерян, а публика, жадная до скандала, уже ревет, неистовствует; она явно настроена враждебно, слышны голоса: «Если он болен, то здесь не лазарет!.. Пусть вернут деньги!» Озлобление охватывает весь театр, немногие тщетно пытаются заглушить рев аплодисментами.

Занавес опускается. Антракт. Заявляют, что «г. Девойод внезапно заболел, но петь будет и просит публику о снисхождении». Новый взрыв негодования... Один из нас, более впечатлительный, нервный, не выдерживает, хочет уходить, так он потрясен и огорчен... Мы почти силой удерживаем его, просим остаться, чтобы не покидать артиста... быть может, в самые тяжелые минуты оградить его своим сочувствием от каких-нибудь грубых выходок...

В это же время в театре, в ложе бенуара присутствует Мария Николаевна Ермолова. Она еще с большей силой, чем мы, воспринимает то, что творится в зрительном зале; с болью в сердце переживает мучительное состояние своего собрата. Она тотчас же, как опустился занавес, негодующая, возмущенная бросается за кулисы к оскорбленному Девойоду.

Застает его разбитым, подавленным всем случившимся. Мария Николаевна успокаивает его, обнимает его пылающую голову, просит принести шампанского, заставляет выпить его, чтобы возбудить в нем силу духа, поднять настроение и... чего только не может сделать женщина, да еще если эта женщина — гениальная Ермолова!

Артист успокаивается, голос крепнет, звучит по-иному; он готов вновь явиться перед толпой своих жестоких судей. Актеры итальянцы заранее злобствуют над провалом своего знаменитого собрата — француза.

Началось третье действие. В зале тревожная тишина. Появляется Валентин; он вернулся с войны, узнает о случившемся, встречает Фауста. Происходит горячее объяснение, вызов. Валентин и Фауст дерутся на шпагах. Валентин смертельно ранен. Одухотворенное, бледное лицо умирающего, его мимика, страстные порывы, его пламенеющие уста в нечеловеческих страданиях извергают роковые слова: «От смерти никуда не уйдешь — таков судьбы закон!» Сцена неопиcуемая. Перед нами великий артист... куда девалась вялость, старости как не бывало... Его образ, костюм, движения — гармония, правда, трагическая простота самой жизни... Валентин в предсмертных страданиях видит Маргариту. Ему душно, он рвет на себе колет... залитая кровью рубашка... Голос умирающего звучит, как погребальный колокол.

Великая красота! Великое искусство! Театр замер, лица зрителей бледны... у женщин к горлу подступают рыдания... Где же пошлые «свистуны», что час назад неистово требовали «вернуть деньги назад»!.. Они растерялись, раздавлены, уничтожены великой силой таланта. Последняя попытка борьбы Валентина со смертью... он, как в бреду, силится подняться... проклинает Маргариту, падает мертвым. Какое высокое искусство! Ни одной фальшивой ноты... Вспоминаем век Возрождения... Микеланджело. Занавес падает. Весь зал, стоя, неистово вызывает дивного артиста.

Он победил. Мы пятеро, счастливые за него, ликуем и тут же решаем нарисовать и поднести ему альбом наших рисунков, что и делаем в одно из следующих его появлений в театре «Эрмитаж».

На другой день после своего торжества Девойод был у Марии Николаевны Ермоловой, горячо ее благодарил за трогательное участие, подарил ей большой фотографический портрет свой в роли Валентина (ни один из таких портретов даже в самой отдаленной форме не дает понятия

о настоящем образе великого артиста). На подаренном Марии Николаевне портрете Девойод написал стихотворение. Привожу его в переводе:

Портрет слегка польщен, но если скорбь в нем есть

И если в нем следы страданья скрыты,

То это потому, что Валентина честь

Зависит лишь от Маргариты.

Подпись: «Моему дорогому другу — Марии Ермоловой, великой и обаятельной артистке, от почитателя и друга.

Ж. Девойод».

В своем стихотворении он уподобляет Ермолову — Маргарите, а себя — Валентину, честь которого, волею судьбы, и в дурном и в хорошем зависит от Маргариты: в данном случае Ермолова — Маргарита как бы спасла честь его, артиста, Девойода — Валентина.

С тех пор между Девойодом и Ермоловой возникла настоящая дружба и близость. Оба высокоодаренные, они часто и охотно встречались. Девойод приезжал к Марии Николаевне иногда после спектакля, после бурных оваций, что устраивали ему москвичи. Он подходил к ручке чудесной хозяйки, к ее гостям, и с той же почтительностью спешил поздороваться и поцеловать ручку скромной, незаметной старушки, разливавшей чай². Прделав эту старомодную церемонию, он садился куда-нибудь в уголок и беседовал с кем-нибудь из гостей... Обаятельный, с чутким сердцем он был желанным гостем Марии Николаевны.

Но дружбе их не суждено было длиться долго. Через год Девойод скончался; умер на сцене злополучного театра во время исполнения одной из своих лучших ролей — шута Риголетто. Великое сердце артиста не выдержало бед и напастей, обрушившихся на него.

Похороны Девойода были многолюдны, торжественны. Старый друг покойного Савва Иванович Мамонтов сказал надгробное слово на могиле гениального артиста.

«О ТОМ, О СЕМ»

АКТЕР

Как не хотелось моим родителям, чтобы я стал художником! Примеры, что были у них на глазах, пугали их. Два-три таких «художника» были у нас в Уфе, и вид их не радовал глаз родительских... Народ был не солидный, что говорить! А тут еще этот Павел Тимофеевич Беляков!.. Подумать только — сын степенных родителей, и вот, порадитесь на него!.. И я помню Беляковых: их лавка была по Гостиному ряду — крайняя. «Дело» было большое, торговали Беляковы «бакалеей». Старик Беляков, Тимофей Терентьевич, бывало, целыми днями «дулся в шашки» с соседями. Короткий, коренастый, зимой и летом в высоком картузе, из-под которого вились крупные седые кудри, с окладистой белой бородой, в донельзя замазленном архалуке, он звонким тенорком покрикивал на «молодцов». Дело же вел старший сын, Александр; младший, Павел, был человек «с фантазией», и плоха была надежда у старика на Павла.

Оно так и вышло: как-то прснулись уфимцы, и первую новость, что принесли хозяйки с базара, была та, что Павел Тимофеевич пропал; искали его везде, в часть заявили, а его нет как нет.

С месяц посудачили уфимцы о беляковской беде, потом стали забывать, а там пришла весть — объявился наш Павел Тимофеевич, прислал родителям письмо, просил прощения, писал, что определился послушником, просил благословения. Старики поохали, погоревали и все свалили на «волю Божию» и сыну благословение послали.

Все поуспокоились, стали опять жить-поживать, старик опять стал «дуться в шашки». Время от времени от «монаха», как прозвали Павла Тимофеевича уфимцы, доходили вести: ничего, подвизается, смиряет грешную плоть, ну и прочее... Прошло так с годок, хлоп, опять беда! Старик

Беляков узнал, что наш «монах» из монастыря ушел, куда — неведомо; опять загоревали, заскучали старики, и года не прошло, как на грех — пришли новые вести: «монах» объявился где-то в Астрахани, в актеры поступил. Ну, тут не стерпел Тимофей Терентьевич, егохватила «кондрашка». Похоронили старика, помянули, как следует, по обычаю отцов-дедов. «Дело» перешло в руки старшего — Александра, и дело из рук у него не валилось, машина заработала без перебоя. Кое-когда доходили до Уфы слухи, что «монах» играет то там, то сям, где-то по сибирским городам...

Пришла Нижегородская ярмарка, потянулись купцы и из нашего города. Известное дело, надоело сидеть за самоваром, с толстыми, сытыми женами, захотелось на волю, на людей взглянуть, ну и себя показать, погулять на ярмарке, послушаться «на музыке» под Главным домом, побывать там, у разных «Барбатенок»¹, «арфянок» послушать и тому подобное... Днем дела делают, ходят «по рядам», товары закупают, а придет вечер, падет ночь на землю, тут уж ничего не поделаешь, как с цепи сорвутся, закатятся в Кунавино, на «самокаты» до самого рассвета. Так-то бывало и с нашими уфимцами, куда-куда не занесет их «нелегкая».

И надо было случиться так, что спьяна попали они не в то место, куда метили, промахнулись: вместо «Барбатенко» — угодили в театр... Ну, что делать, надо терпеть. Сели. Один купил афишку, смотрит в нее и глазам не верит: в самом конце написано, что такую-то роль исполнит... Кто?.. Как вы думаете?.. Наш «монах», еще этого не доставало!..

Скоро пришел и ярмарке конец, поехали наши купцы домой, рассказали, что и как, каких товаров накупили, кого видели, и что больше всего раззадорило уфимцев, это то, что купцы видели въявь «монаха», Павла Тимофеевича Белякова.

Родительница его к тому времени померла, а брат рассказникам так и не поверил.

Прошел еще год, наступило лето, на заборах нашего города появились большие розовые и голубые афиши: «Анонс». Уфимскую публику извещали, что такого-то числа приезжает в город труппа под управлением известного артиста Хотева-Самойлова; дальше объявляется репертуар — от трагедии Шекспира до «Прекрасной Елены» включительно, еще дальше перечисляется состав труппы и между актерами, в конце, значится имя нашего Павла Тимофеевича Белякова... Кончалась афиша декоратором, суфлером, «париками» и прочей театральной мелкотой.

Заволновалась Уфа, купцы позабыли о барышах, приказчик временно перестали таскать из хозяйских касс «выручку» лавочные мальчишки меньше дрались. Все ожидали «развития событий»; и они не заставили себя ждать: из номеров Попова сломя голову прибежал в Гостиный двор номерной, оповещая по дороге: «Приехал, приехал, сам видел!..»

На другой день с утра в городе появились новые афиши; они гласили, что «для открытия сезона» приехавшей из Казани труппой под управлением известного артиста Хотева-Самойлова в Летнем театре Блохина представлена будет «мелодрама» такая-то, перечислялись действующие лица и исполнители и опять в конце было сказано, что роль «слуги» исполнит П. Т. Беляков...

Жадно читались афиши, но уфимцам не нравилось, что имя их земляка стояло последним. Люди бывалые, знающие, что театральная жизнь «полна интриг», говорили в раздумье, что слуг играл и Мочалов, играл их и великий Мартынов, дело в том, как играть...

Билеты на первое представление были все проданы. «Гостиный двор» забрался в театр спозаранку. Представление началось. По ходу пьесы страсти развивались с неумолимой последовательностью, «рок» совершал свой «круг», и лишь в конце пьесы появился «слуга» с зажженным фонарем в руке; бедный малый не знал, куда деть фонарь, куда деть самого себя, роль была без слов... и слуга, «простояв свою вахту», скрылся за опустившимся занавесом. Для всех было ясно, что ни о Мочалове, ни о Мартынове здесь не могло быть и речи.

Уфимцы, оскорбленные в своих патриотических чувствах, молча разошлись. Тяжелее всех пережил случившееся «Гостиный двор». Труппа Хотева-Самойлова, проиграв «летний сезон», перекочевала в Пермь. Карьера Павла Тимофеевича Белякова была для уфимцев кончена постыдно и навсегда. Имя его в историю театра не попало.

Теперь вы сами видите, почему будущность художника мало улыбалась моим родителям ².

САШЕНЬКА КЕКИШЕВ

Наискось от нашего дома, на Базарной площади Уфы, когда-то стоял дом с двумя подъездами¹. Жило в нем дворянское семейство Кекишевых. Сам — высокий, черный, угрюмый, она — «тургеневская героиня».

Дворяне Кекишевы вымирали, у них не было «жизненных соков». Мыловаренных заводов они не строили, «образцовых» хозяйств не заводили... Ни на что не надеялись. Тихо, как обреченные, доживали свой век. Детей — сына и дочь — баловали, к ученью не неволили. Сначала няньки, потом гувернантки брались без разбора.

Дети стали ездить в гимназию, с грехом пополам переходили из класса в класс, и не заметили уфимцы, как кекишевские дети подросли. Мальчик стал красивым юношей, девочка милой барышней. Сашенька был высок ростом, с дворянским надменным лицом, с длинным шрамом на щеке, близорукий, в золотых очках. Барышня была, как маркиза...

Все шло заведенным порядком до тех пор, пока однажды старик Кекишев не помер внезапно...

Его похоронили и скоро позабыли. Не забыла его одна «тургеневская героиня», затосковала она, прожила годик и тихо померла. Красивый юноша и «маркиза» осиротели. Остались средства, опека была слабая, и молодые Кекишевы зажили на полной своей воле, ученье бросили, девушка поспешила выйти замуж, уехала с мужем, и след ее простыл. Сашенька же скоро дал о себе знать: дом с двумя подъездами стал сборищем веселой молодежи. Сашенька, со шрамом на щеке, стал ее атаманом. Дебоши пошли на всю Уфу. Озорство Кекишева было особое, дворянское озорство. Справил Сашенька свое совершеннолетие, «тронул» родительский капитал; он то уезжал, то вновь появлялся, наполняя тихую Уфу буйными похождениями, и снова куда-то пропадал...

Прошло еще лет пять, от наследства остались крохи, и стал «Сашенька» — «Сашкой», и уфимцы однажды узнали, что Сашка Кекишев стал... извозчиком, да, извозчиком... Завел иноходцев, пролетку, надел поддевку, выправил «свидетельство» и «стал на биржу», рядом с пьяным Кузьмой да с татарами.

Лихо подкатывал, когда какой-нибудь забулдыга кричал с угла: «Извозчик, подавай!» Солидные люди с Сашкой не ездили: стыдно было, а ему и горя мало. Долго уфимцы не могли понять, как это вышло, что дворянин извозчиком стал...

Пришла зима, навалило горы снега, на Казанскую выехали купцы — рысаков, иноходцев наезжать. Выехал на своих и Сашка Кекишев, в ковровых легких санках, в дохе, в бобровой шапке, в очках золотых. Врежется в самую середину и гонит до самой «Троицы», вожжами играет в безумном экстазе, а в гору едет шагом, весь в снегу, очки

свои протирает. От коней пар валит... Прокатит так раза три по Казанской и как сквозь землю провалится.

Нашел себе Сашка и подручного, такого же сорвиголову, тот умел угодить хорошему седоку. С год дело шло так, а там новые слухи: Сашка вовсе прожился, спустил иноходцев и ковровые санки, спустил своему же удалому работнику и пропал неведомо куда.

Сгинул Сашка, и уфимцы позабыли о нем.

Прошло немало лет, купцы поехали на Нижегородскую, а вернулись, говорят: «Видели нашего барина, видели Кекишева Сашку на Симбирской, разговаривали, сам их окликнул. Крючником стал, одет бедно, одежда рваная, в опорках, худой такой, старый стал, шрам во всю щеку, однако без очков. С ним молодая бабенка. Говорит: «Это моя жена», — а нам што, жена так жена... Живется Сашке трудно, здоровье плохое, годы ушли, уездили Сивку крутые горки... В Уфу вернуться не желает: «Тут, говорит, на Симбирской и помру». Живет Сашка на Слободке, избушка его над самой Волгой».

Угостили его наши папироской, поболтали о том, о сем, попрощались; он пошел к рыбным караванам, уфимцы — к себе, в «Ермолаевскую». Вот тебе и барин, вот тебе и Сашка Кекишев!

«БРАТЕЦ»

Чайная фирма «Боткин и сыновья» издавна славилась у нас. Дела свои вела она с Китаем, с Кяхтой. Дети основателя фирмы были люди умные, даровитые, удачливые. Одни отличались большим благородством, прямою характера, другие были с хитринкой, как говорили москвичи, «с приглупинкой». Все они пошли по разным путям-дорогам. Старший, Сергей Петрович, прославился в медицинской науке, был профессор, ученый клиницист и редкий врач-практик. Его брат, Василий Петрович, человек 40—50-х годов, оставил нам свои «Письма из Испании», знал Александра Иванова, Гоголя, Герцена. О нем говорили много и разное...

Были еще братья: Дмитрий, тот имел чудесное собрание лучших западных живописцев своего времени; были Петр, Михаил, Иван и был еще кто-то. Все они чем-нибудь выделялись, прославились. Я возьму только двух: Петра Петровича и Михаила Петровича. О них ходила молва, если не «достоянная кисти Айвазовского», то достойная пера Островского...

Старший из двух, Петр Петрович, был главой «фирмы», ее мозгом, так сказать, «душой»; он «ворочал» делами за всех братьев и имел к тому особый «дар». Михаил был младше Петра Петровича (он был художник) и, по стародавнему обычаю, обращался к старшему «на вы»: «Вы, братец». Старший же говорил ему просто: «Ты — Миша». «Миша» Боткин зорко присматривался своим хитреньким глазком к жизни, извлекая из своих наблюдений ценные и полезные ему уроки.

Всегда ласковый, так сказать, «сладчайший», он «умел нравиться», и этот счастливый дар его многих вводил в заблуждение. Бывал Михаил Петрович и за границей, сумел, как ходил слух, «задаром» приобрести после смерти славного Александра Иванова его удивительные этюды, что сейчас находятся в Государственном Русском музее.

Позднее Михаил Петрович стал академиком, получил «тайного» и никогда не переставал быть великим интриганом, за что его называли не только «Мишей» Боткиным, но и «Иудушкой»; то и другое наименование ему шло, было ему «к лицу». Но вот что случилось с ним «на заре его жизни».

Однажды к старшему из братьев, тому, что «ворочал» делами фирмы, к Петру Петровичу, обратились приехавшие из Кяхты в Москву по торговым делам купцы, старые приятели Петра Петровича, с такой просьбой: они построили у себя в Кяхте храм, для него заказали в Москве богатый резной иконостас, недоставало только образов. Купцы слышали, что брат Петра Петровича был художником. Так вот, говорят они, не согласится ли Петр Петрович помочь им в этом деле, упросив своего брата написать для них образа и тем завершить благолепие храма. За деньгами они не постоят, назвали и сумму, ассигнованную на это дело. Петр Петрович был человек религиозный, хотя и не без изрядной доли ханжества; в то же время все знали, что он был мало склонный к «идеализму», он был «практик», умудренный опытом жизни.

Не сразу дал он ответ кяхтинцам: дело было серьезное, дело божье, да и кяхтинцы народ был бывалый, знали московское «обхождение», не настаивали зря, однако, уезжая на свою далекую родину, заручились от Петра Петровича согласием «похлопотать» и оставили ему ассигнованную сумму.

По отъезде их вскоре из Питера в Москву приехал и Михаил Петрович, художник, повидался с «братцем», и между ними будто бы была такая беседа: «Заходили

ко мне люди из Кяхты, построили они у себя храм, заказали здесь иконостас, недостает им только образов.

Так вот, Миша, тебе бы и послужить богу, написать образа...» — «Что же, братец, отчего не написать, надо только знать, велик ли иконостас, во сколько ярусов, сколько требуется образов, каких святых и проч.». Петр Петрович на все дал обстоятельный ответ. Надо было составить смету; долго думал-гадал Михаил Петрович, чтоб не «дать маху», не продешевить. Со вниманием Петр Петрович просмотрел смету, сказал — «дорогонько», поторговался; однако ударили по рукам, помолились богу, все честь честью.

Когда дело было кончено, Петр Петрович и говорит: «Вот и видно, Миша, что ты глуп еще, молод, неопытен, ведь кяхтинцы-то определили за иконостас вдвое против того, что ты назначил».

Такой урок благочестивого братца не прошел даром. Михаил Петрович запомнил его на всю свою долгую жизнь, и не зря молва прозвала его «Иудушкой»¹.

КАК ЖЕНИЛСЯ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

Бывало, по дороге из Уфы в Киев, непременно заедешь в Нижний, от парохода до парохода побываешь у Андрея Павловича, сына Павла Ивановича Мельникова-Печерского. Андрей Павлович, мой школьный товарищ, еще в школе прославивший великим чудачком, оригиналом, был постоянной мишенью для острот В. Г. Серова, да и мы не оставляли чудачка в покое, но Андрей Павлович был неуязвим, смотрел на все наши проделки сверху вниз, как истинный мудрец, философ...

Опишу его наружность: среднего роста, коренастый, приземистый, с большой рано залысевшей головой, крупными чертами лица, с окладистой рыжеватой бородой. Его «шекспировский» лоб был постоянно погружен в думы, от чего Андрей Павлович часто бывал рассеян, чем мы нередко злоупотребляли. Сколько раз на вечеровых классах он появлялся к концу занятий, а днем, в дежурство Перова, Андрею Павловичу приходилось плохо; его «обломовская» лень дорого обходилась ему. Бывало, натурщик поглядывает уже на часы, вот-вот пробьет двенадцать, класс кончается, как отворяется дверь и в ней показывается Андрей Павлович в своей коричневой в крупную черную клетку блузе. Нагруженный выше меры всякими художественными принадлежностями, огромной шкатулкой, большими

кистями, муштабелем, какими-то свертками, он едва-едва боком пролезает в дверь.

В классе веселое возбуждение... Чем-то встретит беднягу Перов? Он стоит вон там, у большого окна, ждет свою жертву, а жертва не спеша пробирается к своему мольберту, и, когда, казалось бы, все препятствия были преодолены, когда Андрей Павлович был у цели своего героического «дрейфа», вот тут-то и раздается от окна голос Перова: «Андрей Павлович, что это вы сегодня так рано-с?» — Андрей Павлович умоляюще смотрит на своего мучителя, начинает раскладывать свою мудреную шкатулку, в это время часы бьют двенадцать; натурщик Иван-кривой соскакивает с пьедестала, класс кончился, Андрей Павлович не спеша собирает свои художественные доспехи, мы окружаем его, расспрашиваем, он упорно отмалчивается...

Так проходят наши школьные годы, наступает жизнь, деятельность у каждого своя, и у нашего Андрея Павловича сложилась своя жизнь в родном ему Нижнем, куда он, презрев искусство, перебрался на жительство.

Имя отца, Павла Ивановича Мельникова-Печерского, хорошее образование самого Андрея Павловича, далеко не глупого от природы, хотя и чудака, открывают ему путь к служебной карьере: он поступает чиновником по особым поручениям при нижегородском губернаторе, чуть ли еще не при «знаменитом» губернаторе-эксцентрике — Николае Михайловиче Баранове, и с тех пор едва ли не десяток «их превосходительств» приезжали и бесславно покидали нижегородское губернаторство, а Андрей Павлович, не спеша, без особых переживаний оставался на своем скромном посту. Он нужен был им в редких «дипломатических» случаях, когда в Нижний на ярмарку приезжал какой-нибудь знатный путешественник, иностранец, пожелавший ознакомиться с Нижегородским краем, с знаменитым «всероссийским торжищем», со всеми особенностями этого своеобразного государственного торгово-финансового аппарата огромной страны, захотевший узнать не только казовую сторону этого торжища, но и его интимную жизнь.

Вот тогда-то «принципиал» и вспоминал об Андрее Павловиче, вызывал его, давал указания, программу действий, а он, неглупый, образованный, владевший отлично языками, крепко любивший свой родной край Волгу от Нижнего до Каспия, зная жизнь, обычаи и свываи Поволжья, был незаменимым «гидом» для такой заморской персоны Провозившись с ней сколько-то, показав ярмарку, ее торговый размах, показав все, чем дышала широкая грудь

ярмарки, а дышала эта грудь всякой всячиной местного и привозного производства до «самокатов» в Кунавине включительно; свозив своего клиента за Волгу, в леса, на Керженец, на Светлояр-озеро, в места былых скитов, прокатив гостя вниз по Волге, Андрей Павлович доставлял его целым и невредимым нижегородскому владыке, получая похвалы и благодарность от той и другой стороны, удалялся в свой «флигель» при губернаторском доме, снова зарывался в свои книги, в пыль, их покрывавшую, до следующего вызова.

Я любил наши встречи с Андреем Павловичем. Они были мне памяты по разным обстоятельствам. Обычно на мой звонок у губернаторского флигеля открывалась дверь, в ней показывалась очередная Малания или Фекла, похожая на ту, что написана у Федотова в картине «Получение первого ордена»¹. На вопрос, дома ли Андрей Павлович, она, осмотрев гостя, говорила: «Дома, вон он там, у себя зарылся в пыли, что ему делается». Я проходил из передней узкой тропой среди наваленных книг на полу. Книги лежали на креслах, диване, покрытые девственной пылью, а из недр обиталища чиновника по особым поручениям слышался голос: «Фекла, кто там?» Ответ был: «Да вот, к вам!» (а иногда и просто — «к тебе»).

Из лабиринта книг поднимался Андрей Павлович, следовали приветствия, расспросы, появлялись самовар, закуска, вино, и разговоры без конца.

Андрей Павлович подписывал в каких-то американских газетах или журналах; они валялись не с бóльшим почетом, чем отечественные, где ни попало. В один из таких моих заездов Андрей Павлович был особенно в духе, мы в меру выпили, и на мой вопрос, почему Андрей Павлович не женится, он рассказал мне про оригинальный случай его своеобразной жизни.

Несколько лет тому назад к нему позвонили. Малания открыла дверь: перед ней стояла элегантная молодая особа; она спросила, дома ли и можно ли видеть Андрея Павловича Мельникова. Ей ответили, что доложат. Доложили, и перед появившимся чудачком предстала молодая привлекательная дама или девица. Она, что называется, с места в карьер, не дав Андрею Павловичу опомниться, заявила ему, бегло оглядев окружающее: «Ну можно ли жить в такой пыли и грязи?» Как вам не стыдно, образованному, умному, так опуститься? Посмотрите, что и кто вас окружает?» — и пошла... и пошла... Андрей Павлович едва успевал находить оправдания своей обломовщине, а девица, как власть имущая, входила в роль, в подробности его бытия, начинала

проявлять инициативу, между прочим, заявила о цели своего визита — получить кое-какие сведения о Керженце и прочее; она потребовала чаю, очень умело, уютно хозяйничала, командовала Феклой как у себя дома. В конце концов, категорически заявила Андрею Павловичу, что ему необходимо жениться и чем скорее, тем будет лучше для него: «Вот Вы увидите, увидите, как это будет хорошо!»

На робкий голос Андрея Павловича, что у него нет невесты, ему заявили: «Вздор, вздор, плохая, несостоятельная отговорка закоренелого байбака-холостяка!» И на сче более несмелый голос моего приятеля милая девушка сказала ему просто и решительно, что она сама готова выйти за него и устроить ему человеческую жизнь, и все взять в свои руки, подтянуть, почистить и т. д., и что медлить тут нечего; она свободна, независима и уверена, что еще успеет из него сделать «разумного человека». Будущий разумный человек пытался что-то возражать, обороняться от нахлынувшего на него так внезапно счастья... Куда тут! Его слабый голос мгновенно тонул в бурных волнах речей милой гостьи, и не успел мой Андрей Павлович оглянуться, как был объявлен «женихом», и что удивительней всего — он сам вдруг почувствовал, поверил, что он подлинный жених, что иначе и быть тут не могло.

Посыпался град планов на будущее, конечно, счастливое и, главное, «разумное» будущее. Фекла или Малания мгновенно была водворена в пределы своей кухни, в границы своих прямых обязанностей. Словом, машина пошла полным ходом.

Через несколько дней была назначена свадьба, а пока что новая хозяйка принялась ретиво наводить образ человеческий на жениха, преобразать свое новое гнездышко во флигеле губернаторского дворца.

Незаметно пролетели дни, все произошло, как в сказке, или это был «сон на яву». В этом наш «молодой», как тогда, так и после, так и не мог путем разобраться.

Пролетели первые дни, недели, даже месяцы «разумной» жизни. Сон начинал походить на явь, как совершенно неожиданно нашему счастливцу за утренним чаем было объявлено, что у него такая скука, что у нее отнимаются руки от его обломовщины, что он неисправимый, пожизненный байбак и что так жизнь продолжаться не может, что она молода, деятельна, у ней есть свои запросы; она не хочет с ним пропадать, уезжает от него немедленно, но что, конечно, они расстанутся друзьями, будут переписываться и, быть может, она когда-нибудь завернет в Нижний, ну а теперь, теперь она уезжает.

Она уехала, он, недоуменный, остался. Время от времени стали приходить от эксцентрической экс-супруги письма то из Москвы, то из Иркутска или Питера; были письма и с Южного берега Крыма — Ялты, Мисхора, еще откуда-то. Потом наступал период долгого молчания, и так было до тех пор, пока прекрасная дама вовсе позабыла о нем... Не горевал и Андрей Павлович. Он снова погрузился в свою книжную премудрость, опять появилась Фекла, быть может, с еще большими правами, чем прежде. Андрей Павлович передал мне об этом эпизоде своей жизни со свойственным ему спокойным юмором, без сожалений и комментариев.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОХОРОНЫ

В четырнадцатом году попал я в Питер, вздумал проехать в Александро-Невскую лавру, посмотреть бюст и памятник Достоевскому; тогда Достоевский входил в план моей большой картины¹. Живым Федора Михайловича видеть мне не пришлось, а бюст, что был на его памятнике, знавшие и помнившие Достоевского говорили мне, был похож и был сработан молодым Бернштамом с натуры незадолго до смерти писателя. Так вот на этот бюст, в профиль, мне и надо было посмотреть и, быть может, зачертить его себе в альбом. Было начало осени, и, чтобы видеть по пути в Лавру жизнь большого города, я сел на верх вагона, и «паровичок», пыхтя и надуваясь, потянул нас за собой от Знаменской площади до самой Лавры. Войдя в ворота, тут же, справа, я увидел памятник Достоевскому с его бюстом и стоя зачертил его очень подробно в альбом, побродил по кладбищу, побывал на могилах Глинки, Мусоргского, Чайковского, Стасова, посмотрел на одном из памятников мозаики, сделанные когда-то с моих образов², и собрался уходить, опять сесть на империял вагона, и паровичок повез бы меня обратно до Знаменской, а там я добрался бы до улицы Гоголя, в свой Гранд-Отель.

Иду не спеша к воротам и вижу совершенно необычайную картину: перед самыми воротами появилась раньше мной незамеченная деревянная вышка, на ней какой-то человек, покрытый черным сукном, как бы в экстазе проделывал какие-то «манипуляции»; я догадался, что то был фотограф, для какой-то цели «вознесшийся» туда с своим аппаратом, направлявший его в сторону ворот. Правей от вышки стояла в ожидании чего-то большая толпа зевак, за толпой, на паперти церкви, находилось многочисленное духовенство в

парадных, серебряных ризах; я подумал: «дай-ка и я поглазею, ведь недаром же начал я с «жанра», был учеником Перова».

Стал между фотографом и духовенством. Ждем, прошло минут двадцать, как на колокольне стали «вызванивать по покойнику», и чем ближе процессия подвигалась к Лавре, тем чаще и громче слышался печальный перезвон.

Напряжение толпы росло, духовенство стало спускаться с паперти, а бедняга фотограф на своей вышке делал отчаянные усилия, чтобы не прозевать момент, и когда, казалось, на колокольне и на вышке все силы были исчерпаны, в воротах показалась голова траурной процессии. Впереди всех шел торжественным, мерным шагом огромный тамбурмажор, одетый в белый, фантастический костюм, с широкой серебряной перевязью через плечо, в «наполеоновской» треуголке; он с великим достоинством, знанием дела, с сознанием ответственности своей роли дирижировал булавой, обращая то в сторону фотографа, то к воротам, откуда медленно выплывало печальное шествие: шли попарно факельщики в белых ливреях, треуголках, с перевитыми флёром зажженными фонарями, за ними шли певчие в парадных кафтанах, исполняя печальные песнопения, за певчими — духовенство в светлых облачениях, наконец показался в воротах, колыхаясь множеством перьев, гирлянд электрических лампочек, огромный белый катафалк, похожий на «киворий» католического собора, с покрытым золотой парчой гробом. Катафалк вез четверик добрых коней в бслых, длинных пополах с султанами из перьев и электрических лампочек между ушей.

По мановению жезла величественного тамбурмажора процессия подалась влево и стала профилем к неистовому фотографу, стала так, чтобы он мог видеть и неутешную вдову почившего, — а она, закутанная вся в крепе, в каких-то черных бусах, беспомощно, изнемогая от горя, всей тяжестью своей повисла на руки двух «превосходительств», штатского и военного. Позади шла толпа друзей и почитателей почившего. Шествие остановилось, замерло на месте. Энтузиаст-фотограф мог теперь запечатлеть для потомства печальное событие.

Самая торжественная минута миновала. Духовенство, лаврское и пришлое, соединилось, началась «лития». Несомненно, это были похороны по «первому разряду». Я понял, что для меня, как наблюдательного художника-жанриста, все было кончено, пробрался через ворота, сел на верхушку отходящего вагона, паровичок запыхтел, и мы поехали

по малому Невскому к Знаменью. День клонился к сумеркам, на душе было смутно...

В нашу сторону двигались еще похороны, — они были совершенно в «перовском духе». На этот раз не было никакой «феерии», было горе, настоящее, безысходное...

Бедные дроги вез одинокий коняга, «холстомер» в последней стадии; коняга был покрыт короткой, порыжелой, с когда-то белой обшивкой попоной; на дрогах сидел убогий, в нелепом балахоне, в огромной с отвисшими полями шляпе возница. Позади его стоял привязанный веревками белый, некрашенный гроб. И конь и возница поспешали, каждый на свой лад, исполнить свои обязанности и отдохнуть, скорее отдохнуть...

И только молодая, бедно одетая женщина, судорожно цепляясь за дроги, бежала за ними, позабыв об отдыхе, с одной неустанной думой: друга ее нет, его не будет, она осталась одна-одинешенька на всем белом свете... Это, конечно, были похороны по «третьему разряду», и контраст этих двух похорон, их случайная тенденциозность заставляли задуматься «о суете сует и всяческой суете».

Я добрался домой усталый, а виденное в тот день осталось в моей памяти и посейчас...

ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ¹

Я никогда и никого не учил. Моя художественная деятельность была направлена к практике нашего дела — писанию картин и пр. У меня не было ни педагогического, ни методического опыта, и я могу лишь поделиться своими школьными воспоминаниями и наблюдениями за пятьдесят лет моей художественной деятельности.

Вспоминая о Московском Училище живописи в Петербургской Академии художеств начала 80-х годов, я прихожу к мысли, что методы обучения времен Карла Брюллова, Александра Иванова, потом Репина, Сурикова, Серова не были так плохи, как позднее, при новом академическом уставе, принято было о них судить.

Методы эти были более целесообразны в деле обучения нашей грамоте, достигали лучших результатов, так как учителями нашими были всегда люди грамотные, хотя и не одинаково одаренные. Но надо сказать, что в преподавании, особенно рисунка, «формы», художественная одаренность учителя не всегда помогает делу. Дарование учителя — особое педагогическое дарование. Им в огромной степени

владел П. П. Чистяков. Он имел свой метод — совершенно особый, «чистяковский». Его благодарными учениками были такие художники, как Семирадский, Репин, Виктор Васнецов, Суриков, Поленов, Серов, Врубель, Савинский и многие другие. Были хорошими преподавателями Куинджи, Серов.

Я учился в Училище у Прянишникова, Евграфа Сорокина (одного из самых блестящих рисовальщиков своего времени, но учителя равнодушного) и у Перова. В Академии, вернее, вне ее, я внимательно слушал советы умного Крамского. Одновременно мы все учились у природы, у великих мастеров античного мира, Ренессанса, также на произведениях более позднего времени. Я лично склонен до сих пор более учиться, чем учить других,— и не мне предлагать методы обучения. Для этого, полагаю, имеются у нас люди более подготовленные, призванные, опытные. Вот к ним-то и придется обратиться за содействием, они, вероятно, знают «секрет», как надо учить.

Я же могу лишь пожелать, чтобы учителя были более опыты в наблюдении природы и всего живущего в ней, чем учащиеся, чтобы они учили смотреть на природу трезво, чтобы не заводили в дебри мудреных теорий, рискованных и дорогостоящих нашей молодежи «опытов».

Начало и конец учения — это познание природы, настойчивое, терпеливое изучение того, что изображают. Это равно необходимо как для больших дарований, так и для малых. Пример тому — две выставки наших больших мастеров — Серова и Репина. Стоит внимательно просмотреть их работы учебной поры: оба они (и не они одни), не мудрствуя лукаво, терпеливо рассматривали, внимательно наблюдали предметы своего изучения и лишь потом, когда дисциплинировали свой глаз, свою волю к познанию, когда выходили на самостоятельный творческий путь,— лишь тогда со всей яркостью обнаруживали индивидуальные свои свойства. Тогда (овладев грамотой) художники и становились Брюловыми, Ивановыми и пр.

Словом, учиться надо начинать с азов... Тогда и явится в исполнении не *мнимый*, а *подлинный* реализм.



ПИСЬМА

ИЗ ПИСЕМ

А. А. ТУРЫГИНУ

Киев.
21 апреля 1908 г.

Видел на днях Дункан (за 4 целковых сидел в девятом ряду). Получил огромное наслаждение. Этой удивительной артистке удалось в танцах подойти к природе, к ее естественной прелести и чистоте.

Она своим чудным даром впервые показала в таком благородном применении женское тело. Дункан — артистка одного порядка с Дузе, Девойодом, Шаляпиным, Росси, словом — гениальная...

Поскольку она «иллюстрирует» Бетховена или Шопена — это меня (а может быть, и ее) мало занимает. Своим появлением в мир хореографии она внесла струю чистого воздуха, и после нее на наш балет невольно будешь смотреть, как на раскрашенную красавицу в ловко сделанном парике и отличном корсете. Как пошлы и лживы после этой божественной босоножки — все «стальные носки»!

Смотреть на Дункан доставляет такое же наслаждение, как ходить по свежей траве, слушать жаворонка, пить ключевую воду... Успех она здесь имеет громадный.

А. В. НЕСТЕРОВОЙ

Киев.
1 января 1909 г.

Твое письмо с сообщением о намерении Аксаковской комиссии в Народный дом включить и мою картинную галерею меня не огорчило. И вот почему надежды выстроить свой музей очень мало или ее вовсе нет. Значит, надо исполь-

звать умело, осторожно и с толком то, что есть возможного. Аксаковский дом, не говоря об имени Аксакова, с которым имя Нестеровых совместить не стыдно, должен будет в себя вместить несколько просветительных учреждений, к коим следует причислить и картинную галерею. В принципе я против этого ничего не имею (лучше, чем то, если бы галерея была над торговыми рядами, лавками...)

Но вместе с тем, если ко мне обратятся с такими предложениями, поставлю те условия, которые обозначены в моем духовном завещании, а именно: картинная галерея должна будет носить имя жертвователя или по крайней мере над входом в нее должна быть сделана надпись (как в Казанском городском музее над залами, где находится собрание Лихачева, подаренное городскому музею: «дар Лихачева») «Дар городу М. В. Нестерова».

Затем необходимо, чтобы залы, отведенные под галерею, были окнами на север (это также непременно). Далее над картинной галереей учреждается контроль жертвователя, или его семьи, или Академии художеств, без ведома которых галерея пополняться не может.

Вот те условия, на которых галерея может быть передана в Народный дом имени Аксакова. В этом духе и будет, в случае надобности, мой ответ Комитету.

Д. И. ТОЛСТОМУ

Княгинино.
16 июня 1909 г.

Глубокоуважаемый граф Дмитрий Иванович!

Вам, быть может, известно, что картина моя «Св. Русь», посланная по желанию покойного вел. кн. Владимира Александровича Академией на Международную выставку в Мюнхен, получила там золотую медаль 1-й степени.

Помня добрые отношения Ваши ко мне, я решаюсь написать Вам это письмо, просить Вас, как заместителя вел. кн. Георгия Михайловича, взять на себя инициативу перенесения «Св. Руси» в Музей императора Александра III.

Не найдете ли Вы именно настоящую минуту подходящей для перенесения картины, тем более что мне памятно и дороги слова, сказанные Вами в последние дни моей выставки, когда успех картины так полно определился. Вы сказали тогда, что «Св. Русь», может быть, придется перенести из Академии ранее установленного срока, что

так порадовало меня тогда, так как Вы знаете, каким было бы для меня утешением видеть именно эту мою картину доступной широкому кругу общества.

Мои немногочисленные критики-хулители, желая свести значение этой картины на нет, усердно указывают на неудавшегося мне Христа, но много ли удавшихся Христов вообще? Много ли в наших музеях? В данном же случае Христос не был «темой» в картине, в которой, согласно ее названию, совершенно сознательно отведена главенствующая роль народу-богоскателью и природе, его создавшей.

Картины «Св. Русь», «Св. Димитрий царевич» и всю серию «Сергиев» я, как и весьма многие, считаю по своей духовной сути наиболее «народными» из моих произведений, понимая это слово в обширном значении.

А. А. ТУРЫГИНУ

Киев.

20 января 1910 г.

Из последнего «Аполлона» узнал, что умная голова — Дмитрий Толстой «приобрел у Дягилева» для Музея Александра III первый вариант «Пустынника», история коего такова: в 88 году я начал в Уфе «Пустынника», холст оказался плох, да и я не лучше, пришлось картину бросить и начать на новом холсте.

Вторая удалась, попала в Третьяковскую галерею, а первый вариант я содрал с подрамка, и он у меня валялся в мастерской (в номере в Москве), где его подобрал Остроухов, спустя много лет у Остроухова его выменял на «Крамского» Дягилев, издал его, куда-то таскал за границу, а теперь нашел простака и всучил ему этот мой «шедевр».

Божь, что много хламу таким образом попадет в музей...

В том же «Аполлоне» сообщается, что кн. Тенишева приносит в дар музею мою «Под благовест». Я бы предпочел, чтобы Толстой купил вместо «Пустынника» «Св. Димитрия царевича», а вместо Тенишевой — Академия принесла бы в дар музею «Св. Русь». Так ведь нет — не выходит по-моему... А ты не ленись, сползай в музей да посмотри, правда ли то, что людишки в «Аполлоне» пишут. Да кстати узнай, что Толстой, сделавшись директором Эрмитажа, остается товарищем управляющего Музсем Александра III, или его там заменят — ну, хоть Свиным, что ли...

А. А. ТУРЫГИНУ

Сергиевский посад.

3 июля 1913 г.

Твое хорошее письмо получил, спасибо...

Нечего говорить, как жаль Александру Васильевну! Как незаменима она была для меня во многом. И как умный человек, и как человек прямолинейной честности, который не умел колебаться между прямым путем и кривым. Это был человек хорошей нравственной породы и личного самовоспитания.

Кроме того, последние годы она жила моими интересами, моим успехом и неуспехом — как никто.

Я сильно за эти месяцы поддался, и если не сумею себя поставить на ноги в Ессентуках, то не знаю, как зиму проскриплю. Работы нахватал пропасть. Сделать надо не кое-как, сроки все пропущены — три-четыре года (Харитоненкам, которые ждут чуть ли не с моей выставки иконостаса).

Хочется со всеми заказами кончить и больше не брать их, ненавижу их я, как врагов своих!!..

Необходимо написать еще если не «Христиан», то две-три вещи стоящих, к которым у меня почти весь материал готов и надо сделать через два-три года выставку.

Денег сколько ни добывай, не будет этому конца, да и «спасибо» не скажут, а пожалуй, еще скажут «мало».

Стоит ли себя терзать!?

Надо «остальные денечки» пожить «для души». А она еще полна хороших художественных чувств, мыслей.

А. А. ТУРЫГИНУ

Княгинино.

30 августа 1913 г.

Грабарь выпускает монографии, вышли Врубеля, Левитана, теперь будет Серова, Нестерова, потом Васнецова, Перова. Вот для Перовской Грабарь мне предложил написать воспоминания, нечто похожее на то, что я писал о Левитане в «Мире искусства». Такое воспоминание могло бы войти в монографию отдельной главой за моей подписью. Я отказался, а теперь, сидя в Малороссии, взял да и написал, вышло «прекрасно», что-то совершенное, равное лучшим нашим произведениям пера — откуда что

бралось. Я щипал себя за нос, не веря, что пишет это не Тургенев, а я, твой друг, самый, казалось бы, обыкновенный смертный, однако — нет, писал не Иван Сергеевич, а я, Мих. Вас. ...

А. А. ТУРЫГИНУ

Москва.
10 октября 1915 г.

Твое письмо, Александр Андреевич, получил сегодня, сегодня же с утра я начал своих «Христиан», или «Верующих» красками, а потому твое поздравление и пожелание принимаю с особым удовольствием и благодарностью. Приведет ли бог увидеть окончание картины — появление ее перед Российской публикой — неведомо, но работаю я с огромным наслаждением. Картина «выношена» до мельчайших подробностей, а к левой (от зрителя) ее половине все материалы собраны, и работа должна в этой ее части идти без задержки. Сегодня подошел к пейзажу, осеннему, приволжскому. Люблю я русский пейзаж, на его фоне как-то лучше, яснее чувствуешь и смысл русской жизни, и русскую душу. В левой части картины взята верующая Русь с далеких времен, от князей и царей московских. И, подвигаясь вправо, заканчивается верующими людьми наших дней.

«Процесс» христианства на Руси длительный, болезненный, сложный. А слова Евангелия — «пока не будете, как дети, не войдете в царствие небесное» — делают усилия верующих особенно трудными, полными великих подвигов, заблуждений и откровений...

А. А. ТУРЫГИНУ

Москва.
10 ноября 1915 г.

На днях получил письмо от уфимского городского головы и протокол заседания 27 октября Уфимской городской думы, из коих узнал, что земляки почтили меня единогласным постановлением избрать «почетным попечителем» музея, наименовав его моим именем. Кроме того, постановлено как в музее, так и в зале заседаний Городской думы повесить мои портреты. Не надо говорить, что все это мне было приятно и того приятней было бы моим старикам.

Москва.
20 марта 1916 г.

Ты желаешь знать о художниках «Мира искусства», о их художестве и его ценности.

Ладно: есть художник Берггольц из «кимряков», в этом году он вошел в академическую комиссию по покупке картин в музей. Комиссия в большинстве оказалась «левая», приобрела этого твоего Кустодиева — «Катанье на масле» в музей. Берггольц остался при особом мнении, написав в протоколе, что «он призван покупать для музеев картины, а не лубки». Августейший президент Академии постановление комиссии утвердил, а особое мнение «кимряка» было истолковано как мнение человека эксцентричного.

Ты человек не «эксцентричный», но, однако, не лишенный черносотенных «начал» — и мне, человеку «прогрессивно мыслящему», надлежит тебя просветить... Попробую...

Меня нимало не смущали и не смущают искания не только «Мира искусства», сообщества довольно консервативного, но и «Ослиных хвостов», и даже «Магазина» (новое, наилейшее общество). Не смущает потому, что «все на потребу»... «Огонь кует булат». Из всего самого негодного, отбросов в свое время и в умелых руках может получиться «доброе».

Придет умный, талантливый малый, соберет все ценное, отбросит хлам, кривлянье и проч. и преподнесет нам такое, что мы, и не подозревая, что это «такое» состряпано из отбросов, скушаем все с особым удовольствием и похвалой.

«Мир искусства» — это одна из лабораторий, кухня, где стряпаются такие блюда. Кустодиев, Яковлев Александр — это те волшебники-повара, которые, каждый по-своему, суммируют достижения других, а сами они, быть может, войдут в еще более вкусные блюда поваров еще более искусных.

«Лубок» — это принятый до время язык, иногда даже жаргон более понятный или забавный, чтобы быть выслушанным, понятым.

Язык Пушкина — это язык богов, на нем из смертных говорят немногие: Александр Иванов, Микеланджело, Рафаэль...

Даже такие таланты, как Суриков, прибегали, чтобы понять их «смертные», — к народному говору — жаргону.

Так что ты со своими Вейсами и кимряками был недалеко от «правдочки».

И да не смущается твое сердце. Под луной не произошло ничего нового, а жить всякому охота, — и Вейсу, и кимряку, а придут «боги», и, может быть, мы с тобой и впрямь их не поймем, обложим их матерным словом и закричим «распни их».

Но не думай, однако, что быть Кустодиевым, притворяющимся рубахой-малым, — так просто. Им, как и Вейсом, надо родиться.

Боги же сходят с Олимпа и не болтают, а глаголят!..

Ну, вот тебе и весь сказ!..

А. А. ТУРЫГИНУ

Москва.

Апрель. 1916 г.

Умер старик Прахов, этот талантливейший язычник — дом его в Киеве был моим «университетом». Там перевидал я и переслыхал многое множество интересных людей, мыслей и чувств («чувств», как всегда, у меня больше всего).

Как знать, может, соберусь, так напишу в «Новом времени» о старике — тогда прочтешь. Подбивают.

С. Н. ДУРЫЛИНУ

Москва.

6 апреля 1923 г.

Воистину воскрес, дорогой Сергей Николаевич!

Так приятно было получить Ваше письмо, приложенное в нем пасхальное яичко, видимо, Вами и разрисованное. Спасибо Вам за все. Вашими письмами Вы не только радуете меня, но и балуете своими похвалами. И так хочется, чтобы хоть часть их была мною заслужена, ведь так трудно оправдать добрые чувства к себе друзей.

Георгий Николаевич принес мне для подписи «Монографию», я сделал это, дав краткое заключение о книге. В письме же этом и в ряде последующих ввиду Вашего предположения писать обо мне (не нужно говорить, с каким доверием я отношусь к будущему труду Вашему), я постараюсь дать Вам материалы, кои еще не были использованы. Их немало, часть их заключается в многочисленных ре-

цензиях, печатанных с появления «Пустынника» и «Видения отроку Варфоломею» до освящения обительского храма, они сохранились у покойной сестры моей Александры Васильевны. Часть же материалов может состоять из воспоминаний о моем детстве и последующей жизни, наиболее заметных моментах моего творчества, а также о людях и событиях, способствовавших моему художественному развитию и деятельности.

Первая часть материалов, пока Вы в «Челябе», для Вас недоступна (разве можно будет прислать некоторые дубликаты статей), но их я постараюсь возместить в своих письмах тем, чего нет и не могло быть в газетных статьях.

Еще недавно, будучи в С.-Петербурге, мой старый друг А. А. Турыгин (двоюродный брат композитора Глазунова) заметил мне, что в монографии С. Глаголя почти ничего не упоминается о моих родителях, и винил в этом меня. (Турыгин имеет в руках несколько сот моих писем за сорок лет нашей дружбы, сейчас он их сортирует и на днях еще прислал мне предисловие к будущему изданию их — когда?). Чтобы загладить невольную, может быть, вину свою, постараюсь в письмах к Вам возместить этот пробел, дам Вам несколько характеристик моих «предков».

Род наш ведет начало из Новгорода Великого. Крестьянами предки мои переселились на Урал, где и оказались позднее крепостными господ Демидовых — владельцев знаменитых заводов.

Дед мой Иван Андреевич, видимо, был человек богато одаренный, родители его, получив вольную, отдали его в Уральскую семинарию, что по тем временам было редкостью для крестьян.

Позднее Иван Андреевич занялся торговлей, но не торговля была его призванием, его, видимо, тянуло к административной деятельности. Он был назначен уфимским городским головой и в этой должности оставался двадцать лет.

В нашей семье сохранилась фраза, будто бы сказанная знаменитым в те времена генерал-губернатором Оренбургского края — Василием Алексеевичем Перовским, посетившим Уфу. Перовский, довольный благосостоянием города, сказал деду:

— Тебе, Нестеров, быть бы головой в Москве!

И спустя много времени уфимцы сохраняли в памяти тот порядок, который был при Иване Андреевиче Нестерове, ставя его в пример администраторам позднейшим.

Дед был великий хлебосол, это у него-то и ставили «Ревизора», «Купца Иголкина» и многое другое.

В сильно драматических ролях имел чрезвычайный успех дядя Александр Иванович, видимо, с истинным артистическим призванием. От его игры многие плакали, он чудесно декламировал, играл на скрипке. Судьба дяди Александра Ивановича совершенно исключительная: имея пылкий характер, обуреваемый благороднейшими порывами, он попал в великую беду. Посланный дедом на Нижегородскую ярмарку, дядя очутился в Петербурге, там в Летнем саду, во время обычной прогулки императора Александра II, передал ему жалобу заключенных в уфимской тюрьме заводских рабочих, следствием чего была высылка дяди в Сибирь, где он и прожил большую часть жизни. В Уфу вернулся стариком, жил в доме моего отца. Я его хорошо помню. Он очень похож был на художника Ге. Много читал, играл на скрипке. Личными его врагами были: папа Пий IX и Бисмарк, героем — Гарибальди. Умер Александр Иванович глубоким стариком.

Один из дядей молодым отправился в Америку и там пропал. Еще один был врач-самоучка, и только мой отец Василий Иванович стал купцом, однако, как понимаю теперь, тоже без призвания к коммерческому делу. Тетушка Анна Ивановна хорошо рисовала, и акварели ее были предметом моего детского восхищения. Всего у деда моего Ивана Андреевича было пять сыновей и три дочери. Мой отец был младшим и любимым.

Я родился в 1862 году от второго брака отца с Марией Михайловной Ростовцевой. Ростовцевы были родом из г. Ельца. Фамилия эта в городе тогда (да и посейчас) была очень распространенная.

Родители матери были с хорошими средствами, вели большую торговлю хлебом — пшеницей, и когда матери моей было лет семь, переселились в г. Стерлитамак Уфимской губ., где в те времена велся большой торг пшеницей. Семья деда Ростовцева была тоже большая, причем сыновья, видимо, были менее удачливы, чем дочери.

Моя мать вышла за отца моего вдового и не в ранней молодости и разницы в годах между ними большой не было. Отца и мать я помню с самого раннего детства, причем всегда казалось, что первенствовала в семье мать — женщина с непреклонным характером, умная, властная. Она царила в доме, вела хозяйство, дело это любила, и оно шло у ней образцово. Всех детей у родителей было двенадцать, в живых же осталось двое: сестра и я. Сестра была четырьмя годами старше меня, и это чувствовалось при воспитании нашем.

Я не имел сверстников в семье, если не считать мальчиков из нашего магазина. Душа моя, характер слагались как-то сами по себе, без особых влияний, я нащупывал сам то, что было нужно. В детстве особую нежность, заботливость я питал к матери, хотя она и наказывала меня больше, чем отец, а позднее, в юности и в ранней молодости, проявляла себя, свою волю так круто по отношению ко мне, что казалось бы естественным, что мои чувства к ней должны были измениться, и правда, они временно утратили свою силу, однако, с тем, чтобы вспыхнуть вновь в возрасте зрелом, в последние годы ее жизни, и теперь, стариком, я вижу, что лишь чрезмерная любовь ее ко мне заставляла всеми средствами, правыми и неправыми, пламенно препятствовать моей первой, очень ранней женитьбе, искоренять во мне все, что она считала для меня — своего единственного, как она иногда называла меня — «ненаглядного» — [не] нужным и [не] полезным.

В детстве я помню мать или сидящей у себя в комнатке за работой (она была великая мастерица на всякие мудреные рукоделия), трогательно напевавшей что-то тихо про себя, или в хлопотах, в движении, обозревающей, отдающей приказания в своих владениях, в горницах, на дворе, в саду. Ее умный, хозяйский глаз всюду видел и давал неусыпно себя чувствовать. Особенно прекрасны были годы ее старости, последние годы ее жизни. Около нее росла ее внучка — моя дочь от покойной жены. Вся нежность, которая когда-то, по каким-то причинам, была недодана мне, обратилась сейчас на внуку. В мой приезд в Уфу на праздники из Киева, где тогда я работал во Владимирском соборе, каких только душевных разговоров не велось между ними, каких явств она тогда не придумывала: пельмени, пироги всех сортов и видов чередовались ежедневно.

«Шустыньщик» и «Видение отроку Варфоломею» были уже написаны и дали моим старикам огромное, хотя, может быть, и запоздалое удовлетворение. Мне казалось, да и теперь кажется, что никто и никогда так не слушал меня и не понимал моих юношеских молодых мечтаний, опасений, планов, как она, хотя необразованная, но такая чуткая, жившая всецело мной и во мне — моя матушка. Мне удалось быть около нее и в последние дни и часы ее жизни слышать самые лучшие, самые прекрасные слова, обращенные ко мне. Умирая, она сознавала и была счастлива тем, что ее «ненаглядный» нашел свой путь и пойдет по нему дальше, дальше, пока, как и она, не познает «запад свой»!.. Царство ей небесное, вечный покой!

Отец мой — Василий Иванович — был очень живой, деятельный человек. В домашнем быту всецело подчиненный матери, но вне дома проявлявший твердую волю, твердые принципы. Он был человек своеобразный, оригинальный, и много рассказней ходило по городу о его независимом нраве, поступках, иногда граничащих с анекдотом.

Отец прожил долгую жизнь, умер восьмидесяти шести лет (мать — семидесяти), в ту пору, когда я кончал роспись Абастуманского храма. Я благодарен ему за то, что он не отказал мне в средствах к образованию, согласился с доводами К. П. Воскресенского (директора реального училища, где я учился) пустить меня по избранной и излюбленной дороге, благодаря чему жизнь моя протекала в деле мной любимом, и я мог послужить своему призванию, своей родине в размере способностей, богом мне данных.

После смерти родителей моих у меня в Уфе оставались самым близким человеком сестра Александра Васильевна. Замуж она не вышла и приняла после смерти матери моей всецело на себя воспитание моей дочери. Много любви и забот было вложено ею в это дело. Поздней она посвятила себя делам, связанным так или иначе с помощью людям, делала это не показно, знали об этом лишь самые близкие. В дни же народных бедствий, как голод, она проявляла огромную энергию, инициативу и совершенно позабывала о себе, своих навыках и привычках культурного существования. Она была человеком долга, и раз приняв на себя какое-либо обязательство, считала исполнение его для себя священным, и много бедного люда было к ней горячо признательно, и долго после бедствия из дальних, глухих деревень приезжали к ней в гости ее клиенты, и отношения между ними и сестрой были совершенно необычайными по трогательной простоте.

Александра Васильевна до самой смерти (умерла в 1913 г. пятидесяти девяти лет) управляла моим имуществом в Уфе. Наши отношения с ней за последние годы жизни были особенно дружественными. Она с любовью следила за моей деятельностью, видела прохождение всего пути моего до росписи собора в Марфо-Мариинской обители включительно. Радовалась моей радости, печаловалась моим печалам.

Этим, дорогой Сергей Николаевич, закончу настоящее свое письмо. При верных оказиях буду посылать Вам материалы, кои еще не появлялись в печати. Сейчас мне прислал для просмотра корректурные листы обширной главы обо мне из своей «Истории русского искусства» П. П. Перцов. Много там написано обо мне приятного для старика, если бы хоть часть была воздана по заслугам.

[Москва]

Апрель 1923 г.

Дорогой Петр Петрович!

Благодарю Вас за присланное письмо. Не отвечал на него потому, что хотел написать Вам по возвращении из Петербурга, где пробыл дней десять.

Впечатлений очень много, и они неожиданно как на подбор хорошие.

Сам Петербург утратил свой блеск, великолепия, но приобрел какую-то царственную грусть, он ушел в себя, что-то понял, чего еще не может понять старая дура Москва. Петербург сосредоточен, не суетлив и не буен. Он уже до конца пережил свою трагедию. Внешне и в центре следов пережитого заметно мало, на окраинах их, слышно, больше. Невский кишит народом, что незаметно на других улицах. Магазины многие открыты. Цены выше московских, хотя извозчики, трамваи дешевле наших.

Печальное зрелище являет собой ободранный Казанский собор, однако он полон молящимися.

Конечно, первое, куда я устремился, были музеи — Александра III, Эрмитаж и другие (их много — Юсуповский, как называют его, «роковой», Строгановский, Шуваловский, Шереметевский).

Музей Александра III, как я и писал Вам, весь перевешен заново, и, надо сказать, в общем прекрасно. Счастливая окраска стен, восстановление некоторых панно, дивная мебель, часто та же самая, что была в нем во время его былой славы, поставленная так же, как когда-то — все это придает музею вид дворца, а развешенные умело, умно, не тесно Боровиковские, Левицкие, Брюлловы наполняют его истинным великолепием.

Там и знаменитые «Смолянки», там лучший Рокотов, и все они говорят нам о былом, о людях, о нравах, об исчезнувшей жизни...

Из новых выиграл на новом месте Поленов, он утратил свою «акварельность», получил густоту краски (не тона) и большую декоративность пейзажа (говорю о «Грешнице»). Очень выиграл рядом с «Фриной» — Смирнова «Нерон». Наполнился движением, каким-то безумным воодушевлением огромный холст Сурикова. Волшебник Суворов там, где-то в облаках бросает в чаду военного восторга тысячи жизней, ему радостно повинующихся, в бездну...

А рядом — мистерия «Ермак». Тоже колдовство одного над толпами... Над «Ермаком» — «Святая Русь», такая

скромная, женственная, с необедительным Христом, и все же автору любезная, как всякое детище, и я рад, что картина в музее.

Репин в большом зале представлен тремя вещами: «Запорожцами», «Св. Николаем» и «Садко». Выиграли «Русалки» Маковского. Хорош В. Васнецов, представленный количественно бедно («Витязь» и «Скифы»).

В брюлловской перевешена «Помпея» — против двери из анфилады, идущей от лестницы. «Медный же змий» занял всю стену, где был Айвазовский. «Магдалина» неудачно, слишком близко к свету повешена среди дивных ивановских этюдов.

Великолепен брюлловский особый зал (где были мои и Левитана вещи). Там удивительно нарядный, не бывший никогда воспроизведенным, женский большой портрет. Как он хорош!

Федотов менее занимателен, чем о нем говорили здесь, и московский, во всяком случае, выше качественно. Прекрасен и пополнен Венецианов.

Перейдем в нижние залы.

Средний Крамской, правда, увеличенный портретом старика Суворина и еще двумя-тремя вещами. (Сейчас в Питере есть тенденция возвращения к Крамскому, признание его портретов выше репинских.) Очень хорош один новый, знакомый по репродукциям женский портрет Ге. Перов гораздо слабей московского, зато несколько новых вещей Васильева дают лишний повод пожалеть о ранней смерти его.

Но вот и репинский зал — большой угловой, неудачно покрашенный в «соломенный» цвет, и на таком же фоне развешены бесконечные портреты, блестящие сами по себе и как характеристики, но в массе теряющиеся, как-то мешающие один другому. Подхожу к «Проводам новобранца» — и не узнаю этой прекрасной, свежей, молодой вещи, так она выцвела, потемнела, утратила бодрость техники; лучше «Проводов» — «Бурлаки». Словом, Репин проиграл до обидного, и сами хранители музея это сознают и стараются найти способ дело поправить.

Кстати, о самом Илье Ефимовиче. Он в Куоккала, на все мольбы вернуться качает головой, стал очень религиозен, поет на клиросе и читает «апостола»... Посмотрел бы да послушал его старик Стасов!..

Идем дальше к двум темным залам, где развешен К. Маковский («Масленица» и другие мелкие вещи) Там же Шишкин (с Репиным несколько довольно слабых Куинджей), там же Богданов-Бельский, Крыжицкий и много других ценных и менее ценных авторов и картин.

А вот и зал шестой, где собраны вещи мои и Левитана, и к ним прикинуты по одной, по две вещи Сурикова, Ап. Васнецова, Малютина и иллюстрации к «Купцу Калашникову» Виктора Михайловича Васнецова. Зал светлый, выходит в сад тремя окнами. Освещены вещи, как и повешены, — прекрасно, во всяком случае они не проиграли. Среди них «Под благовест», недавно извлеченный из ящика (коллекции Коровина), картина очень потемнела, пока еще без рамы и требует большой реставраторской работы. Очень хорош суриковский «Городок». Левитан полон, хорош, но не так, как московский.

Дальше прекрасный Серов. Среди известных его вещей — дивный портрет кн. Юсупова на белом коне. Эту вещь я не знаю ни по выставкам, ни по монографии. Красив конь, красив и всадник!

Тут же Сомов старый и новый (хорош), Бакст (старый).

Дальше ряд зал, в них очень разнообразен, полон Кустодиев, отличный Рерих (огромный успех в Америке), Богаевский. По этой стороне помещены все по Татлина включительно, Кончаловский и Машков слабее московских. Татлиных целый зал, они не смешаны с другими, и все же возмущены близостью «академиков» (Кончаловский, Петров-Водкин и Машков в соседнем зале).

Однако, письмо растет! Надо унять свое многословие, ведь еще необходимо сказать кое-что об Эрмитаже, о Зимнем дворце и проч., а потом о людях, с которыми встречался, а их я видел «тьмы». По Эрмитажу и Зимнему дворцу ходил я с Ал. Бенуа. Встречи с ним и другими мирискусниками были очень милы и приятны.

Эрмитаж все тот же. Бродил по нему, предаваясь воспоминаниям. Когда-то давно так много было воспринято там такого, что хватило на долгую жизнь. Редко гений человеческий так властно давал себя чувствовать, как ты бывало в Эрмитаже в молодые годы. Вот и теперь, когда жизнь изжита, те же чарующие видения. Вот и мой Вандик — «Неверие Фомы», вот эти чудные принцы и принцессы, дальше Рубенс, а там таинственный золотой Рембрандт. А дальше еще итальянцы — Тициан, Беллини, Рафаэль.

Комната драгоценностей, в ней сейчас тоже драгоценности: во всю стену декорум к раке Св. Александра Невского, тут же серебряный трон Петра Великого.

Там французы, голландцы. Вокруг лестницы новые примитивы, взятые от владельцев.

Наконец, мы вступаем через Эрмитаж в Зимний дворец. Первое — дивные гобелены — их несколько, выдержаны

они в торжественных тонах, они отлично сохранились и у нас в России, я видел равные лишь во дворце Строганова (там же удивительный Клод Лоррен и еще лучший у Юсупова).

Идем дальше — тут так называемая «Романовская галерея». Лампи, Виже Лебрен, Боровиковский, Левицкий, и чем ближе к нам — тем хуже, безнадежней.

Начинается ряд комнат, заполненных французами, взятыми отовсюду. Тут особенно хорош Ватто, мной до того невиданный и совершенно изменивший о нем мое мнение.

Вот и покои великой Екатерины. Они небольшие, от былой прелести их не осталось ничего, стены выкрашены то сереньким, то фисташковым тоном, но мебель, обстановка подобраны прекрасно. Тут весь европеизм, все знания Бенуа и его сотрудников налицо. Вот и опочивальня великой монархини. Вот дверь, где она упала замертво, выходя из уборной, тут стояла ее кровать, а тут ее положили на тюфяк и приводили в чувство... Словом, история последних, печальных часов царствования северной Семирамиды.

Дальше прекрасно обставленные комнаты, где изумительный, ни с чем не сравнимый Грез. Пуссен тоже хорош.

И, наконец, вступаем мы в парадные залы — Тронный и другие. Там еще хаос, навалены портреты, манекены в латах и без лат, оружие и прочая бутафория. Туда страшно было бы попасть ночью... Зал не поражает при всей внешней пышности художественным замыслом и того меньше его видно в залах последующих (переходя из одной в другую осмотрели «Галерею 12-го года»). Из картин в парадных залах нет почти ничего (три вещи Виллевалде из наполеоновских войн — велики и многосложны). И только так называемый Петровский зал хорош, и он будет прекрасен, когда по нем пройдет опытная рука знатоков века, когда там будет трон Петра и все то, что о нем может напомнить нам — неблагодарным его потомкам.

Вот и окончен осмотр Зимнего дворца. После пожара он, как известно, не был восстановлен и попал в руки зодчих, помышляющих больше об обильном «пайке», чем об искусстве гг. Растрелли, Росси, Ворониных...

Бегло скажу о дворцах Строганова и Юсупова. Первый очень стиличен, скромен и мало потерпел от варварских рук зодчих конца XIX века. Хорош дворец Юсуповых, но лишь в парадных комнатах. Картинная галерея, театр — плохи — дело рук какого-то архитектора Степанова. Начатое убранство комнат молодого Юсупова Чехониным с братией не доведено до конца, судить о нем пока нельзя.

Перейду теперь к людям. Людей я видел много, впечатление от них, как и от города Петербурга, очень приятное и неожиданное. Они духовно возмужали, пелена с их глаз спала. Содеянное им[и] сейчас ясно, и они ушли в дело, в работу, стараясь в ней найти себе оправдание. Очень сплоченным я нашел кружок «Мир искусства». Там и старые и молодые живут в полном единении, как некогда было в молодых еще передвижниках. Кто центральная фигура? — едва ли не Бенуа. Он выступает сейчас в ролях если не «героев», то «благородных отцов». Все же человек с идеалом, с планом...

Понравилась мне и «молодежь», как среднего, так и младшего возраста. Они много работают, много знают, многие из них служат в Эрмитаже, по музеям, и от них так плодотворно то, что каждому сейчас бросается в глаза при осмотре музеев.

Во главе Эрмитажа стоит Тройницкий, говорят, очень деятельный, сведущий человек, его помощник — А. Бенуа. Во главе Музея Александра III находится проф. Сычев, хранители Нерадовский и Воинов, все работают не покладая рук.

Был трижды среди художников: у А. Бенуа (познакомился с приятной мне по своему творчеству Серебряковой-Лансере), у Остроумовой-Лебедевой (скоро выходит ее монография с текстом Бенуа) и у Нотгафта (если не перепутал фамилии). Везде одна и та же картина дружной работы, отличных отношений и прояснения рассудка.

Был у бедного Кустодиева. Он прикован к креслу или кровати, но энергия его неукротима. Ряд картин — иллюстраций уходящего быта делают его сейчас очень нужным и ценным.

Видел много старых друзей, иные совершенно разорены. Отношение к себе в Петербурге я нашел самое милое, доброжелательное, все старые счеты как бы забыты, и я чувствовал себя там лучше, чем в нашем Тушине...

Наконец-то вышла и моя монография (из серии Грабаря) с текстом Сергея Глаголя, но, к сожалению, без цветных репродукций, они остались в Праге. В книжке далеко не было сделано того, чтобы она дала полное понятие об моей художественной деятельности, но как материал она не бесполезна, так на нее и смотрят в Петербурге. (История выпуска ее такова: она была реквизирована у Кнебеля и сейчас выпускается государственным издательством второй раз и продается исключительно в их магазинах). Внешний вид книги бедный, она в какой-то серой обложке. Текст приличный.

Дубки.
24 июня 1923 г.

Дорогой Петр Иванович!

Пишу Вам под живым впечатлением только что слышанного. Из Владимира (на Клязьме) вернулись двое молодых художников и рассказали мне следующее:

В соборах Дмитровском и Успенском они видели картины Викт. Мих. Васнецова «Страшный суд», «Сошествие во ад» и, кажется, «Похвалу Богородицы».

Все эти вещи были написаны для храма в имени Нечаева-Мальцева «Гусь». Некоторые из них выполнены мозаикой, а «Страшный суд» должен был быть написан увеличенным вдвое (оригинал двенадцать ар. высоты). Нечаев-Мальцев умер, не успев исполнить свое намерение. Все три вещи застала революция хранившимися в храме. Храм был обращен в кинематограф, а картины, после разных мытарств, оказались во Владимире, где их и видели сейчас — «Страшный суд» — накатанным на большую жердь, разорванным более чем на аршин внизу и наскоро зашитым бечевкой (до того он был сложен в несколько раз и на сгибах потерялся). Намерение соборян — развернуть его и повесить на стену так, как вешают географические карты. Палка наверху, палка внизу.

Две другие картины пока без определенного назначения валяются в другом соборе. Сырость делает свое дело. В общем, не знают, что с этим имуществом, в настоящем их виде, — делать. Как бы ни относилось современное общество сейчас к Виктору Михайловичу Васнецову, как бы оно ни считало себя правым, обвиняя его, что он как мастер не использовал своего огромного дарования и продешевил его, и все же имя это, дорогое многим и сейчас, как символ национального в искусстве, будет особенно чтимо при национальном возрождении самосознания народного и займет ему подобающее место. И все, что сделано этим большим художником, приобретает утраченную сейчас ценность. «Страшный суд» я считал и считаю лучшим из церковных произведений Васнецова после алтарной росписи киевского Владимирского собора и вот, взволнованный слышанным, не зная, к кому обратиться, остановился на Вас, Петр Иванович. Быть может, Вам удастся спасти, пока еще не поздно, эти вещи от полной их гибели, взяв их в Русский музей, хотя бы пока не выставляя их, а лишь сохраняя в кладовых музея. Хочется думать, что и Н. П. Сы-

чев не будет иметь ничего против спасения этих произведений кисти Васнецова.

Как это сделать технически — не мне Вам советовать, могу лишь напомнить, что в Москве находится земляк и, кажется, почитатель В. М. Васнецова — Машковцев, он значительное лицо в Коллегии по охране памятников и, быть может, он посодействует, где нужно, облегчить эту задачу.

Простите, что докучаю Вам. Я живу и работаю в деревне, изредка по делам наезжая в Москву. Погода сырая, холодная.

Сейчас в Москве идут хлопоты с выставкой в Америке. Приготовили ли Вы что-нибудь для нее?

С. Н. ДУРЫЛИНУ

Москва.
Сентябрь 1923 г.

Дорогой Сергей Николаевич!

Сегодня перечел Ваши «Впечатления, размышления, домыслы» (в первый раз читала мне их Екатерина Петровна), и мне захотелось, не откладывая, написать Вам. Написать так, как написаны Ваши размышления, можно только о чем-нибудь любимом, любезном сердцу, хорошо понятом, почувствованном.

О Димитрии царевиче в разное время было написано много и лучше, совершеннее все же — написанное Вами в размышлениях. Писал о нем когда-то и В. В. — писал хорошо, остро почувствовав в нем мою задачу. Писала любовно, горячо Маклакова (мачеха всех Мак[лако]вых). Еще совсем недавно пришлось мне прочесть о Димитрии царевиче мне посвященную обширную главу в еще неизданной «Истории русского искусства» П. П. Перцова.

Перцов к моему художеству относится вообще благосклонно, он его любит давно. Так обстоит дело и в названной истории русского искусства, и лишь Димитрий царевич представляет там исключение. О нем Перцов говорит с нескрываемой неприязнью, и дело зашло там так далеко, что бедный Димитрий царевич со всей моей мечтой о нем уместился без остатка в... «Атлас костюмов XVII века» Прохорова.

Петр Петрович — искреннейший и благороднейший человек, Вы его знаете, и, мне думается, в данном случае в таком

отзыве сыграло немалую роль неизлечимое «интеллигентство», и оно помешало быть и более пронизательным и чутким к несчастному ребенку. И в этой же статье Петру Петровичу это же интеллигентство помогло умно и ярко разобраться в последних трех портретах.

Однако снова перехожу к впечатлениям. То, что Вы, говоря о Димитрии царевиче, вспомнили одну из любимых моих страниц из «Годунова» — одно это повергает меня в радостный конфуз. Подумайте, какое сопоставление! Величайшие достижения Пушкина и мои трепетные мечтания, верней, «мечты о мечте».

Вы шаг за шагом любовно, осторожно, вдумчиво разбираете картину и то, что вложено Вами в этот разбор, — есть уже поэзия, или опозитизированная критика. Ваше определение в этой критике роли пейзажа, в частности роли пейзажа в моих произведениях, — бывало и раньше, однако не с таким проникновением в психологическое соотношение пейзажа к действующим лицам, к теме картины. Форма, слова для Ваших размышлений найдены так счастливо, что и В. В. Розанов не отказался бы от них.

«Единая душа» человека и природы, его окружающей, взаимно необходимы. Эта единая душа создает то единое действие, ту целостность впечатлений, кои поражают нас у великих мастеров Возрождения, и нет нужды допытываться, обладал ли мастер этим секретом сознательно на вершинах культуры века своего или делал это в простоте душевной.

«Душа» необходима картине не менее формы и цвета. Она и есть тот «максимум» достижений в творчестве, который отмечает присутствие бога — творца всего живущего.

Наши многочисленные сезанновцы (это правое ныне крыло левых течений), заимствуя от своего учителя внешние его способы и достижения — положительные и отрицательные, не видят или не хотят видеть то, что сила и особая притягательность Сезанна в том, что, обладая ярким видением цвета, краски, он умел вложить в них свою, сезанновскую живую душу, и она-то и делала его произведения одухотворенными, поэтическими и отличными от большинства из этих слепых, бездушных, самодовольных имитаторов, фальшивомонетчиков.

Лучшие вещи Сезанна проникнуты полнотой чувства, «душой», и она-то и роднит его с великим Ивановым, овладевшим за много времени до Сезанна всеми достижениями последнего и превосходящим его присущим Иванову даром религиозного, евангельского откровения. Но «душа» познается душой же, а если ее нет, то можно обойтись и без нее, а чтобы она или ею не мозолили нам

глаз, так можно и высмеять эту самую душу, замолчать ее, да мало ли способов свести ее на нет, подменив ярким кобальтом, суриком или еще чем поглазастей.

Наши поэты, живописцы, говорят, и музыканты не с сегодняшнего дня ушли в технику, в мастерство кисти, рифмы и проч., перестав видеть, любоваться природой и человеком, «их душой» — непосредственно, без переводчика, толмача, посредника, без прежде живших художников, уже наложивших и на природу и на все живущее в ней свой «человеческий», земной, сильно пониженный и загрязненный часто отпечаток, «стиль», выражаясь деликатно, подменив им лучшее, божие — безбожным, бездушным, этим же «сырьем» — кармином, кобальтом, всякими «ужимками и прыжками».

Е. А. ПРАХОВОЙ

Москва.
8 декабря 1923 г.

Рекомендуемый Вами мальчик оказался способным, умным и его охотно принял к себе в мастерскую Кардовский (лучший преподаватель сейчас).

На днях мы отправили большую живописную выставку в Америку (100 художников, 1000 произведений). Открытие выставки в Нью-Йорке предполагается во второй половине января. Затем выставка посетит Бостон, Сан-Франциско, Чикаго, а мы, здесь оставшиеся, будем трепетно ожидать щедрот американских дядюшек...

А. К. ВИНОГРАДОВУ

Москва.
22 декабря 1923 г.

Многоуважаемый Анатолий Корнелиевич!

Обращаюсь к Вашему содействию, как к директору Румянцевского музея.

В музее сейчас работает молодой художник Пав. Дм. Корин. Он делает замечательную копию (фрагмент) с картины Иванова «Явление Христа народу». Копии с картины Иванова редки и не были удачны. Это — первая и лучшая на моей памяти более чем за сорок лет. Работа худ. Корина настолько выдающаяся, что может служить пособием

к пониманию гениального мастерства, того великого совершенства, которое достигнуто при кажущейся простоте Ивановым — этим трагическим русским гением.

Сейчас, когда осталось после долгих месяцев работы лишь закончить копию, Корину заявили, чтобы он перенес копию на другое место, с которого почти ничего не видно и, во всяком случае, крайне трудно и неудобно работать. Мотивируется такое распоряжение тем, что, якобы, при копировании может произойти несчастье, художник может упасть с лестницы, и проч., и проч. С времен незапамятных во всех галереях Европы привыкли видеть копиистов с Рафаэля, Тициана, Веласкеса и других великих мастеров — это поощрялось академиями западными и нашей. Кто из нас не копировал в Эрмитаже, и никогда, и нигде не было опасений, подобных настоящему. Всякий копирующий понимал и, понимая, берет и отвечает за себя. Отвечает за себя и Корин, особенно ценя великое творение Иванова.

Ввиду сказанного не найдете ли Вы возможным сказать свое слово за Корина, дать ему спокойно окончить его копию, которая сама по себе может стать музейным украшением.

Буду очень благодарен Вам за такое Ваше содействие.

С. Н. ДУРЫЛИНУ

[Москва]

Декабрь 1923 г.

Дорогой Сергей Николаевич!

Письма Ваши получил, благодарю за них. Постараюсь ответить Вам по пунктам.

1. «Пр. Сергей», что в Музее Александра III, написан в Киеве, одновременно с «Постригом» или, точнее, с «Димитрием царевичем». Он появился на выставке «Мира искусства», тогда как «Димитрий» был в том же сезоне у передвижников. Написан «Сергий» на урезанном холсте первого Сергия, с медведем, который был уничтожен, это не обошлось мне даром. «Сергий» (музейный) стал лупиться, и его пришлось дублировать, таким он и вошел в музей. Сейчас он гибнет: после неудачной дублировки на нем появились пятна, и его следует считать для музея непригодным. Помимо сказанного, я эту вещь считаю неудачной, кроме весеннего пейзажа. Лицо и вся фигура преподобного не проникнуты ни сосредоточенностью, ни полнотой чувства окружающего.

2. «Труды пр. Сергия» я считаю также недостаточно удавшимися — это скорее «иллюстрация» к житию.

3. «Юность пр. Сергия», в том виде, как она предстала мне сейчас в Третьяковской галерее, писалась долго, до самой Нижегородской всероссийской выставки, где она была, и там лишь я убедился, что большего я сказать не смогу, и после выставки «Юность пр. Сергия» вместе с «Трудами» и эскизом «Благословения Димитрия Донского» я принес в дар галерее, которая к тому времени была передана П. М. Третьяковым Москве.

«Труды» и «Пр. Сергий», что в музее Александра III, писаны по маленьким эскизам в альбомах (все они пропали в 19—20 году). Этюды ко всем моим Сергиям писаны в Абрамцеве, у Черниговской, в Вифании или Хотькове.

4. «Благословение Димитрия Донского» осталось в эскизах (их несколько), думается, потому, что острый интерес к теме пропал, насиловать же себя не хотелось, работая лишь по долгу нетрудно было впасть в холодную официальность, к тому же в это время явились новые темы, они и захватили мое непосредственное чувство.

5. Эскиз «Видение Минина» сделан в раннюю пору — в 87—88 году, тогда, когда появилась «Христова невеста». В ту пору я собирал материалы для большой (аршин семь-восемь) картины «Гражданин Минин», в чем помогал мне известный в свое время в Нижнем историк края — Гацисский. Тогда был сделан ряд эскизов из жизни Минина, они были помещены в «Ниве» и в журнале «Север», издаваемом Всеволодом Соловьевым и Гнедичем.

6. Большой же эскиз «Гражданин Минин», что у Мещерина, сделан гораздо позднее с маленьких альбомных набросков. Он был на моей выставке 1907 года. Еще раньше того намерение написать с них картины было оставлено навсегда. Краски в эскизе были самым «живым» местом. Серый волжский пейзаж эскиза дает тон действию.

7. «Преп. Сергий» 20 года сделан по первоначальному эскизу «Сергия с медведем». (Позднее был сделан ряд эскизов на эту тему — один акварельный, сейчас выставлен в Музее Александра III). Правда, у меня было предположение включить эту картину в триптих «Слава в вышних богу». Сейчас это намерение, быть может, я оставляю, заменив эту часть вновь написанным.

8. Первое путешествие за границу было тотчас после «Пустынника», до «Видения», которое уже было задумано, но еще не начато. Начал картину осенью, по возвращении своем из путешествия. Владимирский собор начат осенью после «Видения».

9. Пювиса я увидел в первую свою поездку в Париж, как и «Жанну д'Арк» Бастьен-Лепажа. Оба художника (особенно второй) заслонили собой тогда все виденное на Всемирной выставке. И только Италия с Джотто, Беато Анжелико, Боттичелли, Ватиканом остались в силе и на всю последующую жизнь. И я дивлюсь, как мое молодое сердце могло тогда (мне было 26 лет) вместить, не разорваться от тех восторгов и сладкого томления...

10. Александра Андреевича Иванова люблю всего, но предпочтительно «Явление Христа народу», как нечто выраженное совершенно, как некое видение, открывшееся Иванову, как свидетельство того, чего он был очевидцем. В картине, такой сдержанной внешне, я чувствую пламенное исповедание Ивановым пришедшего Христа-спасителя, такое же внутренне огненное, как у Иоанна, как у многих предстоящих на картине очевидцев события. Это одно из совершеннейших, гениальных живописных откровений, какое когда-либо было дано человечеству. Свидетельство Иванова — этого простеца-рыбаря евангельского, убедительно и одинаково понятно как душам простым, так и тем, кто после многих сомнений и дум, житейской суеты и опыта подошел к последней черте с открытыми для восприятия очами и самого простого, и самого мудрого и высокого, главного и неизбежного.

«Явление Христа народу» я могу поставить рядом лишь с некоторыми небесными видениями Пушкина. Даже Достоевский мне кажется тогда «жанристом» вроде Сурикова. Хотя оба последние по-своему великие и незабываемые русские художники.

11. У Троицы я живал часто, работал там этюды. Окрестности Черниговской, Вифании нанесены на этюды, вошли в картины. Там, в Абрамцево и в Уфе, я чувствовал себя дома. В Черниговской монахи говорили: «Нестеров приехал — весна пришла». Продолжая отвечать Вам на поставленные вопросы, я подошел к самому трудному, к пониманию изображения лика Христа, да еще «русского» Христа. Прожив жизнь, немало подумав на эту тему, я все же далек от ясного понимания его. Мне кажется, что русский Христос для современного религиозного живописца, отягощенного психологизмами, утонченностями мышления и в значительной степени лишенного непосредственного творчества, живых традиций, — составляет задачу неизмеримо труднейшую, чем для живописца веков минувших. Духовная, религиозная немощь современного живописца понуждает его ограничиваться имитациями разного рода, в лучших случаях прикрываясь совершенством достижений

XVI—XVII всков. Перед нами — живописцами — стоит огромная задача, и лишь один из современников или, верней, художников послепетровской эпохи сумел сказать свое мощное слово — это был Иванов. Однако первый русский Христос был намечен сотни лет назад — он тогда был близок ко Христу византийскому и лишь постепенно освобождался от последнего, приобретая особенности чисто русские.

Лучшим из достижений этих эпох я считаю лик Христа в куполе Софии Новгородской, за ним идет ряд прекрасных разрешений позднейших веков. Лик Христа приобретает черты народные, духовно нам родственные. И такой Христос принимается целым народом, как достижение идеала, как ответ на горячий, жгучий вопрос веры, нашей веры.

Среди таких достижений есть превосходные чисто в живописном смысле. Переходя же к эпохе нам близкой и до днесь, я не могу остановиться с большим удовольствием ни на ком, кроме упомянутого выше Иванова. Христос на большой картине меня удовлетворяет всецело. На картине он наш Христос, современный, русский. Помимо того, что он имеет основные внешние черты типа, он вмещает в себе все, что воспринято русской душой, русским сознанием, пониманием и долгом, заповеданным нам Евангелием. Ивановский Христос, прошедший великий путь дум, подвига, страдания от воплощения своего, через крещение Руси до Пушкина, Достоевского, Толстого и до наших мучительных дней. Весь этот великий, скорбный путь отпечатался на его сложном, трагически сложном лице.

Вы всматриваетесь в этот величественно спокойный и в то же время бесконечно осложненный пребыванием среди нас, на нашей грешной земле, лик Христа-спасителя и чувствуете, что он в нас и мы в нем пребываем. Не только лик, но и фигура его, спокойная, благодатная, непреклонная, выражает всю полноту его учения. Лучшего изображения я не знаю и на Западе. Тициан, Леонардо — хороши, но слишком просты для людей, доживших до 20 века. Скажу больше — Христос ивановский угадан и на времена предбудущие: он будет отвечать собой еще долго и многим, особенно русским. Он осветит им путь жизни, подвига, страданий. О совершенстве художественных форм я говорить не стану. Недаром наши сезаннисты, не охочие до изучения формы — рисунка, говорят про Иванова, что форма — рисунок его совершенны до неприятного, так сказать, до неприличия...

Теперь скажу о связи Христа в «Св. Руси» с Марфо-Мариинским. Конечно, она есть, так как оба изображения

имели один источник. Христос «Рӯси» не удался, быть может, не столько на лицо, как его фигура, слишком плотская, плотская и несколько надменная. Конечно, и лицо Христа незначительно, недостаточно благообразно... Шел я к нему в тумане, ощупью, после ряда неудачных образов, соборов — Владимирского, храма Воскресения, церкви в Новой Чартории. Не видел я его и позднее в Абастумане, Гаграх. Лучше немного обстояло дело в Обители, где я пытался позабыть все сделанное раньше, вызвать яснее элементы трагические, даже, быть может, в ущерб благодати. Передо мной становилась уже необходимость освобождения лика Христа от двух крайностей: чрезмерной суровости — с одной стороны, и слащавости (прежнего недостатка) — с другой. Этот период исканий выразился в окончательном образе Христа для собора в Сумах.

Как знать, если бы не стали мы лицом к лицу с событиями 17 года, я, вероятно, попытался бы еще более уяснить себе лик «русского» Христа, сейчас же приходится останавливаться над этими задачами и, по-видимому, навсегда их оставить. Однако художники будущего еще не раз поставят себе задачей обрести путь к пониманию русского Христа. Опыт минувшего и видение настоящего им подскажет, что надо делать, куда идти и т. д.

Мне очень нравятся Ваши заголовки отдельных глав. Такая группировка, кажется, не имеется в практике прошлого. Приветствую я желание Ваше отрешиться от мысли опасной: «кто что скажет, кто как посмотрит, осудит, одобрит» и т. д. и т. д. Если Вам это удастся (а необходимо, чтобы удалось), труд Ваш будет совершенно оригинальным, выразит дельно Вас не только как критика, но и как мыслителя-художника. (Таким мне представляется написанное о Димитрии царевиче). Ваши слова приобретут яркость, убедительность, а присущая Вам одухотворенность придаст живительную теплоту. Помогите Вам господь!

Еще хочется пожелать Вам не упускать посылки оценки чисто технической стороны нашего ремесла, отметить удачные или неудачные места в живописи, в форме, композиции разбираемых Вами произведений. Для Вас, как не специалиста, задача очень трудная, и здесь все козыри в руках гг. Бенуа; особенно они сильны, может быть, в тех случаях, когда смогут быть добросовестными, забыть разные счеты, антипатии и проч. или подавить дружеские влечения.

Того, что Вы опасаетесь, я не разделяю: едва ли «поля», оставляемые Вам, будут мною заполняться, в этом надобности не предвидится...

1

«Ты спрашиваешь, «как справлюсь» я с Ясной Поляной? Надеюсь, мне поможет благоразумие. Побольше простоты, сознания того, что не на экзамен же я еду в Ясную Поляну. Мнение Льва Николаевича мне дорого, но и не за ним я еду. Цель моя ясная, определенная: мне необходимо написать с Толстого этюд или сделать два-три рисунка и только.

Все остальное имеет значение второстепенное, и если мне удастся попасть в Ясную Поляну, в чем я сомневаюсь, так как слышал, что старик меня, как художника, не жалует, то мое время в Ясной будет отдано исключительно тому делу, за которым я еду. Тем не менее «попотеть» мне придется.

Уфа, лето 1906 г.»

2

«...Вот уже третий день, как я в Ясной Поляне³. Лев Николаевич, помимо ожидания, в первый же день предложил позировать мне за работой, также во время отдыха. Через 2-3 часа я сидел в его кабинете, зачерчивал в альбом, а он толковал с Брюковым (его историографом).

Из посторонних сейчас в Ясной нет никого. За неделю же до меня был Леруа-Болье и нововременский Меньшиков, которому жестоко досталось от старика: за завтраком завязался спор, кончился он тем, что Лев Николаевич, бросив салфетку, вышел из-за стола, а Меньшиков в тот же день, не простившись, уехал из Ясной.

Старичина еще бодр: он скачет верхом так, как нам с тобой и не снилось, гуляет в любую погоду... Первый день меня, как водится, «осматривали», — я же, не выходя из своей программы, молча работал, зорко присматриваясь ко всему окружающему. Нарушил молчание сам Лев Николаевич. Незаметно дошло дело до взглядов на искусство (беседовать со Львом Николаевичем не трудно: он не насилует мысли). Вечером разговор стал общим, и мне с приятным изумлением было заявлено: «Так вот вы какой!» Поводом к «приятному изумлению» было мое мнение о картине Бастьен Лепажя «Деревенская любовь». Мнение же мое было таково: картина «Деревенская любовь» по силе, по чистоте чувства могла быть и в храме. Картина эта, по сокровенному, глубокому смыслу, более русская, чем французская. Перед картиной «Деревенская любовь» обряд венчания мог бы быть еще более трогательным, действенным,

чем перед образами, часто бездушными, холодными. Бастьен Лепаж поэтическим языком в живописи выразил самые чистые помыслы двух любящих, простых сердцем людей. Перед тем, как идти спать, чтобы чем свет ехать на поезд, прощаясь со всеми, я подал руку доктору Душану Петровичу Маковицкому; он задержал ее в своей, заметив у меня жар, поставил термометр, температура была 40! Еще днем, в холодную ветреную погоду, я с Бирюковым ходили гулять, дошли до того места, где была зарыта «зеленая палочка»⁴. Во время этой прогулки я, вероятно, простудился. Начались хлопоты, Лев Николаевич принес свой фланелевый набрюшник и какую-то теплую кофту. Набрюшник «великого писателя земли русской»! Благодаря заботам добрейшего Душана Петровича я хорошо заснул. Утром я был вне опасности, но меня оставили на несколько дней в Ясной Поляне, и я успел сделать несколько карандашных набросков с Льва Николаевича. Один из них, по его словам, своим выражением, мягкостью напоминал «брatца Николеньку». Я рад, что сюда заехал. Живется здесь просто, а сам Толстой — целая «поэма». Старость его чудесная. Он хитро устраняет от себя «суету сует», оставаясь в своих художественно-философских грезах.

Ясная Поляна, лето 1906 г.»

3

«Дома, на хуторе, все нашел в добром порядке, но еще я полон воспоминаний о недавнем прошлом. Расстались мы хорошо. Лев Николаевич сказал, что «теперь он понимает, чего я добиваюсь, сочувствует этому». Ему понятен стал мой «Сергий с медведем», просил выслать ему снимки со старых и новых моих картин, с тех, что я сам больше ценю.

На прощание я зван был заезжать еще... Словом, конец был совсем неожиданный, и твои опасения, что в Ясной я «потеряюсь», не оправдались. Скажу больше: в Толстом я нашел того нового, сильного духом человека, которого я инстинктивно ищу после каждой большой работы, усталый, истощенный душевно и физически.

Толстой — великий художник и, как художник, имеет многие слабости этой породы людей.

Он вечно увлекается сам и чарует других многогранностью своего великого дара.

Хутор, лето 1906 г.»

«Я опять в Ясной, встретили радушно⁵. В тот же день Лев Николаевич изъявил полную готовность мне позировать. На другой день начались сеансы, очень трудные тем, что обстановка часто отвлекает меня от дела. С приходом В. Г. Черткова из Телятников все изменилось. Чертков предложил играть со Львом Николаевичем во время сеансов в шахматы.

Работаем на воздухе, около террасы. Лев Николаевич увлекается игрой, забывая, что позировает, тогда я предлагаю «отдохнуть»... Думаю написать с него голову и сделать абрис фигуры, остальное дописать по этюдам.

Портрет старику нравится, хотя он и говорит, что любит себя видеть более «боевым», для меня же, для моей картины он нужен сосредоточенным, самоуглубленным. Фоном портрета будет служить еловая аллея, когда-то посаженная самим Толстым на берегу пруда, отделяющего деревню от усадьбы. Сейчас в Ясной гостят художница Игумнова, Сергеенко. Гости приезжают и уезжают. Лев Николаевич сообщил, что завтра собирается в Ясную из Тулы экскурсия детей в тысячу человек!.. На утро появилась экскурсия — школьники. Мальчики и девочки шли стройными эшелонами с флагами. С детьми шли их учителя, учительницы. Процессия продефилировала перед Толстым. День был жаркий, детям было предложено до чая выкупаться, и вся ватага с песнями, шумом повалила к пруду, туда же отправился и Лев Николаевич. Пошли и мы. Скоро сотни голов замелькали в воде. Тем временем около дома готовили столы, самовары к чаю. Предполагалось, что после дороги, купанья дети с большим аппетитом будут чаевничать (провизию они принесли с собой).

С шумом, смехом вернулась детвора с купанья. Лев Николаевич приехал верхом, и я видел, как 79-летний старик лихо вскочил на своего арабского коня.

Скоро стал накрапывать дождь, но он не смутил веселья, все чувствовали себя свободно. Время летело быстро, наступила пора собираться в обратный путь — в Тулу. Дети построились попарно и группами потянулись со своими значками мимо террасы, где стояли Лев Николаевич, Софья Андреевна, вся семья и мы, немногие гости. Дети махали значками, зорко вглядываясь, прощаясь с чудесным стариком. Он приветствовал каждую группу — ему шумно, весело отвечали и с песнями уходили из Ясной. Фотографы неистово снимали эту необычную, даже для Ясной Поляны, картину.

Ясная Поляна, лето 1907 г.»

«Не писал я тебе несколько дней, хотя жизнь здесь дает постоянный для того материал. Вчера, например, был у меня совершенно неожиданный разговор со Львом Николаевичем.

Гостивший здесь Х., вопреки моему предупреждению, передал старику наш разговор о том, с каким чувством я ехал сюда год тому назад, когда мне было известно лишь то, что Толстой относится к моему художеству более чем отрицательно. Добрые люди говорили мне не раз, что Толстой где-то, когда-то, с кем-то говорил, что «Нестерова надо драть», или, что «вашего Нестерова следует свезти к Кузьмичу»... и т. п.

И вот вчера, перед вечерним чаем, когда мы остались вдвоем со Львом Николаевичем на террасе, он неожиданно заговорил о слышанном от Х. — Толстой уверял меня, что в таких слухах обо мне он не повинен, что в них нет правды, и т. д. Разговор окончился изъявлением полного ко мне расположения Льва Николаевича. Я же не имел никакого основания не верить Льву Толстому и был искренне рад такому концу щепетильной беседы.

Ясная Поляна, лето 1907 г.»

«Что-то я зачистил писать тебе...

Сеансы наши приближаются к концу. Лев Николаевич неизменно работает положенные часы, позирует, гуляет, ездит верхом, лихо перескакивая через канавы. Гуляя утром, заходит на пять-десять минут в мою комнату, такой бодрый, говорим о разном. Иногда, как бы невзначай, вопрошает: «Как веруешь?» От подобных бесед я ухожу. Надо же дать старику отдохнуть от постоянных разговоров о вере...

Лев Николаевич как-то рассказал мне о своей поездке в 1882 г. в Киев. Одетый простым богомольцем, в Лавре пришел он к «старцу», с намерением поговорить с ним о вере. Тот, занятый с другими богомольцами, не подозревая, что к нему обращается знаменитый писатель Л. Н. Толстой, ответил: «Некогда, некогда, ступай с богом». Таково неудачно кончилась попытка Толстого побеседовать о вере с лаврским старцем. Однако Лев Николаевич все же был утешен простецом-привратником. Тот ласково принял любопытствующего в своей сторожке в башне. Монах-привратник был отставной солдат, дрался под Плевной. Две ночи иска-

теля веры Л. Н. Толстого в сторожке привратника ели блохи, вши, а он, Лев Николаевич, всем остался доволен, дружелюбно попрощался со своим знакомцем...

Ясная Поляна, лето 1907 г.»

7

«...В один из сеансов Толстой рассказал мне с большим юмором, как он с Николаем Николаевичем Страховым был в Оптиной пустыни у старца Амвросия, как старец, приняв славянофила-церковника Страхова за закоренелого атеиста, добрый час наставлял его, а сдержанный Страхов терпеливо, без возражений слушал учительного старца... На мой вопрос, показался ли старец Амвросий Льву Николаевичу человеком большого ума, Лев Николаевич, помолчав, ответил: «Нет», прибавив: «но он был очень добрый человек».

Как-то за вечерним чаем, разговаривая о портрете, мы незаметно перешли к искусству вообще. Лев Николаевич лучшим портретистом считал француза Бонна, написавшего портрет «Пастера с внучкой» (Крамской не любил Бонна). Лев Николаевич сказал, что он не понимает, не чувствует современной «яркой» живописи, он совершенно отрицает живопись «безыдейную», похвалил фра Беато Анжелико и почему-то досталось Рембрандту и Веласкесу. Я пытался отстоять двух последних, но безуспешно.

Разговор перешел на современную литературу, на Чехова, Горького, Леонида Андреева. Последнего Толстой заметно не любит, повторив, что не раз говорил о нем: «Леонид Андреев всех хочет напугать», — прибавив, не без лукавства: «а я его не боюсь».

Ясная Поляна, лето 1907 г.»

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание литературных произведений М. В. Нестерова является наиболее полным из когда-либо выходивших в нашей стране. Его «Воспоминания» публикуются по книге, вышедшей в издательстве «Советский художник» в 1985 году, текст которой был подготовлен, выверен и отредактирован частично А. А. Русаковой. В своем предисловии к книге Русакова пишет: «Михаил Васильевич Нестеров как художник и человек — явление в нашем искусстве не только весьма значительное, но, в известной мере, и уникальное. Можно с полным правом утверждать, что он, по сути, прожил не одну, а две «жизни в искусстве».

Из раздела «Воспоминания» данного издания составителем сняты отдельные моменты, повторяющиеся в «Давних днях», очерки заграничных поездок художника выделены отдельными главами.

Описания некоторых событий в «Воспоминаниях» и «Давних днях» перекликаются, но разнятся по литературному изложению, поэтому была необходимость оставить их.

Воспоминания

Многие примечания, носящие сугубо специальную информацию из данного издания сняты, они расширены новыми примечаниями.

¹ Кладбищенская церковь в Уфе.

² Николашка — мальчик из галантерейной лавки Нестеровых.

³ Площадь в Уфе, обсаженная липами.

⁴ Священник Сергиевской церкви в Уфе Федор Михайлович Троицкий.

⁵ Серафима Ивановна Дмитриева — воспитанница А. В. Нестеровой, послужившая моделью для картин «На горах» и «Великий постриг».

⁶ Автор в шутку сравнивает Блохина с известным русским антрепренером и театральным деятелем Михаилом Валентиновичем Лентовским.

⁷ «Драматическая быль» Н. А. Полевого.

⁸ Владимир Львович Бурцев с 1900 по 1912 год издавал в Лондоне и Париже сборник «Былое», посвященный истории русского освободительного движения.

⁹ Акционерные пароходные компании на Волге.

¹⁰ Отрывок текста о Беякове в дальнейшем лег в основу отдельного очерка «Актер».

¹¹ Б.-Р. Жюльен — французский живописец.

¹² В Дашуре находится пирамида фараона Аменемхета II.

¹³ Владельцы трактиров и других увеселительных заведений в центре Москвы.

¹⁴ Местонахождение этой копии не известно.

¹⁵ Карл Моор — герой драмы Ф. Шиллера «Разбойники».

¹⁶ Звание «свободного художника» Нестерову было присвоено в марте 1885 года.

¹⁷ Местонахождение картины «В мастерской художника» не известно.

¹⁸ Местонахождение второго варианта картины не известно.

¹⁹ Местонахождение обоих вариантов картины не известно.

²⁰ Далее идет текст, в несколько измененном виде использованный Нестеровым в очерке «П. М. Третьяков» (с. 436).

²¹ Все очерки о зарубежных поездках Нестерова публикуются в разделе «Воспоминания» отдельными главами. Впервые были опубликованы в книге «Давние дни» (1959 г.) по машинописной рукописи.

²² Далее в «Воспоминаниях» почти полностью использован очерк «Н. Н. Ге».

²³ Ресторан в Петербурге, названный по имени хозяина.

²⁴ Монументальная композиция Васнецова для зала Каменного века в Государственном историческом музее в Москве.

²⁵ Евхаристия — в христианской религии таинство превращения хлеба и вина в тело и кровь Иисуса Христа.

²⁶ Здесь ошибка: портрет Е. А. Праховой был написан в 1895 г.

²⁷ На группы — т. е. на курорты — Эссентуки, Кисловодск, Железноводск.

²⁸ И. С. Остроухов был женат на Надежде Петровне Боткиной. Отзыв об Остроухове, несомненно, пристрастен. Последний считал себя — и действительно был — большим авторитетом в вопросах художественных достоинств живописных произведений и совсем не стремился к тому, о чем пишет Нестеров.

²⁹ Речь идет о картине Коровина «На миру».

³⁰ Собранная Нестеровым коллекция картин крупнейших русских живописцев (более 100 произведений) была подарена им в 1914 году городу Уфе и легла в основу собрания Башкирского художественного музея им. М. В. Нестерова, открытого в 1920 г.

³¹ Речь идет, очевидно, о симфонии Чайковского по поэме Байрона.

³² Т. е. тайного советника и орден св. Анны.

³³ Альфонс XII — испанский король.

³⁴ Девойод скончался 6 июня 1901 года и похоронен на Введенском кладбище в Москве. Заметки о нем из «Воспоминаний» легли в основу очерка «Девойод».

³⁵ Известный итальянский актер Э. Росси неоднократно гастролировал в России. В то время ему было пятьдесят восемь лет, а не «с лишком шестьдесят», как пишет Нестеров.

³⁶ «Красный товар» — ткани.

³⁷ Церковь Ильи Пророка. Говоря о церкви Иоанна Воина, Нестеров, очевидно, имеет в виду церковь Иоанна Предтечи в Толчкове.

³⁸ Ли Хунчжан — крупный китайский сановник (1823—1901).

³⁹ Ходынка — Ходынское поле на окраине Москвы, где происходили массовые гуляния и военные смотры. В результате одной катастрофы, произошедшей во время гулянья в честь коронации Николая II в 1896 году, погибло 1400 человек и почти столько же изувечено.

⁴⁰ Нестеров ошибается: во время своего пребывания на посту министра финансов Витте всегда относился к Мамонтову весьма доброжелательно, неизменно протезировал ему в деловых и художественных начинаниях.

⁴¹ Речь идет о «Письме в редакцию» газеты «Новое время», написанном явно под влиянием минуты и необдуманно. Письмо вызвало оживленную полемику в печати.

⁴² Лестовка — кожаные четки.

⁴³ В феврале 1897 года в Высшем художественном училище Академии художеств вспыхнули студенческие волнения. На сходке был поставлен вопрос о забастовке в знак протеста на оскорбления ректора А. О. Томишко. Руководитель мастерской А. И. Куинджи, вставший на сторону студентов, был уволен с работы.

⁴⁴ Фленушка — героиня романов П. И. Мельникова (А. Печерского) «В лесах» и «На горах».

⁴⁵ «Монахами» Нестеров называет свою картину «Под благовест».

⁴⁶ Местонахождение картины «Голгофа» не известно.

⁴⁷ Местонахождение названной картины и этюда старого монаха не установлено.

⁴⁸ Этот мотив был запечатлен Нестеровым в двух картинах — «Лисичка» и «Три старца».

⁴⁹ Мой приятель... — т. е. А. А. Турыгин.

⁵⁰ Иванов и Кравченко выступали в своих статьях с крайне реакционных позиций.

⁵¹ Трилогия Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист».

⁵² Мейнингенский театр дважды гастролировал в России.

⁵³ Первая выставка Союза русских художников открылась в Москве в конце декабря 1903 года.

⁵⁴ Солдаты Тенгинского полка.

⁵⁵ «Золотое руно» — журнал, издававшийся в Москве крупным капиталистом и меценатом Н. П. Рябушинским.

⁵⁶ Далее следует отрывок из «Воспоминаний» о встречах с Л. Н. Толстым, который почти слово в слово повторяется в письмах, публикуемых в разделе «Письма».

⁵⁷ Название картины «Димитрий царевич убиенный» Нестеров сопроводил в каталоге выставки пояснением: «По народному поверью, души усопших девять дней пребывают на земле, не покидая близких своих».

⁵⁸ Имеется в виду дом Остроухова в Трубниковском переулке в Москве.

⁵⁹ Нестеров приехал в Ясную Поляну 23 июня 1907 г.

⁶⁰ Рассказ о встречах с Л. Толстым опущен, так как он подробно повторяется в переписке художника, приведенной в разделе «Письма».

⁶¹ Габриеле д'Аннунцио — поэт и прозаик, друживший с великой итальянской актрисой Элсоной Дузе.

⁶² Многие специалисты считают этот памятник, созданный Трубцким, лучшим образцом русской монументальной скульптуры начала XX века.

⁶³ Здесь сокращено, так как следуемое описание полностью приводится в разделе «Давние дни» (см. очерк «В. М. Васнецов»).

⁶⁴ Технология, разработанная А. Кэймом (Германия) для создания монументально-декоративной живописи при помощи жидкого стекла. В России способ Кэйма впервые применил М. В. Нестеров.

⁶⁵ Во втором издании «Давних дней» это путешествие ошибочно датируется 1912 годом. По письму А. Турыгину от 1 октября 1911 года можно установить, что Нестеровы выехали из Москвы в Вену 4 октября 1911 г. В подзаголовке данного издания эта неточность исправлена. — *Сост.*

⁶⁶ Речь идет о комитете по организации празднования 300-летия царствования дома Романовых в 1913 г.

⁶⁷ Фаберже — крупнейшая ювелирная фирма.

⁶⁸ Более точная характеристика Серова как художника дается самим же Нестеровым в очерках и письмах.

⁶⁹ А. И. Гучков — лидер партии «Союз 17 октября».

⁷⁰ Л.-М. Гамбетта — крупный политический деятель Франции.

⁷¹ Бельгийский король Альберт I был широко известен в годы первой мировой войны своим мужественным поведением во время вторжения в Бельгию немецких войск в 1914 году.

⁷² «Гебен» — немецкий военный корабль, входивший в турецкий флот под командованием немецкого адмирала Сушона.

⁷³ Речь идет о книге Л. Шестова «Достоевский и Ницше», СПб., 1903.

⁷⁴ Имеется в виду речь, произнесенная Достоевским 8 июня 1880 г. Эта блестящая речь Достоевского вошла в историю русской культуры как первое признание всемирного значения величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

⁷⁵ «Лузитания» — английское пассажирское судно, потопленное немецкой подводной лодкой. Погибло 1200 пассажиров, среди которых были американские граждане.

⁷⁶ Речь князя Е. Н. Трубецкого была произнесена им 22 ноября 1916 г. на заседании Государственного Совета, в ней резко критиковались действия правительства.

⁷⁷ На этих строчках рукопись «Воспоминаний» обрывается. Смерть прервала многолетний труд художника.

ДАВНИЕ ДНИ

Впервые отдельным изданием книга М. В. Нестерова «Давние дни» была выпущена небольшим тиражом за несколько месяцев до смерти художника — в начале 1942 года. 2600 экземпляров книги быстро разошлись, несмотря на военное время, и стали редкостью.

Вторым изданием «Давние дни» вышли в 1959 году в издательстве «Искусство».

Те материалы, которые шире освещены в «Воспоминаниях», из данного раздела сняты, кроме того сняты примечания, не представляющие интереса для широкого круга читателей.

Книга «Давние дни» издания 1959 года открывалась небольшим вступлением «От автора». Оно в настоящем издании перенесено в самое начало, перед «Воспоминаниями».

Составителем также изменен некоторый порядок расположения статей.

В. Г. Перов

Очерк написан летом 1913 года для неосуществленной монографии о Перове в серии «Русские художники». Впервые был опубликован в газете «Советское искусство» в 1937 г.

¹ Портреты купца И. С. Камынина, писателей А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского и М. П. Погодина находятся в Третьяковской галерее.

² «Эрмитаж» — название ресторана, находившегося на Трубной площади в Москве.

³ Картина Нестерова «В снежки» была отмечена не в «Новом времени», как пишет художник, а в «Московских ведомостях» за 1980 г.

⁴ В 1951 году, в связи с ликвидацией кладбища Данилова монастыря, останки Перова перенесены на кладбище Донского монастыря.

П. П. Чистяков

¹ Имсеется в виду картина «До государя челобитчики» (1886 г.)

² Нестеров говорит об известной картине Серова «Девочка с персиками» (1887, Третьяковская галерея)

³ В Киеве во Владимирском соборе Нестеров работал над росписями в 1890—1895 гг.

⁴ Храм Воскресения на Грибосодовском канале в Ленинграде.

И. Н. Крамской

Впервые опубликовано в газете «Советское искусство» от 17 апреля 1937 г.

¹ Здесь неточность: Крамской выехал в Ментону в марте 1884 года и вернулся в Россию в конце августа того же года.

² Портрет написан в 1887 г.

³ Повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» появилась в 1886 г.

⁴ Крамской умер 5 апреля 1887 г.

Н. А. Ярошенко

¹ Ярошенко начал экспонировать свои работы на передвижных выставках с 1875 года.

² Здесь некоторая неточность: «Пустынник» экспонировался на XVII Передвижной выставке в 1889 году, а портрет работы В. А. Серова в следующем году на XVIII Передвижной выставке.

³ Вечный город, то есть — Рим.

⁴ В 1896 году.

⁵ Картина Ярошенко «Иуда» не сохранилась. В поисках материала для этой картины художник совершил путешествие в Палестину.

⁶ В 1897 году.

⁷ Ярошенко умер 25 июня 1898 г.

В. И. Суриков

¹ Некролог написан Нестеровым, помещен в газете «Русские ведомости» от 8 марта 1916 г.

² Е. А. Сурикова умерла 8 апреля 1888 г.

³ Картина «Покорение Сибири Ермаком». Суриков работал над ней с 1891 по 1895 г.

⁴ Имеется в виду картина Сурикова «Переход Суворова через Альпы».

⁵ Оценка картины «Степан Разин» в данной статье расходится с высказыванием в письме к Турыгину, где Нестеров называет ее «картиной первого сорта».

⁶ В доме Збука по Новослободской, 18 Суриков жил несколько лет.

⁷ Суриков умер 6 марта 1916 г.

В. М. Васнецов

¹ «Русь» — газета, которую выпускал И. С. Аксаков.

² Настоящее название картины — «После побоища Игоря Святославича с половцами».

³ Костюмы и декорации для любительской постановки «Снегурочки» выполнены Васнецовым в 1881—82 гг.

⁴ Первая поездка Нестерова в Киев была в марте 1890 г. Здесь автор ошибочно относит ее на май месяц.

⁵ Дом в Троицком переулке в Москве, где жил Васнецов, ныне превращен в музей.

Н. Н. Ге

¹ Имеется в виду картина Нестерова «Юность преподобного Сергия». Экспонировалась на XXI Передвижной выставке в 1893 году.

² Имеется в виду картина художника Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875 г.)

³ Дело не только в личной обиде Ге за холодное отношение Нестерова к его творчеству, всё гораздо глубже: сказалось расхождение их взглядов на раскрытие религиозных тем и образов.

В. В. Верещагин

¹ Прозвище «ташкентский» было дано ему Крамским за участие в военных действиях в Средней Азии в 1868 году.

² Имеются в виду картины Верещагина «Александр II под Плевной 30 августа 1877 года», «Шипка-Шейново, Скобелев под Шипкой» и «Победители».

³ Броненосец «Петропавловск» подорвался на японской mine в 1904 г.

⁴ Путешествие Верещагина в Индию относится к 1874-76 гг.

⁵ Бытовое название десятирублевого кредитного билета.

⁶ Событие действительно имело место во время выставки в Вене.

⁷ Дальнейший текст и следующий вслед за ним очерк «П. О. Ковалевский» сняты, т. к. были даны в «Воспоминаниях» без изменений (с. 157—160).

И. И. Левитан

Очерк публикуется по книге «Давние дни», Государственное издательство «Искусство», Москва, 1959.

¹ Есть две версии года рождения Левитана, одна — 1860 год, другая — 1861 год.

² Нестеров запечатлел Монсенча, рассматривающего выставку, на картине «Знарок» (1884 г.)

³ Поездка Левитана в Крым состоялась в марте-мае 1886 г.

⁴ Точное название картины Левитана «Свежий ветер. Волга».

⁵ В доме С. Т. Морозова в Москве Левитан жил с 1891 года.

⁶ Имеется в виду картина Федотова «Сватовство майора».

⁷ Этуд Левитана «К вечеру (река Истра)» находится в Башкирском государственном музее им. М. В. Нестерова. На обороте этюда имеется надпись: «Старому другу М. В. Нестерову. И. Левитан».

⁸ Картина П. Веронезе находится в Венецианской Академии.

⁹ Левитан умер 22 июля 1900 года.

¹⁰ Могила И. И. Левитана находится сейчас на Новодевичьем кладбище.

Костя Коровин

¹ В очерке о Левитане эту же картину Нестеров называет «Осенний пейзаж». Местонахождение картины не установлено.

² В Академии художеств К. Коровин учился всего несколько месяцев в 1883 году.

³ С 1900 года К. Коровин в Большом театре Москвы осуществил выдающиеся декорации к постановкам: «Конек-Горбунок» Пвни, «Иван Су-санин» Глинки, «Хованщина» Мусоргского, «Садко», «Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже...», «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова и др.

⁴ С. И. Мамонтов умер в апреле 1918 г. в Москве. Похоронен в Абрамцеве.

⁵ К. Коровин умер 11 сентября 1939 года. С 1923 года жил за границей.

Сергей Коровин

¹ Годы жизни старшего брата К. Коровина — Сергея Ал. 1858—1908 г. В жанровых картинах дал глубокий анализ крестьянской жизни.

² Картина «1812 год» не сохранилась. О спаде в творчестве С. Коровина Нестеров высказывает сугубо личное мнение.

³ Имеется в виду картина С. Коровина «На миру» (1893 г.).

⁴ Многие ученики С. Коровина о системе его преподавания утверждают обратное, их мнение и мнение Нестерова расходятся.

А. П. Рябушкин

Впервые очерк был опубликован по машинописной копии в книге «Давние дни», Государственное издательство «Искусство», Москва, 1959 г.

¹ С. В. Малютин (1859—1937) — советский живописец-график, был передвижником.

² Имеется в виду картина «Крестьянская свадьба», написанная в 1881 году.

³ Художник Ф. А. Малявин (1869—1940) с 1922 года жил за границей. Он обучался в Академии художеств не одновременно с Рябушкиным, а с 1892 по 1899 г.

А. А. Рылов

¹ Посещения эти относятся к 1933 и 1935 годам, когда Нестеров приезжал в Ленинград и в Колтуши к И. П. Павлову.

² В 1935 году Рылов с группой художников совершил путешествие по Волге, собирая материал для картины «Индустриальные огни на Волге» (1937 г.).

Ян Станиславский

¹ Имеется в виду польское восстание 1863—1864 гг.

² Лемберг — ныне город Львов.

³ Нестеров этой фразой говорит об антагонистических отношениях, существовавших при царизме между Россией и Польшей.

⁴ Жена Станиславского умерла в 1909 году.

П. М. Третьяков

¹ Картина Н. Г. Шильдера «Искушение» и картина В. Г. Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами» были первыми картинами, приобретенными Третьяковым в 1856 году.

² Третьяков приобрел у Верещагина всю «Туркестанскую коллекцию», осуществленную им во время путешествий в Туркестан.

³ Имеется в виду картина «Вести с родины». Л. О. Пастернак — отец известного советского поэта Бориса Пастернака.

⁴ В феврале 1890 года Третьяков приобрел у Левитана две картины «Вечер. Золотой плес» и «После дождя».

⁵ Имеется в виду национализация Третьяковской галереи, состоявшаяся 3 июня 1918 года.

Е. Г. Мамонтова

Впервые статья опубликована в книге «Давние дни» по машинописной копии, датированной 1918 годом.

¹ Е. Г. Мамонтова — жена русского капиталиста, известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова.

Эскиз

¹ С. П. Дягилев (1872—1929) — русский театральный и художественный деятель. Живя за рубежом, создал труппу Русского балета.

² Имеется в виду одна из выставок, организованных Дягилевым.

³ Имеется в виду картина Бенуа «Замок» (1895 г.).

⁴ Картина Нестерова «Пустынный».

⁵ Нестеров ошибается, причисляя глубоко самобытного Серова к западникам.

Один из «мирискусников»

Впервые опубликовано в книге «Давние дни» (1959 г.).

¹ Портрет царя Николая II был написан Серовым в 1900 году. Журнал «Мир искусства» первое время получал субсидию от правительства.

² Нестеров расписывал храм Александра Невского в Абастумане в 1901—1904 гг.

³ Имеется в виду портрет «Девочка с персиками» работы Серова.

⁴ Ресторан на Морской улице в Петербурге.

⁵ Русская художественная выставка в Париже была в 1906 году.

⁶ Постановка эта действительно имела место в 1908 году.

⁷ Дягилев умер 19 августа 1929 года.

Ф. И. Шаляпин

¹ Нестеров был в Нижнем у Максима Горького в 1901 году.

² Старшая дочь художника Ольга Нестерова воспитывалась в Киевском институте.

³ Опера Мусоргского «Борис Годунов».

А. М. Горький

¹ Н. А. Ярошенко, родившийся в 1846 году, был старше Нестерова на 16 лет.

² На этот счет в одном из писем А. Турыгину художник сообщает, что он познакомился с Максимом Горьким весной 1900 года в Ялте.

³ Речь идет о портрете Н. М. Нестеровой, дочери художника.

И. П. Павлов

¹ Здесь неточность: дом, в котором жил Павлов, построен еще в XVIII веке.

² За этот портрет 15 марта 1941 года М. В. Нестерову была присуждена Сталинская премия первой степени.

³ Всеволод Иванович — сын академика Павлова.

А. С. Степанов

Печатается по тексту книги «Давние дни», где был впервые опубликован по рукописной копии.

В. Н. Андреев-Бурлак

¹ Василий Николаевич Андреев-Бурлак (1843—1888) — русский актер, мастер художественного чтения.

В. И. Искуль

Печатается по тексту книги «Давние дни» 1959 г. издания.

«Артем»

Печатается по тексту книги «Давние дни» 1959 г. издания.

¹ «Секретаревка» — небольшой частный театр (по имени владельца).

Портрет М. К. Заньковецкой

¹ Ныне в этом здании помещается драматический театр имени Маяковского.

² Комическая опера-водевиль И. П. Котляревского.

³ «Наймычка» — драма И. В. Карпенко-Карого.

⁴ М. К. Заньковецкая умерла в Киеве 4 сентября 1934 года.

П. А. Стрепетова

¹ Родители Стрепетовой неизвестны. Она была в младенчестве подброшена театральному парикмахеру А. Г. Стрепетову, который воспитал ее как приемную дочь.

² А. Д. Погодин, внук историка Погодина.

³ В рассказе о Стрепетовой и ее взаимоотношениях с Погодиным Нестеров во многом субъективен, в некоторых сценах этого описания встречаются противоречия.

Девойод

¹ Имеется в виду картина «На Руси».

² Здесь М. В. Нестеров имеет в виду М. С. Зайцеву.

О том, о сем

Актер

¹ Имеется в виду нижегородский трактир Барбатенко, где выступал женский хор.

² Этот рассказ более кратко, с изменениями приводится Нестеровым в «Воспоминаниях», в начале их (с. 52—53).

Сашенька Кекишев

¹ Печатается по книге «Давние дни», куда был включен впервые по рукописи, принадлежащей В. М. Титовой.

«Братец»

¹ Печатается по книге «Давние дни», куда был включен впервые по рукописи, принадлежащей В. М. Титовой.

Как женился Андрей Павлович

¹ Имеется в виду картина Федотова «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик».

Петербургские похороны

¹ Имеется в виду картина «На Руси».

² В 1901 году М. В. Нестеровым были выполнены образа для мозаик в мавзолее гр. Бобринских.

Художник-педагог

¹ Публикуется по книге: М. В. Нестеров. Давние дни. 1959 г.

П И С Ь М А

¹ Публикуются по книге «М. В. Нестеров. Из писем». Л., 1968 г.

² Публикуются из книги «Давние дни» (Встречи и воспоминания). Изд. 2, расширенное, 1959 г. Нумерация писем изменена. — *Сост.*

³ Нестеров приехал в Ясную Поляну первый раз 20 августа 1906 г.

⁴ Место в окрестностях Ясной Поляны, связанное с детскими играми Л. Н. Толстого.

⁵ Вторично М. В. Нестеров приехал в Ясную Поляну 23 июня 1907 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Великий уфимец (<i>предисловие А. Филиппова</i>)	5
--	---

Воспоминания

От автора	21
Путешествие 1889 года (Вена — Италия — Париж — Дрезден)	96—115
Путешествие 1893 года (Константинополь — Греция — Италия)	166—178
Путешествие 1908 года (Рим — Неаполь — Капри — Венеция)	275—279
Путешествие 1911 года (Сиенна — Рим — Орвиетто — Верона)	298—303

Давние дни

В. Г. Перов	343
П. П. Чистяков	352
И. Н. Крамской	356
Н. А. Ярошенко	363
В. И. Суриков	378
В. М. Васнецов	386
Н. Н. Ге	395
В. В. Верещагин	399
И. И. Левитан	404
Костя Коровин	414
Сергей Коровин	417
А. П. Рябушкин	420
А. А. Рылов	423
Ян Станиславский	428
П. М. Третьяков	433
Е. Г. Мамонтова	444
Эскиз	446
Один из «мирискусников»	449
Ф. И. Шалапин	455
А. М. Горький	461
И. П. Павлов	466

А. С. Степанов	475
В. Н. Андреев-Бурлак	476
В. И. Искуль	478
«Артем»	483
Портрет М. К. Заньковецкой	487
П. А. Стрепетова	491
Девойод	497
О том, о сем	
<i>Актер</i>	501
<i>Сашенька Кекишев</i>	503
<i>«Братец»</i>	505
<i>Как женился Андрей Павлович</i>	507
<i>Петербургские похороны</i>	511
<i>Художник-педагог</i>	513

Письма

Из писем	517
Из писем о Толстом	542
Примечания	551

Михаил Васильевич Нестеров

Давние дни

ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ. ПИСЬМА

Редактор *С. Воробьев*

Художник *В. Курбатов*

Художественный редактор А. Астраханцев

Технический редактор *Н. Пятаева*

Корректоры *А. Минниханова, Л. Семенова, И. Пастушкова*

ИБ № 3007

Сдано в набор 10.04.86. Подписано к печати 06.08.86. П00250. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Услови. печ. л. 29, 40. Усл. кр.-отт 29, 56. Учетн.-изд. л. 32, 22. Тираж 100 000 экз. Заказ № 671. Цена 2 руб. 10 коп.

Башкирское книжное издательство, Уфа-25, ул. Советская, 18.
Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата Башкирской АССР
Уфа-1 проспект Октября, 2.

Scan Kreyder - 18.11.2019 - STERLITAMAK

2 р. 10 к.